

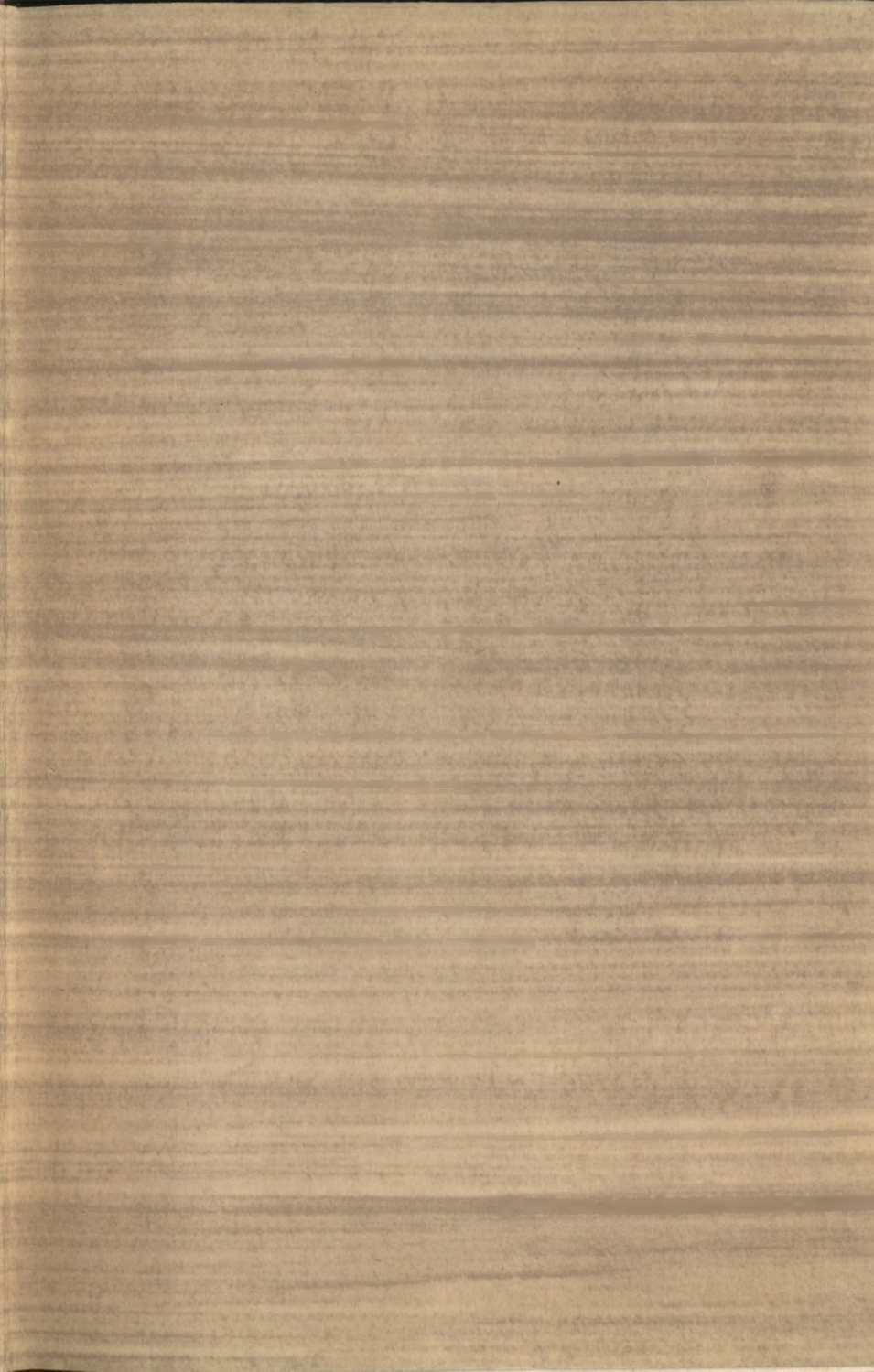


Слев-Кассин



Издательство
"Детская
литература"







Ч. Лев
Кассиль

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

Издательство
„Детская литература“

МОСКВА

1965

М. Лев
Кассинь

ТОМ
I

В С Л У Х
П Р О С Е Б Я

КОНДУИТ
и е
ШВАМБРАНИЯ

ВРАТАРЬ
РЕСПУБЛИКИ

ЕСТЬ НА ВОЛГЕ
УТЕС

P2

K28



Hub Harewood,

Всмух.
про себя

Попытка
автобиографии

существованию я приступил в 1905 году. Произошло это в слободе Покровской, ныне городе Энгельсе, что против Саратова на Волге, 10 июля по новому стилю. Время было жаркое, да и год, как известно, шел горячий — год первой русской революции, год, называемый «генеральной репетицией».

В тот день на квартире моего будущего отца, общественного врача, собрались на нелегальную сходку представители местных революционно настроенных кругов. Из Саратова приехал агитатор — студент-агроном. А чтобы полицию не тревожило такое необычное скопление на частной квартире, околоточному сообщили, что у нас отмечается годовщина Полтавского боя. Дело в том, что по старому численнику в этот день, 27 июня, полагалось благодарственное молебствие в память победы Петра Первого над шведами под Полтавой. Поэтому, когда к открытым из-за жары окнам гостиной подплывала снаружи распаренная физиономия городского, мама спешила сесть за рояль и наигрывала что-то чрезвычайно воинственное, а студент-агроном мелодекламировал в окно: «Выходит Петр. Его глаза сияют. Лик его ужасен...»

Настороженный городской за окном приостанавливался.

«Движенья быстры. Он прекрасен!» — спешил продолжить студент, и успокоенный городской проходил дальше.

Но к вечеру в гостиной начались распри. Эсдеки * поссорились с эсерами. Шум поднялся уже совершенно не конспиративный. Напрасно папа, пытаясь заменить студента, по уши погрязшего в споре, читал в окно: «Скажи-

* Пояснения слов и комментарии см. на стр. 655—670.

ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром...» В смятении он сбился с Полтавской баталии на Бородинское сражение. Мама очень разволновалась. Гости, заметив это, стали поспешно покидать квартиру.

И я родился...

Так передает семейная легенда это для меня немаловажное событие.

Однако впоследствии, когда известное американское издательство «Вайкинг Пресс», выпуская в Нью-Йорке мою книгу, снабдило ее краткой биографической справкой об авторе, обстоятельства моего появления на свет были там изложены так:

«Лео Кассиль родился с шумом революции в ушах... В час его рождения отец будущего писателя, народный врач небольшой деревни на Волге, пытался успокоить толпы восставших, читая из окон своей библиотеки классические стихи...»

Но вернемся к истинному положению.

У Маяковского есть такие известные строки: «Я родился, рос, кормили соской». Не пытаюсь проводить какие-либо нескромные параллели, скажу, однако, что строки эти вполне применимы и ко мне. Я тоже рос, и меня также кормили соской. Правда, сперва была мама, потом кормилица, заменявшая маму, а затем соска, изображавшая кормилицу. Должен сконфуженно признаться, что к этому резиновому источнику иллюзий я очень пристрастился и лет до четырех никак не мог отпасть от нее, беря тайком, без спросу, бутылочку с соской у появившегося к тому времени младшего братишки.

Затем соску заменил палец. Так была пройдена вся многоступенчатая система сосания. Но тут отец как-то растолковал мне, что сосать негигиенично, из пальца ничего путного не высосешь. Верность этому гигиеническому принципу я стремился сохранить всю жизнь. Это постепенно рождало неприязнь ко всему растяжимо-утешительному, суррогатному, пустышечному и слюнявому, с чем иной раз приходилось встречаться в жизни и в искусстве.

Впоследствии это помогло определить те симпатии, которые привели меня к Маяковскому.

Учился я сперва в старой царской гимназии. Окончить ее не успел. Но прикончить помог. И вместе с моими то-

варищами, вчерашними гимназистами, стал учиться в советской Единой трудовой школе.

Обуреваемый всех нас захватившей жаждой общественно-полезной деятельности, я стал работать в Покровской детской библиотеке-читальне, где ребята местных железнодорожников, рабочих костебельного завода и лесопилок, пристанских лодочников и грузчиков смогли впервые дорваться до книги. Мы напридумали всевозможные кружки — драматический, литературный, стали издавать рукописный журнал. Я был его редактором, художником, и, конечно, мне захотелось выступить и в качестве автора. Будучи не в силах противиться этому честолюбивому стремлению, я поместил на страницах нашего журнала за своей подписью стихи... теперь могу признаться, целиком списанные с настенного календаря, бесплатно приложения к журналу «Пробуждение».

Но о литературной работе в будущем я тогда и не помышлял. Мне нравились совсем иные занятия, меня влекли другие дела и профессии. Сначала я мечтал, как и многие мои пешие сверстники, сделаться извозчиком, так как автомобили и самолеты в то время обретались еще за пределами мечты. Потом я помышлял стать кораблестроителем. Я мастерил модели волжских пароходов. Никаких пособий или хотя бы подходящих строительных материалов у меня в то время не было. В ход шли старые картонки из-под маминых шляп, спицы от зонтов, дощечки от сигарных ящичков, лучинки. Мы с братишкой ходили обляпанные клейстером, прирастая штанами к стульям или превращаясь в сиамских близнецов... Но это не остужало моего конструкторского энтузиазма. И об одном из моих пароходов, типа «Самолет», названном мною «Добрыня Никитич», написали даже в местной газете. После этого я перестал завидовать своему уличному приятелю, который постоянно хвастался у нас во дворе, что о нем уже «пропечатали» в газете. О нем действительно было однажды написано в нашей газете следующее: «Неизвестным вором у купца Ерохина похищены самовар и фуганок». Приятель мой вырезал это место из газеты, показывал всем нам и, подмигивая, сообщал доверительно: «Это про меня...»

Потом я решил стать натуралистом. Стал собирать гербарий. Пока дело касалось лютиков и ромашек, все шло благополучно. Но я попробовал засушить в гербарии

небольшую дыню, для чего положил ее под папин матрац. Последствия были одинаково неприятны, как для дыни и матраца, так и для меня... Тогда я стал собирать коллекции жуков и бабочек. Изловив солидное количество бронзовок и жужелиц, я усыпил их эфиром и насадил на булавки. Но эфир, вероятно, был слабым или выдохся. И ночью вся коллекция у меня сбежала... Еще день-другой потом окружающие, ложась спать, вскрикивали испуганно и вытаскивали из-под одеяла нечто жесткокрылое или перепончатокрылое. И увлечение мое угасло.

Рос я медленно. В классе был чуть ли не самым маленьким. Ставили меня в последнюю пару, зато сажали на первую парту. Революция грянула тогда, когда зарубка на дверях столовой, где отмечали мой рост, дошла еле-еле до ста тридцати трех сантиметров от полу. Остальные полметра моей длины я нарастил уже в новую эпоху. Думаю, что как раз эти полметра и были для меня во всех отношениях решающими.

Впрочем, если уточнить этапы роста, надо сказать о следующем происшествии. Незадолго до окончания школы второй ступени я угодил в страшную бурю на Волге. Неистойой силы ураган, вызванный внезапно обрушившимся на наш город циклоном, валил заборы, срывал крыши, выбрасывал баржи на берег, опрокидывал пустые товарные вагоны с железнодорожного полотна. На разбушевавшейся Волге перевернулась лодка-дощаник, на которой перевозили коз. Лодочники выбрались на плот, а козы начали захлебываться. Мы с приятелем попробовали на моторной лодке спасти их. Коз мы не спасли, а меня с моим дружкой спасали уже работники пристани. Промокли мы до костей, но тут же были высушены ветром. В результате я поймал жестокую, желтую, тропическую малярию, эпидемию которой занесли войска, вернувшиеся тогда из Средней Азии после подавления басмачей.

Девять горячечных недель я плавал где-то между жизнью и смертью. Я был исколот шприцами, как святой Себастьян — стрелами. И когда наконец я смог опустить на пол с постели свои чудовищно отощавшие, голенастые, как у саранчука, ноги, я был потрясен: конечности мои

ушли от меня куда-то далеко вниз, а потолок стал непри-
вычно близок к моей макушке!

Меня всегда чрезвычайно занимал этот феномен — стремительный рост ребят за время болезни... Впоследствии я даже попытался разработать на сей счет некую гипотезу, вложив ее в уста одного из героев повести «Дорогие мои мальчишки», историка и философа Валерки Черепашкина:

«По-моему, это потому так бывает, что, когда человек ходит, он может расти только в одну сторону — вверх, снизу ему пол мешает, а когда долго лежишь, то можно расти в обе стороны — и макушкой и пятками».

Не берусь здесь доказать правоту этой идеи, но, во всяком случае, когда я первый раз после болезни, страшно вытянувшийся и тонкий, как макаронина, выполз на улицу, те же самые приятели мои, которые обычно дразнили меня «карапузом» или «коротышкой», стали сбегаться ко мне, скрывая за насмешкой удивление и крича: «Дяденька! Достань воробышка!» А более остроумные подходили и, глядя на меня снизу вверх, осведомлялись: «Ну, как там, наверху, не холодно?»

С тех пор я уже, мне помнится, не рос, но и не укорачивался, как меня ни изводили дразнилками.

Однако, кроме постоянно преследовавших меня с этого времени насмешек над моей длиной и худобой, жизнь отягчали еще следующие обстоятельства. Я принадлежал к числу тех несчастных мальчиков, которых, попеременно сбивая с толку, окружающие называют «разносторонне одаренными». Раздираемый обнаруживающимися во мне, по мнению знакомых, способностями, я долго не знал, чем же мне следует заняться всерьез. Художники находили у меня определенные склонности по их части, и я послушно учился рисованию и малевал, а когда был в последнем классе школы, то даже занимался параллельно в Саратовском художественно-практическом институте. Музыканты же утверждали, что у меня отличный слух и мягкое «туше», и я много лет терзал рояль и корябал слух окружающим, если верить, что таковой у них был. А тут еще приехавший из голодного Петрограда учитель словесности А. Д. Суздальев, образованный и опытный педагог-энтузиаст, прочтя написанные мною по его заданию домашние сочинения, заявил напрямик моим родителям, что, чему

бы меня ни учили, все равно я, увы, в будущем стану литератором... Суздалев приучил меня читать серьезные книги о книгах. Я с ним читал Веселовского и Котляревского, пристрастился к Белинскому, Добролюбову, Писареву. Мне было трудно поверить Суздалеву, что мое призвание — литература, но слова его я запомнил, а серьезного чтения уже оставить не мог. Впрочем, не стоит сваливать всю вину за то, что я впоследствии сделался литератором, на одного Суздалева... Боюсь, что это случилось бы рано или поздно и без предсказаний моего доброго, просвещенного и дальновидного учителя. А вот за то, что он, как человек ученый и серьезный, привил мне неприязнь ко всякого рода дилетантству, — за это спасибо ему!

В 1923 году, окончив школу, я за хорошую общественную работу в библиотеке-читальне получил от обкома партии командировку в высшее учебное заведение по существовавшей тогда разверстке. Я ехал в Москву, чувствуя, что уже далеко за плечами осталось детство, кончилось отрочество, начинается юность. Прощальные дразнилки провожавших меня друзей уже не задевали моего самолюбия.

Но не успел я сойти с поезда на московскую землю и выйти на площадь Павелецкого вокзала, как какой-то московский школьник, отбежав на всякий случай подальше, крикнул мне: «Длинный! Где проезд Неглинный?..» Это было первое, что я услышал в столице. Я утешил себя тем, что услышанная мною дразнилка — вопрос о какой-то московской улице — должна быть воспринята не иначе, как некое посвящение меня в москвичи.

Сдав вступительные экзамены, я начал учиться на математическом отделении физико-математического факультета Московского государственного университета, избрав по специальности аэродинамический цикл. Скажу сразу, что, несмотря на это мудрое обозначение, настоящий математик из меня не вышел...

Уже к третьему курсу меня неотвратно потянуло писать. Желанию этому противостоять я не мог.

Писать я учился в письмах домой. Я описывал в них Москву, которую в свободные от занятий часы исходил пешком вдоль и поперек, от центра до пригородов. Я описывал новостройки и шествия, театры и стадионы, мага-

зины и Зоопарк, выставки и музеи. Некоторые письма доходили до 28 страниц.

Потом выяснилось, что младший мой братишка Ося и его приятели берут у матери эти письма, перепечатаывают их на машинке и помещают отрывки в местной газете, под заголовком: «Письма из Москвы». За это им в редакции что-то платят, они не отказываются, берут гонорар, ходят в кино и едят пирожные за мое здоровье. Тут я стал подумывать, что и сам бы мог позаботиться о своем здоровье, не препоручая это моим волжским друзьям.

...Но настоящее решение пришло иначе.

Я навсегда запомнил этот неистово морозный день с низко нависшим тяжелым небом, к которому поднимались дымные столбы от костров, зажженных на московских перекрестках. Я был в траурной очереди у Колонного зала и дважды прошел мимо гроба Ильича. На всю жизнь запомнил я этот скорбный день, заиндевшие лица тысяч людей, дымное дыхание молчаливой толпы и потом надрывный плач заводских гудков над городом. Я так замерз, что, когда стоял у Колонного в третий раз, упал, и красноармейцы отогрели меня у костра. Но когда я пришел домой и ооченевшие мои пальцы настолько оттаяли, что могли держать ручку, я сел писать. Я писал всю ночь. Я писал для самого себя. Мне надо было найти слова, чтобы выразить все то, что увидел я в этот день, заглянув в бездонную пропасть народного горя...

Может быть, в эту ночь я впервые по-настоящему захотел стать писателем.

Примерно через год я написал свой первый рассказ. То была пора бурно распространявшихся радиоувлечений. Мы мастерили самодельные приемники и с сердцем, замирающим от восторга перед могуществом техники, слушали в эбонитовых наушниках размеренный диктант ТАСС: «Точчка... По бук-вам: Петр, Анна, Роман, Иван, Жанна... Па-риж!..» И это казалось нам чудом. Рассказ я тоже посвятил радио. При этом я совершил ту сакраментальную ошибку, без которой не обходится обычно ни один начинающий. «Что же я буду писать про то, о чем все знают! — размышляет начинающий. — Нет! Я напишу про то, чего никто не знает и я в том числе... Вот это — другое дело!» И мой рассказ был посвящен американской жизни. Жил я в то время на Таганской площади, что, как известно,

довольно далеко от Бродвея, английским языком тоже еще не занимался. Но все это меня нимало не смущало. Рассказ свой я назвал «Приемник мистера Кисмиквика». Попробовав мне, по созвучию с бессмертным Пиквиком, фамилию моего героя я случайно подслушал у соседки по квартире, которая любила читать вслух то, что ей было задано учительницей английского языка.

Рассказ мой был напечатан 28 июня 1925 года в газете «Новости радио». Торжество мое было несколько омрачено тем, что уже 29-го числа выяснилось: Кисмиквик — это вовсе не фамилия, а, если перевести с английского, значит: поцелуй меня скорее... Вот тебе и Пиквик!..

А дальше дело совсем не пошло. Я написал довольно быстро пять-шесть рассказов и разослал их в пять-шесть редакций, подсчитав, что собрание моих печатных сочинений вскоре, таким образом, увеличится объемом в пять-шесть раз... Но из одних редакций мне мои писания были возвращены с непонятной, но роковой пометкой: Н. П. (что, как оказалось, значило «не подходит»... «не подойдет»), из других ответы вообще не пришли. Я ходил по редакциям и робко приговаривал, что у нас трудно пробиваться молодому дарованию. Редакторы были непоколебимы. И, глядя на меня в упор, заявляли при этом, что дарования они не видят...

Но однажды, после очередного неудачного посещения редакции, я как-то раскрыл томик Чехова, давно уже как будто мною прочитанный... И внезапно такой жгучий стыд тысячами иголок пронзил мне изнутри загоревшиеся щеки!.. Бессовестный! На свете написано такое, а я еще норовил печататься...

Я решительно оставил эти теперь показавшиеся мне наглыми попытки. Я сел читать. Это было нелегкое для меня время. Чтобы не обременять родителей и самому зарабатывать себе на жизнь, я поступил подручным в студенческую артель электромонтеров, работал также художником-плакатистом, рисовал объявления для магазинов: «Получена свежая икра», «Прибыли раки»... В студенческом клубе я был старостой и редактором университетской «живой» газеты «Синяя блуза» и сам выступал как исполнитель разных сатирических ролей, главным образом — английского министра Чемберлена, которому от нас крепко доставалось... А все свободное время читал, сидя

по ночам над книгами Толстого, Пушкина, Чехова, Лескова, Флобера, которые теперь совершенно заново раскрывались передо мной во всем их пленительном и непостижимом могуществе. Я читал и много писал для себя, «в стол».

И это, по-видимому, не прошло даром. Очерк, написанный «на пробу» в 1927 году по предложению одного из представителей периферийной газеты, не только был признан им подходящим, но даже вызвал у него сомнение — сам ли я его написал? И меня тут же пригласили стать московским корреспондентом газет «Правда Востока» (Ташкент) и «Советская Сибирь» (Новосибирск).

В то же время я задумал написать свою первую книгу о том, как рухнула старая школа, как мы сами выучили все, что нам не хотели объяснить в классе. Во мне еще была свежа обида за детство, втиснутое в графы гимназического штрафного журнала, «кондуита», на зловещные страницы которого заносились все наши провинности. Так я и решил назвать свою первую книгу — «Конduit».

С первыми ее страницами я, волнуясь, пришел в маленький Гендриков переулок за Таганкой, туда, куда давно меня влекло восторженное преклонение перед громopodobным талантом жившего там человека. Я взбежал по лестнице, а сердце у меня от волнения скатилось вниз по ступенькам. Я позвонил у двери, на которой была прибита медная дощечка с именем Маяковского. Я позвонил, и мне открыли.

Через эту дверь я и вошел в литературу.

Владимир Владимирович Маяковский с этого дня стал моим учителем, а вскоре я имел уже основание считать его своим старшим другом. Я вошел в небольшую группу писателей и поэтов, которую возглавлял Маяковский. В журнале Маяковского «Новый Леф» были напечатаны мои заметки, а затем первые отрывки из «Кондуита». Меня тут же выбрали за них в журнале «На литературном посту», ехидно высмеяли в «Крокодиле»...

— Что, бьют? — спрашивал меня, сочувственно и хмуро усмехаясь, Маяковский. — Пока не поздно, одумайтесь. Будете со мной, бить будут обязательно. Может быть, приискать вам место поуютнее?..

Но мог ли я допустить хотя бы на мгновение постыдную мысль о трусливом бегстве от огромного счастья — быть с Маяковским...

Впрочем, откликнулись не только ругатели. Детский писатель-коммунист, человек замечательной души, редкой для столь молодого человека культуры и высокой отваги, Б. А. Ивантер, тогдашний заведующий редакцией журнала «Пионер», а впоследствии его редактор, прочтя отрывки из «Кондуита» в журнале Маяковского, сразу же прислал мне через писателя-лефовца С. М. Третьякова дружеское письмо, в котором просил зайти в редакцию журнала и предлагал сотрудничать в «Пионере».

— Идите! — убежденно сказал мне Маяковский. — Там очень хорошие люди работают и интересное дело делают. Обязательно идите туда.

И я пошел в «Пионер».

В то время там уже работали М. Пришвин, А. Гайдар, С. Григорьев, А. Кожевников и такие замечательные художники, как покойные Н. Купреянов, В. Фаворский, А. Лаптев и ныне здравствующие А. Коневский, Кукрышники. Я в то время был уже сотрудником «Известий», и, признаться, мне в голову даже не приходило писать для детей. Но меня до того весело, оглушительно и приветливо встретили в «Пионере», а сам Ивантер, усадив меня прямо на какие-то акварели, сложенные на стуле, и крича: «Чудак! Вы будете чудно писать для детей», — сумел так расписать передо мной перспективы и возможности работы в их журнале, что я решил: дай-ка попробую!.. А попробовав и прочтя первые же письма маленьких читателей, откликнувшихся на мои фельетоны, понял, что лучше и интереснее работы я, вероятно, в жизни уже не найду.

А тут еще Ивантер решил похвастаться мною перед приехавшим из Ленинграда Самуилом Яковлевичем Маршаком. В то время основной отряд детских писателей находился в Ленинграде, где, кроме Маршака, жили К. И. Чуковский, Б. С. Житков, В. В. Бианки, А. И. Пантелеев. Говорили, что детская литература делается в Ленинграде. Ивантеру же хотелось показать, что и в Москве есть кое-кто и делается кое-что. Ивантер считал меня уже кое-кем, а в качестве кое-чего вниманию Маршака были предложены главы из «Кондуита». От Маршака я услышал очень важные и добрые слова и о моих писаниях, и о

литературе для детей вообще. Отзыв лучшего детского поэта страны окончательно утвердил меня в моих намерениях.

Так, к немалому огорчению некоторых моих родственников и приятелей, считавших, что мне была определена «более высокая участь», я стал детским писателем.

«Кондуит» был напечатан полностью в «Пионере». Там же были впоследствии помещены целиком и отдельными главами почти все мои повести. И вот уже лет двадцать я состою членом редколлегии этого старейшего журнала наших пионеров.

По совету Маяковского я продолжал работать в газете. Газета приучала, берясь за работу, сердиться или радоваться вместе со всей страной. Она заставляла скупиться на слова, писать просто, ясно, коротко и дельно. Она внушала отвращение к литературе-соске и порождала уважение ко всему реальному, подлинному, питательному... В этом, собственно, я всегда и видел «школу Маяковского».

Нет, я не пробовал становиться на цыпочки, чтобы дотянуться до него ростом. Смешно, и только, было бы пыжиться, напуская на себя басовитость, и, срывая голос до истошных «петухов», ворочать, как это делали иные, по ступенькам нарубленных под Маяковского строк гороподобные образы, которые одному ему и были по плечу...

Безмерно счастливый тем, что мне так повезло в жизни и я оказался в зоне могучего и непосредственного человеческого влияния любимейшего из поэтов, одаренный его дружбой, я видел прямо перед своими, никогда от него не отрывавшимися глазами великаний подвиг труда и поэзии. Я видел, как в будущем, через века, «подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки».

Я проходил у Маяковского дерзостную науку предчувствий будущего, беспощадную выучку гнева и радостно-требовательную школу его любви. Я видел, с какой ошеломляющей наглядностью в работе Маяковского литературное дело становилось, как завещал Ленин, частью общепролетарского дела. Я прислушивался, как бьется это сердце, в котором было просторно и самой Вселенной. Жадно присматривался к тому, с каким могущественным умением поворачивает, стесывает, наращивает, обрабатывает, формует мастер слово, то наполняя его биением на-

бата, то обнажая его сокровенную нежность, чтобы слово это всей силой и правдой своей служило революции.

И мечталось приучить себя, подобно ему, быть всегда, как говорили летчики-истребители, «в готовности № 1», то есть жить, работать, оставаться всегда нацеленным, по верхнюю черту заправленным, полностью заряженным, чтобы при первом же сигнале тотчас взвиться в бой!

Друзья часто за глаза называли Маяковского — сокращенно и величательно — Маяк. Маяком он и был для нашего литературного поколения. И как бы мы порою мелко ни плавали, но все же править старались на этот огнемечущий маяк, который распорол небо мировой поэзии «отсюда до Аляски», а нам, счастливым, выстелил своим великодушным светом первые наши шаги в литературе.

Встреча с Маяковским стала самым главным, бесповоротно решающим событием в моей жизни.

Итак, как советовал Маяковский («Не воротите носа от газеты, Кассильчик!»), я не уходил из журналистики. Девять с лишним лет проработал в «Известиях». Начал я с небольших репортерских зарисовок, а через год-другой выступал уже с большими корреспонденциями, очерками, фельетонами.

Я много ездил, летал, плавал, путешествуя с корреспондентским билетом «Известий» по родной земле и за ее пределами. Жил в пограничном колхозе бывших кавалеристов Котовского. Летал встречать в воздухе «Цепнелин». Участвовал в большом походе советских глиссеров, в испытательных перелетах новых самолетов и дирижаблей, на одном из которых чуть не погиб, когда мы заблудились в тумане и едва не запутались над Окой в высоковольтной сети... Встречал на аэродроме Димитрова, вырванного из фашистского застенка после знаменитого Лейпцигского процесса. Спускался в первые шахты строившегося московского метро. Дни и ночи торчал на аэродроме, где готовился старт первого советского стратостата. Гостил в Калуге у Циолковского, с которым переписывался потом до последнего дня его жизни... Провожал в исторический полет Чкалова. Первым встречал на границе прославленного ледового комиссара О. Ю. Шмидта, вырвавшегося из ледового плена. Плавал по только что откры-

тому Беломорско-Балтийскому каналу. Вместе со сборной командой СССР ездил на футбольные состязания в Турцию и на обратном пути угодил в кораблекрушение, когда наш пароход штормом выбросило на мель у румынского мыса Мидия... В составе экипажа теплохода «Комсомол», вскоре потопленного крейсером «Капарияс», плавал в Испанию во время нападения франкистов на Испанскую народную республику. В Москве искал уличные объявления о продаже вещей и ходил по указанным в них адресам, чтобы подсмотреть жизнь «с изнанки»...

В очерках, фельетонах и рассказах, в книжках для ребят я описывал планетарий и фабрику-кухню, заседания и матчи, вокзалы и станции «скорой помощи», детские сады и заводы, кооперативы и музеи, сессии академий и тиражи государственных займов, больницы и аэродромы, парады и водопроводы, корабли и детские сады — все великолепное разнообразие нашей новой, неисчерпаемо огромной, трудной и взволнованной действительности, о которой мне хотелось рассказать всем, и прежде всего маленьким...

Хотелось мне также досказать еще кое-что моим читателям и о своем собственном детстве.

Детство мое было долгие годы расхвачено напополам гимназическим кондуитом и Швамбранией, выдуманной страной, которую мы открыли для себя с братишкой, чтобы скрываться в ее утешительных просторах от тех многих обид, что наносил нам старый мир взрослых. Ей, какбудтошней стране, стране-соске, я посвятил свою вторую большую книгу, так и назвав ее «Швамбрания» (1934). Я попытался в ней весело, может быть, даже с мальчишеским озорством, изобразить старые смешные интеллигентские идеалы, царившие в методах нашего воспитания, и рассказать о первых годах новой советской школы; о том, как свежий ветер Октябрьской революции вторгся в мир старой семьи и старой школы, о том, как новая действительность оказалась увлекательнее старой сказки. Революция истребила кондуиты и, предъявив замечательную свою реальность, сделала ненужной Швамбранию. Революция вторглась в биографию докторского сына, подняла ее, переворошила, внесла в нее неповторимость своего времени, дала право быть обсказанной языком искусства

и закрепиться в живых образах, в книгах личной судьбы, совпавшей с судьбой, ошибками и прозрениями известной части моего поколения.

Мне не раз крепко и обидно доставалось от так называемой литературно-педагогической критики. Ругали меня: за «ложную занимательность»; за «ложную романтику»; за «засоренность языка» моих героев; за «антипедагогизм», то есть неуважение к старшим, и за иные смертные грехи, в которые я впадал, по мнению некоторых неумолчивых критиков. Повинен ли я на самом деле в этих грехах или на меня возвели напраслину скукодеи, кашевары пресной назидательной размазни, поставщики сосок двора ее высочества царевны Несмеяны, — судить не мне... Но я всегда старался найти хоть что-нибудь справедливое и, значит, полезное для себя даже в самой отчаянной ругани. И думаю, кое-что из этого пошло мне на пользу.

Но как порой трудно ни приходилось, никогда я не жалел, что выбрал для себя путь, ведущий к ребятам. Мне всегда интересно быть с ними. Я и сейчас пользуюсь каждой возможностью, позволяющей встретиться с моими читателями с глазу на глаз и нос к носу. Для этого мне пришлось научиться выступать перед ребятами. Это далось мне не сразу: я робел и перед взрослой аудиторией, куда более смирной, чем детская, да и дикция была у меня от природы нечеткая. Еще на школьных вечерах, когда мне поручали объявить перерыв, я потел от ужаса, язык у меня завязывался узлом, и у меня получалось не то «трактат», не то «контракт», но никак не «антракт»... Тут я тоже многим обязан Маяковскому, который сам был непревзойденным чтецом, как он называл себя — «разговорщиком» на трибуне, и нас призывал к умению лично договариваться с читателями.

Было время на первых порах моей работы, когда я считал самым важным для себя во что бы то ни стало рассмешить моего читателя. Я не отказываюсь от любой такой возможности и сегодня. Ибо вряд ли есть на свете что-нибудь более радостное, чем дружный, веселый ребячий смех. Но уже давно мне стали не менее дороги, чем хохот и аплодисменты, сотни замерших, уставившихся прямо на меня глаз, доверчивая тишина в переполненном ребятами зале, когда слышишь, кажется, как стучат что есть силы сердчишки, до которых удалось добраться...

...Тут и хочу я сказать о нем, милом моем читателе.

Он всякий. И шумный, непоседливый, такой, что не сразу угомонишь. И весь ушедший в самозабвенное внимание, беззвучно, сам того не замечая, повторяющий за мной то, что слышит. Он смотрит на меня поверх школьной парты, которая ему немножко велика. Он взвизгивает от нетерпения с кресла в театральном зале. Он забился где-то в отдаленном уголке пионерской комнаты и неуверенно поднял руку: ему очень хочется о чем-то спросить, он не в силах справиться со своим любопытством, но не побороть и неизбывной застенчивости, и лучше бы уж поднятую руку его не заметили... Он встречается меня на большой московской улице, узнает, показывает на меня глазами своему приятелю, попутно пихая его локтем в бок так, что тот охает. И оба они кричат свое радостное: «Здравствуйте!» — заставляя всех прохожих оглянуться на нас. А потом вдруг через квартал я снова встречаю их обоих, и опять: «Здравствуйте!» — потому что они успели обежать улицу по другой ее стороне, чтобы снова еще раз встретиться...

Он встает, поправляя красный галстук, который кажется пылающим в отблесках лагерного костра, и просит рассказать что-нибудь «из военной жизни». Он рано утром, чуть свет будя всех моих домашних, звонит у входной двери, салютует по-пионерски и сообщает, что прибыл по неотложному поручению всего шестого «Б», так как у них будет сегодня сбор на тему: «В чем смысл жизни?».

Как сказано у Михалкова, «он девочка, он мальчик», — словом, он мой читатель, ненасытный, неожиданный, беспокойный, благодарный, доверчивый, дорогой мой дружок.

Незадолго до войны на Красной Пресне, в зале театра имени Ленина, возле Трехгорной мануфактуры, шел большой литературный утреник для ребят. Выступал, можно сказать, весь генералитет нашей детской литературы. И Самуил Яковлевич Маршак, и Корней Иванович Чуковский, и Аркадий Петрович Гайдар, и Агния Львовна Барто, и Сергей Владимирович Михалков, которого, правда, тогда все еще звали просто Сережей. В этой «могучей» кучке подвизался в тот день и я. Мы выступали очень долго, прибодренные раздававшимися то и дело дружны-

ми аплодисментами. А потом я решил поговорить с ребятами.

— Ну, дорогие дружочки, — сказал я, выйдя на авансцену, — вот ваши любимые писатели и поэты прочли вам свои стихи, рассказы. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы к нам? Давайте выкладывайте, не стесняйтесь!

После некоторой паузы и безмолвного шевеления примерно над пятым рядом поднялась рука, за рукой вытянулась девица, на глаз эдак из четвертого или пятого класса. Несмотря на то что в зале, где сидело примерно тысяча ребят, было очень жарко, девочка оставалась в толстой пуховой шали, как ее, должно быть, укутали дома: вокруг головы, концами крест-накрест на спине и с узелком на поясе спереди.

— Внимание! — скомандовал я залу. — Вот девочка в пятом ряду хочет о чем-то спросить у писателей. Ну, прошу!

И в полной тишине раздался чистый, очень звонкий голосок:

— Кино скоро будет?

С того дня я перестал чересчур доверяться ребячьим аплодисментам. Здоровому мальчишке куда легче похлопать ладонью о ладонь, чем тихо высидеть четверть часа. Но у меня есть давно уже другой измеритель степени внимания зала. Вот когда все в зале замирает и на тебе, словно радужные зайчики, сходятся отблески сотен внимательных глаз, — вот в эти минуты, всегда желанные, где-то в зале раздается легкий звенящий щелчок — дзинь!.. Сначала один, а потом в другом месте еще... И еще... дзинь... дзинь...

Это начинают падать на пол металлические или плексигласовые номерки из гардероба.

Дело в том, что одним из самых величайших несчастий, которые могут мниться моим слушателям, представляется потеря номерка от сданного пальтишка или шапки. Как в таком разе вернуться домой?! И большинство предпочитает держать номерок в руке — так вернее. И вот сначала у слушателей открываются широко глаза, потом рты и, наконец, ладони. И когда в зале падают гардеробные номерки, я спокоен: все в порядке, слушают внимательно.

...Не стоит обижаться на читателя, если он не твердо заучил фамилию автора. В фамилии какой толк?.. Важнее, чтобы он запомнил книгу.

Как-то я, ожидая начала киносеанса, сидел на скамейке у одного из перекрестков больших аллей столичного Парка культуры и отдыха имени Горького. Сидел, читал газету. Солнце светило из-за спины. И вдруг оттуда напозли две тени. Одна длинная, другая покороче. Не оглядываясь, я пригласил:

— Ну что вы там хоронитесь на задворках? Заходите с парадного крыльца.

Передо мной появились две школьницы. Коротенькая сказала:

— Здравствуйте. Мы вас знаем.

— Очень хорошо. А откуда вы меня знаете?

Тут вдруг обе смешались — по-видимому, забыли, как меня величают.

— Вы... этот... — пробормотала высокая. — Вы... Кондуит.

Коротенькая сердито дернула ее за юбку и поспешно поправила:

— Лев Кондуит!

А сколько раз уже приходилось мне при встречах где-нибудь в школе слышать:

— Здравствуйте, Лев Швамбраныч!..

Но однажды получилось и так. Мы с Сергеем Михалковым приехали в 22-й детский дом Москвы за Таганской площадью, чтобы принять шефство над ребятами. Мы немножко опоздали, и детей уже уложили на ночь. Однако директор детдома, симпатичная и радушная женщина, предложила нам пройти в одну из спален, где ребята постарше еще не заснули.

— Ну вот, мальчики, — с некоторой торжественностью объявила директор, вводя нас в комнату и зажигая свет. — Видите, писатели не обманули вас. Они приехали. Вы их, конечно, все хорошо знаете. Вот это кто? — Она показала на Михалкова. — Это Сергей... Ну?..

— Михалков, — ответили из разных углов.

— Правильно, — сказала директор. — А это? — Она указала на меня. — Это... Лев...

— Толстой! — послышалось из-под пескольных приподнявшихся одеял.

...Заканчиваю одну из читательских конференций в районной детской библиотеке.

— Ну, про что же еще вам написать, ребята?

Поднимается, вытянув руку вверх, мрачноватый паренек:

— Напишите про Робинзона Крузо.

— погоди, дорогой мой... Ведь это когда еще книга написана! Зачем же еще раз писать?

— Ничего. Вы напишите сами еще раз. А то у нас в библиотеке только один экземпляр, и нам на дом не дают.

А после читательской конференции по трем моим книгам, когда я уже выходил из школы, какой-то мальчонка, все время скромно следовавший за мной в некотором отдалении, вдруг, видно, решился, забежал вперед, обернулся и, обмирая от уважения, спросил:

— А это, значит, про чего мы обсуждали, вы все сами написали? Здорово! — Помолчал мечтательно, зажмурился, мотнул головой и добавил убежденно: — Сейчас, как домой приедете, еще про чего-нибудь напишете?.. Да?

И было видно, что он ясно представляет себе: вот вернусь домой, сниму пальто и шляпу, сяду за стол, выну чистую бумагу, обмакну перо — и пошло!

Вот бы правда так!

После большого авторского утренника в Доме пионеров:

— Лев Абрамович! А вам самому нравится, как вы пишете?

Чистосердечно признаюсь, что не всегда нравится. Объясняю, что в стране, где так уважают книгу, где миллионы людей стали отличными читателями, хочется писать гораздо лучше!..

Тогда меня вдруг начинают деликатно утешать:

— Ну, уж не так совсем, Лев Абрамович... Другие есть, еще хуже пишут...

Но как-то в одной из школ я пережил действительно неприятные минуты. Предложил ребятам задавать мне вопросы, говорить откровенно, начистоту... И вдруг один мальчонка встает и обращается ко мне:

— Лев Кассиль! А почему вы так плохо пишете?

Тут я, признаться, растерялся...

— Что же тебе, собственно, так не понравилось в моих писаниях?

— А к нам одна лекторша приезжала, про вас делала доклад. И привезла ваши листочки — рукопись, что ли? Показывала, как вы пишете. Все перечеркано. Не разберешь ничего...

Подходит к концу мой утренник в одной из крымских школ. Обо всем уже поговорили, собираюсь распрощаться.

— Ну, больше никаких вопросов ко мне у вас нет?

Голос из зала:

— Какого года вы рождения?

— Тысяча девятьсот пятого, — признаюсь я.

И вдруг откуда-то из-под сцены, где я стою, выскакивает парнишка. Глаза у него полны бешеного любопытства. Кидается к самой рампе, в голосе восторженное предложение:

— И вы помните Кровавое воскресенье?

(Видно, только что проходил это в классе, на уроке истории.)

Пришлось разочаровать его и отшутиться:

— Нет, дорогой мой, я родился уже в понедельник...

А как-то в одном из московских интернатов на литературном утреннике состоялся такой разговор после обсуждения книги «Улица младшего сына»:

— Вы встречались сами с Володи Дубининым?

Объясняю, что я узнал о героической жизни и подвигах Володи Дубинина уже после войны. Тотчас же в зале взлетает ладошка:

— А Павлика Морозова вы видели?

Рассказываю, что Павлик погиб еще тогда, когда я не занимался литературной работой. И тут же замечаю, что в углу зала все тянется вверх чья-то нетерпеливая рука. Делаю знак. Поднимается тугощекий мальчуган. Смотрит на меня с безграничным доверием:

— Лев Кассиль... А вы были лично знакомы с Гаврошом?

Но, пожалуй, самый большой эффект произвел я, выступая в одном из кино близ завода имени Лихачева. Дело было на каникулах. Меня попросили выступить перед на-

чалом сеанса. Я очень не люблю такие выступления: ребята пришли смотреть фильм и относятся к тебе, как к помехе, возникшей перед экраном. Но кому-то понадобилось поставить в ведомости о проведении детских каникул галочку в графе: «Выступление писателя». И я со скрипом душевным согласился.

А накануне у меня стали ручные часы. И я отдал их поправить в мастерскую. Пока же пришлось надеть на руку запасные. По дороге на выступление я заехал в мастерскую и получил уже починенные часы, которые надел на свободную руку.

Выступление проходило, как я и ждал, ужасно. Что я говорил, не слышно было даже мне самому. В переполненном зале занимались выяснением взаимоотношений между разными рядами, причем дело не ограничивалось одними лишь пререканиями... Я с тоской поглядел на часы, бывшие у меня на левой руке: сколько еще для приличия надо постоять на эстраде?.. Мне казалось, что я торчу перед экраном не менее четверти часа. Но выходило по часам, что я начал лишь пять минут назад. Чтобы проверить это, я взглянул на исправленные часы, которые были у меня на правой руке. И сличил время. Я непроизвольно свел перед собой руки, и жест этот произвел чудо. Зал мгновенно замер. Наступила такая тишина, будто все разом покинули помещение кино. Я даже с опаской поглядел в зал. Но все были на своих местах. Тогда я негромким голосом прочел новогодний рассказ. И ушел со сцены на цыпочках, провожаемый, однако, такими овациями, что у меня постепенно отвердел шаг.

Вечером мне позвонил мой знакомый инженер завода имени Лихачева:

— Здравствуй! Ты, оказывается, у наших ребят сегодня выступал? Ну, брат, потряс ты... Сынишка пришел, всем рассказывал: «Вот к нам сегодня писатель приезжал... До того занятый, что двое часов на нем! Так все время и проверяет!»

Мне часто приходится бывать у больных ребят, надолго прикованных к постели. Однажды пришлось принимать военно-морской парад, который в санатории у Серебряного бора, на окраине столицы, придумали сами малыши, про-

читав мою книжку «Далеко в море». Да, это был парад, парад с торжественным маршем, и с подъемом флага, и с музыкой. Но двигался только принимавший парад, то есть я. А все участники, с приколотыми на груди к рубашонкам сине-белыми треугольниками, вырезанными из бумаги наподобие матросских воротников, оставались распростертыми на кроватях. Они козыряли, играли на гребенках, изображая корабельных оркестрантов, поднимали над койками цветные флаги по протянутым через палату веревкам, рапортовали мне. А я шагал между кроватями, отдавал честь и принимал этот удивительный парад, думая, что нет, не зря, не напрасно пишутся книжки.

А однажды я получил письмо из подмосковного туберкулезного детского санатория «Красная Роза», возле Балашихи, где я бывал несколько раз до этого. На долгие годы обреченные лежать, пионеры одной из палат санатория просили у меня разрешения присвоить звену их в пионерской дружине мое имя... Мог ли я отказаться от этой высокой, вряд ли заслуженной и в чем-то печальной чести?

И часто потом, если у меня, как и у всякого, случались неудачи и приходили трудные дни — такие, когда все хочется бросить к черту, вспоминал я вдруг, что больные ребята, которым куда тяжелее, чем мне, одарили меня таким доверием... И стыд за свою слабость пожирал меня. Снова яростно брался я за работу, чтобы хоть как-нибудь оправдать эту веру читателя.

Великое это дело — доверие читателя!

Перед самой войной передавали впервые по радио мой рассказ «Есть на Волге утес». Трагическую историю жизни безвестного волжского грузчика — певца Леонтия Архипкина, по прозвищу «Громобой», потерявшего когда-то свой могучий бас из-за того, что пьяные купцы спалили ему кислотой горло. И вот в рассказе говорилось о том, что пионеры, найдя уникальную грампластинку, однажды записанную с голоса Громобоя, вернули позабытую славу человеку. Пел за моего героя в радиопередаче народный артист СССР Максим Дормидонтович Михайлов.

Через неделю после передачи меня вызвали в радиокомитет и вручили мне денежный перевод из города Грозного. На обороте перевода в графе «Для письменного сообщения» я прочел:

«Дорогие радиодикторы. Мы слушали Льва Кассиля «Есть на Волге утес». И провели в Доме пионеров сбор в пользу Леонтия Архипкина, по прозвищу «Громобой», т. к. голос у него пропал и жить ему наверное не на что. Поэтому посылаем собранные 13 р. 65 к.».

Вот он каков, дорогой наш читатель. Мало того, что убежденно поверил в подлинное существование героя, но еще преисполнился сострадания к нему и счел своим прямым гражданским долгом помочь старому, обездоленному человеку в нужде! Не было для меня в жизни выше награды, чем этот перевод из города Грозного на 13 рублей 65 копеек (я ответил на него посылкой с книгами), и нет на свете лучше читателя, чем тот, которого я вижу перед собой, когда берусь за работу.

— Дядя, — спросил меня в библиотеке как-то один из школьников, держа наготове тетрадку, чтобы записать мой адрес, — дядя, вы где живете? В Кремле?

По какому же высокому адресу прописана в его представлении наша книга, наша литература! Вот и думаю я всю жизнь, как оправдать такую прописку! И пишу для этого читателя, достойного самой лучшей литературы, такой, о которой я сам лишь мечтать могу... Пишу, как в силах, как умею, дорогим моим мальчишкам и девчонкам книги об их же открытых, веселых и жарких сердцах, полных дерзания, упрямой мечты и необоримой жажды подвига, чтобы победили в мире справедливость и красота. И нет для меня на свете дела важнее и прекраснее!

Мне думается, что автобиография писателя может быть им вполне законно оборвана на тех книгах или моментах его жизни, которые он сам считает в какой-то мере определяющими его литературную судьбу. Остановлюсь, пожалуй, тут и я.

Конечно, можно было бы еще рассказать, например, о спортивном романе «Вратарь Республики» (1937), о «Черемыше, брате героя» (1938), о «Дорогих моих мальчишках» (1944), о книге «Маяковский — сам» (1940), о большой повести «Великое противостояние» (первая часть которой вышла в свет за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны и была продиктована тревожным ощущением надвигавшейся грозы, а вторая — «Свет

Москвы» — появилась в печати к 800-летию юбилею столицы в 1947 году и получила первую премию на конкурсе Министерства просвещения РСФСР).

Следовало бы, конечно, остановиться на документальной повести «Улица младшего сына» (написанной в 1949 году в содружестве с журналистом М. Поляновским). Она была удостоена Государственной премии.

Надо было бы, вероятно, упомянуть и о повести «Ранний восход» (1953), в которой я стремился продолжить рассказ о слиянии двух наиболее для меня дорогих и важных черт в душевном облике молодого поколения — начал творческого и героического. Таким же родным, как и Володя Дубинин, стал для меня непридуманный, живший на самом деле и тоже безвременно погибший маленький, но феноменально одаренный художник Коля Дмитриев.

Можно было бы рассказать еще о многих поездках и путешествиях, о ряде замечательных встреч, о незабываемых часах, проведенных у Алексея Максимовича Горького, о свидании с Роменом Ролланом, сказавшим мне очень дорогие и важные слова про «Швамбранию» и некоторые мои рассказы.

Надо было бы, возможно, рассказать кое-что и о корреспондентской работе во время войны на сухопутных фронтах и в Заполярном флоте. И о многолетней работе у радиомикрофона, за которую я удостоен звания и знака «Почетный радист СССР»: о передачах с Красной площади и «Под часами с кукушкой» за «Круглым столом», радиопредседателем которого я был довольно долго... И о наших новогодних елках в Колонном зале Дома союзов и в Большом Кремлевском дворце, где я в течение нескольких лет выполнял функции литературного деда-мороза. И о моих студентах в Литературном институте, где я стараюсь избавить начинающих от тех ошибок, без которых не обошлась моя собственная молодость.

И хорошо было бы, наверное, вспомнить о послевоенном плавании на кораблях нашего флота вокруг Европы летом 1946 года — об этом и была написана для ребят книжка «Далеко в море», а в 1947 году, вместе с моим спутником Сергеем Михалковым, книга для взрослых — «Европа слева». И о другом плавании, когда Европа была справа... И об увлекательной поездке в Италию на Белую Олимпиаду в Доломитовых Альпах, на VII Зимние Олим-

пийские игры в Кортина д'Ампеццо, после чего я смог завершить, наконец, долго писавшийся спортивно-приключенческий роман «Ход Белой Королевы» (1956)... И о зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли, в горах Сьерра-Невады, и о Белой Олимпиаде на тирольских кручах в Инсбруке, и об олимпиадах в Риме и Токио, где я работал специальным корреспондентом. Не мешало бы сообщить о поездке «с Маяковским» по Италии в 1958 году, когда довелось поколесить от Сицилии до Генуи, рассказывая о поэте в Палермо, Неаполе, Риме, Равенне, Милане, Альфонсине и т. д.

Стоило бы, пожалуй, сказать о книжке «Дело вкуса» (1958), которой я на основании 20-летнего опыта публичных бесед с молодежью на эти темы рискнул вторгнуться в сферу эстетического воспитания, борьбы с пошлостью, мещанством, безвкусицей... И хорошо было бы назвать нелегко давшуюся мне книжку «Про жизнь совсем хорошую» (1959), где я попытался заглянуть в коммунистическое будущее и пометать о завтрашнем нашем дне вместе с моими читателями, которые своими письмами и надумили меня написать об этом.

Под конец, по всей вероятности, законно было бы назвать роман «Чаша гладиатора» (1961), роман с приключениями, переживаниями и путешествиями, и маленькую повесть «Будьте готовы, Ваше высочество!», в которой я «открыл» для себя и читателей третью, после Швамбрании и Синегории, страну — Джунгахору.

Но я позволю себе лишь хитро упомянуть обо всем этом: боюсь, что, говоря подробнее, можно утратить спасительное чувство юмора, без которого трезво смотрящий на вещи человек не рискнет говорить о себе. И потому предпочитаю, чтобы вразумительнее и подробнее про все вышеупомянутое писал бы кто-нибудь другой...

У
Кондуити
Швалбрана
Повестъ



КОНДУИТ и ШВАМБРАНИЯ

**П о в е с т ь
о
НЕОБЫЧАЙНЫХ
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ДВУХ РЫЦАРЕЙ,
в поисках справедливости
открывших на материке
Большого Зуба
ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО
ШВАМБРАНСКОЕ,
с
описанием
удивительных событий,
происшедших
на блуждающих островах,
а также о многом ином,
изложенном
бывшим швамбранским адмиралом
Арделяром Кейсом,
ныне живущим под именем
Льва Кассиля,
с
приложением множества
тайных документов,
мореходных карт,
государственного герба
и
собственного
флага**

Книга первая Кондуит

СТРАНА ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В

Открытие

Вечером 11 октября 1492 года Христофор Колумб, на 68-й день своего плавания, заметил вдали какой-то движущийся свет. Колумб пошел на огонек и открыл Америку.

Вечером 8 февраля 1914 года мы с братом отбывали наказание в углу. На 12-й минуте братишку, как младшего, помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечет, и остался в углу. Несколько минут затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На 4-й минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли Швамбранию.

Пропавшая королева, или Тайна ракушечного грота

Все началось с того, что пропала королева. Она исчезла среди бела дня, и день померк. Самое ужасное заключалось в том, что это была папина королева. Папа увлекался шахматами, а королева, как известно, весьма полномочная фигура на шахматной доске.

Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный токарем по специальному папиному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами.

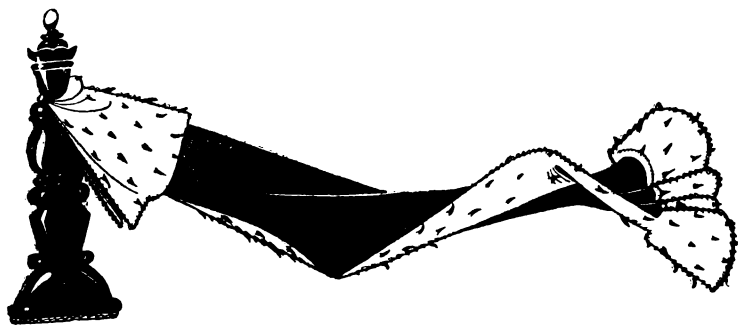
Нам строго запрещалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно.

Точеные лакированные фигурки предоставляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр. Пешки, например, могли отлично нести обязанности солдатиков и кеглей. У фигур была скользящая походка полотеров: к их круглым подошвам были приклеены сукопочки. Туры могли сойти за рюмки, король — за самовар или генерала. Шишаки офицеров походили на электрические лампочки. Пару вороних и пару белых коней можно было запрячь в картонные пролетки и устроить биржу извозчиков или карусель. Особенно же были удобны обе королевы: блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке и за архиерея... Нет, никак нельзя было удержаться, чтобы не трогать шахмат!

В тот исторический день белая королева-извозчик подрядилась везти на черном коне черную королеву-архиерея к черному королю-генералу. Они поехали. Черный король-генерал очень хорошо угостил королеву-архиерея. Он поставил на стол белый самовар-король, велел пешкам натереть клетчатый паркет и зажег электрических офицеров. Король и королева выпили по две полные туры.

Когда самовар-король остыл, а игра наскучила, мы собрали фигуры и уже хотели их уложить на место, как вдруг — о ужас! — мы заметили исчезновение черной королевы...

Мы едва не протерли коленки, ползая по полу, заглядывая под стулья, столы, шкафы. Все было напрасно. Ко-



ролева, дрянь точеная, исчезла бесследно! Пришлось сообщить маме. Она подняла на ноги весь дом. Однако и общие поиски ни к чему не привели. На наши стриженные головы надвигалась неотвратимая гроза. И вот приехал папа.

Да, это была непогодка! Какая там гроза! Вихрь, ураган, циклон, самум, смерч, тайфун обрушился на нас! Папа бушевал. Он называл нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить ценить вещи и бережно обращаться с ними. Он кричал, что в нас заложен разбойничий инстинкт разрушения и он не потерпит этого инстинкта и вандализма.

— Марш оба в «аптечку» — в угол! — закричал в довершение всего отец. — Вандалы!!!

Мы поглядели друг на друга и дружно заревели.

— Если бы я знал, что у меня такой папа будет, — ревел Оська, — ни за что бы в жизни не родился!

Мама тоже часто заморгала глазами и готова была «канюнуть». Но это не смягчило папу. И мы побрели в «аптечку». «Аптечкой» у нас почему-то называлась полутемная проходная комната около уборной и кухни. На маленьком оконце стояли пыльные склянки и бутылки. Вероятно, это и породило кличку.

В одном из углов «аптечки» была маленькая скамеечка, известная под названием «скамьи подсудимых». Дело в том, что папа-доктор считал стояние детей в углу негигиеничным и не ставил нас в угол, а сажал.

Мы сидели на позорной скамье. В «аптечке» синели тюремные сумерки. Оська сказал:

— Это он про цирк ругался... что там ведмедь с вещами обращается? Да?

— Да.
— А вандалы тоже в цирке?
— Вандалы — это разбойники, — мрачно пояснил я.
— Я так и догадался, — обрадовался Оська, — на них набуты кандáлы.

В кухонной двери показалась голова нашей кухарки Аннушки.

— Что же это такое? — негодуяще всплеснула руками Аннушка. — Из-за бариновой бирюльки дитёв в угол содят... Ах вы, грешники мои! Принести, что ль, кошку поиграться?

— А ну ее, твою кошку! — буркнул я, и уже погасшая обиды вспыхнула с новой силой.

Сумерки сгущались. Несчастливый день заканчивался. Земля поворачивалась спиной к Солнцу, и мир тоже повернулся к нам самой обидной стороной. Из своего позорного угла мы обзоредали несправедливый мир. Мир был очень велик, как учила география, но мёста для детей в нем не было уделено. Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, скакали верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы... А дети стояли в углах. Взрослые забыли, наверно, свои детские игры и книжки, которыми они зачитывались, когда были маленькими. Должно быть, забыли! Иначе они бы позволяли нам дружить со всеми на улице, лазить по крышам, бултыхаться в лужах и видеть кипиток в шахматном короле...

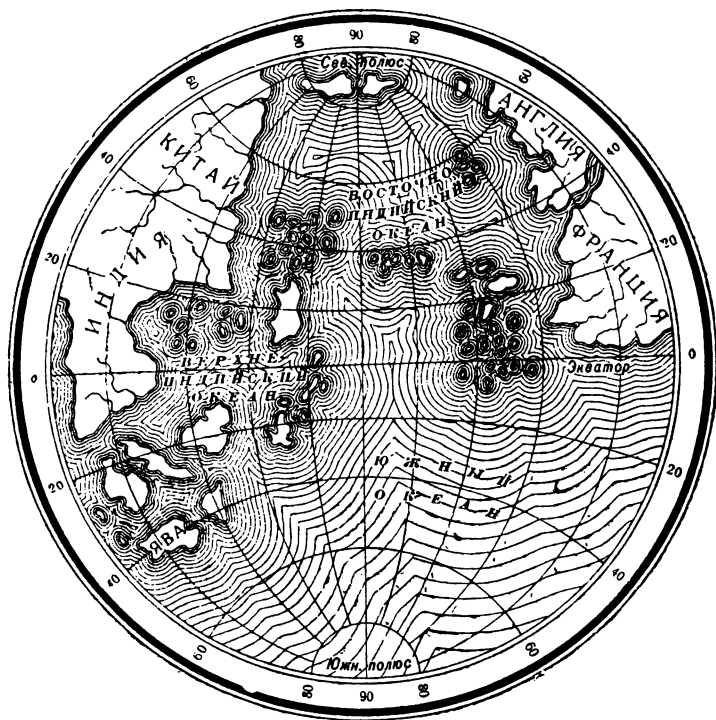
Так думали мы оба, сидя в углу.

— Давай убежим! — предложил Оська. — Как припустимся!

— Беги, пожалуйста, кто тебя держит!.. Только куда? — резонно возразил я. — Все равно всюду большие, а ты маленький.

И вдруг ослепительная идея ударила мне в голову. Она пронизала сумрак «аптечки», как молния, и я не удивился, услышав последовавший вскоре гром (потом оказалось, что это Аннушка на кухне уронила противень).

Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она была здесь, около нас. Ее надо было только выдумать. Я уже видел ее в темноте. Вон там, где дверь в уборную, — пальмы, корабли, дворцы, горы...



Карта мира до путешествия Колумба. Америки на ней нет.

— Оська, земля! — воскликнул я задыхаясь. — Земля! Новая игра на всю жизнь!

Оська прежде всего обеспечил себе будущее.

— Чур, я буду дудеть... и машинистом! — сказал Оська. — А во что играть?

— В страну!.. Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а еще как будто в такой стране... в нашем государстве. Левое вперед! Даю подходный.

— Есть левое вперед! — отвечал Оська. — Ду-у-у-у-у!!!

— Тихай! — командовал я. — Травя носовую! Выпускать пары!

— Ш-ш-ш... — шипел Оська, давая тихий ход, травя носовую и выпуская пары.

И мы сошли со скамейки на берег новой страны.

— А как она будет называться?

Любимой книгой нашей были в то время «Греческие мифы» Шваба. Мы решили назвать свою страну Швабранией. Но это напоминало швабру, которой моют полы. Тогда мы вставили для благозвучия букву «м», и страна наша стала называться Швамбрания, а мы — швамбраними. Все это должно было сохраняться в строжайшей тайне.

Мама скоро освободила нас из заточения. Она и не подозревала, что имеет дело с двумя подданными великой страны Швамбрании.

А через неделю нашлась королева. Кошка закатила ее в щель под сундуком. Токарь к этому времени выточил для папы нового ферзя, поэтому королева досталась нам в полное владение. Мы решили сделать ее хранительницей швамбранской тайны.

У мамы в спальне, на столе, за зеркалом, стоял красивый, всеми забытый грот, сделанный из ракушек. Маленькие решетчатые медные дверцы закрывали вход в уютную пещерочку. Она пустовала. Туда мы решили замуровать королеву.

На бумажке мы выписали три буквы: «В. Т. Ш.» (Великая Тайна Швамбрании). Слегка отодрав суконку от королевской подставки, мы засунули туда бумажку, посадили королеву в грот и сургучом запечатали дверцы. Королева была обречена на вечное заточение. О ее дальнейшей судьбе я расскажу потом.

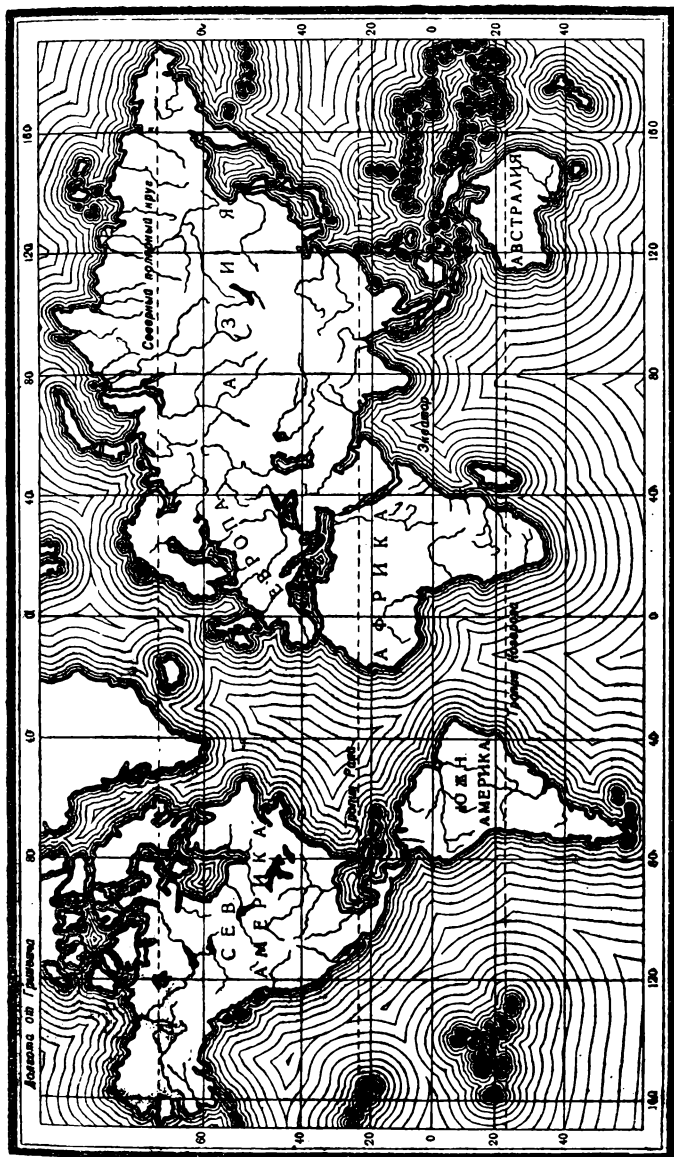
Запоздавшее предисловие

Швамбрания была землей вулканического происхождения.

Раскаленные зреющие силы бушевали в нас. Их стискивал отвердевший, закаменелый уклад старой семьи и общества.

Мы хотели много знать и еще больше уметь. Но начальство разрешало нам знать лишь то, что было в гимназических учебниках и вздорных легендах, а уметь мы совсем ничего не умели. Этому нас еще не научили.

Мы хотели участвовать в жизни наравне со взрослыми — нам предлагали играть в солдатики, иначе вмешивались родители, учитель или городской.



Карта мира до нашего открытия. Шамбрани на ней нет...

Много людей жило в слободе, ходило по улицам, толкалось во дворе. Но мы могли общаться лишь с теми, кто был угоден нашим воспитателям.

Мы играли с братишкой в Швамбранию несколько лет подряд. Мы привыкли к ней, как ко второму отечеству. Это была могущественная держава. Только революция — суровый педагог и лучший наставник — помогла нам вдребезги разнести старые привязанности, и мы покинули мишурное пепелище Швамбрании.

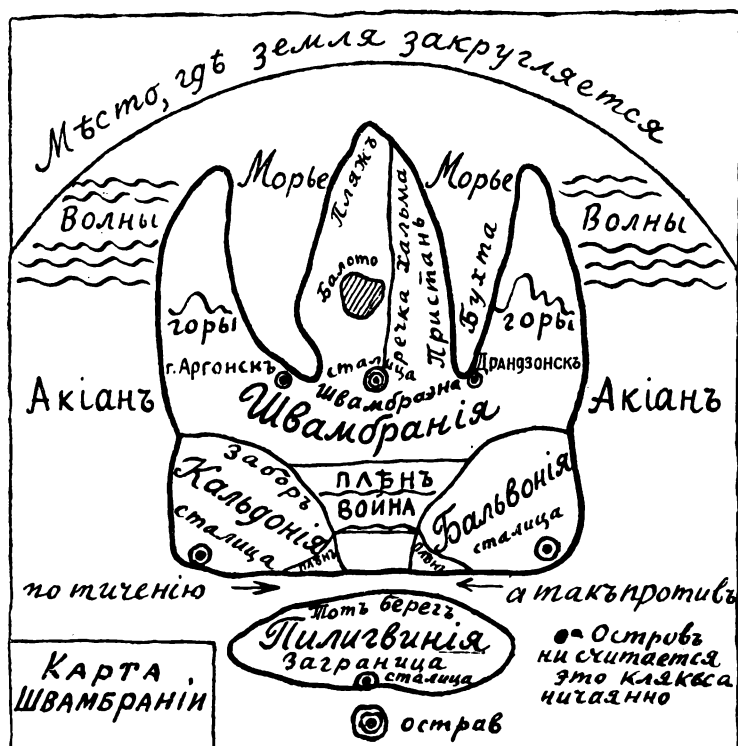
У меня сохранились «швамбранские письма», географические карты, военные планы Швамбрании, рисунки ее флагов и гербов. По этим материалам, по воспоминаниям и написана повесть. В ней, между прочим, рассказывается история Швамбрании, описываются путешествия швамбран, наши приключения в этой стране и многое другое...

География

Можно убедиться,
что земля поката, —
сядь на собственные ягодыцы
и катись!
Маяковский

Как и всякая страна, Швамбрания должна была иметь географию, климат, флору, фауну и население.

Первую карту Швамбрании начертил Оська. Он срисовал с какой-то зубоврачебной рекламы большой зуб с тремя корнями. Зуб был похож на тюльпан, на корону Нибелунгов и на букву «Ш» — заглавную букву Швамбрании. Было заманчиво усмотреть в этом особый смысл, и мы усмотрели: то был зуб швамбранской мудрости. Швамбрании были приданы очертания зуба. По океану были разбросаны острова и кляксы. Около клякс имелась честная надпись: «Остров ни считается это клякса ничаянно». Вокруг зуба простирался «Акиан». Ося провел по глади океана бурные зигзаги и засвидетельствовал, что это «волны»... Затем на карте было изображено «морье», на котором одна стрелка указывала: «по тичению», а другая заявляла: «а так против». Был еще «пляж», вытянувшаяся стрункой речка Хальма, столица Швамбразна,



Карта Швамбраніи в эру Пилигвинских и Бальвонских войн.

города Аргонск и Драндзонск, бухта Заграница, «тот берег», пристань, горы и, наконец, «место, где земля закругляется».

Кривизна нашей подножной планеты очень беспокоила Оську. Он сам стремился безоговорочно убедиться в ее круглости. Хорошо еще, что мы не были знакомы в то время с Маяковским, иначе погибли бы Оськины штанишки, ибо, разумеется, он проверил бы покатошь земли собственным сиденьем... Но Ося нашел другие способы доказательств. Перед тем как закончить карту Швамбраніи, он со значительным видом повел меня за ворота нашего двора. Около амбаров еле заметно возвышались над пло-

щадью остатки какой-то круглой насыпи — не то земляного постамента для часовни, не то клумбы. Время почти сровняло эту жалкую горбушку. Оська, сияя, подвел меня к ней и величественно указал пальцем.

— Вот, — изрек Оська, — вот место, где земля закругляется.

Я не посмел возразить: возможно, что земля закруглилась именно здесь. Но, чтоб не спасовать перед младшим братом, я сказал:

— Это что! Вот в Саратове, я видел, есть одно место — там еще не так закругляется.

Необычайно симметричной получилась на карте наша Швамбрания. Строгим очертаниям швамбранского материка мог бы позавидовать любой орнамент. На западе — горы, город и море. На востоке — горы, город и море. На лево — залив, направо — залив. Эта симметрия осуществляла ту высокую справедливость, на которой зиждилось Швамбранское государство и которая лежала в основе нашей игры. В отличие от книг, где добро торжествовало, а зло попиралось лишь в последних главах, в Швамбрании герои были вознаграждены, а негодяи уничтожены с самого начала. Швамбрания была страной сладчайшего благополучия и пышного совершенства. Ее география знала лишь плавные линии.

Симметрия — это равновесие линий, линейная справедливость. Швамбрания была страной высокой справедливости. Все блага, даже географические, были распределены симметрично. На лево — залив, направо — залив. На западе — Драндзонск, на востоке — Аргонск. У тебя — рубль, у меня — целковый. Справедливость.

История

Теперь, как подобает настоящему государству, Швамбрании надо было обзавестись историей. Полгода игры вместили в себя несколько веков швамбранской эры.

Как сообщали книги и учебники, история всех порядочных государств была полна всякими войнами. И Швамбрания спешно принялась воевать. Но воевать, собственно, было не с кем. Тогда пришлось низ Большого Зуба отсечь

двумя полукругами. Около написали: «Забор». А в отсеках появились два вражеских государства: «Кальдония» — от слов «колдун» и «Каледония» — и «Бальвония», сложившаяся из понятий «болван» и «Боливия». Между Бальвонией и Кальдонией находилось гладкое место. Оно было специально отведено под сражения. На карте так и значилось: «Война».

Слово это, черное и жирное, мы вскоре увидели в газетах...

В нашем представлении война происходила на особой, крепко утрамбованной и чисто выметенной, вроде плац-парада, площадке. Земля здесь не закруглялась. Место было ровное и гладкое.

— Вся война покрыта тротуаром, — убеждал я брата.

— А Волга на войне есть? — интересовался Оська.

Для него слово «Волга» обозначало всякую вообще реку.

По бокам «войны» помещались «плены». Туда забирали завоеванных солдат. На карте это тоже было отмечено троекратной надписью: «Плен».

Войны в Швамбрании начинались так. Почтальон звонил с парадного входа дворца, в котором жил швамбранский император.

— Распишитесь, ваше императорское величество, — говорил почтальон. — Заказное.

— Откуда бы это? — удивлялся император, мусоля карандаш.

Почтальоном был Оська, царем — я.

— Почерк вроде знакомый, — говорил почтальон. — Кажись, из Бальвонии, от ихнего царя.

— А из Кальдонии не получалось письма? — спрашивал император.

— Пишут, — убежденно отвечал почтальон, точно копируя нашего покровского почтаря Небогу. (Тот всегда говорил «пишут», когда его спрашивали, есть ли нам письма.)

— Царица! Дай шпильку! — кричал затем император.

Вскрыв шпилькой конверт, император Швамбрании читал:

«Дорогой господин царь Швамбрании!

Как вы поживаете? Мы поживаем ничего, слава богу, вчера у нас вышло сильное землетрясение, и три вулкана

извергнулись. Потом был еще сильный пожар во дворце и сильное наводнение. А на той неделе получилась война с Кальдонией. Но мы их разбили наголо и всех посадили в Плен. Потому что бальвонцы все очень храбрые и герои. А все швамбранцы дураки, хулиганы, галахи и вандалы. И мы хотим с вами воевать. Мы божьей милостью объявляем в газете вам манифест. Выходите сражаться на Войну. Мы вас победим и посадим в Плен. А если вы не выйдете на Войну, то вы трусы, как девчонки. И мы на вас презираем. Вы дураки.

Передайте поклон вашей мадам царице и молодому человеку наследнику.

На подлинном собственной ногой моего величества отпечатано каблуком

Бальвонский Царь».

Прочтя письмо, император сердился. Он снимал со стены саблю и звал точильщиков. Потом он посылал бальвонскому обидчику «телеграмму с нарочным и заплоченным обратом». В телеграмме было написано:

ИДУ НА ВЫ

В учебнике русской истории подобные предупреждения посылал своим врагам не то Ярослав, не то Святослав. «Иду на вы» — телеграфировал великий князь каким-нибудь там печенегам или половцам и мчался «отмстить неразумным хозарам». Но с таким нахалом, как бальвонский царь, не стоило говорить на «вы», поэтому швамбранский император зачеркивал в сердцах «иду на вы» и писал: «иду на ты». Потом царь приглашал на визит поставщика медицины двора его величества, лейб-обер-доктора, и начинал призываться.

— Ну-с, — говорил лейб-обер-доктор, — как мы живем? Что желудок? Э-э... стул, то есть трон, был?.. Сколько раз? Дышите!

После этого царь говорил кучеру:

— Но! Трогай с богом! Гони их в хвост и в гриву!

И ехал на войну. Все кричали «ура» и отдавали честь, а царица махала из окошка чистым платком.

Разумеется, из всех войн Швамбрания выходила победительницей. Бальвония была завоевана и присоединена

к Швамбрании. Не успели подмести «плац-войну» и проветрить «плен», как на Швамбранию полезла Кальдония. Она была тоже покорена. В заборе крепости проделали калитку, и швамбраны могли ходить в Кальдонию без билета во все дни, кроме воскресенья.

На «том берегу» было отведено на карте место для заграницы. Там жили дерзкие пилигвины — путешественники по ледяным странам, нечто среднее между пилигримами и пингвинами. Швамбраны несколько раз встречались с пилигвинами на плаце войны. Побеждали и здесь всегда швамбраны. Однако мы не присоединили пилигвинов к Швамбранской империи, иначе нам просто не с кем бы стало воевать. Пилигвиния была оставлена для «развития истории».

От Покровска до Драндзонска

В Швамбрании мы обитали на главной улице города Драндзонска, в бриллиантовом доме, на 1001-м этаже. В России мы жили в слободе Покровской (потом город Покровск), на Волге, против Саратова, на Базарной площади, в первом этаже.

В открытые окна рвалась визгливая булга торговков. Прямая ветошь базара громоздилась на площади. Хрумкая жвачка сотрясала торбы распряженных лошадеенок... Вozy молитвенно простирали к небу оглобли. Снедь, рухлядь, бакалея, зелень, галантерея, рукоделие, обжорка... Тонкокорые арбузы лежали в пирамидках, как ядра на бастIONах в картине «Севастопольская оборона».

Картина эта шла за углом в синемаатографическом электротееатре «Эльдорадо». Кинематограф всегда окружали козы. У афиш, расклеенных на мучном клейстере, паслись целые стада.

От «Эльдорадо» до нашей квартиры шла так называемая Брешка, или Брехаловка. Вечерами на Брехаловке происходило гулянье. Вся Брешка — два квартала. Гуляющие часами толкались туда и назад, от угла до угла, как волночки в ванне от борта до борта. Девчата с хуторов двигались посередине. Они плыли медленно, колыхаясь. Так плывут арбузные корки у волжских пристаней. Сплошной треск разгрызаемых каленых семечек стелился над

толпой. Вся Брешка была черна от шелухи подсолнухов. Семечки называли у нас «покровский разговор».

Вдоль Брешки рядом стояли парни в резиновых ботах, напаянных на сапоги. Парни шикарно согнутым мизинцем снимали с губ гирлянды налипшей скорлупы. Парни изысканно обращались к девочкатам:

— Спозвольте прицепиться. Як вас по имени кличут... Маруся чи Катя?

— А ну не замай... Який скорый! — отвечала неприступная. — Ну, хай тобі бис... чипляйся.

И целый вечер грузно толкалась перед окнами грего-чушая, лузгающая хуторская Брехаловка.

А мы сидели в темной гостиной на подоконнике. Мы глядели на полутемную улицу. Мимо плыла Брешка. А на подоконнике воздвигались невидимые дворцы, воздушные замки, распускались пальмы, неслышная канонада сотрясала нас. Разрушительные снаряды нашего воображения рвали ночь. Мы расстреливали со своего подоконника Брешку. На подоконнике была Швамбрания.

Нас доставали гудки волжских пароходов. Они тянулись из далекой глубины ночи, будто нити: одни тонюсенькие и дрожащие, как волосок в электролампочке, другие толстые и тугие, словно басовая струна в рояле. И на конце каждой нити висел где-то в сыром надволжье пароход. Мы наизусть знали азбуку пароходных высказываний. Мы читали гудки, как книгу. Вот бархатный, торжественный, высоко забирающий и медленно садящийся «подходный» гудок парохода общества «Русь». Где-то выругал зазевавшуюся лодку сиплый буксир, запряженный в тяжелую баржу. Вот два кратких учтивых свистка: это по-встречались «Самолет» с «Кавказ-и-Меркурием». Мы даже знаем, что «Самолет» идет вверх, в Нижний, а «Кавказ и Меркурий» — вниз, в Астрахань, ибо «Меркурий», соблюдая речной этикет, поздоровался первым.

Джек, Спутник Моряков

Вообще мир для нас — это бухта, заставленная пароходами, жизнь — сплошная навигация, каждый день — рейс. Все швамбраны, само собой понятно, — мореходы и

водники. У каждого во дворе ошвартован свой пароход. И самым уважаемым гражданином Швамбрании признан Джек, Спутник Моряков.

Этот государственный муж обязан своим происхождением маленькой книжке «Карманный спутник моряков и словарь необходимых разговорных фраз». Книжку эту, васаленную до прозрачности, мы купили на базаре за пятак и всю мудрость ее вложили в уста новому герою — Джеку, Спутнику Моряков. Так как в книжке был, кроме краткой логии и навигации, словарь, то Джек стал настоящим полиглотом. Он разговаривал по-немецки, по-английски, по-французски и по-итальянски.

Я, изображая Джека, просто читал подряд словарь разговорных фраз. Получалось очень здорово.

— Гром, молния, смерч, тифон! — говорил Джек, Спутник Моряков. — Доннер, блиц, вассерхозе!.. Здравствуйте, сударь или сударыня, гоод морнинг, бонжур. Говорите ли вы на других языках? Да, я говорю по-немецки и по-французски. Доброго утра, вечера. Прощайте, гутен морген, абенд, адье. Я прибыл на пароходе, на корабле, пешком, на лошадях; пар мер, а пье, а шваль... Человек за бортом. Ун уомо ин маре. Как велика плата за спасение? Вифиль ист дер бергелон?

Иногда Джек бесстыдно завирался. Мне приходилось краснеть за него.

— Лопман посадил меня на мель, — сердился Джек, Спутник Моряков на сто третьей странице, но тут же, на сто четвертой, признавался на всех языках: — Я нарочно посадил судно на мель, чтобы спасти часть груза...

Наш покровский день мы открываем подходным гудком еще в постелях. Это мы возвращаемся из ночной Швамбрании. Аннушка терпеливо присутствует при утренней процедуре.

— Тихай! — командует Оська, отгудев. — Бросай чалку!

Мы сбрасываем одеяла.

— Стой! Спускай трап!

Мы спускаем ноги.

— Готово! Приехали! Слезай!

— С добрым утром!

Наш дом — тоже большой пароход. Дом бросил якорь в тихой гавани Покровской слободы. Папин врачебный кабинет — капитанский мостик. Вход пассажирам второго класса, то есть нам, запрещен. Гостиная — рубка первого класса. В столовой — кают-компания. Терраса — открытая палуба. Комната Аннушки и кухня — третий класс, трюм, машинное отделение. Вход пассажирам второго класса сюда тоже запрещен. А жаль... Там настоящий дым.

Труба не «как будто», а настоящая. Топка гудит подлинным огнем. Аннушка, кочегар и машинист, шурует кочергой и ухватами. Из рубки требовательно звонят. Самовар дает отходный свисток. Самовар бежит, но Аннушка ловит его и несет, плененного, в кают-компанию. Она несет самовар на вытянутых руках, немного на отлете. Так несут младенцев, когда они собираются неприлично вести себя.

Нас требуют «наверх», и мы покидаем машинное отделение дома.

Мы уходим нехотя. Кухня — главный иллюминатор нашего парохода. Как говорится, окошко в мир. Туда вечно заходят люди, про которых нам раз навсегда сказано, что это не подходящее знакомство. Неподходящим знакомством называются: старьевщики, точильщики, шарманщики, разносчики, черкесы-слесари, стекольщики, почтальоны, пожарные, нищие, трубочисты, дворники, соседские кухарки, угольщики, цыганки-гадалки, ломовые извозчики, бондари, кучера, дровоколы... Все это пассажиры третьего класса. Вероятно, они самые лучшие, самые интересные люди в мире. Но нас уверяют, что вокруг них так и реют, так и кишат всякие микробы и зловредные бактерии.

Оська однажды спросил даже нищего золотаря, помойных дел мастера Левонтия Абрамкина:

— А правда, говорят, на вас киша-кишмят... нет... кимшат, ну, то есть лазают, скарлатинки?

— Ну, — обиделся Левонтий, — какие там скарлатинки?... Это на мне просто так, обыкновенные воши... А скарлатины — такой животной и нет вовсе... Скарланпендря есть, так то засекомая, вроде змеи. В кишках существует.



— А у вас, значит, — обрадовался Оська, — скарлапендра в кишках кишмит? Да?

Абрамкин обиделся окончательно, нахлобучил шапку и сердито захлопнул за собой дверь.

Очень поучительное место эта кухня. В Швамбрании у нас царь сам сидит в кухне и всем другим позволяет. В Покровске перед рождеством, например, приходят сюда колядовать ребята. Они поют:

Маланья ходыла,
Васильку просыла:
— Василько, батько мий...

На Новый год является «проздравить» сам городской. Он стучает каблуками и говорит:

— Честь имею...

Ему выносят на блюде рюмку водки и серебряный рубль. Городовой берет целковый, благодарствует и пьет за наше здоровье. Мы смотрим ему в рот. Крякнув, городской замирает, предаваясь внутреннему созерцанию, словно прислушиваясь, как вливается водка в его полицейский

желудок. Затем он опять щелкает каблуками и прикладывает руку к козырьку.

— Зачем это он? — шепотом интересуется Оська.

— Это он отдает нам честь, — поясняю я. — Помнишь, когда он вошел сначала, он сказал: «Имею честь»? А теперь он ее отдает нам.

— За рубль? — спрашивает Оська.

Городовой смущен.

— Вы что тут торчите, архаровцы? — раздается бас отца.

— Папа, — кричит Оська, — а нам тут полицейский честь отдал за рубль!

— Переплатили, переплатили! — хохочет отец. — Полицейская честь и пятака не стоит... Ну, живо, марш из кухни!.. Как это у вас там? Левое назад, правое вперед...

Домашний капитан

Отец — высоченный пышно-курчавый блондин. Это невероятно работоспособный человек. Он не знает, что такое усталость. Зато, наработавшись, он может выпить целый самовар. Двигается он быстро и говорит громко. Когда папа, рассердившись, кричит иной раз на бестолковых пациентов-хуторян, то мы всегда боимся, как бы больные не умерли со страху. Мы бы на их месте обязательно умерли.

Но, кроме того, папа очень веселый человек. И бывает так: придет к нему больной, у которого «в грудях як огнем пече», а через несколько минут забудет про грудь и хватается за живот — заболел от смеха... А когда отец начинает грохотать сам, то кошка стремглав бросается под буфет и в аквариуме идет зыбь. К ужасу Аннушки, он выносит маму к обеду на руках. Он ставит ее на пол и говорит: «Вот барыня приехала».

Много веселых слов знает отец.

— Жри да рожу пачкай, — говорит он нам за обедом. — Эй вы, братья-разбойники, кальдонцы, бальвонцы, подберите нюни! — И ущемляет наши носы между указательным и средним пальцами.

И это у него собезьянничал швамбранский царь манеру говорить кучеру: «Дуй их в хвост и в гриву».

Иногда, упорно отстаивая новую койку для общественной больницы, он выступает на волостных сходках. А сход — богатеи хуторяне — сыто бубнит: «Нэ треба...» Потом в газетке «Саратовский вестник» обязательно описывается, как господин старшина призывал господина доктора к порядку, а господин доктор требовал занесения в протокол слов господина Гутника, а господин Гутник на это...

Отец знаком со всей слободой. Нарядные свадебные кортежи почти всегда считают долгом остановиться перед нашими окнами. Цветистая кутерьма окружает тогда наш дом. Брешка засеяна конфетами: их швыряют пригоршнями с саней в толпу. Сотни бубенцов брякают на перевитых лентами хомутах. На передних санях рывкает среди ковров оркестр. И пляшут, пляшут прямо в широких саниях, с лентами и бумажными цветами в руках багровые визжащие свахи.

А еще вспоминали об отце и такое.

В слободе прежде шибко хулиганили. «Фулиганы», как называли их покровчане, были пожилыми семейными людьми... От хулиганов этих в слободе не было житья. Полиция бездействовала.

Жители решили действовать сами. Был составлен список самых матерых разбойников. По этому списку адресов толпа шла из улицы в улицу. Толпа шла и убивала...

Было это глухой ночью.

Один из главарей хулиганской банды скрылся у папы в больнице. Он действительно был серьезно болен. Он умолял спасти его. Он валялся в ногах у папы.

— Бьют вас за дело. Только ваше счастье, что вы заболели вовремя. В данную минуту вы для меня прежде всего пациент, больной. И больше я ничего знать не хочу. Вставайте с пола, ложитесь на койку.

Распаленная толпа осадила больницу. Она ярилась и гудела у закрытых ворот. Отец вышел за ограду к толпе.

— Чего надо? Не пушу, — сказал отец, — поворачивайте-ка оглобли! Вы мне еще тут заразы нанесете в родильный. Дезинфицируй потом...

— Ты, доктор, только бы Балбаша на руки выдал... Под расписку. Мы б его... вылечили.

— У больного Балбашенко, — строго и отдельно ответил папа, — высокая температура. Я не могу его выписать. И никаких разговоров! И не шумите. А то больные пугаются — это им вредно.

Толпа тихо подвинулась ближе. Но тут из нее вышел старый грузчик и сказал так:

— Доктор, ребята, правильно излагает. Им ихняя специальность не позволяет. Пошли, ребята. А только мы Балбаша и после закончим. Извиняйте за беспокойство.

Балбаша «закончили» через три месяца.

Земля Ханонская

Папа очень вспыльчив. В сердцах он оглушитель. Нам тогда влетает «под первое число» и под двадцатое. Нам всыпается и в хвост и в гриву, нас распекают во всю ивановскую, нам прописывают ижицу... Тогда на сцену выступает мама. Мама у нас служит модератором (глушителем) в слишком бравурных папиных разговорах. Папа начинает звучать тише.

Мама — пианистка, учительница музыки. Целые дни у нас по дому разбегаются «расходящиеся гаммы», скачут, пиликают экзерсисы — упражнения. Унылый голос насморочной ученицы сонно отсчитывает:

— Раз-ыи, два-ыи, три-ыи... Раз-ыи, два-ыи...

И мама поет на мотив бессмертного «Ханона»:

— Первый, пятый, третий палец, снова первый и четвертый. Тише руку, не качайте. Пятый, первый...

И все наше детство было положено на эту музыку. У меня до сих пор все воспоминания покоятся на мотив «Ханона». Только дни, утонувшие в липкой микстуре жара, дни нашего дифтерита, кори, скарлатины, крупы вспоминаются без аккомпанеента. Мама сама выхаживала нас.

Мама близорука. Она низко наклоняется к пюпитру, и к концу дня в глазах у нее рябит от черненьких вибрионов, которые называются нотами.

На папином столе в кабинете есть бумагодержатель — тонкая, длинная дамская рука из бронзы зажимает рецепты, почтовые квитанции, счета. Вот у матери точно такие руки. Изнеженной барышней она храбро покинула боль-

шой город и уехала с папой в «земство», в деревню, к далекой и глухой Вятке. Там ей суждено было просидеть много бессонных ночей у черного, разузоренного стужей окна. Из окна дуло. Ночник плаксиво моргал. За окном была страшная морозная зга и метель. И где-то в этой студеной воющей тьме плутал папа, скача на развалнях в далекое — километров за двадцать — село. Сбоку мерцали огоньки, но то были не дома, а волки. Замирал далекий колокол — маяк метельных ночей. Папа ехал на колокол. Из сугробов вылезало черное село. При зыбком свете лучины, в овчинной духоте папа делал неотложную операцию. Потом он ехал обратно, вымыв руки.

Гудок разбудил Швамбранию

Зимами по Покровску тоже ходит пурга. Степь снегами и вихрями вторгается в слободу. Всю ночь тогда покровские церкви мерно звонят. Колокол указывает дорогу заблудившимся в степи. Он берет путника за ухо и выводит на дорогу. Но у нас все дома. У нас тепло. За окнами крутится выюжное веретено и сучит тонкую нить, воя в трубе. Это свистит наш дом-пароход, укрывшийся от выюги и всех невзгод в тихой гавани.

У нас обычные гости: податной инспектор Терпаньян, маленький зубной врач Пуфлер. Оська только что по ошибке и ко всеобщему смущению назвал его «зубным порошком».

Папа засел за шахматы с податным, а мама играет на рояле менуэт Падеревского. Аннушка вносит самовар. Самовар фыркает на Аннушку: «Фррря...» И посвистывает: «Фефела...»

Веселый податной, как всегда, пугает Аннушку. В сотый раз он изображает, будто хочет сделать Аннушке «бочки». При этом податной издает какой-то особенный, свой обычный пронзительный звук:

— Кркльххх...

Аннушка в сотый раз пугается, визжит, а податной хохочет и спрашивает:

— Видал миндал?

Папа смотрит на часы и говорит:

— Ну, архаровцы, марш дрыхать! Мы вас не задерживаем.

Мы чинно говорим «покойной ночи» и идем отплывать в ночную Швамбранию.

Концы отданы, то есть ботинки сняты. В детской раздаются отходные свистки. Подается команда:

— Левое вперед! Ш-ш-ш-ш-ш... У... у!.. Средний ход! Вперед до полного!.. Полный!

Теперь мы опять швамбраны. Нам надоели тихие пристани, экзерсисы, звонки пациентов и кухонное отчуждение. Мы плывем на вторую родину. Берега Большого Зуба уже встают за тем местом, где земля закругляется. В ракушечном гроте томится королева, хранительница тайны. Дворцы Драндзонска ждут нас.

Прибытие. Я стою на капитанском мостике и нажимаю рычаг свистка. Вырастает гудок.

Длинный подходный гудок. Я открываю глаза. Покровск. Детская. Гудок. В окно бьется тревожный гудок. Вся комната завалена тяжелым, огромным гудком. Гудок ходит по дому, шаркая туфлями.

Гудит.

И тогда в доме оживают звонки. Звонят с парадного. Звонят из кабинета на кухню. Звонит телефон. Слышен папа.

— Ах, мерзавцы! — разносится по дому. — Что они? Не предвидели? Ну ладно. Есть носилки? Я уже готов. Лошадь выслана? Сейчас буду. В больнице знают.

Гудит, гудит чья-то большая беда.

Мама прибежала в детскую и рассказывает.

На костеольном заводе катастрофа, то есть несчастье: рухнула высокая стена сушилки. Хозяин велел положить на нее слишком много костей для сушки, а она была старая. Хозяина предупреждали. Стена не выдержала, упала. Пятьдесят рабочих под ней осталось. Папа с другими докторами уехал спасать раненых.

Да... Вот как... Вот как... Вот какие вещи происходят, оказывается...

Нет, у нас в Швамбрании этого бы никогда не могло быть. Никогда!

Критика мира и собственной биографии

Вместе со стеной костемольного завода рухнула и наша уверенность в благополучии могущественного племени взрослых. В их мире обнаружились там и сям изрядные мерзости. Мы подвергли мир жестокой критике. Мы установили, что:

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

1. Жизнью заправляют не все взрослые, а только те, кто носит форменные фуражки, хорошие шубы и чистые воротнички. Остальные, а их больше, называются «неподходящим знакомством».

2. Хозяин костемольного, убивший и искалечивший полсотни людей, не подходящих для знакомства, остался ненаказанным. Швамбраны никогда бы не приняли к себе такого.

3. Мы с Оськой ничего не делаем (только учимся), а Клавдюшка, Аннушкина племянница, моет полы и посуду у соседей, а карамель ест только в воскресенье. И она совсем безземельная: у нее нет никакой Швамбрании...

Мы заканчиваем нашу опись мирового неблагосостояния тем, что охватываем ее сбоку большой фигурной скобкой. Скобка похожа на летящую чайку. У носика чайки встает жаркое и требовательное слово: *Несправедливость*.

Езда „в народ“

Позже мы занесли в список несправедливости и наше воспитание. Сейчас я понимаю, что нельзя особенно бранить наших родителей. Они были только люди своего времени, и, уж конечно, совсем не худшие. Подлый уклад той жизни уродовал нас так же, как наших родителей. Но забавно: наши родители считали, что они не чужды даже демократизма в вопросах воспитания. Например, содеянную нами лужу у аквариума мы должны были вытирать сами. Звать для этого Аннушку запрещалось. Папа с гордостью распространялся об этом у знакомых. Затем в це-

лях воспитания в нас демократических чувств папа предпринимал поездки с нами без кучера. Нанималась таратайка с лошастью. Мы ехали «в народ». Правил сам папа, одетый в чесучовую рубаху. Папа со вкусом произносил «тпру», «но», «эй». Но, если на узкой дороге впереди показывалась какая-нибудь почтенная дама, возникало затруднение. Папа смущенно просил нас:

— Ну-ка, спойте, ребята, что-нибудь... только громче, чтоб она обернулась. Не могу же, в самом деле, я ей крикнуть: «Эй, берегись!» Тем более, это, кажется, знакомая...

Мы пели. Когда это не помогало и дама не сворачивала с дороги, папа посылал меня. Я слезал с таратайки, подходил к даме и вежливо говорил:

— Тетя, мадам... папа просит вас немножко подвинуться. А то проехать нельзя, и мы вас задавить можем нечаянно.

Дамы почему-то обычно обижались, но дорогу давали.

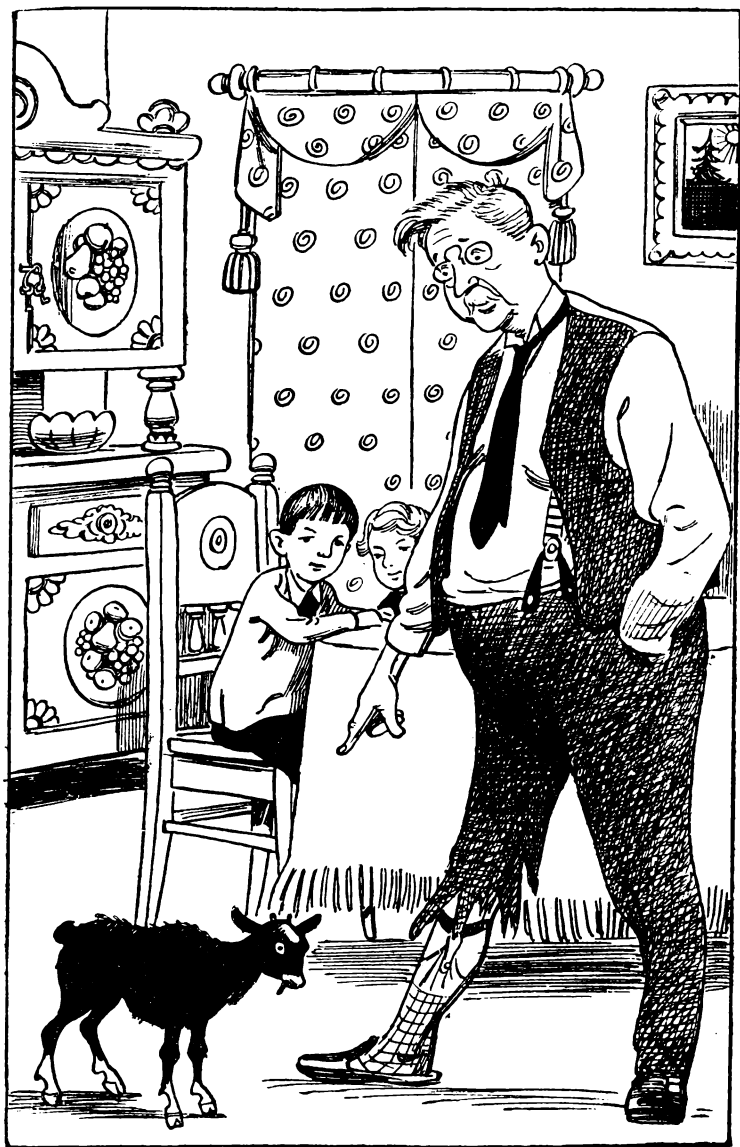
Кончилась эта езда «в народ» тем, что папа однажды опрокинул нас всех в канаву. С тех пор поездки прекратились.

Мир животных

Чтобы внедрить в нас любовь к «малым сим» и облагородить наши души, приобретались различные представители мира животных. Кроме кошек и собак, были рыбы. Рыбы жили в аквариуме. Однажды заметили, что маленькие золотые рыбки стали исчезать одна за другой. Оказалось, что Оська выуживал их, клал в спичечные коробки и зарывал в песок. Ему очень нравился похоронный церемониал. Во дворе обнаружили целое кладбище рыб.

Потом произошла неприятность с кошкой. Кошка отчаянно исполосовала Оськины руки. Дело в том, что Оська папиной зубной щеткой почистил кошке зубы...

Совсем грустная история вышла с козленком. Это живое начинание постигла полная неудача. Козленка папа купил специально для нас. Козленок был маленький, черный, крутолобый, мелко завитой. Он походил на воротник, убежавший с папиной шубы. Папа принес его в гостиную. Тонкие ножки козленка разъезжались на линолеуме.



Папа взглянул вниз и обмер...

— Вот, — сказал папа, — это вам. Смотрите ухаживайте за ним хорошенько!

Козленок в ответ на это сказал «бе-е-е» и тотчас посыпал «кедровых орешков» на ковер. Потом он объел обои в кабинете и намочил на кресле. Папа, к счастью, спал в то время после обеда и ничего этого не видел. Мы немного повозились с веселым козленком. Вскоре он надоел нам, и мы забыли о своем курчавом товарище. Козленок куда-то исчез. Через час в пустой гостиной неожиданно раскатисто загремели аккорды пианино. Это нашедшийся козленок прыгнул с разбегу на клавиши. Папа от этого проснулся и заторопился в больницу на вечерний обход. Не зажигая света, он натянул в темноте брюки и, зевая, вышел в столовую. Мы с испугу разом сели оба на один стул. Мама всплеснула руками. Папа взглянул вниз и обмер... Одна из штанин доходила ему лишь до колен. Изжеванные, мокрые, измусоленные клочья висели на ноге... Вот куда исчезал козленок!

В тот же вечер его отвезли обратно к хозяину.

Вокруг нас

Отец и мать работали с утра до вечера, а мы росли, положила руку на сердце, блистательными бездельниками. Нам было оборудовано классическое «золотое детство» — с идеалами, вычитанными из книжек «Золотой библиотеки». У нас была специальная гимнастическая комната, игрушечные поезда, автомобили и пароходы. Нас обучали языкам, музыке и рисованию. Мы знали наизусть сказки братьев Гримм, греческие мифы, русские былины. Но для меня все это померкло, когда я прочел некую книжку, называвшуюся, кажется, «Вокруг нас». В ней просто рассказывалось о том, как пекут хлеб, делают уксус, изготавливают кирпич, лют сталь, дубят кожу. Книжка эта раскрыла мне сложный и занимательный мир вещей и людей, их производящих. Соль на столе прошла через градирию, чугунок со щами — через доменную печь. Ботинки, блюдецки, ножницы, подоконники, паровозы, чай — все это, как оказалось, было изобретено, добыто, сработано огромным умелым трудом людей. Рассказ об овчине был не

менее интересен, чем миф о золотом руне. Мне нестерпимо захотелось самому мастерить нужные вещи. Но старые книги и учителя, воодушевленно повествуя о коронованных героях, ничего не сообщали о людях, делающих вещи. И из нас растили или белоручек, беспомощных и никчемных, или надменную касту чистоплюев — людей «чистого умственного труда». Правда, иногда нам дарили кубики и кирпичики и предлагали создавать художественные подобия машин. Энергия искала выхода. Мы выкорчевывали пружины диванов, изучая истинное строение вещей, и получали оглушительные нагоняи.

Мы даже завидовали некоему Фектистке, рябому ученику жестянщика. Фектистка презирал нас за наши короткие штаны. Правда, он был неграмотен, зато делал настоящие ведра, реальные совки, подлинные кружки, несомненные тазы и лоханки. Но как-то, купаясь, Фектистка показал нам на своем золотушном теле вполне реальные синяки, подлинные кровоподтеки — несомненные следы суровых наставлений хозяина. Жестянщик бил Фектистку. Он заставлял мальчика работать круглый день, кормил его всякой бросовой мерзостью и, дубася по худой Фектисткой спине, вбивал в него кулаками скобяную премудрость...

Умственность и рукомесло

Мы перестали завидовать Фектистке. Мучительные догадки влезли в наши головы.

Люди умственного труда подчинялись вещам и ничего не могли с ними поделать. А люди-мастера сами не имели вещей.

Когда в нашей квартире засорялась уборная, замок буфета ущемлял ключ или надо было передвинуть пианино, Аннушку посылали вниз, в полуподвал, где жил рабочий железнодорожного депо, просить, чтоб «кто-нибудь» пришел. «Кто-нибудь» приходил, и вещи смирялись перед ним: пианино отступало в нужном направлении, канализация прокашливалась и замок отпускал ключ на волю. Мама говорила: «Золотые руки» — и пересчитывала в буфете серебряные ложки...

Если же нижним жильцам требовалось прописать бра-

тельнику в деревню, они обращались к «их милости» наверх. И, глядя, как под диктовку строчатся «во первых строках» поклоны бесчисленным родственникам, умилялись вслух:

— Вот она, умственность! А то что наше ремесло? Чистый мрак без понятия.

А в душе этажи тихонько презирали друг друга.

— Подумаешь, искусство, — говорил уязвленный папа, — раковину в уборной починил... Ты вот мне сделай операцию ушной раковины! Или, скажем, трепанацию черепа.

А внизу думали:

«Ты вот полазил бы на карачках под паровозом, а то велика штука — перышком чиркать!»

Между нашим и полуподвальным этажами поддерживались такие же отношения, какие были в известной сказке у слепого пешехода и его приятеля — зрячего, но безногого. Взаимная тягостная зависимость скрепляла их сомнительную дружбу. Слепой носил на себе товарища. Безногий, сидя на шее приятеля, обзревал окрестности, устанавливал курс и командовал. Однако все же люди из группы «неподходящее знакомство» сами умели делать вещи. Может быть, они могли бы научить и нас, но... из нас готовили «людей чистого умственного труда», и нам оставалось клеить из бесплатных приложений к журналам безжизненные модели вещей, картонные корабли, бумажные заводы, утешаясь, что на материке Большого Зуба все жители, от мала до велика, не только читают наизусть сказки, но и сами могут хотя бы переплести их...

Бог и Оська

Оська был удивительным путаником. Он преждевременно научился читать и четырех лет запоминал все что угодно, от вывесок до медицинской энциклопедии. Все прочитанное он запоминал, но от этого в голове его царил кавардак: непонятные и новые слова невероятно перекувыркивались. Когда Оська говорил, все покатывались со смеху. Он путал помидоры с пирамидами. Вместо «летописцы» он говорил «пистолетцы». Под выражением

«сиволапый мужик» он разумел велосипедиста и говорил не сиволапый, а «велосипый мужчина». Однажды, прося маму намазать ему бутерброд, он сказал:

— Мама, намажь мне брамапутер...

— Боже мой, — сказала мама, — это какой-то вундеркинд!

Через день Оська сказал:

— Мама! А в конторе тоже есть вундеркинд: на нем стукают и печатают.

Он перепутал «вундеркинд» и «ундервуд».

Но у него были и свои верные понятия и взгляды.

Как-то мама прочла ему знаменитый нравоучительный рассказ о юноше, который поленился нагнуться за подковой и должен был потом подбирать с дороги сливы, умышленно роняемые отцом.

— Понял, в чем тут дело? — спросила мама.

— Понял, — сказал Оська. — Это про то, что нельзя из пыли ягоды немытые есть...

Всех людей Оська считал своими старыми знакомыми. Он вступал в разговоры со всеми на улице, сокрушая собеседников самыми непостижимыми вопросами.

Однажды я оставил его одного играть в Народном саду. Оська нечаянно забросил мяч в клумбу. Он попробовал достать мячик, помял цветы и, увидя дощечку «Траву не мять», испугался.

Тогда он решил обратиться к посторонней помощи.

В глубине аллеи спиной к Оське сидела высокая черная дама. Из-под соломенной шляпы ниспадали на плечи длинные кудри.

— Мой мяч упрыгнул, где «Цветы не рвать», — сказал Оська в спину даме.

Дама обернулась, и Оська с ужасом заметил, что у нее была густая борода. И Оська забыл про мяч.

— Тетя! — спросил он. — Тетя, а зачем на вас борода?

— Да разве я тетя? — ласковым баском сказала дама. — Да я ж священник.

— Освещенник? — недоверчиво сказал Оська. — А юбка зачем? — И он представил себе, как неудобно, должно быть, в такой длинной юбке лазить на фонари, чтобы освещать улицы.

— Сие не юбка, — отвечал поп, — а ряса зовется. Облачен согласно сану. Батюшка я, понял?

— Сейчас, — сказал Оська, вспоминая что-то. — Вы батюшка, а есть еще матушка. В граммофоне есть такая музыка. Батюшки-матушки...

— Ох ты, забавник! — засмеялся поп. — Некрещеный, что ли? Отец-то твой кто? Папа?.. Ах, доктор... Так, так... Понятно... Про бога-то знаешь?

— Знаю, — отвечал Оська. — Бог — это на кухне у Аннушки висит... в углу. Христос Воскрес его фамилия...

— Бог везде, — строго и наставительно сказал священник, — дома, и в поле, и в саду — везде. Вот мы сейчас с тобой толкуем, а господь бог нас слышит... Он ежечасно с нами.

Оська посмотрел кругом, но бога не увидел. Оська решил, что поп играет с ним в какую-то новую игру.

— А бог взаправду или как будто? — спросил он.

— Ну поразились ты, — сказал поп. — Ну кто это все сделал? — спросил он, указывая на цветы.

— Честное слово, правда, это не я! Так было, — испугался Оська, думая, что поп заметил помятые цветы.

— Бог все это создал, — продолжал священник.

А Оська подумал: «Ладно, пусть думает, что бог, — мне лучше».

— И тебя самого бог произвел, — говорил поп.

— Неправда! — сказал Оська. — Меня мама.

— А маму кто?

— Ее мама, бабушка!

— А самую первую маму?

— Сама вышла, — сказал Оська, с которым мы уже читали «Первую естественную историю», — понемножку из обезьянки.

— Уф! — сказал вспотевший поп. — Безобразие, беззаконное воспитание, разврат младенчества!

И он ушел, пыля рясой.

Оська подробно передал мне весь свой диспут с попом.

— Такой смешной весь! — вспоминал Оська. — Сам в юбке, а борода!

Семья у нас была почти безбожная. Папа говорил, что бог вряд ли есть, а мама говорила, что бог — это природа, но может наказать. Бог возник когда-то из ночных причитаний няньки, потом он вошел в квартиру через неплотно закрытую дверь из кухни. Бог в нашем представлении состоял из лампадки, благовеста и аппетитного святого



Оська посмотрел кругом, но бога не увидел.

духа, который шел от свежих куличей. А иногда он представлял какую-то далекую и сердитую силу, которая гремела на небе и следила за тем, грешно или не грешно показывать язык маме. В книге «Моя первая священная история» была картинка: бог сидел на дыме и сотворял весь мир на первой странице. Но первая же книжка по естествознанию развеяла дым. Богу больше не на чем было сидеть.

Небесная Швамбрания

Оставалось еще какое-то царство небесное. Когда приходили нищие и Аннушка говорила им «не взывайте», она утешала их и себя, что все нищие, все бедняки и, очевидно, все люди не подходящего для нас знакомства попадут после похорон в царство небесное и будут там прохлаждаться в райском палисаднике.

Однажды мы с Оськой решили, что уже попали в подобное царство небесное. Соседская горничная Мариша выходила замуж. Она венчалась в Троицкой церкви. Аннушка взяла нас с собой.

В церкви было красиво, как в Швамбрании. Пахло довольно хорошо. Кругом были нарисованы ангелы и разные старики. Они были обложены взбитыми облаками. Хотя на улице был день, горело много свечей. А нищих, нищих было как в настоящем царстве небесном. И все крестились.

Потом вышел главный батюшка и стал изображать, будто он бог. Он был, как потом рассказывал всем Оська, в большой золотой распашонке, а через голову надел длинную слянявку, тоже всю золотую. Он стал перед тумбочкой, похожей на ночной столик. Перед тумбочкой постелили простыню. Мариша, вся в цветах, как принцесса, встала в пару со своим женихом, и они пошли загадывать и сговариваться, как мы всегда перед тем как разбиться на партии для лапты. Они прямо ногами стали на простыню. Мы не слышали, о чем они говорили со священником, но Оська уверял, что они загадали и спрашивали у него: «Сундук денег или золотой берег?» А потом будто бы поп сказал: «Агу», а Мариша говорит: «Не могу». Поп жениху:

«Засмейся», а жених: «Не хочу». И Мариша немножко поплакала.

— Вот дура! — сказал Оська. — Чего ревет? Ведь это же как будто.

После этого они стали играть в колечки, а когда кончили, поп велел крепко держаться за руки. Мы думали, что они будут играть в разрывушки, но поп стал водить их хороводом вокруг тумбочки. Хор пел непонятно, но нам показалось:

«Кого любишь, поцелуй. Ой-ли-луя, поцелуй».

Мариша выбрала своего жениха, и они поцеловались.

После посещения церкви мы решили, что царство небесное — это такая Швамбрания, которую взрослые выдумали для бедных.

А в нашей Швамбрании я ввел для пышности, а больше смеха ради духовенство (Оська сначала путал духовное сословие с духовым оркестром). Главным швамбранским попом был патриарх Гематоген. Это напоминало патриарха Гермогена. Кроме того, гематогеном называлась липкая, приторная микстура, которой нас пичкали. Католических прелатов звали «ваше преподобие». Мы величали Гематогена «ваше неправдоподобие»...

Покровская Золушка

Сказки оканчивались благополучно. Судомойки становились принцессами, спящие красавицы просыпались, ведьмы гибли, мнимые сироты обретали родителей... На последней странице играли свадьбу, на которой мед и пиво по усам текли, но в рот не попадали.

В Швамбрании, в стране наполовину сказочной, все дела красил и венчал благополучный финал. И мы пришли к выводу, что люди бы жили гораздо веселее и счастливее, если бы, живя подобно нам, играли в сказку.

Но оказалось, что сказки хорошо кончаются только в книжках. В действительности же даже сказка приобретала неприятный конец. И в конце правдивой сказки, в которую попробовали сыграть окружавшие нас люди, маячили не медовые усы, а усы городского.

Итак, кто не знает сказки о бедной домашней работни-

це, по прозванию Золушка-Сандрильона, о ее злой мачехе-эксплуататорше? Кто не слышал о голубях, выбравших из горшка с золой всю гречиху, о доброй фее, доставшей Золушке контрамарку на бал, и о туфельке, потерянной во дворце?

Но вряд ли кто знает, что сказка о Золушке записана в старом штрафном кондуктном журнале Покровской мужской гимназии.

Надзиратель Покровской гимназии Цап-Царапыч изложил на страницах кондуктного журнала новый вариант этой истории. Но Цап-Царапыч был краток и сердит. Поэтому мне придется самому рассказать о покровской Сандрильоне. Звали ее Марфушей, была она горничной, временно служила у нас и собирала почтовые марки.

Клейменные орлы

Марки приходили из далеких городов и стран. Под ними, в конвертах, были вложены в строчки поклоны, извещения, просьбы, благодарности, новейшие лекарства от запоев, малокровия и других болезней. Отцу заграничные фирмы слали рекламные проспекты патентованных снадобий.

Но Марфушу не интересовало содержание конвертов.

Вскрытые и опустошенные конверты она выкидывала, предварительно отпарив с них над самоваром марки. В кованом сундуке под Марфушиной кроватью хранились рассортированные по папиросным коробочкам сотни марок.

Конверты на кухню доставляли мы с братишкой.

На основе филателии окрепла наша дружба с Марфушей.

Мы были посвящены во все ее тайны.

Мы знали, что кучер из папиной больницы — Марфушина симпатия, а приказчик из аптекарского магазина — зазнавала и просто дрянь, потому что он дразнит Марфушу Метламорфозой...

Узнали мы еще также, что, если человек чихнет, ему надо сейчас же сказать: «Ахчхи, спичка в нос, пара колес, конец оси, чтоб чесало в нóсе; чих на ветер, кишки на мешки, жилки на струнку, живот на хомут...» Все... уф!

Вечерами Марфуша открывала сундук, позволяя нам любоваться ее сокровищами.

Здесь были целые комплекты Петров Великих и других монархов. Цари Александры были собраны по номерам: I, II и III. На императорских носах стояли штемпелеванные даты. Клейменные орлы ерошили перья в красных, зеленых, синих четырехугольниках с зазубренными краями. Невиданные львы сидели за решеткой штемпеля.

Мы, благоговей, созерцали эту пеструю коллекцию, а Марфуша, любовно вороша царей и орлов, мечтала вслух:

— Как вот до двух тыщ насобираю, продам. А на их платье сошью туалетное. Спереди обставочка, на заде бант и кругом вуаль с мушкой. Погляжу тогда, кто меня Метламорфозой обзовет... Поглядию...

Газообразное начальство

Митьку Ламберга исключили из 2-й Саратовской гимназии за непочтительный отзыв о законе божьем. Он поступил в Покровскую гимназию и поселился у нас. Митя называл себя «жертвой реакции» и священным долгом своим считал делать всякие гадости начальствующим лицам.

Он говорил:

— Я мстю, то есть, я хотел сказать — мщу, начальству во всех его видах: в жидком, твердом и газообразном.

Начальство в жидком, каплющем состоянии представлялось Мите в виде родителей. Твердым начальством приходилось признавать директора гимназии и учителей. Под газообразным, всепроникающим начальством подразумевались правительство, полиция и земский начальник. На земского начальника гимназисты точили зубы по своим соображениям. При этом старшекласники упоминали имена гимназисток Зои Швыдченко и Эммы Угер. Когда кончались уроки, сани земского часто поджидали на углу Зою и Эмму. На городском катке газообразная фигура толстого земского начальника всегда плыла с одной из девочек. Гимназисты хмурили и бросали в земского снежками из-за забора. На заборе был нарисован большой черный котенок и написано: «Коток».

На святки к нам приехал гостить наш двоюродный брат Витя, молодой художник. Витя был неутомимо весел, изобретателен и носат...

— Оне симпатичные, — сказала о нем Марфуша, — только уж больно носом здоровы.

На святках в Коммерческом собрании устраивался большой бал-маскарад для избранного общества. Знакомые дамы готовили костюмы. Нам тоже прислали приглашительные билеты. И тут Мите пришла в голову блестящая идея — насолить земскому на маскараде. Папа принял эту идею восторженно. Витя предложил свои услуги в качестве художника. Стали выдумывать костюмы.

Целый день все ходили сосредоточенные и молчаливые. Изредка Митя с сияющим видом вбегал в столовую и кричал:

— Я придумал! Страшно смешное...

— Ну? — говорили все.

— Надо одеться самоубийцей... А на трупе, то есть на костюме, написать: «Прошу в моей смерти винить земского начальника»... Х-ха...

— А музыка при этом играет марш Шопена, — ехидно дополняла мама. — Страшно смешно!

— Да, — грустно говорил папа, — никогда в жизни я так не хохотал.

Сконфуженный Митя становился на голову и, болтая ногами, кричал:

— Вот так и буду назло стоять вверх ногами, пока идеи к голове не прильют!..

В двенадцать часов ночи папа придумал. Он выдумал действительно чудесный костюм.

Кроме того, план папин был вообще замечателен: на маскарад направлялась Марфуша и должна была смутить пылкого земского начальника.

Все отправились в кухню.

— Марфа-Посадница, — торжественно проговорил папа, — не хотите ли вы пойти на бал-маскарад в Коммерческое собрание?

— Да господи ж! — смутилась Марфуша. — Только ведь туды по приглашительным. Как же я?

— Мы вас сделаем королевой бала, Марфуша. Но для этого нужны... все ваши марки. Что? Жалеете?..

— Марфуша, — проникновенно сказал Митя, — подумайте! В ваших руках судьба земского. В ваших руках судьба... Вы будете королевой бала.

— Эх, уж ладно, — сказала после тяжелого раздумья Марфуша и полезла под кровать за сундуком.

Дни склеены синдетиконом

Два дня весь дом работал над костюмом. Груды искромсанного картона и бумаги лежали на столе в «бариновой кухне», как называла Марфуша отцовский кабинет. Все были перепачканы краской и гуммиарабиком. Тюбики синдетикона источали липучие паутинные нити. Витя ходил, распорядительно задрав нос, и с него капали пот и тушь. Папа безуспешно отдирал от пиджака аргентинскую марку, а мама обучала Марфушу манерам и нескольким английским фразам. Мы же с Осей превратились в сиамских близнецов, нечаянно сев на обмазанную синдетиконом ленту. Лента прилипла к штанам. Мы крепко приклеились друг к другу.

Вечером, перед маскарадом, надушенную и завитую Марфушу нарядили в совсем уже готовый костюм. Это был громадный почтовый конверт, совершенно готовый к отправлению. Полуаршинные марки были наклеены по углам. На каждую из них пошла добрая сотня Марфушиных марок. Рисунок и цвет марок искусно подобрал Витя. По маркам прошли жирные колеи невероятных штемпелей. Адрес был выведен изящным рондо:

З а к а з н о е

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

*Улица капитана Гаттераса, дом с террасой,
направо*

ПОЛЯРНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА

*Его превосходительству северному сиятельству
НАЧАЛЬНИКУ ЗЕМСКОМУ Г-НУ ЭМСКОМУ*

Обратный адрес: Лондон, Сити. На углу спросите.

Марфушу запечатали в конверт.

На голову напялили другой конверт — понятно, во много раз меньший.

По углам тоже пестрели марки.

На колпаке-конверте было написано:

Не узнать вам анонима,
Все догадки ваши мимо!
И никто вас не уважит,
Ничего вам не расскажет.
Мани, Тони, Зои, Эммы —
Все сегодня будут немые.

Туфли Марфуши были также сплошь заклеены марками. Конверты очень шли к Марфуше.

— Ты такая красивая, Марфуша! — сказал ей Оська. — Ты прямо как тетя на картинке «Мойте голову пиксафоном». Даже красивше.

Белая шелковая маска с серебряной бахромой закрыла Марфушино лицо.

Почетным почтальоном был избран Витя.

В городе его никто не знал, да и к тому же он наклеил черные усы и надел черную мамину шляпу со страусовым пером.

Искусственные усы и естественный нос придавали ему вид зловещий и романтический... Не то испанский гранд, не то румынский шарманщик.

Анонимка

Витя лихо подкатывает со своим ценным пакетом к клубу. За освещенными окнами ухает барабан. Музыка завязла в открытой форточке. Витя галантно высаживает Марфушу и снимает с нее шубу. Он раскланивается с неподражаемой учтивостью.

— Труакар вуазем нотр дам де Пари абракадабра! — говорит он и закручивает примерзшие усы.

Гардеробщики с уважением смотрят на них. С широкой лестницы струится свет, музыка и веселый праздничный гул. Наверху Марфушу сразу окружают и вперебой читают адрес. На минуту хохот заглушает музыку. Но вдруг смех

сморкает. Марфуша видит, как в овальные отверстия ее маски вплывает растерянная физиономия земского.

Земский читает и краснеет. Но ноги Марфуши, маленькие ножки, оклеенные марками, прельщают земского.

— Гм, — говорит земский, — дорогая анонимочка... Разрешите на вальс?..

— Ол райт, — говорит анонимочка. — Спик инглиш?¹

Земский смущен. Инглиш — он ни бе ни ме. Богач Адольф Эдуардович Штарк пытается помочь ему. Кое-как они объясняют ей жестами: начальник приглашает ее на вальс. Музыка рывкает. Музыканты раздувают щеки. Кажется, что и стены зала раздуваются от ударов барабана. Музыка выжимает сердце, как мокрый платок. Земский угощает Марфушу мороженым. Штарк тает вместе с мороженым. Земский целует руку анонимке. Дамы ревнуют. По залу ползут догадки и серпантин. Сыплется конфетти. Сыплются на Марфушину тарелочку жетоны — голоса за приз.

— Музыка, стой! — гремит земский начальник.

И, разогнавшись, оркестр стихает сразу, как граммофон, у которого кончился завод.

— Господа, — кричит земский, — наибольшее количество жетонов собрала маска «Письмо». Ей присуждается первый приз — золотые часы! Ура прелестной анонимке, ура!!! Вскроем письмо!

Зал шумит. Над головой лопаются бомбы конфетти. Кто-то шепчет Марфуше:

— Молодчина, Марфа-Посадница, ай молодчина! Дуй дальше!

Митя стоит среди товарищей-гимназистов. Гимназисты хихикают. Митя подходит к земскому. Он говорит:

— Знаете, я, кажется, узнал, кто эта анонимка... Это — известная... Впрочем, что я делаю! Я же обещал молчать!

— Умоляю, молодой человек, — шепчет земский, — плюньте на обещание. Скажите! Хотите мороженого?

— Нет, не просите, — говорит, злорадствуя, Митя и поедает мороженое.

— Вскроем письмо, господа! — кричит земский.

И вдруг в зале появляется носатый незнакомец с длинными усами.

¹ Очень хорошо. Говорите по-английски?

— Каррамба кракатао мелинсфунд, пепермент доминант септ аккорд олеонафт! ¹ — рычит незнакомец на своем тарабарском языке, берет Марфушу за руку и быстро уводит ее к лестнице.

Земский кидается за ним. Маски, домино, арлекины, гусары, цветочные корзины, пиковые дамы, бабочки, испанки, бояре — весь пестрый маскарадный сброд устремляется к лестнице. Устрашающие нос и усы Вити сдерживают любопытство гостей.

Гимназисты как бы нечаянно оттесняют публику. Марфуша запахивается в шубу, сани трогаются.

Витя вскочил на ходу. Они несутся по сонным улицам. У Марфуши смыкаются веки. Фонари, как медузы, шевелят золотые нити. Золушка возвращается на кухню.

Ночью на пустом сундуке тихо шелкают на своих маленьких счетах новые часики.

Счастливая и уставшая, спит Марфуша. Разорванный конверт — шелуха сказочного вечера — пустует у кровати. У порога несут почетный караул четыре пары грязных штиблет.

Утром их надо вычистить.

Золушка разоблачена

В газете «Саратовский вестник» в столбце покровской хроники было напечатано:

«В среду в клубе Коммерческого собрания состоялся грандиозный бал-маскарад. Было много интересных костюмов. Наибольший успех имела маска «Анонимное письмо».

Костюм был прекрасно выполнен в форме почтового конверта с настоящими марками, штемпелями и остроумным адресом.

Вполне справедливо присутствующие присудили костюму первый приз, который и был выдан земским начальником г. Разудановым в виде золотых часов. Несмотря на настойчивые просьбы гостей, маска отказалась открыться

¹ Ничего не значащий, бессмысленный набор иностранных слов.

и была увезена с маскарада неизвестным лицом. Предполагают, что это была приезжая актриса».

А через два дня, когда город еще томился в догадках, отца вызвали к замигренившей супруге земского. После осмотра пациентки отец пил с земским чай. Разуданов корил папу:

— Что же это вы, батенька, на маскарад не заглянули? Много потеряли, ей-богу. Там такая масочка была, доложу вам, ну-ну... Немножко, правда, меня прокатали, но зато что за ножки! А руки! Порода, батенька мой, порода! Вероятно, иностранка... Из головы не идет!

— Ну, что вы, — скромно сказал папа, — ничего особенного — это наша горничная Марфуша.

— Ка-ахх?! — откинулся земский, побагровев, и лицо его вытянулось, так как пухлые губы потянулись вниз, а глаза полезли наверх.

Отец, уже не сдержавшись, так загрохотал во все горло, что излеченная было им мигрень у супруги земского снова вернулась на место.

Туфелька Сандрильоны

На этом, собственно, кончается рассказ о последней Золушке.

Паж не принес Марфуше на кухню туфельку.

Однако след знаменитой туфельки Сандрильоны отыскался на страницах кондуитного журнала.

Голуби-сизяки, вытащившие для Марфуши из горшка золы золотую крупинку, поплатились.

Через несколько дней на парадном крыльце земского начальника был обнаружен резиновый, чудовищных размеров бот. Бот был накрепко привинчен шурупами к ступенькам крыльца.

В то же утро на заборах были кем-то прикреплены следующие «приказы»:

«П Р И К А З

Приказываю всему женскому населению г. Покровска явиться в кратчайший срок к земскому начальнику для примерки на правую ногу туфельки, утерянной анонимной посетительницей маскарада в Коммерческом собрании. Та,

которой туфелька придется впору, будет немедленно назначена земской начальницей. Земский начальник обязуется вечно быть под каблуком этой туфли.

Земский начальник
Разуданов».

Рассказывают, что утром, пока полиция еще не сняла бот с крыльца, приезжала хуторянка — услышав о приказе, решила попытать счастья, но нога не полезла.

— Трошки маловат, — с досадой сказала баба и плюнула в бот.

А Мите и еще троим товарищам «за неуместное, порочащее учебное заведение, дерзкое озорство и недостойное поведение в публичном месте» был объявлен выговор и сбавлены отметки в поведении. Таков эпилог, отличающий историю покровской Сандрильоны от старой сказки о Золушке.

ГОЛУБИНАЯ

КНИГА

В

Вступительное

Вступительный экзамен я сдавал весной. Дмитрий Алексеевич, домашний учитель, пришел рано утром и заставил меня повторить «коренные слова на ять». Папа перед отъездом в больницу положил свою большую руку мне на макушку, откинул мою голову назад и спросил:

— Ну, как котелок? Варит?

С мамой мы пошли в гимназию. По дороге мама, волнуясь и заботливо оглядывая меня, все говорила:

— Главное, не волнуйся! Говори громче и не торопись. Прежде чем отвечать, подумай как следует.

Дмитрий Алексеевич шел рядом и спрашивал таблицу умножения вразбивку и подряд. До «девятью девять» и до гимназии мы дошли одновременно.

День был полон грамматики. На собирательном базаре сыпались прилагательные, междометия и числительные. На амбарной ветке, проходившей неподалеку от гимназии, неодушевленный паровоз старался сбить меня с толку. Он кричал и двигался, как одушевленный. Перед самыми дверьми Дмитрий Алексеевич сделался очень строгим, хотя сквозь пенсне видны были его добрейшие, чудесные глаза.

— Ну, теперь руки по швам! — сказал он и внезапно спросил: — А ну, быстро: гимназия — какая часть речи?

— Имя существительное, нарицательное, неодушевленное! — отчеканил я.

— А гимназист?

— Одушевленное...

В это время из двери гимназии выходил огромного роста детина в гимназической форме. Он мрачно и презрительно оглядел мой матросский костюмчик и так же мрачно сказал:

— Ошибаешься, юноша! Брешь. Гимназист — существо неодушевленное.

Я, потрясенный рыком и ростом этого ученого мужа, почувствовал себя совсем сбитым с панталыку.

В коридоре гимназии было холодно от волнения.

Потом была перекличка. Стол, накрытый зеленым сукном. Диктант: «Купи поросенка за грош, да посади его в рожж, так будет он хорош!»

Сердце стучало на весь класс. В дверь класса глядели мамы. Мамы волновались, беспокойно вглядывались в склонившиеся над партами лица: поставят в слове «рожь» мягкий знак или нет?

Я поставил. Но зато от волнения забыл поставить мягкий знак в собственной фамилии.

Потом была письменная по арифметике и устные экзамены.

На экзамене по русскому языку я делал разбор предложения: подлежащее, сказуемое и всякое такое. Подошел священник, протянул мне какую-то книгу на церковнославянском языке. Учитель русского языка, кудрявый, русский и бородатый, неуверенно сказал:

— Батюшка! А ведь это им не требуется, кажется?.. Вообще иных вероисповеданий...

И он почему-то очень смутился, как будто сказал что-то нехорошее. Я тоже покраснел.

— Тем паче необходимо, — строго сказал батюшка. — Вот возьми и прочти. Прочти.

Я прочел и перевел какую-то страницу.

Через несколько дней уже было известно, что меня приняли в гимназию.

Забрили! Оболванили!

Лето мы провели на даче в деревне Подлесное, Хвалынского уезда, куда в сосновые и липовые леса увез я казавшееся мне чрезвычайно почетным звание гимназиста. Это звание я гордо нес на вершины хвалынских меловых гор,



Они провожали мобилизованных...

в ущелья Теремпая и густые малинники, куда мы тихонько забирались.

В то время Россия, Европа, мир начинали войну.

Мы ехали из Хвалынского на пароходе. На пароход сажали мобилизованных. На пристанях мальчишки-газетчики кричали:

— Последние телеграммы! Три тысячи пленных! Наши трофеи!

На пристанях бились у пароходных сходен плачущие, растрепанные женщины — старухи и молодки: они провожали мобилизованных отцов, мужей, братьев, сыновей. Отходные свистки заглушали плач, причитания, нестройное «ура», разноречивой оркестра. Пароход разворачивал большую вспененную дугу по воде и давал прощальные гудки. Долго-долго. Короткий перерыв — и опять тревожно... протяжно...

В рубке первого класса звенели в такт машине хрустальные висюльки на люстре. Гремело пианино. Пахло Волгой, ухой и духами. Смеялись дамы.

В окно салона был виден уплывавший крутой берег. По берегу вверх от пристани тянулись тяжело и сиротливо, деревенские таратайки.

Проводили...

В нашей каюте пахло по-солдатски от моего новенького ранца. Через день начинались занятия в гимназии. Дома меня уже ждал форменный костюм. Начиналась гимназическая пора. Прощай, двор и уличные друзья! Я чувствовал себя почти мобилизованным. Дома меня остригли наголо, «оболванили», как сказал отец.

— Совсем зольдат, — говорил портной Виркель, примеряя на мне готовую форму.

Пуговицы

То были торжественные дни всеобщего признания моего величия и длинных брюк на выпуск.

Мальчишки кричали мне на улице: «Сизяк!» Сизяками дразнили гимназистов. Я был горд, что меня теперь тоже можно так дразнить.

Солнце сияло на моем животе, отражаясь в латунной

бляхе кожаного кушака. На бляхе чернели буквы «П. Г.» — «Покровская гимназия». Выпуклые блестящие пуговицы, как серебряные божьи коровки, выползли на серую гимнастерку. И в первый день, торжественный и страшный, серьезный августовский день, я в новых ботинках (левый чуть жал) поднялся к дверям гимназии.

Прохладный рокот коридора овеял меня. За дверьми в августовском дне остались Подлесное, меловые горы, лето, свобода.

Маленький старичок в мундире с медалью пошел мне навстречу. Он показался мне серьезным и рассерженным, как все в этот день. Помня, что говорила мне мама, я щелкнул каблуками и низко поклонился, сняв за козырек фуражку.

— Здравствуй, здравствуй! — сказал старичок. — Положь фуражечку вон туда. В первый, поди? Вон — третий налево.

Я тщательно и почтительно поклонился еще раз.

— Ну, иди, иди, накланялся! — засмеялся старичок и, взяв из угла щетку, пошел подметать коридор.

В классе сидели здоровенные стриженные ребята. Я оказался чуть ли не самым маленьким. По классу расхаживало несколько громадных детин в потрепанных гимнастерках или выцветших мундирах — второгодники. Один из них поманил меня пальцем к себе.

— Сидай ко мне. У меня место свободное. Как твое фамилие?.. А мое Фьютингеич-Тпрунтиковский-Чимпарчифаречесалов-Фамин-Трепаковский-По-колено-Синеморе-Переходященский! Повтори без передышки!

Я повторить не смог.

— Ничего, — утешал он, — насобачишься. Макуху лопаешь? Нет? Закурить есть?.. Нема?.. А как мужик яйца на базаре продавал, слышал?

Об этой истории я ничего не слышал. Второгодник сказал, что вообще я большая баба. В это время к парте нашей подошел подвижной, лопоухий и лохматый второгодник. Он внимательно разглядел меня. Сел на крышку парты и быстро спросил:

— Ты доктора сын? Да? Доктор едет на свинье с докторенком на спине! Это чья пуговица? — И он ухватил блестящую пуговицу на обшлага моей гимнастерки.

— Моя, а то чья же еще? — ответил я.

— А раз твоя, так держи ее! — И, вырвав пуговицу, он сунул мне ее в руки. — А это чья? — спросил он, берясь за следующую.

Наученный горьким опытом прошлого ответа, я сказал, что не знаю.

— Не знаешь? — закричал лопоухий второгодник. — Значит, не твоя?

И, оторвав вторую пуговицу, он бросил ее на пол. Класс загрохотал. Так я остался бы, вероятно, без единой пуговицы, если бы не пришел инспектор. Все встали сразу вместе. Мне это очень понравилось. Инспектор щурил веселые, хитрые глаза. Пушистая, расчесанная надвое, как ласточкин хвост, борода его мела мелкие звезды на лацканах мундира. Инспектор сказал весело и ласково:

— Ну! Стрючки-новички! Отшарлатанили? Погоняли голубей? То-то, сорванцы, горлопаны... Смирно!!! Гавря Степан! Убери брюхо! Спрячь живот в ранец! Второй год сидишь, мерзавец, а стоять не умеешь! В конduit захотел? Ишь отрастил космы на хуторе. Остригись!

Потом инспектор вынул список и сделал переключку. При этом он нарочно смешно путал фамилии второгодников.

— Туфельд! — кричал он вместо Куфельд. — Варехонко! — вместо Куховаренко.

Дошла очередь до меня.

— Здесь!!! — оглушительно выпалил я.

Инспектор удивился:

— Маленький, а горластый! Вот так взревел! Недаром Львом прозываешься. Сколько лет?

Чтобы угодить второгодникам, я решил сострить:

— Полдесятого!

Инспектор спокойно сказал:

— А я вот тебя, Лев, царь зверей... прохвост этакий, оставлю без обеда до половины десятого, тогда ты узнаешь, как острить. Постой, постой! — закричал он, как будто я хотел куда-то уйти. — Постой! Это зачем у тебя на обшлаге пуговицы? Здесь по форме не полагается, значит, нечего и выдумывать.

Он подошел и взял меня за рукав. Потом вынул из кармана какие-то странные щипцы и вмиг отхватил лишние, по уставу не полагающиеся пуговицы.

Теперь я весь был по уставу.

В кондуит я попал очень скоро.

Надо было докупать кое-какие учебники. С мамой и братишкой мы поехали в Саратов.

Занятия уже начались. Заполнилась первая страница гимназического дневника. Повернулись первые страницы учебника, открывшие массу важного и интересного. Я чувствовал себя весьма ученым. Пароходик «Клеопатра», на котором мы ехали, шел мимо давно знакомого острова Осокорья. А я уже видел не просто остров, но «часть суши, со всех сторон ограниченную водой»...

В Саратове, купив учебники, мы зашли сниматься. Фотограф навеки запечатлел негнущуюся фуражку с гербом и новые ботинки. Потом мы гуляли по Немецкой. Фуражка стояла над головой, как венец у святых на иконе. Ботинки скрипели и пели, будто орган.

Мы зашли в кафе-кондитерскую «Жан». Мама заказала кофе с пирожными наполеон. В кафе было прохладно и полутемно. В зеркале блестели герб моей фуражки и носки ботинок. Напротив сидел невероятно прямой, сухой господин в форменной фуражке. Господин разговаривал с дамой и смотрел в нашу сторону. Глаза у него были тусклые, снулые, как у рыбы на кухонном столе. Я взглянул в него, и... наполеон застрял у меня в глотке, как в снегах России. Это был наш директор — Ювенал Богданович Стомолицкий.

Я вскочил с губами липкими от волнения и пирожного. Я поклонился. Сел. Опять встал. Директор кивнул головой и отвернулся.

Мы вышли. По дороге, у дверей, я еще раз поклонился. День был испорчен. Наполеон беспокойно бурчал в животе...

На другой день на большой перемене в класс вошел наш классный наставник. Он потребовал мой дневник и на кондуитной страничке написал:

Воспитанникам средних учебных заведений воспрещается посещать кафе, хотя бы и с родителями.

Второгодник Кузьменко, взглянув на запись, сказал:

— Эге! Здорово! Это ловко: уже в кондуит попал. Молодец, брат. Хвалю за храбрость!

Я, признаться, сначала здорово струсил. Но тут ободрился. Равнодушно пожал плечами:

— Втяпался. Черт с ним!

А кондитерские с тех пор мы стали называть «кондуитерские».

П. Г.

Покровская мужская гимназия была похожа на все другие мужские гимназии. Холодные кафельные полы, мытые мокрыми опилками. Длинный коридор. Классы. В коридоре — короткий прибой перемен и отлив уроков.

Звонок. Лязгающий звон его имел два выражения. Одно, в конце урока, — веселое, хихикающее, беззаботное:

«Дунь!.. Жизнь — дребедень!»

Другое — в начале урока, когда кончается перемена. Брюзжащая, злая морда:

«Дррать вас надо, дрянь!»

Уроки. Уроки. Уроки. Классные журналы. Кондуит. «Вон из класса!», «К стенке!»

Молитвы, молебны. Царские дни. Мундиры. Шитая позументом тишина молебнов. Руки по швам. Обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния.

Сизые шинели. Сизая тоска. Дни листались страницами дневника. Расписание. Что задано? Балл — отметка. Подписью классного наставника кончалась неделя. И только воскресенье, самый короткий день в неделе, не имело своей графы в дневнике. Все остальное было отчеркнуто «от сих до сих».

§ 18. Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать вне дома после семи часов вечера.

§ 20. Воспрещается посещение воспитанниками театров, кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения г. инспектора для каждого раз. Безусловно воспрещается посещение кондитерских, кафе, ресторанов, мест публичного гулянья и т. д.

Примечание. В г. Покровске таковыми местами являются: Народный сад, Базарная площадь и железнодорожные платформы.

Так было написано в наших гимназических «билетах»,

и всякий поступок, нарушающий святость устава, грозил кондуитом. Говорят: все дороги ведут в Рим. В гимназии все дороги вели в кондуит. Жизнь каждого сизяка (гимназиста) была вписана в кондуитный журнал. Штрафы, «безобеды», выговоры, исключения из гимназии... Страшная это была книга! Тайная книга. «Голубиная книга».

Есть такое предание, что «Голубиная книга» упала много веков тому назад с неба и написано было в ней будто бы про все тайны мироздания. Замечательная такая книга, вроде кондуита для планет. И никто из мудрецов не смог прочесть ее целиком и понять: слишком глубоки были ее тайные смыслы. Вот такой «Голубиной книгой» казался нам, гимназистам, кондуит, ибо тайны его свято блюлись начальством. Никто не смел и думать о том, чтоб прочесть кондуитные записи.

Голуби-сизяки

Сизяками называют диких голубей. Сизяками нас дразнили за сизые шинели, которые мы должны были носить. В «Голубиную книгу», в кондуит, была вписана жизнь трехсот «диких голубей». Триста голубей томились в силке.

Город Покровск раньше был слободой. Слобода Покровская. Слобода была богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные, пятиэтажные деревянные, с теремками амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили на баржи. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик-поводырь слепца.

Жили в слободе Покровской украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, немцы-колонисты, лодочники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян. Летом калились до синевы под степным солнцем, гоняли верблюдов. Ездили на займище, дрались на берегу. Гонялись на лодках с саратовцами. Зимой пили. Справляли свадьбы, танцуя по Брешке. Лутили подсолнухи. Зажиточные хуторяне собирались в волостном правлении «на сходку». И, если подымался вопрос о постройке новой школы, о заощеннии улиц и т. д., горланили обычную «резолюцию»:

— На треба!

Болота и грязь затопляли слободские улицы. Так жили в слободе Покровской, в семи верстах от Саратова.

И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы, хуторские дикари, дюжие хлопцы, были засажены за парты Покровской гимназии, острижены «под три нуля», вписаны в кондуит, затянуты в форменные блузы.

Трудно, почти невозможно описать все, что творилось в Покровской гимназии. Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинели. Ломали пальцы о чужие скулы. Дрались коньками, рапцами, свинчатками, проламывали черепа. Старшеклассники (о, эти господствующие классы!) дрались нами, первоклассниками. Возьмут, бывало, маленьких за ноги и лупят друг друга нашими головами. Впрочем, были такие первоклассники, что от них бегали самые здоровые восьмиклассники.

Меня били редко: боялись убить. Я был очень маленький. Все-таки раза три случайно валялся без сознания.

На пустырях играли в особый «футбол» вывернутыми телеграфными столбами и тумбами. Столб надо было ногами перекатить через неприятельскую черту. Часто столб катился по упавшим игрокам, давя их и калеча.

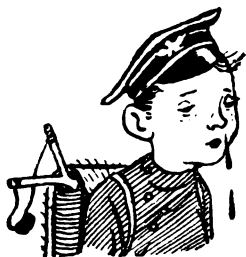
Сдували, списывали, подсказывали на уроках безбожно и изощренно. Выдумывали хитроумнейшие способы. Изобретались сложные приборы. Механизировались парты, полы, доски, кафедры. Была организована «спешная почта», «телеграф». Во время письменных ухитрялись получить решения из старших классов.

Некоторые «назло учителям» нарочно горбились. Так,



уродуя себя, согнувшись в три погибели, они стояли в углах, куда их ставили «на выпрямление». Дома же это были прямые, стройные парни.

В классах жевали макуху (жмых), играли в карты, фехтовали ножами, меняли козны и свинчатки, читали Ната Пинкертона. На некоторых уроках половина класса стояла у стенки, четверть отдыхала и курила в уборной или была выгнана из класса. За партами лишь кое-где торчали головы.



В классах жгли фосфор — для вони. Приходилось проветривать класс, и заниматься было невозможно.

Под учительскую кафедру прикрепляли пищалку. Во время урока потянешь за ниточку — игрушка пищит. Учитель бегаёт по классу — пищит. Учитель обыскивает парты — пищит.

— Встаньте и стойте!

Класс на ногах — пищит.

Приходит инспектор — пищит. Весь класс сидит два часа без обеда.

Пищит...

Гимназисты воровали на базаре, дрались на всех улицах с парнями. Били городских. Учителям, которых не взлюбили, наливали всякой гадости в чернила. На уроках тихонько играли на расщепленном пере, воткнутом в парту. У расщепленного пера звук нестерпимый, зудящий, как зубная боль: зинь-ицив...

Директор

Директор Ювенал Богданович Стомолицкий был худ, высок, негибам и тщательно выутюжен. Глаза у него были круглые, тяжелые, оловянные. За это прозвали его «Рыбий Глаз».

Рыбий Глаз был ставленником прославившегося своей мерзостью министра народного просвещения Кассо. Больше всего на свете Рыбий Глаз любил муштровку, тишину и дисциплину. Каждый день, когда кончались уроки, он становился у выхода из раздевалки. Одевшись, мы должны



были проходить мимо директора, останавливаться, снимать фуражку за козырек (обязательно за козырек!) и низко кланяться.

Один раз я торопился домой и снял фуражку не за козырек, а за околыш.

— Стой! — сказал директор. — Иди обратно и пройди еще раз. Надо кланяться как следует.

Он никогда не кричал. Голос у него был пустой, бесцветный, как жестянка из-под консервов. Распекая, он говорил: «Скверный мальчишка». Это было самым грозным ругательством в его устах. Это пахло всегда тройкой по поведению и другими неприятностями.

Всюду, где он ни появлялся, будь то класс или учительская, стихали разговоры; все, встав, напряженно молчали. Становилось душно. Хотелось открыть форточку, громко закричать.

Любил Рыбий Глаз неожиданно зайти в класс во время урока. Класс вскакивал с дробным грохотом парт. Учитель краснел, закашливался на полуслове и казался сам накурившимся гимназистом.

Директор садился у кафедры и следил за тем, чтоб вызываемые ученики сначала кланялись ему, а потом уже преподавателю. А когда приехал однажды попечитель округа, старенький, седой, с большой звездой, то директор, придя с ним в класс, показывал глазами тем, кого вызывали, что сначала надо кланяться попечителю, потом ему, директору, а потом уж учителю.

В кондуите по милости директора были такие записи:

Глухин Андрей был встречен г. директором в шинели, надетой внакидку. Оставить на четыре часа после уроков. Гавря Степан... был замечен г. директором на улице в рубашке с вышитым воротником. Шесть часов после уроков. Авдотенко Николай без разрешения не посетил занятий 13 и 14 октября. Оставить на двенадцать часов в классе (в два праздника).

(У Авдотенко Николая 13 октября умерла тетка, у которой он жил.)

Попечитель, приезжавший из округа, остался доволен директором.

— Я доволен, милоштивый гошдарь, — шепелявил он директору. — Порядок у ваш обращцовый.

Учительская

В конце коридора, вправо от кабинета директора, была учительская. Материки и океаны, свернутые в трубку, стояли в углу за шкафом. Громадные круглые очки земных полушарий смотрели со стены. В стекле шкафа отражались «мы, божией милостью» — голубая лента, сусальная борodka, пробор с зачесом, ордена, — «царь Польский и прочая и прочая». (Портрет царя висел напротив.) В шкафу лежал кондуит. Кривая белка на шкафу пускала облезшим своим хвостом «гусара в нос» богине. Богиня была старая и гипсовая. Звали ее Венерой. Когда шкаф открывали, богиня легонько качалась, словно собираясь чихнуть. Шкаф открывали тогда, когда надо было достать кондуит. Ключ от шкафа хранился у надзирателя Цезаря Карпыча. Мы его звали Цап-Царапычем и изводили всячески. Он был кривым и ходил со стеклянным глазом... Это Цап-Царапыч всеми силами скрывал. Но стоило ему только по-

вернуться к нам искусственным глазом, как ему уже строились безобразные рожи, показывались «носы», кукиши... Новички, не знавшие, что этим глазом Цап-Царапыч не видит, преклонялись перед храбростью озорников. Цап-Царапыч был автором доброй половины кондуитных записей. Это на его обязанности лежало следить за поведением учеников в гимназии и вне ее.

Он ловил нас на Брешке, где гимназистам гулять запрещалось. Искал гимназистов по улицам после семи. Приходил на дом, чтоб убедиться, действительно ли болен отсутствующий ученик. Подстерегал гимназистов у кинематографа «Пробуждение». Он рыскал дни и ночи в погоне за пищей для кондуита. Все же гимназисты умудрялись проводить его самым наглым образом. Однажды, например, он настиг целую компанию шестиклассников в кинематографе «Пробуждение». Гимназисты скрылись в ложе и заперлись там. Цап-Царапыч пошел за городовым. Стали ломать дверь ложи. В зале уже шел сеанс. Тогда шестиклассники оторвали портьеры ложи, связали их одну с другой и спустились по ним в зал. Сначала на экране появились чьи-то болтающиеся ноги, а затем прямо на головы зрителей свалились гимназисты. Публика всполошилась. В суматохе шестиклассники удрали через запасный выход.

Тюлевые полосы папиросного дыма плавали в учительской, обвивая глобусы и чучела птиц. Рядом с кондуитным шкафом стоял стол, на котором лежали комплекты прилежаний и вниманий, единиц и пятерок всех учеников — классные журналы. Их во время перемен просматривал обычно инспектор.

Инспектор

Инспектора Николая Ильича Ромашова гимназисты почти любили. Это был красивый плотный человек. Волосы ершиком. Темные прищуренные глаза. Языкаст он был, однако, до грубости.

И у него были свои собственные методы воспитания. Если, например, какой-нибудь класс совершал коллективное преступление или не хотел выдать виновных, Ромашов являлся туда после уроков. Он медленно входил в

класс и становился перед вытянувшимися гимназистами. Затем, высоко задрав голову, оглядывал класс. Борода его, казалось, мела нас по головам.

— Дежурный, — спокойно-зловеще говорил инспектор, — а ну-ка, дежурный... закрой дверь. Тэ-э-эк-с.

Дежурный плотно закрывал дверь. Гимназисты, проголодавшиеся и уставшие после пяти уроков, стояли не шелохнувшись. Ромашов продолжал разглядывать класс сквозь бороду. Потом он вынимал из кармана книгу, садился за кафедру и углублялся в чтение. Класс стоял. Десять минут. Полчаса...

Просидев так с часик, инспектор вдруг откладывал книгу в сторону и негромким, но звучным баритоном начинал спокойно отчитывать:

— Ну-с! Что, болваны? Доостолопились, хулиганы, брандахлысты, голубятники?! У-у, «хохландия»!.. Голодранцы! При всей честной гимназии ошельмую, голову-тяпы! Шарлатаны! Галахи! Лодыри! Эй, чей это там дурацкий затылок? А-а, это твой, Гавря? Я, кстати, ведь и о тебе говорю. Чего рожу воротить? Сам — первейший оболтус! Ну, что? Стыдно небось, обормоты? Мерзавцы! Оборванцы! Я еще доберусь до вас, прохвосты. Сидите вот теперь всем классом без обеда. А дома-то обед ждет. Щи горячие. Говядина жареная. Дух идет. — И инспектор щелкал языком и крутил носом. — Что? Хочется жрать? То-то и оно-то. А дома еще батька зад взгреет. Обязательно. Я записку специальную пошлю: спустите, дескать, вашему сыну штаны и всыпьте ему в задний конduit по первое число... Нечего смеяться, лоботрясы. Шалопай! Голо-во-ре-зы! Безобедники! Срам!

И, поговорив так около часа, отпускал домой. По одному, промежутками. Нас уже не держали ноги.

Агнцы и козлищи

Всех гимназистов Ромашов делил на «козлищ» и «агнцев». Так и знакомил нового преподавателя с классом.

— Садись, лоботрясы!.. Это вот, изволите видеть, — агнцы, зубрилки, пятерочники, дурохлопы. А вот тут —

единичники, двоечники, второгодники, безобедники, горлодеры, лодыри, «камчатка», «сахалин», «хохландия»... Алеференко! Спрячь живот в ранец. Выпятил!

Рассаживал нас сам инспектор, и таким образом, что на первых партах сидели самые отчаянные, ленивые и плохие ученики. Чем дальше к стенке, к окнам, тем больше пятерок было в дневниках и табелях. Но между «пятерочным», задним левым углом класса, и «двоечным», передним правым, существовали по диагонали самые дружеские отношения на основе подказа и сдувания.

Сказание об Афонском Рекруте

Восемь непонятных записей хранит на своих страницах кондуитный журнал. Восемь загадочно одинаковых записей, помеченных одним днем. Вот что написано в кондуите восемь раз:

Ученику... такому-то... объявлен строжайший выговор с последним предупреждением за злостные тулиганские проступки. Отметка в поведении за четверть 4—(4 с минусом). Двадцать часов лишения праздника. Предупреждены родители. Классный наставник такой-то (подпись). Надзиратель (подпись).

Восемь записей этих скрывают в себе скандальную и трагическую историю, взволновавшую в свое время весь город. Но никому не известны развязка этой истории, ее конец и истинные участники. В кондуите ни слова нет о фараоне Козодаве, Афонском Рекруте и шалманском дворце мадам Коленкоровны. Покойный гимназический сторож Мокеич поведал мне тайну кондуита. Об этом я и хочу рассказать.

Первый звонок

Лет восемнадцать назад в городе не было электрических звонков. Висели на крылечках проволочные ручки, ну вроде тех, какие в уборной бывают. За ручки дергали. Но вот приехал в слободу (Покровск был тогда еще слободой Покровской) новый доктор, про которого говорили,

что он очень уважает науку и технику. Действительно, доктор выписал «Ниву» и провел у себя в квартире звонки с электрическими батареями. На двери рядом с карточкой выпятился беленький кукиш кнопочки звонка. Пациенты нажимали кнопочку, и тогда в передней оживал голосистый звонок. Это страшно всем нравилось. Доктор приобрел громадную практику, а в слободе завелась повальная мода иметь электрический звонок на парадном крыльце. Через пять лет не осталось почти ни одного домика с крыльцом, на котором не было бы кнопочки. Звонки звенели на разные голоса. Одни трещали, другие переливались, третьи шипели, четвертые просто звонили. Около некоторых кнопок висели вразумляющие объявления: «Прозба не дербанить в парадное, а сувать пальцем в пупку для звонка».

Покровчане гордились своим культурным звоном. О звонках говорили с нежностью и увлечением. При встрече справливались о здоровье звонка:

— Петру Степановичу! Мое вам... Ну, як ваш новенький? Справил мастер?

— Спасибо, справил. О це ж и гарный звоночек. Милости просим послухать. Чистый канарей.

Свахи, расхваливая невесту, хващали:

— Дом за ей дають флигерем, на парадном звонок ликстрический.

А слободской богач Млынарь завел у себя семь разных звонков на все дни недели. Самый веселый разливался по воскресеньям. В постные дни дребезжали большие звонки самого мрачного тембра.

Когда какой-нибудь звонок переставал вдруг звонить, хозяин сейчас же посылал за Афонским Рекрутом. Рекрут врачевал старые звонки, ставил новые и слыл лучшим «звонковым мастером» в слободе. Слава его была велика. В слободской летописи он занимал столь же почетное место, как Сапсаево озеро — лучшее и поныне болото в Покровске, как Лазарь — лучший из извозчиков, здравствующий и сейчас, как пожар амбаров — лучший из пожаров.

Афонский Рекрут жил на базаре, у мясных, пахнущих кровью рядов, в шалмане. Так называли свое неуютное, грязное жилье обитатели его. Рядом с шалманом была большая яма. На дне ее вечно стояли вонючие лужи, и собаки волочили нетли кишок, комья требухи, облепленные золотисто-зелеными мухами. Немного дальше, полный перестука и звона, расположился скобяной ряд.

В шалмане жил Афонский Рекрут. Откуда взялся он, почему его звали так, какого роду-племени он был, никто не знал. А знали его все. Был он крепок и смугл, как каленый орех, худ, гибок, подвижен, как вымпел. В левом ухе болталась громадная круглая серьга. Из-под горбатого носа торчали длинные и черные усы. Левый ус загибался кверху, правый — книзу, и усы были похожи на кран умывальника. Белоснежные зубы всегда сверкали в улыбке. Руки были вечно заняты какой-нибудь работой. А руки у Рекрута были, что называется, золотые. Все умел делать. Был механиком, парикмахером, фокусником, часовщиком — чем хотите.

Он был самым уважаемым человеком в шалмане. Все слушались его и любили. Никто не видал его сердитым. Даже когда в шалмане вспыхивала ссора, обнажались ножи, — даже тогда ярче их блистала улыбка Афонского Рекрута. Он, словно из-под земли, появлялся между ссорившимися, разнимал их и, взлетев балаганным чертом на нары, кричал:

— Поштенный публик! Киляля! Последний новейший фокус-покус черной, белой и полосатой с крапинками магии. Мадамы, мусьи и джентельмены! Атанде трошки! Гляйх их бин деманстре фокус-покус! Америк! Аллюра-шкидла!

Из кармана его летели коробки, шарики. Все вертелось над головой. Шляпа садилась на тросточку, стоящую на носу, папиросы зажигались из рукавов. Живот пел женским голосом. А рваный ботинок разевал рот и говорил: мерси... В шалмане позабывали про ссору.

Хозяйство в шалмане вела полусумасшедшая Дунька Коленкоровна. Любимцем ее был дурачок Костя Гончар. У Кости была безобидная мапия навешивать на себя всякие яркие вещи. По городу он ходил в лохмотьях, на кото-

рых висели картинки из «Нивы», крышки чайных ящичков, рекламы папирос «Бабочка» и «Ю-Ю», ландриневские коробки, бусы, бумажные цветы, карты, обрывки сбри, сломанные ложки. В городе его любили, как блаженненького, и дарили разные яркие ненужные вещички. До сих пор в Покровске про человека, одевшегося слишком ярко и пестро, говорят:

«Ось! Понарядился, как Костя Гончар».

Любил заглядывать в шалман фараон Козодав — городской, охранявший порядок на базаре. Козодав имел все, что полагается иметь образцовому городскому: свирепые усы, бляху, свисток, шашку-«селедку», хриплый раскатыстый бас, нос сливой, медаль и шнурочные красные погоны, служившие предметом зависти Кости. Фараон заходил в шалман клюкнуть рюмочку у Коленкоровны, подуться в картишки и побеседовать «за жизнь» с мудрым коммивояжером Иосифом Пукисом.

А еще жили в шалмане золотарь Левонтий Абрамкин, немец-шарманщик Гершта, с попугаем, который умел тащить билетики «счастья», чахоточный китаец Чи Сун-ча и два друга, два вора — Шебарша и Кривопатря.

Черт и „младенцы“

По вечерам в шалман пробирались гимназисты. Здесь можно было пожевать макуху, отдохнуть в хорошем обществе, забыть на часок разграфленную гимназическую жизнь, не боясь нарваться на Цап-Царапыча, сыграть в «очко». Здесь никто не спрашивал, какая отметка будет в четверти по русскому, готовы ли уроки на завтра. Мы были здесь желанными гостями. Вместе с нами жители шалмана горячо возмущались гимназическими порядками, и многие даже готовы были бить латиниста за несправедливую единицу. Особенно горячился тихий вообще Чи Сун-ча.

— Какой зилая латыня, — говорил он, вырезая фестоны из разноцветной бумаги, — лас холосо, засем единиса?

Мы приносили в шалман интересные книжки, последние новости, наши гимназические завтраки, безделушки для Кости Гончара. Взамен мы приобретали некоторые

полезные сведения и навыки по части вырезывания замков, чистки ретирад и приемов одесского джиу-джитсу.

Но Афонский Рекрут любил поспорить о прочитанной книге и втягивал нас в эти споры. Над ним сперва потешались: связался, дескать, черт с младенцами, но вскоре в спорах стали принимать участие почти все шалманские обитатели. Кроме того, один из «младенцев», Васька Горбыль, так отлупил Шебаршу, что к гимназистам стали относиться с полным уважением. Сначала читали легкие книжки. Так мы проплыли «80 000 лье под водой», нашли «Детей капитана Гранта», чуть сами не потеряли головы с «Всадником без головы». А потом Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, принес под полой и другие книжки. Затаив дыхание слушал шалман о парижских коммунарах.

Тайна этих посещений сохранялась гимназистами очень строго.

Даже в классах многие не знали, где проводит время так называемая Биндюгова шайка. Когда в шалман неожиданно заходил Козодав, книжки тотчас прятались, а фараону преподносилась рюмочка. Разомлевший фараон таинственно сообщал:

— Слышь, гимназеры? Раньше как через полчаса не вылазьте. Ваш Цап-Царапыч по Брешке шныряет. Я тогда скажу, как можно станет.

. Во саду ли...

В сентябре в Народном саду поредела листва, побурел кохий. Сад стал похож на вытертый воротник старой шубы.

В сентябре на главной аллее гимназисты затеяли с парнями драку.

Пятиклассник Ванька Махась гулял с гимназисткой. Сидящие на скамейке парни с Бережной улицы стали «завываться».

— Эй, сизяк! Ты с нашей улицы девчонок не замай.

Махась отвел гимназистку к фонтану. Сказал:

— Я извиняюсь, Одну секунду. Я в два счета.

Потом вернулся на аллею, подошел к парню и молча ударил. Парень слетел со скамейки на проволоку, огораживающую аллею. И сейчас же вся аллея покатила в одной

общей, сплошной драке. Дрались молча, потому что на соседней аллее сидели преподаватели. Парни тоже понимали это и считали нечестным кричать и тем подводить противников.

Проходившие сторожа разняли дерущихся. Появление Цап-Царапыча окончательно прекратило побоище.

И тогда городская дума попросила директора внести в список запрещенных для гимназистов мест и Народный сад. Директор с полной готовностью согласился. Гимназисты лишились последнего места для гуляния. Они пробовали протестовать, но родительский комитет одобрил приказ директора.

„Идем на вы!“

В тот же день в шалмане состоялось экстренное и тайное совещание. Из гимназистов присутствовали лишь Биндюг и Атлантида.

Атлантида был вне себя от негодования.

— Нет, — волновался он, — это просто чертовщина какая-то! И так носу сунуть никуда не дают, а тут еще это... Плюю я после этого на весь Покровск.

— Знаете, что я вам предложу? — сказал Иосиф. — Пошлите попечителю телеграмму с оплаченным назадом. Нельзя же молчать. Ведь это прямо какая-то черта оседлости для гимназистов. Тут нельзя, там нельзя... А где можно? Я знаю где?..

— Аллюра-шкидла! Да какие тут к чертям телеграммы! — перебил его Рекрут. — Нет, тут надо поварить котелком. Иесь!

— Размордовать!.. И никаких! — весело посоветовал с верхних нар Кривопатря. Он лежал, свесившись, и сосредоточенно плевал, стараясь попасть в кольцо из сведенных пальцев.

— Нет! — твердо сказал Атлантида. — Этот номер не пройдет, тут треба всему городу накласть... Они все виноваты. И дума и комитет. Черти свиные!.. И чтоб не всыпаться самим. А то как засвистишь из гимназии... Вот тут и мозгуй.

— У нас ребята дружные, — добавил Биндюг, — как насядем гуртом — держись!

Стало тихо. Заговорщики задумались. Капало с крыши.

Вдруг Иосиф вскочил, хлопнул безжалостно себя по лбу и воскликнул:

— Эврика! Эврика, что значит по-гречески «нашел»! Блестящая идея зародилась в этой голове... Что?

— Да ну, не тяни ты, ради бога! Говори, что ли!

— Что это за колоссающий шум? Вы где, в гимназии или в порядочном шалмане?

— Скажешь ты или нет? Тянет, черт тебя не дери...

— Тсс! Прошу соблюдать тишину! Моя идея — идея-фикус! Она имеет для всех нас только хорошие стороны — и ни одной плохой. Так слушайте же вы... В чем исключается моя заключительная. То есть наоборот! В чем заключается моя исключительная идея. Вы берете и делаете так...

И Иоська стал тощими своими пальцами, как ножницами, стричь воздух. Он стриг таким образом воздух несколько минут, потом обвел всех сияющим изглядом и сказал торжественным шепотом:

— Звонки...

Манифест

Для проведения «звонкорезной» кампании Биндюг назначил восемь отборных ребят из всех классов. Для этого заготовили такие манифесты:

«Ребята! Нам запретили шляться по Народному саду. (Посмотри, не смотрит ли на тебя кто!) Против нас стоят Рыбий Глаз, Дума, Родительский. Выходит, против нас весь город. За это им надо так наложить, чтоб год помнили. Весь Покровск помнил чтоб.

У нас в Покровске все носится со своими звонками, как дурни с писаной торбой. Ребя! Мы, Комитет Борьбы и Мести, решили срезать все звонки в городе. Каждый из нас должен срезать в установленный заранее дефь звонок со своих дверей. Родители за директора.

В тех домах, где нет гимназистов, звонки будут срезаны квартальными ребятами, которым это поручит Комитет Борьбы и Мести лично. Мы проведем «варфоломеевскую ночь» в смысле звонков! Ребята! Режьте без пощады! Нас довели до этого. Нас лишили последнего гуляния и отдыха на лопе и развлечения.

В каждый класс назначаются от Комитета Борьбы и Мести старосты. Слушайте их, господа! Ввиду опасности выкидки даем клички.

- 1 класс «Маруся»
- 2 » «Свищ»
- 3 » «Атлантида»
- 4 » «Дондер-Шиш»
- 5 » «Цибуля»
- 6 » «Сатрап» («Тень отца Хамлета»)
- 7 » «Мотня» («Я — житель»)
- 8 » «Царь Иудейский»
- Главный «Биндюг»¹

Срезанные звонки сдаются классному старосте. Он передает их через Комитет одному инвалиду, который за это будет давать нам порох, патроны, пугачи и др. О дне «варфоломеевской ночи» будет дан старостами сигнал в виде белого треугольника, присобаченного к окну на стекле.

Не надо ломать большой звонок в учительской, а то догадаться можно кто. Кто будет об этом звонить, тому так заткнем звонок... Режь звонки!

Один за всех!

Все за одного!

Да живет Борьба и Мечь!

Подпишись, передай дальше, кроме Лизарского и Балды.

Ком. Б. и М. 1915 г.».

И пошли гулять по гимназии манифесты под шепот подсказки, в толчее перемен, в накуренной вони уборной. Двести шестьдесят восемь шинелей висело в раздевалке. Двести шестьдесят шесть подписей собрали манифесты. Не дали манифеста сыну полицейского пристава Лизарскому и товарищу его Балде.

Война была объявлена.

¹ Почти все гимназисты имели свои клички. Некоторые имели даже по несколько. Например, «Мотня» звался еще также «Я — житель». Прозвище это дали ему за то, что, спрягая в латинской письменной работе глагол «инколо» (населять), он спутал его с «инкола» (житель) и всюду, переводя на русский, спрягал: «я житель, ты житель, он житель...»

Через пять дней главари собрались поздно вечером в шалмане. Несмотря на позднее время, все они явились с тяжелыми ранцами за спиной. А в ранцах, там, где бывал обычно многоводный «Саводник» и брюхатый цифрами «Киселев», лежали срезанные кнопки звонков. Белые, черные, серые, перламутровые, эмалевые, желтые, тугие и западавшие кнопочки (раз нажмешь — звонит без конца) смотрели из деревянных, металлических кружков, квадратов, овалов, розеток, лакированных, ржавых, мореных и крашенных под дуб и под орех. Оборванные провода торчали из них, как сухожилия.

Весь город записался в очередь к Афонскому Рекруту. Две недели с утра до вечера привинчивал Рекрут новые звонки, ставил «сорванные голоса», как шутя любил он говорить. Когда же последняя кнопочка была привинчена, Рекрут сказал Биндюгу:

— Крой! Через неделю.

В субботу была грязь. Не одна галоша захлебнулась в лужах, не один резиновый бот затонул на главной улице Покровска. Когда же, теряя галоши, дорогу и силы, покровчане приклепали из церкви домой, они долго шарили в темноте по дверям, зажигали спички, прикрывая их ладонью от ветра. Кнопок не было. К ночи весь город знал: новые звонки срезаны!..

— Шо ж таке? — волновались на другой день в церкви на обедне, на углах улиц, на завалинках, у ворот. — Матерь божия! Середь белого дня... грабеж. Мабуть, вони целой шайкой шкодят?..

— Як же!.. Поставила я тесто та и вышла трошки с пабрихой покалякать, с Баландихой. Ну, а у хате Гринька бильшенький мой, уроки, кажись, учил. Покалякала я трошки, вертаюсь назад, хочу парадное зачинить... шась! Нема, бачу, звоночка... И не было никого округ...

И не знала бедная кума, что ее-то «бильшенький», курносый пятиклассник Гринька, сам и срезал звонок...

Уныние царило в городке. Новых кнопок уже не ставили. Гимназисты торжествовали. На всех дверях печально пустовали невыгоревшие светлые кружки с дырками от гвоздей.

Только земский начальник позвал Афонского Рекрута.
— Ставь новый! — сказал земский. — Ставь, подлец! Да крепче! Знаю я вас, чертей афинских... Все ваши шахер-махеры знаю.

Земский погрозил пальцем. Рекрут насторожился.

— Нечего, нечего прикидываться! Знаю. Норовишь, чтоб чуть держался, поставить. Чтоб легче хулиганам этим было. Вам, архаровцам, одна выгода. Они сорвали, а тебе, черномазое жулье, заработок. Ну, на этот раз шалишь! Я городского поставлю. Круглые сутки дежурство.

Рекрут привинтил новый звонок и побежал в шалман, где ждали его гимназисты. Рекрут объявил:

— Земскому новую пупырку присобачил. Резать нельзя. Фараон караулить будет.

— Плевал я на всех фараонов! — упрямо крикнул гимназист Венька Разуданов, сын земского начальника, по прозвищу Сатрап. Коренастый, упрямоголовый, он сильно смахивал на отца. (Отсюда и пошло его второе прозвище — Тень отца Хамлета.)

— Послушайте, вы, воинствующий мальчик, — сказал Иосиф Пукис, — что это за апломбированный тон? Как бы вы не сняли вместо звонка вот эту гербовую фуражку. Зачем залазить на рожон? Осторожность прежде всему.

— Верно, Сатрапка, смотри... Если вяпаешься — вот! Приложу... — И Биндюг поднес к носу Сатрапа свой чудовищный колотушкообразный кулак.

Как всегда, кулак подвергся тщательному и любовному обсуждению. Все щупали кулак и восхищались:

— Дюжий кулак! Поздоровче моего.

— Хороший кулак в наше время лучше неважной головы, — философствовал Иосиф.

— Холеси кулак, — восхитился Чи Сун-ча, — такой кулак палаходя босьман. О! Зюбы ньет!

— А звонок я все-таки срежу! — упрямо буркнул сын земского.

*Глава почти кинематографическая,
в которой читатель,
видя наверху ноги, а внизу голову,
может крикнуть автору: „Ражку!“*

Тьма.

Потом, когда глаза наши привыкли, мы видим дверь с дощечкой: «Земский начальник Геннадий Вениаминович Разуданов». Около — новенькая кнопочка звонка. Площадка второго этажа. Кусок лестницы. Внизу, под лестницей, — голова с длинными усами и толстым носом. Фуражка с кокардой. Это Козодав. Ему холодно. Он ежится. Он подымает воротник. Он часто моргает. Глаза слипаются. Козодаву хочется спать.

Часы в столовой земского начальника показывают два. На столе стакан молока и бутерброд. Кому-то оставлено...

По лестнице поднимаются ноги. Резиновые галоши в грязи. Одна нога спотыкается о ступеньку:

— Тьфу, дьявол! Темно, как у негра под мышкой.

Вспыхивает спичка. Рука в изящной перчатке подносит спичку к звонку. Спички одна за другой долго вспыхивают и тухнут.

— Ну, на этот раз Рекрут постарался!

Внизу голова Козодава. Наверху ноги в резиновых галошах. Козодав, который на минутку заснул, очухавшись, тяжело взбегает наверх...

— Ага! Попался! — Надувшись, топорща усы, он свистит. Другой рукой он поймал неизвестного за шиворот. Свистит. — Каррраул!.. Пымал!

Неизвестный спокойно оборачивается и властно отрывая от себя руку полицейского. Это сын земского, Венька Разуданов. Он негодует:

— Ты что, болван, спятил? А? Заставь дурака...

— В... в... винов... ват-с! Не признал в темноте-с. Сделайте божескую милость, простите. Думал, за звонком кто...

Дверь раскрывается. Земский в женином капоте, с двустволкой в руках вылезает на площадку, и из-за его спины выглядывают испуганные, заспанные лица жены, свояченицы и прислуги.

— В чем дело?!

Козодав стоит вытянувшись, рука к козырьку. Веня объясняет:

— Этот дурак со сна принял меня, папа, очевидно, за бандита. А звонок сам проспал.

Все смотрят на дверь. Там, где только что был звонок, — обрывки проводов и дырочка от гвоздей. Все поворачиваются к Козодаву. Козодав подходит к дверям, не верит глазам, щупает место. Потом разводит руками. Земский трясет его за шиворот:

— Вон, мерзавец! Проспал!

Венька разыгрывает обиженного и взволнованного.

— Я так устал, мама. Занимался все время... А тут это...

Ну, тут идут дела семейные. Поцелуй, там, диафрагма — словом, конец главы.

Из кармана Венькиной шинели торчат обрезанные провода и упорно поблескивает кнопка.

Фараон вызывает Иосифа

Пристав сказал Козодаву:

— Чтoб у меня эти звонкорезы были пойманы! Слышишь? Оскандалился, черт тебя бы не взял, на весь город!.. Поймаешь — пятьдесят рублей награды. Нет — так ты у меня попрыгаешь, бляха номер два ноля!

Фараон с рвением взялся за розыски.

Он шел по базару... Не шел, а плыл. Красные шнуры погон на его богатырских плечах взлетали, как весла, в людской реке базара. И на базаре Козодав встретил Костю Гончара — шалманского блаженного, пестрого Костю. Разукрашенный, как рождественская елка, бродил Костя по базару. Две новые реликвии лучились на его брюхе: реклама галош «Треугольник» и... большая красная розетка с кнопкой от звонка. Увидев звонок, фараон кинулся к Косте. Он пообещал Косте, если тот скажет, откуда у него звонок, подарить красные погоны, золотые висюльки и все, что угодно. Костя, улыбаясь, рассказал все... Рассказал, как украл звонок из-под нар Рекрута.

— Рекрут сховал, а я пошукал трошки, та и взял... Там их сколько много!.. Раз, та еще двадцать раз, та еще...

Козодав пообещал еще тысячу разных ярких вещей.

Костя принес ему обрывки «Манифеста Борьбы и Мести». Главари были в руках. Чтоб словить остальных, фараон решил соблазнить Иосифа. Он явился в шалман и сел на его нары, дипломатически покашливая.

— А-а, господин лейб-городовой, — приветствовал его Пукис, — вы до меня? Чем могу быть нужным?

Фараон придвинулся поближе, огляделся, толкнул Иосифа локтем в бок.

— Ох, Иосиф, як, бачу я, и хитрый же ты! А ну-ну, расскажи, як с Рекрутом звоночек срезали. Я никому ни-ни. Так, послушать охота. Ну, брось корежиться.

— Я ни капли вас не понимаю. — Иосиф сделал удивленно-спокойное лицо. — Хотя я и Иосиф, а вы фараон, но я не могу понять, откуда вам это приснилось...

Козодав вынул бумажник и зашелестел радужными бумажками. Иосиф спокойно продолжал:

— И потом, мне кажется, не в обиду вам пусть сказано, что вы, господин лейб-городовой, вы колоссающий обер-подлец!

Козодав погрозил кулаком, хлопнул дверью и вышел. По дороге он остановился. Вынул манифест. Начало и конец были оборваны, но список старост остался нетронутым. Поразмыслив, Козодав вырезал из манифеста Сатрапа, сына земского начальника. «Земский за эту бумажку пятишку даст, — решил городской, — а не то и его сынка попрут». Поправив фуражку, фараон пошел в участок, а оттуда в гимназию, к директору...

Шаги в коридоре

Скучный ветер студил лужи, как чай на блюдечке. Звенели телефонные провода. В десять телефонная барышня соединяла звенящими в ветре проводами полицейский участок с зеленым кабинетом за учительской. Директор, зеленый, как обои его кабинета, и медлительно безрадостный, как диктант, повернул рукоятку телефона, откинулся в кресло, снял трубку и поднес ее к уху.

— Да, — сказал он, — слушаю.

В гимназии шли уроки. И через полчаса во всех классах услышали: по коридору прошли двое. У этих двоих

были тяжелые незнакомые и недобрые шаги. У одного, ступавшего тяжело и кряжисто, скрипели сапоги. Другой на каждом шагу чем-то позванивал, тренькал. В классах прислушивались. Подняли головы от тетрадей, шаргалок, щелей в парте, от запретных книжек и козырного валета. На дверях остановились настороженные взгляды.

Развязка

В третьем шла письменная по математике. Коридор опять затих. Скрипели перья. Биндюг сморозил что-то в задаче. Не выходило по ответу. Шаги в коридоре совсем сбили с панталыку. Степка-Атлантида, у которого сердце тоже екнуло, увидев друга в затруднительном положении, послал ему записку:

«Свинья не выдаст, директор не съест».

Но свинья выдала... Дверь класса раскрылась. Класс грохнул партами. Вошел мерзостно-ликующий Цап-Царапыч, играя брелоком-ключиком. Ключик был от шкафа, где лежал конduit. Цап-Царапыч вызвал:

— Гавря! К директору!

Атлантида растерянно вырос над партой. Цап-Царапыч заторопил:

— Ну, живо! Поворачивайся. Книги возьми с собой...

Класс взволнованно загудел. С книгами!.. Значит, совсем. Не вернется...

Биндюг ждал, словно под удар наклонив голову, но Цап-Царапыч молчал. Козодав, убоявшись Биндюговых кулаков, вырезал и его из списка.

Атлантида дрожащими руками собрал книги, взял ранец и пошел к двери. По дороге незаметно сунул Биндюгу свернутую в трубочку бумажку. В дверях Атлантида остановился и хотел что-то сказать, но Цап-Царапыч вытолкнул его за дверь. Класс томительно молчал. Учитель математики нервно протирал запотевшие стекла очков...

Биндюг расправил бумажку, которую ему дал Атлантида. На бумажке было полное решение задачи, не выходящей у Биндюга. Степка и в последнее мгновение не забыл друга, помог. С минуту Биндюг сидел неподвижно,

опустив голову и уткнувшись глазами в одну точку. Потом вдруг встал, качнулся над партой, подобрал воздуха во всю свою широкую, как рыдван, грудь, избычился и решительно сказал:

— Можно выйти?

— До конца урока осталось десять минут, — сказал учитель.

— Можно выйти? — упрямо выдохнул Биндюг и шагнул в проход.

— Идите, если вам так приспичило.

Замерший класс увидел, что Биндюг собрал книги, торопясь, попихал их в ранец и грузно пошел с ним к дверям. Небывалая тишина наступила в третьем классе.

Не оглядываясь, Биндюг вышел в коридор. В пустом коридоре Биндюг почувствовал себя маленьким и обреченным. И он услышал, как за дверью в страшном немении покинутого им класса полыхнул, взвился над партами, чернильницами, кафедрой тонкий хохот и перешел в захлебывающийся визг. Это на первой парте, не выдержав, забился в истерике маленький Петька Ячменный...

Биндюг расправил плечи и зашагал в кабинет директора.

Восемь

Козодав сопел. Он сопел и тыкал пальцем в стоящих перед ним гимназистов.

— Так точно! Это вот — Свищ. А этот-с — Атлантида-с. Ихняя кличка такая-с.

Другой, позванивая шпорами, раскачивался, откинувшись на спинку стула, и крутил черные усики:

— Так-с, так-с... Ай да конспирация!.. Так-с, молодые люди.

Семеро стояли перед столом. Семеро, так как сына земского начальника не было. Копоть тоски и отчаяния оседала на лица.

— Так. Отлично, — сказал резко и сухо директор, словно щепка треснула, — благодарю вас... Ну-с, скверные мальчишки! Что вы можете сказать? Стыд! Срам! Позор! Кто был еще с вами? Не скажете? Скверные, отвратительные мальчишки. Мародеры! Вы все будете исключе-

ны. Вы позорите герб. Разговоры бесполезны. Пришлите родителей. Мне их очень жалко. Иметь таких детей — большое горе для родительского сердца. Дрянь.

Семеро вскинули глаза и тяжело вздохнули. Родители... Да... Сейчас дома будут слезы матери. Ругань. Отодвинутый с грохотом стул отца. Может быть, оплеуха. Стынувший обед... «Водовозом будешь, скотина!..» Пустые дни впереди.

И Царь Иудейский грубо сказал:

— Не будем касаться родителей, Ювенал Богданыч! И так тошно.

— Молчать! Вы что, волчий билет захотели, скверный мальчишка?

В это время вошел Биндюг. Он уперся в край стола. Стол заскрипел. Биндюг, тяжело двигая челюстью, разжевал:

— Я тоже, Ювенал Богданович... Я... их главный.

— Ну что ж. Можешь считать себя свободным. Ты тоже исключен.

В раздевалке стало меньше на восемь шинелей.

Восемь человек побрели по размякшей площади, увязая в грязи, согнувшись под тяжестью ранцев и беды. В последний раз они оглянулись на гимназию, и один из них — это был Биндюг, в классе из окна видели — злобно погрозил кулаком. И в классах всем, кто видел их, захотелось кричать, трахнуть кулаком по парте, опрокинуть кафедру, догнать ушедших... Но в классах сидели гимназисты. А гимназистам запрещалось шуметь и быть товарищами, пока им не разрешал этого звонок, отмеривающий порции свободы.

Перья скрипели и кляксили.

Пукис — бенефициант

А к середине пятого урока в тихий коридор вошел серьезный Иосиф Пукис. Мокеич, сторож, опилками мыл пол. Иосиф вежливо поздоровался и сказал вкрадчиво:

— Господин обер-швейцар! Мне бы так треба видеть господина директора. Дело идет о жизни и наоборот.

Директор принял Иосифа в учительской. Директор то-ропился:

— Ну-с? Чем могу?.. Э-э... Прошу не задерживать.

— Господин высший директор, — начал Иосиф, — я — старый блуждающий еврей, и я вижу на вашем лице семейное счастье. Бьюсь об закладку, ваши дети не будут ходить босы и наглы.

— Короче! — сухо перебил директор. — У меня нет детей. И, кроме того, нет времени...

— Одно маленькое мгновение, господин директор. Вы сегодня исключили восемь ребят. За что вы их исключили, я вас спрашиваю? А я имею право спрашивать? Нет! И еще двадцать раз нет. Но у меня мягкое сердце. А когда мягкое сердце, так нельзя молчать. Мне очень жалко за мальчиков. А еще больше мне жалко за родителей, которые нянкали и росли этих мальчиков. Господин директор, у вас нет детей. Дай вам бог, чтобы они у вас были. Вы не знаете, как это — ой-ой-ой — больно, когда приходит ваш мальчик и...

— Будет! — Директор встал. — Бесполезный разговор. Выход на улицу вон в ту дверь.

— Одну маленькую минуточку! — закричал Иосиф, хватая директора за рукав. — А вы знаете, что эти звонки, чтоб они пропали, резали все ваши мальчишки? Сколько учился их у вас всего?

— Двести семьдесят два учились до сего дня, — машинально ответил директор.

— Так из них резало двести шестьдесят самое меньшее. Что вы на это скажете? А что, если я скажу, что ваш лучший ученик, сын господина высшего земского начальника, дай бог ему здоровья, резал, и даже лучше многих? Полиция вам показала кусочек.

И Иосиф вынул полный манифест и показал директору, Директор побледнел. Подписи всех восьми классов стояли на манифесте. Директор брезгливо протянул Пукису руку.

— Садитесь... пожалуйста...

Тогда Иосиф изложил свой план. Мальчиков принимают в гимназию обратно. Полиция делает обыск в шалмане и находит звонки. Афонский Рекрут пока скроется. С ним все уже договорено. Все будут думать, что звонки резали бродяги из шалмана, гимназисты будут оправданы. Скандал будет потушен. Если же директор не примет обратно мальчиков, весь город, вся губерния, весь учеб-

ный округ узнает завтра же и о порядочках в Покровской гимназии, и о том, как ведут себя дети земских начальников...

— Хорошо, — выдавил директор, — они будут приняты обратно. Мы им запишем только в кондуит.

И он вынул бумажник.

— Сколько вам следует за это, — спросил директор, — за это... и еще за то, чтобы вы молчали?

Иосиф вскочил. Иосиф перегнулся через стол. Иосиф сказал:

— Господин директор! Вам не придется платить мне, господин директор... Но, клянусь памятью моей матери, да будет ей земля пухом и прахом, что будет такое время, когда вам заплатят и я, и мы, и те восемь, которые пошли, как выгнанные собаки... и заплатят с хорошими процентами!

Так кончается сказание об Афонском Рекруте.

„Журавли“ и „лебеди“

После скандала со звонками гимназия временно как будто немного притихла. Кровопролитные мордобития, кражи и дебоши стали пореже. Зато режим в гимназии сделался еще суровее.

И Цап-Царапыч то и дело потрясал гипсовые основы античного искусства, отпирая шкаф с кондуитным журналом и беспокоя преклонных лет Венеру.

Строжайше были запрещены прогулки по платформе и Народному саду. Серая, тоскливая нудь сочилась изо дня в день, с одной странички учебного дневника на другую. Кондуит свирепствовал. На уроках у стен выстраивались рядами наказанные. В журналах выстраивались осенними журавлями косяки носатых единиц. Лебедями плыли двойки.

Три „Е“ и „Тараканий ус“

Особенно рьяно разводил «журавлей» и «лебедей» учитель латинского языка Вениамин Витальевич Пустынин, прозванный за длинные, торчком стоящие усы «Тараканий Ус», или, «по-латыни», «Тараканиус».



Была у него и другая весьма распространенная в нашем классе кличка — «Длинношее».

Был Тараканиус худ, носат и похож на единицу. Шея у него была длиннющая, по-верблюжьи раскачивалась она над крахмальным воротником с острыми углами. Однажды на уроке Гавря, желая потешить класс, спросил Тараканиуса:

— Вениамин Витальич! Хотя у нас сейчас не русский, объясните, пожалуйста: ведь есть такое слово, которое на три «е» кончается?

— Есть, — ничего не подозревая, ответил Тараканиус, — есть! Например, вот: «длинношее».

Класс грохнул. Гавря, торжествуя, сел. С того дня Тараканиуса в классе и всюду встречали три громадные буквы «Е». Они глядели с классной доски, с кафедры, с сиденья его стула, со спины его шубы, с дверей его квартиры. Их стирали. Назавтра они появлялись снова.

Тараканиус бледнел, худел и ставил единицы в тетрадках и дневниках. У него была страсть к маленьким тетрадочкам, куда мы записывали латинские слова. Вызывая

на уроке ученика, он непременно каждый раз требовал, чтобы у нас на руках была эта тетрадка.

— Так-с, — говорил он, — урок, я вижу, ты усвоил. Ну-с! Дай-ка тетрадочку. Посмотрим, что у тебя там делается... Что?! Забыл дома?! И смел выйти отвечать мне урок без нее! Садись. Единица.

И никакие просьбы, никакие мольбы не спасали. Единица!

В нашем классе были два ученика — Алексеенко и Алефференко. Однажды Алексеенко забыл пресловутую тетрадочку. Тараканиус вошел в класс, воссел на кафедре, надел пенсне и негромко вызвал:

— Але... ференко!

Алефференко, сидевший позади Алексеенко, пошел к кафедре. Алексеенко, которому со страху почудилось, что вызвали его, вскочил и уныло пробасил:

— Я тетрадку забыл, Вениамин Витальевич... со словами...

И замер от ужаса: к кафедре подходил Алефференко.

«Обознался!.. Ой, дурак!..»

Тараканиус невозмутимо обмакнул перо в чернила.

— Ну, собственно, я не тебя, а Алефференко вызывал. Но раз уж сам сознаешься, получай по заслугам.

И поставил единицу.

Историческая гвардия

Звонок. Кончилась перемена. Стихает шум в классе. Идет!

Все за партами разом вскочили.

Приближается историк. Белокурые мягкие волосы на пробор. Худое, совсем молодое бледное лицо. Громадные голубые глаза. Голова чуть-чуть склонилась ласково набок. Воротничок ослепителен. Кирилл Михайлович Ухов вихрем влетает в класс, бросает на кафедру журнал.

Класс на ногах.

Кирилл Михайлович осматривает класс, взбегает на кафедру, забегает в проход сбоку, садится на корточки. Вдруг голубые глаза сверкнули. Высокий голос сорвался в крик:

— Кто!.. там!! смеет!!! садиться?!! Я еще не сказал...

«садитесь»... Встаньте и стойте!!! И вы там!!! И вы!!! И вы! Негодяи! Остальные — сесть. Руки на парту. Обе. Где рука? Встаньте и стойте! А вы — к стенке!!! Прямо! Ну... Тишина! Кто это там скрипит? Шалферов? Встаньте и стойте! Молчать!

Четырнадцать человек стоят весь урок. Историк рассказывает о древних царях и знаменитых лошадях. Ежеминутно поправляет галстук, волосы, манжеты. Из-под манжеты левой руки блестит золотой браслет — подарок какой-то легендарной помещицы.

Четырнадцать человек стоят. Урок идет томительно долго. Ноги затекли. Наконец учитель смотрит на часы. Щелкает золотая крышка.

Стоящие нерешительно покашливают.

— Простудились? — спрашивает заботливо историк. — Дежурный, закройте все форточки: на них дует.

Дежурный закрывает форточки. Урок идет. Наказанные стоят, переминаясь с ноги на ногу. Взглянув еще раз два на часы, историк вдруг говорит:

— Ну, гвардия, садитесь...

Ровно через минуту всегда звонит звонок.

Среди блуждающих парт

Француженку нашу звали Матрена Мартыновна Бадейкина. Но она требовала, чтобы мы ее звали Матроной: Матрона Мартыновна. Мы не спорили.

До третьего класса она звала нас «малявками», от третьего до шестого — «голубчиками», дальше — «господами».

Малявок она определенно боялась. У некоторых малявок буйно, как бурьян на задворках, росли усы, а басок был столь лют, что его пугались на улице даже верблюды. Кроме того, от малявок, когда они отвечали урок у кафедры, так несло махоркой, что бедную Матрону едва не тошнило.

— Не подходите ближе! — вопила она. — От вас, пардон, несет.

— Пирог с пасленом ел, — учтиво объяснял малявка, — вот и несет от отрыжки.

— Ах, моя дья! При чем тут паслен? Вы же насквозь прокурены...

— Что вы, Матрена... тьфу! Матрона Мартыновна! Я же некурящий. И потом... пожалуйста... пы-ыжкытэ ла класс?¹

От последнего Матрена таяла. Стоило только попросить по-французски разрешения выйти, как Матрена расплылась от счастья. Вообще же она была, как мы тогда считали, страшно обидчивой. Напишешь гадость какую-нибудь на доске по-французски, дохлую крысу к кафедре приколешь или еще что-нибудь шутя сделаешь, она уже в обиду. Запишет в журнал, обидится, закроет лицо руками и сидит на кафедре. Молчит. И мы молчим. Потом по команде Биндюга парты начинают тихонько подъезжать полукругом к кафедре. Мы очень ловко умели ездить на партах, упираясь коленками в ящик парты, а ногами — в пол. Когда весь класс оказывался у кафедры, мы тихонько хором говорили:

— Же-ву-зем... же-ву-зем... же-ву-зем...

Матрена Мартыновна открывала глаза и видела себя окруженной со всех сторон съехавшимися партами. А Биндюг вставал и трогательно, галантно басил:

— Вы уж нас пардон, Матрона Мартыновна! Не сердчайте на своих малявок... Гы... Зачеркните в журнальчике, а то не выпустим...

Матрена таяла, зачеркивала.

Класс отбивал торжественную дробь на партах. «Камчатка» играла отбой. Парты отступали.

Вскоре нам надоело каждый раз объясняться в любви нашей «франзели», и мы вместо «же-вузем» стали говорить «Новоузенск». Же-ву-зем и Новоузенск — очень похоже. Если хором говорить, отличить нельзя. И бедная Матрона продолжала воображать, что мы хором любим ее, в то время как мы повторяли название близлежащего города.

Кончилось это, однако, плачевно. Вслед за партами лихорадка туризма объяла и другие вещи. Так, однажды поехал по коридору большой шкаф, из учительской уехали галоши Цап-Царапыча. Когда же раз перед уроком, встав

¹ Искаженное «Пюи ж кита ля класс?», что по-французски значит: «Могу ли я покинуть класс?»

на дыбы, помчалась кафедра, под которой сидел Биндюг с приятелем, тогда в дело столоверчения вмешался дух директора, и герои попали в кондуит. Класс же весь сидел два часа без обеда.

Царский день

С утра в окно виден трепыхающийся, слоенный белым, синим и красным флаг.

На календаре — красные буквы:

«Тезоименитство его величества...»

У церкви Петра и Павла — колокол с трещиной:

«Ан-дрон!.. Ан-дрон!.. Ан-дрон!..»

Ти-ли-лик-нем помаленьку...

Тилиликнем помаленьку...»

К одиннадцати — в гимназию. Молебен.

В коридоре парами стоят классы. Жесткие, с серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. Тишина. Ладан. Духота. Батюшка, тот самый, который на уроках закона божьего бьет гимназистов корешком евангелия по голове, приговаривая: «Стой столбом, балда», в нарядной ризе гнусавит очень торжественно. Поет хор. Суетится маленький волосатый регент.

Два часа навтыжку. Классы стоят не шелохнувшись. Чешется нос. Нельзя почесать. Руки по швам. Тишина. Жара. Душно...

— Многая лета! Мно-огая ле-ета!..

— Николай Ильич... Боженев рвать хочет...

— Тс-с-с... Тихо! Я ему вырву!..

— Многая ле-е-ета-а...

— Николай Ильич... он, ей-богу, не сдержит... Он уже тошнит...

— Тс-с-с!

Тишина. Духота. Нос чешется. Дисциплина. Руки по швам. Второй час на исходе.

— Бо-о-же, царя храни!

Директор выходит вперед и, словно из детского пистолета, коротко стреляет:

— Ура!

— Уррра-а-а-а-а!!!!

Коридор сотрясается. Директор еще раз:

— Ура!

— Урррраааа!!!!

Еще раз... Эх, раз, еще раз!..

— Ура-а!

— А-а-а-а...ыак...

— Николай Ильич, Боженев уже блюет на пол...

— ...Боже, царя храни...

Боженева уносят. Обморок. Молебен окончен. Можно почесать нос, на один крючок расстегнуть ворот.

„Наука умеет много гитик“

Уже давно Аннушка сообщила нам, что «наука умеет много гитик». Такова была секретная формула одного карточного фокуса. Карты раскладывались парами по одинаковым буквам, и загаданная пара легко находилась. Отсюда следовало, что наука действительно была всесильна и умела много... этого самого... гитик... Что такое «гитик», никто не знал. Мы искали объяснений в энциклопедическом словаре, но там после наемной турецкой кавалерии «гитас» следовало сразу «Гито» — убийца американского президента Гарфильда. А гитика между ними не было.

Затем о значении науки я услышал в гимназии. Но могущество науки здесь не доказывалось так наглядно, как в Аннушкином фокусе. С кафедры низвергалась и запорашивала наши головы наука, сухая и непереваримая, как опилки. О гитике никто из учителей также не смог сообщить что-нибудь определенное. Второгодники посоветовали обратиться за разъяснением к латинисту.

— От кого ты слыхал это слово? — спросил в затруднении самолюбивый латинист.

И второгодники затихли, предвкушая.

— От нашей кухарки, — ответил я при шумном ликовании класса.

— Иди в угол и стой до звонка, — перебил меня вспыхнувший латинист. — В программе гимназии, слава богу, не предусмотрено изучение дуршлагов и конфорок... Болван! Заткни фонтан!

И я заткнул фонтан. Я понял, что гимназическая наука не предназначена для удовлетворения наших, как тогда говорили, духовных запросов.

В поисках истины я опять ушел бродить по вольным просторам Швамбрании. Знаменитый герой задачников, скромно именуемый «Некто», этот самый Некто, купивший 25¼ аршина сукна по 3 рубля за аршин и продавший по 5 рублей, терпел из-за Швамбрании большие убытки. Путешественники, выехавшие из пунктов А и Б навстречу друг другу, никак не могли встретиться, ибо плутали по Швамбрании. Но население Швамбрании в лице Оськи радостно приветствовало мое возвращение.

Место на глобусе

Вернувшись на материк Большого Зуба, я принялся за реформы. Прежде всего надо было утвердить Швамбранию в каком-нибудь определенном месте на земном шаре. Мы подыскивали ей местечко в Южном полушарии, на пустынном океане. Таким образом, когда у нас была зима, в Швамбрании было лето, а ведь играть интересно только в то, чего сейчас нет.

Теперь Швамбрания крепко осела на глобусе. Материк Большого Зуба лежал в Тихом океане, на восток от Австралии, поглотив часть островов Океании. Северные границы швамбранского материка, доходя до экватора, цвели тропическим изобилием, южные границы леденели от близкого соседства Антарктики.

Потом я вытряхнул на швамбранскую почву содержание всех прочитанных книг. Оська, силясь не отставать от меня, заучивал новые для него слова и нещадно их путал. Ежедневно, как только я приходил из гимназии, Оська отзывал меня в сторону и шептал:

— Большие новости! Джек поехал на Курагу охотиться на шоколадов... а сто диких балканов как накинутся на него и ну убивать! А тут еще из изверга Терракоты начал дым валить, огонь. Хорошо, что его верный Сара-Бернар спас — как залает...

И я должен был догадываться, что у Оськи в голове спутались курага и Никарагуа, Балканы и канибалы, шоколад и кашалот; артистку Сару Бернар он перепутал с породой собак сенбернар... А извергом он называет вулкан за то, что тот извергается.

Мы росли. В моем почерке буквы уже взялись за руки. Строчки, как солдаты, равнялись направо. А повзрослев, мы убедились, что в мире мало симметрии и нет абсолютно прямых линий, совсем круглых кругов, совершенно плоских плоскостей. Природе, оказалось, свойственны противоречия, шероховатость, извилистость. Эта корявость мира произошла от вечной борьбы, царящей в природе. Сложные очертания материков также являли след этой борьбы. Море вгрызалось в землю. Суша запускала пальцы в голубую шевелюру моря.



Необходимо было пересмотреть границы нашей Швамбрании. Так появилась новая карта.

Но тут мы заметили, что борьба лежит не только в основе географии. Какая-то борьба правила всей жизнью, гудела в трюме истории и двигала ее. Без нее даже наша Швамбрания оказывалась скучной и безжизненной. Игра становилась стоячей, как вода в болоте. Мы не знали еще тогда, какая борьба движет историю. В нашей уютной квартире мы не могли познакомиться с великой, всепроникающей борьбой за существование. И мы тогда решили, что все это — войны, перевороты и т. д. — просто борьба хорошего с плохим. Вот и всё. И, чтобы швамбранская игра развивалась, пришлось поселить в Швамбрании нескольких негодяев.

Самым главным негодяем Швамбрании был кровожадный граф Уродонал Шателена.

В то время во всех



журналах рекламировался «Уродонал Шателена», модное лекарство от камней в почках и печени. На объявлениях уродопала обычно рисовался человек, которого терзали ужасные боли. Боли изображались в виде клещей, стиснувших тело несчастного. Или же изображался человек с платяной щеткой. Этой щеткой он чистил огромную человеческую почку. Все это мы решили считать преступлениями кровожадного графа.

Верхний этаж мира

Крыши домов хотя и принадлежали действительному миру, но были высоко приподняты над скучной землей и не подчинялись ее законам. Крыши были оккупированы инвабрами. По их крутым скатам и карнизам, по острым конькам, через чердаки и брандмауэры я совершал далекие головокружительные путешествия. Перелезая с крыши на крышу, можно было, не касаясь земли, обойти весь квартал. А потом хорошо было к вечеру смотреть на небо, лежа на остывающем железе между трубой и шестом скворечника. Близкое небо плыло над головой, и крыша плыла против облачного течения. На мачте нависывал вахтенный скворец. День, как большой корабль, подваливал к вечеру. День поднимал красные весла заката и бросал во двор тени, когтистые, как якоря.

Но хождение по крышам строго запрещалось. Дворник Филиппыч с метлой охранял надземные края. Он был бдителен и неутомим.

Хозяева чужих дворов, увидев меня громыхающим по их крышам, кричали: «Довольно бессовестно докторовым детям по крышам галашничать!» — хотя я не понимал, почему, собственно, дети врачей рождены ползать лишь по земле! Но это проклятое «докторовы дети» вечно преследовало нас и обязывало к благовоспитанности.

Однажды Филиппыч выследил меня. Он гнался за мной, громыхая по железу. На соседнем дворе, куда я хотел прыгнуть, спустили с цепи грозного барбоса. На другом дворе стоял хозяин в розовых кальсонах и жилетке. Он гарантировал, со своей стороны, «проборцию и ушедранье»... Но тут я заметил у соседнего брандмауэра лестницу. Я показал Филиппычу язык и спасся на третий двор.

Дворик, куда я попал, был весь в деревьях. Деревья взбили лиловую пену сирени и маялись ее изобилием. Садык цвел тучно и щедро.

За своей спиной я услышал легкий топот. Из садыка выбежала веселая девочка с длинной золотой косой, со скакалкой в руках. Она принялась внимательно разглядывать меня. Я стал задом отходить к калитке.

— Мальчик, отчего вы торопитесь? — спросила девочка.

— От дворника, — сказал я.

У девочки были черные прыгающие меткие глаза, похожие на литые мячи, которыми мы играли в лапту. Я чувствовал, что мне не «отпасться». Но бежать было нельзя. Та же лапта учила: один на один — не нарываться.

— Вы дворников боитесь? — спросила она.

— Неохота связываться, — сказал я басом, — а так я чихал на них левой ноздрей через правое плечо.

И я засунул руки в карманы. Девочка посмотрела на меня с уважением.

— Как это — через плечо? — спросила она.

Я показал. Немного помолчали. Потом девочка спросила:

— А вы в каком классе?

— В первом, — сказал я.

— И я в первом, — обрадовалась девочка. — А у вас классный господин строгий?

— У нас вовсе наставник, а не господин.

— А у нас дама, — сказала девочка. — Злющая — ужас! Опять немного помолчали.

— А у нас, — сказала девочка, — одна ученица умеет ушами двигать. Ей завидуют все.

— Это что! — сказал я. — А вот в нашем классе есть один — до потолка плклет... Эх, и здоровый! Одной левой всех борет. А кулаком может прямо парту сломать... только ему не позволяют. А то он, честное слово, сломал бы.

Опять молчанье. На соседнем дворе захлопала шарманка. Я в поисках темы для разговора оглядывал двор. Дом плыл в небе. Большой змей с мочальным хвостом замотался над крышей. Он козырнул, выправился и солидно задрнчал.

— А у меня пряжка никогда не пожелтеет, — сказал я неожиданно, — потому что никелированная. Можете, пожалуйста, потрогать...

И я снял пояс. Девочка с вежливым интересом пощупала пряжку. Я расхрабрился, снял фуражку и показал, что на внутренней стороне козырька химическим карандашом написаны мои имя и фамилия, чтобы не пропала. Девочка прочла.

— А меня Тая зовут, по-настоящему — Таисия Опилова, — сказала она. — А вас Лёня, да?

— Леля, — ответил я. — Разрешите... очень приятно познакомиться...

— Леля? Это женское имя! — насмешливо протянула Тая.

— Если б женского рода, то с мягким знаком было бы, — убежденно заявил я.

Так состоялось знакомство.

Первая швамбранка

Теперь я, вольный сын Швамбрании, каждый день спускался с крыши в сиреневую долину, и Тае Опиловой суждено было стать швамбранской Евой. Оська был против. Он кричал, что ни за какие пирожные не примет играть девочку. Действительно, до сих пор в Швамбрании девочки не водились. Я же доказывал Оське, что во всех порядочных книгах красавиц похищают и спасают, и в Швамбрании теперь тоже будут похищать и спасать. Кроме того, я приготовил для первой швамбранки замечательное имя: герцогиня Каскара Саграда, дочь герцога Каскара Барбе. Даже в журнале «Нива», с обложки которого я взял это имя, было, помнится, написано, что это звучит «легко и нежно». Оська принужден был согласиться, и я начал понемножку посвящать Каскару, то есть Таю, в дела Швамбрании. Она сначала ничего не понимала, но потом стала немного разбираться в истории и географии материка Большого Зуба. Она обещала строго хранить тайну.

Окончательно я покори́л Таю, когда, нацепив бумажные эполеты, заявил, что иду на войну с Пилигвинией и привезу ей трофей.

На другой день я вернулся из пилигвинской кампании. Я скакал по крыше с трофеями в руках. Трофеи составляли два сливочных пирожных. Ей и мне. От моего пирожного уголок отъел Оська.

Я спрыгнул со стены и остолбенел. Рядом с Таей гулял по садику незнакомый мальчишка в форме воспитанника военного кадетского корпуса. Он был гораздо старше и выше меня. У него были настоящие погоны, настоящий штык, и вообще он зазнавался.



— А! — воскликнул он, увидя меня. — Это и есть ваш швамброман?

И я понял, что Тая все рассказала ему...

— Послушайте, — развязно продолжал кадет, — вы, штатский юноша... Вам не стыдно называть барышню такими неприличными названиями?! Вы знаете, что такое Каскара Саграда?.. Это пилюли от запора, извините за выражение. Эх вы, шпак несчастный!.. Сразу видно — докторский сынок...

Это напоминание взорвало меня.

— Кадет, на палочку надет! — крикнул я и полез на крышу.

Половинкой пирожного я запустил в кадета. Полтора пирожных я съел сам.

Потом я лег на крышу и стал переживать. Надо мной насвистывал вахтенный скворец. Одиноким и гордым, я плыл в Швамбранию, и день, как корабль, подплывал к вечеру. Закат поднял красные весла, и во двор упали тени, когтистые, как якоря.

— К черту! — сказал я.

Но это относилось не к Швамбрании.

ДУХ ВРЕМЕНИ

В

*Театр военных
действий*

доме идет бой. Брат идет на брата. Дислокация, то есть расположение враждующих сторон, такова: Швамбрания — в папином кабинете, Пилигвиния — в столовой. Гостиная отведена под «войну». В темной прихожей помещается «плен».

Я на правах старшего, разумеется, швамбран. Я наступаю, прикрываясь креслом и зарослью фикусов и рододендронов. Братишка Ося окопался за пилигвинским порогом столовой. Он кричит:

— Бум! Пу!.. Пу!.. Леля!.. Я же тебя вижу, уже два раза убил... А ты все ползешь. *Давай* сделаем «чур, не игры»!

— Не «чур, не игры», а перемирие! — сердито поправил я. — И потом, ты меня не убил до смерти, а только контузил навывлет.

В прихожей, то бишь в «плену», томится Клавдюшка с соседнего двора. Она приглашена в игру специально на роль пленной и по очереди считается то швамбранской, то пилигвинской сестрой милосердия.

— Меня будут скоро свободить с плену? — робко спрашивает Клавдюшка, которой начинает докучать бездельное сидение в потемках.

— Потерпишь! — отвечаю я неумолимо. — Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее приготовленные позиции.

Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с фронта пестрят красивыми и туманными



Мы, гимназисты, обязанные трехцветными шарфами, продаем флажки союзников.

словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армий, и называется все это звучно и празднично: «Театр военных действий».

На парадных картинках в «Ниве» франтоватые войска церемонно отбывают живописную войну. На крутых генеральских плечах разметались позолоченные папильотки эполет, и на мундирах дышат созвездия наград. На календарях, папиросных коробках, открытках, на бонбоньерках храбрый казак Кузьма Крючков бесконечно варьирует свой подвиг. Выпустив чуб из-под сбитой набекрень фуражки, он расправляется с разездом, с эскадроном, с целой армией немцев... На гимназических молебнах провозглашают много лета христолюбивому воинству. Мы, гимназисты, обвязанные трехцветными шарфами, продаем по улицам флажки союзников. В кружках, в тех самых, что остались от «белой ромашки», бренчат дарственные медяки. Мы с гордостью казыряем стройным офицерам.

Мир полон войны. «Ах, громче, музыка, играй победу! Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит...» Воззвания, манифесты... «На подлинном собственной рукой его императорского величества начертано: «Николай»... Война, большая, красивая, торжественная, занимает наши мысли, разговоры, сны и игры. Мы играем только в войну.

...Перемирие кончилось. Мои войска бьются на подступах к прихожей. На поле брани неожиданно появляется нейтральная Аннушка и требует немедленного освобождения Клавдии из плена: ее ждет на кухне мать.

Объявляется «чур, не игры», то есть перемирие. Мы бежим на кухню. Мать Клавдии, соседская кухарка, жепщина с вечно набрякшим лицом, сидит за столом. Серый конверт лежит перед ней. Она здоровается с нами и осторожно берет письмо.

— Клавдюшка, — говорит она, растерянно теребя конверт, — от Петруньки пришло. Попроси уж молодого человека устно прочесть. Как он там жив... Господи...

Я вижу на конверте священный штамп «Из действующей армии». Я почтительно принимаю письмо из руки. Пропасть уважения и восторга скопилось в кончиках пальцев. Письмо оттуда! Письмо с войны!.. «Марш вперед, друзья, в поход, черные гусары!», «На подлинном собственной рукой его величества...»

И я читаю вслух радостным голосом:

— «...и еще, дорогая мама Евдокия Константиновна, спешу уведомить вас, что это письмо подписую не собственной рукой, как я будучи сильно раненный в бою, то мне ее в лазарете отрезали до локтя совсем на нет...»

Потрясенный, я останавливаюсь... Клавдина мать истошно голосит, припадая сразу растрепавшейся головой к столу. Желая как-то утешить ее и себя тоже, ибо я чувствую, что репутация войны сильно подмочена близкой кровью, я нерешительно говорю:

— Он, наверно, получит орден... серебряный... Будет георгиевский кавалер...

Кажется, я сморозил основательную глупость?!

Вид на войну из окна

В классе идет пудный урок алгебры. Учитель математики Карлыч болен. Его временно замещает скучнейший акцизный чиновник, скрывающийся от мобилизации, Самылов Геннадий Алексеевич, прозванный нами Гнедой Алексёв.

На площади перед гимназией происходит учение — строевые занятия солдат 214-го полка. В открытую форточку класса, путая алгебраические формулы, влетают песни и команда:

— «Ах цумба, цумба, цумба, Мадрид и Лиссабон!..»

— Равняйсь! Первой, второй... рассчитайсь!

— «Раскудря-кудря-кудря-ку... раскудрявая моя!»

— Ать-два! Ать-два!.. Левой!.. Шаг равный...

— «Дружно, ребята, в поход собирайся!..»

— Как стойшь, сатана? Равняйсь! Стой веселей!..

— Здра-жла-ваш-дит-ство!..

— Вперед коли, назад коли, вперед прикладом бей! Бежи ще раз!.. Арш!..

— Ыра-а-а-а-а-а-а-а-а!!!

Из широко разверстых ртов, из натруженных глоток лезет с хрипом, со слюной надсадное «ура». Штыки уходят в чучело. Соломенные жгуты кишками вылезают из распоротого мешочного чрева.

— Кто это там в окно загляделся? Мартыненко, ну-ка, повторите, что я сейчас сказал.

Огромный Мартыненко, по прозвищу Биндюг, отдирает глаза от окна и тяжело вскакивает.

— Ну, что я сейчас объяснил? — пристает Гнедой Алексёв. — Не слышал... в окно любовался... Ну, чему равняется квадрат суммы двух катетов?

— Он... это... — бормочет Мартыненко и вдруг подмигивает: — Он равняется направо... Первый, второй, расчитайся... Плюс ряды сдвоенные...

Класс хохочет.

— Я вам ставлю единицу, лодырь. Марш к стенке!

— Слушаюсь! — рапортует Мартыненко и по-военному застывает у стенки.

Классу совсем весело. Перья поют.

— Мартыненко, убирайтесь вон из класса! — приказывает педагог.

Мартыненко командует сам себе:

— К церемониальному... равнение на кафедру... По коридору... арш!

— Это что за шалопайство! — вскакивает преподаватель. — Я вас запишу в журнал! Будете сидеть после урока!

— Чубарики-чубчики... — доносится в форточку. — Как стоишь, черт? Три часа под ружье... Чубарики-чубчик...

Первое орудие, чхи!

Бац!!! За доской выстрелила печка... Трррах!!! Та-та... Кто-то, зная ненависть Самлыкова к выстрелам, положил в голландку патроны. Учитель, бледнея, вскакивает. По классу ползет вонючий дым. Учитель бежит за доску. По дороге он наступает на невинный комочек бумаги. Класс замирает. Хлоп!!! Комочек с треском взрывается. Педагог отчаянно подпрыгивает. Едва другая его подошва коснулась пола, как под ней происходит новый взрыв. Класс, подавившись немым хохотом, сползает со скамеек под парты. Взбешенный учитель оборачивается к классу, но за партами ни души. Класс безлюден. Мы извиваемся, мы катаемся от хохота под скамейками.

— Дрянь! — кричит в отчаянии учитель. — Всех запишу!!!

И он осторожно, на цыпочках, ступает к кафедре. Подошвы его дымятся. Он достает с кафедры табакерку — надежное утешение в тяжелые минуты, но в табакерку, которую он перед уроком оставил на минуту на подоконнике в коридоре, нами уже давно всыпан порошок и молотый перец.

Гнедой Алексёв втягивает взволнованными ноздрями понюшку этой жуткой смеси. Потом он застывает с открытым ртом и вылезающими на лоб глазами. Ужасное, раздражающее ап-чхи сотрясает его.

Класс снова становится обитаемым. Парты ходят от хохота. Мартыненко, подняв руку, командует:

— Второе орудие, пли!

— Гага-аап-чхи!!! — рывкает несчастный Самлыков.

— Третье орудие...

— Чжцхи!.. Ох!

Дверь класса неожиданно растворяется. Мы встаем. Входит директор. Пальба в классе, хохот и орудийный чих педагога привлекли его.

— Что здесь происходит? — холодно спрашивает директор, оглядывая багрового педагога и великопостные рожи вытянувшихся гимназистов.

— Они... Ох! Ао!.. — надрывается Гнедой Алексёв. — Чжихи!.. Ох!.. Чхицхи!..

Тогда дежурный решается объяснить директору:

— Ювенал Богданыч, они все время икчут и чихают...

— Тебя не спрашивают! — говорит, начиная догадываться, директор. — Скверные мальчишки!.. Геннадий Алексеевич, будьте добры ко мне в кабинет!

Чихая в директорскую спину, Алексёв плетется за Стомолицким.

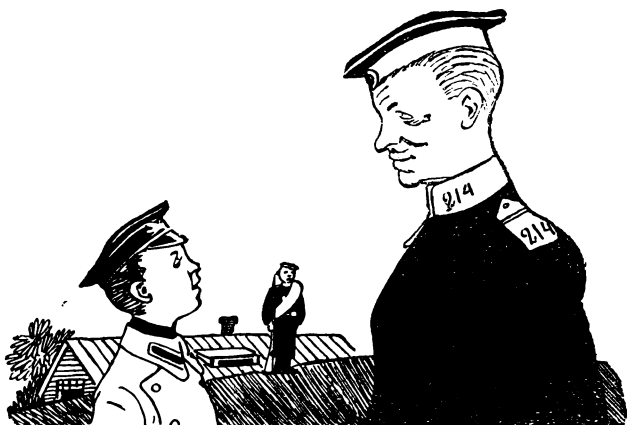
Больше в класс он уже не возвращается.

Мы избавились от Гнедого Алексёва.

Классный командир и ротный наставник

— Время пахнет порохом! — говорят взрослые и сокрушенно качают головами.

Запах пороха пропитывает гимназию. Классы огне-



опасны. Каждая парта — пороховой склад, арсенал и цейхгауз. Кондуит ежедневно регистрирует:

У ученика IV класса Тальянова Виталия, пытавшегося бежать «на войну», отобран г. надзирателем, при задержании на пристани, револьвер системы «Смит и Вессон» с патронами и краденый чайник, принадлежавший старьевщику и им опознанный. Вызваны родители.

У ученика II класса Щербинина Николая обнаружены в парте: один погон офицерский, темляк от шашки, пакет с порохом, пустая металлическая трубка неизвестного предназначения. Изъяты из ранца: обломок штыка, револьвер «пугач», шпора, кисет солдатский, кокарда, рогатка с резинкой и ручная граната (разряженная). Оставлен после уроков дважды по три часа.

Ученик V класса Маршутин Терентий якобы неумышленно выстрелил в классе на уроке из самодельной пушки, выбив стекло и осквернив воздух. Лишен права посещения занятий в течение недели.

У гимназистов гремющая походка: карманы полны отстрелянных ружейных гильз. Мы собираем их на стрельбище, за кладбищем. Просторный ветер играет на кладбище в «полики и крестики». Из-за пригорка видны заячьи морды ветряных мельниц. На небольшом плоскогорье скучает военный городок. В его дощатых бараках разме-

щен 214-й пехотный полк. Ветер доносит запах щей, махорки, сапог и иные несказуемые ароматы армейского тыла.

Между нами, воспитанниками Покровской мужской гимназии, и рядовыми 214-го пехотного полка царит деловая дружба. Через колючие провололочные ограждения военного городка взамен наших бутербродов, огурцов, моченых яблок и всяких иных штатских яств мы получаем желанные предметы армейского обихода: пустые обоймы, пряжки, кокарды, рваные погоны. В особой цене офицерские погоны. За один замаранный смолой погон прапорщика капитанармус Сидор Долбанов получил от меня два бутерброда с ветчиной, кусок шоколада «Гала-Петер» и пять отцовских папирос «Триумф».

— И то продешевил, — сказал при этом Сидор Долбанов. — Так только, по знакомству, значит. Как вы, гимназеры, по моему размышлению, тоже на манер служивые, все одно, как наш брат солдат... и форма и ученье. Верно я говорю?

Сидор Долбанов любит говорить о просвещении.

— Только, брат, военная наука, — философствует он, уписывая нашу колбасу, — военная наука вникания требует, а с ней ваше ученье и не сравнить. Да. Это что там арифметика, алгебра и подобная словесность... А ты вот скажи, если ты образованный: какое звание у командира полка — ваше высокородие аль ваше высокоблагородие?

— Мы этого еще не проходили, — смущенно оправдываюсь я.

— То-то... А что, хлопцы, классный командир у вас шибко злой из себя?

— Строгий, — отвечаю я. — Чуть что — к стенке, в кондуит и без обеда.

— Ишь, истукамен! — посочувствовал Сидор Долбанов. — Выходит, дьявол, вроде нашего ротного...

— А у вас есть ротный наставник? — спрашиваю я.

— Не наставник, а командир, съешь его раки! — важно поправляет Долбанов. — Ротный командир, его благородие, сатана треклятая, поручик Самлыков Геннадий Алексееч.

— Гнедой Алексёв! — изумленно выпаливаю я.

Старшие гимназисты гуляли по Брешке с прапорщиками. Хотя это и нарушало правила, однако для доблестного офицерства делались исключения. Рядовые козыряли. Гимназистки кокетливо щипали корпию. Мы завидовали.

Однажды во время урока в класс вошел инспектор. Борода его выглядела умильно и почтительно.

— В город прибыли первые раненые из действующей армии, — сказал инспектор. — Мы пойдем встречать их... Эй, «камчатка», я кому говорю? Тютин! Ты у меня, дубина стоеросовая, останешься на часок, шалопай!.. Так вот, говорю, выйдем всей гимназией встречать наших славных воинов, которые... это... того... пострадали за государя и веру православную... Словом, живо в пары! Только чтоб на улице держать себя как подобает. Слышите? А не то я вас... башибузуки, галашня, вертихвосты! Архаровцы! Шальная команда! Смотрите у меня!

Улицы были заполнены народом. Висели трехцветные флаги. Раненых по одному везли в разукрашенных экипажах городских богачей. Каждого солдата поддерживала дама из благотворительного кружка, одетая сестрой милосердия. Все это было похоже на свадебный кортеж. Городовые отдавали честь.

Раненых поместили в новеньком лазарете в бывшей приходской школе. Там хозяйничали запыхавшиеся дамы. Тут же в большой палате был устроен торжественный концерт. Умытые, свежевыбритые, надушенные фронтовики, обложенные подушками, бонбоньерками, коробками конфет, сконфуженно слушали громогласные речи «отцов города». Некоторые держали украшенные бантиками костыли.

Наш четвероклассник Швецов продекламировал стихотворение «Бельгийские дети». За его спиной выстроились шесть второклассников и гимнастическими движениями сопровождали чтение. Гимназистка Разуданова, дочь земского начальника, сыграла на рояле «Жаворонка» Глинки. Раненые пеловко ерзали и беспокойно ворочались. Последним выступил фармацевт из частной аптеки — поэт и тенор. После этого с кровати поднялся высокий белесый солдатик и робко прокашлялся.



Раненых по одному везли в разукрашенных экипажах.

— Просим! Просим! — закричали все, аплодируя.

Когда все стихло, раненый сказал:

— Дозвольте сказать... Господин доктор, и уважаемые господа дамочки, и сестрицы, и подобные... Мы, значит, через все это... ваши милости... очень к вам благодарны. Только бы... нам, виноват, извините, маленько насчет, что-бы, значит, это... поспать требуется, в дороге-то три дня не спамши...

Дух времени

В бараках пороли солдат. В офицерском собрании какой-то прапорщик назвал другого армянской мордой. Оскорбленный выстрелил в обидчика и убил его наповал. Раненых везли с фронта как попало и клали уже куда попало...

Потом взяли Перемышль. Лабазники, субъекты из пригорода Краснявки, кое-кто из чиновников прошли по улицам, неся впереди, как икону, портрет царя. Они заражали воздух воплями, трехцветным трепыханием и перегаром денатурата. словно торжество подогревалось на спиртовке.

Опять ходил по классам инспектор. Он парадно нес свою бороду, торжественную, раздвоенную, победоносную, как хоругвь.

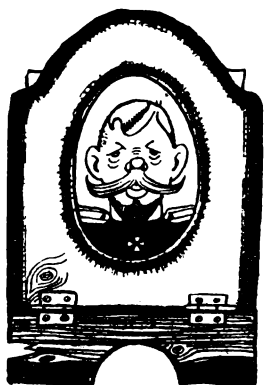
Мы вышли на крыльцо гимназии, чтобы приветствовать манифестантов. По знаку директора мы кричали «ура». И было что-то гнусное в этой горлающей толпе. Казалось, что пойдут вот сейчас бить окна, убивать людей... Какая-то тупая, душная, непреодолимая сила двигалась на нас и давила сознание. Это было похоже на ощущение попавшего в самый низ «кучи мала», когда тебя, беспомощного, плющит навалившееся беспросветное удушье и нет даже возможности протолкнуть крик...

Однако все обошлось. Только ночью отца — доктора — вызывали спасать какого-то опившегося денатуратом «патриота».

Манифестация произвела сильнейшее впечатление на Оську. Оська был великий путаник, подражатель и фантаст. Для каждого предмета он находил совершенно новое предназначение. Он видел вторую душу вещей. В те дни



И было что-то гнусное в этой горланящей толпе.



он, как теперь говорят, обыгрывал... отломанное сиденье с унитаза. Сначала он сунул в отверстие сиденья самоварную трубу, и получился пулемет «максим» со щитком. Потом сиденье, как хомут, было надето через голову деревянной лошади. Все это еще было допустимо, хотя и не совсем благопристойно. Но на другой день после манифестации Оська организовал на дворе швамбранское и совершенно кощунственное шествие. Клавдюшка несла на половой щетке чьи-то штаны со штрип-

ками. Они изображали хоругвь. А Оська нес пресловутое сиденье. В дыре, как в раме, красовался вырезанный из «Нивы» портрет императора Николая Второго, самодержца всероссийского.

Негодующий дворник доставил манифестантов к папе. Он грозил пожаловаться в полицию. Но, опустив в карман небольшое папино даяние, быстро смирился.

— Дети, знаете, очень чутко улавливают дух времени, — глубокомысленно твердили взрослые.

Дух времени, очень тяжелый дух, пропитывал все вокруг нас...

Нас обучают войне

Зимой нас вместе с женской гимназией водили в военный городок, чтоб показать примерный бой. Кругом было холодно и бело.

Полковник объяснял бой дамам из благотворительного кружка. Дамы грели руки в муфтах и восхищались, а при выстрелах затыкали уши. Бой, впрочем, был очень некрасив и совсем не такой, каким его изображали в «Ниве».

Черные фигурки ползли по полю, бежали стада дымов, образуя завесу, зажигались какие-то огни. Нам объяснили: сигнальные. Звук перестрелки цепью издали напоминал трепыхание на ветру длинного флага. Из окопов воняло гадостно.

Полковник сказал:

— Атака.

Фигурки побежали, деловито произнося «ура».

— Всё, — сказал полковник.

— Кто же победил? — заинтересовалась публика, ничего не поняв.

Полковник подумал и сказал:

— Те победили.

Потом полковник предупредил, глядя вверх:

— А сейчас ударит бомбомет.

Бомбомет действительно ударил, и очень громко. Дамы испугались. Лошади извозчиков шарахнулись. Извозчики выругались в небо.

Бой кончился.

Участвовавшая в показательном сражении рота прошла перед гостями. Роту вел лукавый подпоручик. Поравнявшись с нами, солдаты с заученным молодечеством запели непристойную песню, лихо посвистывая и напрягая остуженные глотки.

Гимназистки переглядывались. Гимназисты заржали. Кто-то из учителей кашлянул.

Забеспокоилась толстая начальница.

— Подпоручик! — крикнул полковник. — Это что за балаган? Отставить!

Позади всех шел, спотыкаясь в огромных сапогах и путаясь в шинели, маленький, тщедушный солдатик. Он старался попасть в ногу, быстро семеня, подскакивал и отставал. Гимназисты узнали в нем отца одного из наших гимназистов-бедняков.

— Вот так вояка! — кричали гимназисты. — У нас в третьем классе его сын учится. Вон стоит.

Все захохотали. Солдатик подобрал шинель руками и вприпрыжку, судорожно вытянув шею, пытался настичь свою роту. Третьеклассник, его сынишка, стоял опустив голову. Красные пятна ползли по его лицу.

Дома меня ждал с нетерпением Оська. Он жаждал услышать описание боя.

— Очень стреляли? — спросил Оська.

— Ты знаешь, — сказал я, — война — это, оказывается, ни капельки не красиво.

Кончался 1916 год; шли каникулы. Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что «Новый год — это совершенно детский праздник и надо лечь спать в десять часов, как всегда...»

Оська, прогудев отходный, отбыл в ночную Швамбранню.

А ко мне пришел в гости мой товарищ — одноклассник Гришка Федоров. Мы с ним долго щелкали орехи, играли в лото, потом от нечего делать удили рыб в папином аквариуме. В конце концов все это нам наскучило. Мы потушили свет в комнате, сели у окна и, продышав на замерзшем стекле круглые глазки, стали смотреть на улицу.

Светила луна, глухие синеватые тени лежали на снегу. Воздух был полон пересыпчатого блеска, и улица наша показалась нам необыкновенно прекрасной.

— Идем погуляем, — предложил Гришка.

Но, как известно, выходить на улицу после семи часов в декабре гимназистам строго-настрого запрещалось. И наш надзиратель Цезарь Карпович, грубый и придиричивый немец, тот самый, что был прозван нами Цап-Царапычем, выходил вечерами специально на охоту — рыскал по улицам и ловил зазевавшихся гимназистов.

Я сразу представил себе, как он вынырнет из-за угла, сверкая золотыми пуговицами с накладными двуглавыми орлами, и закричит:

«Тихо! Фамилия? Стоять столбом!.. Балда!»

Такая встреча ничего хорошего не предвещала. Четверка в поведении, часа четыре без обеда в пустом классе. А быть может, еще какой-нибудь новогодний подарок. Цап-Царапыч был щедр по этой части.

— Ничего, — сказал Гришка Федоров, — он где-нибудь сейчас сам Новый год встречает. Сидит небось уписывает.

Долго уговаривать меня не пришлось. Мы надели шинели и выскочили на улицу.

Недалеко от нашего дома, на Брехаловке, помещались номера для приезжающих и ресторан «Везувий». В этот вечер «Везувий» казался огнедышащим. Окна его извергали потоки света, земля под ним дрожала от пляса, как при землетрясении.

У коновязи перед номерами стояли нарядные высокие санки с бархатным сиденьем и лисьей полостью, на железном фигурном ходу с подрезами. В лакированные гнутые оглобли с металлическими наконечниками был впряжен высокий жеребец серебристо-серой масти в яблоках. Это был знаменитый иноходец Гамбит, лучший рысак в городе. Мы сразу узнали и коня и самый выезд. Он принадлежал богачу Карлу Цванцигу.

„Тпру“ по-немецки?..

И тут мне в голову пришла отчаянная затея.

— Гришка, — сказал я, сам робея от собственной дерзости, — Гришка, давай прокатимся. Цванциг не скоро выйдет. А мы только доедем вон дотуда и кругом церкви и опять сюда. А я умею править вожжами.

Гришку не надо было долго уговаривать. И через минуту мы уже отвязали Гамбита, влезли на высокое бархатное сиденье санок и запахнули пушистую полость.

Я взял в руки плотные, тяжелые вожжи, по-извозчичьи чмокнул губами и, откашлявшись, произнес басом:

— Но! Двигай!.. Поехали!..

Гамбит оглянулся, покосился на меня своим крупным глазом и пренебрежительно отвернулся. Мне даже показалось, что он пожал плечами, если это только вообще случается у лошадей.

— Он, наверно, только по-немецки знает, — сказал Гришка и громко закричал: — Эй, фортнаус!

Но и это не подействовало на Гамбита. Тогда я с размаху ударил его по спине скрученными вожжами. В ту же секунду меня отбросило назад, и, если бы не Гришка, поймавший меня за хлястик шинели, я бы вылетел из санок. Гамбит прынул вперед и пошел. Он не понес — он шел своей обычной широкой и в то же время частой иноходью. Я крепко держал вожжи, и мы мчались по пустынной улице. Эх, жаль, что никто из наших не видит нас!

— Знаешь, Гриша, — предложил я, — давай заедем за Степкой Гаврей, он тут, за углом, живет, мы успеем.

Я натянул правую вожжу. Гамбит послушно свернул за угол. Вот домик, в котором живет Степка.

— Стой, приехали. Тпру!

Но Гамбит не остановился. Как я ни натягивал вожжи, иноходец мчал нас дальше, и через минуту домик Степки Гаври остался далеко позади.

— Знаешь что, Гришка? — сказал я. — Лучше не надо Степки, он, знаешь, дразниться будет только... Лучше Лабанду захватим, он вон где живет.

Я уже заранее намотал на руку вожжи и что есть силы уперся в передок саней.

Но Гамбит не остановился и у Лабанды. Меня стала забирать нешуточная тревога.

— Гришка, а как он вообще останавливается?..

Тут, кажется, Гришка понял, в чем дело.

— Тпру, стой! — что есть силы закричал он, и мы стали тянуть вожжи в четыре руки.

Но могучий иноходец не обращал внимания на наши крики и на рывки вожжей, шел все быстрее и быстрее, таща нас по пустым улицам.

— Не понимает, наверно, по-нашему! — с ужасом сказал Гришка. — А кто знает, как будет «тпру» по-немецки! Мы это не учили. Он теперь нас с тобой, Лелька, без конца возить будет.

— Не надо ехать больше! Тпру! Стой, довольно! — кричали мы с Гришкой.

Но Гамбит упрямо вымахивал вдоль по ночной улице.

Лошадиное слово

Я стал припоминать все известные мне обращения к лошадям, все лошадиные слова, которые только знал по книжкам.

— Тпру, тпру! Стой, ми-ла-ай!.. Не балуй, касатик!

Но, как назло, на ум лезли все какие-то выражения былинного склада: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок», или совсем погонятельные слова вроде: «Эй, шевелись... Поди-берегись!.. Ну, мертвая!.. Эх, распошел!..»

Использував все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык.

— Тратрр, тратрр... чок, чок! — вопил я, как кричат обычно погонщики верблюдов.

Но Гамбит не понимал и по-верблюжьи.

— Цоб-цобе, цоб-цобе! — хрипел я, вспомнив, как кричат чумаки своим волам.

Не помогло и «цоб-цобе»...

На Троицкой церкви ударил колокол. Один раз, другой, третий... Двенадцать раз ударил колокол.

Значит, мы уже въехали в Новый год. Что же нам, веки вечные так ездить?! Когда же остановится этот неутомимый иноходец?!

Таинственно светила луна. Зловещей показалась мне тишина безлюдных улиц, на которых только что один год сменил другой... Неужели же мы навеки обречены мчаться вот так?.. Мне стало совсем не по себе.

И вдруг из-за угла блеснули в лунном свете два ряда начищенных медных пуговиц, и мы увидели Цап-Царапыча. Гамбит мчался прямо на него.

И я со страху выронил вожжи.

— Тихо! Что за крик? Как фамилия? Стоять столбом, балда! — визгливо прокричал Цап-Царапыч.

И произошло чудо.

Гамбит стал как вкопанный.

С новым счастьем!

Мы мигом соскочили с санок, обежали с двух сторон нашего иноходца и, приблизившись к надзирателю, вежливо, щепотью ухватив лакированные козырьки фуражек, обнажили свои буйные головы и низко поклонились Цап-Царапычу.

— Добрый вечер, Цап... Цезарь Карпыч! — хором произнесли мы. — С Новым годом вас, Цезарь Карпыч, с новым счастьем!

Цап-Царапыч не спеша вынул пенсне из футляра, который оп достал из кармана, и утвердил стекла на носу.

— А-а-а! — обрадовался он. — Два друга. Узнаю! Прекрасно! Прелестно! Отлично! Превосходно! Вот мы и запишем обоих. — Цап-Царапыч вынул из внутреннего кармана своей шубы знаменитую записную книжечку. — Обоих запишем, и того и другого. И оба они у нас посидят после каникул по окончании уроков в классе, без обеда, по четыре часа: один четыре часа и другой — четыре. С Новым годом, дети, с новым счастьем!

Тут взгляд Цап-Царапыча упал на наш выезд.

— Позвольте, дети, — протянул надзиратель, — а вы попросили у господина Цванцига разрешения кататься на его санках? Что?

Мы оба вперебой стали уверять надзирателя, что Цванциг сам попросил нас покататься, чтобы Гамбит разогрелся немножко.

— Прекрасно, — проговорил Цап-Царапыч. — Вот мы сейчас туда все отправимся и там на месте это и выясним. Ну-те-с...

Но нас так страшила самая возможность снова очутиться на этих проклятых санках, что мы предложили Цап-Царапычу ехать одному, обещая идти рядом пешком.

Ничего не подозревавший Цап-Царапыч взгромоздился на высокое сиденье. Он запахнулся пышной меховой полостью, взял в руки вожжи, подергал их, почмокал губами, а когда это не помогло, стегнул легонько Гамбита по спине. В ту же минуту нас разметало в разные стороны, в лицо нам полетели комья снега. Когда мы отряхнулись и протерли глаза, за углом уже исчезали полуопрокинутые санки. На них, кое-как держась и что-то вопя, от нас унесся наш несчастный надзиратель.

А из-за другого угла уже бежал в расстегнутой шубе, в галстук, сбитом набок, хозяин Гамбита, господин Карл Цванциг, крича страшным голосом:

— Карауль!.. Конокради!.. Затержать!..

И где-то уже заливался полицейский свисток.

Как у них там потом все выяснилось, мы не пытались разузнать... Но и сам наш надзиратель после каникул ни слова не сказал нам о ночном происшествии.

Так начался для нас Новый год — год 1917.

ФЕВРАЛЬСКИЙ

КОНДУИТ

П

*О круглой земле,
о больших новостях
и маленьком море*

апа и мама ушли в гости. Ахнуло парадное, и от сквозняка по всему дому двери передали друг другу эстафету. Аннушка тушит в гостинной свет — слышно, как щелкнул выключатель, — и уходит на кухню. Немного жуткая пустота влезает в дом. Тикают часы в столовой. В стекла окон рвется ветер. Я сажусь за стол и делаю вид, что готовлю уроки. Братишка Ося рисует пароходы. Много пароходов, и у всех из труб дым. Я беру у него красно-синий карандаш и начинаю раскрашивать в учебнике латинские местоимения. Все гласные буквы — красными, согласные — синими. Очень красиво получается.

Вдруг Ося спрашивает:

— Леля! А почему знают, что Земля круглая?

Это я знаю. Про это есть на первой странице географии, и я долго рассказываю Осе про корабль, который уходит в море далеко-далеко. Потом он скрывается за горизонтом. Его не видно. Значит, Земля круглая.

Но Ося не удовлетворен.

— А может быть, он утонул, корабль? — говорит он. — А, Леля? А?

— Не приставай, пожалуйста! Видишь, я уроки учу. Раскраска местоимений продолжается.

Молчание.

— А я знаю, почему знают, что Земля круглая, — говорит опять Ося,

— Ну и знай!

— Знаю! Потому что глобус круглый... Что-о? Вот!

— Дурак ты сам круглый, вот что...

У Оськи пухнут губы. Грозит ссора. Но... в кабинете отца громко звонит телефон. Мчимся наперегонки в кабинет. Там пусто, темно и страшно. Но я поворачиваю выключатель, и комната сразу меняется, как проявленный негатив фотографии. Окна были светлыми — стали черными. Рамы были черными — стали светлыми. А главное — не страшно. Я беру трубку и говорю важным папиным голосом:

— Я вас слушаю! Что?

Оказывается, звонят из Саратова, и звонит наш любимый дядя Леша. Он очень давно не приезжал к нам. Мама говорила нам, что он уехал далеко. Но мы с Оськой подслушали раз, что он вовсе сидит в тюрьме за то, что он против царя и войны. А теперь, значит, его выпустили. Вот хорошо! И мы оба кричим в трубку:

— Дядечка! Приезжай!

— Ладно, ладно, — смеется в телефон дядя. — А ты, Леля, не забудь передать маме, папе, когда придут, что звонил я и сказал, что в России революция... Временное правительство... Царь отрекся... Повтори! — И голос у дяди какой-то необычайно веселый.

— Дядечка! — кричу я. — Как же это так вышло?

— Ты еще маленький, не поймешь.

— Нет, пойму, — обиделся я, — нет, пойму! Я уже в третьем.

И дядя из Саратова, из-за Волги, торопясь, рассказывает по телефону о войне, о революции, равенстве, братстве...

— Вы кончили? — влезает в трубку чужой голос. — Время истекло.

Крррах! Нас разъединили. А я стою, сразу словно вырос на три года. Я стою и готов взорваться от всего того, что услышал от дяди.

Но тут взгляд мой падает на Оську. Он стоит смущенный.

— Эх, ты! — возмущаюсь я. — А еще знает, отчего Земля круглая! Как не стыдно!..

— Я терпел, терпел, пока ты кончишь по телефону... и не заметил.

Я бегу на кухню.

В кухне у Аннушки гость — знакомый раненый солдат. Черный и угрюмый, а на груди серебряный георгиевский крестик. Восторженно кричу:

— Аннушка!.. Во-первых, теперь революция... свобода... и без царя!.. А во-вторых... Оське надо штаны переодеть...

И, задыхаясь, я рассказываю все, что слышал от дяди. И вдруг Аннушкин солдат встает. Левая рука у него забинтована. Правой он обнимает меня. Я оторопел. Солдат крепко прижимает меня к себе.

— Эх, милай! Вот разубажил! Спасибо! Неужто ж правда? — И грозит большим кулаком кому-то в четыре окна: — Ну, погоди! Дождались!..

Я смотрю в окна. Но там никого нет. А солдат извиняется:

— Вы меня простите, молодой человек... Уж больно вы меня того... Да как же... Господи ж... Вот спасибо! Ровно праздник!

Нос у него странно морщится.

Разговор по прямому проводу

В столовой я влезаю на стул и стучу в отдушник. Это вроде телефона. Наверху живут Нюра и Вера Живильские. У них тоже отдушник. У нас постучишь — наверху слышно. В отдушнике Нюрин голос:

— Слушаю!

— Здравствуйте! (Вообще мы на «ты», но по «телефону» надо говорить «вы».) Здравствуйте, Нюра. Большие новости! Революция, и у нас солдат сидит.

— А у меня чего есть! — говорит Нюра. — Отгадайте.

— Еще где-нибудь революция?

— Нет! Крестная сервиз подарила, и даже с молочником.

Я бросаю труб... виноват — захопываю отдушник. Разве они могут понять? И я, одевшись, бегу к товарищу-соседу, чтобы порадовать его. А латынь так и остается невыученной.

*Цап-Царапыч гонится за луной,
или Что сказал об этом кондуит*

На улице пахнет оттепелью. Небо в звездочках, как петлица инспекторского мундира. Я мчусь по пустой улице, а сбоку бежит луна и, как собака, останавливается поочередно за каждым телеграфным столбом. Домики стоят, зажмутив ставни. Как можно сейчас дрыхнуть? Ведь революция же! Мне хочется орать...

Из-за угла навстречу нам выплывают два ряда сияющих пуговиц... Цап-Царапыч! Мы с верной луной задаем драпу — бежим назад. Луна прячется за столбы и заборы. Я бегу, укрываясь в их тень. Но Цап-Царапыч уже заметил.

— Стой! Стой, прохвост! — кричит он. — Городовой!

Но фамилии не кричит. Значит, не узнал, и я лечу дальше. Луна и Цап-Царапыч следуют за мной. Цап-Царапыч — враг. Луна — сообщница.

Вот она, чтоб не выдать меня, юркнула за крышу...

Но я ошибался. Цап-Царапыч узнал меня. В кондуите на другой день возникла следующая запись на моей страничке:

4 марта был замечен надзирателем на улице после 7 часов. Несмотря на приказание остановиться, убежал...

Луна в кондуит не попала.

„Вольно!“ — говорит солдат

В гостиную мы приводим Аннушкиного солдата и Аннушку. Мы ходим по ковру, нацепив на папину трость красный Аннушкин платок.

Солдату дают маленькое Оськино ружье. Солдат показывает войну. Мы все поем:

По Кавказским горам
Гимназист гулялся.
Он кричал: «Долой царя!»
Красный флаг махался.

В гостиной замечательно пахнет смазными сапогами. Мы очень сдружились с солдатом, и он дает нам по очереди заклеивать языком его собачью ножку.

А Оська сидит у него на коленях и, подпрыгивая, спрашивает:

— А вы отгадайте... Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого соборет? Отгадайте.

— Не знаю, — говорит солдат. — Ну, скажи, кто?

— И я не знаю, — говорит Ося. — И папа не знает, и дядя. Никто.

О ките и слоне долго спорим. Мы с солдатом — за слона, Аннушка назло — за кита. Солдат садится за пианино. Он тычет пальцем в одну клавишу и пытается петь «Марсельезу».

Аннушка спохватывается, что уже поздно и нам пора спать.

— Вольно! — говорит солдат, и мы идем спать.

Самоопределение Оськи

На полу детской начерчены лунные «классы». Прямо хоть прыгай по ним на одной ножке! Мы лежим в своих кроватках и говорим про революцию. Я рассказываю Осе, что слышал от дяди или читал в газетах о войне, о рабочих, о царе, о погромах...

Вдруг Ося спрашивает:

— Леля, а Леля! А что такое еврей?

— Ну, народ такой... Бывают разные: русские, например, американцы, китайцы. Немцы еще, французы. А есть евреи.

— Мы разве еврей? — удивляется Оська. — Как будто или взаправду? Скажи честное слово, что мы евреи.

— Честное слово, что мы — евреи.

Оська поражен открытием. Он долго ворочается, и уже сквозь сон я слышу, как он шепотом, чтобы не разбудить меня, спрашивает:

— Леля!

— Ну?

— И мама — еврей?

— Да. Спи.

И я засыпаю, представляя, как завтра в классе я скажу латинисту: «Довольно старого режима и к стенке ставить. Вы не имеете полного права!»

Спим.

Ночью возвращаются из гостей папа и мама. Я просыпаюсь. Как и все люди после гостей, театра, они устали и раздражены.

— Дивный пирог был, — говорит папа, — у нас такого никогда не могут сделать. И куда деньги уходят?!

Слышно, как мама удивляется, найдя в подсвечнике на пианино окурков собачьей ножки. Папа пошел полоскать горло.

Тренькнула стеклянная пробка графина. И вдруг отец быстрым, очень громким для такой поздноты голосом позвал маму. Мама что-то спрашивала. Папа говорил весело и громко. Они нашли мою записку с великой новостью. Я перед сном написал ее и засунул в пробку графина.

Отец с матерью на цыпочках входят в детскую. Отец садится на постель, обнимает меня и говорит:

— А революция пишется через «е», а не через «и»: ре-волюция. Ты-ы! — И щелкает меня в нос.

В это время просыпается Ося. Он, видно, все время, даже во сне, думал о сделанном им открытии.

— Мама... — начинает Ося.

— Ты зачем проснулся? Спи.

— Мама, — спрашивает Ося, уже садясь на постели, — мама, а наша кошка — тоже еврей?

„Боже, царя...“ Передай дальше“

Утром Аннушка будит меня и Оську на этот раз так — она поет:

— Вставай, подымайся, рабочий народ... в гимнастию пора!

Рабочий народ (я и Оська) вскакивает. За завтраком я вспоминаю о невыученных латинских местоимениях: хик, хек, хок...

Выходим вместе с Оской. Тепло. Оттепель. Извозчицы лошади машут торбами. Оська, как всегда, воображает, что это лошади кивают ему. Ося — очень вежливый мальчик.

Он останавливается около каждой лошади и, кивая головой, говорит:

— Лошадка, здравствуйте!

Лошади молчат. Извозчики, которые уже знают Оську, здороваются за них. Одна лошадь пьет из подставленного ведра. Оська спрашивает извозчика:

— Ваша лошадка тоже какао пьет? Да?

Бегу, мчусь в гимназию. Они ведь еще не знают. Я ведь первый. Раздевшись, влетаю в класс и, размахивая на ремнях ранцем, ору:

— Ребята! Царя свергнули!!!

— !!!!!

Цап-Царапыч, которого я не заметил, закашлявшись и краснея, кричит:

— Ты что? С ума сошел? Я с тобой поговорю! Ну, живо! На молитву! В пары.

Но меня окружают, меня толкают, расспрашивают.

Коридор гулко и ритмично шаркает. Классы становятся на молитву.

Директор, сухой, вытуженный и торжественный, как всегда, промерял коридор вытуженными ногами. Зазвякали латунные бляхи. Стихли.

Батюшка, черный, как клякса в чистописании, надел епитрахиль. Молитва началась.

Мы стоим и шепчемся. Непокойно в маренговых рядах, шепот:

— А в Питере-то революция.

— Это наверху, где Балтийское на карте нарисовано?

— Ну да, здоровый кружок: на немой карте — и то сразу найдешь.

— А там, историк рассказывал, Петр Великий на лошади и домици больше церкви.

— А как это, интересно, революция?

— Это как в пятом году. Тогда с японцами война была. Народ и студенты по улицам ходили с красными флагами, а казаки и крючки их нагайками. И стреляли.

— Вот собаки, негодяи!

— Эх! Сегодня письменная... Опять пару вленил. Плевать!

— ...Иже еси на небеси!

— Вот тебе и царь... Поперли. Так и надо! Зачем войну сделал?



— Тихе вы!.. А уроков меньше задавать будут?

— ...Во веки веков. Аминь.

— Наследник-то в каком классе учится? Небось кругом на пятках... Ему чего! Учителя не придираются.

— Ну, теперь ему не того будет. Наловит двоек да колов. Узнает!

— Стоп! Как же генитив плюраль будет?.. Ну ладно. Сдуем.

По рядам пошла записка. Записку эту написал Степка Атлантида. (Потом эта записка вместе с Атлантидой попала в кондуит.) На записке было:

«Не пой «Боже, царя...» Передай дальше».

— ...От Луки святого евангелия чтение...

Робкий веснушчатый третьеклассник прочел, спотыкаясь, притчу. Инспектор подсказывал, глядя в книгу через его плечо.

Последняя молитва:

— ...Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу.

Сейчас, сейчас! Мы насторожились. «Господствующие классы» прокашлялись. Мм-да!

Маленький длинноволосый регент из Троицкой вы-

сморкался торжественно и трубно. На дряблой шее регента извилась похожая на дождевого червя сизо-багровая жила. Нам всегда казалось, что вот-вот она лопнет. Регент левой рукой засовывает цветной платок сзади, в разрез фалда лоснящегося сюртука. Вздвигается правая рука с камертоном. Тонкий металлический «зум» расплывается в духоте коридора. Регент поправляет засаленный крахмальный воротничок, выуживает из него тонкую, будто ошипанную шею, сдвигает в козлы бровки и томно, вполголоса дает тон:

— Ля-аа... Ля...а...а...

Мы ждем. Регент вскидывается на цыпочки. Руки его взмахивают подымающе. Дребезжащим, словно палец об оконное стекло, голосом он запекает:

— Боже, царя храни...

Гимназисты молчат. Два-три неуверенных дисканта попробовали подхватить. Сзади Биндюг спокойно сказал, как бы записывая на память:

— Та-а-ак...

Дисканты завяли.

А регент неистово машет руками перед молчащим хором. Наканифоленный его голос скрипит кобзой:

— ...Сильный... державный, царствуй...

И тут мы не в силах сдерживаться больше. Нарастающий смех становится непередыхаемым. Учителя давятся от смеха.

Через секунду весь коридор во власти хохота. Коридор грохочет.

Усмехается инспектор. Трясет животом Цап-Царапыч. Заливаются первоклассники. Ревут великовозрастные. Хихикает сторож Петр.

— Ха-ха... Гы-гы... Ох-хо... Хи-хи... Хе-хе-хе... Ах-ха-ха-ха...

Только директор строг и прям, как всегда. Но еще бледнее.

— Тихо! — говорит директор и топает ногой. Под его начищенными штиблетами все будто расплющилось в тишину.

Тогда Митька Ламберг, коновод старшекласников, — восьмиклассник Митька Ламберг тоже кричит:

— Тихо! У меня слабый голос.

И запекает «Марсельезу».

Я стоял на парте и ораторствовал. Из-за печки, с «сахалина», поднялись двое: лабазник Балдин и сын пристава Лизарский. Они всегда держались парой и напоминали пароход с баржей. Впереди широкий, загребающий на ходу руками, низенький Лизарский, за ним, как на буксире, длинный черный Балдин. Лизарский подошел к парте и взял меня за шиворот.

— Ты что тут звонишь? — сказал он и замахнулся.

Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, подошел к Лизарскому и отпихнул его плечом:

— А ты что лезешь? Монархыст...

— Твое какое дело? Балда, дай ему!

Балдин безучастно грыз семечки. Кто-то сзади в восторге запел:

Пароход баржу везет,

Батюшки!

Баряка семечки грызет,

Матюшки!

Балдин ткнул плечом в грудь Степку. Произошел обычный негромкий разговор:

— А ну, не зарывайся!

— Я не зарываюсь.

— Ты легче на повороте.

— А ну!..

Наверно, от искр, полетевших из глаз Балдина, вспыхнула драка. В классе нашлись еще «монархисты», и через секунду дрались все. Лишь крик дежурного: «Франзель идет!» — заставил противников разойтись по партам. Было объявлено перемирие до большой перемены.

Большая перемена

Дивный был день. Оттепель. На обсыхающих тротуарах мальчишки уже играли в бабки. И на солнце, как раз против гимназии, чесалась о забор громадная пестрая свинья. Черные пятна расплылись по ней, как чернильные кляксы

по белой промокашке. Мы высыпали во двор. Солнца — пропасть. А городских — ни одного.

— Кто против царя — сюда! — закричал Степка Гавря. — Эй, монархисты! Сколько вас сушеных на фунт идет?

— А кто за царя — дуй к нам! Бей голоштанников!

Это завизжал Лизарский. И сейчас же замелькали снежки.

Началось настоящее сражение. Вскоре мне вlepили в глаз таким крепким снежком, что у меня закружилась голова и в глазах запыльхали зеленые и фиолетовые молнии... Но мы уже побеждали. «Монархистов» прижали к воротам.

— Сдавайтесь! — кричали мы им.

Однако они ухитрились вырваться на улицу. Увлeкшись, мы вылетели за ними и попали в засаду.

Дело в том, что неподалеку от гимназии помещалось ВНУ — Высшее начальное училище. С «внучками» мы издавна воевали. Они дразнили нас «сиззяками» и били при каждом удобном случае. (Надо сказать, что в долгу мы не оставались.) И вот наши «монархисты», изменники, передались на сторону «внучков», которые не знали, из-за чего идет драка, и вместе с ними накинудись на нас.

— Бей сиззяков! Гони голубей! — засвистела эта орава, и нас «взяли в работу».

— Стой! — вдруг закричал Степка Атлантида. — Стой!

Все остановились. Степка влез на сугроб, провалился, снова выкарабкался и снял фуражку.

— Ребята, — сказал он, — хватит драться. Повозились — и ладно. Ведь теперь будет... как это, Лелька... тождество?.. Нет... равенство! Всем гуртом, ребята. И войны не будет. Лафа! Мы теперь вместе...

Он помолчал немного, не зная, что сказать. Потом спрыгнул с сугроба и решительно подошел к одному из «внучков».

— Давай пять с плюсом! — сказал он и крепко пожал школьнику руку.

— Ура! — закричал я неожиданно для себя и сам испугался.

Но все закричали «ура» и захохотали. Мы смешались со школьниками.

В это время сердито зазвонил звонок.

— Тараканиус плывет! — закричал дежурный и кинулся за парту.

Открылась дверь. Гулко встал класс. Из пустоты коридора, внося с собой его тишину, вошел учитель латыни. Сухой и желчный, он взошел на кафедру и закрутил торчком свои тонкие тараканьи усы.

Золотое пенсне, прищипив переносицу, прогалопировало по классу. Взгляд его остановился на моей распухшей скуле.

— Это что за украшение?

Тонкий палец уперся в меня. Я встал. Безнадёжно-унылым голосом ответил:

— Ушибся, Вениамин Витальевич. Упал.

— Упал? Тэк-тэк-с... Бедняжка. Ну-ка, господин революционер, маршируй сюда. Тэк-с! Красота. Полюбуйтесь, господа!.. Ну, что сегодня у нас задано?

Я стоял, вытянувшись, перед кафедрой. Я молчал. Тараканиус забарабанил пальцами по пюпитру. Я молчал тоскливо и отчаянно.

— Тэк-с, — сказал Тараканиус. — Не знаешь. Некогда было. Революцию делал. Садись. Единица. Дай дневник.

Класс возмущенно зашептался. Ручка, клюнув чернила, взвилась, как ястреб, над кафедрой, высмотрела сверху в журнале мою фамилию и...

В клетку, как сивицу,
За четверть в этот год
Большую единицу
Поставил педагог.

На «сахалине», за печкой, они, «монархисты», злорадно хихикнули.

Это было уже невыносимо. Я громко засопел. Класс демонстративно задвигал ногами. Костяшки пальцев стукнули по крышке кафедры.

— Тихо! Эт-то что такое? Опять в кондуит захотелось? Распустились!

Стало тихо. И тогда я упрямо и сквозь слезы сказал:

— А все-таки царя свергну́ли...

Последним уроком в этот день было природоведение. Преподавал его наш самый любимый учитель — веселый длинноусый Никита Павлович Камышов. На его уроках было интересно и весело. Никита Павлович бодро вошел в класс, махнул нам рукой, чтобы мы сели, и, улыбнувшись, сказал:

— Вот, голуби мои, дело-то какое. А? Революция! Здрóрово!

Мы обрадовались и зашумели:

— Расскажите нам про это... про царя!

— Цыц, голуби! — поднял палец Никита Павлович. — Цыц! Хотя и революция, а тишина должна быть прежде всего. Да-с. А затем, хотя мы с вами и изучаем сейчас однокопытных, однако о царе говорить преждевременно.

Степка Атлантида поднял руку. Все замерли, ожидая шалости.

— Чего тебе, Гавря? — спросил учитель.

— В классе курят, Никита Павлович.

— С каких пор ты это ябедой стал? — удивился Никита Павлович. — Кто смеет курить в классе?

— Царь, — спокойно и нагло заявил Степка.

— Кто, кто?

— Царь курит. Николай Второй.

И действительно!.. В классе висел портрет царя. Кто-то, очевидно Степка, сделал во рту царя дырку и вставил туда зажженную папирску.

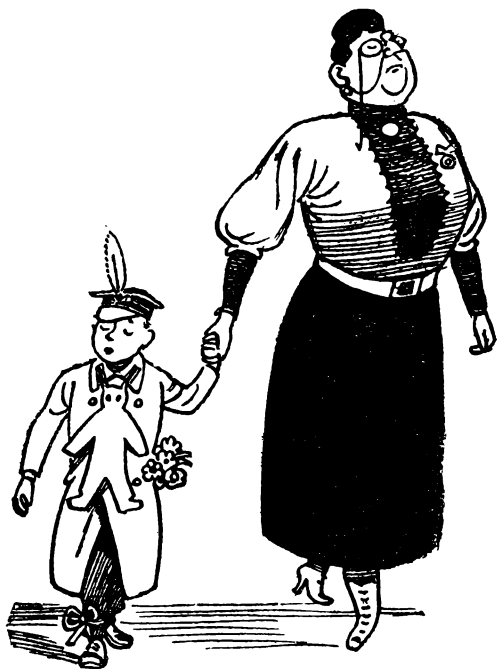
Царь курил. Мы все расхохотались. Никита Павлович тоже. Вдруг он стал серьезен необычайно и поднял руку. Мы стихли.

— Романов Николай, — воскликнул торжественно учитель, — вон из класса!

Царя выставили за дверь.

Степка-агитатор

Двор женской гимназии был отделен от нашего двора высоким забором. В заборе были щели. Сквозь них на переменах передавались записочки гимназисткам. Учителя строго следили за тем, чтобы никто не подходил близко



к забору. Но это мало помогало. Общение между дворами поддерживалось из года в год. Однажды расшалившиеся старшеклассники поймали меня на перемене, раскачали и перекинули через забор на женский двор. Девочки окружили меня, готового расплакаться от смущения, и затормошили. Через три минуты начальница гимназии торжественно вводила меня за руку в нашу учительскую. Вид у меня был несколько живописный, как у Кости Гончара, городского дурачка, который любил нацеплять на себя всякую всячину. Из кармана у меня торчали цветы. Губы были в шоколаде. За хлястик засунута яркая бумажка от шоколада «Гала-Петер». В герб вставлено голубиное перышко. На груди болтался бумажный чертик. Одна штанина была кокетливо обвязана внизу розовой лентой с бантиком. Вся гимназия, даже учителя и те чуть не лопнули от смеха.

С тех пор я боялся близко подходить к забору. Поэто-

му, когда ребята выбрали меня делегатом на женский двор, я вспомнил «Гала-Петер», начальницу, розовый бантик и отказался.

— Зря! — сказал Степка Атлантида. — Зря! Ты вроде у нас самый подходящий для девчонок — вежливый. Ну ладно. Я схожу. Мне что? Надо же и им все раскумекать.

И Степка полез через забор.

Мы прильнули к щелям.

Гимназистки бегали по двору, играли в латки, визжали и звонко хохотали. Степка спрыгнул с забора. «Ай!» — вскрикнули девочки, на минуту остановились, а потом, как цыплята на зов клушки, сбегались к забору и окружили Степку. Степка отдал честь и представился.

— Атлантида Степан, — сказал он, на минуту отрывая руку от козырька, чтобы утереть нос, — можно и Гавря. А лучше зовите Степкой.

— Через забор лазает, — степенно поджала губы маленькая гимназисточка, по прозвищу Лисичка. — Фулиган!

— Не фулиган, а выборный, — обиделся Степка. — Что? Еще за царя небось? Эх вы, темнота!

И Степан, набрав воздуха, разразился речью, старательно подбирая вежливые слова:

— Девчонки... то есть девочки! Вчера сделалась революция, и царя поперли, то есть спихнули. Мы даже «Боже, царя храни...» на молитве не пели, и все за революцию, то есть за свободу. Мы хотим директора тоже свергнуть... Вы как, за свободу или нет?

— А как это — свобода? — спросила Лисичка.

— Это — без царя, без директора, к стенке не ставить и выборных своих выбирать, чтобы были главные, которых слушаться. В общем, лафа, то есть я хотел сказать — здорово! И на Брешке можно будет шляться, то есть гулять.

— Я, кажется, за свободу... — задумчиво протянула Лисичка. — А вы как, девочки?

Гимназистки теперь все были «за свободу».



Поздно вечером к нам пришел с черного хода Степка Атлантида и таинственно вызвал меня на кухню. Аннушка вытирала мокрые взвизгивающие стаканы. Степка конспиративно покосился на нее и сообщил:

— Знаешь, учителя хотя бы попереть Рыбий Глаз, ей-богу, я сам слышал. Историк с Тараканиусом сейчас говорили, а я сзади шел. Мы, говорят, на него в комитет напишем. Честное слово. А ты, слушай, завтра, как выйдем на эту... как ее... манихвестацию, как я махну рукой, и все заорем: «Долой директора!» Ну, смотри только! Ладно? А я побег: мне еще к Лабзе да к Шурке надо. Замаялся. Ну, резервуар!¹ Совсем уже в дверях он грозно повернулся: — А если Лизарский опять гундеть будет, так я его на все четыре действия с дробями разделаю. Я не я буду, если не разделаю...

На Брешке

На другой день занятий не было. Обе гимназии, мужская и женская, вышли на городскую демонстрацию. Директор позвонил, что прийти не может: болен, простудился... Кхе-кхе!

На демонстрации все было совершенно необычайно, ново и интересно. Преподаватели здоровались со старшеклассниками за руку, шутили, дружески беседовали. Гремел оркестр клуба приказчиков. Ломающимися рядами, тщетно стараясь попасть в ногу, шел «цвет» города: солидные акцизные чиновники, податной инспектор, железнодорожники, тонконогие телеграфисты, служащие банка и почты. Фуражки, кокарды, канты, петлички, пуговицы...

В руках у всех были появившиеся откуда-то печатные листочки с «Марсельезой». Чиновники, надев очки, деловито, словно в циркуляр, вглядывались в бумажки и сосредоточенно выводили безрадостными голосами:

...Раздайся клич мести наро-о-одной...

Вперед, вперед... Вперед, вперед, вперед!

¹ Исковерканное «о ревуар» — «до свиданья» по-французски.

На крыльцо волостного правления, на крыше которого сидела верхом каланча, вышел уже смещенный городской голова. На нем были белые с красными разводами валенки-чесанки и резиновые галоши. Голова, сняв малахай, сказал хрипло и торжественно:

— Хоспода! У Петрограде и усей России рывалюция. Его императорское величество... кровавый деспот... отреклись от престола. Уся власть — Временному управительству. Хай здравствует! Я кажу ура!

— Ура! — закричала толпа.

А Атлантида сейчас же добавил:

— И долой директора!

Но ничего не вышло. Директор не пришел, и план Степки рухнул.

На углу Брешки группа учителей во главе с инспектором оживленно спорила о чем-то. Степка вслушался. Звучал уверенный голос инспектора:

— Комитет думы рассмотрит наше ходатайство сегодня вечером. Полагаю, в благоприятном для нас смысле. И тогда мы покажем господину Стомолицкому на дверь. Пора бездушной казенщины кончилась. Да-с.

Степка помчался к своим. Сразу стало веселей, и инспектор показался таким хорошим и ласковым, будто никогда и не записывал Степку в кондуит.

А народ все шел и шел. Шли празднично одетые рабочие лесопилок, типографии, костемольного, слесари депо, пухлые пекари, широкоспинные грузчики, лодочники, бородастые хлеборобы.

Гукало в амбарах эхо барабана. Широкое «ура» раскатывалось по улицам, как розвальни на повороте. Приветливо улыбались гимназистки. Теплый ветер перебирал телеграфные провода аккордами «Марсельезы». И так хорошо, весело и легко дышалось в распахнутой против всех правил шинели!..

Галоши директора

Давно пробило в вестибюле девять, а уроки не начинались. Классы гудели, бурлили. Отдельные голоса булькали в общем гуле и лопались пузырьками. В коридоре ходил Цап-Царапыч и загонял гимназистов в классы. В учитель-

ской со стены слепо глядело бельмо невыгоревшего пятна на месте снятого портрета. В накурленном молчании нервно расхаживали педагоги.

Наконец вездесущий Атлантида решил узнать, в чем дело, и отправился в учительскую, будто бы за картой. Не прошло и трех минут, как он, ошарашенный, ворвался в класс, два раза перекувырнулся, вскочил на кафедру, стал на голову и, болтая в воздухе ногами, оглушил нас непередаваемым радостным ревом:

— Робя!!! Комитет попер директора-а-а!!!

Бешеный треск парт. Дикие крики. Невообразимый гвалт. Восторг!

Биндюг, шалый от радости, ожесточенно бил соседа «Геометрией» по голове, приговаривая:

— Поперли! Поперли! Поперли! Слышишь? Поперли!

Тогда в конце коридора, по которому тек, выливаясь из классов, веселый шум, раскрылись тяжелые двери, и начищенные ботинки на негнувшихся ногах мягко проскрипели в учительскую. Преподаватели встали навстречу директору без обычных приветствий.

Стомолицкий насторожился.

— Э-э, в чем дело, господа?

— А дело, видите ли, в том, Ювенал Богданыч, — мягко заколыхал бородой инспектор, — что вы... Да вот извольте прочесть.

Он аккуратно, как на подпись, подал бумагу. В лицо директору бросилось резкое слово: «О т с т р а н и т ь».

Но директор не хотел сдаваться.

— Э... э... я назначен сюда округом, — сказал он холодно, — и подчиняюсь только ему. Да-с... И я безусловно сообщу в округ об этом безобразии. А сейчас, — он щелкнул крышкой золотых часов, — предлагаю приступить немедленно к занятиям.

— То есть как это так? — вспылил, остервенело теребя галстук, историк Кирилл Михайлович Ухов. — Вы... вы отстранены! Мы на этом настаивали, и никаких разговоров тут быть не может... Господа! Что же вы молчите? Ведь это черт знает что!

В дверь перла с молчаливым любопытством толпа гимназистов. Задние жали, наваливались. Передние поневоле втискивались в двери, влезали в учительскую, смущенно оправляя куртки, гладили пояса. Степка Гавря, работая

локтями, продрался вперед, впился азартным взглядом в историка и не выдержал:

— Правильно, Кирилл Михайлович! — и, подавшись весь вперед, рванулся к Стомолицкому: — Долой директора!!!

Мертвая тишина. И вдруг словно лавина громом рухнула на учительскую, задавила все и потопила:

— Долой! Вон! До-ло-о-ой!!! Ура!

Охнул коридор. Дрябнули окна. Тронуло зудом стекла. Гимназия ходила вся, дрожала от неистового гула, грохота, рева и сокрушительного топота.

Директор впервые в жизни погнулся, покорежился. Даже на вытуженных брюках появились складки. Инспектор хитро забеспокоился и вежливенько прищурил глаза на дверь:

— Вам лучше удалиться, Ювенал Богданыч. Мы не ручаемся.

— Мы еще посмотрим, господа! — скрипнул зубами директор и выбежал, зацепившись бортом сюртука за скобу.

Он кинулся в кабинет, папаялил фуражку с кокардой, влез в шубу на ходу, не попадая в рукава, — и на улицу. За ним на крыльцо засеменял сторож Мокеич:

— Галоши-то, Ювенал Богданыч! Галошки позабыли!

Директор, не оборачиваясь и увязая в снегу блестящими штиблетами, прыгал на тонких ногах через мутные лужи. Мокеич стоял на крыльце с галошами в руках и глубокомысленно щелкал языком:

— Нтц-нтц-нтц! А-а! Господи! Вот она, революция-то! Директор из гимназии без галош дует!

И вдруг рассмеялся:

— Ишь, наворачивает! Чисто жирафа. Ну-ну! Смеху, прости господи! Бежи, бежи! Хе-хе! Стравус.

На крыльцо с шумом и хохотом вылетели гимназисты.

— Эх, как зашпаривает! Ату его! Гони! Ура! Карьерист! Рыбий Глаз!

Мокрый снежок хлюпнулся в спину Стомолицкого.

— Фью-ю! Наяривай! Муштровщик! Граф Кассо! Рыба!

Захватывало дух. Директор, сам директор, перед которым вчера еще вытягивались в струнку, дрожали, снимали за козырек (обязательно за козырек!) фуражку, мимо ка-

бинета которого проходили на цыпочках, сам директор постыдно, беспомощно и без галош бежал.

В окна смотрели довольные лица педагогов. Мокеич увещевал:

— Пошто безобразничаете! Нехорошо. А еще ученые!

Атлантида подкрался к нему сзади, выхватил из рук директорскую галошу и под общий хохот пустил ее в Стомолицкого. Потом, засунув два пальца в рот, засвистел дико, пронзительно, оглушающе, с переливами. Так умеют свистеть только голубятники. А Степка славился своими турманами на весь Покровск.

Когда мы, шумные, разгоряченные, вернулись в классы, учителя вяло журили:

— Нехорошо, господа. Хулиганство все-таки. Разве можно?

Но чувствовалось, что говорится это так, по обязанности,

Вече на бревнах

Во дворе на высохших бревнах после уроков мы устроили экстренное собрание. Собрались на гимназическое вече ученики всех восьми классов. Надо было выбрать делегатов на совместное заседание педагогического совета с родительским комитетом. На этом заседании решался вопрос «об отстранении от должности» директора гимназии.

Председествовал на дворе коновод старших — восьмиклассник Митька Ламберг, выгнанный из Саратовской гимназии. Митька важно сидел на бревнах и объявлял:

— Ну, господа, теперь выставляйте кандидатов.

— Со двора, что ли, их выставить? Могём!

— Ха-ха-ха! В два счета.

— Господа! Выдвигайте кандидатов!

— Мартыненко! Выдвинь ему! Ха-хе!

— Господа! — возмутился Ламберг. — Тише! Гимназисты все-таки, а ведете себя, как «высшие начальные». И в такой момент... Ти-и-ише!

— Брось, ребята! Маленькие?

Гимназисты утихомирились. Начались выборы. Выбра-

ли Митьку Ламберга, Степку Атлантиду и четвероклассника Шурку Гвоздило.

— Еще есть вопросы?

— Есть! — И Атлантида вскарабкался на бревна. — Хлопцы! Вот чего. Дело серьезное. Это вам не в козны играть, не макуху кусать. Да!.. Нам дело надо загигать круче. Рыбьему Глазу надо объявить все начистоту, до конца... И вот чего. Выборные были чтоб от нас и от них. И без никаких!..

— Правильно, Степка! Требувай выборных!.. Качать выборных!.. Качать!!!

Из Степкиных карманов посыпались пробки для пугача, патроны, куски макухи, гвозди, литой панок, дохлая мышь и книжка «Нат Пинкертон». Ламберг бил в старую кастрюлю, которая заменяла ему председательский звонок, а теперь служила барабаном. Выборных понесли и воротам.

— Уррра-а-а!

Уставшее за день от крутого подъема на небо солнце присело отдохнуть на крышу гимназии. Крыша была мокрая от стаявшего снега, блестящая и скользкая. Солнце поскользнулось, ожгло окна напротив, плюхнулось в большую лужу и оттуда радужно подмигнуло веселым гимнастам.

„Родителям на утешение“

Оскорбленный директор решил на последнее средство: пошел искать защиты у родительского комитета.

Нелегко было ему идти искать защиты у родителей. Родителей он считал государственными врагами и запрещал учителям заводить близкое знакомство с ними. Для него родители учеников существовали лишь как адресаты записок с напоминанием о взносе платы за ученье или с извещением о дурном поступке сына. Всякое их вмешательство в дела гимназии казалось директору поруганием гимназической святыни. Наверно, если бы это было в его власти, он выкинул бы из ежедневной гимназической молитвы строчку: «Родителям на утешение».

Но сейчас считаться не приходилось. Директор поплелся к председателю родительского комитета. Председателем

комитета был ветеринарный врач Шалферов. В городе его звали скотским доктором.

Директор попал к Шалферову во время приема. Скотский доктор, увидев директора, так удивился, что забыл пригласить его сесть. Он поспешно вытер руку о зеленоватый, в неаппетитных пятнах халат и протянул ее директору. Директор был франтом и чистюлей, а от докторовой руки пахло парным молоком, конюшенной и еще чем-то тошнотно-едким. Директора мутило, но с полной готовностью, крепко пожал он протянутую руку.

Так они и разговаривали, стоя в холодной прихожей, заставленной бидонами, бутылками, завядшими фикусами и горшками из-под герани. В углу, в ящике с песком, копала яму кошка. Не сознавая того, что она является свидетельницей исторических событий и великого падения директора, кошка оставила хвост и вытянула его палкой.

Скотский доктор выслушал бледного директора и обещал поддержку. Директор униженно благодарил. Доктору было очень некогда. На дворе, заходясь в сиплом реве, мычала корова. Корове надо было поставить клизму. Шалферов посоветовал директору сходить еще к секретарю комитета.

Директор и Оська

Секретарем комитета был мой отец. Директору очень неловко было обращаться к нему с просьбой. Совсем еще недавно отец подал прошение на свободную вакансию гимназического врача. Директор тогда написал на прошении:

«Желателен врач неиудейского вероисповедания».

Отец только что вернулся домой из больницы с операции. Он умывался, полоскал горло. Вода булькала и хлопотала у него в горле. Казалось, что папа закипел.

Директор ждал в гостиной.

В аквариуме плавали золотые рыбки, волоча по дну прозрачную кисею длинных хвостов. Одна рыбка, с мордой, похожей на шлем летчика (так велики были ее глаза), подплыла к стеклу. Наглые рыбы глаза в упор рассматривали директора. Директор, вспомнив о своем обидном гимназическом прозвище, с досадой отвернулся.

В это время дверь гостиной приоткрылась, и в комнату вошел Ося. Он вел под уздцы большую и грустную деревянную лошадь, давно утратившую молодость и хвост. Лошадь застряла в дверях и едва не сломалась окончательно.

Тут Оська увидел директора. Он остановился в раздумье, подошел поближе и спросил:

— Вы на прием? Да?

— Нет! — серьезно и хмуро ответил директор. — Я по делу.

— А-а! — воскликнул Оська. — Я знаю, вы кто. Вы лошадиный доктор. От вас пахнет так. Да? Вы коров лечите, и кошек, и собак, и жеребенков — всех. Я знаю... А мою лошадь вы вылечите? У ней в животе паровозик. Туда уехал, а оттуда никак не выехивает...

— Это ошибка, мальчик, — обиженно прервал его Стомолицкий. — Я не ветеринар. Я директор. Директор гимназии.

— Ой... — с уважением охнул Ося и внимательно осмотрел директора. — Вы и есть директор? Я даже испугался. Леля говорит, вы строгий... Вас все, даже учителя, боятся. А как вас зовут? Рыбий... нет, Рыбин... Вспомнил!.. Воблый Глаз?

— Меня зовут Ювенал Богданович, — сухо сказал директор. — А тебя как зовут, мальчик?

— Меня — Ося. А почему вас тогда называют Воблый Глаз?

— Не задавай глупых вопросов, Ося. Ответ лучше... м... гм... ты уже умеешь читать?.. Да... ну, скажи... м... гм... вот... куда впадает Волга? Знаешь?

— Знаю, — уверенно ответил Ося. — Волга впадает в Саратов. А вот отгадайте сами: если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборет?

— Не знаю, — постыдно признался директор.

— Никто не знает, — утешил его Ося, — ни папа, ни солдат, никто... А вот Воблый Глаз — это по отчеству так? Или вас, когда вы маленький были, так называли?

— Довольно!.. Будет! Скажи лучше, Ося, как звать твою лошадь?

— Конь... Как же еще? У лошадей не бывает фамилий.

— Неверно! — строго пояснил директор. — Например, лошадь Александра Македонского звали Бuceфал.

— А вас — Рыбий Глаз? Да? Совсем и не Воблый... Это я спутал. Да ведь?

Вошел папа.

— Какой развитой и смышленный мальчик ваш сын! — с ангельской улыбкой сказал, изогнувшись, директор.

Отцы, папаши, батьки

У-у-дрррдж-ууджж-ррджржж...

Громадной мухой бился в окне учительской вентилятор. В натопленной учительской было моряще жарко. В пустых, темных классах изредка потрескивали парты. Громко тикали часы в вестибюле.

— Заседание родительского комитета совместно с педагогическим советом разрешите считать открытым. Прошу...

За большим столом сидел родительский комитет. Тесным рядом сели преподаватели. Поодаль, в углу стола, приткнулись Митька Ламберг и Шурка Гвоздило. Маленький Шурка казался совсем оробевшим. Солидный Ламберг крепился.

Степку Атлантиду инспектор не пустил на собрание.

— От этого архаровца всего можно ожидать, — заявил инспектор. — Такое еще сморозит...

— Я буду тихо, Николай Ильич.

— Мокеич, выведи его отсюда!

— Ну-ка, выкатывайся, милок, — толкал Мокеич расходившегося Степку. — Выборный... тоже. Горлопан!

Степка очень обиделся.

— Как хотите, — сказал он, уходя, — только после с меня не взыщите, если у вас ничего не сладится. Резервуар. Адье.

В начале заседания потух свет: произошла обычная поломка на станции. Учительская погрузилась в темноту. Ламберг полез за спичками, но спохватился, что у некурящего гимназиста не может быть спичек. Сторож Мокеич принес похожую на парашют лампу с круглым зеленым абажуром. Лампу повесили над столом. Она качалась. Те-

ни шатались, и носы сидящих то вырастали, то укорачивались.

Сначала говорил инспектор. Говорил плавно, много язви́л, и раздвоенная его борода хитро юлила над столом. Борода была похожа на жало.

Сопящие хуторяне-отцы сонно слушали Ромашова, гривастый священник заправил перстами за ухо волосы и внимал. Акцизный строго протер очки, будто собирался разглядеть в них каждое слово инспектора. Лавочник глубокомысленно загибал пухлые пальцы в такт инспекторским словам.

Толстый мукомол из думы, Гутник, стал защищать директора:

— Як же вы, господа педагоги, можете такое самоправство чинить? Се, я кажу, трошки неладно. Негоже так. Допрежь у округа спросить треба... А Ювенал Богданович сполнял закон форменно. Мы бачили, шо при ем порядок был самостоятельный. Так нехай вин и остается. Сдается мне, шо так катъегорически и буде. Та и время дюже кипятлиное, як огнем полыхае. Шкодить хлопцы зачнут. Так я кажу чи ни?

И родители одобрительно покачали головами. Отцы побаивались свободы для сыновей. Распустятся — попробуй тогда справься с этой бандой голубятников, свистунов, головорезов и двоечников.

Кондуит директора

Взволнованный, вскочил Никита Павлович Камышов, географ и естествовник. С надеждой взглянули на побледневшее лицо любимого учителя Ламберг и Шурка. Горячо заговорил Никита Павлович, и каждая его фраза была страницей в неписаном кондуите самого Рыбьего Глаза.

— Господа! Что же это такое? Царя свергли, а мы... директора не можем?.. Вы — родители! Ваши дети, сыновья ваши, пришли сюда, в эти опостылевшие нам стены, получить образование, воспитание. А что они могли получить здесь? Что, я вас спрашиваю, могли получить здесь они, дети... когда мы, педагоги, взрослые, задыхались? Нечем дышать было. Позор! Казарма! Вышитый ворот руба-

хи — восемь часов без обеда... Фуражку снял не за козырек — выговор. Боже мой!.. Теперь, когда во всей России стал чище воздух, мы тут у себя... форточку открыть боимся, чтоб проветрить!..

Он дернул себя за длинный свисающий ус и, задыхаясь, выбежал из учительской.

Очень тихо стало в комнате.

Директор, незаметный в углу, распилил тишину своим плоским голосом. Директор был зелен от абажура и злости.

Он оправдывался.

— Личные счета, — говорил он. — Закон... дисциплина... служба... округ.

Его прервал громадный и черный машинист Робилко, длинный, как товарные составы, которые он водил. Машинист грохнул кулаком по столу:

— Да чего там разговаривать? Революция так революция! Вали без пересадок. А от господина директора мы ни черта хорошего, кроме плохого, не видели. Да и ребят поспросать надо. Пусть вот выборные ихние определение скажут. А то для чего выбирать было?

Митька Ламберг bravо отчеканил наизусть выученную речь.

— А вы что можете сказать? — обратился председатель к Шурке Гвоздило.

Шурке стало несказанно приятно, что ему, как взрослому, говорят «вы». Он вскочил, руки по швам, как перед кафедрой.

Рыбы глаза директора гадливо рассматривали его.

Шурка с опаской покосился на Стомолицкого: черт его знает, вдруг останется — придирается будет. Шурка гулко глотнул комок в горле. Душа его ушла в пятки. Но Ламберг каблуками так больно стиснул в это время под столом Шуркину ногу, что душа бомбой вылетела из пятки обратно.

Шурка мотнул головой, снова проглотил воздух и вдруг воодушевился.

— Мы все за долой директора! — выпалил он.

Кем-то задетая в суматохе лампа раскачивалась. Тени опять сошли со своих мест. Тени укоризненно качали головами. Носы росли и опадали. Длиннее всех был унылый нос директора.

Долго, до поздней ночи, тянулось заседание. Наконец постановили:

«...Стомолицкого Ювенала Богдановича отстранить от должности директора гимназии. Временно, до утверждения округом, обязанности директора возложить на инспектора гимназии Николая Ильича Ромашова».

Бывший директор покинул собрание. Ушел он молча и ни с кем не простился. Ромашов с победным видом пушил бороду. Довольная борода нового директора теперь уже не смахивала на жало. Скорее она напоминала большой, рыхлый ломоть калача, аппетитно выведенный посередине.

Расхрабрившийся Шурка заикнулся о выборном управлении. Пламя в лампе запрыгало от дружного хохота. Даже по плечу похлопали Шурку:

— Эх, молодость, молодость! Задору-то!

— Выборные от первоклашек-сопляков... Ха-ха-ха! Уморил, уморил!

Шурка сконфуженно шмурыгал носом и тер пряжку пояса.

Собрание перешло к какому-то другому вопросу. Родители зевали, прикрываясь ладонями. У Шурки слипались глаза. Зеленый парашют лампы низко парил над столом. Пламя тоненько пело и кидало маленькие острые протуберанцы. Над стеклом струилось волнистое тепло. Спать хотелось до черта. А тут еще вентилятор этот укачивал: уудж-уррдж-ууу...

Директора выгнали, и Шурка считал свою миссию выполненной. Но тут сидели преподаватели, родители, наконец, новый директор, и уйти просто так, казалось ему, было невозможно. И Шурка заготовил длинную и совсем взрослую фразу: дескать, его присутствие больше не требуется и он, мол, считает возможным покинуть собрание. Шурка встал. Он уже совсем открыл рот, чтобы сказать приготовленное, как вдруг потерял самое первое слово. Начал его искать и упустил все другие. Слова, словно обрадовавшись, вылетели из сонной Шуркиной головы и заскакали перед слипающимися глазами. А самое трудное и длинное слово «присутствие» надело мундир с золотыми

пуговицами и нахально влезло в стекло лампы. Пламя показало Шурке язык, а «присутствие» стало бросаться в Шурку точкой над *i*. Точка была на длинной резинке. Она отскакивала от Шуркиной головы, как бумажные шарик, которые продавал на базаре китаец Чи Сун-ча.

— Что вы имеете сказать? — спросил председатель.

Все повернулись к Шурке.

Шурка в отчаянии одернул куртку и сказал решительно:

— Позвольте выйти!

Цап-Царапыч ставит точку

Шурка вышел на улицу. Небо было черно, как классная доска. Тряпье туч стерло с него все звездные чертежи. Черная, топкая тишина проглотила город. Шурка первые минуты после учительской барахтался в этой крошечной тьме, как муха в кляксе. Потом он разглядел перед собой темную фигуру.

— Шурка, ты? А я тебя все жду... Замерз, як цуцик.

— А-а, Атлантида! — узнал Шурка.

— Ну как, что? Расскажи.

Эффектно растягивая слова, Шурка сообщил:

— Чего там рассказывать! Мы, конечно, добились своего. Рыбу по шапке, а на его место пока инспектора.

— Постой! А насчет выборных как же?

— «Выборные, выборные»!.. Вот тебе твои выборные — выкуси! Засмеяли меня с твоими выборными!

— Эге! Здорово! Чего же вы добились? Это разве революция?! Директора поперли, а заместо его инспектора посадили. Эх!..

И Степка исчез в темноте. Гвоздило, солидно пожав плечами, пошел домой. Куковала караульная колотушка — деревянная кукушка уездных ночей. Вскоре побрели по темной площади учителя и родители.

Последним ушел из гимназии Цап-Царапыч. Он задержался, записывая на всякий случай в кондуитный журнал Ламберга и Гвоздило. Так кондуитом, хвостатой подписью Цап-Царапыча кончился этот знаменательный день.

В учительской повесили новый портрет: волосы ершиком, отвороченные уголки стоячего воротничка, как крылышки херувима... Александр Федорович Керенский.

На специальном молебне учителя присягали Временному правительству. Общую молитву всех классов отменили. По утрам, перед уроками, стали читать прямо в классе коротенькую молитву. Затем либеральный новый директор решился на смелый шаг: он отменил отметки.

— Все эти единицы, двойки, пятерки с минусом непедagogичны, — распинался Ромашов перед родительским комитетом.

Отныне учителя не ставили в наши дневники и тетради единиц и пятерок. Вместо единицы писалось «плохо», вместо двойки — «неудовлетворительно». Тройку заменяло «удовлетворительно». «Хорошо» означало прежнюю четверку, а «отлично» стоило пятерки. Потом, чтобы не утратить прежних «плюсов» и «минусов», стали писать «очень хорошо», «не вполне удовлетворительно», «почти отлично» и так далее. А латинист Тараканиус, очень недовольный реформой, поставил однажды Биндюгу за письменную уже нечто необъяснимое: «Совсем плохо с двумя минусами». Так и за четверть вывел.

— Если принять «плохо» за единицу, — высчитывал Биндюг, — то у меня по латыни отметка за четверть такая, что простым глазом и не углядишь. Черт его знает, чему это равно. Хорошо, если нуль. А вдруг еще меньше?..

Протеже дамского комитета

Двор дома, в котором мы жили, принадлежал большому хлебному банку. Под навесом всегда пахтала воздух веялка. На парусине росли золотые дюны пшеницы, и широкоплечие весы передергивали железными плечами, как человек, которому хочется незаметно почесать спину. Целый день на дворе бабы длинными иглами чинили мешки. Бабы пели очень печальные песни про любовь и разлуку.

Одна из мешочниц поступила кухаркой к банковскому служащему. У кухарки был сын Аркаша. Он учился в начальном училище. Аркаша был мал ростом и веснушчат. Лицо его было похоже на парусину с рассыпанной пшеницей. Он был очень способный мальчонка и страстно хотел учиться.

В городе существовал благотворительный дамский комитет. Хозяйка Аркашиной матери состояла в этом комитете. По ее настоянию комитет принял участие в способном мальчугане, и Аркаша Портянко, сдав без сучка и задоринки экзамен, был принят бесплатным учеником в наш класс.

Я очень дружил с серьезным и ласковым Аркашей. Он не был тихоней, но все его безобидные шалости, веселые шутки резко отличались от дикого озорства одноклассников. Учился он отлично и каждую четверть года приносил на кухню к матери табели, туго набитые пятерками. В каждой клеточке, как в дольках стручка, сидели похожие друг на друга пятерки. Даже число пропущенных уроков обычно равнялось пяти. Внизу стояло: «Подпись родителей». С великой гордостью, пачкая табель масляными пальцами, подписывалась кухарка. «Перасковия Портянк», — выводила она и трепетно, словно свечу перед иконой, ставила точку.

Плюс минус Люся

Весь класс знал, что Аркаша Портянко влюблен. На классной доске писали неоспоримую формулу его любви: «Аркаша + Люся = !!» Люся была дочерью богатой председательницы сурдобольного дамского комитета. Мать Аркаши, узнав об этом, качала головой:

— Ишь как симпатию себе напел!.. Кывалер... Наказание!

Но Люсе очень нравился Аркаша. Он приходил в беседку, и там они читали вдвоем интересные книжки. Солнце, просочившись сквозь листву, осыпало их кружочками своего теплого конфетти. Однажды Аркаша принес Люсе букет ландышей.

На рождестве у Люси была елка. Люся пригласила Аркашу, не спросив у матери. Вычистив и выгладив свой

мундирчик, отправился Аркаша на елку. Он вошел в ярко освещенный подъезд и уже предвкушал радости вечера, как вдруг мать Люси, высокая дама, испуганно зашумев шелком, выросла перед ним. Она очень растровожилась, увидев у себя на балу кухаркиного сына.

— Приходи как-нибудь в другой раз, мальчик, — сладко заговорила она, — и приходи со двора. Люсе сейчас некогда. У нее гости. Вот тебе и твоей маме гостинцы.

С этого вечера Аркаша больше не виделся с Люсей. Скучал он очень сильно. Осунулся и учиться стал хуже.

Потом, в феврале, на Троицкой площади полный господин в хорошей шубе горячо говорил собравшемуся народу, что теперь нет больше бар, господ и рабов, а все равны. Аркаша поверил ему, решив, что раз сам господин говорит, что господ нет, значит, это уж верно. И Аркаша решил написать Люсе. Вот это письмо. Я нашел его через несколько лет в кондуите вместе с засушенным стебельком ландыша.

Письмо

«Многоуважаемая, дорогая, милая Люся!

Так как ввиду того, что теперь переворот царского режима, то все равны и свобода. Баринов и господ больше нет, и никто никакого полного права не имеет меня оскорбить с елки по шеям, как на первый день. А я за вами очень скучаю, Люсенька, золотая, так что похудел, мама говорит, даже. И на каток не хожу, потому что не хочу, а не потому вовсе, что, как Лизарский говорит: это оттого, что смотреть обидно, как я с Люськой катаюсь. Съел, говорит, гриб? Видал миндал? Ну и пусть бреш... (зачеркнуто) лжет. Совсем и не завидно ни капельки. Ему вот наклали, как монархисту (значит, за царя), он и злится. А теперь, милая Люсенька, мы с вами можем быть как будто брат и сестра, если, конечно, захотите. Революция потому что, и мы теперь равные. Хотя вы, конечно, лучше в сто раз. До чего мне ужасно без вас плохо, не дай бог... Честное слово, если не верите. Вот сидишь, уроки зубришь, а все про вас мечтаешь и даже во сне видишь. Ну до того ясно, как вправду. И в диктовке раз попалось слово *стремлюся*, я и перенес с большого «Л»: *стрем-Люся*... А вы с Петькой Лизарским все время, который у меня задачу всю сдул, а

после хвалится. И ходит с вами под ручку. Хотя я не зави-
дую. Так только немного довольно странно, что вы такие
умные, Люся, красивенькая, хорошая и развитая, а с
монархистом ходите под ручку. Ведь теперь свобода, ра-
венство и братство, и вас не заругают со мной. А за Петь-
ку я на вас серчать не буду. Потому что тогда был царь
и триста лет самодержавие.

И ничего хорошего в жизни я не видел с мамой, только
переворот вот и вы, миленькая Люся... Сроду так не
плакал, как тогда, на первый день.

Я не стерпел и написал, хотя это против гордости.
Если вы меня не забыли и хотите опять сначала, то напи-
шите записку. Я с радости до неба подскакну.

Я посылаю вам ландыш, это из того букетика...

Ваш Портянко Аркадий, ученик 3-го класса.

Простите, что помарки. Пожалуйста, разорвите это
письмо».

Веселый Монохордов

Учитель алгебры носил странную фамилию — Моно-
хордов. У него были неописуемо рыжие волосы и толстые,
бегемотовы щеки. «Рыжий баргамот» — так звали мы его.

Монохордов отличался непонятной, зловещей и не-
истребимой веселостью. Он вечно хихикал.

— Хи-хи-хи! — заливался он тоненьким смехом. —
Хи-хи-хи... Вы ничего не знаете. Здесь, хи-хи-хи... плюс,
а не минус... хи-хи-хи... Вот я вам... хи-хи-хи... поставил...
хи-хи... единицу.

На уроке алгебры Аркаша, спрятав письмо под партой,
еще раз перечитывал его. Увлечшись, он не заметил, как
подкравшийся Монохордов запустил руку в парту. Арка-
ша рванулся, но было уже поздно: толстые пальцы, покры-
тые рыжими волосами, держали письмо.

— Ха-ха-ха! — восторгался рыжий педагог. — Письме-
цо! Х-хи... незапечатанное... Интересно, интересно... хи-
хи... ознакомиться... чем вы занимаетесь на моих... хи-хи...
уроках!

— Отдайте, пожалуйста, мое письмо! — дрожа всем
телом, крикнул Аркаша.

— Нет... хи-хи... извините. Это... хи... мой трофей...



Рыжее хихиканье наполняло класс. Монохордов забрался на кафедру и погрузился в чтение. У доски томился забытый ученик с белыми от мела пальцами. Педагог читал.

— Хи-хи-хи... занятно... — залился он, кончая чтение. — Любопытно... Послание... хи-хи... даме сердца. Могу в назидание... хи-хи-хи... прочесть вслух.

— Читайте! Читайте! — обрадованно заревел класс, заглушая просьбы побледневшего Аркаши.

И, останавливаясь, чтобы выхихикаться, Монохордов прочел с кафедры вслух письмо Люсе. Все, с начала до конца. Класс гоготал. Помертвевший Аркаша сидел как оплеванный.

Ландыш в кондуите

— Рановато, Портянко, начинаете, — смеялся учитель. — Хи-хи... рановато...

Аркаша знал, что все равно нельзя уже послать это опоганенное письмо. Все большие слова, теперь осмеянные, казались ему самому действительно глупыми. Но жгучая обида подхлестнула его.

— Прошу вас, отдайте мне письмо, Кирьяк Галактионович, — тихо сказал он нехорошим голосом.

И класс разом перестал смеяться.

— Нет, — ухмылялся Монохордов, — это мы в журнальчик.., хи-хи...

Тогда Аркаша стал буйствовать.

— Вы не смеете, — взвизгнул он, топая ногами, — не смеете! Чужое письмо... Это — как украсть...

— Вон сейчас же из класса! — заорал Монохордов, трясая налившимися щеками. — Не забывай, что ты бесплатный... Вылетишь... хи-хи... как воздушный шар.

Высохший ландыш легко и слабо хрустнул в захлопнутом журнале. Аркашку долго отчитывал директор Романов.

— Мерзавец, — нежно и мягко журил он, — как же ты смеешь со старшими так говорить? Выгоню тебя, шалолая эдакого. На каторгу пойдешь, подлец. Что вздумал, нахал! А?

Аркашке напомнили, что он бесплатный, что учится он милостью добрых людей, что революция тут ни при чем. Прежде всего должен быть порядок, и он, Аркашка, вылетит в первую голову, если порядок этот будет нарушен. Аркашку записали в кондуит. После уроков он сидел два часа без обеда. Из всего Аркашка понял только одно: мир по-прежнему еще делится на платных и бесплатных.

Книга вторая Швамбрания

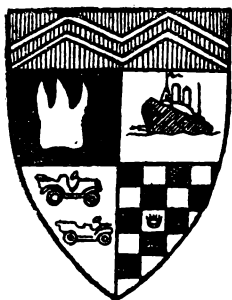
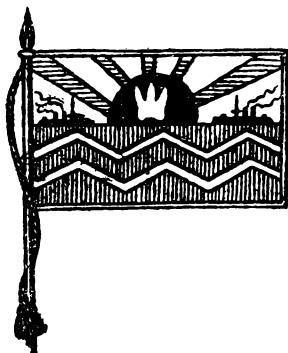
ШВАМБРАНСКАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ

У

Поход „Бренабора“

Чтоб установить истинные очертания и границы Швамбрании, был предпринят великий поход швамбранского флота вокруг материка. Он начался в середине 1916 года и продолжался до ноября 1917 года. Значение этого похода для швамбранской истории огромно. Об этом свидетельствуют письменные памятники, сохранившиеся до сих пор. В моем швамбранском архиве хранятся: точная карта Швамбрании и приложенный к ней корабельный журнал флагманского судна «Бренабор». Приводить его здесь целиком не имеет смысла. Он велик и скучен. Многие в нем будут непонятны сегодняшним читателям. Поэтому здесь описание похода дается в сокращенном и обработанном виде, а в скобках объяснено непонятное. Я старался только по возможности сохранить швамбран-



ский стиль. Затем необходимо рассказать следующее.

Швамбранским императором был в то время некий Бренабор Кейс Четвертый. Имя это мы целиком заимствовали у известной тогда автомобильной фирмы. Поэтому на государственном гербе Швамбрании к Зубу Швамбранской Мудрости, пароходу Джека, Спутника Моряков, и Черной королеве — хранительнице тайны — прибавились еще автомобили.

Царь Бренабор № 4 был довольно покладистым малым, но все же это был монарх, и никто из нас не пожелал воплощаться в него. Оставаться же простыми смертными швамбранами не хотелось. Тогда Бренабор усыновил нас. Мы считали, что он подобрал нас в море, когда мы были маленькими. Жестокий

негодяй Уродонал Шателена засадил нас совсем новорожденными в кадушку из-под кислой капусты и пустил по морю. Царь Бренабор катался на лодке, услышал, что откуда-то разит, и спас нас.

В то время почти во всех детских книжках были сироты. Положение приемыша было модным и трогательным. Что же касается капустного духа, то это нас нисколько не компрометировало: многие мамы уверяли, что всех детей, даже и не приемышей, находят в капусте...

Эскадра состояла из флагманского судна «Бренабор» и кораблей «Беф Строганов», «Жюль Верн», «Металлопластика», «Принц-курант», «Каскара Саграда», «Гратис», «Покоритель бурь», «Гамбит» и «Доннерветтер». Командовал эскадрой, несмотря на свою молодость, адмирал и капитан Арделяр Кейс, то есть я. Оська был вице-адмиралом и главным матросом. Имя его было Сатанатам. Происхождение имени Сатанатам оперное. К нам ходил петь басом один провизор. Он пел арию Мефистофеля: «Сатана

там правит бал», слишком надавливая голосом на отдельные слоги. Получалось: «Сатанатам». Оська потом интересовался, кто это такой Сатанатам — дирижер?

В качестве корабельного наставника с нами плыл неизменный Джек, Спутник Моряков.

Отплытие

«Утром был восход, и солнце засияло над горизонтом, — так начинается дневник адмирала Арделяра Кейса. — Вид на море был очень красивый. Сто тысяч солдат и миллион народа провожали нас. Духовой оркестр играл очень сильно — получилась манифестация. Нью-Шлямбург был весь иллюстрирован. (Ошибка: адмирал хотел написать «иллюминирован».) На мне были белые брюки клёш, белые туфли со шпорами, крахмальный воротничок, голубой галстук бабочкой, лиловая черкеска с золотыми газырями и эполетами, пурпуровый ментик-накидка, подбитый тигровой шкурой, и капитанская фуражка с плюмажем. Я шел впереди всех, высокий и стройный...»

У пристаней стояли пароходы. Уже был второй звонок. Грузчики носили пирожные, тысячи тюбиков со сладкими белилами. Военно-пассажирский дредноут «Бренабор» был так велик, что по палубе его ходили трамваи и ездили извозчики. От кормы до носа они брали двугривенный, хотя овсы в Швамбрании были дешевы. Шесть труб «Бренабора» дымили, как шесть хороших пожаров. Гудок его был в десять тысяч верблюжьих сил, а мачты так высоки, что на верхних реях лежали вечные снега.

— В машине приготовиться! — скомандовал я.

— Пронте ля машина, — сказал Джек, Спутник Моряков, — штее фертиг бей дер машине!

Нас провожал сам царь. Он влез на бочку и сказал манифест:

— Ой вы гой еси, швамбранские чудо-богатыри! Мы, божьей милостью император швамбранский, царь кальдонский, бальвонский и тэ дэ и тэ пэ, повелеваем вам счастливого пути и взад и вперед. Если встретится по дороге война, сражайтесь что есть силы... Гоните врагов в хвост и в гриву. Моряки! Все века, сколько их есть и будет, смотрят на вас с вершины этих мачт! Марш вперед, друзья,

в поход!.. Ах, громче, музыка, играй победу! Если налетит шквал и буря, сойдите вниз, а то схватите насморк. Вперед же, орлы, чудо-богатыри! Правьте в открытое море на зюйд-вест. С нами бог, трогай с богом!..

Тут все запели швамбранский гимн, сочиненный вице-адмиралом, с ударением на первом слоге:

«У-ра, у-ра! — закричали
Тут швамбраны все. —
У-ра, у-ра!» — и упали...
Туба-риба-се!
Но никто совсем не умер,
Они все спаслись.
Всех они вдруг победили
И поднялись ввысь!..

«Бренабор» дал третий свисток в десять тысяч верблюжьих сил. Всадники попадали, кони разбежались. Кто стоймя стоял, тот сидьмя сел. Кто сидьмя сидел, тот лежмя лег. Ну, а кто лежмя лежал, тому уже ничего не оставалось делать. Пароходы отваливали. Поход начался.

— Пишите! — сказал царь.

Эскадра шла полным ходом. Флаги пышно развевались. Впереди всех шел «Бренабор», высокий и стройный. Он тянул сто узлов в час. Ветер крепчал. Волны бурлили. Вечером был закат.

Битва при Шараде

Плавание шло благополучно. Утром бывал восход, вечером — закат. Ветер крепчал с каждым днем, если верить адмиральскому журналу. Эскадра, не заходя в порт Фель и миновав мыс Гиальмар, обогнула Канифолию и от мыса Кегли повернула к Драндзонску. Навстречу нам был послан небольшой однобортный корабль. (Опять ошибка: однобортными бывают пиджаки, а не пароходы.) Жители Драндзонска встретили нас с папиросами «Триумф». Мы закурили и поехали дальше. Через два дня мы бросили якорь в гавани Матчиша.

За Матчишем простирались дремучие мужественные леса. (Таких лесов, конечно, не бывает. Про леса иногда

Дор. В пустыне было очень пусто. Тем временем эскадра под командованием Джека Спутника обогнула мыс Юлу и пришла в Бальвонск. Мы сели опять на корабль и поехали дальше. У мыса Шарада на горизонте показался флот Пилигвинии. Им командовал подлый изменник граф Уродонал Шателена.

— А, грот-бом-брам-рей! — выругался Джек, Спутник Моряков. — Форбом-брамфордуны и бакштаги! Унтер лиссель левый, тоже правый... Пломбирен зи ди шифсреуме!.. Запломбируйте все трюмы!

И он стал сверкать очами. А Уродонал Шателена объявил нам через рупор войну. Вышел морской бой. Корабли наши и ихние налетели друг на друга и хотели устроить абордаж. Но началась настоящая Ходынка, которая кончилась для нас прямо Цусимой. Корабли «Металлопластика», «Доннерветтер» и «Беф Строганов» пошли на дно, а остальных взяли на буксир пилигвины. Они повели их в свой плен, который помещался на необитаемом острове Гирляндия в Ядовитом океане. Только наш гордый «Бренабор» не сдался врагу и вырвался из огненного кольца. По синим волнам океана корабль одинокий неся на всех парусах. Был остров на том океане. Пустынный и мрачный гранит. Назывался он островом Наказань и входил в Пилюльский архипелаг. Там был мыс Угол. На мысе, в ракушечном гроте, жила Черная королева. Мы пристали к острову. Королева выглядела неплохо, только заплесневела немножко.

Затем мы миновали опасные острова Хину, Биомальц, Микстуру, Какао и Рыбьезирск. Дойдя до мыса Конек, мы увидели вершины Кудыкиных гор и недостижимую вершину Ребус. Но мы повернули на запад и вошли в пролив Семи Школяров.

Мы приближались к острову Лукоморье.

Заповедник героев

Принц и Нищий, Макс и Мориц, Бобус и Бубус, Том Сойер и Гек Финн, Оливер Твист, Маленькие Женщины и Маленькие Мужчины, они же ставшие взрослыми, дети капитана Гранта, маленький лорд Фаунтлерой, двенадцать

егерей, три пряхи, семь мудрых школяров, тридцать три богатыря, племянники дядьки Черномора, Последний день Помпеи и Тысяча одна ночь вышли встречать нас.

— Здравия желаем, ваше ослепительство! — гаркнули они нам.

На берегу стоял дуб зеленый. Златая цепь на дубе том. Цепной кот в сапогах с ученым видом ходил вокруг дуба. Направо идет — книжки читает вслух, идет налево — граммофон заводит. Прямо как в цирке у Дурова. А на скале сидел Сфинкс. Он сочинял шарады и ребусы.

Знакомые образы населяли остров. Остров Лукоморье был заповедником всех вычитанных нами героев. Герои были изъяты из книг. Они жили здесь вне времени и сюжета.

Навстречу нам скакал сборный эскадрон. Впереди ехал, опустив забрало, Неизвестный Рыцарь, потом Всадник без головы. За ним погонял свою клячу Дон-Кихот Ламанчский. И трусил на осле его верный оруженосец Санчо Панса. Санчо Панса вез крылья ветряной мельницы, которую обкорнал Дон-Кихот. За Рыцарем Печального Образа скакал на Коньке-горбунке Иванушка-дурачок и показывал всем язык. Далее следовали на огромных битюгах три богатыря: Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Так их звали по имени и отчеству, а фамилии нам были неизвестны. Битюги были запряжены в царь-пушку. За ними следом крался знаменитый сыщик Нат Пинкертон. Он выслеживал Неизвестного Рыцаря. Ната Пинкертона незаметно преследовал прославленный сыщик Шерлок Холмс.

Из кустов вышел обросший человек в звериных шкурах. На плече у него сидел ученый попугай и клювом вынимал из кармана хозяина билетики со «счастьем».

— Гобин Кгузо! — картаво крикнул попугай.

И мы узнали великого отшельника. За Робинзоном шел дикарь и нес разные покупки. Он был совершенно голый. Никаких штанов на нем не наблюдалось, только спереди висел листок календаря, и там было написано: «Пятница».

Увидев гостей, Робинзон извинился и попросил Дон-Кихота одолжить ему с головы медный бритвенный прибор. Рыцарь дал. Робинзон пошел бриться, а Пятница, посплетничав и посоветовавшись с Санчо Панса, побежал одеваться в дом, на котором висела такая вывеска:

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
Мужской и дамский
Хитрый Портняжка.
Одним махом семерых обшиваю.

— Это про нас написано, — сказали семь мудрых школьников.

Вечером в честь нашего посещения было устроено большое гулянье с фейерверком в Таинственном саду. Там гуляли Голубые Цапли и летали Синие Птицы. Там пели Золотые Петушки и неслись Курочки Рябы. А белки на свистывали «Во саду ли, в огороде».

И мы там были и мед пили. А так как усов у нас не было, то все в рот попало.

Закат был отменен

Дни пира совпали с первыми днями революции в России. Замечательная действительность все перевернула вверх дном.

Из Швамбрании пришла телеграмма:

В Швамбрании народ волнуется. Возмущены битвой при Шараде. Бренабор немножко отрекся. Временный правитель — Уродонал Шателена.

Через полчаса «Бренабор», заплombировав трюмы и подняв красный флаг, полным ходом вышел в Гориясное море. Мы прошли Лилипутию, Шелапутию, Порт-Ной и Пришпандорию. Мы переименовали наш корабль в «Каршандар и Юпитер». Корабль стоял за республику: мы отреклись от царя-изменника. Ведь Бренабор № 4, чтоб не упускать власти, временно передал ее негодяю Уродоналу. Отряды Уродонала Шателена охраняли плоскогорье Козны, засев в ущельях Ныки, Плоцки и Сок-Панок. Нам пришлось идти к Канделябрам. В их северных отрогах, в окрестностях Портъ-у-Пея, скрывались республиканские заговорщики. Мы взяли их на корабль и, обогнув мыс Клёк, не заходя в Нахлобучи, проплыли до берегов вольного Каршандара и прибыли в Порт-Янки. Каршандарцы встретили нас восторженно. Каршандар был объят



*Процесс адмирала Арделяра Каршандарского длился
целый день.*

революционным восстанием. Только Кондору захватил десант Уродонала. Мы осадили Кондору с Фиолетового моря. Кондора пала. В руки нам попала богатая добыча. Пройдя мысы Рич-Рач и Бильбоке, мы посетили Порт-Сигар и наконец бросили якорь у Каршандарской ривьеры. Я переменял фамилию и стал именоваться Арделяр Каршандарский.

Чтобы подготовить переворот на всем материке, я тайком, в запломбированном трюме одного парохода, пробрался в Нью-Шлямбург. Я жил в столице, загримировавшись в дикого индейца. Но почти накануне восстания Бренабор узнал меня по рассеченной левой брови. Уродонал арестовал меня и предал военному суду.

Процесс адмирала Арделяра Каршандарского длился целый день (воскресенье). Дневник адмирала передает этот суд так:

«Зал был весь полон от публики, которая оглядывала меня с любопытством. Я сидел на лавке подсудимых, красивый и стройный. Четыре часовых целились в меня из ружья, чтобы я не убег. Главным председателем всех судей был бывший Бренабор, который очень на меня обозлившись. Прокуратом служил лично граф Уродонал Шателена, весь чернокурый и подлец. Музыка никакой не было, а адвокатом был Сатанатам, которого они побожились не арестовывать в тюрьму. Прокурат врал при всей публике, будто я какой-нибудь мошенник, а адвокат, наоборот, сказал, что Уродонал — сам! А Бренабор говорит мне: «Господин подсудимый! Даю вам пять минут, можете выразиться последними словами». Тут я встал, высокий и стройный, и вся публика стала совсем тихая. «Господа судьи! — вскричал я. — Вы арестованы от имени Свободного Материка Большого Зуба!» В это мгновение ока в залу вбежал с революционерами Джек, Спутник Моряков, и они свергли тиранов. Вся публика как закричит «ура», и получилась бурная овация».

О закате в этот день адмирал ничего не пишет. Очевидно, в Швамбрании по случаю переворота был сплошной, непрерывный восход...

К О Н Е Ц

К О Н Д У И Т А

В

Хочу заседать

сюду шли собрания, заседания, митинги. Все взрослые занимались политикой. Даже мама была избрана в Совет депутатов от дамского кружка. Папа же был товарищем председателя новой думы. Дума ссорилась с Советом, и поэтому папа ссорился с мамой.

Жажда политической деятельности сжигала меня. Мне тоже хотелось заседать, выступать, выбирать. В это время я получил из Саратова от своего друга Вити Экспромтова письмо. Витя очень увлекательно описывал свой отряд бойскаутов, в котором он состоял. И я решил организовать из гимназистов отряд бойскаутов.

Я достал много книг о системе «скаутинг», прочел их и однажды после уроков, пока класс застегивал ранцы, вскарабкался на кафедру и обратился к товарищам с большой речью.

— Господа, — ораторствовал я, — довольно биться на переменах, шпарить в козлы и быть не вместе. Мы должны быть все вместе, то есть соединиться. Давайте сделаем такую компанию, дружную команду такую, ну, кружок... Не будем врать, курить, ругаться... Будем маршировать, устроим клуб, станем заседать, выберем начальника, станем юными разведчиками, бойскаутами. Как по-вашему?.. Кто хочет стать бойскаутом?

Чуть ли не весь класс захотел записаться в скауты. Поднялся нестерпимый гвалт. Пришел Николай Ильич. Узнав, в чем дело, он заявил, что если шум будет продолжаться, то, прежде чем записаться в скауты, все окажутся записанными в кондуит...

В ближайшее воскресенье в соседней школе состоялось первое собрание бойскаутов. К моему удивлению, пришло много гимназистов из других классов и даже несколько старшеклассников.

Мы заседали совсем как взрослые. Говорили речи, вели протокол.

Было создано два отряда.

Начальником главного штаба выбрали меня. Шалферова, сына скотского доктора, избрали казначеем: он слыл у нас за самого честного.

Был принят устав: не пить, не курить, не врать, не ругаться, быть вежливым, делать добрые дела, всегда улыбаться, начальникам отдавать на улице честь, приложив к фуражке три сложенных пальца. Три пальца означали три основные заповеди скаута: скаут верен богу, своему слову и народу. Собственно, в книжке было написано: «...и царю». Но мы заменили его словом «народ». Некоторые неприятности получились у нас также с богом. Степка Атлантида вдруг заявил, что он... не верит в бога. Пришлось уговаривать его, уверять, что бог — это вроде совети и вообще для профформы. А то, если один палец откинуть, совсем некрасиво получается. Вроде двуперстного креста. Уговорили. Торжественно подняв три пальца, Степка Гавря отпраповтовал присягу и обещал в неделю отучиться курить.

Девчонок мы постановили не принимать. Решили это единогласно.

Многих родителей мы записали членами-соревнователями. Они вносили деньги. На эти деньги мы купили трехцветное знамя и старый автомобильный гудок с отломанным баллоном. В эту громадную дудку надо было дуть что есть силы. Труба ревела очень неприятным голосом. Но мог это сделать лишь Биндюг. Его избрали горнистом. Польщенный Биндюг старался. Он дул так ретиво, что грузовики шарахались в сторону, а пароходы просто завидовали.

В детской библиотеке нам дали комнату. В это время записалось уже так много гимназистов, что мы создали еще два отряда. Я теперь назывался начальником дружины. Ребята отдавали мне на улице честь. Я гордился...

Сэр Роберт, святой Георгий и добрые дела

Но вот все было сделано: комната обставлена, знамя повешено, присяга принята, начальники выбраны, устав выучен, все знали, кто такой сэр Роберт Баден-Пауэль и какое отношение имеет к нам святой Георгий-победоносец.

Что было делать дальше, никто не знал; устроили один раз в амбарном городке войну между отрядами, но сторожа едва-едва не поколотили нас за это.

Попробовали заниматься добрыми делами. Ребята должны были ходить патрулями по городу, чинить скамейки, поправлять изгороди, помогать старушкам нести кошелки с базара. Но гимназисты пользовались очень дурной славой в городе. Первая же старушка, у которой Атлантида попробовал взять сумку, подняла такой крик, что убежался народ, и Степку чуть не побили...

Потом выяснилось, что скауты мои делали «добрые дела» таким манером: они ночью пробирались к какому-нибудь целехонькому палисаднику и ломали его. А утром те же ребята появлялись в роли благодетелей и с чинными, великопостными рожами поправляли палисадник. За это они получали десять очков на конкурсе добрых дел.

Скучно стало в дружине.

Помощи от небесного шефа нашего, Георгия-победоносца, ждать было нельзя. Сэр Роберт на портрете улыбался из-под широких полей бурской шляпы и посоветовать ничего не мог.

От ребят все чаще стало пахнуть опять табаком.

Баржа безруких кавалеров

Пришла осень семнадцатого года. Это была первая осень без царя.

Она была похожа на все предыдущие осени, эта осень — с дынями, мелководьем и переэкзаменовками.

Осенью в Саратов приплыла баржа георгиевских кавалеров. На барже помещался «музей трофеев».

Всю гимназию водили смотреть на этот плавучий патриотизм.

На борту баржи краснела надпись: «Война до победного конца». Из-под нее предательски просвечивало замазанное «За веру, царя...» Все служащие баржи, от водолива до матросов, были георгиевскими кавалерами. У всех почти не хватало руки или ноги, иногда и того и другого. На палубе скрипели протезы, стучали костыли. Зато у всех качались на груди георгиевские крестики.

Три часа бродили мы по барже. Мы совали головы в многодюймовые жерла австрийских гаубиц и щупали шелк боевых турецких знамен. Мы видели громадный германский снаряд-«чемодан». В такой чемодан можно было упаковать смерть для целой роты. И, наконец, любезный руководитель показал нам достопримечательность музея. Это была немецкая каска, снятая с убитого офицера. Замечательная она была тем, что на ней остались прилипшие волосы убитого и запекшаяся настоящая немецкая кровь... Руководитель со вкусом подчеркивал это.

У руководителя были офицерские погоны, две естественные ноги, и он жестикулировал обеими целыми и выхваленными руками.

Поражение Георгия-победоносца

На обратном пути Степка не проронил ни слова. Но вечером в тот же день он явился в штаб бойскаутов и разругался с нами.

— Вы, хлопцы, заметили, какой там дух?.. Как в мясном ряду... кровяной. Аж в нос разит. А за чертом это все? Люди ведь...

— Надо воевать до победы, — заикнулся кто-то из нас.

— Дурак ты, вот что... — накинулся на него Степка. — Слышал звон... А что нам всем будет от этой победы?.. Идите вы к черту с вашим святым Егорием... Играйте в солдатики, кавалеры георгиевские... Бойскауты. На черта вы сдались, если за войну. Поняли? Вычеркивай меня к лешему. Побаловались.

Степка вынул запрещенные папиросы и нагло закурил. Все смущенно молчали. Потом Биндюг крикнул, перешително вынул папиросы и подошел к Атлантиде.

— Дай прикурить, Степа, — проговорил он, — кончили лавочку. Айда.

Сэр Роберт Баден-Пауэль улыбался со стены. Ничего смешного тут не было. Но по уставу скаут должен был всегда улыбаться. Сэр Роберт скалил зубы, как Монохордов, как дурак на похоронах.

Атлантида

...Шел раз урок географии в первом классе. Встал с «камчатки» второгодник Гавря, поднял руку и спросил:

— Правда это в книгах прописано, что Атлантида существовала?

— Возможно, — улыбнулся учитель, длинноусый географ Камышов. — А что?

— А я ее, Никита Палыч, эту самую Атлантиду, найду. Ей-бо! Пошукаю тропки в океане, та и найду. Я ныряю даже глубоко.

Вот с этого дня и прозвали Степку Атлантидой.

Он и действительно мечтал отыскать Атлантиду, этот отчаянный голубятник, лихой «сизяк». Забравшись на сеновал, чихая в душистой пыли, он рисовал перед товарищами планы:

— Воду выкачаю отсюда, дверцы поисправлю, жизнь там такую налажу — во! Малина! Ни директоров, ни латыни.

Трудно приходилось ему в каменном закуте гимназии. У него была голова горячая, как кавун на июльской бахче. С трудом постигал он премудрости науки. На крохотном родном хуторке в выселках двором была вся степь — конца-краю не видать. Он привык орать на верблюдов, и долго баламутила гимназическую чинную тишину его зычная глотка.

— Гавря, — вызывал его преподаватель.

— Га?!? — гаркал в ответ на весь класс Степка и получал выговор.

Неугомонный, бежал он «на войну», но был возвращен с первой станции. Снова бежал — и опять был пойман. Об этом он не любил вспоминать.

У него были забавные и необычайные понятия о жизни. Прежде чем правильно понять что-нибудь, он всегда сначала видел это «вверх ногами». Рассказывали, что он сначала даже читал книги «вверх ногами». Это произошло таким образом. К старшему брату Сергею приходила учительница. Сергей учился читать. Степка был еще мал тогда для науки, ему не давали букваря. Учительница, положив перед собой букварь, занималась с Сергеем, а Степка, забравшись с локтями на стол с другой стороны, внимательно слушал их уроки. Степка видел перевернутые буквы. Так он и запомнил. Так он научился читать. И читал он справа налево, держа книгу перевернутой. Насилу переучили его.

После посещения баржи георгиевских инвалидов Степка стал очень серьезным. Он где-то пропадал все время, таскал какие-то книжки. Часто заходил он к нам на кухню и беседовал с Аннушкиным солдатом... Сюда же заходил пленный австриец-чех Кардач. Они горячо спорили. Однажды после этого Степка сказал мне немного растерянно:

— Вот оказия! Опять, выходит, прежде это дело вверх тормашками плановал. Фу-ты ну-ты! А насчет Атлантиды — это я полный болван. Жизнь и тут можно наладить неплохо. Вот, понимаешь, задачка на все четыре действия.

Канун

На базаре голодные бабы в хлебном хвосте избili городского голову. Ночью тревожно выли собаки. Слабо трещали караульные трещотки в неумелых руках самоохранников.

С утра заседала городская дума. Волга дышала стылым и неуютным ветром. Ветер кидал па берег стружки волн. По улицам в пыльном вальсе кружились обрывки воззваний: «Граждане!.. Учредительное собрание...»

В четыре часа за Волгой, в Саратове, уронили что-то очень тяжелое. Шарахнулся ветер. Попробовали задребезжать окна,

...Баммм...

Еще раз, сдвоенно:

Ба-бм... баммм!..

Казалось, выбивают чудовищной скалкой невиданный многоверстный ковер. В Покровске люди останавливались и, задирая головы, смотрели в небо. В небе метались галки. Кучки любопытных зачернели на крышах, как это бывает обычно, если далеко пожар. Снизу кричали:

— Эй вы там... Як? Бачите?

— Бачим, — солидно отвечали с крыши, — як на картине. Ось бабахнуло.

— Кто кого?

— Та не разберешь. Кажись, юнкера.

С крыши гимназии было видно: над Саратовом возникали маленькие белые комочки дыма. Потом они сразу разбухали в темные рваные облака. Через полминуты, мягко глуша, ложился на крышу тяжкий удар. К ночи над Саратовом встало багровое зарево. В эту ночь в Покровске не зажигали огней. Ночь была лиловой и воспаленной.

Урок истории

В девять утра, как всегда, побежали по площади длиннопольные фигурки в серых шинелях. В ранцах урчали, перекатываясь, пеналы.

Тусклое утро село в классы. Заскрипела под невыспавшимся историком кафедра. Дежурный, заученно крестясь, отбарабанил молитву. Подавая журнал, дежурный, как требовалось, заявил:

— В классе нет Гаври Степана...

Историк не выспался. Он зевал и скреб подбородок.

— И вот император Юстиниан Великий и... вые-хе-хе... Федора... (Зевота одолевала его.) И Фе-ыаа-ха-ха-дора...

Очень скучно было слушать о древних, вымерших императорах, в то время как рядом, за Волгой, живые люди делали историю. Класс шумел. Алеференко, решившись, встал:

— Кирилл Михайлович, пожалуйста, объясните нам насчет вот того, что сейчас в России,

— Господа, — возмутился педагог, — во-первых, я вам не газета, это раз. А потом, вы слишком молоды, чтоб разбираться в политике. Да-с. Итак, Юсти..

— Ты-то больно стар! — пробурчали сзади. — Замашки прежние!

— Что-о? Встаньте и стойте.

— Не вставай, Колька! — заволиновался класс. — Подумаешь, Юстиниан Великий!

— Вон из класса!

Но тут с улицы вошел новый, мощный, густой, все покрывающий звук. Крылья ветра несли его. Это гудел костемольный завод. И сейчас же отозвался голосистый свисток в депо. Тонкими дискантами запели вразнобой лесопилки на Щуровой горе. Засвистела мельница. Консервный загудел далеким шмелем. А на Волге отчаянно и захватски закричал пароходик.

Утро пело.

В класс вбежал инспектор. Смятение, как муха, запуталось в его бороде. В классе никто не встал.

День, не записанный в кондуите

Харькуша, Аннушкин солдат, ораторствовал на берегу. Он стоял на мостках и размахивал здоровой рукой. Можно было подумать, что он дирижирует гудками. Мы протиснулись сквозь толпу.

К берегу быстро подходил пароход. Пароход назывался «Тамара». Он уверенно шлепал по воде плицами колес. Под носом у «Тамары» росли сивые пушистые усы пены. Красный флаг стремился оторваться от мачты. Пароход подходил. На палубе его стояли люди и пулеметы. У людей были усталые лица, но стояли они твердо, будто припаяны были к палубе.

К Покровску причаливала революция. На мостике ходил капитан с красной повязкой на рукаве. Рядом с ним с винтовкой через плечо, сбив блин фуражки на затылок, стоял Атлантида. Я узнал стоявших возле него знакомых рабочих с лесопилки.

— Елки-палки, Степка! — закричали гимназисты. — Атлантида! Вот ты где!

Аккуратный Петя Ячменный озабоченно покачал головой:

— Как же ты на занятиях не был?.. Попадет тебе.

— Попаде-от? — засмеялся Степка, перемахнув через перила и прыгая на пристань с причаливающего парохода. — Нет, шалишь! Гроб ему, кондуиту-то, теперь полный. Крышка!.. Будя!..

Пароход, бросив чалки, шипел и топтался у пристани. Капитан командовал в рупор. На палубе выстраивались люди с красными повязками.

— Наши, — с гордостью указал на них Атлантида,

— Большевики, — зашептали в толпе.

— Готово! — сказал капитан,

Конец кондуита

Весной, в конце последней четверти, мы жгли учебные дневники. Таков был древний гимназический обычай. Но на этот раз он приобретал совсем особый смысл, и мы все чувствовали это.

На дворе пылал огромный костер. Вокруг сгорающих единиц, пылающих выговоров и истлевающих отүченных дней мы скакали в диком индейском танце.

— Ура! — декламировали мы хором в триста глоток, — Уррра! Мы! жжем! последние! дневники старого режима! Больше уже не будет их! Конец дневникам! Крышка «безобедам», смерть кондуитам! Ура! Горят последние в истории гимназические дневники! Огонь пожирает страницы позора и зубрежки. Горят дневники старого режима!

Биндюг и Степка пробрались в пустую учительскую.

Шкаф с кондуитом был заперт. Белка щекотала хвостом нос пыльной Венеры. Громадный глаз-муляж из папье-маше изумленно уставился на гимназистов. Тогда Биндюг ногой проломил филенку.

Кондуит был извлечен.

— В огонь кондуит! — завопил Атлантида, появляясь на крыльце с толстым кондуитом в руках. — Поджарим, ребята, Цап-Царапову брехню!

Но всем захотелось потрогать «Голубиную книгу», прочесть в ней о себе, раскрыть ее тайны. На костре сожгли все кондуитные журналы прошлых лет. Последний же

конduit был прочтен у костра вслух, и немало потешались мы над его злыми страницами. Его решили сохранить «для истории». Хранителем кондуита был избран Степка. Искателю Атлантиды принадлежала добрая четверть скандальной чести всех конduitных записей.

Горели старые кондуиты. Корежились в огне их прочные переплеты... На крыльцо вышел старшекласник Форсунов, член городского Совета депутатов.

— Товарищи, — обратился он к гимназистам, — минутку тишины. Совет депутатов постановил убрать из гимназии старорежимников: Ромашова, Тараканиуса, Ухова и Монохордова. Нам дадут новых учителей. Мы выберем своих ребят в педагогический совет. Мы начнем учиться по-новому. Конduit кончился.

С торжествующими кличами, неся впереди разоблаченную и бессильную «Голубиную книгу», вопя и завывая, маршировали вокруг догорающего костра триста парней в маренго. Мы справляли неслыханную тризну по кондуиту.

Черные хрупкие страницы шевелились в золе.

БЛУЖДАЮЩИЕ

ОСТРОВА

Л

Крапива и поганки

В лето 1918 года мы провели в Каршандарской ривьере, на севере Швамбрании, и в деревне Квасниковке, в двенадцати километрах на юг от Покровска.

Все лето прошло в боях. Мы кровожадно колошматили крапиву и вытаптывали целые поселения поганок. При этом, конечно, пострадало много невинных сыроежек и безобидных одуванчиков. Лето было дождливое, и зелень одолевала нас. Но наконец нам удалось захватить в плен самого Мухомора-Поган-Пашу. Это был чудовищный гриб! Ножка его была величиной с кеглю, а красно-бурая шляпка, напшигованная белыми бугорками, выглядела словно щедрый ломоть какой-то огромной колбасы. Несомненно, это был грибной вождь.

С великими почестями несли мы домой Мухомора-Пашу. Мы шли под тенью гриба. Вдруг впереди из оврага поднялись на дорогу двое мужчин. Они пошли нам навстречу.

— Вот так зонтик! Черт те возьми! — сказал один.

Он был лопоух, и уши двигались, когда он говорил. На нем был зеленый френч в лохмотьях и обмотки. Колкие волосики торчали на небритом подбородке. И весь он похож был на крапиву. Я даже ощутил внутри какой-то зуд, когда он посмотрел на нас.

— У меня внутри зачесалось, — сознался потом и Оська.

В это время подошел другой, скаля гнилые зубы.

Это был бледный, тщедушный человек в парусиновой косоворотке и большой грибообразной шляпе. Трухлявую поганку напоминал он.

— Не дадите ли нам отведать сего лакомого яства, о юноши? — сказал человек-поганка.

— Не скупердьяйничай, братишка, — сказал крапивный человек, — нам шамать требуется. А теперь все общее, даже, между прочим, грибы. Правильно, братишки?

— А откуда вы знаете, что мы братишки? — удивился Оська.

— Мне все насквозь известно, — отвечал крапивный человек.

— Теперь все братья, — добавил человек-поганка и торжественно продолжал: — Молодые люди! Судя по мечам вашим, вы, я вижу, доблестные рыцари. О братья-разбойники, поддержите в тяжелую годину своих страждущих собратьев! Иначе я в муках голода съем ваш гриб из семейства ядовитых и скончаюсь на ваших глазах в ужасных конвульсиях.

— Очень просто! Я лично даже без конфузий, — сказал крапивный человек, — нам помереть ничего не стоит.

Он, к нашему ужасу, откусил кусочек мухомора и тотчас же стал кончаться у нас на глазах... Человек-поганка хотел рвать на себе волосы, однако у него это не вышло, ибо он был лыс. Мы были подавлены. Но в наступившей тишине мы вдруг услышали, что внутри мертвеца что-то громко, часто и мелко стучает.

— У него еще сердце ходит, — робко объявил Оська.

— Это дух в меня входит и выходит, братишки, — горестно сказал мертвец. — Погибаю я, бедный мальчик, через революцию с голоду... И за что я кровь свою лил?.. Зовите, братишки, вашу мамочку... Пусть спасет меня, сироту. Скажите ей — погибает человек и меняет часы на сало.

Человек-крапива принялся вынимать из карманов галфе часы, часики, будильники, хронометры, секундомеры... Мы зачарованно взирали на это богатство. Окрестности Квасниковки заполнились тиканием...

Комиссар проверил время

Через полчаса вызванные нами дачники и квасниковские бабы окружили приятелей. Крапивный человек вытаскивал из сумки и уже заводил часы-ходики и часы с

кукушкой, а человек-поганка с ловкостью факира тянул из живота шелковую материю. При этом он худел у всех на глазах. Затем он стал вынимать из вещевого мешка два чернильных прибора, ночные туфли, маленький аквариум (правда, без рыб), икону, щипцы для завивки, несколько граммофонных пластинок, собачий ошейник, крахмальную манишку, эмалированное судно и мышеловку. А шляпа его оказалась матерчатым абажуром для лампы.

— А машины швейной не будет? — спросила какая-то баба.

— Была, — ответил человек-поганка, — да под Тамбовом сменил.

Товарообмен шел бойко, а тем временем крапивный человек ораторствовал, как на митинге.

— Вот, дорогие дамочки, уважаемые бабочки и прочие, — заливался крапивный человек, — до чего нас довели эти товарищи большевики... А мы за них свою рабочую кровь и всю сукровицу до последней капли отдали, дорогие дамочки, уважаемые бабочки... Оба мы из города Питера.

— Комиссар катит! — закричал какой-то мальчишка. И ловкие приятели быстро упрятали все в мешки.

— Покажь документ, — сказал приехавший из города комиссар Чубарьков, вылезая из тарантаса. — Ну, буди агитировать!

— Свой, а треплешься, — спокойно отвечал крапивный человек.

— Я те покажу «свой»! — грозно сказал Чубарьков и опустил руку в карман. — Предъявь документ, спекулянт чертов! Мешочник...

Человек-поганка, трясаясь, вынул бумажку. На ней значилось: «Предъявитель сего помощник бухгалтера... и научный работник».

У крапивного человека документа совсем не оказалось, и он сам огорчился.

— А ну, — сказал товарищ Чубарьков, — складывай барахло и сыпь отсюда без оглядки, пока я вас не забрал... и точка. Наплодилось вас тут, словно поганок!..

— У нас ничего нет! — сказал человек-поганка. — Мы просто мирные пешеходы. Без всякой частной собственности. Можете обыскать.

— Некогда мне валандаться с вами! — сказал комис-

сар. — Скажи спасибо, ехать мне надо в Анисовку, поди, уже три часа.

«Ку-ку... Ку-ку... Ку-ку...» — пропела кукушка в сумке у крапивного человека.

Покорение Брешки

Покровск очень изменился в наше отсутствие. Базара не было. Знакомые буржуи подметали площадь. Среди них был хозяин костемолки. И мы зачеркнули в реестре несправедливости пункт второй. На том месте, где Земля закругляется, выстроили трибуну, а из окна большого дома на Брешке, где обычно раньше таял на гуляющих упитанный фокстерьер, глядел теперь, расставив лапы, пулемет. Над окном свисал красный флаг с двумя буквами: Ч и К.

В городе мы еще раз встретились с крапивным человеком. Он командовал погромом.

Погром начали дезертиры. Громили винно-гастрономический магазин, отобранный у богача Пустодумова. Толпа с утра окружила магазин и потребовала выдачи вина. Зеркальные витрины безмолвно отражали беснование толпы. Тогда крапивный человек железным прутом ударил по стеклу. Стекло отчетливо провизжало слово «зигзаг»...

Через час Брешка была пьяна. Бабы на коромыслах несли ведра портвейна. На Брешке стояли винные лужи. Вино текло по водосточным канавам. Люди ложились на землю и пили прямо из канавы. Гимназисты обнимались с солдатами. Предназначаемые для детского дома апельсины рассыпались по Брешке. В апельсинах рылись свиньи. Большая обвислая хавронья купалась в болоте из мадеры. На углу страдал пестрый боров. Его рвало шампанским.

Примчался на тарантасе, соскочив на ходу, Чубарьков.

— Именем революционного порядка, пожалуйста, прошу... — сказал комиссар.

— А раньше-то? — отвечали ему гимназисты.

Комиссар Чубарьков уговаривал, просил, требовал и предупреждал.

— Все общее! — кричала пьяная орава за крапивным человеком. — Кровь, сукровицу лили...



Знакомые буржуи подметали площадь.

И тогда в окне большого дома заляцал, забился пулемет... Он ударил над Брешкой, выпустил первую очередь поверх хмельных голов, и трусливую Брешку вымело.

Мы вспомнили с Оськой, как, играя на подоконнике в Швамбранию, мы расстреливали своим воображением Брешку. Но тогда Брешка была неуязвима.

Через полчаса красноармейцы вытащили из подвала магазина утопленника. Человек упал, должно быть, в подвал и захлебнулся в вине.

Чубарьков подошел к труп. Он взглянул и, узнав, покачал головой.

— Ку-ку, — сказал комиссар.

Единственная тайна Швамбрании

Степка Атлантида прислал мне еще в Квасниковку записку. «Здорово, Леха! — было написано в ней. — Первого приходи в гимназию. Будет открыта Един. Т. Ш. Ох, и лафа будет! С. Гавря».

Я долго расшифровывал это «Един. Т. Ш.», и вдруг меня осенило. Един. Т. Ш.! Ясно: Единственная Тайна Швамбрании — вот что это значило. Кто-то разоблачил тайну ракушечного грота, выпустил королеву и нашел записку... Степке теперь было известно про Швамбранию, и он собирался ее открыть для всех. Мы с Оськой были потрясены. Грубая действительность бесцеремонно вторглась в наш уютный мир.

Но дома мы нашли печати на дверцах грота нетронутыми. Внутри, в сумраке и паутине, отбывала срок королева — хранительница тайны. Откуда же Степка узнал о Швамбрании? Я решил поговорить с ним начистоту. Степка был сам не чужд фантазии и заработал свое прозвище постоянной мечтой об Атлантиде. Я подумал, что Швамбрания и Атлантида могли бы стать союзными государствами.

Степка встретил меня с ликованием. За лето он вырос и поважнел.

— Ходишь? — спросил Степка.

— Хожу, — отвечал я.

— Существоешь? — спросил Степка.

— Существую, — отвечал я и нерешительно спросил: — А откуда ты про... Е. Т. Ш. узнал?

— Подумаешь, откуда! — хмыкнул Степка. — Все ребята уже знают...

— Раззвонил! — с тоской сказал я. — Эх, ты, а еще друг, товарищ... Мне ведь Швамбрания лучше жизни нужна.

И, оправдываясь, я рассказал Степке всю правду о стране вулканического происхождения. Я звал атлантов стать союзниками швамбран.

Степка слушал с интересом. Потом вздохнул и погасил разгоревшиеся было глаза.

— Я про Атлантиду больше не мечтаю, — сказал Степка твердо. — На что она мне нужна теперь, Атлантида! Мне нынче и без нее некогда! Революция. Это при царском режиме всякие тайны были... А теперь и без секретов дела хватает. А Швамбранию — вы это толково выдумали, — признал Степка. — Только Е. Т. Ш. — это из другой губернии вовсе. Это вместо гимназии будет Е. Т. Ш. — единая трудовая школа, значит!

Точка, и ша!

Первого числа над гимназией взвился красный флаг. Мы собрались на дворе. Бодрый август сиял и звенел. Заведующий, Никита Павлович Камышов, вышел на крыльцо.

— Здравствуйте, голуби! — сказал Никита Павлович. — С обновкой вас. Вы теперь уже не гимназисты сизые, а ученики советской единой трудовой школы. Поздравляю вас.

— Спасибо! — ответили мы. — И вас также!

— А так как, — сказал Никита Павлович, — меня Совет назначил комиссаром народного здравоохранения, то с вами сейчас будет говорить новый, временный заведующий, он же военный комиссар, товарищ Чубарьков. Прошу любить и жаловать.

Чубарькова встретили без аплодисментов. Чубарьков сказал:

— Товарищи! Вы образованные, а я был, между прочим, темным грузчиком. Вас книжка учила, а меня —

несчастливая жизнь. И вот я хочу прояснить о школе, о том, что есть такая единая и трудовая. Первым делом — почему школа, товарищи? Потому что это есть школа, а не что-либо подобное. Школа для всеобщего народного образования. Точка. Отчего трудовая? Потому что она для всех трудящихся и обучает всяким трудам, умственным и физическим. Точка. А единая оттого, что не будет теперь всяких гимназий и прогимназий да институтов благородных дамочек. Все ребята равные теперь и по-одинаковому будут науку превосходить. А чтоб с этого была польза революции, именем революционного порядка прошу быть поаккуратнее, занятия соблюдать, и все будет у нас хорошо, как говорится: точка, и ша!

— А раньше-то? — закричали Биндюг и два-три старшеклассника. — Долой комиссара! Даешь Никиту Павловича!

— Именем революционного порядка, — сказал Чубарьков, — пожалуйста, прошу быть посознательней. Никита Павлович назначен Советом на должность. И точка. Это раньше здоровья желали только их благородию, а теперь всему народу здоровье будет. Должность серьезная. Тем более, от тифа сейчас нам большая угроза. И ша!

В школьный совет назначили товарища Чубарькова, учителя Александра Карлыча Бертелева, члена городского совдепа Форсунова, Степку Атлантиду и еще двух старшеклассников. Кое-кто из гимназистов тихонько свистел. Потом Чубарьков объявил, что ввиду полного равноправия женского элемента мы будем теперь учиться вместе с девочками. Точка, и ша!

Деликатная миссия

При слиянии мужской и женской гимназий классы так разбухли, что никак не уместились бы в прежних помещениях. Пришлось раздвоить классы на основные и параллельные, на «А» и «Б». Мы организовали специальную комиссию для выбора девочек в наш класс. Председателем выбрали меня, помощником — Степку. Полчаса мы опрашивались перед зеркалом в раздевалке. Все складки гимнастерки были убраны назад и заправлены за пояс. Кушаки нам затянул первый силач класса Биндюг. Груды выпира-

ли колесом. Но дышать было почти невозможно. Мы терпели. Потом Степка попросил кого-нибудь плюнуть ему на макушку. Желających плюнуть оказалось очень много. Но Степка позволил плюнуть только мне.

— Плювай пождиче, — сказал он, — только, чур, не харкать.

Я добросовестно плюнул. Степка пригладил вихры.

— Ох, вид у вас боевой! — сказал Биндюг, заботливо оглядывая нас. — Фасон шик-маре!.. Они в вас там по-влюбляются по гроб жизни. Вы только покрасивше выберите.

Захватив с собой в качестве почетного эскорта-караула еще пятерых, мы отправились в женскую гимназию. У девочек шли уроки. Тишины и мира был полон коридор. Из-за дверей классов ползли приглушенные реки и озера, тычинки и пестики, склонения и спряжения... В углу громоздились друг на друге старые парты, а рядом стояло новенькое пианино, конфискованное у какого-то буржуя.

— Захватим музыку, — предложил Степка.

В четвертом классе урок, как мы заранее узнали, был «пустой», так как не пришла учительница русского языка. Чтоб занять время, классная дама велела девочкам читать вслух, а сама, сидя на кафедре, вышивала платочек. Пухлая гимназистка с выражением читала:

Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?..

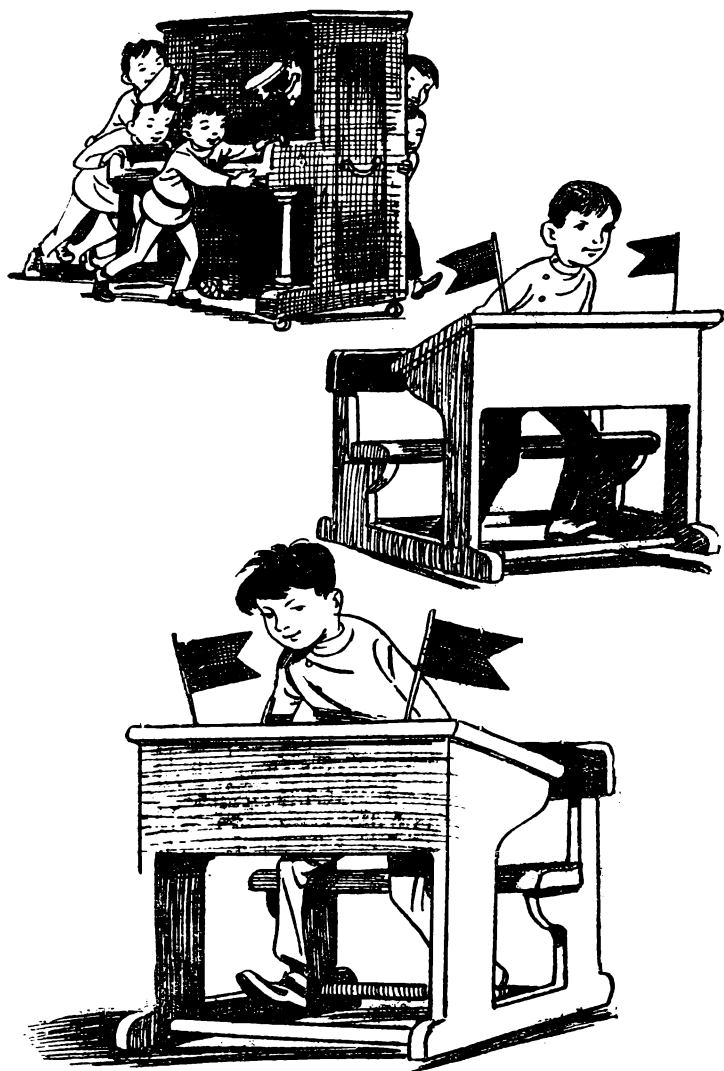
— Это мы, — раздался голос из коридора.

Двери класса распахнулись настежь, и в класс, победоносно грохоча, въехала невиданная процессия. Она превозпла все швамбранские вымыслы.

Впереди, как танки, ползли гуськом две парты. В отверстия для чернильниц были вставлены флаги. На партах прибыли мы со Степкой, а за нами в класс величественно въехало пианино. Пять человек катили его, подталкивая сзади. Ролики пианино верещали по-пороссячи. На пюпитре стоял список учеников нашего класса «А». На подсвечниках висели наши фуражки, а левая педаль была обута в лапоть, подобранный во дворе...

— Вот и приехали! — сказал Степка. — У вас ведь урок пустой?

Девочки растерянно молчали.



Впереди, как танки, ползли гуськом две парты.

— Что это такое?! — истерически взвизгнула классная дама.

Она так закричала, что в гулком пианино заняла и долго не могла успокоиться какая-то отзывчивая струна.

— Это мирная депутация, — сказал я и стоя сыграл на пианино вальс «На сопках Маньчжурии».

Дама хлопнула дверь. Девочки немного успокоились.

— Уважаемые равноправные девочки! — начал я. — Равноправные девочки! — повторил я и затем еще более горячо: — Я хочу вам сказать, что я хочу рассказать...

Девочки улыбались окончательно. Я осмелел и бойко объяснил девочкам, что мы теперь будем учиться вместе и будем как подруги и товарищи, как братья и сестры, как Минин и Пожарский, как «Кавказ и Меркурий», как Шапошников и Вальцев, как Глезер и Петцольд, как Римский и Корсаков...

— А как сидеть? — спросила высокая и строгая девочка. — Мальчишки отдельно или на одной парте с девочками? Если на одной, я не согласна.

— Мальчишки будут за косы дергать, — сказала басом толстая гимназистка, — или целоваться начнут.

Наша депутация изобразила бурное возмущение. Я с негодованием сыграл «Бурю на Волге», а Степка даже плюнул и сказал:

— Тьфу! Целоваться... Лучше уж жабу в рот!

— А в «гляделки» можно играть? — спросили хором самые маленькие ученицы с огромными бантами на макушках.

— «Гляделки»? — задумался я. — Как по-твоему, Степка?

— «Гляделки», я думаю, можно, — снисходительно сказал Степка.

Когда ряд других немаловажных деталей был выяснен и перемония окончена, мы принялись довольно бесцеремонно вербовать себе одноклассниц.

Девочки спешно прихорашивались.

Первой я записал Таю Опилову, обладательницу толстой золотой косы.

— Я сегодня не в лице, — сказала в нос Тая Опилова, — у бедя дасборг (у меня насморк)...

Записывая девочек, мы тут же в своем списке пометили: около фамилии строгой девочки — Бамбука, около двух

маленьких — Шпингалеты, рядом с толстой — Мадам Халупа. Затем были еще Соня-Персона, Фря, Оглобля, Букса, Люля-Пилюля, Нимурмура, Шлипса и Клякса.

А девочки, которых мы не выбрали, называли нас дураками.

— Ну, — сказал Степка, когда мы вышли, — теперь в классе придется без выражений, пока не привыкнут.

Во дворе встретила депутация нашего класса «Б». Произошло крупное объяснение по поводу того, что мы опередили их. Нам слегка испортили наш вид и настроение.

„Собачья полька“

В амбарном городке вымирают голуби. Ветер шуршит в пустых амбарах страшным словом «разруха».

— Свистит разруха сквозь оба уха, — говорит наш сторож Мокеич, горестно наблюдая за тем, что творится в школе.

А в школе происходят такие громкие дела, что лошади на улице пугливо косят глаза на нас или шарахаются на другую сторону улицы. Целый день гремит в школе «собачья полька»: одним пальцем — до! ре! ре!.. до! ре! ре!.. си! ре! ре! Пианино волокут по коридору. Его возят из класса в класс на свободные уроки.

Класс обращается в танцуюлку. Ученики открыто уходят с уроков. «Карапетик бедный, отчего ты бледный?.. Оттого я бледный, потому что бедный...»

Учитель после звонка ловит в коридоре учеников и умоляет их идти на урок.

— Вы же хорошо учились, — с отчаянием говорит добрый математик Александр Карлыч, поймав меня за рукав. — Идемте, я вам объясню преинтересную штуку относительно тригонометрических функций угла. Прямо удивитесь, до чего интересно. Чистая беллетристика.

Из вежливости я иду. Мы входим в пустой класс. До, ре, ре!... До, ре, ре! — слышится из соседнего. Александр Карлыч садится за кафедру. Я занимаю переднюю парту. Все чин чин, только учеников нет. Класс — это я.

— Пожалуйста к доске, — вызывает меня математик.

Рядом с доской я вижу расписание уроков на завтра.

Ого! Завтра трудный день! Пять уроков. Первый урок — пение, второй — рисование, третий — чай, четвертый — ручной труд, пятый — вольные движения.

— Ну-с, начнем, — обращается Александр Карлыч к пустому классу. — Дан угол альфа...

До! ре! ре!.. До! ре! ре!.. Си! ре! ре!..

„Внучки“ бесформенные

Мы выросли и торчали из своих гимназических шинелей, как деревья сквозь палисад. Пуговицы на груди под напором мужества отступали к самому краю борта. Хлястик, покинув талию, стягивал лопатки. Но мы стойко донашивали старую форму. На блеклых фуражках синела бабочкой тень удаленного герба.

Однажды товарищ Чубарьков привел в класс семерых новичков. Одеты они были пестро, не в форме, и держались кучкой за кожаной спиной Чубарькова. Но пояса у всех были одинаковы. На пряжках были буквы «В. Н. У.».

Комиссар сказал классу:

— Прошу потише. Затем здравствуйте. Точка. Следующий вопрос. Ввиду того что теперь школа единая, все должны учиться заодно — сообща. Будьте знакомы. Это вот из Высшего начального училища. Подружайтесь.

— Долой внучко́в! — закричали сзади. — Не будем учиться с внучка́ми! Мы средние, а они начальные!

Чубарьков обернулся в дверях.

— Кто вместе со всеми не желает, — сказал он, — тот может, пожалуйста, получить метрики самостоятельно! И ша! — сказал комиссар и ушел.

«Внучки» остались робеть у кафедр.

— Здравствуйте, буржуазия, — сказал смуглый «внушок» Костя Руденко, по уличному прозвищу Жук, знакомый нам по старым дракам на улице. — Здравствуйте, ребята и девочки, — вежливо сказал Костя Жук.

— А по по не по? — серьезно спросил Биндюг.

(— А по портрету не получишь? — перевели наши сзади.)

— А ра-то вы ме би? — спокойно сказал Костя Жук.

(— А раньше-то вы меня били? — растолковали нам «внучки».)

В классе уже начали отстегивать с рук часы, чтобы не повредить их в драке. Девочки принимали часы на хранение.

— Эх ты, внучок бесформенный! — сказал Биндюг, грозно подойдя к Косте Руденко. — Тоже туда же... Из начального в гимназию вперся! Да у вас даже пуговицы не серебряные, никакой формы... А тоже лезут...

— Вы — среднее учебное заведение, а мы — высшее, хоть и начальное, — хитрил Костя Жук. — Мы больше вашего учили... Вот скажи, где бывает полусумма оснований?

Биндюг сроду не встречал «полусуммы оснований».

— Чихал я на твои полусуммы оснований! — свирепел он. — Вот приложу тебе сейчас печать на удостоверение личности, так будешь знать...

Но он был смущен. Я видел, что многие из наших ребят торопливо рылись в учебниках. Я знал, «где бывает полусумма», и поднял руку, чтоб спасти честь класса.

Степка Атлантида крепко ударил мою ладонь и сбил ее вниз.

— Без тебя обойдутся, — тихо сказал Степка. — Так ему и надо, Биндюгу! Молодчага этот внучок. Уел наших... Присаживайся, ребята, на свободные вакансии, — громко сказал он «внучкам».

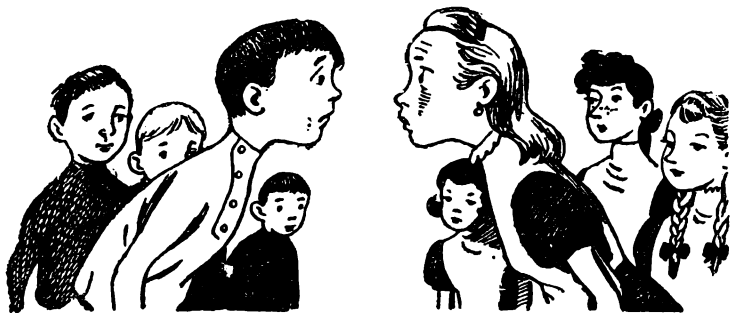
«Внучки» несмело рассаживались. Отчужденное молчание класса встретило их. Костя Жук подсел к Шпингалеткам (так прозвали у нас двух неразлучных маленьких учениц).

— Неподходящее знакомство! — сказали хором обе Шпингалетки.

Они тряхнули бантами и напыщенно отодвинулись.

Матч в „гладелки“

Девочки ввели в класс много новшеств. Главным из них были «гладелки». В эту увлекательную игру играл поголовно весь класс. Состояла она в том, что какая-нибудь пара начинала пристально глядеть друг другу в глаза. Если у игрока от напряжения глаза начинали слезиться и он отводил их, это засчитывалось ему как поражение.



У нас были лупоглазые чемпионы и чемпионши. Был организован даже турнир — чемпионат «гляделок». Весело и незаметно проходили уроки.

Матч на звание «зрителя-победителя» всего класса длился подряд два урока и часть большой перемены. Состязались Лиза-Скандализа и Володька Лабанда. Два с половиной часа они не сводили друг с друга невидящих глаз. В этот день даже на уроке физики учитель был поражен необычайной тишиной в классе. Не понимая, что происходит, физик объяснил устройство ватерпаса. Потом он на цыпочках ушел.

К концу большой перемены Володька Лабанда закрыл рукой воспаленные глаза. Он сдался. Лиза все глядела исподлобья, неподвижно. И девочки, торжествуя, приняли «всеобщее визжание, или детский крик на лужайке». А мы удрученно заткнули уши.

Но Лиза-Скандализа, странно наклонив голову, продолжала глядеть исподлобья в одну точку. Обе Шпингалетки заглянули в ее лицо и испуганно отскочили. И мы увидели, что глаза Лизы закачены под лоб. Лиза давно была в обмороке.

Учиться было некогда

Класс старался все-таки при девочках держаться пристойно. С парт и стен были соскоблены слишком выразительные изречения. Чтоб высморкаться пальцами, ребята деликатно уходили за доску. На уроках по классу реяли

учитывые записочки, секретки, конвертики: «Добрый день, Валя. Позвольте проводить вас до вашего угла по важному секрету. Если покажете эту записку Сережке, то я ему приляпаю, а с вашей стороны свинство. Коля. Извините за перечерки».

Каждый вечер устраивались «танцы до утра». На этих вечеринках мы строго следили, чтоб с нашими девочками не танцевали ребята из класса «Б». Нарушителей затаскивали в пустые и темные классы. После краткого, но страстного допроса виновника били. Друзья потерпевшего, разумеется, алкали мести, и вскоре эти ночные побоища в пустых классах приобрели такие размеры, что старшеклассники стали выставлять у дверей дежурных с винтовками. Винтовки остались от «самоохраны». Иногда дежурные для убедительности палили в черную пустоту. К выстрелам танцующие быстро привыкли.

Биндюг, участвовавший в погроме магазина, устроил в классной печке небольшой винный погребок. Не брезговала его угощением и Мадам Халупа. Это была толстенная, великовозрастная тетка. Ее побаивались не только девочки, но и ребята. Одного из обидчиков она всенародно выпорола его же ремнем на кафедре. Меня же Мадам Халупа однажды так грохнула головой о кафельный пол, что я лишь пять минут спустя ощутил себя снова живым, и то лишь наполовину.

Степка Атлантида ходил мрачный. Родители учеников встречали его и попрекали.

— Ну что? — говорили они. — Добились? Весело вам теперь учиться? Срам на весь город, больше ничего. Ведь это ж извините что такое, а не школа!

Степка пытался уговорить разыгравшихся хуторянских сынков. Его поддерживали «внучки» и кое-кто из приятелей.

Нас не слушали.

— Когда же учиться? — грустно спрашивали мы.

— Некогда нынче этим делом заниматься, — отвечал Биндюг, — не старый режим. Хватит!

— Дурак! — сказал Костя Жук. — Нынче нам только и учиться по-правдашному.

— Это вам, внучкам-большевицкам, образования не хватает, — сказал Биндюг, — а наш брат, старый гимназер, обойдется... Не учи ученого.

В Швамбрании в этот день тоже загорелся ученый спор между графом Уродоном Шателена и Джеком, Спутником Моряков. Началась война.

Шишка на ровном месте

На большой перемене нам раздавали сахар. Нас поили горячим чаем. Такой роскоши в старой гимназии мы не знали.

Теперь каждый получал большую кружку морковного настоя и два куса рафинада. В Покровске почти не было сахара. Я пил школьный чай несладким и нес драгоценные кусочки домой. Там ждал меня верный Оська. Он встречал меня неизменной фразой.

— Большие новости! — говорил он и тотчас сообщал мне о событиях, происшедших за день в Швамбрании.

Я отдавал ему сахар. Мы любовались зернистыми и ноздреватыми кубиками. Мы клали их в коробочку. Она вмещала в себя сахарный фонд Швамбрании. Фонд был неприкосновенен. Он предназначался для каких-то грядущих пиров. Лишь в воскресенье мы съедали по куску на обеде у президента Швамбранской республики. Фонд рос. Мы мечтали о толщине будущих сахарных напластований, об огромных сладких параллелепипедах, о рафинадных цитаделях. Приторная геометрия этих грез вызывала восторженное слюнотечение.

Но однажды сахар вызвал кровопролитие.

Я был выбран ответственным раздатчиком сахара по нашему классу. Это была не столько сладкая, сколько уважаемая всеми должность. В моей честности не сомневались.

— Ишь ты, — говорили мне, — комиссар продовольствия... Шишка на ровном месте.

А Биндюг, парень наглый и предприимчивый, предложил раз мне хитрую сделку. Дело касалось лишних порций, выданных классу на отсутствующих учеников. Биндюг предлагал не возвращать в канцелярию этот остающийся сахар, а оставить себе и делиться с ним. Эта заманчивая комбинация сулила, конечно, необыкновенный урожай швамбранского сахара. Будь это в старой гимназии,

я не только бы не сомневался — я бы считал долгом надуть начальство. Но теперь в совете сидели свои же ребята. Они доверяли мне, допустили к сахару, и я не мог их обманывать.

Я отказался, замирая от гордой честности. В тот же день Биндюг отплатил. Во время раздачи сахара несколько кусочков свалилось на пол. Я нагнулся под парту, чтоб поднять их. В это время Биндюг резко рванул меня за шиворот вниз. Я шибко ахнулся об угол скамейки. На лбу вспухла злоедающая шишка и протекла кровью. Два кусочка рафинада порозовели. Девочки сочувственно глядели мне в лоб и советовали примочить. Я продолжал раздачу, стараясь не закапать рафинад. Себе я взял два розовых кусочка. Тая Опилова дала мне свой платок. Окрыленный и окровавленный, я пошел в комнату рядом с учительской. На дверях был прибит красный лоскут. В комнате был дым, шум и винтовки.

— Товарищи, — сказал я в дым и шум, — вот, я пострадал через общественный сахар... и вообще, ребята, я давно уже на платформе... Будьте добры, запишите меня, пожалуйста, в сочувствующие.

Шум упал, а дым сгустился. И мне сказали:

— Да тебя за сочувствие папа в угол накажет... да еще клистир пропишет, чтоб не сочувствовал... Он у тебя доктор.

Дым скрыл мое огорчение.

Тем не менее я всю неделю ходил с шишкой на лбу. Я носил шишку, как орден.

Дыхание — 34

...И плакали о нем дети в школах.

«Шехерезада», 35-я ночь

В это утро я вышел в школу немного раньше, чем обычно. Надо было получить сахар в Отделе народного образования. На Брешке, у «потребилочки», где были расклеены на стене свежие газеты, стояла большая тихая толпа. Она заслонила мне середину газеты, и я видел лишь дряблую бумагу, бледный, словно защитного цвета,

шрифт, заголовок «Извѣстія» через «и с точкой» и слово «Совѣт», в котором еще заседала буква «ять».

«Бои продолжаются на всех фронтах», — прочел я сверху. Между головами людей я видел отрывки обычных телеграмм:

...на Урале мы продолжаем наступление, и нами занят ряд пунктов. На Каме наши войска отошли к пристани Елабуга. Американские войска высадились в Архангельске. В Архангельске рабочие отказываются поддерживать власть соглашателей... Борьба повстанцев на Украине продолжается.

В самом низу, под чьим-то локтем, я разглядел мелкий шрифт вчерашней газеты:

Продовольственный отдел Московского Совета Раб. и Красноармейских депутатов доводит до сведения населения г. Москвы, что завтра, 30 августа, хлеб по основным карточкам выдаваться не будет... По корешку дополнительной хлебной карточки и для детей от 2 до 12 лет по купону № 13 будет отпускаться $\frac{1}{4}$ фунта хлеба...

Необычайно молчаливо стояла толпа у газеты, и я не мог понять, что такое произошло. Вдруг, расталкивая народ, вперед быстро протиснулся пленный австрийский чех Кардач и с ним двое красногвардейцев. Кардач был бледен. Обмотка на одной ноге развязалась и волочилась по земле.

— Читай, — сказал он.

И кто-то, добросовестно окая, прочел:

30 августа 1918 года. 10 часов 40 минут вечера
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ.

Несколько часов тому назад совершенно злодейское покушение на товарища Ленина...

Спокойствие и организация. Все должны стойко оставаться на своих постах. Теснее ряды!

Председатель ВЦИК Я. Свердлов.

Кардач, ошеломленный, неверящими глазами смотрел в рот читавшему.

Потом он ударил себя кулаком в щеку и замычал:

— М-м-м...

— «Одна пуля, взойдя под левой лопаткой...» — сбиваясь, читал кто-то.

— Так, — спокойно сказал Биндюг и, оторвав уголок газеты, стал крутить собачью ножку.

Кардач кинулся на него. Он схватил Биндюга за плечи и стал трясти его.

— Я из тебя самого собачий нога закрутить буду! — кричал Кардач.

Красногвардейцы тоже двинулись на Биндюга. Он вырвался и ушел не оглядываясь.

Я побежал в школу.

Ленин ранен!.. Ленин! Самый главный человек, который взялся уничтожить все списки мировых несправедливостей, и он ранен!!!

...Школа гудела. На полу в классе лежали, опершись на локти, «внучки» и несколько наших ребят.

На полу был разложен анатомический атлас, взятый из учительской. Путаясь в нем карандашом, мы решали: опасно или как?..

Костя Жук сидел на парте, подперев щеку рукой. В другой он держал перочинный ножик.

— А вдруг если... помрет?.. — уныло спрашивал Костя.

И вырезал на парте: Л Е Н И Н.

Пришел сторож Мокеич, хранитель школьного имущества. Он строго поглядел на Костю и уже раскрыл рот, чтобы сделать ему выговор за порчу народного достояния. Но потом вздохнул, помолчал немного и ушел.

По лестнице бухали тяжелые шаги. У дверей с красным лоскутом старшекласники складывали винтовки.

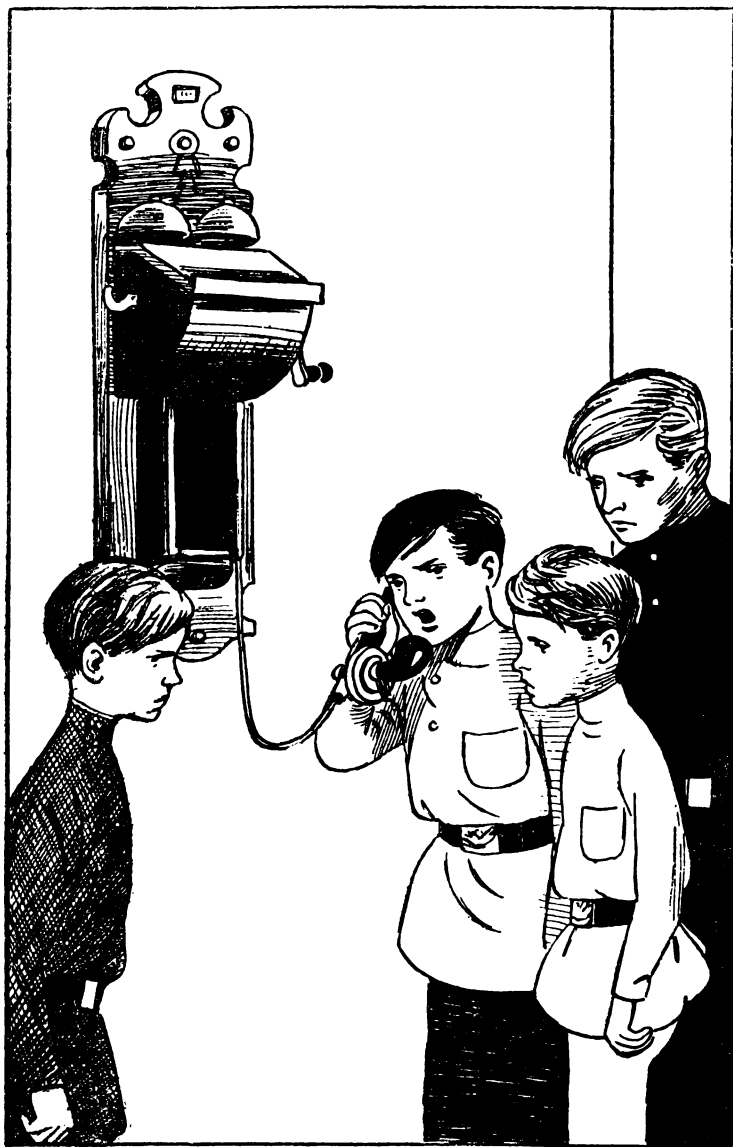
На большой перемене в класс пришли члены совета: Форсунов и Степка Атлантида.

Степка только что вернулся из Саратова и привез последние сообщения.

— «Состояние здоровья товарища Ленина... — прочел Форсунов, — состояние здоровья... по вечерним бюллетеням, значительно лучше. Температура 37,6. Пульс — 88. Дыхание — 34».

— Лелька, — сказал мне Атлантида. — Лелька, у нас к тебе просьба. У тебя папан — врач. Позвони ему по телефону, как он насчет товарища Ленина думает...

Через несколько минут я прижимал к уху трубку, еще



Через несколько минут я прижимал к уху трубку.

теплую от предыдущего разговора. Почтительная толпа окружала меня.

— Больница? — сказал я. — Доктора, пожалуйста... Папа? Это я. Папа, наши ребята и совет просят тебя спросить... о товарище Ленине. У него дыхание — тридцать четыре. Как ты считаешь? Опасно?..

И папа ответил обыкновенным докторским голосом.

— С полной уверенностью сказать сейчас еще нельзя, — сказал папа, — случай серьезный. Но пока нет поводов опасаться смертельного исхода.

— Скажи ему спасибо от нас, — шепнул мне Степка.

В этот день на уроке пения мы разучивали новую песню. Называлась она красиво и трудно: «Интернационал».

Дома Оська сказал мне, как обычно:

— Большие новости...

— Без тебя знаю, — поспешил оборвать его я, — всем уже известно. Папа сказал: может поправиться.

Это был первый вечер без игры в Швамбранию.

Права и обязанности новичка

А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.

Маяковский

Оську приняли в школу. Оська получил документы.

Временно заведующий первой ступенью маляр и живописец Кочерыгин написал на них такую резолюцию: «Хотя сильный недобор года рождения, но принять за умственные способности. Уже может читать мелкими буквами».

Мама пришла из школы и с сюрпризом в голосе позвала Оську.

— Приняли! — сказала гордая мама. — Только жаль, что теперь форму отменили.

— У нас сколько много теперь сахара будет! — мечтательно сказал Оська. — И мне будут выдавать.

Я же прочел Оське краткую лекцию на тему: «Новичок, его права и обязанности, или как не быть битым».

Надев мою старую фуражку, Оська пошел в школу. Фуражка свободно вращалась на голове.

— Зачем картуз такой напялил? — спросил Оську временно заведующий, заглядывая ему под фуражку.

— Для формы, — ответил Оська.

— Больно уж ты клоп, — покачал головой временно заведующий. — Куда тебе, такому мальку, учиться?

— А вы сами Федора великая... — сказал Оська, от обиды перепутав адрес моих наставлений, и вовремя замолк.

— Так нельзя говорить, — сказал Кочерыгин. — А еще докторов сын! Вот так благородное воспитание!

— Ой, простите, это я спутал нечаянно! — извинился Оська. — Я вовсе хотел сказать — маленький-удаленный.

— А правда можешь про себя мелкими буквами читать? — спросил с уважением заведующий.

— Могу, — сказал Оська, — а большие буквы даже через всю улицу могу и вслух, если на вывеске, и наизусть знаю...

— На вывеске! — умилился бывший живописец. — Ах ты, малек! Наизусть помнишь? Ну-ка, какие вывески на углу Хорольского и Брешки?

Оська на минуту задумался; потом он залпом откатал:

— «Магазин «Арарат», фрукты, вина, мастер пичных работ П. Батраев и трубная чистка, здесь вставать за нуждою строго воспрещается».

— Моя работа, — скромно сказал временно заведующий. — Я писал.

— Разборчивый почерк, — сказал вежливый Оська.

— А как теперь на бирже написано? — спросил временно заведующий.

— «Биржа» зачеркнуто, не считается. «Дом свободы», — ответил без запинки Оська.

— Правильно, — сказал временно заведующий. — Иди, малек, можешь учиться.

— Новенький, новенький! — закричал класс, увидев Оську.

— Чур, на стареньком! — поспешно сказал Оська, помня мои наставления.

Класс удивился. Оську не били.



Человек восемь взобрались на Сипягина.

Преподавателем гимнастики был у нас в школе борец Ричард Синягин, Стальная Маска, бывший грузчик. В саратовском цирке происходил в то время международный чемпионат французской борьбы. Ричард Синягин ездил в Саратов бороться, и арбитр Бенедетто называл его при публике «борец-инкогнито — Стальная Маска». Вскоре афиши оповестили всех, что назначена «решительная, бессрочная, без отдыха и перерыва, до результата» схватка Стальной Маски и Маски Смерти. Все это было, конечно, сплошное жульничество. Борцы добросовестно пыхтели условленные заранее сорок минут, и потом Стальная Маска старательно уложила себя на лопатки. Когда ладони зрителей вспухли и цирк стих, арбитр объявил, осторожно ломая руки:

— Увы!.. Маска Смерти победила в сорок пять минут, правильно... Под Стальной Маской боролся чемпион мира и города Покровска Ричард Синягин.

На другой день в школе Синягин весь урок оправдывался, что его положили неправильным приемом. Класс, однако, выразил ему порицание. Тогда, чтобы доказать свою силу, Синягин позволил желающим вскарабкаться на него. Человек восемь взобрались на Синягина. Они лазили по нему, как мартышки по баобабу. Потом Синягин поднял парту, на которой сидела Мадам Халупа с двумя подружками. Он поднял парту со всеми обитателями и поставил ее на соседнюю.

— Вот, — сказал он, — а вы говорите...

И урок кончился.

„Мир — это чемпионат“

Школа всегда уважала силачей. Теперь она стала их боготворить. «Гляделки» были позабыты, французская борьба целиком завладела школой. Она стискивала нас в «решительных и бессрочных», тузила, швыряла «суплеса-ми» и «тур-де-ганшами» по классам, по коридорам. Она протирала наши лопатки кафелями полов. И только лопатки Мартыненко-Биндюга ни разу не касались пола.

Биндюг был чемпионом классных чемпионов, непобедимым чемпионом всей школы и ее окрестностей.

Все это, конечно, не могло не отразиться на государственном порядке Швамбрании. Мир всегда был в наших головах рассечен на две доли. Сначала это были «подходящие и неподходящие знакомства». Затем мореходы и сухопутные, хорошие и плохие. После памятного разговора со Степкой Атлантидой стало ясно, что мерка «хороший» и «плохой» тоже устарела. И теперь мы увидели иное расслоение людей. Это было наше новое заблуждение. Мир и швамбраны были разделены на силачей и слабеньких. Отныне жизнь швамбран протекала в непрерывных чемпионатах, матчах и турнирах. И чемпионом Швамбрании стал некто Пафнутий Синекдоха, геройством своим затмивший даже Джека, Спутника Моряков, и уложивший на обе лопатки графа Уродонала Шателена.

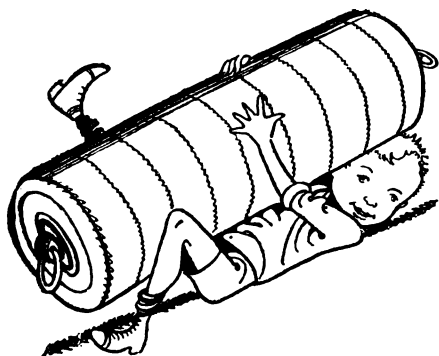
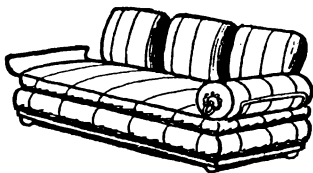
Оська совершенно помешался на французской борьбе. В классе своем он был самый крохотный. Его все клали, даже «одной левой». Но дома он возмещал издержки своей гордости. Он боролся со стульями, с подушками. Он разыгрывал на столе матчи между собственными руками. Руки долго мяли и тискали одна другую. И правая клала левую на все костяшки. Самым серьезным и постоянным против-

ником Оськи был валик-подушка с большого дивана. И часто в детской разыгрывались такие сцены.

Оська, распростерши руки, лежал на полу под подушкой, будто бы придавленный ею.

— Неправильно! — кричал Оська из-под подушки. — Он мне сделал двойной нельсон и подножку...

В реванше подушка



оказывалась побежденной, и ее наказывали во дворе палкой, выколачивая пыль.

Затем Оська свел Кольку Анфисова, чемпиона первой ступени, с Гришкой Федоровым. Гришка Федоров был вторым силачом нашего класса. Встреча состоялась в воскресенье у нас на дворе. Приготовления начались еще накануне. Мелом очертили «ковер». Круг подмели и посыпали песком. Когда воскресные зрители собрались и во дворе стало тесно, Оська вынул дудочку. Я провозгласил:

— Сейчас будет, то есть состоится, борьба между двумя силачами: Анфисовым (первая ступень) и Федоровым (вторая ступень). Борьба бессрочная, честная, без отдыха и волынки, решительная, до результата... Маэстро, туш!.. Оська, дудни еще раз! Запрещенные приемы известны. Жюри, значит — судьи, займите места у бочки.

Оська, Биндюг и дворник Филиппыч сели на скамейку у бочки. Я объявил матч открытым.

Чемпионы пожали друг другу руки и мягко отскочили. Анфисов был высок и костист. Маленький, коренастый Федоров походил на киргизскую лошадку. Несколько секунд они крадучись ходили один вокруг другого. Потом вдруг Анфисов крепко обхватил Федорова, зажав ему руки.

Зрители окостенели; даже ветер упал во дворе.

— Ослобони руки-то! — крикнул Филиппыч.

— Руки! — крикнули второстепенцы.

— Правильно! — сказали первостепенцы.

Я засвистел. Оська загудел. Жюри поссорилось. Анфисов под шумок уложил Федорова.

— Ура! — закричали первостепенцы. — Правильно!

— Ладонь еще проходит! — сказали наши. — Неправильно!

Но, как я ни старался, ладонь моя не могла протиснуться под прижатыми к земле лопатками нашего чемпиона. Клеймо позора прожгло нас насквозь. Федоров поднялся смущенный, отряхиваясь.

— Приляг еще разок, — насмешливо сказал Биндюг, — отдохни!

Будущее показалось нам сплошным кукишем.

Мальки ликовали. Тогда Биндюг ринулся на них. Он пшвырнул наземь их чемпиона и занялся потом избиванием младенцев. Он загнал мальков в угол двора и сложил их штабелем.

В это время в калитку вошел с улицы Степка Атлантида.

— Извиняюсь, в порядке ведения вопрос, — сказал Степка, — что тут за драка на повестке дня?

Я рассказал Степке, что произошло. Биндюг развалил штабель малышей в барахтающуюся пирамиду и подошел к нам.

— Такие здоровые бугаи, — сказал Степка, — а в борьбе играют. Нашли забаву в такой текущий момент!

— Бреешь, Степка, большая польза для развития, — возразил Биндюг. — Вот, потрогай мускулы... Здорово? То-то и оно-то! Который силач, ему плевать на всех. Вы вот с Лелькой к внукам почему подлипаете? Труссы потому что. Силенка слаба, так думаешь, своя компания заступится. Эх вы, фигуры! А мне ваша компания не требуется. Я сам управляюсь. Во кулак!

— Здоров кулак, а головой дурак, — сказал Степка. — Ну скажи, чего ты сам собой, в одиночку, добиться можешь? А мы тебя компанией, или, научно сказать, обществом, если вместе решим, так в два счета... Вот наша сила!

— Конечно, если все на одного, — сказал Биндюг. — Только это уж не по-честному.

— А когда работали все на одного, это по-честному было? — спросил Степка. — Сколько у твоего батьки пузатого на хуторе народу батрачило?

— А ты, что ль, не хуторянин? — огрызнулся Биндюг и почернел от внезапно прорвавшейся злобы.

— Ты не равняй, пожалуйста, — спокойно отвечал Степка. — У нас хуторишко был с гулькин нос, а у вас и сад, и палисад, и река, и берега — целая усадьба.

— Да ваши же товарищи там чертовы теперь коммуны развели, а нас выгнали...

— Выгнали... Не беспокойся, знаю... Хлеб в погребе схоронили. А я своего батьку заставил всю разверстку отдать. Эх, и въехало же мне от матери! Я у Коськи Жука ночевал... А после он у меня... Мы все один за одного стоим. Вот против таких, как ты вроде...

— Значит, против старого товарища пойдешь? — тихо спросил Биндюг.

— Был ты мне товарищ, — еще тите сказал Степка.

Молчание, похожее на тень, прошло по двору. Потом Биндюг шумно вздохнул и пошел к калитке. Он уходил сутулясь, и его лопатки, нетронутые лопатки чемпиона, выглядели так, словно только что коснулись поражения.

Э-мюз и троглодиты

На другой день класс решил урок алгебры посвятить разбору поединка Биндюга с Атлантидой. Биндюг угрюмо отнекивался. Но вместо ожидавшегося математика Александра Карлыча в класс вошел незнакомый старичок в чистеньком кителе. Он был хил, близорук и лыс. Вокруг лысины росли торчком бурые волосы, лысина его была подобна лагуне в коралловом атолле.

— Что это за плешь? — мрачно спросил Биндюг.

И класс загоготал.

— Э-мюз... Эта? — спросил старичок, тыкая пальцем в склоненную лысину. — Это моя. А что?

— Ничего... так, — сказал не ожидавший этого Биндюг.

— Может быть, теперь лысые... э-мюз... запрещены? — приставал старичок.

Класс с уважением смотрел на него.

— Нет, пожалуйста, на здоровье, — сказал Биндюг, не зная, как отделаться.

— Ну спасибо, — прошамкал старичок. — Давайте познакомимся. Э... э-мюз... Я ваш педагог истории, Семен Игнатьевич Кириков. Э-мюз... Добрый день, троглодиты!

Слово было новым и незнакомым, и мы растерялись, не зная, похвалил нас старичок или обидел. Тогда встал Степка Атлантида. Степка спросил Кирикова:

— Вопросы имеются: из какого гардероба вы выскочили — раз. И чем вы нас обозвали — два. Это насчет троглодитов.

Троглодиты затопали ногами и требовательно грохнули партами.

— Сядьте, вы, фигура! — сказал Кириков. — Троглодиты — это... э-э-эм... э... допотопные пещерные жители,

первобытные люди, наши, э-мюэ, пра-пра-пра-прародители, предки... ну-с, э-мюэ... А вы — молодые троглодиты.

— Это, выходит, я — троглодитиха? — грозно спросила Мадам Халупа.

— Ну, что вы! — учтиво зашамкал Кириков. — Вы уже целая мамонтша или бронтозавриха.

— Свой! — восторженно выдохнул класс.

Старичок оказался хитрым завоевателем. Класс был покорен им к концу первого урока. Даже требовательный Степка сперва признал, что «старикан — подходящий малый». Прозвище новому историку нашлось быстро. Его прозвали «Э-мюэ», что по-французски обозначало «е» немое. Кириков не говорил, а выжевывал слова, при этом мямлил и каждую фразу разбавлял бесконечными «э-э-э-мюэ»... Э-мюэ не обижался на троглодитов. Он был весел и добродушен. Девочки наши обстреливали Кирикова записочками.

Э-мюэ называл нас в одиночку фигурами.

— Фигура Алефференко! — говорил он, вызывая. — Воздвигнитесь!

Алефференко воздвигался над партой.

— Ну-с, фигура, — говорил Э-мюэ, — вспомним-ка, э-мюэ, пещерный житель... О чем мы беседовали прошлый раз?

— Мы беседовали о кирках и каменном веке, — отвечал троглодит Алефференко. — Очень скучное и доисторическое. Ни войны... ничего.

— Садитесь, фигура, — говорил Э-мюэ. — Сегодня будет еще скучнее.

И он нудной скороговоркой отбарабанивал следующую порцию доисторических сведений. Отбарабанив, он разом веселел, ставил у двери дозорного и оставшиеся пол-урока читал нам вслух журнал «Сатирикон» за 1912 год или рассказывал свои охотничьи похождения. И внимательная тишина была одной из почестей, воздаваемых Кирикову. Ликующая лысина его постепенно окружалась ореолом славы и легенд. Несмотря на свою близорукость, Э-мюэ разглядел распад класса на партии, и он сам стал делить нас на троглодитов (гимназистов) и человекообразных («внучков»). Это окончательно полонило души старых гимназистов.

Но иногда проглядывало, казалось мне, в этом до-

бродушном старичке что-то неуловимое, злое и знакомое. Оно вставало в конце некоторых его шуток, видимое, но непроеизносимое, как э-мюэ, как немое «е» во французском правописании,

Мамонты в Швамбрании

Примерно на четвертом своем уроке Э-мюэ обратился к нам с большой речью. В этот день он даже шамкал и мямлил меньше, чем обычно. Но от него пахло спиртом.

— Троглодиты и человекообразные! — сказал он. — Я хочу зажечь святой огонь истины в ваших пещерах... Я расскажу вам, почему меня заставляют рассказывать вам о троглодитах, а об императорах запрещают... Слушайте меня, первобытные братья, мамонты и бронтозаврихи... э-э-мюэ... История кончилась...

— Нет, нет! Не кончилась... звонка еще не было! — возразили из угла.

— Какая это там амеба из простейших так высказалась? — спросил Кириков. — Я же говорю не об уроке истории, а о... э-э-мюэ... об истории человечества... о прекрасной, воинственной, пышной истории... Круг истории замыкается. Большевики повернули Россию вспять... э-э-мюэ... к первобытному опрощению, к исходному мраку... Хаос, разруха... Керосина нет... Мы утратим огонь... Мы оголимся... мануфактуры нет... Наступает звериное опрощение, уважаемые троглодиты... Железные тропы поездов зарастут! Э-э-мюэ... догорит последняя спичка, и настанет первобытная ночь...

— Какая же ночь, когда электричество всюду проведут? — вскочил Степа-ка Атлантида,



— Брось! Правильно! — сказал Биндюг. — У нас на хуторе коммуна все поразоряла.

— Долой про первобытное! Даешь про рыцарей! — закричали из угла.

Класс затопал. Троглодиты скакали через парты.

— Станем же на четвереньки, милые мои троглодиты, — веселился Э-мюз, — и вознесем мохнатый вой извечной ночи, в которую мы впадем... Уы! У-у-у-ы-ы-ы!!!

— Уы-уы! — обрадовался новому развлечению класс.

Некоторые, войдя в роль, забегали на четвереньках по проходу. Остальные корчились от хохота. Кто-то запел:

Ды темной ночью
Ды я боюсь,
Троглодитка
Моя Маруся!
Эх, Маруся
Троглодитка!
Брось трепаться,
Проводи-ка...

Кириков шаманил на кафедре. Опять что-то знакомое прошло по его гримасничающей физиономии. Но я не мог уловить это скользкое «что-то». Меня самого захватило зловещее веселье класса. Хотелось полазить на четвереньках и немножко повыть. Отсутствие хвоста огорчало, но не портило впечатление. Я уже чувствовал, как гнется почва Швамбрании под шагом вступающих на нее мамонтов.

— Ребята! Ребята! Хватит! — закричал опомнившийся Гостя Жук. — Степка, скажи им, он им очки затер. Да Степка же!..

Но Степка исчез. «Неужели сбежал?» — испугался я. И мамонты, подняв хоботы, как вопросительные знаки, остановились в нерешительности на границе Швамбрании.

В класс вбежал председатель школьного совета Форсунов. За ним, как запоздавшая тень, явился Степка. Троглодиты мигом очутились в двадцатом веке. Мамонты бежали с материка Большого Зуба. Лысина Кирикова померкла.

— За такое агитирование можно и в Чека, — тихо сказал Форсунов.

— Буржуй плешивый, — сказал Степка, высовываясь из-за плеча Форсунова. — Саботажник!

— Э-мюз, — сказал Кириков, — я просто излагал вкратце идеи, э-э-мюз, анархизма. Голый человек на голой земле, никакой частной собственности.

— Поганка! — радостно закричал я неожиданно для самого себя. — Поганка! — уверенно повторил я.

В это мгновение я поймал в памяти крапивного человека, Квасниковку, часы, Мухомор-Поган-Пашу и частную собственность лысого мешочника. И «Э-мюз» — «е» немое стало «е» открытым.

Разоблачение состоялось. Кирикова убрали. Человекообразные приветствовали его изгнание. Но троглодиты во главе с Биндюгом не покорились. Они стали готовиться к расправе с «внучками». Троглодиты тайно назначили на завтра вселенский хай.

— У нас завтра утром будет варфоломеевская ночь, — шепотом сообщил я ночью Оське.

Оська, и наяву всегда путавший слова, спросонок говорит:

— Готтентотов убивать? Да?

— Не готтентотов, а гугенотов, — отвечаю я, — и не гугенотов, а внучков, и не убивать до смерти, а бить.

— Леля, — спрашивает вдруг сонный Оська, — а в Риме, в цирке, тоже троглодиты представляли?

— Не троглодиты, а гладиаторы, — говорю я. — Троглодиты — это...

Несколько заблудившихся мамонтов все-таки бродят еще по Швамбрании. Я рассказываю Оське, что они скрываются среди огромных доисторических папоротников.

— Папонты пасутся в маморотниках, — повторяет Оська во сне.

Вселенский хай

Вселенский хай изобрели уже давно. Это была высшая и чудовищная форма гимназических бунтов. Вселенский хай объявлялся прежде всего лишь в крайних случаях, когда все иные методы борьбы с начальством оказывались бесплодными. При мне в гимназии он еще ни разу не проводился. Лишь изустные гимназические легенды хранили

память о последнем вселенском хае. Он произошел в 1912 году, когда исключили из гимназии трех инициаторов расправы с директорским швейцаром. Швейцар фискалил на учеников; его расстреляли тухлыми яйцами.

Итак, троглодиты решили объявить Великий всеобщий вселенский хай. Командовал хаем Биндюг. Он пришел в класс немного озабоченный, но спокойный. Школа в это утро застыла в недобром благочинии. Никто не громыхал на пианино «собачьей польки», никто не боролся, никто не состязался в «гляделки». После звонка бурный всегда коридор сразу иссяк. По его непривычно безлюдному руслу прошли недоумевающие педагоги. Тишина встретила их в классе.

У нас первым уроком был русский язык. Кудрявый, русобородый учитель Мелковский с опаской заглянул в класс. Едва он показался в дверях, как троглодиты, блеснув старой выправкой, взвились, словно пружинные чертики из табакерки, и застыли над партами. Человекообразные и Степка даже запоздали. Меня тоже поднял с места общий рывок. Все стояли, чинно вытянувшись.

— Что вы?.. Садитесь, садитесь, — замахал рукой учитель, уже отвыкший от такого парада.

Класс медленно оседал. Учитель попробовал ногой кафедру — ничего, не взрывается — и неуверенно вошел на нее.

— Дежурный, молитву! — скомандовал Биндюг.

— Обалдел? — спросил Степка.

Класс угнетающе затих.

— Преблагий господи, ниспошли нам благодать духа твоего святого, дарствующего... — зачастил дежурный Володька Лабанда.

Кое-кто по привычке крестился.

— Я лучше, может, уйду? — пробормотал совершенно сбитый с толку учитель.

Но перед ним вырос дежурный с классным журналом в руках, и растерявшийся педагог услышал, словно в «добрые» гимназические времена, дежурную скороговорку.

— В классе отсутствуют... — читал Лабанда, — в классе отсутствуют: Гавря Степан, Руденко Константин, Макухин Николай... — И он прочел фамилии всех «внучков».

— Стой! Ты чего?! — вскочили «отсутствующие». — Какого черта! Мы здесь!

— Сейчас начнете отсутствовать, — нахально сказал Биндюг. — Троглодиты, считаю хай открытым! — И, засунув два пальца в рот, Биндюг засвистел так пронзительно, что у нас засвербело в ушах.

За стеной тотчас же отозвался свист нашего класса «Б». Затем по коридору раздались еще восемь свистков, и в школу ринулся грохот. Уроки были сорваны. «Внучков» волокли за ноги, выкидывали в дверь, швыряли через окна. Шелестя страницами, летели учебники, похожие на огромных бабочек. Девочки организовали «детский крик на лужайке». В классе шло чернилопролитие. По коридору, как икону, несли классную доску. «Всем, всем, всем! — было написано на доске. — Долой к черту человекообразных внучков! Да здравствует С. И. Кириков! Требуйте его возвращения!»

Через пять минут в школе не осталось ни одного человекообразного. Патрули троглодитов охраняли выходы. Парты встали на дыбы.

Начался Всеобщий Великий Вселенский Хай.

„Бои продолжаются на всех фронтах“

Комиссар привязал лошадь к дверной ручке вестибюля. Потом он подтянул сапоги и застучал каблуками по коридору. Коридор был пуст. Все ушли на экстренное собрание. Собрание происходило в большом классе, переделанном в зрительный зал. На сцене за столом глядел председателем и победителем Биндюг. По бокам его сидели Форсунов и старшеклассник Ротмеллер, сын богатого колбасника. Ротмеллер только что кончил говорить, Форсунов смотрел в стол.

Вход в зал охранял патруль троглодитов. «Внучки», избитые, запачканные и почти уже не человекообразные, осаждали дверь. Троглодиты расступились перед комиссаром. За его широкой спиной проскочил Степка Атлантида. Но троглодиты вытащили его обратно в коридор.

— Даю слово комиссару Чубарькову, — провозгласил Биндюг.

— Точка, и ша! — хором крикнул зал.

— Что это за хай? — спросил комиссар.

— Вселенский! — дружно отвечали ему.
— Пойдите же, ребята! — сказал комиссар.
— Мы не жеребята! — крикнул зал.
— Товарищи! — сказал комиссар.
— Мы тебе не товарищи! — издевался зал.
— Как же вас изволите величать? — рассердился комиссар.

— Тро-гло-диты! — хором отвечал зал.
— Как? Крокодилы? — сказал комиссар. — Ну, ша! Считаю, уже время кончить... И точка.

— А раньше-то?! — нагло и язвительно спросил зал.
— Что — раньше?! — закричал вдруг Чубарьков, и в голосе его громыхнуло железо. — Что раньше?! Глупая это присловка. Раньше-то вы перед директором пикнуть не смели, и точка. Стал бы он с вами разговоры разговаривать! Живо бы в кондуит, или сыпь на все четыре...

— И точка! — крикнули оттуда, где сидели самые заядлые троглодиты. — И ша! И хватит! Даешь Семена Игнатьевича!

Троглодиты бушевали. Но зычный бас грузчика-волгря Чубарькова, уже привыкшего к тому же говорить на митингах, нелегко было переорать.

— Удивляюсь, удивляюсь я на вас! — медленно и веско говорил комиссар, и в зале постепенно стихло. — Неужели вы в понятие войти не можете? Ведь вам новое ученье дают. Про одних царей что интересного учить? А в единой трудовой будут весь народ изучать. Откуда вышел, из чего получился и все развитие... А Кириков, который, между прочим, мешочник и спекулянт, чистую ерунду, брехню форменную вам порол. Какая же тьма, когда ученье — это свет? Только свет этот при старом режиме от народа хоронили, чтоб у рабочего да мужика очи не прозрели. А сколько теперь народу учиться пойдет — соображаете? Я вот, скажем, — и Чубарьков застыдился, — я, как только немножко управимся, тоже поеду в Питер учиться. Зачем же вы, товарищи... и эти... крокодилы, позволяете разным всяким вредным людям, которые есть гады, молодые глаза ваши от правды отводить и не даете другим хлопцам из этой самой первобытной тьмы вылазить на свет? Чем они до вас не вышли? Что, у ихних батек пузо меньше?

В этот момент произошло то, о чем долго ходили потом всякие легенды... В коридоре раздался оглушительный топот, шум и крики сторожа Мокеича: «Стой, куда те?..»

Патруль троглодитов у дверей вдруг раздался в стороны, и в класс галопом влетел на комиссаровой лошади Степка Атлантида. За ним, сметая остатки патруля, в залу вторглись «внучки».

— Тпррр! — сказал лукавый Степка. — Товарищ комиссар, она отвязалась, я ее еле уцепал.

Лошадь легонько заржала.

— Извиняюсь, — сказал комиссар, обращаясь, очевидно, к лошади, — сейчас кончаю, и точка. Я думаю так, ребята: пошумели, и тихо. Проголосуем формально, и ша!

Биндюг неспокойно шептался с Ротмеллером. Степка, не слезая с комиссарового коня, пылливо оглядывал лица троглодитов. Конь деликатно подбирал тонкие ноги, словно боясь отдавить кому-нибудь мозоль. За столом на сцене поднялся Биндюг. Прежней уверенности в нем уже не было. Степка опять стал героем дня.

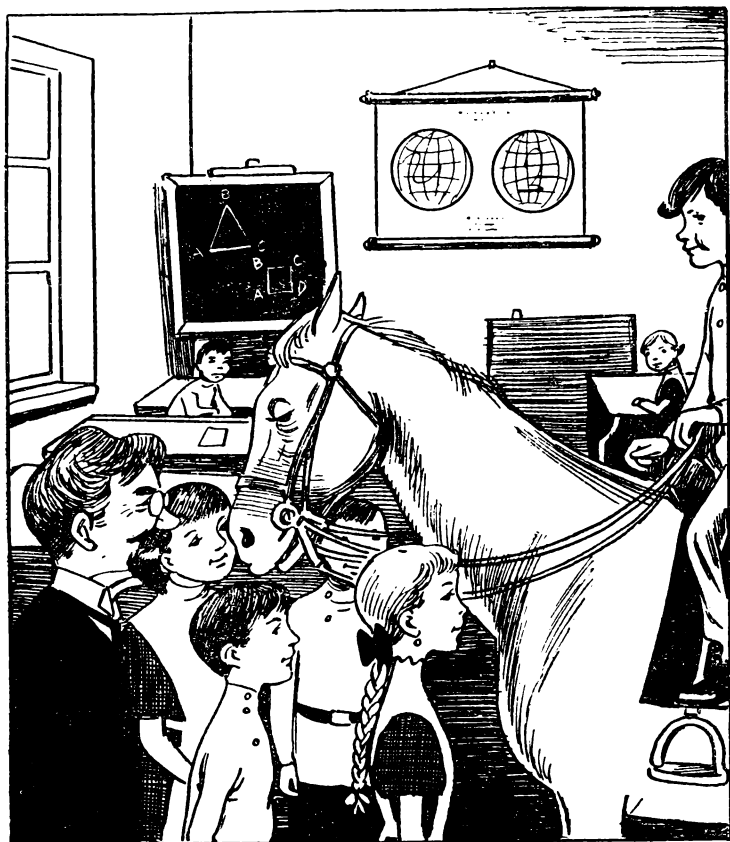
— Объехали вас на кобыле, как маленьких, — сказал Биндюг.

Зал принял это безучастно. К столу на сцене подошел, серьезный, как всегда, Александр Карлович Бертелев, математик.

— Друзья! — сказал Александр Карлович, теряя от волнения пенсне.

Несколько минут затем он сослепу яростно хлопал ладонью по столу, будто ловил кузнечика. Наконец Александр Карлович настиг пенсне, и мир снова приобрел для него отчетливость. Он продолжал:

— Друзья, я политики не касаюсь и к митингам вашим непривычен... Если я сейчас взял слово, то с чисто научной точки зрения. Дело в том, что Семен Игнатьевич, не в обиду ему будь сказано, по нашему недосмотру преподносил вам недопустимый вздор, несусветную чушь!.. Это просто болтовня и мракобесие, которое не выдерживает никакой критики и с чисто научной точки зрения. Революция в итоге ведет к прогрессу, она приобщает к науке огромные свежие пласты людей... А вы, друзья, хотите им помешать. Вы не имеете права! Как можно?! Это же преступление



с научной точки зрения! Многие товарищи... внуки, как вы их называете... наделены, например, недюжинными математическими способностями... Скажем, Руденко. Прекрасно усваивает! А вы, друзья, отравлены неискоренимым духом старой гимназии и привыкли считать уроки каким-то зазорным занятием. Стыдно! В заключение я позволю себе рассказать исторический анекдот. Некогда римский цезарь Калигула ввел на заседание сената своего коня и приказал всем сенаторам кланяться ему. Я бы, друзья, ни за что не поклонился этому надменному коню.

Но если сегодня присутствие на нашем собрании коня товарища Чубарькова способствует установлению в школе порядка и дружбы, то сегодня я от имени науки охотно склоняю голову перед нашим четвероногим гостем.

И Александр Карлович поклонился лошади. Конь испуганно попятился от оглушивших зал аплодисментов. Голосование принесло полное поражение Биндюгу и его троглодитам. Все поклялись, что с завтрашнего дня возьмутся как следует за учебу. Потом Степка сказал с лошади маленькую речь. Она посвящалась прозвищу выгнанного историка.

— Э-мюз, — говорил Степка, — это по-французски все равно что наш твердый знак. Пишется, а не читается... Так, пришей кобыле хвост! (При этом Степка перегнулся в седле назад и для наглядности покрутил хвост комиссаровой лошади.) А твердый знак теперь отменяется. Вот. Я имею предложение. И вам будет легче, и им польза. Написать во Францию письмо от нас рабочим иль ребятам ихним, чтоб они э-мюз выкинули.

Письмо французским ребятам с просьбой отменить э-мюз приняли с восторгом. Когда мы уже собрались расходиться, в дверь зала быстро вошла группа военных.

— Ага!.. Видите, военной силой нас хотел усмирить! — закричал Биндюг.

Зал окостенел.

— Спокойно, спокойно! — сказал один из вошедших. — Немножко сознательности! Товарищи! Близость фронта заставляет город перейти на военное положение. Помещение школы необходимо штабу четвертой армии. Товарищ Чубарьков! Распорядитесь очистить завтра.

Стало совсем тихо. И вдруг лошадь комиссара громко втянула в себя воздух и нежно заржала.

У подъезда ей ответили кони 4-й армии.

Школа кочует

Город стал большим лагерем. На кварталы наматывались бесконечные обозы. Они завязывались узлами на перекрестках. Их распутывали обросшие люди в шинелях. Они владели городом. Ординарцы скакали прямо по тро-

туарам, получая и сдавая пакеты через окна учреждений. Рыдали, удушенно запрокидывая голову, обозные верблюды. Тягучая слюна их падала на Брешку. Хрипели погонщики: «Тратр!.. Тратр!.. Чок!.. Чок!..» Над Волгой мгновенно вырастали водяные кипарисы взрывов. Потом они бессильно опадали. И на город вслед за тем рушился медлительный удар. На Волге упражнялись в метании ручных гранат.

Подняв хобот орудия, топтался на площади слоновобразный броневик. За живыми верблюдами бежали вприпрыжку железные страусы: кудые одноколки с высокими трубами — походные кухни. И нам с Оськой казалось, что на площади играют в наше любимое лото «Скачки в Камеруне»: там на картах тоже торопились слоны, верблюды и страусы... А тут еще у цейхгаузов люди ворочали груды бочек с черными цифрами на днищах. Толстый человек выкрикивал номера, другой смотрел в бумаги и ставил печать, как большую фишку. Иногда подъезжал взмыленный всадник.

— Квартира? — спрашивали его, как спрашивают всегда при игре в лото.

— Все заполнил! — отвечал квартирьер.

И проигравшие заползали спать под грузовики.

На школе уже висела доска со странной надписью: «Травточок». В переводе на русский язык это обозначало, говорят, что-то вроде: «Транспорт авточасти особой колонны». Впрочем, точно значения загадочного слова «Травточок» так никто и не знал. Автомобилей у Травточока было всегда два-три. Зато двор бывшей школы поражал обилием верблюдов. И покровчане не замедлили переименовать Травточок в Тратрчок. Известно, что в переводе с верблюжьего языка на лошадиный «тратрчок» звучало, как «тирруу» и «но».

Школа кочевала. Сначала нас перевели в здание епархиального училища. Через день вселили в небольшой дом с каланчой. Каланча выглядела, конечно, очень заманчиво и доступно. Она прямо сама просилась, чтобы мы использовали ее для какой-нибудь «шутки» — скажем, плюнуть с нее кому-нибудь на голову или поднять пожарную тревогу. Но нам было не до шуток. Иная, необыкновенная тревога проникла в тесные классы, и о ней шептались на задних партах. На другой день после вселенского хая Во-

лоська Лабанда остановил на улице Александра Карловича.

— Александр Карлович, — сказал Лабанда, потупившись и, как конь, ковыряя ногой землю, — Александр Карлович, вот вы сказали про способность... У Коськи, у Руденко... А я ведь тоже раньше задачки здорово решал. Помните, Александр Карлович? Вы говорили, у меня тоже способность...

— Помню, Лабанда, — сказал учитель. — Отлично помню. У вас безусловно есть математическая жилка. Только лодырь вы.

— Что значит лодырь? — обиделся Лабанда. — Просто почудить охота была, раз сказали, что теперь свобода. А только это с вашей стороны, я скажу, несправедливо: одних внуков хвалить. Они теперь вот зазнаются...

— Ага, зацепило! — сказал довольный Александр Карлович. — Вот вы возьмите и нагоните их. Только предупреждаю, трудновато вам будет: они у меня за квадратные уравнения взялись.

— Нагоним, — упрямо сказал Лабанда. — Убьются мне на этом месте, если не нагоним!

Алгебра на каланче

В тот же день в классе было решено, что «внучки» зазнались, что терпеть это дальше невозможно и что надо нагнать. Девочки обещали не отставать. Мы достали заброшенные учебники, и родители наши были потрясены, увидев нас сидящими над книжками и тетрадями. Отстали мы, как оказалось, весьма изрядно. Пришлось нагонять в школе после уроков и дома до поздней ночи. Голодный Александр Карлович, похудевший на своем скудном учительском пайке, самоотверженно отсиживал с нами лишние часы. Мы крали для него из цейхгауза хлеб и клали на кафедру. Александр Карлович гордо отказывался, но потом, увлекшись какой-нибудь задачей, начинал машинально выщипывать хлебную мякоть и печаянно съедал все...

Биндюг издевался над нами.

— Тоже свобода, нечего сказать! — говорил он. — Бы-

ли парни — гвоздь! А теперь зубрили-мученики. Вы еще отметочки попросите ставить. Тьфу!

Особенно изводил он Степку. Но Степка обращал на это, как он говорил, нуль внимания и фунт презрения и занимался с неутомимым усердием, так как заявил, что революционеры должны и в ученье лезть прямо на баррикады.

За две с половиной недели мы так сильно подогнали по алгебре, что попросили Александра Карловича вызвать кого-нибудь из нас к доске, и он вызвал Лабанду. «Внучки» удивились. Никогда еще класс не замирал в таком волнении. Только мел стучал о доску, выводя жирные белые цифры. Лабанда решал задачу о бассейне с двумя трубами. Все шло благополучно. Через одну трубу вода вливалась, через другую выливалась. Выяснилось, что при их совместном действии бассейн наполнился бы в шесть часов. Но тут вдруг произошла закупорка. Бассейн стал иссякать у всех на глазах. Лабанда оказался на мели. Он кусал ноготь.

— Вы рассуждайте, — сказал Александр Карлович.

— Я рассуждаю, — уныло отвечал Лабанда. — Если из четырех ведер вычесть две трубы...

— Рассуждайте сначала и вслух! — сказал Александр Карлович.

Мы видели ошибку. В самом начале Лабанда поставил в одном вычислении минус вместо плюса. Теперь этот минус всплыл и заткнул трубу. Мы видели ошибку, и нам до смерти хотелось подсказать Лабанде. Но неловко было обнаруживать при «внучках» его бессилие. Но тут мы услышали: кто-то стал все-таки шепотом подсказывать Лабанде. Мы оглянулись и увидели, что подсказывает Костя Руденко-Жук... И тогда класс, прославившийся некогда искусной подкачкой и наглым сдуванием, класс, который величайшим преступлением считал всякий отказ от незаконной подмоги, — этот класс бешено затопал ногами, чтобы заглушить подкачку, и закричал:

— Оставь, Руденко! Не подсказывай! Пусть сам.

Лабанда уверовал в свои силы. Он понатужился немного, поймал ошибку и раскупорил задачу. И чтобы оповестить об этом Покровск, мы подняли на каланче флаг. На флаге было намалевано: « $X = 18$ ведрам».

Мы радовались недолго. Через два дня Лабанда влетел в класс и объявил, что в нашем классе «Б», о котором мы было позабыли, так как он помещался теперь в другом доме, — в нашем классе «Б» проходят уже уравнения высших степеней с несколькими неизвестными. Это было невероятно.

— Вранье! — закричал класс.

— На! — сказал Степка и протянул Лабанде согнутый палец. — Разогни и не загибай.

— Убиться мне на этом месте! — сказал Лабанда крестясь.

Мы были сражены. Тогда Жук заявил, что сам он уже прошел эти уравнения и готов идти в класс «Б», чтоб решить любую задачу. Но Степка слышать не хотел об этом. Он заявил, что это не фунт изюма, если один только может решить, что опять это получится первый ученик, а надо сделать, чтобы весь класс мог решить. Тогда снова кинулись к учебникам. Мы собирались в школе по вечерам. Костя Жук подтягивал и натаскивал нас. Биндюг не являлся на эти занятия. Он уверял, что «голодное брюхо к ученью глухо», сейчас учиться не время и он без нас любую задачу решит. Когда все неизвестные были разоблачены, мы предложили нашему параллельному классу «Б» помериться с нами в алгебре. Ребята из «Б» приняли наш вызов. Решили устроить общую письменную по алгебре. Были составлены команды лучших алгебраистов. В команду класса «А» вошли среди других: Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, Володька Лабанда, Костя Жук. Зоя Бамбука и я. В последний день в нашу команду записался Биндюг. Мы приняли его с большой неохотой. Он божился, что не подкачает.

Ночь перед письменной

Накануне состязаний команда «А» собралась в школе для последней тренировки. Пришел усталый Александр Карлович и больше часа гонял нас по теории. Затем он

задал несколько каверзных задач. Мы долго потели над ними, но в конце концов решили и их. Александр Карлович был доволен «с чисто научной точки зрения». Потом он взглянул на часы и схватился за голову: было уже двенадцать часов, а по городу, объявленному на военном положении, разрешалось ходить лишь до одиннадцати.

— Ну, товарищи, — сказал Костя Жук, — значит, ночуем в собачьем ящике. Факт!

— Пройдем, — успокаивал Лабанда. — Если остановят, говори, что в аптеку идешь, и все.

Я шел со Степкой. Прожектор поливал тяжелое низкое небо. Где-то пели «Темной ночи да я боюсь...» На углу нас остановил патруль.

— Мы в аптеку идем, — сказал Степка, — вот это докторов сын. Пропустите.

— Ну? В аптеку? — обрадовался красноармеец. — Не за касторкой ли?

— Вот именно что за касторкой, — ответил Степка. — Понимаете, такое дело...

— Сейчас тебе пропишут, — сказал красноармеец. — Лапанин! Забери этих и препроводи.

Нас отвели в штаб. Там мы встретили других наших ночных искателей касторки.

Вскоре привели Александра Карловича. Он негодовал со всех точек зрения.

— Александр Карлович! — приветствовал его неунывающий Степка. — Добрый вечер!

— Теперь уже покойной ночи, — сердито сказал учитель. — Спасибо за компанию.

Потом ввели какого-то мрачного мешочника.

— Кто тут последний? — спросил деловито мешочник.

— Я, — сказал Александр Карлович. — А что?

— Я утром за вами буду! Запомните, — строго сказал мешочник, лег на пол и тотчас захрапел.

Качался махорочный дым, изгибаясь под лампочкой. Часовой внимательно разглядывал ранты сапог и легонько тыкал в них прикладом. Полная нелепицы, шла бессонная ночь, ночь перед письменной...

Через два часа нас освободил по телефону Чубарьков. Уже в дверях Александр Карлович что-то вспомнил и вернулся. С огромным трудом он разбудил мешочника.

— Извините, — сказал Александр Карлович, — но я

должен уйти... Так что вам уже придется быть за кем-нибудь другим.

На Брешке нам встретился патруль. Он вел в штаб команду класса «Б». Они тоже готовились к письменной.

— Что? — спросил их Степка. — За касторкой ходили?

— Нет, — отвечали те, — за йодом.

Не старый режим

— Участники, на место! — говорит торжественно главный судья Форсунов.

Невыспавшиеся алгебраисты рассаживаются за партами. Чтобы союзники не могли помогать друг другу, каждого из нас сажают с противником.

Наш Александр Карлович и математик класса «Б» волнуются. Они похожи на менажёров-секундантов, впервые выпустивших на ринг своих боксеров. Александр Карлович подходит к каждому и шепотом говорит:

— Главное — рассуждайте... И не спешите... Не путайте знаки при постановке. Если попадетсЯ с пропорциями, они безусловно сядут. Это их слабое место, я знаю... Но главное — рассуждайте.

Форсунов предлагает преподавателям занять места. Александр Карлович и учитель из класса «Б» садятся за большой стол. Там уже сидит сторож Мокеич и пустует стул, оставленный комиссару.

Наша алгебраическая чемпионша Зоя Бамбука выглядит еще строже, чем всегда. Неучаствующие девочки с озабоченными лицами оглядывают парты. Они подливают чернила, пробуют перья, чинят карандаши и желают нам «ни пуха ни пера». Потом они уходят в коридор, где стоят в дверях зрители, и обещают «быть тихо».

Мокеич вынимает большие кондукторские часы с буквами «Р.-У. ж. д.». Форсунов кладет их перед собой. По ним будут отмечать время, которое потратит каждый участник на решение задачи. Если обе команды решат задачу, то команда, у которой сумма времени всех участников окажется меньшей, выигрывает. Она получит премию: двойной паек сахара. Кроме того, первый окончивший задачу награждается званием лучшего математика.

— Ребята! — говорит Форсунов. — Надеюсь на вашу честность. Я при директоре сам первый сдирала был и предупреждаю: все равно при мне ни один черт не сдует. Ясно?

— Новое дело! — обижается Степка. — Своих, что ли, будем обманывать?

Мы все оскорблены в лучших чувствах. Действительно! Не царский режим, чтобы списывать!

— Приготовились! — взывает Форсунов. — Внимание!

Задача с путешественниками

— «Из двух городов выезжают по одному направлению два путешественника, первый позади второго. Проехав число дней, равное сумме чисел верст, проезжаемых ими в день, они съезжаются и узнают, что второй проехал пятьсот двадцать пять верст. Расстояние между городами — сто семьдесят пять верст. Сколько верст в день проезжает каждый?»

Время отмечено. Путешественники выехали, и все погружаются в задачу. Тишина легла на затылки и пригнула нас к парте. Идет письменная.

Но нет того знакомого удушливого страха, который путал мысли и цифры на старых гимназических экзаменах, когда хотелось руками, зубами зажать лихорадочно и безнадежно истекающее время. А впереди уже мерещился одновременно финишный и позорный столб, осиновый кол, просто «кол» — единица.

Нет! Идет письменная. И не страшно. Александр Карлович ободряюще подмигивает из-за стола. Мы помним, помним! Мы рассуждаем. Все очень просто. Два путешественника А и Б. А и Б сидели на трубе... (Не то, не то!) А догоняет Б. Надо догнать класс «Б».

Топоча и звеня шпорами, входит в класс Чубарьков. Александр Карлович негодуяше шикает и бешеными глазами указывает ему на ноги и потом на нас. Комиссар отстегивает шпоры и осторожно, на цыпочках, идет на свое место.

— Кто кого? — шепотом спрашивает он у Форсунова.

— Только начали! — еще тише говорит Форсунов.

Комиссар с уважением смотрит на нас. Проходят беззвучно пятнадцать минут. У меня все идет гладко — никаких дорожных аварий. Бамбука исписала два листа. У Степки бумага чиста. Костя Жук, привстав, бегло проверяет в последний раз уже готовое решение... Он первый!..

Но вдруг по проходу проносится Биндюг. Он бросает свое огромное тело к судейскому столу и победоносно держит над головой готовую работу. Форсунов недоверчиво берет лист. Результат правилен.

— Точка? — спрашивает комиссар.

— Ша!.. — отвечает Биндюг, и коридор восторженно аплодирует.

Биндюг опять победитель.

После звонка судьи проверяют работы и объявляют результат состязания. Из команды «А» решили задачу правильно восемь человек. Из команды «Б» — лишь семь. Мы победили. Мы не только нагнали, мы обогнали. А наш Биндюг — чемпион алгебры. Его качают, хотя он очень тяжел. Биндюг, болтая ногами, летит к потолку. Что-то вываливается из его кармана.

Бамбука наклоняется, подымает и кричит:

— А это что такое?

— Дура, — говорит Биндюг и хочет что-то вырвать у нее. — Дай, дура! Я же для вас старался. Ну, не хотите, черт с вами. Проигрывайте.

В руках у Бамбуки маленькая книжечка. На ней написано: «Ключ и подробные решения ко всем задачам задачника Шапошникова и Вальцева. Часть 2-я».

— Своих!?! — кричит Лабанда и бьет Биндюга в лицо.

Ответный удар швыряет Лабанду через парту.

Класс отворачивается.

Чубарьков и Мокеич с трудом сдерживают Биндюга. Форсунов объявляет, что класс «А» не перегнал, но догнал класс «Б». Славу и сахар делят пополам,

Красные безобедники

И вот школа ходит по городу. Мы переезжаем из дома в дом. Школа блуждает.

Мы волочим по улицам парты и шкафы, глобусы, клас-

сные доски. И навстречу нам двигаются санитары с носилками и катафалками. В катафалки впряжены зловещие дромадеры Тратрчока, транспортной части 4-й армии. На улицах пахнет карболкой. Тиф.

Комиссар Чубарьков совсем сбился с ног. Небритые щеки его так глубоко втянулись, что кажется, будто он обязательно должен прикусывать их. Он перемещает госпитали, уплотняет учреждения, перетаскивает с нами школьное имущество. Его видят на всех улицах сразу: на Пискуновой, на Кобзаревой, на Брешке...

— Ша! — раздается на Пискуновой, на Кобзаревой, на Брешке. — Крепись, и точка! Чуток еще перемаяемся! А там, хлопцы, заплашут лес и горы... Как это говорится: неважная картина — коза дерет Мартына. А вот наоборот: Мартын козу дерет. Факт!

Однажды он является во временно осевшую школу к концу уроков, охрипший, с запавшими воспаленными глазами и желтым налетом махорки на белых губах. От него пахнет карболкой.

— Товарищи! — силло и с трудом произносит комиссар. — Прошу вас принести небольшую пользу... Штаб меня на этот вопрос щупал, а я им: ша, говорю, моим хлопцам это ничего не стоит. Они у меня алгебру, как семечки, грызут. Всех неизвестных в известных определяют — и точка... Вот, значит, ребята... Кто хочет оказать пользу революции?

— Даеть! — кричат школьники.

— Смотря какую пользу, — говорит осторожный Биндюг и смотрит на часы.

Тогда комиссар объясняет, что надо спешно расклеить в казарме и на Брешке большие плакаты о сыпняке. Из Саратова еще не прислали, в штабе все вышли. Надо самим нарисовать. Надо написать крупными буквами и нарисовать большую вошь.

Комиссар принес толстый сверток серой оберточной бумаги и сухую краску.

В классе отчаянно холодно. Школа не топлена. На часах — пять. Давно пора по домам.

— Я бы и сам намалевал, — говорит Чубарьков, — да вот таланта у меня нет, и ша. А без таланта и вошь не накорябаеть. Вот у Зои, у Степана и у Лельки — у них получается. Видел я, видел раз, как они на доске

карикатуру с меня рисовали. Чистое сходство! Точка в точку.

— Дашь картину с натуры! — озорничает Степка. — Кто на память не помнит, Биндюг своих одолжит. У него сытые.

— Гавря, это неаппетитные шутки, — останавливает его брезгливый Александр Карлович. — Принимайтесь-ка лучше за дело. Это полезнее.

— Ребята, — кричит Степка, — объявляю экстренный урок рисования особого назначения!

— Поздно уже, — раздаются голоса сзади, — и холодно тут.

— Домой бы! — недовольствует кто-то в углу (где сидит Биндюг). — А то как в гимназии «без обеда» в классе посаженные...

— Ах, так? — Я вскакиваю на парту. — Ребята, — кричу я, — кто хочет на сегодня записаться в красные добровольцы-бездобедники — остаться рисовать на борьбу с тифом? А кто думает, что он в гимназии и что его в классе начальники оставляют, пусть катится! Ну?!

Очень холодно. Очень хочется есть. Шестой час. Биндюг берет книги и уходит. За ним, опустив глаза, стараясь не смотреть на нас, идут к дверям другие. Но их немного. Остался Лабанда, остался Костя Жук, осталась Зоя Бамбука. Остались все лучшие ребята и девочки.

Мы зажигаем коптилки с деревянным маслом. Комиссар растапливает железную колченогую печку-«буржуйку» и варит в консервной банке краску. На полу раскладывается бумага. Художество начинается. Кистей нет. Рисуем свернутыми в жгут бумажками. Детали выписываем прямо пальцами. Буквы наши не очень твердо стоят на ногах. В слове «сыпняк», например, у «я» все время расслабленно подгибается колено. Насекомые выходят удачнее. Но Степка затевает спор с Костей Жуком о количестве ножек и усиков.

— Эх ты, Жук! — корит Костю Степка. — Фамилия у тебя насекомая, а сколько ножек у ней, не знаешь.

Большинством голосов мы решаем ножек не жалеть. Чем больше, тем страшнее и убедительнее. И вот на наши плакаты выползают многоножки, сороконожки, стоножки. Мы ползаем по холодному полу, и утомившийся за день комиссар помогает нам. Он мешает краску, режет бумагу,

изобретает лозунги. У него нестерпимо болит голова. Слышно, как он приглушенно стонет минутами.

— Товарищ комиссар, вы бы домой пошли, — советуют ему ребята, — вы же вон как устали. Мы тут без вас все сделаем...

Комиссар не сдается и не уходит спать, как мы его ни гоним. Он даже подбадривает нас то и дело и восхищается нашими плакатами.

А в углу, за партой, мы — я и Степка — сочиняем стихотворный плакат. Мы долго мучаемся над нескладными словами. Потом все неожиданно становится на свое место, и плакат готов. Нам он очень нравится. Комиссар тоже должен оценить его. Гордясь своим творением, мы подносим его Чубарькову. Вот что написано на плакате:

При чистоте хорошей
Не бывает вошей.
Тиф разносит вша,
Точка, и ша!

Но комиссар уперся в плакат невидящими глазами. Он сидит на парте, странно раскачиваясь, и что-то бормочет.

— Чего ж они не встречаются?.. — беспокойно шепчет комиссар. — Пущай встренутся... И точка...

— Кто не встречается, товарищ Чубарьков? — спрашиваю я.

— Да они же, А и Б... путе...шественники...

Александр Карлович встревоженно наклоняется к нему. Гибельным тифозным жаром пышет комиссар.

Плохо дело

Комиссар при смерти. Об этом только и разговору у нас в классе.

А дома, когда я возвращаюсь из школы, Оська уже в передней говорит мне:

— Знаешь, Леля... А комиссара теперь самоваром лечат. Я слышал, папа по телефону в военкомат звонил и говорит: три дня, говорит, на конфорке его держу.

— Да брось ты, Оська! — не верю я. — Опять ты чего-то кувыркком понял. Не смешно уж...

Но Оська упорствует:

— Ну правда же, Леля! Его, наверно, как меня, помнишь, когда ложный круп был, горячим паром надыхивали.

Но тут возвращается из больницы папа. У него такие строгие глаза, что даже Оська, который обычно сейчас же карабкается на него, как на дерево, сегодня стоит в отдалении. Папа снимает пальто. В прихожей сразу начинает пахнуть больницей.

Потом папа идет умываться. Мы следуем за ним. Долго, как всегда, очень тщательно моет он мылом свои большие красивые докторские руки, чистит щеточкой коротко обретенные ногти. Потом папа принимается полоскать рот, при этом он закидывает далеко назад голову, и в горле у него кипит, как в самоваре.

Мы стоим рядом и следим за этой процедурой, так хорошо знакомой нам обоим. Стоим и молчим. Наконец я решаюсь:

— Папа, а что это Оська говорит, будто комиссара самоваром лечат.

— Каким самоваром? Болтаешь...

— Ты же сам, папа, по телефону говорил, — не сдается Оська, — что третий день держишь комиссара на конфорке.

Папа коротко и невесело усмехается:

— Дурындас! На камфаре мы его держим. Понятно? Инъекции делаем, уколы, каждые шесть часов. Сердце у него не справляется, — объясняет папа, повернувшись уже ко мне и вытирая вафельным полотенцем руки. — Температура, понимаешь, жарит все время за сорок. А организм истощен возмутительно. Абсолютно заездил себя работой человек. И питание с пятого на десятое. Ну вот, теперь и расхлебывай.

— Значит, плохо? — спрашиваю я.

— Что же хорошего! — сердито говорит папа и бросает полотенце на спинку кровати. — Одна надежда — организм богатырский. Будем поддерживать.

— Папа, а долго так?

— Тиф. Сыпняк. Трудно сказать. Ждем кризиса.

В классе теперь, едва я вхожу, меня окружают наши ребята и уже ждущие у дверей старшекласники.

— Ну как, кризис скоро?.. Что батяня твой говорит?

Но кризиса все нет и нет. А температура у комиссара с каждым днем все выше и выше. И сил с каждым часом все меньше и меньше. Неужели «точка, и ша», как сказал бы сам комиссар в таком случае...

Степка Атлантида и Костя Жук после школы сами бегают к больнице, чтобы наведаться там в приемном покое, как комиссар. Но что им там могут сказать? Температура около сорока одного, состояние бессознательное, бред...

Плохо дело.

Да — нет...

Ночью я слышу сквозь сон телефонный звонок. И почти тут же меня окончательно будит гулкий, настойчивый стук в парадную дверь. Потом я слышу знакомый голос Степки Гаври:

— Доктор, ей-богу, честное слово... Я же там сам был... Только меня прогнали... У него сердце вовсе уже встает. У него этот самый, сестра сказала, кризис.

Слышится негромкий басок папы:

— Тихо ты! Перебулгачишь весь дом! Мне уже звонили. Иду сейчас. Только, пожалуйста, без паники. Кризис. Резкое падение температуры... А ты, Леля, что?

Я стою, накинув одеяло, и лязгаю зубами от прохватывающего меня дрожкого озноба.

— Папа, я тоже с тобой.

— Совсем спятил?

— А Степка почему?

— И Степка твой если сунется — велю хожаткам его в три шеи... Вас, кажется, на консилиум не звали.

Папа быстро одевается и уходит, хлопнув парадной дверью. Обескураженный Степка остается у нас.

Долго идут холодные, медлительные и знобкие ночные часы. Просыпается Оська. Увидя, что на моей кровати сидит Степка, Оська тоже садится на своей постели. Два кулака — Степкин и мой, — показанные ему вовремя, заставляют Оську снова юркнуть под одеяло. Но я вижу, как блестит оттуда любопытный Оськин глаз. Оська не спит и слушает.

— Как считаешь, сдюжит или не сдюжит? — шепчет Степка.

И мы с ним долго говорим о нашем комиссаре. Хороший он все-таки! И в школе почти все ребята теперь уже за него. Потому что он сам справедливый и стоит за справедливость. Здорово он тогда скрутил наших троглодитов, и недаром Карлыч его уважает.

— Я знаю, он на фронт мечтает, — шепотом рассказывает мне Степка. — Уже просился, заявление писал, чтоб отпустили. А его обратно — отставить! Говорят, нужна советская власть и на местах! И все!

— Да, если уедет, паршиво опять будет.

— Ясно. Он хоть и свой, а насчет дисциплины — ой-ой-ой! Держись! Если уедет...

И вдруг мы оба замолкаем, сраженные одной и той же страшной мыслью: где тут «уедет или не уедет»!.. Ведь сейчас, вот в эти самые минуты, может быть, там, в больнице... где наш комиссар бьется со смертью... И старые стенные часы в столовой громко и зловеще шаркают на весь дом: «Да — нет... сдюжит — не сдюжит...» Будто ворожат, обрывая секунду за секундой, как обрывают, гадая, лепестки ромашки.

...Да — нет... сдюжит — не сдюжит...

Но тут щелкает ключ в английском дверном замке на парадном. Слышно, как папа снимает галоши. Мы со Степкой несемся в переднюю.

Страшно спросить. А в передней темно — хоть глаз выколи — и не видно папиного лица.

— Вы что это, не ложились? Вот народ полночный! — гудит в темноте папа, но голос у него не сердитый, а скорее торжествующий. — Ну ладно, ладно. Понимаю. В общем, думаю, справится! Сейчас спит ваш комиссар, как новорожденный. Чего и вам желаю. Марш, живо на боковую! Мне через два часа на обход.

Вот уж когда действительно «у-ра, у-ра! — закричали тут швабры все...»

„Гляделки на поправке“

Комиссар поправляется! Но он еще очень слаб. Только вчера его перевезли наконец на квартиру, в дом бывшего купца Старовойтова, и Степка Гавря ходил навещать его. Все в классе окружили Степку и слушают.

— Он говорит, — сообщает Степка, — что когда жар у него был, так все ему мерещилось насчет путешественников этих самых — А и Б... Из задачки. Помните, ребята? Он говорит, прямо всех там в больнице замучил: почему никак они не встренутся, путешественники. Всё едут и едут... Как съехались, говорит, так и пошел на поправку...

— Это он, наверно, все про нас думал, а у него так получалось из-за температуры, — солидно объясняет Зоя Бамбука.

— Ясно, — соглашается Степка. — Меня к нему только на десять минут пустили. Там сестра милосердная у него еще дежурит из больницы. Так он только и твердит все: как там у вас в школе? Да не безобразничаем ли мы? Да как Карлыч справляется? Да подтянулся ли Биндюг по алгебре?

Все смотрят на Биндюга. Он багровеет, пожимает своими толстыми плечами, хочет что-то, видно, сморозить, но, поглядев в глаза Степке, отворачивается.

— Да, — продолжает Степка, — давайте уж, ребята, пока что без глупистики. Ему сейчас волноваться — крышка. Вон спросите у Лельки, доктор так сказал. Верно ведь? Давайте уж пока без всяких этих несознательностей. А то в крайнем случае можно и по шее заработать, это я предупреждаю... Верно, Жук?

— В два счета, — откликается Костя Жук. — Мы что, люди или кто? Это надо уж последним быть, я считаю, чтоб сейчас ему здоровье повредить... Ты, Биндюг, это тоже учитывай.

— За собой поглядывай, — обижается Биндюг. — Сознательные!

И, оттолкнув плечом стоящего возле него Лабанду, он выходит. А Степка говорит мне:

— Книжку он просил какую-нибудь почитать. Я уж заходил к вам, да братишка без тебя не дает. Дашь? Я снесу...

— Я сам, — говорю я.

Что же выбрать мне для комиссара?

Пока я дома роюсь в книгах, Оська сообщает мне:

— А Степка просил вот эту... как ее... забыл, Кристо-мантию.

— Хрестоматию? — удивляюсь я.

— Да нет, — говорит Оська, морща лоб и губы. — Ну,

погоды, я сейчас вспомню. Ой, вспомнил! Конечно! Он говорил не Кристо́монта, а «Сакраменто». Вот, теперь я знаю!

Но нет такой книжки — «Сакраменто». Так ругаются приезжающие иногда в город колонисты-менониты. «Дон-нерветтер, сакраменто!» Это что-то вроде: «Чертовщина!» Какую же книжку просил для комиссара Степка?..

— Степка сказал, что он граф и есть такое ружье, — помогает мне догадываться Оська.

Понял! Все ясно: не Кристомонт, не Сакраменто, а Монте-Кристо! «Граф Монте-Кристо»... Но у меня нету такой книжки. И, верный своим швамбранским вкусам, я останавливаюсь на древнегреческих мифах и на «Робин-зоне Крузо».

Аккуратно завернув обе книжки в старую газету, я несу их комиссару.

Бедно живет комиссар. Голый стол застелен газетой. На ней из-под наброшенного ватника-стеганки торчит нос жестяного чайника. На потухшей печке-«буржуйке» одиноко стынет медный солдатский котелок. На бамбуковой этажерке — стопочка книг. На верхней написано: «Полит-грамота». Только кровать у комиссара роскошная. Такая широкая — хоть поперек ложись. Спинка-изголовье и передок фигурные, ковровые, расписные. Прямо сани пароконные, а не кровать. Должно быть, осталась от купца Старовойтова. На отставших шпалерах приколоты кнопками портреты Карла Маркса и Ленина. Стену над кроватью закрывает большой и смачно напечатанный плакат. На нем изображен красноармеец в шлеме-пишаке с пятиконечной звездой. Как я ни повернусь, откуда ни посмотрю — он пристально глядит с плаката прямо мне в глаза и как будто именно в меня упер указательный палец, грозно и требовательно вопрошая: «Ты записался в добровольцы?» Так и написано крупными буквами на этом неотступно настаивающем меня плакате.

А я и так чувствую себя не очень уверенно. Никто меня не встретил в сенях. Больничная сестра, видно, уже ушла, и мне пришлось несколько раз постучать в дверь, пока я не услышал тихий, почти незнакомый голос комиссара: «Заходите».

Комиссар непривычно острижен. Он так ужасно исхудал, что слишком широкий ему ворот бязевой рубашки

сползает с костлявого плеча. Комиссар улыбается мне слабой и какой-то виноватой улыбкой.

— Здоров! Вот... всё доктора ходили, а теперь уже докторята заявляются. Значит, ша. Похворал, и точка. Ну, как вы там, крокодилы?

Он принимается расспрашивать меня про школу. Потом я читаю ему вслух о подвигах Геракла. Я стараюсь читать с выражением и сам незаметно вхожу в раж, когда Геракл отхватывает одну башку за другой у девятиголовой Лернейской гидры. Я нарочно выбрал именно этот второй подвиг Геракла, потому что не раз слышал на митингах о лютой многоголовой гидре контрреволюции. И вот я читаю о том, как герой победил это яростное чудовище, истекшее черной ядовитой кровью...

Комиссар спит. Он, наверно, уже давно заснул. Мерно поднимается и опускает его исхудалая, но все же просторная грудь. А я сижу и не знаю, что же мне теперь надо делать. Уйти? Неловко. Так сидеть? Глупо как-то. Да и неизвестно, сколько все это будет продолжаться.

В комнате тихо. Слышится только дыхание комиссара. Да иногда чуть слышно щелкнет что-то в жести остывающего чайника на столе. И, не спуская сверлящих глаз, тыча в меня пальцем, уставился мне в лицо со стены красноармеец. И я тоже не в силах уже отвести от него глаз. Получается совсем как в «гляделках», когда мы играем у нас в классе. Один на один — кто кого пересмотрит? Но так яростно, так неотрывно вперился в меня своими беспощадными глазами красноармеец на плакате, что я, кажется, сейчас сморгну и проиграю...

— Попить, — тихо произносит комиссар, не раскрывая бледных век, глубоко закатившихся в темных глазных впадинах.

Я бросаюсь налить ему из чайника в кружку. Чай еще не совсем простыл. Комиссар пьет из моих рук, приоткрыв глаза, и смотрит на меня с благодарностью.

— Ты бы сам чайком пополоскался. Только у меня морковный. И сахар весь... А сахарин не велят. Говорят, отражается на почках после тифа.

Чтобы не обидеть комиссара, я наливаю себе мутноватый, отдающий чем-то жженым настой и пью его, несладкий, чуть теплый, безвкусный. И тут же у меня созревает план. Завтра я осуществлю его.

Подняв глаза над кружкой, из которой я цежу морковный чай, я осторожно перевожу взгляд на стену. Красноармеец смотрит на меня так же пристально и неотрывно, но теперь меня уже не смутить. Я знаю, что мне делать.

Чай да сахар

На другой день я опять навещаю комиссара. И в кармане у меня четыре куска рафинада! Мой школьный паек за сегодня и за день вперед.

Комиссар выглядит немножко лучше. Глаза у него повеселели. И, когда он улыбается, в них вспыхивает хорошо знакомый нам лихой и острый блеск. Впрочем, он тут же завлакивается какой-то дымкой и гаснет. Должно быть, комиссар еще очень слаб.

— Ты не сердчай на меня, что прошлый раз, как ты читал, я в храповицкую ударился, — извиняется он. — Слаб я еще. Голова мутная. А потом, уж больно ты фантастику загнул... А еще я потом поглядел книжку эту, которую ты мне оставил, про Робинзона. Ничего. Эта больше забирает. Но только мне ее сейчас читать не с руки. И так тошно, что один валяюсь. К людям охота... Тут время такое, что каждый человек на счету, а я, как Робинзон твой, на острове кисну... Тыфу, на самом деле! Ну ладно, ша! Точка. Подыматься пора. Я уж вчера ноги спускал. Ну-ка, докторенок, подсоби мне... Я попробую.

— Вам же еще рано. Папа сказал — надо вылежать.

— Отставить, что папа сказал! У них, у докторов, вся медицина на другой, деликатный, класс рассчитана. А мы знаем какой породы! Семижилные! Давай не разговаривай много.

Он спускает худые ноги, приподнимая каждую ладонями за колено, осторожно вправляет их в валенки, стоящие возле койки.

— Ну поддерживай, поддерживай с этого боку. А я этой рукой за кровать возьмусь. А ну... Раз, два, взяли... Давай по-грузчицки! А вот пойдет... Сейчас пойдет... Взяти!

Он приподнимается со страшным усилием, я подставляю ему под мышку свое плечо. Комиссар делает шаг и тяжело валится на меня. Я еле успеваю обхватить его и с

трудом дотягиваю до постели. Он лежит, тяжело дыша. Несчастный и непривычно жалкий.

— Нет мне больше ходу... Амба. И точка... Уйди. Чего глядишь? Уйди, говорю! Что смотришь, докторенок? Плох комиссар. Кончился... Врешь, докторенок! Я еще тебе по-шагаю.

Через всю его желтую заросшую скулу продирается медленная, крупная слеза. Мне делается страшно... Комиссар, веселый комиссар Чубарьков, размашистый, горластый, способный, если надо, переорать любую толпу, сейчас почти неслышно всхлипывает на постели.

А красноармеец со стены безжалостно тычет в меня своим пальцем и глаз с меня не сводит. Ну при чем тут я?..

Я стремительно бросаюсь к столу, наливаю из чайника, накрытого ватником, желтоватый настой в кружку и незаметно опускаю туда весь свой двухдневный паек рафинада. Трясущейся рукой принимает у меня кружку комиссар. Он уже немного пришел в себя, медленно отпивает, потом облизывает губы.

— Эх ты, сладь-то какая! Медовый навар. Это с чего?

Он подозрительно смотрит на меня. Потом заглядывает в кружку, где, должно быть, еще не совсем растаял мой сахар.

— Это ты меня балуешь? Недельный паек небось на меня стратил весь? Зря ты это. Себе бы кусочек оставил. А то опять чай пить безо всего будешь.

Я с готовностью наливаю из чайника себе полную кружку настоя, делаю глоток и — ничего не понимаю... Густой, как патока, сладчайший, приторный сироп липнет мне на губы. Потом, кажется, я начинаю догадываться.

— Товарищ комиссар, а до меня никто вас не навещал?

— Скажешь! — ухмыляется комиссар. — Да тут, поди, весь класс ваш перебивал: и Костя Жук, и Лабанда, и Зоя, и Степа, конечно, — все. Они и печку топили, и с чайником шуровали. Только сами не пили. А ты что не пьешь? Вот видишь, говорил я, что без сахару-то тебе никакого удовольствия не будет. Ну, раз не пьется, давай опять шагать учиться. Берись за меня. Я теперь вроде уж от твоего чая окреп. Берись, говорю! Ну?!

И комиссар, опершись на меня, снова учится ходить.

*Блуждания швамбран,
или Таинственный солдат*

Школа кочевала, и вместе с ней блуждала Швамбрания. Бурные события в жизни Покровска и нашей школы, разумеется, влияли на внутреннее и географическое положение материка Большого Зуба. В Швамбрании непрестанно шли беспорядки, потому что она меняла государственные порядки.

В Покровске выползла из подполья и стала официальной вошь. Сыпняк поставил на все красный крест. Оська настоял на введении в Швамбрании смертности. Я не мог возражать. Статистика правдоподобия требовала смертей. И в Швамбрании учредили кладбище. Потом мы взяли списки знакомых швамбран, царей, героев, чемпионов, злодеев и мореплавателей. Мы долго выбирали, кого же похоронить. Я пытался отделаться мелкими швамбранами, например бывшим Придворным Водовозом или Иностранных Дел Мастером. Но кровожадный Оська был неумолим. Он требовал огромных жертв правдоподобию.

— Что это за игра, где никто не умирает? — доказывал Оська. — Живут без конца!.. Пусть умрет кого жалко.

После продолжительных и тяжких сомнений в Швамбрании скончался Джек, Спутник Моряков. Ему наложил полные почки камней жестокий граф Уродонал Шателена. Умирая, Джек, Спутник Моряков, воскликнул над последней страницей словаря обиходных фраз:

— Же вез а... Я иду в... их гее нах!.. Ферма ля машина!.. Стоп ди машина!..

После этого он хотел приказать всем долго жить, но в словаре этого не оказалось. Его похоронили с музыкой. Вместо венков несли спасательные круги и на могиле поставили золотой якорь с визитной карточкой.

Несмотря на тяжелую утрату, беспрестанные изменения климата и политики, материк Большого Зуба простирался еще через все наши мысли и дела. За медными дверцами ракушечного грота в одиночестве и паутине хирела королева — хранительница тайны, Швамбрания продолжалась.

Однажды Оська прибежал из школы в полном смятении. На улице среди белого дня к нему подошел какой-то

солдат и спросил Оську, не знает ли он, как пройти в Швамбранию... Оська растерялся и убежал. Мы сейчас же отправились вдвоем искать таинственного солдата. Но его и след простыл. Оська высказал робкое предположение, что, может быть, это был настоящий заблудившийся швамбран. Я поднял Оську на смех. Я напомнил ему, что мы сами выдумали Швамбранию и ее жителей. Но все же я заметил, что Оська стал как будто тихонько верить в подлинное существование Швамбрании.

Швамбрания первой ступени

Вскоре это стало известно в Оськиной школе. И без того Оська с первого же дня приобрел популярность в своем классе. Одна из маленьких школьниц спросила на уроке, из чего и как получается сахар.

— Я знаю, — сказал Оська. — Сахар получается в школе.

Временно заведующий школой Кочерыгин заменял отсутствующего ботаника.

— Не по сути говоришь! — сказал он.

Оська добавил: сахар находят в керосине, который брызгается из-под земли.

Временно заведующий смутился. На другой день он пришел в класс и сообщил, что, по наведенным им справкам, в земле добывают сахарин... Только не из керосина, а из угля. К Оське Кочерыгин стал относиться с большим почтением.

Воспользовавшись этим, Оська нанес на большую классную карту контуры Швамбрании. Так как учитель естествознания и географии продолжал отсутствовать, то Кочерыгин в этот час вел «пустой урок». Палец временно заведующего заблудился в горах нового материка.

— Какое государство тут живет? — спросил временно заведующий, тыча пальцем в неведомую страну. — Ну-ка? Кто знает?

Класс не знал.

— Это Швамбрания, — сказал Оська, озорничая.

— Как говоришь? — переспросил временно заведующий.

— Швамбрания! — повторил Оська уже серьезно.

— А нешто есть такая? — нерешительно спросил временно заведующий.

— Есть, — отвечал Оська. — Позавчера-вчера один солдат даже уехал туда.

— А почему в книжке ее нет? — шумел класс.

— Она еще на глобусе ненарисованная, — сказал Оська, — потому что новая страна.

— А ну-ка, расскажи про нее все как есть, — сказал временно заведующий.

И Оська вышел к карте. Весь урок до конца он рассказывал о Швамбрании. Он подробно сообщил флору и фауну материка Большого Зуба, и класс затаив дыхание слушал о диких конь-яках, живущих в ущельях Северных Канделябров. Оська поведал о войнах с Пилигвинией, о свержении Бренабора, о путешествии покойного Джека, Спутника Моряков, о злодеяниях Уродонала Шателена. Временно заведующий остался доволен уроком швамбранской географии.

— Здорово знаешь, — сказал он. — Ну и памятливым у тебя чердак, удивление! И откеля ты все это вызубрил?.. Ну, садись. Ребята, — обратился он к классу, — чтоб к тому разу все это назубок и без запинки.

Оська вернулся из школы в необычайном сиянии.

— Швамбранию уже в школе учат, — сказал он гордо.

И я едва не сел на пол.

Но на другой день новый заведующий сам привел смущенного Оську домой. Он ласково вел его за руку и уговаривал отречься от швамбранской веры. А позади шли Оськины одноклассники и кричали: «Швабра! Швабра!..» Новый заведующий рассказал папе и маме о странных географических познаниях Оськи. Он просил повлиять на упрямого швамбранца. Оська хныкал и ссылался на таинственного солдата, который искал дорогу в Швамбранию.

И вот когда на той же неделе мы гуляли с Оськой на площади, к нам подошли два молодых крестьянина в обмотках и с маленькими сундучками на спине.

— Молодые люди, родные, уважаемые, где здесь... это... — начал один скороговоркой, и мы замерли в страшном предчувствии. — Где тут в штабармию пройти? В красные добровольцы записаться...

Так вот куда искал дорогу таинственный солдат!

Сыпной тиф качался по улицам в такт мерной походке санитаров и могильщиков. Тиф был громок в горячечном бреде и тих в похоронных процессиях. Катафалки тянули верблюды Тратрчока.

Школа переезжала.

Металась Швамбрания в поисках устойчивой истины, меняя правителей, климат и широты. И только дом наш неизменно стоял на своем причале на старой широте, на прежней долготе. Он заржавел, он врос в дно — уже не пароход, а тяжелая, занесенная баржа, ставшая островком. Бури не могли пока еще вторгнуться в него, так как мама боялась сквозняков и закрывала форточки.

Но, разумеется, кое-какие изменения произошли. Папа, например, носил френч, а не пиджак. Красный крестик на клапане кармана говорил о том, что отец — военный врач. Он работал в эвакупункте. Затем люди «неподходящего знакомства», знавшие всегда лишь черный ход квартиры, теперь все, словно сговорившись, являлись через парадный. Даже водовоз, которому как будто удобнее и ближе было идти через кухню, требовательно звонил с парадного хода. Он топал через квартиру, он следил и капал. И ведра его были полны достоинства.

Мы с Оськой приветствовали это разжалование парадного крыльца. Теперь между ним и кухней установился сквозняк непочтительности. И в нашей описи мирового неблагополучия был зачеркнут пункт первый (о «неподходящих знакомствах»).

Первыми после революции позвонили с парадного слесарь и плотник. Аннушка открыла им, прося обождать, и пришла сказать папе, что «какие-то просят товарища доктора».

— Кто такие? — спросила мама.

— Да так из себя мужчины, — отвечала Аннушка (всех пациентов она делила на господ, мужчин и мужиков).

Отец вышел в переднюю.

— Мы к вам, — сказали пришедшие, называя папу по имени и отчеству. — Просьба выслушать нас.

— На что жалуетесь? — спросил папа, приняв их за пациентов.

— На несознательность, — отвечали слесарь и плотник. — Больницу при Керенском закрыли чертовы хуторяне, а теперь убыток здоровья трудящим. Мы вот комиссары назначенные...

Папа никогда не мог простить Керенскому, что во время его краткого царения богатые «отцы города» из скупости закрыли общественную больницу. «Нэ треба!» — заявили они.

А вот явились большевистские комиссары и заявили, что Совдеп постановил срочно открыть больницу, и назначили отца заведующим.

Троетётие

Папа угостил комиссаров чаем. После их ухода он веселый ходил по квартире и напевал: «Маруся отравилась — в больницу повезут».

— Это, как хотите, настоящая власть! — говорил папа. — Есть культурные тенденции. А что ваше Учредительное собрание? Это наш волостной сход. «Нэ треба» во все-российском масштабе.

«Ваше Учредительное» — это было сказано специально в пику теткам. Дело в том, что на нас со всех концов России посыпались голодающие тетки. Одна приехала из Витебска, другая бежала из Самары. Самарская и витебская тетки были сестрами, обе носили пенсне на черном шнурке и очень походили друг на друга, только одна вместо «л» говорила почти «р», а другая, наоборот, «р» произносила совсем как «л». Папа шутя прозвал их «учледиркой», а мы — тетей Сэрой и тетей Нэсой.

Обе они были ужасно образованные и беспрерывно толковали о литературе и спорили о политике, и, если некоторые их сведения опровергал энциклопедический словарь, они говорили, что там опечатка.

Потом приехала из Питера третья тетка. Питерская тетка заявила, что она без пяти минут большевичка.

— А когда ты будешь ровно большевичка? — спросил Оська, живо вскинув голову к стенным часам.

Но прошли часы, недели, месяцы, а тетка не делалась большевичкой. Только она больше уже не говорила «без пяти минут». Она теперь уверяла, что «во многом она почти коммунистка».

Питерская тетка поступила служить в Тратрчок, а тетя Сэра и тетя Нэса — в Упродком. В свободное время они рассказывали «случаи из жизни», спорили и воспитывали нас. Тетки настояли, чтобы нас взяли из школы, ибо, по их мнению, советская школа только калечила интеллигентскую особь и ее восприимчивую личность (кажется, они так выражались). Они сами взялись обучать нас. Тетки считали себя знатоками детской психологии. Мы изнемогали от их наставлений. Они лезли в наши дела и игры. Разнюхав о Швамбрании, тетки пришли в восторг. Они заявили, что это необыкновенно-необыкновенно интересно и чудесно. Они просили посвятить их в тайны мира и обещали помочь нам. Швамбрании грозило тёточное иго.

Тогда швамбранские стратеги схитрили. Они завлекли теток в глубь швамбранской территории, а там в порядке посвящения мы раскрасили теток акварелью, заставили их ползать в пыли под кроватями, замуровали в пещеру с дикими зверями, то есть заперли в чулан с дикими крысами, и велели десять раз спеть гимн.

— «У-ра, ў-ра!—закричали тут швамбраны все»,—старательно пели в темноте усталые и раскрашенные тетки.— Ура... Ой, что-то мне лезет на юбку!.. У-ра, ў-ра! — и упали... Туба-риба-се!..

Но, когда мы потом объяснили им правила и приемы французской борьбы и велели им бороться на ковре без срока, отдыха, перерыва, решительно, до результата, несчастные тетки возмутились. Они назвали Швамбранию грубой игрой, глупой страной, недостойной воспитанных мальчиков. За это известный швамбранский поэт (не без влияния Лермонтова) написал в альбом тете Нэсе такое стихотворение:

Три тетушки живут у нас в квартире.
Как хорошо, что три, а не четыре...

Мир и личность

— Отец хотя у тебя интеллигент, но довольно сознательный, — сказал Степка Атлантида. — В общем, тоже на нашей платформе. Сам, видать, ты в доску сочувствую-

ций. Тетка эта тоже немного разбирается. Но те две у вас сильно отстающие.

Так сказал Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, покидая нашу квартиру после двухчасовой дискуссии о личности и обществе. «Учледирка» выражалась так учено, что даже питерская тетка то и дело бегала тихонько смотреть в энциклопедическом словаре непонятные «измы» и «субстанции»... Вообще по-теткиному выходило так: посередке — умная и свободная личность, а все остальные — вокруг нее. Как это личности кажется, то есть, значит, как она воображает, так все для нее и есть. И на остальное ей чихать!.. Степка же, наоборот, утверждал, что семеро одного не ждут, главное — это компания, то есть когда люди сообща. А личность можно и за манишку взять, если она будет очень из себя воображать. На это тетки сказали, что мы со Степкой грубые реалисты.

— Вот и неправда, — сказал я. — Мы вовсе были гимназисты, а не реалисты.

Тут тетки ехидно заметили, что реалисты — это не обязательно ученики реального училища. Реалисты — это те, кто думает, будто на свете есть только то, что все видят и щупают. Они называются еще материалистами и считают, что мир безусловно существует и распоряжается идеями и личностями. Тетки сказали, что это неверно. Они закричали, что мир не имеет права командовать свободными идеями и личностью, потому что, сказали они, возможно, что без идеи и мира-то никогда не было бы... Да, безусловно, существует только сама думающая личность, а все остальное ей, может быть, только представляется, как во сне...

— А мы — личность? — спросил Оська.

— Дря себя безусловно личность, — отвечала тетка Сэра.

Эта идея нам очень понравилась. Мы решили, что все это может пригодиться для Швамбрании.

Действительно, а вдруг мы в самом деле швамбраны, а Покровск, школа, дом, революция — все это нам только снится? Мы даже задохнулись от такого предположения.

Тетки сели на диван. Тетя Нэса стала читать вслух русскую историю.

— Валяги Люлик, Тлувол и Синеус, — читала тетя Нэса, — плышли плавить Лусью.

Мы с Оськой занялись швамбранской историей. Мы принялись петь, бросать на пол стулья и вообще гремели что есть силы. Тетки попросили быть тише. Они сказали, что это неуважение к личности.

— А нашей личности снится, что вас тут вовсе нет, — сказал Оська.

— Может быть, вы вообще нам только представились? — добавил я.

Тетки пожаловались маме. Мама явилась. Но мы отнеслись критически и к маминому существованию. Мама заплакала и пожаловалась папе.

— Это еще что за сопливый солипсизм? — грозно сказал папа. — Вот я сейчас тоже представлю себе, что вы на старости лет оба сели в угол.

Нам не дали обедать. Папа объяснил, что ведь суп — это только сон, и если мы с Оськой такие свободомыслящие личности, то нам ничего не стоит представить себе, что мы уже сыты, и сам папа будто бы уже видел во сне, как мы обедали и даже сказали «спасибо». Словом, нам пришлось допустить, что суп — это не идея, а действительность и что, кроме нашей личности, существуют еще миллионы других, без которых не обойтись.

Вокруг солнца

Личность была для нас выкинута из мировой серединки. Огромный кругооборот событий захватил нас в школе и на улице. Но центробежные силы ничего не могли поделать с нашим домом. Он непоколебимо оставался надежной осью всей жизни. Все остальное, казалось нам, вертится вокруг него большой опасной каруселью. Так продолжалось до того дня, когда во время приема в переднюю пришел коренастый человек. Он был обут в черные чесанки, вправленные в резиновые боты. При нем был портфель и кобура. И Аннушка сразу определила в нем комиссара.

— Граждане, извиняюсь, конечно, за неуместность, — сказал комиссар пациентам, — но меня пропустите без очереди. Я по делу.

— Тута все ожидающие по делу! — загалдела приемная. — Нечего с портфелями вперед соваться!

— Благородного строит, — сказала из угла толстая хуторянка.

На коленях ее шевелился мешок. Там покрякивала жертвенная утка.

В кабинете зажурчал умывальник. Потом дверь открылась. Вышел больной, застегивая ворот рубашки. Комиссар прошел в кабинет без очереди.

— Мое почтение, — сказал он. — Извиняюсь за неуместность, что не в черед. По революционному долгу, товарищ доктор... Я, извиняюсь, к вам как комендант города...

— Присаживайтесь, товарищ Усышко, — сказал папа, узнав в коменданте хорошо знакомого сапожника, что прежде обувал всю нашу семью и часто захаживал к нам за книжками, которые он брал читать у папы. — Что скажете хорошего, товарищ Усышко?

— Выбраться вам придется, товарищ доктор, — сказал комендант, — фактически съезжать с квартиры. Тратрчок расширяется. Недостаток местов. Извините за беспокойство, но придется в двухдневном порядке.

Папа подумал: «Вот... начинается... добрались». И папа сказал, поправив красный крестик на кармане:

— Товарищ Усышко, я буду протестовать... Я не позволю в двухдневный срок выкидывать меня бесцеремонно, как какого-нибудь буржуа. Мне кажется, что трудовая интеллигенция имеет право требовать к себе более чуткого внимания со стороны власти, с которой она работает в полном контакте...

— Ладно, денек накинута, — сказал комендант, — но больше уж никак. А насчет контакта и не успорю. И со своей стороны вам обстоятельную квартиру обнаружил... на Кобзаревой... бывшего Андрея Евграфовича дом, Пустодумова... Ничего квартирка... И перевозка, конечно, наша.

— Согласитесь, что я сначала должен посмотреть квартиру, — сказал папа.

— Смотрите на здоровье! — отвечал комендант. — За осмотр денег не берем... А шестого, значит, пришлю подводы... Ну, засим пока!..

И комендант собрался уходить. Но тут взгляд его упал на папины ботинки.

— Ну как? — спросил комендант. — Носите?

— Ношу! — сердито отвечал папа.



— Левый не жмет? — озабоченно спросил комендант. — Нет? Видите, я тогда говорил, это только сперва, а потом разносится.

— Я должен вам откровенно сказать, товарищ Усышко, — съязвил папа, — что это у вас выходило удачнее, чем, так сказать...

— С какой стороны смотреть, товарищ доктор! — засмеялся комендант. — Штилеты-то вы заказывали, а теперь кое-что, извиняюсь, не по вашей мерке делается. Может, где и жмет.

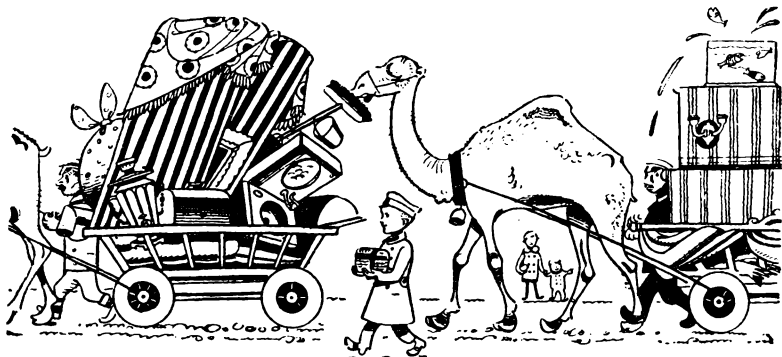
Весть о предстоящем переселении ошеломила и потрясла нас с Оськой. Мы увидели, что центр мира сместился. Историю заказывали не в нашей квартире.

Вероятно, в таком положении оказались современники Коперника. Они привыкли считать, что человек — соль Вселенной, а Земля — пуп мироздания, а оказалось, что Земля — крупинка среди тысячи подобных. Подчиняясь вездесущим силам, она ходит вокруг Солнца.

На новую географию

Невиданный караван шествовал по Брешке. Десять верблюдов Тратрочка везли наш скарб.

Были свернуты, подобно походным знаменам, гардины и портьеры. Сложенные кровати со сверкающими шишка-



ми гремели, как коллекция гетманских булав. Сияли доспехи самоваров. Большое трюмо лежало озером. В нем плескалась опрокинутая Брешка. Дрожало пружинное желе матрацев. На другой подводе скакали, топтались стреноженные венские стулья, похожие на жеребят. В белом чехле ехало стоя пианино. Сбоку оно напоминало хирурга в халате, прямо — рысака в попоне. Веселый возчик, правя одной рукой, просунул другую в разрез чехла. Он тыкал в клавиши и старался подобрать на ходу «Чижика».

Вещи выглядели непристойно. Даже вечно перпендикулярные умывальники и буфет лежали навзничь, вверх дверцами. Публика глазела на нас. Вся наша интимная домашность была обнародована. Было неловко и хотелось отречься. Папа с посторонним видом шел по тротуару. Но мама героически шагала в голове каравана. Она шла за передним возом, усталая и безрадостная, словно вдова за гробом. В руках ее был поминальный список вещей.

Осыка шел впереди всех с кошкой в руках. На переднем возу высоко вверх, как раджа на слоне, сидела Аннушка. Ее опаживал лист пальмы. Аннушка держала чучело филина. Далее следовал я. Я нес драгоценный грот с шахматной узницей. Швамбрания переезжала на новую географию.

Шествие замыкала колонна теток.

Новая квартира встретила нас холодно и гулко. Насмешливое эхо передразнивало наши голоса.

Возчики двигали тяжелые книжные шкафы. Папа раз-

вел в мензурке немного спирту и угостил возчиков. Возчики говорили промеж себя:

— Ай спирт! Враз берет...

— Да, это вот лекарство!.. Мозговая касторка. На ходу мозги прочистит.

— Капитон, заходи с того боку!.. Книг-то!.. Книг!.. Мать честная! И куды это столько?

— А ты думаешь, у человека в нутре ковыряться так себе, как в носу?.. Тут, брат, тыщу книг прочтешь, да и то обмишулишься: не в тою кишку заедешь!..

Тетки ходили за возчиками и следили, чтоб они чего не взяли, ибо теперешний народ, сказали тетки, чрезвычайно вольно обращается с чужой собственностью. В одной комнате висела изящная люстра с бахромой из стекляруса. Люстра осталась от Пустодумова. Тетки залюбовались ею.

— Что? Уж свою повесили? — спросил явившийся комендант. — Фасонная люстрочка! Петроградской работы небось?

Тетки замялись.

Я открыл уже рот, чтобы сообщить, откуда люстра, но тетка Нэса, как ширма, заслонила меня.

— Да, да, товалищ, — торопливо сказала тетка, — петлогладской лаботы люстла.

Когда комендант ушел, несколько смущенные тетки стали уверять меня, что они поступили вполне честно. Пустодумову, дескать, все равно бы люстру не вернули, а государство и без люстры обойдется.

Владычество вещей

Уже стихал резонанс комнат. Вещи задавили эхо. Мы нашли укромный уголок для грота королевы. Кроме того, этот же угол мог легко быть переоборудован в цирк, вокзал, тюрьму.

Швамбрания утверждалась.

Папа, стоя на стремянке с молотком в руках, вешал на стену портрет доктора Пирогова и картину академика Пастернака «Лев Толстой». Папа ораторствовал. Стремянка казалась ему трибуной.

— Сегодня я лишний раз убедился, — говорил папа, —

что мы — жалкие рабы вещей. Вся эта громоздкая рухлядь держит нас в своей власти. Она связывает нас по рукам и ногам. Я бы с наслаждением оставил половину всего этого на старой квартире!.. Дети! (Леля, вынь сейчас же гвоздь изо рта! Не знаешь элементарных правил гигиены!..) Я... говорю, дети, учитесь презирать вещи!..

Затем мы с Оськой пошли пристраивать на стене в столовой раскрашенное блюдо-барельеф. На блюде выпятился замок и гарцевали рыцари. Вдруг гвоздь вырвался из стены. Блюдо ударилось об пол. Рыцари погибли, а от замка остались одни развалины-руины.

Папа прибежал на дрызг. Он накричал на нас. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить бережно обращаться с вещами... Был произнесен целый скорбный список загубленных нами предметов: королева, трость, вечное перо и т. п. и т. д.

Мы вздыхали. Потом я напомнил папе, что он несколько минут назад сам учил нас презирать вещи. Папа совсем рассвирепел. Он сказал, что сначала надо научиться беречь вещи, потом их заработать, а после уж можно начать презирать их.



Вечером по комнате с убитым лицом бродила мама. Чтоб не терять мелких вещей и не тратить время на их поиски, мама записала на особом листке, что где лежит. Теперь она уж второй час искала эту самую бумажку...

Утеряны следующие документы

Во взбаламученном аквариуме медленно осаживался песок. Рыбки радужными колибри порхали в зелено-хрустальных водорослях. Рыбки вились у малахитового стекла и чувствовали себя дома.

Стены новой квартиры утратили ледяную чуждость. Комнаты обживались. Прежний уют был восстановлен на новом адресе. И папа, глядя на люстру, говорил за ужином:

— Революция... (Ося! Доешь морковку: в ней масса витаминов...) Революция, я говорю, полна жестокой справедливости... Действительно: кому по праву должна была принадлежать эта квартира? Толстосуму-купцу или врачу? Вообще я считаю, что пролетариат и интеллигенция могут найти взаимный подход.

— Боже мой! Кто из нас в душе не коммунист! — говорили тетки.

Через день у нас забрали пианино.

Тратрчок готовился к каким-то торжествам. Хор бойцов репетировал санитарную кантату. Хору было необходимо на одну неделю пианино. Мобилизовали наше.

Мама как раз не было дома, и она унесла в сумочке охранные грамоты на пианино, выданные ей Уотнаробразом как учительнице музыки. Папа произнес перед умыкателями пианино небольшую речь об интеллигенции и пролетариате, а также упомянул о взаимном контакте. Но это не помогло. Тогда папа сказал, что ему пианино не жалко, но дело в принципе и он дела так не оставит и, если надо, дойдет до Ленина. И папа сел писать письмо в редакцию центральных «Известий».

Пианино выносили, как покойника. Аннушка причитала, и тетки плакали соответственно.

Мама пришла, узнала, побледнела. Она села, заморгала. Она спросила очень быстро:

— Вынуть успели?

Тут папа с размаху сел на стул, а тетки окаменели. Оказалось, что мама привязала изнутри пианино к верхней крышке потайной сверток. Там были четыре куска заграничного мыла и пачка давно уже никудышных «николаевских» денег, бумажек... Тут окаменели мы с Оськой. Дело было в том, что неделю назад мы подсмотрели, как мама готовила этот сверток. Мы тогда поняли, что его запрячут в какое-нибудь надежное место. У нас тоже имелись вещи, не предназначенные для постороннего глаза, и мы незаметно сунули в сверток кое-какие швамбранские документы. Здесь были карты, тайные планы походов, манифесты Бренатора, гербы, письма героев, афиши Синекдохи и другие секретные манускрипты из швамбранской канцелярии. Теперь все это уехало в Тратрчок. Швамбрания была в опасности. Настройщик мог обнаружить нашу тайну.

Мама решительно встала, вытерла глаза и пошла в Тратрчок. Я вызвался сопровождать ее.

Мама была растрогана. Она не подозревала, что мы с ней идем выручать швамбранские документы.

Концерт в Тратрчоке

В Тратрчоке мама сказала, что ей нужно вынуть сверток с интимными письмами, который хранился в пианино. Длинноусый командир понимающе подмигнул. «Письмишки!» — сказал он и разрешил.

Пианино стояло в большом зале, испуганно забившись в угол. Кругом сидели на скамейках красноармейцы и грызли семечки. Двое, сидя на ящиках, старались подобрать в четыре руки «собачью польку». Увидя нас, они остановились. Мама подошла к пианино и ласковой октавой погладила клавиши. Инструмент заржал, как конь, узнавший хозяина. Красноармейцы с любопытством глядели на нас. Командир самолично вынул сверток и опять подмигнул маме: «Письмишки...»

— «Ура! ура! — закричали тут швамбраны все», — мурлыкал я, выходя из Тратрчока.

Когда мы уже были на середине площади, сзади раздался крик:

— Сто-ой! Мадам! Вертайся обратно!

Подбежал запыхавшийся командир. Мама задрожала, прижав сверток к груди. В Швамбрании тоже произошло землетрясение.

— Вертайтесь, гражданка! — сказал командир. — Ребята меня за грудки хватают. Нарочно, говорят, она пианину испортила, чтобы нам не досталась, разладила... Вынула, кричат, главную часть. Она сразу и играть перестала.

— Что за глупости, товарищ! — сказала мама. — Вероятно, просто вы не умеете играть.

— Как же, до вас играло, а как вынули чегой-то, так сразу ничего и не выходит, — говорил командир. — Нет, уж вы, пожалуйста, вертайтесь и снова положьте все на место.

Мы побрели назад в Тратрчок.

Красноармейцы встретили маму злым шумом. Они сгрудились вокруг пианино. Они напирали. Они кричали, что мама нарочно испортила народное достояние, что это саботаж, а за это — на мушку.

Командир успокаивал их.

— Сознательнее, сознательнее, ребята, — говорил он, но сам, видимо, тоже был очень взволнован.

Мама уверенно подошла к пианино. Красноармейцы затаили.

Мама взяла широкий аккорд. Но пианино не отозвалось с прежней звонкостью. Звук получился глухой, чуть слышный. Он пронесся и замер, как очень далекий гром.

Мама убито и растерянно взглянула на меня. Она ударила по клавишам что есть силы, но пианино опять ответило шепотом. Зато загремели красноармейцы.

— Испортила! — кричали они. — В Чека ее за такое дело... в Особый отдел!.. Ведь это что ж такое?..

— Мама, — сказал я, вдруг догадавшись, — модератор!..

Когда командир вытаскивал из пианино сверток, он нечаянно потянул модератор — заглушитель, — и тот опустился на струны. Мама рванула модератор, и пианино сразу загремело так громко, что всем показалось, будто из ушей вынули вату, которая там словно все время была.

У красноармейцев просветлели лица. Для проверки они попросили привесить сверточек обратно. Мы привесили.

Но пианино громче не заиграло. Тогда нам позволили взять сверток. Потом смущенные парни попросили маму сыграть что-нибудь такое, этакое...

— Я, товарищи, польки не играю, — строго сказала мама, — это вы уж сына попросите.

Красноармейцы попросили, и я влез на ящик. Меня окружали белозубые улыбки. Так как с высокого ящика достать педали я не мог, то нажимать педаль вызвался один из красноармейцев.

Он старательно наступил на педаль и не отпускал ее уже до конца. А я гулко играл что есть силы подряд все марши, танцы и частушки, которые я только знал. Кое-кто уже начал пристукивать каблуками, и вдруг один молодой красноармеец сорвался с места. Он развел руками, словно объятия раскрыл, и осторожно ударил ногой, будто пробую пол. Потом он подбоченился — и пошел-пошел по раздававшемуся разом кругу, закинув голову и притопывая. Высоким голосом он запел:

Что за стыд, что за срам,
Что за безобразия,
Поналезла нынче к нам
Всяка буржуазия.

Командир резко остановил его. Он сказал маме вежливо и просительно:

— Мадам, то есть теперь гражданка! От бойцов и от себя лично прошу... исполните персонально что-нибудь более сознательное... скажем, из какой-нибудь оперы увертюровку...

Мама села на ящик. Она вытерла клавиши платком. Мой специалист по педалям опять с готовностью предложил свою помощь и ногу. Но мама сказала, что как-нибудь сама обойдется.

Мама играла увертюру из клавира оперы «Князь Игорь». Серьезно и хорошо играла мама.

Тихие красноармейцы окружили пианино. Навалившись друг на друга, они внимательно смотрели на мамины пальцы. Потом мама медленно и бережно отняла от клавишей руки... За подымающимися ее кистями, как паутинка, потянулся, затихая, финальный аккорд.

Все откинулись вместе с маминими руками, но несколь-

ко секунд еще молчали, как бы вслушиваясь в угасание последних нот... И только после отчаянно захлопали.

Они аплодировали вытянутыми руками, поднося свои хлопки близко к маминому лицу. Они хотели, чтобы мама не только слышала, а и видела их аплодисменты.

— Яркое вырожденный талант, — сказал маме, вздыхая, командир. — Выше не может быть никакой критики.

Мы были уже на середине площади, а с крыльца Тратр-чока все доносились аплодисменты. Мама скромно прислушивалась к ним.

— Удивительно, как облагораживает людей искусство! — говорила потом мама теткам.

— Таких рудей не обрагородишь, — отвечала тетка Сэра. — Если бы обрагородишься, роярь бы вернури.

Через месяц, когда пианино давно уже стояло на месте (оно было возвращено стараниями вставшего с тифозной койки Чубарькова), в «Известиях», в отделе «Ответы читателю», было написано:

Врачу из Покровска

*Пианино конфисковано законно, как у лица,
для которого оно служит орудием производства.*

Папа торжествовал. Он показал газету всем знакомым. Он вырезал это место и хранил вырезку в бумажнике, а Степка Атлантида сказал по этому поводу:

— Это о вашей пианине в «Известиях» напечатано... Ну-ну-ну, на всю Ресефесере размузыканили! Эх вы, частная собственность!

Комиссар и дамки

Секретный сверток был положен теперь в маленький ящик маминого письменного стола, а стол попал в комнату одного из квартирантов. Нас уплотнили. У нас мобилизовали три комнаты, одну за другой. В первую поселили выздоровевшего Чубарькова. Я очень обрадовался ему. Комиссар тоже.

— Вот мы теперь с тобой и туземцы будем, — сказал комиссар, снимая пояс с кобурой и кладя его на стол. — Дашь книжку почитать?

— А то! — сказал я, рассматривая наган. — Заряженный?

— А то! — отвечал комиссар. — Не трожь.

Тетки глянули в дверь. Они критически осмотрели широко покачивающиеся плечи комиссара, его вздернутый нос и ушли, прошептав: «Распоясался, солдафон!»

Комиссар подмигнул нам в сторону отбывших теток:

— Не ко двору, видно, показался.

— Они всегда против, — утешил его я.

— А зато мы — за вас, — сказал Оська.

— Точка! Раз такие за меня, не пропаду, — ласково усмехнулся комиссар.

Он подхватил одной рукой Оську и посадил его к себе на колено, обтянутое синим сукном тугих, узких галифе.

— А в шашки кто играет? — спросил он неожиданно.

— Ну, в шашки это что! — отвечал я. — Вот в шахматы если... Вы в шахматы умеете?

— Нет, еще не выучился.

— Леля вас сразу научит, — пообещал Оська. — Он уже все ходики знает, и черненькими и беленькими, и взад и вперед. А я знаю только, как конь ходит.

Оська соскочил с колен, стал на одну ногу и запрыгал по квадратам, вычерченным на линолеуме пола. Потом он вдруг остановился, замер на одной ноге и доверительно сказал комиссару:

— А у нас одна королева в тюрьму арестована. Мы ее уже давно в собачий ящик посадили, когда еще войны не было, а царь зато был — вот когда!

Я свирепо посмотрел на Оську. И он замолк.

А я, чтобы прекратить ненужный и опасный разговор, предложил комиссару сыграть в шашки.

Комиссар вынул из вещевого мешка картонную складную доску, потом высыпал из маленького специального кисета шашки. Он расставил их на доске, и мы склонились над картонкой — лоб ко лбу.

— Ходи, — сказал комиссар.

Не прошло и минуты, как я убедился, что имею дело с опытным игроком. Легким, отрывистым тычком среднего пальца комиссар посылал свои шашки в самые неожиданные квадраты поля. Он делал мне каверзные подставки, ловко забирал по две-три мои шашки, прихватывая их неуловимым движением в ладонь и приговаривая:

— В шахматы пока не обучены, а в шашечки кое-что соображаем... Куда пошел? А это что? Бить надо. А то фук возьму, и ша... Вот это другой разговор. Четыре сбоку, ваших нет. А мы в дамки. И точка.

Через пять минут у меня не осталось ни одной шашки. Впрочем, одна-то осталась на доске. Но осталась она в том позорном положении, при котором выигравший обычно насмешливо зажимает нос...

Я сейчас же расставил шашки снова и предложил комиссару сразиться еще раз. Минут через десять на доске были заперты в угол две мои последние уцелевшие шашки, а комиссар, успевший к этому времени свернуть собачью ножку, весело окуривал позорный угол доски густым махорочным дымом...

„Лапки-тяпки“

Оська был сражен моим позором. Оська решил сам помериться силами с непобедимым комиссаром.

— А в «лапки-тяпки» вы умеете играть? — спросил Оська.

— Это как же — в «лапки-тяпки»? — удивился комиссар.

— А вот так, — проговорил Оська, снова устраиваясь на колени к Чубарькову. — Вот вы положите сюда вашу руку, а я буду вас ударять. А вы должны руку убирать, чтобы я не попал. Как не попаду, тогда вы будете бить. У нас в классе все так играют.

— А ну давай, давай, — охотно заинтересовался комиссар и положил на ломберный столик свою широкую пятерню — руку грузчика.

Оська прицелился. Он замахнулся левой рукой, но коварно ударил правой. Тяп! Комиссар не успел отдернуть руку.

— Смотри ты! — удивился комиссар. — Подловил, подловил... А ну-ка еще! Понял я вас. На, бей!

Оська проделал тот же маневр. Но ладонь его громко шлепнулась о стол. Комиссар на этот раз ловко убрал руку в последний миг.

— То-то! — сказал Чубарьков, чрезвычайно довольный. — Ну, а теперь клади свою пятишку.

Через некоторое время в комнату постучались. Вошел папа. Мы поспешно стянули со столика и спрятали за спины свои вспухшие, красные, как у гусей, лапы, сильно чесавшиеся после увесистых шлепков комиссара. Но папа, должно быть, слышал из-за двери, что у нас происходит.

— Леля, Ося, — сказал папа, — что у вас там с руками?

— Ой, папа, — закричал Оська, — иди к нам, мы в «лапки-тяпки» играем с комиссаром! Знаешь, как он здорово играет! Лучше даже, чем у нас Витька Пономаренко в классе.

— А он у вас малый хитрец, — похвалил Оську несколько смущенный комиссар, — с ним надо ухо востро... Только жулит, не по правилам бьет, на лету подсекает.

— Нет, я не жулю, ни капельки не жулю! — кричал Оська. — Вы сами хитрый!

— Что за дикость! — возмутился папа. — Вы только посмотрите, какие у вас кисти рук. Это негигиенично... Товарищ комиссар, вы меня извините, но мои дети привыкли к более культурным развлечениям. Ну что это за времяпрепровождение — хлопать друг друга по рукам!

— Закаляются, — попробовал выручить нас Чубарьков.

— Знаешь, как это полезно! — поддержал я. — Тут надо расчет иметь и глаз точный...

— Чепуха! — сердился папа. — Подумаешь, искусство! Что тут мудреного! Бей, и все.

Комиссар хитро посмотрел на папу:

— Это как сказать, товарищ доктор. Это только глядеть просто. А тут соображать требуется. Вот вы попробуйте.

— Нет уж, увольте, — заявил папа.

— А вы попробуйте, — настаивал комиссар.

— Попробуй, папа! — присоединился и я.

— Бойтся, бойтся! — закричал Оська. — Папа трусит!

Папа пожал плечами:

— Бояться тут нечего, решительно нечего... Хитрости

тут тоже большой нет. Но уж если вам так хочется, пожалуйста.

— Точка, — проговорил комиссар и деловито положил свою тяжелую длань на стол. — Ваш кон. Ваш почин, товарищ доктор.

Папа высоко поднял свою белую, как всегда тщательно отмытую докторскую ладонь. Он еще раз презрительно пожал плечами — и шлеп по пустому пространству стола, где только что была рука комиссара, исчезнувшая в миг удара.

Мы были в восторге.

— Ну как, товарищ доктор? — спросил комиссар. — Хитрости никакой?

— Одну минуточку, — сказал уязвленный папа. — Это не считается. Одну минуточку. Разрешите... Так, так. Кажется, я начинаю соображать. Ага, значит, вы кладете таким образом, а я, следовательно, бью отсюда. Превосходно. Нуте-с, прошу вас.

Комиссар, внимательно следя за папой, положил на стол руку, готовую каждое мгновение отпрянуть в сторону. Папа сделал несколько ложных замахов, и комиссар всякий раз слегка отсовывал свою руку. Вдруг папа неожиданно с силой и звучно припечатал ладонью руку комиссара.

— Эге, — сказал комиссар, потирая слегка вздувшуюся руку. — Тяпка-то у вас, товарищ доктор, дай бог, хирургическая. А из вас толк будет. Ну, больше не подлбвите. Ша! Хватит.

— Давайте, давайте, кладите. Я еще имею право удара! — горячился папа. — Минуточку! — Папа снял пиджак и подсел к столу. — Поглядим, поглядим еще, кто кого научит хитрости... Тяп!..

Заглянувшие через несколько минут в комнату тетки остолбенели в дверях при виде страшной картины. За столиком сидели комиссар распояской и папа без пиджака. Оба нещадно хлопали друг друга по рукам, промахивались, гулко били по столу ладонями.

— Тяп! — говорил комиссар.

— Ляп! — басил папа.

Мы с Оськой скакали от восторга, подзадоривая и без того увлекшихся игроков. Столик трещал и качался от ударов.

Трещали и шатались священные устои, вбитые тетками.

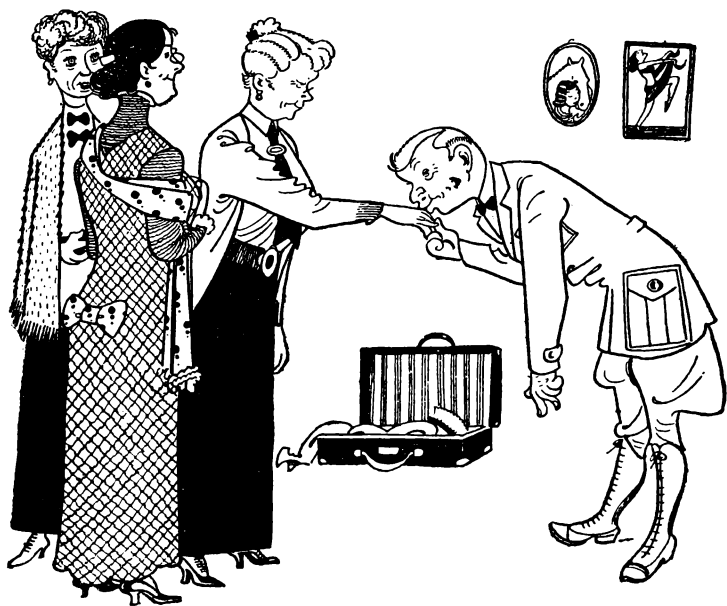
В другую комнату вселился изящный военный в шнурованных желтых ботинках до колен. Он внес чемодан, оглядел комнату, сел, почистил ногти, забарабанил ими по столу и сказал:

— Так-с.

— Сразу видно интеллигентного человека, — решили подглядывавшие тетки и вошли приветствовать жильца.

Квартирант вскочил. Он по очереди поцеловал руки всем трем и всех трех оделил своими визитными карточками с золотым обрезом. На карточках стояло: «Эдмонд Флегонтович Ла-Базри-де-Базан». А внизу помельче: «марксист».

Несмотря на столь звучное имя, Эдмонд Флегонтович Ла-Базри-де-Базан оказался личностью отнюдь не швамбранской. Он существовал на самом деле и был хорошо известен Покровску. Ла-Базри-де-Базан появился вскоре



после революции. Он тогда редактировал покровскую газету «Волжский Буревестник» и прославился тем, что на первой странице рождественского номера огромными буквами поздравил «всех уважаемых читателей с 1917-м днем рождения социалиста И. Христа...» Через день газету поздравляли с новым редактором. Теперь Ла-Базри-де-Базан работал в Тратрчоке. Он имел чин адъютанта для особых поручений, но так как главным его занятием было устройство всяких лекций, концертов и вечеров, то его прозвали «адъютант для особых развлечений». Красноармейцы звали его «Лабаз-да-Базар».

В третьей по коридору комнате расположилась «Комиссия по борьбе с дезертирством». Целый день туда паломничали раскаивающиеся дезертиры. Они несли в комиссию свои повинные головы, но, заплутавшись в квартире, склоняли их на наши столы и подоконники. Они бродили по комнатам и митинговали на кухне. Утром они без стука влезали в зал, где, разделенные шкафами, спали мы и тетки. Тетки взывали к их совести. Но дезертиры уверяли, что они люди свои, не обидят, и ложились вздремнуть у порога. Когда к маме приходила ученица, дезертиры окружали пианино и восхищенно следили за бегущими в гаммах пальцами.

— Ишь ты! — удивлялись дезертиры. — Махонькая, а как шибко!

Посторонние люди входили и выходили через все двери, и все они казались знакомыми и подходящими для знакомства. Мама привыкла к сквознякам. Сквозняк втягивал в окна красные флаги. Дом стал сквозным. Коридор квартиры стал как бы рукавом улицы. Калитки почему-то игнорировались. Чтобы пройти с улицы во двор, люди шагали прямо через квартиру. Над головой беспрерывно во втором этаже стучали ремингтоны. Там был военный отдел. Однажды ночью машинки застучали слишком часто и громко. Утром нам объяснили, что это пробовали новый пулемет. Во дворе у коновязи гремели ведрами. На крыльце сидели арестованные дезертиры — злостные. Мерно расхаживали часовые. И за ними, стараясь ступать в ногу, прыгал серьезный Оська с игрушечной винтовкой. Он ходил по двору и заглядывал в окна Лабаз-да-Базара. Там, оставшиеся запертыми в столе, лежали наши манускрипты. Оська нес караул при Швамбрании.

Комиссар читал на ночь третий том энциклопедического словаря. Первые два он уже прочел. Он читал словарь подряд. Тетки тихонько презирали его и не рекомендовали мне якшаться с «солдафоном». Но мы с Оськой не отлучались от него. Мы ходили вместе с ним в конюшни чистить военных лошадей и вместе мечтали о пароходах.

У Лабаз-да-Базара в комнате разило духами. Запонки, флаконы, ящики, рюмки, мундштуки, коробочки, ногтечки заполняли подоконники. На стене висел портрет киноартистки Веры Холодной... Лабаз был вежлив, он всем уступал в тесном коридоре путь и часто щелкал желтыми каблуками. И питерская тетя говорила, что он скорее маркиз, чем марксист. Каждый вечер к маркизу приходили гости — военные дамы и штатские мужчины, прежние «отцы города» и «сестры милосердия». Тогда в комнате Лабаз-да-Базара было очень шумно. До глубокой ночи стонала гитара. Лабаз-да-Базар наждачным голосом пел о том, как король французский на паркете играет в шахматы с шутом. Тетя Нэса просыпалась и вздыхала.

— Он очень милый и благовоспитанный человек, — говорила тетка, — и он, конечно, не виноват, что у него нет ни голоса, ни слуха. Но зачем он поет, не понимаю...

Однажды Ла-Базри-де-Базан подпоил комиссара. Чубарьков долго отказывался, но маркиз уговорил.

— Пей, — говорил, — пей. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей...

Без сапог, болтая штрипками галифе, явился к нам комиссар.

— Доктор, — сказал он, — словаря третий том я кончаю, а все галах... Бурлацкая моя жизнь. И точка.

Тут комиссар упал. Ему хотели помочь подняться.

Но он вскочил и выбежал из комнаты во двор. Через пять минут комиссар вошел с улицы.

Он был туго подпоясан, наглухо застегнут и официален. Шпоры звенели коротко и твердо.

Лицо его сводила мучительная сосредоточенность.

— Тут кто-то из военного отдела безобразничал, — сказал комиссар отрывисто, — пьяный валялся... нашу красную власть позорил. Где он тут? Сейчас же под арест! И точка.

Комиссар обыскал комнату. Папа быстро загородил зеркало. И комиссар не нашел себя. Уходя, он остановился в дверях и поводил перед носом жестким пальцем.

— Чтoб больше у меня этого не повторялось! — сказал комиссар, распекая кого-то воображаемого. — Точка! Ша!

Чем пахло мыло

Несчастье обнаружилось вечером. Ла-Базри-де-Базан куда-то ушел. Пользуясь его отсутствием, мама пошла проверить, цел ли секретный пакет в столике. Столик был пуст. Сверток, мыло, бывшие деньги, наши манускрипты — все исчезло. Швамбранские тайны были похищены...

Папа и мама вернулись в столовую. Все сели за стол. Начался пленум семейного совета.

— Вот вам маркиз ваш, — сказал папа.

— Не может быть! — сказали в один голос тетки. — По манерам видно, что он из хорошей семьи. Вероятно, это комиссар подобрал ключ и «реквизировал», как это у них называется...

— Меня возмущает наглость! — убивалась мама. — И мыло... А денег этих мне совершенно не жаль... Все равно они никогда не пригодятся... Пустые бумажки, которые давно пора бы выкинуть!

— А зачем же ты их тогда прятала? — спросил я.

— Ну, все-таки, — сказала мама, — мало ли что...

Потом все долго и молча сидели вокруг стола. Все глядели на клеенку. Несчастье, казалось, было распластано на столе, длинное, как щука.

Папа встал и заявил, что он сообщит в Чека и Особый отдел. Тетки замахали на него руками.

— С ума сошер! — кричала тетя Сэра. — Жароваться разбойникам на разбойников! Да вас самих заберут и расстреляют...

Но папа стукнул кулаком по столу. «Учледирка» стихла. Зажужжала рукоятка телефона.

— Особый отдел, пожалуйста, — сказал особым голосом папа. — Занято? Тогда соедините меня с Чека.

— Тише же! — испугалась тетя Нэса. Она привыкла произносить это слово зловещим шепотом.

Скоро явились двое. Оба высокие, смуглые, с черными усиками, в кожаном, похожие на шоферов. Папа предупредил Чубарькова. Вместе с комиссаром все вошли к Лабаз-да-Базару. Маркиз был уже дома. На минуту он смутился, потом с обычной развязностью приветствовал неожиданных гостей.

— Милости прошу, — сказал он, — прене во пляс, как говорят. Прощу. Могу кое-чем угостить.

Был обыск.

Из опрокинутого чемодана вывалились куски мыла.

— Наше, — сказал папа.

— Извините, мое, — отвечал маркиз.

Николаевские сотенки перемешались с какими-то бумажками и чертежами. Оська взглянул на меня, и я посмотрел на него.

— «Письмо к царю», — читал, перебирая бумажки, человек с усиками. — «Карта боя», «План города П.», «Тайный приказ», «Список заговорщиков»... Что это такое? — спросил он у маркиза.

— Не знаю... — бледнея, отвечал маркиз, увидев, что дело пахнет хуже, чем мылом.

— Как же это у вас очутилось?

— Не знаю... Честное слово, товарищ. Это все не мое... И мыло тоже... Я ничего не знаю.

Чубарьков подошел вплотную к маркизу. Комиссар обругал его сквозь зубы шепотом, похожим на плевков в лицо.

Вдруг Оська вылез вперед. Я делал ему знаки, я вращал глазами, как бумажный чертик на веревочке. Он не видел!

— Это наше! — сказал Оська. — Пускай обратно отдаст, раз взял.

Чекисты рассматривали чертежи. Они многозначительно переглянулись.

— М?.. — вопросительно произнес один.

— Умгу! — утвердительно отвечал другой.

— Товарищи! — сказал я. — Это просто мы играли и спрятали в мыло. Больше ничего.

— Там разберем, — сказали они.

Мы слышали потом, как один из них говорил в телефонную трубку:

— Слушаешь? Это Шорге говорит. Этого я задержал. Да, найдено, признался. Но тут кое-что любопытное обна-

ружилось. Да, да. Ребята говорят, это их. Да. Сомнительно. Что? Обоих? Есть! — и щелкнул рычажком, как каблуком.

Потом он о чем-то посоветовался с Чубарьковым. Чубарьков смущенно посмотрел на нас.

— Леля! Вося! — сказал комиссар. — Айда, прокатимся на машине. На автомобиле. Начальник очень просит. Пускай, говорит, Леля и Вося мне о бумажках этих всё расскажут. И точка. И я с вами заодно прокатнусь. Есть такое дело? Точка.

Тетки по очереди, одна за другой, как кегли, повалились в обморок. Мне тоже стало немножко не по себе.

Большой автомобиль увез нас в Чека. Ночь бросилась навстречу. Мы ощутили себя швамбранами. Мы спешили на место приключения.

Швамбраны посещают Чека

Кабинет был тих. Два человека склонились над бумагами. Настольная лампа отражалась в бритом до блеска темени толстяка в очках. Другой был латыш. Белесые ресницы его мерцали.

— Ну-с, ребяteness, — сказал очкастый, — присаживайтесь. Так в чем же дело?

И он посадил Оську на стол. На столе лежал браунинг.

— Заряженный? — деловито спросил Оська и вдруг принял свой обычный тон. — А вы кто? Главный чекист? Да? Велите ему, чтоб он отдал бумажки. А то рисовали, рисовали...

— Сейчас все устроим, — сказал очкастый, — только для этого всю как есть правду говорите! Ладно?

Латыш, играя ресницами, читал швамбранские письма. Мне было очень неловко.

— Чепуха какая-то! — сказал латыш сердито и передал бумаги очкастому.

Тот внимательно проглядел их.

— Что за город П.? — спросил толстый.

— Это Порт-у-Пея, — объяснил я, — порт у города Пея.

— А где такой есть? — изумился начальник.

— В Швамбрании, — ответил за меня Оська. — Это

страна такая, как будто. Ее Леля сам открыл. Мы в нее всю жизнь играем.

— Ишь ты, какой Колумб твой Леля! — сказал начальник. — Ну, а если игра, так зачем же эти документы прятать было?

— Для секрета, — сказал Оська, — чтоб тайна была. Когда тайна, интереснее.

Тогда заинтересованный начальник попросил нас рассказать ему про всю нашу Швамбранию. Мы начали неохотно. Но старая игра увлекла нас. Мы наперебой начали описывать жизнь на материке Большого Зуба. Мы объяснили герб и карту, перечислили всех членов династии Бренаборов, описали войны, путешествия, революции и чемпионаты, а Оська даже вспомнил фамилию последнего швамбранского министра наружных дел. Встав, мы спели швамбранский гимн. Мы даже собрались поссориться из-за последних кладбищенских реформ, но...

Начальник хохотал. Хохот одолевал его. Он закатывался, хлюпал от смеха и вытирал слезящиеся глаза. Он хлопал себя по бритой макушке и мотал головой, стараясь отогнать насевшее на него веселье.

Смеялся сердитый латыш. Он трясся, не открывая плоского рта; ресницы его сплющились. Что-то ёкало в горле, как селезенка у лошади.

Мы с Оськой обиженно смотрели на них. Потом начали улыбаться. Скоро нас разобрало.

— Ох! С вами театра не надо! — сказал уморившийся начальник. — Помру, думал... Ох, как это, говорите... Бренабор? Ой, надо ведь такое состряпать... Ведь какая система! Сдохнуть можно! А что, — спросил он вдруг серьезно, — трудно управлять государством?

— Ничего, спасибо, — отвечали мы, — управляемся понемножку. Хотя бывает иногда — не разберешься.

— Ну, а зачем же вам все это понадобилось? — спросил начальник.

Это был серьезный вопрос. Я набрал в грудь воздуху.

— Мечтаем, — сказал я, — чтоб красиво было. У нас, в Швамбрании, здорово! Мостовые всюду, и мускулы у всех во какие! Ребята от родителей свободные. Потом еще сахару — сколько хочешь. Похороны редко, а кино каждый день. Погода — солнце всегда и холодок. Все бедные — богатые. Все довольны. И вшей нет.

— Чудесные вы ребята! — серьезно и тепло сказал начальник. — Тут не мечтать надо, а дело делать. И у нас будут мостовые, мускулы и кино каждый день. И похороны отменим, и вшей упраздним. Погоди! Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только тут не мечтать надо, а работать... Да не время сейчас мне в воспитание пускаться. Ночь уж. Поздно. Вон младший швамбран как зевает: того и гляди, весь материк проглотит. И мама ваша небось беспокоится. Сейчас я ей по телефону звякну.

Сам начальник отвез нас домой. На прощание он разрешил Оське подудеть на гудке автомобиля. Начальник, смеясь, сказал, что он был рад случаю познакомиться с представителями швамбранского племени. Он рекомендовал скорее ввести в Швамбрании целиком советскую власть, а потом бросить мечтать и помочь делать настоящие мостовые.

— А что вы сделали с Лабаз-да-Базаром? — спросил я, окончательно осмелев.

— Пошлем жить в эту... как ее... Пи-ли-гвинику, — сказал начальник. — Он ведь тоже выдумал самого себя. Но выдумал гадко и играл в себя на деньги... Ну, покойной ночи, ребята! Желаю швамбранских снов и доброй яви!

Новый простор для блужданий

Нас опять переселили. Нам дали квартиру на далекой Аткарской улице. Центробежные силы действовали. Мы удалялись от центра.

Переезд прошел незаметно. Мы уже привыкли ко всяким перемещениям. Величие Дома (с большой буквы) было давно развенчано. Вещи пристыженно перебрались в тесные углы нового жилища. За неимением места шкаф и один стол по дороге приبلудились к знакомым.

Переезд совпал с новыми пертурбациями в Швамбрании. Произошли опять значительные сдвиги этого острова, блуждающего в поисках единой всеобщей истины. После посещения Чека мы уже были близки к цели наших скитаний в мире. Но новое, совсем новое увлечение приبلудилось к Швамбрании. По истечении трех дней мы считали этот азарт откровением истины.

Это был театр.

В Покровске открылся Городской театр имени Луначарского. Он помещался в бывшем кино «Пробуждение».

Труппа состояла из питерских и московских актеров. Они сменяли сомнительную столичную славу на существенный провинциальный паек.

Фамилии актеров сразу прельстили нас поистине швамбранским изяществом: Энритон, Полонич, Вокар... Правда, выяснилось, что некоторые фамилии были просто начертаны задом наперед. Так, в паспорте Вокар значился Раков.

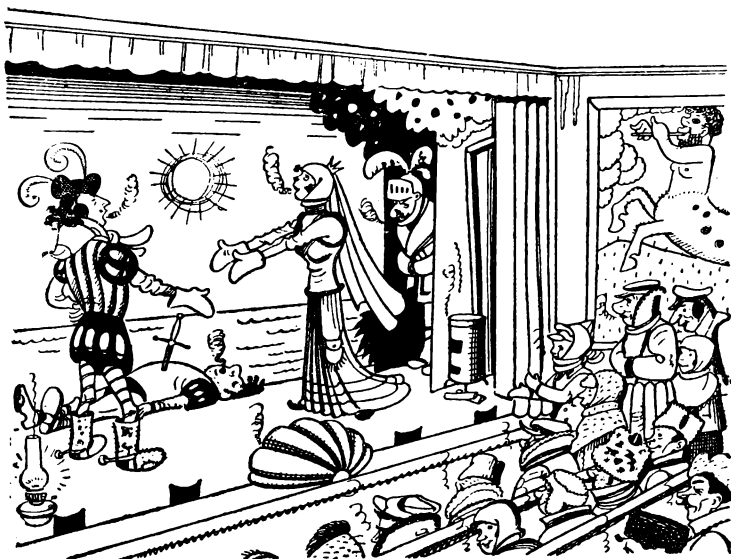
Среди актеров выделялся талантливый Холмский. Это был человек универсальный (через несколько лет я встретил его в Москве, директором известного Театра сатиры). Специальностью Холмского были мерзавцы и Наполеоны. Кроме того, он был драматург и художник. Городской Совет поручил ему расписать изнутри здание театра. На стенах зрительного зала расплодились кентавры (человеко-лошади), трубадуры, музы, прорицатели и прочая нечисть. Холмский был человеком увлекающимся. Он любил крайности. Одних он с головой запаковывал в железные латы, другим не выдал никакой мануфактуры. Тела он сделал лиловыми, что, впрочем, вполне соответствовало тому арктическому холоду, который царил в театре. У входа Холмский нарисовал Венеру Милосскую. По предписанию горсовета, он снабдил богиню руками. На пьедестале было написано: «Сейте разумное, доброе, вечное! Сейте! Спасибо вам скажет сердечное рабочий народ!»

Покровчане остались недовольны росписью театра.

— Партийные, а голых рисуют, — говорила публика. — Чисто баня какая, а не театр!

Питерская тетка оказалась страстной театралкой. С ней мы не пропускали ни одной премьеры. Скоро мы знали в лицо и спину каждого актера. Театр завладел нами. Нам правилось все в нем: гонг, антракты, очередь у кассы...

Театр в то время походил на вокзал. Спектакли опаздывали, как поезда. На полу корчились окурки собачьих ножек, семечки лопались под ногами. Зрители были в шубах с поднятыми воротниками. Аплодисменты были неистовы, хотя рукавицы и глушили хлопки. Во время спектакля наклонный пол зрительного зала все время сотря-



сал легкий гул. Это зрители тихонько стучали ногами, согревая подошвы.

— О, какой зной! Мне душно! — говорила на сцене королева, обмахиваясь веером, а изо рта валил пар, как из самовара. Телогрейка просвечивала под ее кисеей.

Из будки дымился шепот суфлера.

От зрителей несло нафтолизолом. Перед посещением театра нас обильно поливали этой зловонной дезинфицирующей жидкостью, а когда мы возвращались, нас осматривали в передней со свечкой в руках.

Швамбрания для взрослых

«Учледирка» иногда тоже посещала наш театр и потом целую неделю критиковала. Тетю Сэру один раз едва не побиили. Только успели открыть занавес и задул закулисный сквозняк, как в зале из первых рядов раздался теткин голос,

— Закройте же там! Дует! — сказала тетка, как будто занавес, эта волшебная завеса, разделяющая два мира, был какой-то форточкой.

И все зрители обиделись.

Мы рвались проникнуть за занавес. Гришка Федоров, человек влиятельный и добрый, сын театрального парикмахера, доставил нас на кухню чудес. Нас поразила грубая невсамделишность бутафорских вещей, игрушечные фрукты и холщовые горизонты. Зато с восхищением рассматривали мы взрослых людей, ежедневно играющих в чужую жизнь. Это было почище Швамбрании.

В зале над аркой сцены шла надпись:

МИР — ТЕАТР, ЛЮДИ — АКТЕРЫ

(Шекспир)

Это изречение стало новым девизом на швамбранском гербе.

Швамбраны пошли на сцену. Мир теперь расщепился на актеров и зрителей. Покровский день нам казался затянувшимся антрактом.

— Искусство отвлекает людей от серой, будничной жизни, — говорили тетки. — Оно переносит нас в мир прекрасных образов.

Они потом, ссорясь и увлекаясь, спорили о поступках различных героев вчерашнего спектакля. Они обвиняли этих выдуманных людей, защищали, любили их и ненавидели, совершенно как мы с Оськой, когда играли в Швамбранию. И мы пришли к выводу, что такое искусство — это Швамбрания для взрослых. Они играли в нее серьезно.

Однажды во время спектакля «Вечерняя заря» потухло электричество. Спектакль продолжался при керосиновом освещении. Лампы коптили небо, нарисованное клеевыми красками. Шла заключительная сцена пьесы. Отец решил убить свою дочь. Отец взял револьвер.

В эти минуты я заметил, что одна из ламп, стоящая на авансцене, сильно коптит. Пламя тоненьким фонтанчиком встало из стекла. Отец приближался к дочери. Пламя уже доставало до края холщового павильона. Отец поднял руку с револьвером. Декорация могла вспыхнуть каждую минуту. Дочь ломала руки. Я уверен, что очень многие зрители видели, как грозила пожаром лампа. Но дочь

упала на колени, и зрители молчали. Они боялись испортить убийство. Швамбрания владычествовала в зале. Отец щелкнул взведенным курком.

Декорация задымилась.

— Так умри же, несчастная! — крикнул отец.

— Лампа коптит! — закричал я, сбросив оцепенение.

Ловкий актер нисколько не смутился. Одной рукой он привернул фитиль, другой — закончил пьесу.

Театр был спасен. Но не успел упасть занавес, как соседи набросились на меня. Они кричали, что мальчишек нельзя пускать в театр. Они твердили, что я мог обождать со своим дурацким криком, а теперь вот вышло не убийство, а какая-то комедия, за которую и денег платить не стоило. И я в душе должен был признать, что как-никак, а я впервые изменил Швамбрании.

Разгадка Гитика

Две вещи уже давно занимали и мучили меня. Несколькими годами я пытался понять их истинное предназначение. Это были: старый локомотив, вросший в землю на Скучной улице, и таинственное слово «гитик», упоминавшееся в известном карточном фокусе.

И вот я узнал, что такое «гитик». Простая вывеска расшифровала его. Вывеска оказалась более сведущей, чем учителя гимназии и энциклопедический словарь. Я не мог поверить своим глазам, когда на одном из домов бывшей Брешки, теперь Коммунарной площади, я издали уже прочел: «ГИТИК». Я подбежал ближе. «Городской Институт Театра и Кино», — прочел я.

Покровск захватило повальное увлечение театром. Все играли. Тратрчок, Уотнаробраз, Упродком и Волгоразгруз имели свои любительские труппы. Расплодились театральные студии. Потом все эти студии объединились в одно целое под вывеской ГИТИК. При ГИТИКЕ открылась детская студия. Так как школа бездействовала, то мы с Оськой записались туда. Потом к нам присоединились Степка Атлантида и Тая Опилова.

Мы готовили к постановке пьесу «Принц Форк-до-Форкос». Принц этот был влюблен в принцессу, а коро-

лева, ее мать, была гордая и вообще дрянь. Принцу показали нос. Потом принц расколдовал гриб, а оттуда вылезла фея и дала принцу абрикос. Королева съела абрикос, и у нее вырос огромный нос, а на острове Родос, где жил Форк-де-Форкос... Словом, там еще много строк кончалось на «ос».

Принцессу играла Тая Опилова. Мы со Степкой едва не поссорились из-за роли принца, потому что принц по ходу действия должен был объясняться в любви принцессе, а принцесса, считали мы, догадается, что это не только по ходу пьесы... Режиссер Крамской дал роль Степке. Он сказал, что Степка старше, выше меня и голос его мужественнее. Как будто я не мог басить, если бы захотел!

Мы упросили Форсунова взять роль великана колдуна. А гримировал Гришка Федоров — родной сын настоящего парикмахера из настоящего театра.

Вечером, в день спектакля, мы пошли в ГИТИК. Я играл шута, Оська — бессловесного гнома. Оба мы волновались. Гришка Федоров загримировал нас. Зал нетерпеливо гудел за занавесом, опасный, насмешливый, неведомый. Пора было начинать, но не было Степки и Форсунова. Режиссер нервничал, шагая за кулисами.

— Время! — кричал зал и топал.

Наконец они явились. Оба были суровы и торопливы.

— Лелька, прощай! — сказал Степка. — Мобилизация коммунистов. На фронт шпарим... А я добровольцем. Еле упросил. «Молод», — говорят. Все-таки взяли. Сейчас эшелон уходит. Счастливо оставаться!

Руки наши сшиблись в крепком пожатии. Степка помолчал, потом откашлялся.

— Тайку небось теперь один провожать будешь, — тихо сказал он. — Ладно уж, мне не жалко. Только других, смотри, отшивай...

Зал едва не рушился. Форсунов с вещевым мешком на спине вышел за занавес. Зал стих. Форсунов поправил на плече лямку мешка.

— Спектакль откладывается, — сказал Форсунов.

— На когда? — закричал зал.

— Как только белых побьем! — отвечал Форсунов.

Через день папа уехал на Уральский фронт. Папа ехал в неминуемый тиф: фронт разъедала сыпнотифозная вошь. Мама с тетками приготовила ему три полных чемодана. Папа взял один. Он мрачно пошутил, что никакой утвари ему не надо: кургана все равно над ним не воздвигнут, а в загробную жизнь он не верит. Потом все сели, как полагается перед дорогой.

— Ну ладно, — сказал, вставая, папа.

Он расцеловал нас.

— Смотри, — сказал он мне, — ты теперь в доме главный мужчина.

В дверях он столкнулся с пациентом. Пациент стонал и кланялся.

— Прием отменяется, — сказал папа, — видите, я уезжаю.

— Доктор, батюшка, сделай милость, — взмолился больной, — долго ль посмотреть! А то прямо сил нет, как сводит... А ждать-то тебя... Может, ты там и помрешь...

Папа посмотрел на стенные часы, потом на больного, потом на нас. Он опустил чемодан на пол.

— Раздевайтесь, — сказал он сердито, пропуская пациента в кабинет.

Через десять минут папа уезжал.

— Так помните, — говорил он больному, садясь в сани, — по семь капель после еды.

Когда сани с папой отъехали, тетки отошли от окон и хором зарыдали.

— Но, но, дамы! — грубо сказал я. — Хватит. Подсыхайте.

Тетки испуганно стихли. Но тишина, наступившая в разом опустевшей квартире, угнетала еще хуже. Я стиснул кулаки. Походкой главного мужчины я вышел из комнаты,

НА ТВЕРДОЙ

ЗЕМЛЕ

Ж

Уроки нам и другим

е помню, сколько прошло времени. Возможно, что год, а может быть, месяц... Календарей не было. Время тогда было трудно измерить. Его течение потеряло равномерность. Когда удавалось выменять, скажем, старый гимназический мундир на сало «шпек», дни глотались залпом. Другие, сухомятные, дни тянулись, как недели, — долго и голодно. Распорядок суток стал совсем иным. Прежде центральным пунктом дня, укоренившимся часом сбора всей семьи, был обед — торжественная еда, таинство, церемониал принятия пищи, трапеза, и весь день отмеривался «до обеда» и «после обеда». Теперь обеда как такового часто не было. Ели, когда было что есть. «Давайте подзакусим», — говорила тогда мама.

И ели на ходу, как на вокзале, стоя, так как было страшно вступить в общение с ледяным стулом. В комнате было студено, и каждый инстинктивно скупился уделить собственный нагрев бездушному предмету...

Мы двигались, сторонясь холодных вещей. Вещи хватали наше тепло. Установили дежурство истопников. Утром дежурный, клякая зубами, выползал из-под горы одеял и портьер. Реомюр стыл на четырех. Дежурный прыгал в неуютные валенки и растапливал печку-«буржуйку». Печурка кратковременно распалялась. Вместе с Реомюром поднимались все обитатели нашей квартирки. Буфет стоял — душа нараспашку. Он был гол и пуст, хоть в кегли играй, то есть хоть шаром покати. Мы ели пресную кашу из тыквы и пили арбузный чай с сахаринном,



Мама теперь служила в музыкальной школе.

Мама теперь слѣжила в музыкальной школе. Но занятия ввиду отсутствия помещения происходили у нас. Ученицы пихали валенками педаль. Костенеющими пальцами они тревожили простывшее нутро пианино. Мама в шубе и перчатках ловко поднимала из-под их пальцев западавшие клавиши.

Ко мне тоже приходила ученица. За фунт мяса в месяце я обучал некую великовозрастную и дебелую Анюту Коломийцеву грамоте и счету. Фунт мяса доставался мне нелегко. Я узнал, почему фунт лиха... Ученица моя упрямо не доверяла буквам. Она руководствовалась больше собственными догадками. Ей надо было, например, прочесть слово «Нюра».

— Ну и ю — ню, — читала она, — ры и а — ра... Получается Анютка! — радостно заключала она.

В другой раз одолевали мы слово «сапоги».

— Сы и а — са, — карабкалась по слогам Анюта, — пы и о — по, значит — сапо... Теперь ги и и — ги...

— Ну, что вместе получается? — спросил я.

— Валенки, — сказала Анюта.

По дороге туда

Там, за горами горы,
солнечный край непочатый.

Маяковский

После урока мы с Оськой шли собирать солому, чтоб протопить немного голландку. Пользуясь ее быстротечным теплом, ставили тесто для хлеба. Мы по очереди месили опухшими сизыми руками тягучую мякоть квашни. Для этого дела необходимо было ожесточение, и мы представляли себе, что мнем кулаками ненавистный живот врагов революционного человечества — от Уродонала Шателена до адмирала Колчака.

Вечерами все скоплялось у стола. Электричества не было. Лампочку-ночник зажигали только по воскресеньям, и это бывал действительно светлый праздник. Будни освещались коптилкой. Фитилек, скрученный из ваты, опускался в чашку с постным или деревянным маслом. На его конце жил шаткий огонек. Комната заполнялась черными ужимками теней.

Тетки подвигали лампочку к себе. Тетки сидели в ряд, строгие и слегка потусторонние. Лампочка немножко светила на их лики. «Учледирка» напоминала богородиц в пенсне. Тетки читали вслух. После они разговаривали о красивом прошлом и разрушенной жизни.

— Боже мой! Какая красивая была жизнь! — вздыхали тетки. — Концерты Собинова, альманахи «Шиповник», пятнадцать копеек фунт сахару... А теперь?!

— Тетки! — говорил я голосом главного мужчины из темного угла комнаты, где происходила у нас Швамбрания. — Послушайте, тетки! Я же раз навсегда просил, чтоб вы контрреволюцию агитировали про себя, а не вслух. Мне, конечно, с гуся вода и чихать... Но вбивать несознание в маленьких...

И я, подойдя к столу, указывал глазами на Оську. Я с некоторой поры ощущал себя стремительно повзрослевшим. Ответственность за дом не только не давила меня — она вздымала. Я чувствовал, что складнее стал думать, что легче стали подбираться нужные слова, что тверже я стал знать многое. Без страха и упрёка смотрел теперь я в глаза действительности. Соломенная повинность, ознобленные пальцы и каша из тыквы не омрачали меня. Отсутствие календаря, еда на ходу, жизнь в шубах — все это придавало нашей жизни временный, вокзальный, проездной характер. Но это не было очередным блужданием швамбран. Жизнь перемещалась в ясном направлении. Только дорога была непривычно трудной.

— Мама, не огорчайся, — говорил я матери в дни, когда не было чечевицы, керосина и писем от папы. — Не надо киснуть, мама. Ты возьми и воображай, будто мы каждый день долго едем через всякие пустыни и разные тяжелые горы... Едем в новую страну... прямо необыкновенную...

— Куда едем? — безнадежно говорила мама. — Опять ваша Швамбрания?

— Да не в Швамбрании это, мамочка, а факт, — убеждал я. — Это ничего, что вот у нас копилки, и солому таскаем, и что руки поморожены... Правда, мама... Помнишь, у нас были неподходящие знакомые Клавдюшка, Фектистка? Им ведь жилось всю жизнь в сто раз плоше, чем нам сейчас немножко. Это, мама, нечестно даже было бы, если бы нас сразу так шикарно доставили

туда. И так мы уж больно пассажиры какие-то... А тетки — это прямо зайцы, которых высадить надо бы. Вот папа — это дело другое. Хоть я очень соскучился, но это правильно, что он на фронте.

— Вы слышите? — ужасались тетки. — Боже мой! Воспитывали их, гувернанток нанимали — и что же! Чекисты какие-то растут!

А я мечтал. Вот вернется Степка. Я пойду ему навстречу в заплатанных валенках, с прелой соломой в руках.

«Здорóво, Степка, — скажу я. — Дай пять... (Только не жми, а то у меня руки отекли...) Вот видишь, Степка, я теперь главный мужчина в доме и запретил контрреволюцию с теткой стороны. Немножко проголодался, но это ничего. Буду есть тыквенную кашу до победного конца».

«Молодец парень, — скажет мне Степка, — хвалю за сознание. Держись. И каша — хлеб».

«Но мне обидно ехать пассажиром, — скажу я, — я хочу матросом!»

«Будь! — скажет Степка. — Будь матросом революции».

Тут мечты обрывались, как лента в кино. Как стать матросом революции, этого я не знал. И мама бы не пустила...

Герой желудочного происхождения

Однако Швамбрания продолжалась. В пространстве она не сократилась, хотя времени занимала теперь много меньше. Затем швамбран постиг тяжелый удар. В наше отсутствие мама ухитрилась сменить у вокзала на четверть керосина... ракушечный грот вместе с узницей его — Черной королевой, хранительницей В. Т. Ш. Так бесславно погибла она для нас. Мы пережили получасовое отчаяние. Солнцу Швамбрании грозил закат. Но зато вечером зажгли лампу.

Швамбранская игра в то время сводилась главным образом к воображаемому обжорству. Швамбрания ела. Она обедала и ужинала. Она пиновала. Мы смаковали звучные и длинные меню, взятые из поваренной книги Молоховец. На этих швамбранских пиршествах мы не-

множко удовлетворяли свои необузданные аппетиты. Но сахарный фонд Швамбрании убывал только по праздникам. Главным поваром Швамбрании был Жорж Борман. Его мы взяли со старой рекламы какао и шоколада. Жорж Борман был последним героем Швамбрании. Это был герой чисто желудочного происхождения. Никакого нового заблуждения он уже не мог состряпать.

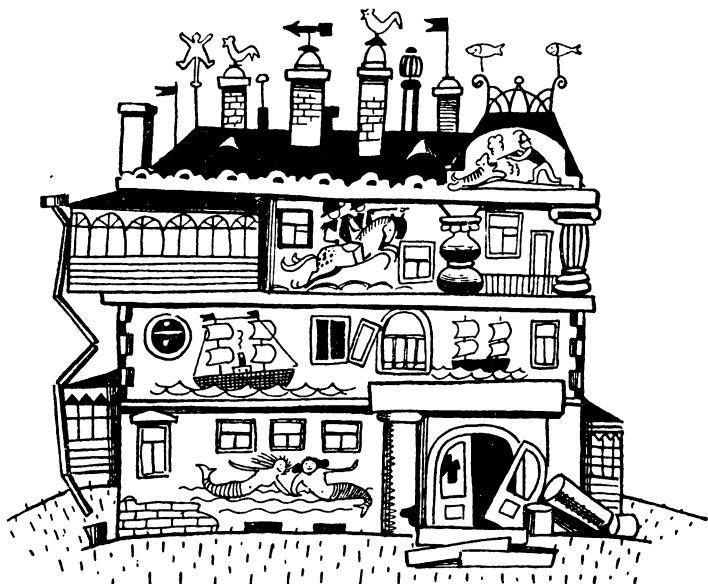
Вообще в Швамбрании наступила эпоха упадка. Но случайные обстоятельства дали толчок новому расцвету государства Большого Зуба. Эти обстоятельства жили в большом заброшенном доме на нашей улице.

Дворец Угря

Дом был выстроен когда-то слегка свихнувшимся немцем-богачом, по фамилии Угер. Улица произносила: «Угорь». Богач принял это укоренившееся прозвище. Дом Угря был одной из достопримечательностей Покровска. Приезжих водили к нему. Приезжие удивлялись. Это было действительно совершенно диковинное сооружение. Его владельца обуревали честолюбие и жажда сногшибательного благоустройства. Он задумал украсить Покровск необыкновенным зданием. Он рвался в славу. При этом Угорь не доверял инженерам. Он самолично составил проект своего дома. Постройка шла под его неусыпным наблюдением. Дом вырос в три этажа, да еще с полуподвалом. Одноэтажные покровчане задирали головы и считали этажи по пальцам.

Дом Угря был похож сразу на старинный боярский терем, на ярмарочный балаган и на висячие сады Семирамиды. В каждом этаже окна были не похожи друг на друга. Окна были и длинные, и круглые, и квадратные, и узкие... Сбоку шли галереи из разноцветных стекол. С этого боку дом был похож на лоскутное одеяло. Весь фронтон дома был расписан живописцами. Внизу баловались русалки. На втором этаже плыли корабли. Разнообразные генералы были нарисованы на третьем. А под крышей охотники в альпийских шляпах с перьями стреляли в тигров и львов.

При малейшем дуновении ветерка дом начинал жуж-



жать и звенеть: то мотались на башенках двадцать два флюгерка, крутились пятнадцать жестяных вертушек и вращались, гремя, в окнах восемь огромных вентиляторов. Даже голуби были озадачены этим пестрым громом. Даже голуби избегали дом. А о квартирантах и говорить нечего.

Сперва в доме помещалось Высшее начальное училище (ВНУ). Но флюгера и вентиляторы не давали «внучкам» заниматься. Пытались квартировать в доме какие-то отчаянные жильцы, но висячие сады Семирамиды стали при ветре раскачиваться, полы гнулись, рамы трескали. Дворец стал рассыпаться, словно карточный домик. Угорь скончался от горя. В предсмертном бреду он просил поставить ему на могиле флюгер и вентилятор... А дом продолжал тихонько истлевать. Отмирали косяки, перила, иногда целые галереи. Отмирали и рушились. Цветные стекла красовались в окнах соседских домов. По всей улице гремели флюгера, покинувшие дом Угря.

Когда пурга убистряла разрушение, осторожно при-

ближались соседи. Они тянули за собой порожние салазки. Соседи располагались вокруг дома и ждали. Они сидели, как гиены вокруг издыхающего льва. Отпавшие куски дома они растаскивали по своим дворам. Но открыто напасть на дом и разорить это никому уже не нужное сооружение они не решались. Соседи еще уважали недвижимую собственность.

Приключение в мертвом доме

Мы сразу поняли, что огромный дом-мертвец сможет быть новым, удобным и таинственнымместилищем игры. Швамбрания заняла все уцелевшие этажи. Игра снова приобрела свежий интерес, и нас не смущало, что все внутри было загажено. Швамбраны оживили развалины, а мертвый дом надолго отсрочил падение Швамбрании.

Шорохи, скрипы и гулы населяли остатки дома и питали нашу фантазию. По дряхлым лестницам ступал ветер. Страхи ютились во мраке и сырости коридоров, и ночами ползла по стенам жуть...

Более подходящего места для швамбранских приключений найти было нельзя. Дом был нами быстро исследован. Комнаты его мы наделили прекрасными именами швамбранских городов. Швамбрания возрождалась. Неисследованным остался только один темный, подозрительный проход, ведущий в засыпанный обломками полуподвал. Мы предприняли экспедицию в эту неизведанную землю. Мы захватили длинные палки и висячую лампадку вместо фонаря. Затем мы, следуя лучшим советам книжек, опоясали себя веревкой и соединили ею наши пояса. Теперь мы походили на исследователей пещер.

Мы спускались в подземелье. Ступени лестниц давно выпали. Мы скользили по наклонным доскам, карабкались по разваленным кирпичам. Я полз впереди. Качалась лампадка, привешенная на конце выставленной вперед палки. За мной лез Оська. Оська был храбр и стоек. В доказательство этого он каждую минуту говорил, что ему совсем не страшно, а, наоборот, даже уютно... Когда ему в шестой раз стало уютно, он провалился... Гнилая доска осела под ним, и Оська упал в подвал. Так как мы были привязаны друг к другу, то сила его падения подтащила меня к са-

мому провалу и прижала к доскам. Веревка оставалась натянутой, она давила, стягивала, резала мне пояс.

— Оська, ты упал? — крикнул я испуганно в черную дыру.

— Нет еще, — ответил невидимый Оська, — я лечу, лечу и все никак не могу упасть до дна...

Я зажег потухшую при катастрофе лампадку и спустил ее в этот бездонный провал. Я увидел Оську. Он висел между небом и землей, привязанный веревкой к поясу. Оська медленно вращался... Он барахтался и извивался, сиюсь достать пол.

— Леля! Вынь меня отсюда, — попросил Оська, — тут как неуютно... и веревка туго очень...

Я, напрягая все силы, стал вытаскивать братишку. Но вдруг что-то нехорошо затрещало. Доски, на которых я лежал, обломились. Я полетел в тьму и упал на Оську.

— Теперь упал, — удовлетворенно сказал Оська. — Самое дно, и не туго.

Лампадка разбилась... Мрак клубился в пещере. Плотная, прокисшая тьма лежала на дне подвала. Только сверху, через наш пролом, скупо сочились серые проблески. Приглядевшись к мраку, мы заметили затонувшие в нем непонятные предметы. Какой-то железный ящик на ножках. Стекланные и металлические сосуды. Трубки, причудливо изогнутые или свернувшиеся змеей. Потом мы наткнулись на тучные мешки с чем-то.

— Клад, — сказал Оська.

— Тайны, — шепнул я.

— Большие новости, — сказал Оська.

— Еще бы! — шепнул я. — Настоящий клад для Швамбрании! Мы здесь устроим замеча...

Внезапный свет бросился на пол между нами. Мы кинулись в разные стороны. Но что-то схватило нас сзади. Мы шлепнулись. Это проклятая веревка поймала нас за пояса и опрокинула на пол. Чья-то рука подтянула веревку к фонарю. Над фонарем мы увидели ужасное рыло: сверкающая верхняя губа, яркие ноздри и светлые подбровья. Остальные черты таинственного лица растворились во мраке.

Мы услышали грубый голос.

— Вы какого дьявола тут шпаетесь? А? — рычала, сверкая и извиваясь, верхняя губа. — Каким вас манером

занесло сюды? Убью, дрянь! Только попробуйте утекать, пришью в два счета, как кутят...

Прескверная ругань увенчала это вступление.

— Чего вы лааетесь без толку? — сказал я, стараясь не стучать зубами.

— При маленьких по-черному не ругаются, — добавил Оська, — а то я тоже буду... Как начну, так не обрадуются.

Веревка резко натянулась и подтащила нас к огромному кулаку, освещенному с одной стороны фонарем.

Ущербленный кулак этот выразительно повернулся и показал нам, как некая грозная луна, все свои фазы.

— Отпустите сейчас же веревку! — закричал я. — Чего вы ее держите?.. Самодержавец какой... Вы не имеете права!

— Он думает — старый режим, — сказал Оська. — Вот мы скажем на вас главному начальнику в Чека... Он с нами очень знакомый. Если мы захотим, он вас живо заберет...

— Чекой грозишь, паценок...

И полный кулак взошел над Оськиной головой.

— Стой! Устрани свой кулак, безумный! — прозвучал сзади голосок, кого-то очень мне напоминавший. — Сними путы с пленников, — продолжал он тем же напыщенным тоном. — Садитесь, юные пришельцы. Привет вам от старого ученого отшельника! Что привело вас в мою пещеру, о троглодиты?

Кулак затмился. В свете фонаря блеснула лагуной лысина — лысина Э-мюэ, знакомая лысина Кирикова, человека-поганки.

Эликсир „Швамбрания“

— Садись! — сказал мне Кириков. — Я узнал тебя. Ты один из стада диких. Вы оба — сыны великой и славной страны Швамбрии...

— Швамбрании, — поправил Оська. — А откуда вы знаете?

— Я все знаю, — отвечал Кириков. — Я обитаю в сокровенных недрах страны вашей, но на досуге от своих ученых изысканий подымаюсь на поверхность... Вчера, и

позавчера, и на той неделе я слышал вас, о швамбране, когда вы здесь, среди этих печальных руин, играли... то есть, я хотел сказать, воплощались в жителей прекрасной Швамбромании...

— Швамбрании, — строго сказал Оська. — А что вы тут делаете?

— И зачем эти штуки тут понаставлены? — спросил я. Последовало молчание.

— О швамбране, — сказал страшным голосом Кириков, — вы неосторожно прикоснулись к тайне моей утлой жизни, к ране моей души...

— Вы разве душевнобольной? — спросил Оська. — Вы из сумасшедшего домика?

— Я чист душой и ясен разумом, — сказал Кириков, — но я несправедливо обойден людьми и властью. Я оскорблен и унижен. Но я страдаю во имя блага человечества. Клянитесь, что вы не разгласите моей тайны, и я сохраню вашу — вашу тайну, тайну Швамбургии...

— Швамбрании, — опять поправил Оська.

Потом мы поклялись. Кириков поднес к нашим лицам фонарь, и мы торжественно обещали молчать обо всем до смерти.

— Так слушайте же, братья швамбране! — воскликнул Кириков. — Я последний алхимик на земле. Я — Дон-Кихот науки, а это мой верный оруженосец. Я открыл эликсир мировой радости. Он делает всех больных здоровыми, всех грустных — весельчаками. Он делает врагов друзьями и всех чужих — знакомыми.

— Это вы так играете? — спросил Оська.

На это Кириков, облизавшись, ответил, что его эликсир — не игра, а серьезное научное открытие. В пещере, оказывается, помещалась лаборатория эликсира. Алхимик сказал, что через год, когда он закончит последние опыты, он опубликует свое открытие. Тогда он роскошно отремонтирует весь дом, проведет электричество и самый верхний этаж целиком отдаст нам под Швамбранию. Но пока мы обязаны молчать, молчать и молчать.

— И мой эликсир, — закончил алхимик Кириков, — эликсир мировой радости, я назову в честь моих молодых друзей — эликсир «Швамбардия».

— Не Швамбардия, а Швамбрания! — рассердился наконец Оська. — Выговорить не можете, а еще алфизик.



— Не алфизик, а алхимик! — так же сердито сказал Кириков.

Мы были еще несколько раз гостями алхимика. Алхимик Кириков и его ассистент Филенкин оказались при свете людьми очень гостеприимными. Они посвящали нас в свои успехи и с охотой слушали наши швамбранские новости. Алхимик даже помогал нам управлять страной Большого Зуба. Швамбрения процветала.

Они работали по ночам. Их тайный дым улетучивался во двор. Труба была искусно замаскирована. Иногда мы даже помогали им и кололи дрова. Но эликсир нам не показывали, говоря, что он еще не вполне составлен. Однажды мы застали их очень веселыми. Они тихонько пели песни и осторожно хлопали в ладоши. Тут же топталась какая-то толстая баба в расписных чесанках и цветной шали.

— Видишь, какая она счастливая? — сказал алхимик. — Она попробовала первые капли эликсира мировой радости... Это Аграфена... то бишь, Агриппина, царица, швамбранская... Мы коронуем ее, венчаем на престол... Ура!

— У нас царицев нет, — мрачно сказал Оська.

— Правда, — объяснил я, — мы бы с удовольствием, ей-богу, но ведь Швамбрания — республика... Вот женой президента — это можно.

— Хорошо, — сказал алхимик, — пусть будет женой президента. Аграфе... Э-мюэ... Агриппина, ты хочешь быть женой швамбранского президента?

— Даешь! — сказала Агриппина.

Донна Дина и кузнечики

Из Москвы к нам приехала жить молоденькая двоюродная сестра. Звали ее Донна Дина или Диндона. Дина — это было ее настоящее имя. Донной ее прозвали за черные волосы и глаза, блестящие, как крышка пианино, и зубы, ровные и чистые, как клавиши.

Тетки нас предупредили, что мы должны звать ее кузиной, что по-французски обозначает двоюродную сестру. А мы для Дины были по-французски кузены. Но Дина оказалась совсем свойской девчонкой. Услышав от нас: «Здравствуйте, кузина», она расхохоталась, причем засмеялись сразу и глаза, и зубы, и волосы.

— Ну, тогда здравствуйте, кузнечики! — закричала она. — Чем занимаетесь?

— Швамбранией, — ответил Оська, почувствовав к Дине необыкновенное доверие. — Потом еще солому таскаем, гулять ходим... Будешь с нами ходить?

— Непременно, — сказала Дина, — а то я без вас заплутаюсь в Покровске. И так еле вас нашла... Эта буржуйка Шатрова, очевидно, была очень богатой женщиной... У нее столько домов...

— Какая это Шатрова? — удивилась мама.

И Дина рассказала, что она спросила на улице, где здесь квартира доктора. Ей сказали: «Вон дом шатровый». (Дело в том, что дома в провинции называются «флигелями», если крыша имеет два ската, и «шатровыми», если крыша шатром, в четыре ската.) И вот Дина пошла спрашивать встречающих: где здесь дом гражданки Шатровой? Ей указали восемь домов. В третьем она нашла нас.

Даже Оська признал ее красавицей. Она носила настоящую матроску, подаренную ей знакомым кронштадт-

ским моряком, и это нам нравилось. Мы водили ее по Покровску. Мы показывали ей наши развалины. Но об эликсире и алхимике ничего не сказали. О Швамбрании Дина расспрашивала очень внимательно. Она только немножко удивилась, что у нас в такое интересное время есть еще потребность в сверхъестественном. Она сказала, что это просто срам и пора работать. Так мы дружили гуляя.

Парни при встрече с Донной Диной почтительно уступали ей дорогу. Они толкали друг друга локтями в бок и долго смотрели вслед. «Ось гарненькая!» — доносилось до нас. И мы с Оськой сияли от гордости за нашу Дину.

На третий день своего приезда Дина, к нашему восторгу, прищемила теткам хвосты, то есть подолы. Она накинулась на них, что они старорежимно воспитывают нас. Она говорила, что это преступление — не давать выхода общественным чувствам, которые кипят и бурлят в нас.

— Правильно, — согласился Оська, — у меня тоже иногда, ох, и бурлят чувства!.. Особенно после тыквенной каши.

Дина стала тискать Оську и объяснять ему, что он не совсем понял ее, но это ничего. Спор продолжался. Тетки заявили, что они давно уже отступились от нас, что мы попали во власть улицы и большевизма, а это, по их мнению, одно и то же. Тут тетки стали говорить такие гадости, что Дина вскочила и ударила звонкой ладонью по столу. Она стала очень румяной.

— Я забыла, кажется, рассказать, — сказала Дина, — что меня приняли в партию. Я коммунистка.

— Без пяти минут? — язвительно спросил Оська.

— Нет, уже без году неделя, — смущенно, но весело отвечала Дина.

Тетки молчали, разинув рты. Потом рты осторожно закрывались.

Когда Фектистка утвердил фамилию

— Дорогие кузнечики, — сказала вскоре Дина, — широкие просторы открылись для вашей энергии и фантазии. Но будьте общественны, дорогие кузнечики. Пора!

Она была назначена помощницей Чубарькова и заведующей детской библиотекой-читальней.

Тетки определили детскую библиотеку так: общедоступной детской библиотекой называется узаконенный рассадник болезнетворных микробов, которые в обилии содержатся в старых книгах, заношенных, как белье старьевщика.

А Дина мечтала о библиотеке так:

— Это не просто прилавок, кузнечики, не просто пункт раздачи книг. Детская библиотека — это будет главный штаб ученья и воспитания ребят вне школы... Любимый ребячий клуб. Каждый — сам хозяин. Научим книжку уважать... Ох, кузнечики, мы такую красоту разведем, куда вашей Швамбрании! Все ребята к нам запишутся... Вот увидите.

Но, чтоб разводить красоту, понадобилось прежде всего расширить помещение библиотеки. Требовалось занять соседние комнаты. Там продолжали жить какие-то буржуи, хотя Уотнаробраз давно приказал их выселить. Дина решительно приступила к выселению. Она захватила для храбрости меня.

Заодно я мог начать работу в библиотеке.

Я застал Дину проверяющей каталог и книжные формуляры. Кругом нее сидели оборванные ребятишки. Я узнал многих уличных врагов, худеньких привокзальных ребят, коренастых ребят и девочек с Бережной улицы, где жили рыбаки с Сазанки, парней с консервного и костемольного. Одни из них помогали надписывать карточки, другие подклеивали разорванные книги, третьи, стоя на стремянках, устанавливали книги на полках. Все работали с веселой и в то же время сосредоточенной поспешностью. Это была первая ребячья книжная дружина, организованная Диной. Дину ребята, видно, уже успели полюбить. Они беспрерывно теребили ее всяческими распросами.

— Донна Дина, а Донна Дина! — спрашивала востроносенькая девчурка в огромной шали, завязанной на спине. — Донна Дина... кто это такая — хижина дяди Тома?

— Донна Диновна, — кричал кто-то со стремянки, — Лермонтов — это город или название книги?

— Вот, ребята, примите еще помощника, — сказала Дина, указывая на меня. — Ухорсков, запиши-ка его.

Меня внутри немножко покорило. Я вовсе не собирался быть тут каким-то второстепенным подручным.

Я полагал, что меня пригласили на роль предводителя. Однако я решил пока молчать.

— А мы тебя знаем, — сказали ребята, — ты врачей сын... Тебя не заругают, что ты с нами?

— При чем тут заругают? — обиделся я. — Теперь весь народ равный.

Высокий и скуластый дружинник, по фамилии Ухорсков, подошел ко мне.

— А ты чем хочешь быть, когда вырастешь? — спросил Ухорсков. — Тоже доктором?

— Я хочу быть матросом революции, — сказал я.

— Хорошее дело, — сказал Ухорсков. — А я мечтаю — летчиком.

Пришел комиссар Чубарьков. Мы давно не видались с ним, и оба обрадовались.

— Ого! Подрастаете, поколение! — сказал комиссар, ласково оглядывая меня. — Ну, что, папан с фронта пишет?

И мы пошли выселять. К моему ужасу и конфузу, выселяемые буржуи оказались близкими родными Тая Опиловой, и сейчас Тая сидела здесь же, на сундуке. Я ощутил минутное замешательство. Тая смотрела на меня с презрением, негодованием, укоризной... Как только она еще не смотрела! Мне захотелось плюнуть на все и смыться.

— А еще докторов сын! — сказала Тая.

И это спасло меня.

— Лучше быть докторовым сыном, чем буржуевой дочкой! — обозлился я.

— Точка! — закричал комиссар. — Отбрил, и ша.

Ухорсков опять подошел ко мне. Он сказал шепотом:

— Приходи вечером на газетный кружок. Председателем тебя выберем. Ты боевой стал.

— А раньше-то ты меня знал? — удивился я.

— И очень ясно, что знакомый был, — отвечал Ухорсков. — Ты вот меня только не признал. А я, помнишь, вам таз лудил, ведро починял. Фектистка я. Теперь в детдоме живу. У хозяина струмент реквизирует. И зажигалки делаю. Хочешь, тебе пистолетом сделаю? Чик — и огонь!

— Я некурящий.

— Ну, бандитов пугать пригодится.

Я смотрел на высокого, уверенного Ухорского и с тру-



дом узнавал в нем робкого ученика жестянщика. Неужели же это тот самый Фектистка, на тощей спине которого мы когда-то впервые разглядели знаки различия между людьми, делающими вещи и имеющими их? У него теперь фамилия была!

На улице, у выхода из библиотеки, меня поджидал комиссар.

Он взял меня под руку.

— Послушай, — сказал Чубарьков равнодушно, — эта самая... товарищ Дина... она тебе кто? Сестра, что ль?

— Ну, сестра, — отвечал я сурово. Но, чувствуя, что это нечестно, добавил в подветренную сторону, чтобы комиссар не слышал: — Двоюродная...

— Образованная, видать, — с неожиданной грустью сказал комиссар.

— Еще как образованная! — расхвастался я. — Почти высшее учебное чуть не окончила.

Комиссар вздохнул,

Нет! Меня не избрали председателем газетного кружка. Динка сказала ребятам, что я еще не вполне сознателен, люблю мечтать о всяком вздоре и еще чего-то там такое... Этого я уж никак не ожидал от нее!.. И председателем избрали Клавдюшку. Да, да! Ту самую Клавдюшку, которая принималась в швамбранские войны только на роли пленной.

— Я, ребята, знаю, о чем товарищ Дина говорит про Лельку, — заявила коварная Клавдия. — Он все еще про одну страну воображает... Швамбрания, что ли. Играют так. Они и меня в плен садили. Только в этом теперь интересу мало.

Ребята поглядывали на меня насмешливо, но дружелюбно.

Никогда я еще так не стыдился своей Швамбрании. Динка улыбнулась.

— Ну, Клавдюшка, — сказала она, — роли, видно, переменились. Ты у нас нынче командирша и давно выбралась из всех пленов. А Леля все еще в плену швамбранском... Эх ты, братишка, кузнечик мой!..

Следовало бы, конечно, гордо встать и покинуть это собрание насмешников. Но Швамбрания показалась мне в эту минуту более сомнительной, чем когда-либо. Я почувствовал, что не смогу найти ни одного слова в оправдание игры. Она становилась явно ненужной, навязчивой и стыдной, как привычка, от которой хочешь отучиться. Клавдия, председательница, подошла ко мне.

— Ты не сердись, — сказала она, — не надо. Лучше, «чур, не игры»! Выходи из плена!

Она стояла рядом со мной, худенькая и задорная. Ни в какой Швамбрании она не нуждалась. Это было ясно. И я зачеркнул в нашей описи мирового неблагополучия пункт третий, последний, о «безземельных ребятах». Мне захотелось быть одного подданства с Клавдией. Я остался.

Меня целиком захватила шумная и деловая жизнь библиотеки. Я целые дни работал там после школы. Я ходил заляпанный красками, клеем, чернилами. Я был нагружен папками и заботами. За мной увязался и Оська. Он вскоре сделался общим любимцем. Его назначили заведующим

шахматным столиком. «И стуликом», — добавил Оська при избрании.

Ухорсков, Клавдя и я организовали литературный кружок. Через месяц вышел первый номер нашего журнала «Смелая мысль». Редактором его подписался я. К алхимику мы почти не ходили. День был занят библиотекой. По вечерам в читальне вслух разбирали газетные новости. Это были «большие новости», но не швамбранские, а с настоящих фронтов. Где-то в этих новостях участвовал Степка Атлантида и, может быть, отец.

Мы проводили доклады, устраивали широкие споры о книгах, литературные вечера и утра. Актеры и зрители были одинаково азартны. Слава о нашей библиотеке расходилась по Покровску все шире и шире. Десятки новых ребятишек ежедневно тянулись сюда со всех окраин — из Краснявки, из Тянь-Дзиня, с Осокорьев...

Мы отбивали свои пятки и пороги учреждений, добывая керосин и дрова для нашей библиотеки. Дина и ее помощница Зорька, тихая, добрая девушка, устраивали громкие скандалы в исполкоме из-за каждого полена. А когда раз дров все же не хватило до конца месяца, каждый из нас принес кто сколько мог. Маленькие замерзшие ребята приносили кто доску, кто филенку от шкафа, кто грудку щепок. Хотя у самих дома нечем было вытопить печи, они тащили. И снова затрепыхались дверцы печей. Вечером маленькие читатели, оторвавшись от книжек, слушали, как победоносно палят, салютуют искрами в печи их дрова. Каждый владетельно оглядывал комнату, шкафы, столы, соседей, каждый чувствовал себя хозяином. И веселая канонада голландок заглушала урчанье пустых желудков.

Чубарьков менял книги чуть ли не ежедневно. Он читал запоем и аккуратно посещал все наши спектакли, диспуты, вечера. Его звонкие, словно металлические, аплодисменты воодушевляли нас. Самого же его больше воодушевляло присутствие Дины. Дина имела на него, как он сам говорил, большое культурное влияние. Разные неосознательные говорили, что комиссар просто влюблен. Но это нас не касалось.

В разгар работы мы устроили большой вечер. Пригласили родителей наших ребят. В библиотеке произвели генеральную уборку, сняли всю паутину и повесили новые плакаты. Пришли почему-то только матери. Они поправляли гребешки на затылках и прятали большие руки под платком на животе. Им предоставили лучшие места. Дина и Зорька угощали их чаем без сахара, хотя и с повидлом.

Но совсем новое чувство общего хозяйствования и какого-то особого, огромного гостеприимства толкнуло меня и Оську на подвиг.

Я оделся, чтобы сбежать домой.

— Швамбранский сахар? — спросил Оська, поняв меня.

— Безусловно! — сказал я.

Дина была искренне тронута. Я представлял себе, что бы вышло, если бы все это видел Степка Атлантида.

«Вот, Степка, — сказал бы я, — отдаю на общую пользу всю сладкую частную собственность».

«Молодец парень! — сказал бы Степка. — Так и должен действовать матрос революции».

И с гордостью, распирающей наши сердца, наблюдали мы, как матери пили чай со швамбранским сахаром вприкуску.

Мы ставили в этот вечер второе действие «Женитьбы» Гоголя.

— Глянь, глянь, Петровна, — восхищались в зале матери, — мой-то как ногами выступает! Чистый кавалер!

— Батюшки! Нюрка это, ей-богу, Нюрка... Обрядилась до чего... Не признаешь.

— А Нинка-то, Нинка наша!.. Скажите на милость, ну откуда форс берется?

— Энтот тощенький чей?.. Докторов?.. То-то, я вижу, больно аккуратно выражается.

— Сергунька-то мой до чего свою обязанность выучил... Вот бес!.. Поперед всех частит... Который в будке, вопреки небось ему подсказывать.

— Степанида, а Степанида, где ж твой-то?

— Моего не видать: он занавес держит.

Успех был сокрушительный. Артисты едва не задохнулись в материнских объятиях зрителей. После спектакля

Оська читал описание украинской ночи из «Сорочинской ярмарки».

Зал уселся и затих.

— «Знаете ли вы украинскую ночь?» — с чувством начал Оська.

— Нет, нет!!! — закричал зал. — Не знаем! Просим! Просим!

— «Нет, вы не знаете украинской ночи!» — продолжал немного смущенный Оська.

— Ясно, не знаем, — согласились матери. — Откуда нам знать? Какое наше воспитание было!

Потом ребята водили матерей и показывали свои плакаты, рисунки, журналы, доску газетных вырезов.

— Ишь ты, целое у них тут государство! — говорили матери.

Начались игры и танцы. Матери сперва жались к стене, смущались, но Динка и Зорька вытащили их на середину комнаты. Я грянул «Барыню» в четыре руки, считая пару Оськиных, и комната закружилась, как огромный волчок. У нас дома бывали елки и «вечера рождения», но никогда не было так весело и хорошо.

— Ну спасибо вам, Донна Диновна, — говорили матери, безудержно улыбаясь, — и вам, Зоренька, и вам, ребятки. Спасибо. Наша-то молодость сгилла уж... Дожили хоть на ребят своих в радости посмотреть... Спасибо вам.

— Себя благодарите, — говорила Дина, — все это в ваших руках.

Озорница Клавдюшка потащила меня в «комнату сюрпризов». Один угол комнаты был задрапирован красивыми занавесками. Сверху висела доска с надписью: «Панорама. Вид в лунную ночь зимой».

— Хочешь посмотреть? — спросила Клавдя. — Плати фантик.

Я заплатил какой-то фант. Клавдя привернула лампы в комнате.

— Гляди! — сказала она, раздергивая занавески.

Я увидел золотую раму. В нее был вправлен чудесно изготовленный ночной зимний ландшафт. Голубое молоко луны заливало панораму. Отлично были скопированы покровские амбары. Стройная водокачка стояла посреди пустынной площади. В крохотных домах горели красные огоньки.

— Похоже? — спросила Клавдя.

— Очень! — сказал я. — Только красивее гораздо, чем в действительности. Кто это сделал?

— Дина это сделала, — смеялась Клавдя, — и тебе обязательно показать велела. Гляди, гляди!

Вдруг я увидел, что через панораму движется миниатюрный извозчик. В ту же минуту игрушечная ночь отпрыгнула назад. Перспектива углубилась. Амбары обрели нормальные масштабы, и я понял, что никакой панорамы нет. Рама была вставлена в большом окне. Окно выходило на площадь. Я смотрел на обыкновенную ночь в настоящем Покровске. Никогда бы я не подумал, что эта прекрасная ночь и все, что было сегодня на нашем вечере, могло происходить на простой земле. Туман скучной недействительности пал на Швамбранию. Швамбранская почва ускользала у меня из-под ног. Но в эту минуту я услышал обидный смех. Я оглянулся. Дина стояла за мной в толпе ребят.

— Ну что? — сказала Дина. — Значит, тебе, выходит, золотая рамочка нужна? Тогда и Покровск в Швамбранию превращается? Эх, ты!

Ребята смеялись. Оська подошел ко мне. Он взял меня за руку. Мы стояли с ним в кругу хохочущих ребят. Смеялся Феоктист Ухорсков. Смеялась Клавдя. Мы с Оськой тоже собирались было принять участие в общем осмеянии страны Большого Зуба, но горячая кровь швамбран ударила нам в голову. Как они смели издеваться, в самом деле?

— Ну, поняли теперь, в чем фокус? — спросила Дина. Мы молчали.

— Я вам объясню, ребята, — сказала Донна Дина. — Тут виной всему старая пословица: там хорошо, где нас нет. Но вот один известный коммунистический писатель так писал: пролетариату незачем строить себе мир в облаках, потому что он может основать, и основывает, свое царство на земле. И для того у нас пролетарская революция, чтоб было там хорошо, где мы...

В треске аплодисментов я услышал отзвуки гибели развенчанной Швамбрании.

Мы с Оськой, взявшись за руки, гордо вышли из грохочущей комнаты.

— Куда? — закричали ребята. — Обиделись, швабры?

— Ничего, ничего, они вернутся, — уверенно сказала Дина. — Эй, кузнечики, послушайте!.. Ничего, они вернутся!.. Они вернутся работать, а не играть.

Нашествие иогогонцев

Кроме Уродонала Шателена, теток и адмирала Колчака, у революционного человечества имелся, по слухам, еще один опасный враг. Это была банда иогогонцев. Иогогонцы водились на Аткарской улице, на Петровской и Саратовской. Атаманом у них был рыжий Васька Кандраш (Кандрашов), идейным же шефом и вдохновителем состоял наш великовозрастный Биндюг-Мартыненько.

«Ио-го-го! Ио-го-го! Не боимся никого!..» — таков был воинственный клич иогогонцев, с которым они обходили свои уличные владения.

Наша библиотека не избежала их нападения. Они явились в воскресенье, за неделю до того вечера, когда мы ушли. Их было человек пятнадцать. Они шли тесной настроженной толпой. Васька Кандраш вышел вперед, к столу Донны Дины.

— Ну-ка, отпустите мне какую-нибудь книговинку, — сказал Кандраш, — только поинтереснее. Буссенар Луи, например! Нет? А Пинкертон есть? Тоже нет? Вот так библиотека советская, нечего сказать!

— Мы таких глупых и никчемных книг не держим, — сказала Дина, — а у нас есть вещи гораздо интереснее. Вот, я вижу, вы парни боевые. А у нас каждый читатель — хозяин библиотеки. Хотите быть «боевой дружиной порядка»? Будете охранять порядок в читальне, нести караул у книжной выставки. А то у нас разные хулиганы книги рвут и сорят. А я на вас надеюсь.

Это было очень неожиданно. Иогогонцы опешили. Банда переглядывалась.

— Небось ты у них главный атаман? — спросила Дина Кандраша.

— Я, — отвечал тот, польщенный. — А откуда ты... вы узнали?

— Кто же не знает! — сказала Дина. — Ну, так как же? Можно доверить тебе порядок?

Июгогонцы опять застеснялись.

— Вполне можно! — скромно сказал Кандраш. — Чего снегу натаскали в помещение? — накинулся он вдруг на своих. — Хворые, что ль, не можете валенок обмести? Вон как навозили!..

Июгогонцы, неловко толпясь, вышли в сени. Они долго и тщательно вытирали там ноги. Потом они повесили свои шапки на вешалку.

Но Биндюг не простил своим июгогонцам измены. Мстительный и разъяренный, настиг он меня, когда я проходил однажды мимо библиотеки. Биндюг считал меня главным соблазнителем июгогонцев. Он сграбастал меня за лацкан шинели. Разговор был краток:

— Ты?

— Я!

— Н-на!!!

Когда я с трудом открыл глаза, была драка. Ухорсков и июгогонцы валили Биндюга. Я вскочил и ринулся в омут драки. И меня приняли как своего.

— Все на одного?! — кричал Биндюг.

— Нет! Все за одного, — отвечали ему и били.

Никогда еще, наверно, Биндюг не получал такой трепки. Я твердо знал, за что бьют Биндюга. Это был настоящий и окончательный враг. Может быть, он и был парень-«гвоздь». Все равно его надо было так. Линия, разделяющая мир на два лагеря, стала для меня ясной. Биндюг был там. Я был здесь, с ребятами, к которым вернулся из Швамбрании. Меня приняли в драку, и я бил Биндюга с огромным удовольствием. Я лупил его от себя лично и за Стенку. Я колошматил его, как беглый швамбран, и дубасил, как матрос революции. И мы отколотили его.

Большие новости

Ликующий, возвратился я с поля битвы. Голова кружилась от победы и от жестокой затрепины Биндюга. Оська встретил меня в передней.

— «У-ра, у-ра! — закричали тут швамбраны все», — пел я.

— Большие новости, — глупым голосом сказал Оська. Все сидели вокруг стола. Несчастье лежало на столе, длинное, как щука.

— У папы сыпняк... — сказала больничным шепотом мама. — Сообщения с Уральском нет... Телеграмма шла девять дней... Может быть, он уже...

(«У-ра... ў-ра... — и упали...»)

Мне дали воды, и я сам поднялся с пола.

Две недели потом мы ничего не знали об отце. Две недели мы не знали, как надо говорить о нем: как о живом или как о покойнике.

Две недели мы боялись говорить о нем, ибо не знали, как спрягать глаголы с папой: в настоящем времени или уже в прошедшем.

И в эти трудные дни нам сказали, что убит Степка. Он умер как герой, Гавря Степан, искатель Атлантиды, и об этом говорили разное. Лабанда, Володька Лабанда, рассказывал, что ему говорил один боец, будто захватили Степку белые и сказали:

«К стенке!»

И будто сказал Степка:

«Мне не привыкать... Меня в классе каждый день к стенке становили».

Может быть, это Лабанда сам выдумал, не знаю. Но факт: убили. Погиб Гавря Степан, по прозвищу Атлантида. Не увидит он меня матросом революции. Я не выйду встречать его в латаных валенках, с прелой соломой в опухших руках, и писать о нем дальше уже нечего.

Плохо.

Возвращение

Город гложет в снегу, как ухо, заложенное ватой. Сугробы катятся по вспухшим улицам. Дворы полны до края заборов, как мучные лари. Холодно. Мглистое небо течет, цепляясь о трубы. На трубах небо навязло, как водяные травы на сваях, и струится кизячными дымками. Холодно. Заносы осадили город. Где-то в степи мерзнут санитарные поезда. И, может быть, отец...

Вчера один поезд вырвался из заносов. Я побежал встречать его. Поезд подошел. Стал. Никто не выходил из

вагонов... Это был поезд мертвых. Больные померзли в дороге. Трупы складывали на перроне.

Но папы среди них не было.

Холодно. Тоскливо. Очень хочется пойти в библиотеку поработать с ребятами, разобрать книги, потолковать о сегодняшней газете. Но мне все еще неловко показываться туда после разгрома Швамбрании. А что Швамбрания? Львиное чучело, набитое трухой. Хлопушка без сюрприза. Даже Оське скучно уже играть в нее.

От скуки мы идем навестить алхимика. Утопая в снегу, пробираемся в подземелье. Отвратительная картина. Они, очевидно, все перехватили лишние дозы эликсира. Филенкин валяется на полу. Жену швамбранского президента Агриппину тошнит в углу. Только алхимик еще держится на табурете.

— Хочешь... эликсир? — предлагает он мне плещущийся стакан. — Бу... будешь веселый, как я...

Я беру стакан из его неверных пальцев. Мерзкая вонь сивухи бьет мне в нос. Да ведь это же... Ужасная догадка!.. Это самогон!

— Хе-хе! Конечно, самогон, — говорит алхимик, — чистый изюминский... э-мюэ... собственной гонки... э-э... мой эликсир «Швамбрания»... Ваша Швамбрания тоже... э-мюэ... самогон своего рода... Кустарная фантазия, мечта собственной перегонки...

Не дослушав, мы выбегаем. Что за несчастья сыплются на нас! Неужели мы были помощниками самогонщика?.. Кустарная фантазия!.. Мечта собственной перегонки!.. Совершенно удрученные, мы рано ложимся спать. Без мечты и свистков. Сон, неудобный и рыхлый, как сугроб, принимает нас.

Глубокой ночью нас будит резкий стук. Оська продолжает спать. Я вскакиваю. Я слышу слабый голос отца. Жив!!! Его вводят по лестнице. Шаги неуверенны, редки. Он желт и страшен, папа. Борода, огромная, как манишка, лежит на груди. Он снимает шапку. Мама бросается к нему. Но он кричит:

— Не смейте никто подходить!.. Впи... Я вшивый... Умыться сначала... И поесть... Картошки бы...

И голос его трясется вместе с головой. Мы разжигаем «буржуйку», жарим картошку, греем кофе. Мы ставим на стол праздничную лампешку. Прямо пир горой...

Вода для мытья согрелась. Мы уходим в другую комнату. Мы слушаем, как стучит мыло о папины кости. Через четверть часа нас зовут обратно. Папа, в чистой рубашке, умытый и не такой уже страшный, рассказывает о фронте. Пока он рассказывает о себе, он говорит спокойно. Кажется лишь, что непривычная борода тяжелит речь. Но вдруг он начинает задыхаться от волнения. Он плачет:

— У меня больные... умирающие... в коридорах валялись на замерзшей моче... в три вершка... Я же врач... и я не могу...

Мама успокаивает его. Отец приходит в себя. Он пьет кофе и наслаждается комфортом. Он глядит на меня.

— Здорово вытянулся, — говорит он и знакомым жестом ущемляет мне нос.

— От рук совсем отбился, — спешат пожаловаться тетки. — Все книжки растаскали пролетариям...

— Оставьте вы свои мерки, — говорит, волнуясь, папа. — Мне странно... как можно в такое время корпеть над мелочами? Если бы вы видели, какие лица были у наших, когда они гнали этих... Если бы вы...

Через час мы расходимся спать. Итак, я сдал дежурство главного мужчины. Но тут я чувствую, словно какой-то пояс, стягивавший меня все это время, словно этот пояс распустился. Я ощущаю, как у меня внезапно разрежется дыхание. И, бросившись головой в подушку, я невыносимо глубоко и сладостно плачу. Я плачу сразу и за папин сыпняк, и за свои волнения, и за уральских красноармейцев, и за бедного Степку, и за самогонную обиду, и за многое еще другое... Но ни одна из этих слез не орошает почвы Швамбрании. Ни одна.

Утром я пойду в библиотеку.

Огонь и пепел

Бронепоезд влетел в город. С вокзала его перевели на внутреннюю городскую ветку. На этой ветке почковались все старые амбары, и она называлась Амбарной.

Бронепоезд, лязгая, появился на Амбарной ветке. Он невежливо и назидательно ткнул в лицо Брешки и Лабазов свои орудия. Пегие, в камуфляже, бока броневагонов были помяты в боях. Особенно пострадал паровоз. Ему разворо-

тило перед. В грязно-зеленом своем панцире он напоминал огромного воинственного рака с оторванной клешней. Выведя свой бронесостав на ветку, он, пятясь, ушел на станцию чиниться.

Мы в это время, по заданию комиссара, снова рисовали в библиотеке плакаты:

НА БОРЬБУ С ТИФОМ!

Опять, не щадя сил и красок, мы уснащали изображаемых насекомых чудовищным количеством ножек, сяжков, усиков. Опять многоножки, сороконожки, стоножки выползали на наши устрашительные плакаты, а под этим нанизывались уже заученные строчки стихов собственного изготовления:

При чистоте хорошей
Не бывает вошей.

Через несколько дней все было готово. Мы собирались сдать работу. Мне сказали, что комиссар заседает в бронепоезде. Я понес туда готовые плакаты. Глухой и замкнутый в себе, костенел в тупике бронепоезд.

— Куда ходишь? — спросил меня часовой.

— К товарищу Чубарькову с личными плакатами, — гладко отвечал я.

— Предъявь, — сказал часовой и долго смотрел на плакаты, развернутые мною. — Здрово! В точности, — сказал он наконец. — Ну, проходи.

Я тихонько вошел в вагон. Меня не заметили.

Там было накурено. Председатель Чека был там, комиссар и еще много народу. Было полутемно и глухо, как в каземате. Люди в вагоне были взволнованы. Броневая толща, надетая на вагон, давила и успокаивала их. Говорил очень худой человек в кожаных штанах и коротком тулупчике.

— Я, как командир бронепоезда, — говорил он, — заявляю, что бойцы, орудия и боеприпасы в полной мере готовы. Задерживает ремонт паровоза. За железнодорожниками — вот за кем дело стало.

— Ну что же, — сказал председатель Чека, — в таком разе обсуждать нечего. Подождем, что железнодорожники скажут. Сейчас Робилко явится, расскажет... Спать вот только клонит. Я четыре ночи не рассупонивался...

— А если нет? Точка! — сказал комиссар и яростно задымил, с остервенением стряхивая пепел на стол.

— Слушай, друг, — обратился к нему командир бронепоезда, — соблюдай боевую гигиену и не сори. У меня тут чистота и порядок. Пепельницу, видишь, специально приспособил. Ребята где-то выменяли... Диковинная вещица. Тряхай туда.

И он подвинул к комиссару едва различимую в полумраке странную на вид пепельницу. Комиссар зло ткнул окурок в ее отверстие.

— Удар их назначен на завтра, — сказал комиссар. — Если броневик не заслонит, то нашим найдут в тыл. Дело в паровозе. А если нет? — повторил он.

— А если нет, — сказал председатель Чека, — так я сам поеду туда. Покалякая. Я за рабочую братву не опасаюсь. Не выдадут. Свои. Вот мастера, техники... Ну, если саботаж, так у меня разговор будет короткий.

И он встал. Он тяжело прошелся по вагону, упорный, беспощадный, совсем не такой, как тогда был в Чека, когда хохотал над швамбранской историей. И комиссар здесь был совсем новый, иной, чем обычно. Он и говорил проще, почти без «точек и ша», хорошо, ладно говорил. Он был среди своих, до конца своих. Он был в деле, в своем деле. Огромная забота стискивала его сердце и челюсти. Впервые застиг я революцию в ее рабочей, деловой маете. Впервые вот так, в упор, вплотную, разглядел я ее не с швамбранских вершин и не из домашней подворотни. И дело этих по-новому увиденных людей показалось мне трудным, опасным, но единственным настоящим делом.

Робилко ворвался в вагон. Я знал машиниста Робилко. Он в февральские дни семнадцатого года помогал нам, гимназистам, свергнуть директора. Робилко ворвался в вагон.

Все вскочили.

— Ну?! — закричали все.

— Рабочие-железнодорожники, — сказал Робилко, — велели вернуть вам ваше воззвание. Оно не нужно им, говорят они. Они, говорят, наизусть помнят, что для них такое есть революция... И свою пролетарскую обязанность в смысле ремонта паровоза заверяют выполнить, хоть и не спамши, завтра к утру...

.

Бронепоезд уходил днем. Играл оркестр железнодорожников. Комиссар сказал речь. Паровоз рывкнул. Потом рванул.

В эту минуту сквозь бойницу среднего вагона высунулась чья-то рука. Она держала вчерашнюю диковинную пепельницу и вытряхивала ее. Бронепоезд уходил. Бойница поравнялась со мной. И теперь только я узнал в пепельнице наш ракушечный грот — грот Черной королевы, бывшееместилище нашей тайны... Пепел и окурки сыпались из него, пепел и окурки.

Земля! Земля!

В библиотеке происходило экстренное собрание всех читателей. На этот месяц мы остались без дров. Отдел отказал. Библиотеку приходилось закрывать. Комиссар мрачно шагал по залу. Ребята чуть не плакали.

Вдруг мне в голову пришла такая ослепительная мысль, что я даже зажмурился. Все посмотрели на меня, ничего не понимая.

— Товарищи, — закричал я, — предлагаю разобрать на дрова Швамбранию!

— Швамбранские дрова годятся только для отопленья воздушных замков, — сказала Дина. — Забудь про Швамбранию.

— Да нет же, — сказал я, — я не про то... Дом Угря знаете? Там досок всяких, бревен, обломков полно внутри... Это наша тайна была... Мы там играли с Оськой и видели... Давайте сделаем субботник и запасемся дровами. Черт с ней, со Швамбранией... Для своих не жалко.

Сначала все молчали — так было неожиданно это заявление. Потом кто-то захлопал. Через минуту все кричали, скакали, аплодировали. Комиссар подхватил меня. Потолок трижды опустился над нами. Сердце замирало. Нас качали.

— Только оттуда надо двух алфизиков выгнать, — сказал вдруг Оська, когда его поставили на пол.

— Каких алфизиков? — спросила Дина.

— Алхимиков, — объяснил я.

— Ну, алхимиков, — сказал Оська. — Они там самогоном пьянствуют.

Комиссар ничего не сказал. Он что-то черкнул в блокноте и быстро вышел.

Швамбрания рушилась. Субботник подходил к концу. Отъезжали груженные сани. Я стоял в цепи и передавал налево доски, которые получал справа. Доски в руках у меня перевоплощались. Справа я получал их еще как куски Швамбрании. Налево я передавал их уже только как дрова для библиотеки. Работа шла мерно и четко. Поцарапанные руки устали; мороз ел кожу сквозь прорехи рукавиц. Но было приятно чувствовать, что левый товарищ так же связан с тобой, как ты с правым, а правый — со следующим, и так далее. Я стоял ступенькой живой лестницы, по которой шла на полезное сожжение призрачная Швамбрания...

Группа наших ребят вместе с комиссаром, Зорькой, Динкой и Ухорсковым валили уже расшатанную стену высокой галереи.

Вдруг раздался чей-то испуганный крик:

— Стойте! Погодите!..

Все всполошились. На верхушке шатающейся галереи показалась маленькая уверенная фигурка. Это был Оська.

— Отсюда как красиво! — сообщил сверху Оська. — Далеко все видно...

— Ша! Слезай оттуда сейчас же! — закричал не своим голосом комиссар. — Нет! Стой!.. Я тебя сейчас сам сниму.

И комиссар, как кошка, полез вверх сквозь отверстия этажей. Галерея грозно трещала. Комиссар показался в верхнем окне дома.

— Осторожно! Товарищ Чубарьков! — кричали комиссару снизу.

Но комиссар бесстрашно вылез на карниз. Одной рукой он цепко держался за осыпавшийся край оконного проема, другой он водил по стене, ища опоры. Так он, осторожно двигаясь по карнизу стены, почти уже дотянулся до Оски.

— Тихо, спокойненько, ша! Не балуй, — приговаривал комиссар.

— Правда, отсюда красиво? — спросил спокойно дождавшийся его Оська.

— Сигай сюда, и ша! — зарычал комиссар, протягивая руку.

Он подхватил Оську и втянул его в окно. Через секунду галерея обрушилась. Она осела, как лавина, грохоча и подымая клубы снега.

— Всю бы ты нам музыку изгадил, — сказал комиссар, ставя Оську на землю.

Обломки Швамбрании лежали вокруг нас.

— Все швамбраны погибли, как гоголь-моголь, — сказал неожиданно Оська.

— Не как гоголь-моголь, а как Гог и Магог, ты хочешь сказать, — засмеялась Донна Дина.

Я стоял среди этих воображаемых трунов, среди останков нерожденных граждан. Я стоял, как полководец на поле брани.

— Товарищи, — сказал я, — слушайте: я последние швамбранские стихи сочинил.

Стою на поле брани я...
Разрушена Швамбрания.
С ней погиб имен набор:
Джек, Пафнутий, Бренабор.
Арделяр, Уродонал,
Сатанатам-адмирал,
Мухомор-Поган-Паша,
Точка, и ша!
Каких имен собрание!
Прощай, прощай, Швамбрания!
За работу пора нам!
Не зевать по сторонам!
Сказка — прах, сказка — пыль!
Лучше сказки будет быть!
Жизнь взаправду хороша...

И все подхватили:

Точка, и ша!



ГЛАВА С ГЛОБУСОМ

Заменяет эпилог

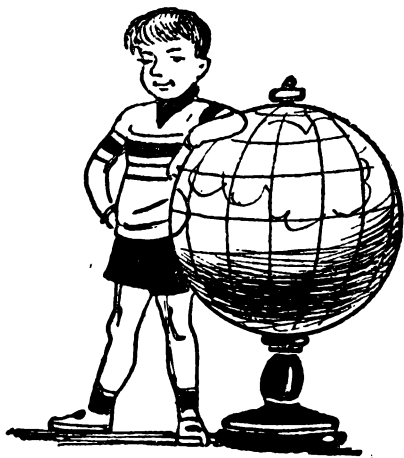
Повесть вся! Сейчас кончается книга.
Одну минуту! Я только возьму глобус. Глобус — вещь круглая и правильная. Сверяться с ним необходимо.

Цветистый шар вращается на подставке, словно его выдули из этого черного стебля. Но в нем нет радужной шаткости, готовности тотчас лопнуть, обязательных для мыльных пузырей. Глобус тверд, устойчив, весом.

Его берут за ножку и поднимают, как лампу или кубок.

Мы с Оськой были книжными мальчиками. Наше уважение к глобусу было чрезмерно. Мы не хватали его за ножку. Мы бережно принимали шар в руки. Он покоился на ладонях, в ореоле где-то слышанных от взрослых фраз про суету сует, про великое в малом... Он выглядел нагло, многозначительно и немного жутко, как череп Йорика в пытливых пальцах датского принца.

— А я догадался, почему знают, что Земля кругленькая, — говорил Оська, убедившись в не-научности гипотезы о местах, где Земля закруг-



ляется: — Я знаю почему, — говорил он. — Потому что глобус... шарообразный. Да, Леля?

Так бы и выросли мы, вероятно, пополнив известный отряд человеческого рода — отряд людей, на глобусе постигающих, что Земля — шар, людей, удящих рыбу в аквариуме, созерцающих жизнь через оконные стекла и узнающих голод по случаю диеты, назначенной врачами.

Спасибо эпохе! Размозжен быт, заросший седалищными мозолями. Нам крепко наподдали... Пришлось соответствующим местом убедиться, что Земля поката.

Что же касается глобуса, то мы давно поняли его истинную пользу и назначение: это не откровение, а просто наглядное учебное пособие.

Шар вращается. Проплывают океаны, проходят материки. Швамбраний нет. Нет и Покровска. Он переименован в город Энгельс.

Я был недавно в Энгельсе. Я ездил поздравить Оську отца. У него дочка. Когда я в Москве получил это известие, мною овладел, каюсь, приступ бывшего швамбранского тщеславия. Я придумал высокопарное надколыбельное слово, приготовил речь. (О беглянка из Страны Несуществующего! О дочь швамбрана!..) Я заготовил ряд пышных имен на выбор: Швамбразна, Бренабора, Деляра... Но вот пришло письмо от Оськи:

«Довольно! Довольно мы наплодили с тобой несуществующих ублюдков. Дочка у меня настоящая, и никаких швамбранцев и кальдонцев. Извини меня, но я назвал ее Натуськой. Будет, значит, Наталья. С братским приветом. Ося.

Кстати, если есть возможность достать в Москве материал на пеленки, купи какого-нибудь там полумадама».

Тут же была приписка Оськиной жены:

«Господи! Ответственный работник, диаматчик, Беркли и Юма прорабатывает, никогда ни одного тезиса не спутает, а вот вместо мадаполама — полумадам пишет».

И я снова посетил дом в Покровске.

Мы сидели в той самой комнате, откуда двенадцать лет назад я вышел походкой главного мужчины. В шахматном столике лежала дублерша нашей знаменитой королевы. На крышке пианино я отыскал царапины, полученные в Тратроче...

Полугодовая Натка таращилась кругло, розово и уже осмысленно. Я подарил ей погремушку: маленький глобус на длинной ножке.

Седой папа вернулся из штаба санпохода. Мама отзанималась с приходящими ликбезницами. Семейный натопленный вечер густел в комнате. И к ночи приехал из Саратова Оська. Он был курчав, хрипл и мужествен.

— Здорово, Леха! — закричал Оська. — Еле выдрался. Утром по судоремонту, днем в техникуме читал. Потом в райком! Сейчас с актива водников. Доклад делал об испанской революции. Ну, как Натка?

Я произнес прочувствованное надколыбельное слово, приветствие, речь.

— О ты, — говорил я, — ты, которая... — говорил я.

— Ну, хватит, — сказал Оська, закуривая, — хватит петь эти самые гамадрилы.

— Оська, — воскликнул я, — пора уже знать: не гамадрилы, а мадригалы!

— Тьфу! — сплюнул Оська. — Осталась дурацкая пуганица с детства... Кстати, Леля, разъясни, пожалуйста, мне раз навсегда: драгоман и мандрагор — кто из них переводчик и кто — ягода?

Потом я читал нашим «Швамбранию». Это было не совсем обыкновенное чтение. Герои повести вторгались в изложение. Они громогласно обижались и торжествовали, дополняли, опровергали, ссорились с автором и прощали его.

А Натка совала в рот свой глобусик. Потомок швамбран, она потрясала маленькой гремучей булавой.

— Я буду официален, товарищи, — сказал Оська. — Книга справедливо свидетельствует, что мы были никчемными и солидными дураками. Автору удалось разоблачить всю беспочвенность подобных мечтаний. Но он, к сожалению, не избежал мелкобуржуазной расплывчатости в отдельных характеристиках. Зачем, разоблачая никчемность и беспочвенность швамбранских мечтаний, ты как будто допускаешь перегиб... Ты хочешь лишить современность права на мечту. Это неверно! Надо это оговорить. Я сейчас...

И Оська вывернул на стол содержимое своего портфеля.

Книги и тетради выползли, трепыхаясь, на стол, как

рыбы из кошелки. Среди них я увидел маленькую записную книжку «Спутник коммуниста» и вспомнил покойного Джека, Спутника Моряков.

— Вот, — сказал Оська, открывая свой блокнот. — Вот что я здесь записал: «И если скажут: ну какое нам дело до всего этого, ведь мы для поддержания нашего энтузиазма не нуждаемся ни в какой иллюзии, ни в каком обмане... Это великое наше счастье. Но следует ли из этого, что мы... не нуждаемся ни в какой мечте? Класс, имеющий силу в своих руках, класс, действительно в трудовом порядке изменяющий мир, всегда склонен к реализму, но он склонен также и к романтике». Тут, понимаешь, надо разуместь под этой романтикой то же, что Ленин разумел под мечтой. И это больше не недостижимая фантастическая звезда, это не утешающая химера. Это просто самый наш план, самая наша пятилетка и дальнейшие сверхпятилетки. Здесь проявляется наше стремление сквозь все препятствия двигаться вперед. Это тот «практический идеализм», о великом наличии которого у материалистов говорил Энгельс в ответ на упреки узких материалистов в «узости и чрезмерной трезвости». Вот о чем надо было сказать, — закончил ученый Оська.

— Оська, — сказал я смиренно, — в книге много ошибок. Я сам это чувствую, но не умею еще исправить их. И не торопи меня. Все это надо пережечь в себе. Мне уже самому горько быть Джеком, спутником коммунистов. Я не хочу быть спутником, Оська! Я хочу быть матросом и буду им, даю тебе слово как брату, как коммунисту, как сказал бы я Степке Атлантиде.

Мы долго говорили потом с Осей. Дом улегся. А мы разговаривали шепотом, от которого першило в горле, как от воспоминаний. Последним парадом провели мы героев повести. Мы устроили как бы перекличку нашего класса «А».

— Алипченко Вячеслав! — вызывал я.

— Умер от тифа, — отвечал Ося.

— Алеференко Сергей? — спрашивал я.

— Секретарь парторганизации пристани, — отзывался Ося.

— Гавря Степан, по прозвищу Атлантида!

— Убит на Уральском фронте.

— Руденко Константин, по прозвищу Жук!

- Ассистент по кафедре аналитической механики.
- Лабанда Владимир!
- Инженер-кораблестроитель.
- Мартыненко, по кличке Биндюг!
- Раскулачен и сослан.
- Новик Иван!
- Директор МТС.
- Мурашкин Кузьма!
- Старпом парохода «Громобой».
- Портянко Аркадий!
- Ученый-ботаник.
- Федоров Григорий!
- Красный командир.
- Шалферов Николай!
- Погиб на хлебозаготовках.

Утром отец повез меня за город похвастаться новой больницей. Город был неузнаваем. На месте, где земля закруглялась, простирался прекрасный Парк культуры и отдыха. Пустырь, оставшийся после разрушения швамбранского дворца Угря, застраивался домами Мясокомбината. Пробежал автобус. Торопились на лекции студенты трех вузов. На бывшей Брежке выросли большие дома. Аэропланы реяли, рокотали над городом, но я не видел задранных к небу голов. Строились новый театр, клиника, библиотека. На горе красовался великолепный стадион.

Я вспомнил, что слышали швамбраны в Чека:

«И у нас будут мускулы, мостовые и кино каждый день...»

Пока сказка сказывалась, дело делалось.

Больница ослепила меня блеском окон, полов, инструментов.

— Ну что, — говорил папа, наслаждаясь моим восторгом, — было в вашей Швамбрании что-либо подобное?

— Нет, — признавал я, — ничего подобного не было.

Папа торжествовал.

Перед нашим отъездом в Москву мама извлекла из семейного архива в чулане большой щит с гербом Швамбрании: Королева, Корабль, Автомобили и Зуб...

Щит с гербом Швамбрании красуется теперь у меня в комнате. Он ехидно и весело напоминает со стены о на-

ших заблуждениях и швамбранском плене. Так, по преданию, повесил князь Олег свой щит на воротах Царьграда: дескать, помни, греки.

Но вот глобус полностью обернулся. Швамбрании на нем не обнаружено. Вместе с тем замыкается и круг повести, которая тоже совсем не откровение, а всего лишь наглядное пособие.

1928—1931; 1955



Вратарь Тестульки

Роман





Ж

ГЛАВА I

Некто Кандидов?

Жизнь Аптона была полна необыкновенных приключений, но знаменитым он стал в эти двадцать семь минут.

Когда рупоры стадиона объявили, что выбывшего из игры вратаря первой сборной заменит Кандидов (завод Гидраэр), эта фамилия никому еще ничего не говорила. Покидавший поле вратарь Колосков, по прозвищу «Старый», был прославленным и бессменным стражем футбольных ворот столицы и слыл лучшим голкипером страны.

Правда, в последние годы стали поговаривать, что Колосков сходит, что Старый уже не тот... Да и сегодня он играл неудачно. У него не клеилось. Первый мяч он промазал, второй били вмертвую, но, если бы Колосков не выбежал раньше времени из ворот, и этот гол можно было бы предотвратить.

Первая сборная проигрывала, проигрывала всухую: два — ноль. Кое-кто уже подсвистывал на трибунах. Матч был тренировочный — одна из первых игр весеннего сезона. Народу на трибунах было всего двадцать — тридцать тысяч. Соскучившиеся за зиму болельщики, любители неожиданностей, уже предвкушали крупный проигрыш первой сборной, сплошь составленной из «имен».

После свалки у ворот Колосков подозрительно захромал. Все были уверены, что это делается в оправдание плохой игры. Болельщики понимающие переглянулись. Никто не сомневался, что Колосков разомнется и останется в воротах. И сейчас зрители были ошарашены.

До конца игры оставалось еще двадцать семь минут. И в такой момент покинуть ворота!.. Обречь команду на полное поражение!.. А кем заменили? Что там, в совете, с ума сошли? Кандидов... Кто это такой Кандидов? Группа «Б»? Что еще за новость? Это имя решительно никому не было известно. Даже диктор, произнесший имя Колоскова сочным, раскатистым баритоном, споткнулся, неуверенно выговаривая фамилию новичка.

Стадион засвистел. И тут под свист и ироническое топотанье на поле выбежал рослый атлет. На нем был белый свитер. Синел значок завода Гидраэр на груди — пропеллер и буква «Г». На голове вратаря красовалась странная войлочная шляпка треуголкой. Такую нашивали старые волжские грузчики.

На трибунах неприязненно захохотали:

— Сними ермолку!

— Эй, малый, сними малахай!

Новый вратарь бежал неторопливо, широким и тяжелым махом.

— Иноходец! — кричали с трибун.

Голкипер вбежал в пустые ворота, на ходу обдернув фуфайку, подтягивая наколенники и поправляя перчатки. И тут все увидели, что он — гигант. Пока вратарь шел, это скрадывалось пространством поля. Но теперь, оказавшись

в стандартной, строго промеренной раме ворот, он поразил всех. Ему ничего не стоило, просто подняв руку, достать верхнюю штангу. Ворота как будто стали уже и теснее.

Он спокойно и хозяйственно осмотрелся, поправил сетку, притоптал большими ногами взрыхленный песок на площадке, где еще дымился прах недавней стычки. Всем показалось забавным, как он рукой попробовал, крепки ли стойки ворот. Потом он прислонился к одной из стоек — статная машина в свитере, гетрах, наколенниках, локотниках и прочих футбольных доспехах — и принялся лущить семечки. Он, не поднося руки, издали вбрасывал в рот подсолнухи, сплевывая за ворота. И все это делалось без спешки, обстоятельно. Болельщики обомлели от такой наглости. Да ведь пока такой повернется, мяч войдет и выйдет. После нервного сухопарого Колоскова спокойствие и медлительность новичка оскорбляли зрителей.

Вторая сборная тоже решила использовать уход Колоскова, чтобы окончательно разгромить противника. Игра покатила к воротам первой. По правой кромке мчался крайний нападающий — Цветочкин. Это был известный игрок. Он был обижен сегодня тем, что его поставили во вторую сборную. Он уже всадил два мяча Колоскову. Теперь он опять стремглав вырвался вперед. Он обошел, обвел защиту, погнался, помчал мяч. Он несся рьяно, зло, неудержимо. Мяч легкими, короткими рывками катился перед мелькающими ногами в полосатых гетрах. На трибунах стояли рев и вой. Однако исполинская фигура в воротах не проявила никакого смятения. Вратарь смахнул с губ подсолнечную шелуху и строго поглядел на нападающего. Того настигали защитники. Бегущий, чувствуя за собой погоню, с ходу, что есть силы поддал мяч ногой.

— Есть! — закричали на трибунах.

Но за мгновение до этого вратарь, в котором мигот исчезла его вялость, сделал два длинных и упругих шага в сторону; точно угадав направление удара, он спокойно поднял левую руку. И тут все увидели нечто странное. С огромной силой пущенный мяч в верхнем углу ударился о поднятую широкую ладонь. Вратарь даже не покачнувшись. Он сделал лишь пальцами легкое вращательное движение, словно ввинчивал мяч в воздух. Так ввертывают лампочку... Мяч, на мгновение пропавший в полете, стал снова видим в воздухе, у руки вратаря, словно вынутый

из пустоты. Мяч не отскочил. Он как бы прилип к недрогнувшей перчатке. На вратаря бежали, но он, шагнув навстречу, быстро отвел руку и, размахнувшись, высоко над головами нападавших выбросил мяч. Мяч упал далеко за центром, куда редко кто из вратарей и ногой мог выбить. Стадион коротко хохотнул, как один большой добродушный человек.

И вот тогда кто-то на трибунах сказал:

— Вот дьявол здоровый! Ему и ворота эти малы... ему только у Яузских стоять.

Эта грубоватая шутка мигом обошла по эллипсису стадион. Каждый из сидевших на трибунах слышал ее дважды: один раз дошедшую слева, другой раз — справа. И она стала дежурной остротой, долгое время сопровождавшей впоследствии игру Антона. Но старые болельщики видали виды. Их нелегко было пронять. Один эффектный мяч еще ничего не говорил.

— А малый-то с рисовочкой, — хрипло сказал один из них, известный в спортивных кругах под именем дяди Кеша.

— Это все афишка, — поддакнул его сосед.

— Для маленьких, — добавил дядя Кеша. — Словит пару — поумнеет.

— Факт!

Однако девушки уже просили у соседей одолжить им на минуту бинокль и разглядывали новичка. Они видели крупное простоватое лицо, темное от давнего загара. Светло-серые глаза смотрели с упрямством, которое пыталось выдать себя за спокойствие и мужество. Кожурки от семечек налипли на приоткрытый рот. Светились очень белые зубы. Загадочная седая прядка выбивалась из-под шлычки на прямой лоб. И владельцам биноклей пришлось поторапливать своих соседок. Но никто еще не подозревал, что имя человека в воротах скоро станет известным всему миру. Далеки были от этой мысли двадцать один игрок на поле и десять приятелей вратаря по заводской команде, которые сидели на трибунах и, волнуясь за товарища, в особо драматические моменты до синяков ципали друг друга. Сам новичок отмахнулся бы и сказал, что все это вздор. И только в третьем ряду, еще боясь верить, но исто-во желая этого, думал так Евгений Кар — Карасик, журналист.

Коробчатый змей

Женя Карасик всю жизнь завидовал Антону. Это была зависть восторженная и неизлечимая. Тошка и Женя были ровесники и в детстве жили по соседству. Дворы соприкасались. Но высокий брандмауэр разделял их. А дома, повернувшись друг к другу черными ходами, смотрели на разные улицы. Парадное крыльцо докторской квартиры выходило на мощеную и тенистую Большую Макарьевскую. Разболтанная калитка двора, где жил со своим отцом-грузчиком Тошка, хлопала на всю Бережную улицу, по крыши сидевшую в песке.

Улицы враждовали между собой. На перекрестках устраивали бои, выходили стенка на стенку. И Тошка был первым заводилой в этих стычках. От его рук, размашистых и скорых на драку, крепко доставалось противникам с Макарьевской. Пространство вокруг Тошки кишело, казалось, его кулаками, с такой быстротой он раздавал налево и направо тумачи. Рослому не по летам Тошке завидовал не только докторов Женя, как звали Карасика в детстве. Ему завидовали мальчишки даже с соседних улиц. Даже на самой Базарной площади и там ребята знали и боялись Тошку.

Во-первых, грузчиков Тошка был лихой биток. И его литок-панок — залитая свинцом бабка, раскрашенная химическим карандашом, — наводила ужас на игроков в бабки во всей округе. Заветный литок рядами косил «козны». В лапту никто не ловил таких высоких свечек. Противники блекли от зависти, когда, крикнув: «Дай свечечку!» — Тошка у самой земли, изловчась, брал падающий на него с огромной высоты литой мячик. Когда же он бил, «отпасться» было немислимо. Но главное — у него от рождения один вихор был совсем белый. Что бы там ни шипели враги о шельмах, которых сам бог метит, и они признавали: человек, столь таинственно отмеченный природой, не мог быть обыкновенным.

Да, было чему позавидовать. Когда Тошке исполнилось двенадцать лет, ему никто не давал меньше пятнадцати-шестнадцати. Он поднимал мешок-пятерик и почти на голову перерос своего отца, сутулого и приземистого крюч-

ника, с черной головой, вросшей в чудовищно широкие плечи. Отец Тошки славился своей силой среди грузчиков. Женя видел раз, как, балансируя на качающихся мостках, непостижимо легко ступая согнутыми ногами, сведенными предельной натугой, отец Тошки нес на спине рояль... Тошка унаследовал силу отца, рост и дородство покойной матери, которой он почти не помнил.

Женя и Тошка были знакомы лишь издали. Тошка всегда чувствовал свое превосходство над мелкой породой, к которой он причислял и Женю, а Женю предостерегала от знакомства с Тошкой Эмилия Андреевна, бывшая у них в доме за экономку.

Но Тошка властвовал не только на земле. Он был полон неожиданностей и никогда не мог довольствоваться чем-нибудь одним. Пресытившись уличными победами, он однажды продал свои знаменитые «козны-бабки» и через несколько недель безраздельно завладел небом над всем кварталом. Его змеи летали выше других и дрынчали громче остальных. Голуби его гона были самыми неутомимыми.

Змеи и голуби составляли все богатство Тошки. Он владел не менее чем двенадцатью парами самых лучших голубей. Здесь были лихие турманы, чеграши, пышные бантастые. Зобатые, напыженные голуби, похожие на Чичикова, разгуливали по приполку открытого летка. Ворковали москвичи и ступали мохноногие, словно битюги, черно-пегие. А около них топтались, похлопывая крыльями, гукая, переминаясь с ноги на ногу, как извозчики на морозе, ручные сизари Тошкиной охоты. И вся улица с завистью смотрела, как разом, тесной стайкой, снимались Тошкины голуби и кружились высоко в небе, словно чайники в стакане. А Тошка длинным шестом, как ложкой, мешал в небе. И свистеть так, как Тошка, никто из ребят не умел.

Замечательный, нестерпимый для ушей молодецкий посвист Соловья Разбойника извлекал Тошка из двух пальцев, засунутых в рот. И любители, слышав этот единственный в своем роде свист, с уважением глядели в небо и говорили:

— Тошкин гон! Гляди, какого турмана играет!

А знаменитые Тошкины турманы забирали в высоту, складывали крылья и камнем падали, штопорили вниз,

чтобы над самым коньком крыши вдруг расправить сжатое в комок тельце и на внезапно окрепших крыльях крутым винтом взвиться в небо. Недаром же любого соседнего голубя мог сманить своей стаей Тошка.

А змеи его!.. Большие, конвертом, с барабаном и телеграммами, избегающими по нитке наверх. Они лезли плоской своей грудью прямо на ветер, ныряли, снова взмывали вверх.

Женя тоже пытался мастерить змеев. Папа по его просьбе подарил ему книжку, в которой все было рассказано: и история змеев, и о Франклине, который запустил змея в грозу и поймал молнию, и о том, какие планочки, бумажки, нитки нужны.

Но Женю всегда влекли необыкновенные размеры и те формы, к которым книжка советовала приступать лишь после того, как простые виды будут пройдены и испытаны. Женя выдумывал красивые очертания. Он с жаром расписывал, раскрашивал змеев. Змеи были очень хороши в руках, но летать они не летали. Ветер, едва приняв змея из Жениных рук, с размаху швырял его о крышу, дрявя и круша хрупкое сооружение.

А у Тошки!.. У Тошки самые некрасивые, из дранок и газет, клейстером склеенные змеи взбирались по ветру легко, как пожарные по лестнице. Какой-нибудь простецкий «монах» — бумажный кулечек со шпагатным хвостиком, просто фунтик, наполненный ветром, и тот вилял над крышей с солидностью цепного барбоса, в то время как у других мальчиков змеи вились, словно малышки над отмелью. Но стоило появиться над двором какому-нибудь другому залетному змею, как тотчас взвивалась неумолимая Тошкина гаечка на веревке, взлетала ракетой, перехлестывая нить чужого змея. И вот уже он, плененный, трепыхался в Тошкиных руках.

Однажды папа привез Жене из Саратова невиданный готовый змей фабричного изготовления. Это был совсем необыкновенный змей — коробчатый! На двух крестообразных распорках держались четыре планки. На концах их был растянут красный и желтый шелк. Шелк был тугой и гулкий, как на раскрытом зонтике.

Женя тотчас помчался с ним на крышу. Запустить змея было нелегко. Он тыкался в жесть кровли, гремел и куролесил. Но потом он вдруг струной напряг нить и

взошел в небо, бесхвостый и диковинно нарядный. Он легонько дрынчал, ссаживался назад, потом снова совался вверх и вперед, словно долбил какую-то невидимую стену, как оса у оконного стекла. Это был час Жениного торжества. На всех дворах завистливо задирали головы, на всех крышах сидели мальчишки. Только не было Тошки. Впрочем, все равно было ясно, что Тошка потерпел поражение. И вдруг из-за амбарного мезонина на Тошкином дворе взвилась гайка. Она летела, как черный метеор, оставляя тонкий нитяной след, развертывая на лету бечевку. Женя обмер.

Но гайка не долетела до нити его змея.

— Сматывай, мотай! — кричали мальчишки.

Женя стал поспешно накручивать на вертушку. Змей не давался, подтаскивать его надо было умеючи. Змей рвался, тянул нить, водил из стороны в сторону, как большая рыба на лесе. И тут второй раз, словно гадюка, прыгнула Тошкина бечева с гайкой. Шпагатина легла на нить, гайка перекинулась, скользнула вниз. Напрасно Женя, перехватывая по очереди обеими руками нить, подтягивал свой змей. Подрагивающая шелковая коробка канула в глубину Тошкиного двора. Женя не выдержал и заревел на весь квартал.

Слезы капали на крышу, а Тошка для пущей обиды своим окаяющим говорком закричал:

— Эй, плакса, три копейки вакса! Э-эй, ведро подставляй под водосточную трубу-то, полное наберешь!

Сопя и всхлипывая, Женя побежал жаловаться папе. Доктор очень не любил, когда подаренные им игрушки ломались или пропадали. Он в таких случаях огорчался куда больше, чем сам Женя. Услышав о похищении змея, папа поднял очки на лоб, посмотрел на Женю невооруженным глазом и сказал:

— Ну вот, дари вам...

Дворник Родион был послан на тот двор. Вскоре он вернулся, неся в одной руке коробчатый змей, а другой держа за локоть похитителя. Женя невольно попятился. Так вот он, Тошка, гроза квартала. Босые ступни в коросте пыли, широкие протертые грузчицкие штаны, далеко не доходящие до лодыжек, желтая выгоревшая рубашка распояской и знаменитый седой клочок.

— А откудова я знал? — оправдывался Тошка. —

Что ль, написано на нем, что купленный?.. А сломато тут, это не я, так и было.

Тут надо пояснить, что по мальчишеским законам купленные родителями вещи считались неприкосновенными. Наставить синяков друг другу, заманить и угнать голубку, забрать все «козны», перехватить чужой змей — все это было можно, все это разрешалось. Но разбить очки у близорукого сынишки соседнего портного, изорвать рубаху противнику, украсть шапку... словом, вовлечь в расходы и навлечь родительский гнев — это считалось недопустимой подлостью. Женя не раз использовал это правило. У него были часы-браслет, и в драке он всегда держал левую руку у самого большого места — «под ложечкой». Ударить по часам никто не решался.

— Ну вот, и разбирайтесь тут сами, — сказал дворник Родион и пошел на кухню, чтобы получить у Эмилии Андреевны обещанную рюмочку.

Мальчики остались одни. Оба молчали.

— А это починить можно в два счета, — сказал Тошка, показывая пальцем на змея издали, но не трогая его. — И будет, как раньше... Кусачки есть?

Кусачки нашлись. Повреждение было мигом исправлено. Вскоре мальчики очутились снова на крыше. Вместе запустили змея и по очереди держали тугую, гудящую нить.

Тошка стал хвастаться, что он сделает змея, который будет поднимать человека. «Только бы крепкие бечевки достать».

— А правда, у тебя заводной паровоз есть, даже задним ходом может? — спросил потом Тошка.

Принесли паровоз. Паровоз мог действительно ходить и задним ходом. Это вконец сразило Тошку. Чтобы как-нибудь укрепить свою репутацию, он предался приятным воспоминаниям:

— Эх, как вчера один мальчишка с вашей улицы ко мне все лезет и лезет... Я кэ-эк дам ему! Он так и полетел. Пускай не лезет сам.

— У тебя мама есть? — спросил Женя.

— Нет, она в Астрахани померла на барже, от холеры. А у тебя?

— У нас мама живая, только она с папой характером разошлась, — отвечал Женя.

— Без матери эх и плохо, — сказал Тошка.

— Да, отсутствие матери весьма отражается, — произнес Женя фразу, которую он перенял от взрослых.

Некоторое время оба молчали. Женя показал Тошке свои книги. Книжки были очень интересные и невероятно красивые. Красные, с золотом, с картинками, от которых нельзя было оторваться. Там были нарисованы рыцари, путешественники и корабли.

— А я, хочешь, за три версты любой пароход отгадаю, — сказал Тошка.

— Ну да, как раз!

— А вот тебе и «как раз»! Айда на пристань!

Мальчики пошли на Волгу. По дороге Тошка старался блеснуть своими необыкновенными познаниями в самых различных областях.

— А вот отгадай, — говорил он внезапно, — на дубу три ветки, на каждой по три яблока, сколько всего?

— Ну, девять, — с чувством полного своего превосходства отвечал Женя.

— Эх, ты! На дубу разве яблоки растут? А еще гимназист!

Женя был уязвлен. Он решил доказать Тошке, что в гимназии тоже кое-чему учат.

— Скажи «государь», а потом от начала по одной букве откидывай, — сказал он Тошке.

— Ну, а что будет? — недоверчиво спросил Тошка.

— А ты вот скажи.

— Государь, — начал Тошка, — осударь, сударь, ударь.

Бац!.. Женя с опаской, но увесисто ударил Тошку в плечо.

— Ты что? — удивился Тошка.

— А ты сам сказал «ударь».

Женя был отомщен, а Тошке эта шутка очень понравилась.

— Как, как?.. Это здóрово, — сказал он. — Ну, а теперь ты говори: «И я с ними». Как я что скажу, так ты и говори: «И я с ними». Вот пошли ребята в лес...

— И я с ними, — сказал Женя.

— Нарвали там цветов...

— И я с ними.

— Пошли домой...

— И я с ними.

— Положили цветы на лавку...
— И я с ними.
— А свиньи подошли и стали есть...
— И я с ними, — не удержался Женья.
— Эх, со свиньями-то?! — торжествуя, воскликнул Тошка. — Со свиньями, со свиньями!.. А еще докторов сын.
— А у нас десятичные дробь уже учат, — сказал посрамленный Женья.
— Это что! А ты вот отгадай. Как это может быть: раздался выстрел, и щекатурка обагрилась кровью.
Женья не знал, как и почему это может быть. Тогда Тошка объяснил, что кровью обагрилась щека турка.
— Так пишется же «штукатурка»! — возмущился Женья.
— Мало что пишется, на то и игра, — сказал Тошка. Чтобы Тошка не очень зазнался, Женья спросил:
— А скажи вот, чем ты в жизни хворал?
Тошка задумался:
— А по-за-то лето я на ставу купался и паршу схватил. Там вода поганая.
— Это что! — сказал Женья. — А я вот краснухой болел, потом корью, а дифтеритом даже два раза. Один раз даже крупом настоящим...
Женья торжествовал.

ГЛАВА III

Пароходы

Потом они сидели на берегу. У пристани восхитительно пахло воблой, дегтем и рогожей. Стояла землечерпалка, или грязнуха, как называл ее Тошка. Она издавала то гусиный, то верблюжий крик и беспрерывно поднимала и опрокидывала себе в глотку до краев полные чаши.

В береговых чайных голубые трубы граммофонов вопили: «Я умираю с каждым днем» и «Приноси мне хризантемы». На галереях сидели разопревшие бородачи, а над их головами люди в белых фартуках жонглировали кипящими чайниками, подносами, бутылками и салфетками.

Внизу, под галереями, точильщики, притопывая одной ногой, сыпля холодными искрами, вострили кухонные ножи, косари и сечки. И шершавые крутящиеся камни точила визжали под ножом по-пороссячи.

Засунув головы в торбы, качали головами мухортые извозчицы лошади в синих и белых рыцарских пополах с красными сердцами по углам. К пристаням тянулись обозы. Лошади ломовиков в соломенных шляпках и мочальных передниках были, как казалось Жене, похожи на папуасов.

У пристаней стоял страшный гомон. Лошади ржали и фыркали, кричали пароходы, ломовики ругались длинно и неутомимо, скрипели мостки, по которым вереницей всходили на баржи грузчики. На головах грузчиков были надеты мешки, сложенные угол в угол, и грузчики напоминали не то монахов, не то гномов.

А на пристани крючники, волочившие что-то длинное и очень тяжелое, пели сдавленными, трудными голосами, выдыхая на последнем слоге:

- А-эй, еще!
- А ну давай!
- Разок еще!..
- Еще разок!
- Пошла, давай!..
- А ну, взялись!..
- А ну, еще...
- А ну-ка, враз...
- Сейчас пойдет.
- Еще чуток...
- Пошла-а-а-а!..

Поодаль стояли нефтяные баки — красные, серые и зеленые, похожие на гигантские формочки для песчаных куличиков. Около них, длинные, широкие, с домиками посередке, с наклонными мачтами, стояли нефтянки «Вэга», «Омега», «Дельта». Легкий, воспламеняющийся запах витал здесь, и тревожные красные надписи были начертаны на баках и домиках: «Огнеопасно», «Не курить».

На порожней барже сидел сонный, распоясанный водолив. В широких стоптанных лаптях, обвисших портах и розовой рубашке, он глядел на сверкавшую ширь реки и от нечего делать переговаривался во всю глотку с проходившими мимо за версту от него дощаниками.

— Э-э-эй!.. С чем идетё-о? — вопрошал он, подходя к борту баржи.

— Тес во-о-о-зим! — отвечали те.

— По-о-чем брали?

— Дуб еловый — рубь целковый; клен с осиной — рубь с полтиной.

— Бестолочь, дурохлеб! — орал обиженный водолив. — Толком просят.

— Губу подбери, распустеха! — кричали с дощаника.

— Смотри у меня!..

— Сам-то хлебало-то сомкни, раззявился: га-га-га!..

На якорях, носом против течения, стояли высокотрубные, широкобокие буксиры. Но мальчики не смотрели на них. Они интересовались лишь пассажирскими пароходами. Буксирные пароходы были «ненастоящими». Та же, копотная и чумазая, шла на них береговая жизнь. Сушилось белье на поручнях. Женщина выливала из ведра помой за борт. И по глади реки плыли арбузные корки, шелуха и всякая дрянь.

Мальчики терпеливо ждали, когда подойдет настоящий пассажирский пароход. И вот раздавался где-то за песками сперва встречный гудок его, а потом показывался он сам, двухэтажный и долгожданный, оглашал берега величественным подходным гудком и медленно подваливал к пристани.

Тошка заранее, по гудку, издали угадывал имя парохода.

— «Кавказ и Меркурий» идет, — говорил Тошка. — Восточного общества «Кашгар» или «Маргелан».

Пароход подходил, и Женя видел на всех спасательных кругах его надпись: «Кашгар» — Восточное пароходство.

Так началась дружба. И через три дня Женя не мог уже представить, что было когда-то время, когда они не водились с Тошкой. Тошка стал вскоре непреложным авторитетом для Жени. Он не сходил у Жени с языка.

— В этом году в низовье на арбузы урожай хороший, — говорил вдруг за обедом Женя, когда Эмилия Андреевна подавала на третье арбуз.

— А ты откуда знаешь? — удивлялся отец.

— Так Тошка сказал, — отвечал Женя.

— Подумаешь, авторитет твой Тошка! — говорил отец.

Мальчики подолгу шатались по берегу, сидели на пристани, качались на привязанных лодках. Скоро и Женя начал различать пароходы издали. Выяснилось, что пароходы только для непонимающих похожи один на другой.

На самом деле у каждого были свои особенности. Так, пароходы общества «Русь» гудели, словно шалашинский бас в граммофоне береговой чайной. На трубе «русинских» пароходов белел круг с буквой «Р». Задняя мачта стояла не на корме, а на верхней палубе. И лодка висела не на мачте, как у всех, а была подвешена горизонтально над кормой.

«Самолетские» пароходы были окрашены в розовый цвет, имели вокруг трубы красную полосу и широкую белую линию вдоль всего борта. Большей частью они назывались по именам писателей: «Гончаров», «Крылов», «Мельников-Печерский», «Тургенев». «Тургенева» можно было узнать издали по стеклянному колпаку над рубкой первого класса и золотой звезде на носу. На «Тургеневе» ездил по Волге сам царь. (Царь, видимо, ничего не понимал в пароходах. Иначе бы он выбрал «Кавказ и Меркурий».)

Если розовый пароход был короче обыкновенного, значит, это был «Самолет» второй линии, ходящий не ниже Саратова. Тогда он мог называться «Князь Серебряный», «Иоанн Калита».

Пароходы общества «Волга» — «вольские», как называл их Тошка, — распознавались по особому знаку на полукруглом кожухе колеса и имели голос заливчатый, как у певчего в Троицкой церкви. Назывались эти пароходы аристократически: «Графиня», «Княгиня», «Царица» и так далее.

Были еще и презренные, грязные «купцы», пароходы Купеческого общества. Они не имели никаких особых признаков, и это тоже было их отличием.

Были пароходы старого Американского общества — «зевеки», как их называли на Волге. У них колеса были не сбоку, как у всех пароходов, а сзади, и были похожи эти пароходы на плавающие водяные мельницы. Назывались они «Ориноко», «Миссури».

Названия однотипных пароходов можно было угадать по количеству пожарных ведер на крыше. По волжской традиции количество ведер соответствовало числу букв в названии. Редкой и особенной удачей считалось увидеть пароход «Фельдмаршал Суворов» или теплоход общества «Кавказ и Меркурий» с круглым окном. «Фельдмаршал Суворов» был в то время последним и единственным двух-

трубным пассажирским пароходом на Волге, а полукруглые окна в роскошных салонах первого класса были лишь на теплоходах самой последней стройки — «Петрограде», «Царьграде».

— Теплоход, — загадывали мальчики, увидев издали приближающуюся белую громаду. — Волны сзади идут — значит, не колесный. За капитанской рубкой белая трубочка — значит, не «Бородино»...

— Спереди палуба приподнятая, — перебивал Женю Тошка.

— Круглое окно, — восклицал Женя, — восемь ведер! — «Э-р-з-е-р-у-м!» — решали оба.

И подходил «Эрзерум».

Вскоре мальчики знали уже все расписание. Им было известно, в какой день придет любой из пароходов. И, заслушав издали гудок парохода, не глядя, они знали уже его имя.

Они подолгу просиживали у пристаней. Когда приходил пароход с круглым окном (разумеется, из-за «купца» или «самолета» второй линии не стоило и беспокоиться), они с восторгом наблюдали, как вышедшие за покупками пассажиры, услышав три свистка своего парохода, бросали торговаться, совали наспех деньги торговцам и спешили на пристань, роняя огурцы, расплескивая молоко из крынок... Хотя всякому мало-мальски грамотному человеку известно, что три гудка — это лишь второй свисток парохода, а пароход уйдет после третьего, который состоит из четырех гудков — одного длинного, тягучего и трех отрывистых. Да потом еще будут три коротких пискливых, призывающих отдать чалки — носовую и кормовую. Но пассажиры во всем этом ничего не смыслили и волновались из-за пустяков.

— Тебе кем бы хотелось быть? — спросил раз Тошка.

— Капитаном, — не задумываясь сказал Женя. — А тебе?

— И мне. Капитану хорошо: ездит бесплатно, и ему обед даже в каюту подают.

— И форма красивая, — сказал Женя.

Иногда Женя восторгался удивительной силой грузчиков, взваливавших себе на закорки чудовищную, многопудовую кладь.

— Вот силачи! — говорил Женя.

— Да, потаскай вот по копейке с пуда-то, — возражал Тошка.

Буксирные пароходы носили часто имена своих хозяев: «Башкиров», «Бугров», «Василий Лапшин».

— Подумаешь, — сказал как-то Тошка, когда мимо приятелей прошлепал пароход с купеческой фамилией, — назвался за свои деньги! Это мало радости... Знаешь, Женька, нет, я не капитаном буду, а вроде каким-нибудь великим моряком, и чтобы после через меня пароход назвали «Кандидов». А?

Он мечтательно прищурился, как бы представляя себе эту полукруглую надпись.

— Скажем, «Антон Кандидов», чтобы по всей Волге...

Тошка учился в начальном училище и презрительно отзывался о гимназистах. Но на самом деле он мучительно в душе завидовал Жёне. Тошке нравился этот худенький мальчик, деликатный, но неуступчивый. Он испытывал к Жёне странную и непривычную нежность. Тошка знал очень много скверных вещей и мерзких слов, но он сгорел бы со стыда, если бы только Жёня узнал, что такие слова сидят в Тошкиной голове.

Тошка быстро перечитал все книги, имевшиеся у Жёни. Новые они читали уже вместе. Книги повествовали о славе, о битвах, о любви. Последняя не очень интересовала мальчиков. Но почти на каждой странице люди целовались, объяснялись в любви, страдали, и редко выпадали в книжках, рекомендованных отцом, счастливые странички, где герои дрались, путешествовали и воевали.

Весь воздух вокруг мальчиков был пропитан войной. На пароходах ехали солдаты. Война была слышна в разговорах на берегу, на пристанях, в школе, войной были полны газеты. На войну уезжали, на войне пропадали знакомые люди. И, когда мальчики читали «Войну и мир», они выпускали все, что касается мира, и читали только о войне. Книги поразили воображение Тошки не только замечательными событиями, героями, приключениями, о которых там говорилось, но и непривычным звучанием слов, которыми все это было рассказано. И скоро Тошка стал щеголять целыми фразами, вычитанными и крепко засевшими в голове. Особенно нравилась ему одна. Надо

или не надо, он употреблял ее во всех случаях жизни, произнося одним духом, без знаков препинания: «Пер-Бако это львенок а не ребенок клянусь душой о боже мой удар был верен я умираю».

Это было почище, чем его прежнее «раздался выстрел, и щека турка обагрилась кровью».

Иногда, зачитавшись с Женей, Тошка вдруг спохватывался, что пора нести отцу на пристань обед, который артельная кухарка варила на дворе, где жил отец Тошки. И тогда он вместе с Женей бегом мчался на берег, неся под мышкой каравай черного хлеба и в платке горячий чугунок с похлебкой.

Грузчики, потные, с лицами, выбеленными мукой, как у циркачей, в необъятной ширины портах и в лаптях, садились на берегу в кружок. Некоторые сперва, наклонясь над водой, ополаскивали лица, обнаруживая загар чугунового отлива. Перекрестившись, они принимались за еду. Каждый вынимал деревянную ложку, просоленную и навсегда пропахшую луком и потом.

Отец Тошки, бывший в артели старшиной, или, как его звали грузчики, тамадой, разрезал широким ножом каравай на равные треугольные краюхи, пробовал похлебку, солил и первым зачерпывал ложкой горячую жижу. За ним совали свои ложки и другие. Ели молча, строго и вдумчиво. Когда в чугуне показывалось дно и супное мясо, отец разрезал ножом говядину на части и, стукнув ложкой по краю горшка, возглашал: «По мясам!» И так же по очереди каждый брал ложкой свою порцию.

Тошка приходил тоже всегда со своей ложкой, но по юности лет был последним в очереди.

Раз отец Тошки с добродушной насмешкой посмотрел на Женю, вынул из кармана чистую ложку и, протягивая, сказал:

— Подсаживайся к нам, молодой человек. Похлебай с нами. Попробуй нашего питания — не густо, да здорово.

Говорил он так же окая, как и Тошка. Он был родом с верховьев Волги. Грузчики засмеялись, очистили место для Жени. Женя всегда немножко робел перед этим человеком с могучими, чересчур длинными руками и черными глазами, за насмешливым добродушием которых таилось какое-то умное знание, которое грузчик, видимо, не выдавал каждому встречному.

Конфузаясь, Женья полез ложкой в общий чугунок. Он ел обжигаясь, не доносил до рта и половины ложки, думая о том, как ужаснулись бы папа и Эмилия Андреевна, если бы застали его за этой трапезой. Но похлебка показалась ему очень вкусной.

Потом отец-тамада брал за хвост воблу и бил ее с размаху о булыжник, чтобы она сделалась помягче, сдирал с нее золотистую кожу, разрывал пополам, как стручок, выдавливал сухую икру. После ели арбуз, купленный тут же на берегу. Отец Тошки замечательно умел выбирать арбузы. Он подкидывал и шлепал их снизу, как ребенка; брал за поросычий хвостик и смотрел, не зеленый ли он; потом поднимал обеими руками арбуз на уровень лица, прикладывался ухом, давил и слушал; откладывая арбуз в сторону, брал новый, перебирал так штук пять-шесть и уверенно говорил: «Этот...»

Он клал арбуз на колени, вытирал о хлеб ножик, всаживал его в корку и делал движение на себя. Сразу по всему арбузу шел треск — трещина опережала разрез. Подцепив на кончик ножа, отец вынимал красный, сахаристый, сочащийся клин с черневшими в нем семечками. Потом он разрезал арбуз на доли и стряхивал косточки. Каждый брал долю и губами, носом, щеками по уши уходил в хрусткую, водянистую сладость. Арбуз всегда ели с хлебом.

Женья никак не мог привыкнуть к этому.

Тамада уговаривал его:

— Арбуз хорошо с хлебом идет, — говаривал он. — Без хлеба какая это пища, одна сладость. Арбуз — это наши коренные харчи. И для промытия внутренностей хорошо тоже...

ГЛАВА IV

Полоса отчуждения

К пристаням и амбарам со стороны нефтяных баков подходила железнодорожная ветка. За глухим забором в выемке находилась таинственная зона всяческих запретов. Туда нельзя было ходить. На забор нельзя было лезть, и место там, за забором, так и называлось строго и



Ели молча, строго и вдумчиво.

потусторонне: полоса отчуждения. Между тем там происходило, должно быть, нечто очень интересное. Из-за забора вверх вырывался вдруг черный масляный дым или пыхали клубы пара. Иногда казалось, будто там стучались одна о другую разом много пустых бутылок. Высокими голосами кричали паровозы.

Мальчики давно уже собирались проникнуть в это запретное местечко. Конечно, до знакомства с Тошкой Женья и помышлять об этом не мог.

И вот они отправились. Тошка знал, как пробраться туда незаметно. Со стороны баков, там, где железная дорога выходила на берег, ограждений не было. Там они попали в полосу отчуждения. Это была мертвая прогалина на влажном берегу, где ребята обычно видели крижистые осоки, золотистые пески, траву. Казалось, что это место изъято из ведения природы. Суровые надписи — «Не курить», «Посторонним вход воспрещен» — относились, по видимому, и к деревьям, траве, свежему воздуху. Ни травинки, ни листочка не было здесь. Земля была испорошенная, золотистая и ржавая, похожая на нюхательный табак. Кругом пахло железом и керосином. Лежали кучи шлама. Деревянные шпалы были просмолены и как будто старались скрыть, что когда-то они росли и зеленели.

Мальчики заблудились в длинных улицах из глухих и слепых товарных вагонов. Они пробирались между чугунными колесами цистерн, похожих на паровозы, которые обкорнали спереди и сзади. Вдруг приятели увидели перед собой настоящий паровоз. Это был маневренный локомотив. Стрелочник с маленьким колчаном на боку, в котором вместо стрел были зеленые и красные флажки, поднял рожок. Звук у рожка был детский, игрушечный. Паровоз коротко отозвался. В топке его усилилась дрожь и гул. Из цилиндра вышел голый поршень, весь в масле. Почные колеса локомотива медленно повернулись, паровоз мягко двинулся. Потом опять пропел младенческий рожок. Паровоз легонько рывкнул и бережно прикоснулся своими буферами к буферам переднего вагона дожидавшегося состава. Тарелки буферов сошлись, как сходятся ладони играющих в «капустку». И сейчас же пошел бутылочный разноголосый перезвон по всему составу.

К ужасу Жени, под паровоз бросился человек. Он юркнул под самые буфера, набросил тяжелую сцепку на

крюк, что-то свинтил и выскочил невредимым на свет божий.

— Вот молодчина!

Паровоз стоял совсем близко от ребят. Они чувствовали его жар, слышали самоварное клокотание, банный запах пара. Женья был начитанным мальчиком. Он совсем недавно прочел книжку о Стефенсоне и принялся сейчас объяснять Тошке устройство паровоза.

— Вот видишь, — говорил он, — это дымогарная труба. Вот тут дымовая коробка. Это вот сухопарник.

— Ну, ну, толкуй дальше, — раздался голос сверху.

На мальчиков смотрел высунувшийся из окошка будки машинист. У него были длинные пышные усы, такие белые, словно он из обеих ноздрей выпустил подобно паровозу две струи пара.

— Молодец, молодец! — продолжал машинист. — Верно, не в гимназии этому выучился? Как будто там это по программе не учат.

— Я сам про это читал, — объяснил Женья.

— А вы чьи это такие, что тут? — заинтересовался машинист.

Ребята назвали себя.

— О-о! — заулыбался машинист, и усы его совсем распушились. — Григория Аркадьевича, доктора, Михаила Егорыча, тамады, вот вы кто такие. Ну, а на паровозе никогда не катались?

— Нет. А на пароходе сколько раз!..

— Мы все пароходы наизусть выучили, — наперебой заговорили мальчики.

— То пароходы. А хотите на паровозе?

Хотят ли они? Хотят ли они ехать на паровозе?! Многим ли удавалось в своей жизни ездить на паровозе в будке машиниста?! Сколько таких счастливых на свете? Раз-два — и обчелся. Машинист помог им влезть по стальной скользкой лесенке. Наверху, еще не совсем веря своему счастью, Женья и Тошка первым делом увидели два ряда оскаленных белых зубов и два сверкающих глаза.

Это улыбался ребятам кочегар.

В будке было очень жарко. Машинист отпил из жестяного чайника, стоявшего на деревянной полке под самым окошком, очень домашней и совершенно не вяжущейся со всем железным машинным обиходом. Опять донесся звук

рожка. Машинист за что-то потянул, и паровоз засвистел, заголосил с невероятной силой. Мальчики едва не оглохли, но не подали виду, что струхнули. Машинист взялся за рычаг. Кочегар поддал жара в огненное нутро локомотива. Из открытой топки на мальчиков полыхнуло нестерпимым жаром. Вдруг все заходило ходуном, под ногами задрожало и заскрежетало. Какая-то долго сдерживаемая сила вырвалась на волю.

«Ах-ах-ах!.. Ха-ха!» — заухала паровозная труба.

Локомотив мягко взял с места и пошел, пошел, дав задний ход, таща состав, чуть-чуть стуча. Так, пятась, локомотив вывел вагоны на другой путь. Здесь он опять звонко и молодежато гаркнул, опять пошел перезвон буферов, как будто несколькими молоточками вразброд ударили по цимбалам, и локомотив пошел передним ходом, подталкивая перед собой вагоны.

Все это было так интересно, так необыкновенно, что мальчики готовы были уже изменить своим пароходам и сделаться в будущем не капитанами, а паровозными машинистами. Но нужно было выяснить еще один существенный пункт железнодорожной службы.

— А у паровозов названия бывают? — спросил Женья.

— А как же, — сказал машинист. — Разные системы. Допустим, «Кукушка», «ОВЭ», «Щука».

— Нет, это что, а вот как у пароходов: «Князь Серебряный», «Цесаревич Алексей», «Княгиня»...

— Мы, железнодорожники, народ норовистый, — отвечал машинист, — народ гордый, лучше уж кукушкой или овечкой, чем волком именоваться — по всякому началству да по князьям. Хотя я так полагаю, что придет время, когда и для паровозов, возможно, подходящие имена найдутся.

— А папаня так говорит насчет пароходов, — вмешался Тошка.

— Ну, вот видишь... — сказал машинист. — А нос наружу не высовывай, а то на стрелке отхватит. И не полагается мне по циркуляру посторонних возить...

Машинист назначает на восемь

Когда ребята накатались и каждый по разу даже тянул за ручку, заставляя паровоз свистеть, машинист помог им слезть недалеко от пристани.

— Папаню увидишь, — сказал он на прощание Жене, — скажешь: Семенов, машинист... запомнишь?.. Семенов просил прием на восемь часов перенести. Он знает. Не забудешь?

Женя в точности передал поручение машиниста Семенова папе.

— Хорошо, — сказал доктор. — Я знаю.

— А ты его послушаешься, папа?

— Кого послушаешься? — удивился отец.

— Машиниста Семенова?

— Иди и не путайся не в свои дела, — сказал папа и ушел в кабинет.

Женя редко приставал с расспросами к отцу, потому что и папа никогда не вмешивался в дела сына. Женя учился хорошо и никаких хлопот по этой части доктору не доставлял. Доктор был человеком очень уважаемым в городе. Он вел образ жизни замкнутый, но его все знали. Все знали, что он работал раньше в одном уездном городе, имел неприятности с полицией, потом приехал сюда. Вскоре после этого от него ушла жена, мать Жени, — бежала с богатым гуртовщиком, переправлявшим из-за волжских степей огромные стада. В доме всем заправляла старая экономка Эмилия Андреевна. Отец часто и надолго запирался в своем кабинете, а наутро вставал с опухшими глазами, опаздывал в больницу и старался не смотреть на Женю. А Эмилия Андреевна выносила потом пустую бутылку и качала головой. Иногда вечером, не зажигая огня, отец подходил к роялю и не очень чисто, но с настоящим чувством играл Грига. Женя тихонько входил, садился рядом. Доктор целовал Женю в лоб и уходил к себе. Он редко говорил с Женей о политике, но Женя сам рано стал читать газеты, и дома слово «царь» звучало совсем не так, как в гимназия, — словно с титула сдирали всю позолоту.

Была война. Люди говорили о политике с оглядкой, но Женя уже научился понимать, что белые места в газете,

оставшиеся на месте вырезанных цензурой сообщений, говорят гораздо больше, чем аккуратно напечатанные строчки. Женя уже знал, что такое «гласные думы» или «гласный надзор», и давно не путал этих понятий. Но то, что показывал ему Тошка и с чем сталкивался Женя во время своих походов с приятелем, очень многое ему объяснило, многое раскрыло по-настоящему. Раньше об этом он читал или слышал. Это казалось ему невероятным, а Тошка запросто подводил его к этим вещам и людям, словно говоря: на, смотри, вот какие штуки бывают в жизни...

На другой день после путешествия в «полосу отчуждения» доктор заявил Эмилии Андреевне, что он будет принимать в восемь. Прием был давно окончен. Эмилия Андреевна удивилась, а Женя подумал: «Значит, послушался машиниста».

Ровно в восемь пришел машинист Семенов. За ним вскоре позвонил с парадного пленный чех Балабуж, затем пришли еще трое: двое в солдатской форме, один в чесучовом пиджаке. И вдруг ввалился Тошкин отец, Михайло Егорович Кандидов — тамада артели грузчиков.

Каждый входил и спрашивал у Эмилии Андреевны:

— Доктор принимает?

— Доктор? — недоверчиво переспрашивала экономка. — Войдите.

«Странно, — думал Женя, — что это они все заболели в один день? Никогда у папы не было такого большого приема». Женю неудержимо влекло заглянуть в кабинет или хотя бы послушать, о чем там говорят. Он уже подошел на цыпочках к двери. «Дышать невозможно», — услышал он голос одного из пациентов. Должно быть, доктор выслушивал его, как вдруг дверь распахнулась, вышел папа, схватил Женю за плечи и повел в детскую.

— Подслушивать непорядочно, — сказал отец. — Подслушивают филеры, понял? Шпики. Ты знаешь, что такое врачебная тайна?

— Они вовсе не больны — они все здоровы! — обиделся Женя. — Что я, маленький, что ли? У вас там сходка, вот и всё!

— Женя, ты знаешь, что я живу в полном отчуждении от политики?

— Подумаешь, полоса отчуждения! — сдержал Женя. —

Что, я не слышал, как машинист кричал: «кровавый произвол», «европейская бойня», «дышать невозможно»?

— Я просто даю им возможность... Они нуждаются в пристанище,— сказал смущенно отец.— Сам я, ты знаешь, вне политики. Но отказать в праве убежища...

Удивительно красивые и веские слова знал папа — «право убежища», «пристанище». Это, пожалуй, даже почище, чем «полоса отчуждения». Женья помнил это слово «пристанище». Он слышал его еще в раннем детстве, когда отцу пришлось внезапно менять место работы и жительства. Но сегодня Женья почувствовал какую-то грозную и таинственную общность, связывающую таких разных и казавшихся незнакомыми людей, как машинист Семенов, грузчик Кандидов, чех Балабуж и доктор Карасик. Он вдруг уловил какую-то связь между казармами, стоящими за городом, где над далеким горизонтом дирижировали мельницы-ветряки, между пристанями, где пели бурлацкими голосами «разок еще», и полосой отчуждения, где запрещено было расти траве и где висели надписи «Огнеопасно».

ГЛАВА VI

Война и мир

Мальчики по-прежнему увлекались книгами. Читали Фенимора Купера и Луи Буссенара и возмущались, что даже такие писатели никак не могут обойтись без того, чтобы не испортить хорошую книжку какой-нибудь любовной историей. Даже в электротeatре «Эльдорадо», где шли картины с достаточным количеством драк, убийств и путешествий, и там все-таки люди тоже страдали и целовались гораздо больше, чем надо бы... В конце концов мальчики пришли к выводу, что без этого, очевидно, нельзя. Все герои рано или поздно влюблялись. Придется и им... Решив так, они не откладывали дела в долгий ящик. Надо было спешить, каникулы кончались, приближались занятия.

Перебрав в памяти всех знакомых девчонок, они остановились на толстухе Рае Камориной с Большой Макарьевской улицы. Жене показалось, что она похожа на ту

красавицу, что нарисована в книжке Майн Рида «Пропавшая сестра». Кроме того, Рая считалась на всей улице непобедимой по части скакалки. Она могла прыгнуть сто раз без передышки и ни разу не запутаться. Познакомиться не представляло как будто никакого труда. Но Женя и Тоша четырнадцать раз прошли мимо скамеечки, где сидела Рая. Знаменитая скакалка лежала свернутой рядом. Каждый раз они решали, что сейчас обязательно заговорят с девочкой, но, как только подходили к скамейке, вся решимость исчезала, и они проходили мимо. Наконец, в пятнадцатый раз, когда Антон сказал: «Ну, это в последний раз», Женя, ужасно покраснев, обратился к девочке:

— Вы не дадите, пожалуйста, нам на минутку вашу скакалочку?

— Извините за беспокойство, — добавил тотчас Тошка, — только попробовать.

— Вы не подумайте, мы сейчас же отдадим, — сказал Женя.

Рая дала им свою скакалку — толстый белый шнур с лакированными деревянными ручками на концах. Но она продолжала глядеть в сторону, как будто все это ее не касалось. Тогда мальчики стали изображать, будто они первый раз в жизни прыгают через скакалку. Они топтались на месте, путались в веревке, нарочно падали.

Вскоре Рая стала улыбаться, потом она засмеялась и сказала:

— Не так совсем. Дайте я вам покажу, как надо.

Женя и Тошка как можно быстрее раскрутили скакалочку, так что ее почти не видно стало. Веревка, выгнувшись и мерцающая в воздухе, описывала большой прозрачный шар, а Рая, легко вбежав в него, ловко заскакала, ни разу не зацепившись, как белка в колесе. Она прыгала вперед и назад, и обеими ногами сразу, на одной ножке и боком. Свистящая веревка подсекала ее у земли и тотчас проносилась над головой, а она все прыгала, прыгала, прыгала.

Мальчики поняли, что они не ошиблись в своем выборе. На другой день они появились у дверей Раи с букетом георгинов и астр. Затем над двором Камориных появился необыкновенного вида змей. Он был сделан в форме сердца из розовой бумаги, и на нем были инициалы «Р.» и «К.». Все это Рая должна была видеть, кое о чем разрешалось

догадаться. Но не знать! Боже упаси, чтобы она узнала по-настоящему. Если бы она осмелилась спросить, не влюблены ли в нее мальчики, оба побожились бы, что ничего подобного у них и в мыслях нет.

В рассказах и романах мальчиков больше всего поражало бесстыдство героев: как это можно поцеловаться, а потом на другой день встретиться и ничего — посмотреть в глаза и даже поздороваться...

К тому времени выяснилось, что во двор к Рае Камо-риной слишком часто ходит пятиклассник Бугров Федор, племянник того Бугрова, имя которого было написано на одном буксире. Решено было его немедленно отвадить.

В тот же вечер Тошка подстерег Бугрова на углу Большой Макарьевской. Бугров Федор шел в начищенных ботинках, в белой легкой фуражке и благоухал одеколоном «Ландыш».

— Ты чего это на нашу улицу ходишь? — спросил его Тошка.

— А твое какое дело? — отвечал рослый Бугров, упираясь плечом в плечо Тошки. — Твоя улица?

— Узнаешь, чья, когда получишь.

— Чего?

— «Чего, чего!» Ссла баба на чело да поехала в село и говорит: чаво.

Трах!..

— Ударил, кажется? — спокойно спросил Тошка. — Женька, отойди за ради бога, а то скажет — мы двое на одного... Так, значит, ударил? — спросил он, даже удивившись как будто. — А кого ты ударил, чувствуешь? Пер-Бако это львенок а не ребенок клянусь душой... Карасик, поддержи его фуражку, а то еще замараю — белая.

Жея принял на хранение фуражку гимназиста.

— Галах в рогожных штанах! — сказал Федор Бугров.

Через две минуты, когда Тошке надоело уже возить носом по пыли поверженного соперника, он спросил:

— Знаешь теперь, на чьей улице землю ешь?

Гимназист молчал. Тошка еще немного повозил его носом по земле.

— Ну?

— Знаю, — пробормотал побежденный,

— Какая улица?

— Большая Макарьевская.

— Врешь! — сказал Тошка. — Говори: Большая Кандидовская улица. Повтори три раза.

— Большая Кандидовская, — сказал Бугров, — Большая Кандидовская, Большая Кандидовская.

— То-то... Иди. Женька, почисть его сзади.

Большая Кандидовская! Здорово. Это, пожалуй, еще поинтереснее, чем пароход. Нет, все-таки пароход интереснее: он всюду бывает, во все города заходит, его все видят, а улица — на одном месте.

Но, чтобы твоим именем назвали улицу или пароход, для этого надо было стать или богатым мукомолом вроде Макарьева, Бугрова, или фельдмаршалом вроде Суворова. Первое казалось решительно невозможным, да и звучали эти имена в устах отца-грузчика и папы-доктора одинаково враждебно. Гораздо почетнее, интереснее и легче было, как уверял Женька, стать военным героем. Мальчики решили бежать на войну. Об этом они уже давно подумывали. Все уже было готово: и перочинный ножик, и сухари, и даже старые ефрейторские погоны, которые где-то раздобыл Тошка, выменяв их на книжку «Рейнеке-Лис», которую Женька пожертвовал для этой цели.

Жене очень жалко было расставаться с папой, но Эмилия Андреевна забрала в доме слишком большую власть. Она пыталась помешать дружбе Жени с Тошкой, который, по ее мнению, портил мальчика. А если так, то вот вам!.. Женька решил покинуть отчий дом.

Он предложил написать прощальное письмо Рае Камоориной. Антон был против этого — он был менее доверчив, чем Женька.

— Лучше уж с фронта напишем, — говорил Тошка.

— А вдруг нас там сразу убьют, — возражал Женька. — Так она ничего и не узнает.

Они написали письмо:

«Рая! Мы на той неделе убежём (зачеркнуто) убежим на передовые позиции в действующую армию, то есть на войну. Если нас убьют, то помните нас, если останемся живы, то тогда еще увидимся, а мы вас будем помнить до нашей братской могилы. Никому про это не говорите. Разорвите это письмо. До свидания навеки.

Два известных вам друга».

Раина мама была пациенткой Жениного папы. На другой день доктор вошел в комнату Жени, где в это время мальчики изучали «Путеводитель по государственным железным дорогам Российской империи». Папа вошел и закрыл за собой дверь.

— Слушайте, Женья, Антон, — сказал папа, — давайте будем мужчинами. Отвечайте прямо: вы хотели бежать?

Мальчики молчали.

— Ну, — продолжал доктор, — воевать могут только мужчины, давайте будем мужчинами. Собирались вы бежать?

— Откуда вы взяли?.. — начал Тошка.

— Собирались, — сказал Женья, обмирая от стыда и ужаса.

Тошка яростно повернулся к нему...

Тогда папа взял их обоих за руки и повел к себе в кабинет. Там сидел Балабуж — пленный чех с лицом, изгладанным постоянной тоской.

— Скажите им, — попросил доктор.

— Ай, млоды люди! — тихо и уныло сказал Балабуж.

Больные глаза его с красными припухшими веками заглянули мальчикам словно в сердце.

— Это очень худо дело... Кровь вон, душа вон. Бога нет, человека нет, мертвый есть, — негромко говорил Балабуж.

Слова не давались ему. Он страдал, вставал, ловил слова руками в воздухе, и от этого рассказ его становился еще страшнее.

— И нет за что! — восклицал он и складывал худые, немощные пальцы в кулак. — За чужого пана, за пана добро.

Мальчики слушали, подавленные и переконфуженные.

— Я читал в газете... — начал было Женья.

Но Тошка перебил его:

— Молчи ты, Женька, мало что в газетах пишут!

Все тревожнее становился шепот, которым люди общались друг другу то, о чем не писалось в газетах. Наступала осень, навигация подходила к концу. Люди говорили о несданных военных поставках. На Волге спешно грузили баржи. На пристанях работали днем и ночью до седьмого пота. Толковали о каких-то забастовках. И на волжском берегу слышалось глухое грозное ворчание, похожее на далекий приволжский гром.

Раз после уроков Женя пошел на пристань, где ждал его Тошка. Еще на базаре он услышал какой-то недобрый гомон, доносившийся с берега. Его обогнали два крючника. Они шли так быстро, что кожаные потники бились у них по спинам. Женя услышал страшное береговое слово — «осклиз».

У пристани стояла толпа: ломовики, грузчики, половые из чайной. Женя протискался вперед и увидел Тошкиного отца. Тамада лежал на земле боком, еще чернее обыкновенного. Посиневшая голова его была судорожно заведена за плечо. Огромный ящик, расколовшись при падении, лежал рядом. Доски распились. Десятки банок с консервами раскатились во все стороны.

— Осклиз, — говорили вокруг.

— Становая жила хрястнула. Позвонки с натуги тронулись, осклиз.

В пыли на корточках сидел Тошка. Его трясло так, что слышно было, как лязгают зубы.

— Папаня... — трясясь, тихо говорил Тошка. — Папаня, ты что?

— Все жадность человеческая одолевает, — сказал откуда-то сзади, из-за широких грузчицких спин, человек монашеского облика. — Чрезмерно силой своей злоупотреблял...

— Ох ты, богова душа, — грозно обернулись к нему, — помолчи, пока не пришибли! Жил человек горбом, с горба и помирает.

— Прощай, Михайло Егорович! — сказал сильным голосом старый грузчик. — Прощай, тамада!

Сзади загремела извозчичья пролетка. Раздались голоса:

— Доктор приехал, доктор!.. Григорий Аркадьич!

Женя увидел отца, быстро пробиравшегося сквозь толпу. Стало очень тихо. Доктор, которого все в городе звали по имени-отчеству, быстро оглядел собравшихся, и те разом, словно сговорившись, отступили, расширив круг. Отец наклонился над неподвижно лежавшим Кандидовым.

Женя не видел, что делает отец, но слышал его негромкий, ровный и повелительный голос:

— Ну-ка, кто-нибудь... Вот так...

И вдруг Тошкин отец дернулся, открыл свои черные цыганские, как будто посеревшие глаза.

— Доктор... — сказал он, не говоря, а выдыхая каждое слово, — Григорий Аркадьевич, за Тошкой тут без меня... не оставьте. Чего, если надо, пропишите... А если требуется, то и того...

Не переставший трястись Тошка внезапно вскинулся, выгнулся, упал, стал кататься по земле и зубами хватать пыль... И дальше все произошло в одно мгновение. Доктор едва успел распорядиться и при помощи грузчиков уложить умирающего на подводу. К телеге подскочил вдруг бешеный крючник. Рыжий, в разорванной рубаше, борода-тый, огненно-вихрастый, заросший до круглых выпученных глаз, с выкаченной косматой грудью, в коротких мох-рстых портках, открывавших его заскорузлые ноги, он был похож на воинственного огненного петуха, только что бившегося насмерть.

— Народ! — закричал он. — Гляди своими глазами! Нет жизни людям. Загубляют! Не на фронте, так здесь пропадем. Холеры нет, так морят. Как скотину навьючат... не под силу, жилы рвутся!..

Лямки сползшего назад потника соскочили с беснующихся плеч на локти. Казалось, что у грузчика связаны руки сзади.

— Бей! — закричали за его спиной.

Доктор схватил притихшего Тошку и Женю, втащил их в пролетку. Извозчик погнал лошаденку. Они покатали, слыша за собой вой и шум, по временам взрывающийся треском. Навстречу им бежала с базара толпа. Топая сапожищами, придерживая на ходу шашки-«селедки», верещали свистками городовые. Вдруг прерывисто и протяжно застонали пароходные гудки. На колокольне истерически забился набат. Пролетка была уже наверху, когда, оглянув-



шись, Женя и Тошка увидели, как на пристанях рубили чалки и канаты. Пароходы впопыхах отваливали. И мимо пролетки, по крутому взвозу, прыгая через булыжники, грохоча и раскалываясь, со смертоносной быстротой промчалась тяжелая бочка с соленой рыбой.

Прискакал, стоя в фазтоне, пристав. Полицейские сбегали вниз, к пристаням. Грузчики оказались прижатыми к мосткам и к воде. Тогда опять вперед выскочил краснобородый, петушиного вида крючник. Схватив со сложенной рядом груды арбуз покрупнее, он, занеся над головой, с остервенением бросил его в пристава. Арбуз перелетел через фазтон, ударился о берег, треснул и разбрызгался во все стороны. И сейчас же в городских тучей полетели арбузы, дыни. Падавшие арбузы раскалывались, словно черепа. Мягко шлепались дыни, и зернистая жижа вытека-



ла из них. Щелкнул револьверный выстрел. Извозчик погнал лошадь. Больше Женя и Тошка ничего не видели.

Михаил Егорович Кандидов, тамада, умер через час в больнице. От непосильной тяжести у него оказался сдвинутым позвонок. Тошка ночевал на этот раз в квартире доктора.

Ночью набат снова перебудил всех. На улице было светло и красно. Мимо окон бежали люди. Мальчики слышали их голоса:

— У баков горит... Галахи подрались... Красного петуха пустили...

Женя ясно представил себе краснобородого крючника, с петушиным наскоком кинувшегося в бой. А через полчаса мальчики услышали протяжный вой сирены. Это пришел из Саратова быстроходный пожарный пароход «Сама-

ра», о котором на Волге была даже сложена песенка: «Эх, Сама-ара, качай воду...»

Утром сказали, что из-за борта «Самары» в эту ночь торчали не только брандспойты, но и пулеметы.

Утром Тошка ушел.

— Куда же ты теперь? — спросил Женья.

— В артель, — сказал Тошка.

Михаила Егоровича Кандидова полицейские хоронили украдкой. Опасались, что обычные похороны могут вызвать новые волнения в городке. Из близких допустили лишь Тошку. Тошка продал соседу лучших чеграшей и на эти деньги нанял певчего от Троицы, того самого, который имел голос, похожий на гудок парохода «Общества на Волге».

После похорон Тошка с Женьей сидели на своем излюбленном местечке у пристани. Важно дымя, мимо них прошлепал большой желтый буксир. На колесном кожухе жирными буквами было написано: «Торговый дом Борель и с-ья», то есть «сыновья». Прежде всегда мальчишки смеялись, видя этот пароход, и, сложив ладони трубой, кричали с берега: «Эй, «Борель и свинья»!» А сегодня Тошка вдруг часто заморгал красными глазами и сердечным голосом сказал Жене:

— Нет, лучше пускай у моего парохода название будет «М. Кандидов и сын». Можно ведь так написать на круге.

— Кто же напишет?

— А «Бореля» кто написал? Купчина какой-то, и всё.

— Так это же его пароход.

— Без тебя знаю... А папаня говорил: «Погоди, время подойдет — не за рупь, а за честь пароходы называть будут».

Доктор пытался через благотворительный комитет определить Тошку стипендиатом в гимназию, на бесплатное обучение. Женья помог Тошке подготовиться. Но директор гимназии наотрез отказался принять Тошку на стипендию, как неблагонадежного.

Однажды ночью, поздней осенью, доктор, Женья и Тошка сидели на лавочке у парадного крыльца. Они говорили о звездах. Женья, только что прочитавший Фламариона, называл теперь звезды с такой же точностью, с какой отгадывал пароходы. Тошка даже позавидовал ему. Голубей

своих в небе Тошка отлично различал каждого по полету и повадке, но в звездах он путался.

— Там, может, люди тоже, — сказал Тошка. — Вот кто первый долетит, все визнает, вот знаменитый станет на весь мир!

В эту минуту мимо лавочки, где они сидели, очень быстро прошли трое людей. Несмотря на холодный и сырой вечер, они шли без шапок, в одних рубахах. Тошка разом замолчал и поглядел на Женю. Доктор и Женя тоже заметили прошедших и насторожились. Не прошло и трех минут, как послышался топот. Пробежали двое городских.

— Господин доктор, вы извините, не заметили тут... не проходили трое?

Женя открыл рот, но вдруг почувствовал, как рука отца крепко, до боли сдавила его локоть.

— Нет, — сказал доктор спокойно. — Мы тут давно сидим, никого не было.

— Прошу прощения, — шаркнул полицейский, откозырял.

И оба затопали обратно.

Некоторое время все трое сидели молча, потом Тошка, перегнувшись к доктору, зашептал:

— Эх, Григорий Аркадьевич, здóрово вы как! Вот ловко вы их! Вы тоже какой смелый, оказывается.

— Я правда никого не видел, — сказал доктор.

— Да, да, не видел! — не унимался Тошка. — Не видел, а сам подмаргивает мне... Не видел... Хитрый!..

Доктор, крайне довольный, скромно насвистывал вальс «На сопках Маньчжурии».

ГЛАВА VIII

Турманы и змеи

В феврале, когда ошеломляющая весть вошла во все двери и из всех дворов повалили на улицы бесконечные толпы людей, Женя встретил Тошку на площади. Тошка шел со своей артелью рядом с краснобородым и нес малиновое знамя.

Тошка очень вырос за эту зиму. Стал еще сильнее и плечистее. Летом он работал в артели наравне со всеми,

и даже матерые крючники удивлялись его силе и выносливости. Змея он забросил, но голубями занимался по-прежнему. Он подружился с солдатами, ходил на все митинги и часто таскал с собой в казармы Женю. В казармах спорили о политике и ругали Временное правительство такими словами, что Тошка конфузился и старался не смотреть в эти минуты на Женю. Это не мешало ему так же сердито, хотя и другими словами, крыть Керенского и всю буржуазию.

Затем он вдруг пропал, словно сгинул. Женя ходил к нему домой, но застал там лишь бестолкового и сонного жильца, которому, уезжая, Тошка поручил своих голубей.

Осенью 1917 года, в Октябрьские дни, Тошка опять появился.

Бежавшие из Саратова юнкера пытались укрепиться на другом берегу Волги. В городке загорелся бой. Отец не велел Жене выходить на улицу и даже приближаться к окнам. Над крышей дома что-то грохотало и рвалось, обдавая все нестерпимым громом и полыханьем. Потом вдруг кто-то крепко застучал в парадное. Эмилия Андреевна схватила Женю и затискала его в угол, за буфет. Отец, бледный, пошел открывать. Вошел патруль солдат. У всех на рукавах шинелей были красные повязки. Впереди патруля с винтовкой стоял Тошка.

— Здравствуйте, Григорий Аркадьевич, — сказал, потупившись, Тошка. — Мы квартал очистили, теперь глядим, не спрятался ли кто... Доктор за нас, товарищи, — продолжал уверенно Тошка, обращаясь к красногвардейцам.

По выражению доктора лица было довольно трудно судить, за кого он стоит в данную минуту.

— Я полагал бы, что неприкосновенность мирного населения... — начал он.

Но в это время громовой оранжевый вспых оглушил и ослепил всех.

— Вот беда, — сказал один из красногвардейцев, — это ведь наша батарея садит... не знают, что квартал уже отбит. Связи нет.

Необходимо было поднять над кварталом красный флаг. Но лезть на крышу было невозможно. Юнкера засели на колокольне и тотчас начинали обстреливать крышу из пулемета.

— Стойте-ка, — сказал вдруг Тошка. — Сейчас. Мне только на наш двор перелезть.

— Я не могу допустить, — сказал доктор. — Как можно под огонь... почти ребенка...

— Пер-Бако это львенок а не ребенок клянусь душой! — продекламировал Тошка, подмигнул Жене и выскочил на улицу.

— Что он такое выдумал? — спросил доктор.

— Да что-то сообразил, — отвечали ему. — Малый с головой.

Красногвардеец осторожно подошел к окну и выглянул из-за простенка.

— Глядите! — сказал он.

Леток Тошкиной голубятни открылся как ни в чем не бывало, и знаменитые турманы, чеграши, москвичи выпорхнули в октябрьское серое небо, потрясенное орудийными ударами.

Женя, нарушив запрет, прижался к стеклу и увидел, что из-за слухового оконца высунулся Тошка. Его лицо было исполнено голубиной кротости. Он размахивал огромным шестом-пугалом, на котором вместо обычной грязной тряпки висел на этот раз чей-то красный шарф. Но, конечно, наивная Тошкина хитрость никого не провела. Раскаленная струя из пулемета ободрала штукатурку на карнизе дома, раздробила кирпичный гребень брандмауэра, по которому разом пошел розовый пыльный дымок. Тошке пришлось быстро убраться на чердак.

— Не прошел номер, — сказал высокий красногвардеец.

Все молчали.

Прошло минут пять. Тошка не появлялся.

Но вдруг над двором взметнулся и пошел забирать вверх самый большой Тошкин змей, розовый, в форме сердца с памятными буквами «Р» и «К». И по нити, туго натянувшейся между небом и крышей, побежала бумажная «телеграмма» с приколотым к ней красным платком. Но Тошка был слаб в расчетах. Перетяжеленный змей, резко козырнув вниз, зацепился длинным хвостом за водосточную трубу. Чтобы отцепить его, надо было пробраться к краю крыши. И Тошка выполз, прижимаясь лицом к холодному ржавому железу кровли. Он добрался до самого стока. Он слышал над собой легонькое: фьюить, цвик... Что-то стуча-

ло и лязгало о крышу... Летела во все стороны железная окалина. Вот опять что-то рассыпалось по железной крыше. Зажмурившись от страха, Тошка пополз дальше.

Когда Тошка заполз за скат крыши, Женя перестал его видеть. В комнате все молчали, уставясь в окно. И вдруг из-за крыши выскочил, метнулся в сторону и вознеся кверху большой змей — розовая бумага, натянутая на сердцеобразный каркас из ивовых прутьев. Посередине сердца бумага была пробита в двух местах пулями. И опять по туго натянутой между небом и крышей нити побежала «телеграмма», таща за собой алый лоскут.

ГЛАВА IX

Пароход отваливает

Весной Женя провожал Тошку. Маленький отряд собрался у пристани. Здесь были широкоштантные грузчики, железнодорожники, слесари, с неотмываемыми тенями вокруг глаз.

Тошка расхаживал с винтовкой за плечами, с красной повязкой на рукаве. Он сплевывал семечки и говорил странным баском, к которому сам еще не совсем приспособился. От этого в голосе его, как в сломанной шарманке, неожиданно проскакивал смешной пискливый звук.

Отряд шел на белочехов. Ждали парохода. Никакого расписания теперь уже не было. Пароходы приходили и уходили, когда им вздумается. Отгадывать их стало гораздо труднее. Тошка уверял Женю, что за ним пришлют обязательно теплоход с круглым окном.

И вот показался пароход. По густому мычащему гудку, которым он просил уйти подобру-поздорову сунувшуюся наперерез лодку, приятели сразу определили, что это не теплоход... Это шел пароход общества «Самолет». Но почему-то он был белого цвета. Когда пароход несколько приблизился, мальчики совсем растерялись. Судя по передним стеклам рубки, по двухсветным каютам, это должна была быть «Великая княжна Татьяна Николаевна». Но для такого длинного названия слишком мало ведерок было на палубе. И впервые в жизни мальчики не смогли отга-

дать пароход. Пароход подваливал, и можно было прочесть уже надпись на круге. «Спартак» — назывался пароход.

— Переназвали, — догадался Женя.

— Теперь это вполне свободно бывает, — сказал Тошка и поднял с земли вещевой мешок.

Счастливцев был этот Тошка и безусловно без пяти минут герой.

— Эх, я бы тоже! — вздохнул Женя.

— Нос не дорос, — сказал Антон и толкнул его пальцами в лоб.

Женя надулся.

— Ну, рассерчал уже, — сказал Тошка, — шутю я. Правда, Женька, это не все же могут. Я ведь здоровый, здоровше большого мужика. Видишь?.. А ты вон какой. Ты развивайся, тогда тоже примут.

Раздалась команда, отряд строился. Тошка на секунду замешкался.

— Слышь, Женя... Чего это я хотел тебе сказать?.. Забыл вот. Ну ладно, после когда-нибудь. Прощай, Евгений!

— До свиданья, Антон. Напиши про бои, про всё, всё.

— Ты газеты читай, — закричал с пристани Тошка, — там про все будет.

— Ну, а о тебе-то самом?

— Не беспокойся, и про меня — увидишь вот.

Оркестр на «Спартаке» заиграл «Смело, товарищи, в ногу...». Отряд прокричал «ура». Пароход сразу дал третий свисток и ушел. Женя долго стоял на берегу. Антон махал ему с кормы удаляющегося парохода.

Женя очень внимательно читал газеты, но прошел год, прежде чем папа принес утром газету, напечатанную на оберточной желтой бумаге, и сказал:

— Женя, смотри, приятель-то твой отличился.

Женя вырвал у него из рук желтый листок, едва не разорвав его, и прочел, что молодые бойцы из отряда имени Спартака Чубченко, Беркович и Кандидов во главе с комиссаром Кротовым совершили геройский поступок, угнав от белых большой пароход, груженный боеприпасами и продовольствием. Нигде только не было сказано, что пароход переименован в честь Антона Кандидова. Возможно, что его и не переименовывали вовсе...

И опять о Тошке не было ни слуху ни духу.

Пошли тяжелые, голодные дни. Папа уехал на фронт. Кругом был тиф. Каждый день приносил новые события, знакомства с новыми людьми. У Жени появились новые товарищи.

ГЛАВА X

Иордань

Крещенский благовест. Ахали колокола Михаила-архангела, звонили у Покровского монастыря, трезвонил старый собор. Иордань.

Бежали мальчишки, укутанные в рванье. В солдатских котелках бренчали ложки.

— Колька-а-а, американцы сегодня какао выдают!

Двадцать первый год. Тридцать градусов мороза на термометре желтого казенного здания. На Немецкой заколочены витрины. Улицы в яминах. Обнажены разгороженные дворы. У консерватории на перекрестке пала лошадь. Стужа такая, что в носу мерзнет.

Вниз, к Волге, по взвозу сползал крестный ход. В дымном дыхании задрогшей толпы колыхалась полинялая хоругвь. Впереди шли заиндевевшие попы, позлащенные сверх шуб. Сзади — «разжалованные» фуражки, башлыки, невянущие цветочки на шляпках под пуховыми шалями.

У Волги над откосом стоял матрос в черных наушниках. Стоял и лутил семечки. Вились в ветре ленты бескозырки, сдвинутой на брови. Ветру и стуже был открыт наголо стриженный крепкий затылок. Матрос повел застывшим квадратным плечом. У ног его клубилась вьюга. Внизу, под ним, лежала окостенелая Волга, ветряная студеная даль.

Крестный ход полз мимо. Матрос стоял спиной к нему, грыз подсолнухи. Спина его, широкая и уверенная, была полна неприязни к происходящему. Внизу, под откосом, на Тарханке, как называют рукав Волги у Саратова, дымилась крестообразная прорубь. У выточенного ледяного креста амвон, также изо льда, искрился и сек лучи, как стеклянная призма. На солнце ярилась сусальная позолота. Черная дымная вода качалась в проруби.

Вдруг матрос оглянулся. Теперь все увидели его лицо.

Оно оказалось несколько неожиданным. Это было лицо молодого парнишки, лицо главаря мальчишеских орав, озорная и немножко мечтательная физиономия второгодника. Все на матросе было с чужого узкого плеча.

В толпе говорили:

— Ишь стоит, демон... озирается. Интересно небось посмотреть, как это у нас в Иордани купаются. А никто не идет.

— Холодно...

— Нонче никого в воду не заманишь. Подмельчал народ. Раньше тебе хоть сорок градусов мороз, а купцы в прорубь только бултых, бултых... Подвезут их в саних, шубы раскроют, вынут это его оттуда, разоблаченного окунут троекратно, опять в шубу, бутылку в зубы и домой. Что за люди были!

— Духа нет того, святости.

— Не в том дело... Прогреться после нечем. Вот чего... Испанку захватишь.

— Где же, где же она, а? Где она, господа, я спрашиваю, удаль былая? Не вижу, — заговорил привычным, гладким голосом господин в бекеше, с широкой, думской бородой.

— Чего это он, а? — заинтересовались в толпе.

Господин уничтожающе, через плечо, оглядел публику.

— Да, печальное зрелище, — продолжал он. — Я говорю, господа, вместе с верой угас и... э-э... священный богатырский дух русского народа. И что же осталось? Безбожие и инфлуэнца.

Верующие смущенно переглядывались.

— Сам пускай лезет! — проговорил кто-то.

Вдруг, легко распарывая толпу, к краю проруби подошел матрос. Он был слегка увалень и размашист в движениях.

— А ну, позво-о-оль! — деловито сказал матрос. — Куда тут нырять?

Он не спеша раздевался. Сбросил бушлат, расстелил на льду, сел, стал стягивать штаны. Снял тельняшку и через минуту стоял на льду голый, мускулистый, похлопывая себя по груди. На груди синела татуировка — якорь, сердце, змея. Слева под соском виднелись слова девиза: «Любовь до гроба, честь навечно, слава на весь мир». Матрос держал кобуру и искал в толпе надежного человека. Взгляд его остановился на худеньком юном студентике.



Ноги студента были обернуты солдатскими обмотками и обуты в полудетские ботики на застёжках-защелочках.

— Эй, студент, — сказал матрос, — будь друг, поддержи эту петрушку, покарауль, пока я управлюсь.

Студентик почтительно принял кобуру. Он хотел что-то сказать, но покраснел, сконфузился. Матрос почесал под мышкой, потянулся.

Священник подошел к нему с крестом и хотел благословить его. Герой легонько отстранил его локтем.

— Ты бы перекрестился, — посоветовали из публики.

— Не требуется, — отвечал матрос.

— Смерзнешь, поживей хотя.

— Нам спешить некуда, — сказал матрос и полез в про-рубь.

Голый. В лютую, перестылую хлябь, стекленевшую от стужи. Он окунулся и вылез. Мокрые волосы его разом смерзлись. Тело у него теперь было красное, с легким сизым налетом.

Он быстро одевался и говорил, подмигивая:

— Так и скажи вон тому патлатому, что вот, мол, боевой красный волгарь Антон Кандидов совсем обратное доказал. Без всякого святого духа. Раз, два — и будь здоров! Антон Кандидов. Запомнишь? Можешь повторить? Пока.

Матрос, не удостоив взглядом студента, взял у него наган и пошел по взвозу в город.

Студентик бежал за ним, дуя на обмороженные пальцы в дырявых варежках.

— Тоша!..

Матрос остановился, посмотрел сперва подозрительно на полудетские, полудамские ботики на защелочках, потом перевел взор на лицо студентика, быстро поднял за козырек его студенческую фуражку, заглянул в лицо.

— О, Карасик! — восторженно закричал он. — Женька! Здорово! Ну, как поживаешь? Ничего? Ты что-то плохой, длинный какой вытянулся. Голодуешь?

Карасик уже неделю ничего не видел, кроме колоба и чечевицы. Он промолчал.

— А ты уже студентом заделался? — с завистью говорил Антон. — На кого жмешь?

— Да думаю художником...

— Ага. Малюешь, значит?

— Пишу.

— Красками с натуры уже можешь?

— Могу.

— Знаешь, Женька, срисуй с меня портрет. Только я другой бушлат надену. У нас один парень себе новый оторвал, всем сниматься дает... Нет, знаешь, ты лучше картину нарисуй: как мы у белочехов «Лермонтова» увели. Я тебе вот расскажу...

— А я знаю, — сказал Карасик.

— Что?! Неужели в университете уже про это учат?

— Во-первых, я не в университете, а в институте. А во-вторых, я об этом в газете читал.

— Ну! Было? — удивился Антон. — И мое фамилие было? Эх, вот бы почитать! Надо найти будет.

— А пароход не переименовали? — ехидно спросил Карасик, снова чувствуя мучительную зависть.

— Ну, веришь ты, Женька... — заговорил Антон. Лицо его вдруг странно похорошело. — Ну, чудная получается петрушка! Вот когда пароход тогда забирали, я же мог

очень просто с башкой распрощаться... Раз, два — и будь здоров! Веришь ты, честное слово, забыл даже думать насчет прославиться там... Нас из пулеметов крошат с берега, а я как прыгнул на мостик к ихнему командиру, по нагану в каждой руке: «Именем революции — полный ход!» Писали там в приказе после о героизме... Вот почи-тай, документ есть.

Он вынул из кармана удостоверение, расправил аккуратно сложенную бумажку.

— А вот, как нарочно, когда ловчишься, лезешь на-передки, ну, можешь поверить, ни шиша не получается, ей-богу... А ты, значит, тоже за славой ударяешь, только по художественной части. Так. А батька где?

— Папа умер, — сказал Карасик.

— Эх, вон как, Женья... Это мне жаль. Как же это Григорий Аркадьевич-то?.. А? Он сочувствующий нам был. Эх... А ты, значит, тоже один? Компанию себе завел хоть?

Карасик мотнул головой отрицательно.

— Это, по-моему, зря, — серьезно сказал Антон. — Смотри, так живо скуксишься.

— А у тебя? — ревниво спрашивает Женья.

— Странное дело, а как же! А комсомол?

— Комсомол...

Карасику опять стало завидно и одиноко. Ему захотелось побить спеси у друга.

— Слушай, Антон, — сказал он, — а для чего ты в про-рубь лез?

— А это мне не впервой. Я уже раз мырял за замком от орудия. Ну, а потом закаляться стал.

— Ну, а здесь перед кем красовался? Все за славой гонишься?

— Это ни при чем тут, — смущенно заокал Антон. — Я им доказать хотел, что не в святом духе суть. Во мне духу натошак четыре тысячи девятьсот по спирометру.

— Эх, Тошка, Тошка, — солидно проговорил Карасик, — вырос, а такой же.

— Ты больно умно-о-й! — смешно прогнусавил Антон.

Он схватил Карасика, легко подбросил его вверх и поставил на землю:

— Проси пощады!

Карасик подставил ногу. Антон споткнулся. Женья бро-

сился бежать. Антон поймал его. Он поднял Женю и воткнул его головой в сугроб. Из сугроба смешно торчали худые ноги в суконных ботиках на защелочках. Антон корчился от хохота, приседал, хватался за живот и в конце концов в изнеможении свалился на снег.

— Женька, Женька, ой, помру!..

Карасик вылез из сугроба и отряхивался.

— Вот дурак! — сердился он. — У, дурак здоровый. Честное слово, дурак. Что у тебя за привычка — обязательно шею ломать?.. Дал бог силу, он уж и рад. Иди ты, ей-богу... Как дам!..

— Ну дай, дай! — приставал Кандидов.

— Отстань, а то как стукну...

— Ну стукни, стукни! Слабб?

Карасик шлепнул Антона по шее.

— Еще! — не унимался Антон.

Карасик с ожесточением ударил Антона в плечо.

— Как муха! Ты как следует, не бойся.

Стиснув зубы, Женя изо всей силы ткнул Антона в грудь... В груди у Тошки только ахнуло, как в бочке.

— Силенка имеется, — одобрил Антон, — а бьешь по-девчачьи. Кулак надо вот как складывать.

И Антон поднес к носу Карасика свой огромный кулак, медленно поворачивая его, как на вертеле.

— Во, видал? Тяп — и ваших нет.

Прохожие, опасливо косясь, сторонкой обходили разбушевавшихся приятелей. От возни оба разгорячились. Антон распахнул бушлат на крутой и просторной груди.

— Здорóво это, что мы вот опять оба два...

Но вдруг Карасик пошатнулся. Его словно ветром снесло вбок, и он схватился за выступ дома. На позеленевшем лице резко выступили дымчатые круги под глазами.

— Что? — Антон испуганно и заботливо нагнулся к нему. — Ты что, Женя?

— Ничего, пройдет... — бормотал Карасик.

Но Антон перевидел на своем веку достаточно голодающих и знал, как они выглядят.

— Что же ты, Женя, мне не скажешь? — проговорил он с укоризной. — А я, дурной, развозился здесь. Э!.. — И, окончательно расстроившись, он с силой ударил себя кулаком в голову: — Айда к нам! У меня паек... И я тебя к столовке прикреплю.

Поев в столовке майсовой каши и выпив какао со сгущенным молоком, Карасик пресытился.

— Э, плохой с тебя едок, — сказал Антон. — Я тебе на два своих талона набрал. Придется мне передним числом напиться.

Он аккуратно доел все, что было на тарелках. Собрал со стола хлебные крошки в ладонь и тоже отправил их в рот. За едой разговорились. Выяснилось, что Антон работает сейчас по судоремонту. Революция требовала, чтобы пароходы не только забирались, но и почиались.

Поев, Карасик воспрянул и заторопился.

— Куда? — огорчился Антон. — А я хотел с тобой в цирк сегодня — на борьбу, там чемпионат.

— Нет, мне надо, — уклончиво бормотал Карасик.

— С кем это? — понимающе подмигнул Антон. — Молодец Карась! Познакомь когда-нибудь. Иди, иди...

— Да нет, честное слово!

— Да ладно, ладно уж... чувствую.

Пришлось Карасику сознаться, что он ищет славы не только в живописи, но пробует себя также по части изящной словесности. Он писал стихи. Сегодня его ждали в литературном подвальчике «Фиоловая вобла». Там проходились диспуты, литературные суды, поэтические рауты.

— Ладно, — решил Кандидов, — и я с тобой.

Карасик испугался. Куда такого кита в тесный садок для воблы?

— Нельзя, — сказал он.

— Что за петрушка? Что это значит — нельзя?.. Нет такого места теперь, куда нельзя. А если есть, так надо быстренько в Чека заявить: раз, два — и будь здоров!

«Фиоловая вобла» помещалась в нетопленном подвальчике на бывшей Немецкой, ныне улице Республики. Некогда здесь была шашлычная. Теперь стены были испещрены угловатой кабалистикой, оранжевыми угольниками, зелеными кубами, серебряными спиралями и параллелограммами, рыжими кругами, пересеченными пучком прямых линий.

Антон долго смотрел на картину, висевшую у входа.

Картина должна была изображать скрипача. Из невообразимой и пестрой неразберихи торчал настоящий смычок, деревянный, с белым конским волосом. А в левом углу, у самой рамы, была вделана в холст электрическая лампочка. Очевидно, по случаю сбора лампа горела.

Скоро пришли два недосдающих, худых актера из ТЭПа — Театра эксцентрических представлений. За ними, держась около стен, пачкаясь клеевой краской, вошли пятеро застенчивых, но старавшихся казаться бывалыми молодых людей из частного кружка «Эго — я, влетающий, или Прыжок в бесконечность». Потом набились какие-то дамы в пенсне и капорах. Пришел и сел в стороне нечесаный старик профессорского вида в золотых очках. Явилась мужеподобная, коренастая, коротко стриженная девица в папахе и громохочущих сапогах, одетая, как ей, видно, казалось, «под комиссара».

Она размашисто подошла к Антону и хриплым басом спросила:

— Свернуть есть?

Оробевший Антон дал ей закурить.

— Будем знакомы! — сказала она и сплюнула. — Василиса Бурундук. Прозу работаете или стихи?

— Я так... тут, сбоку припека, — сознался Антон.

Все сидели в шапках, шинелях, шубах, кто в валенках, кто в солдатских обмотках и толстых американских ботинках.

— Господа, пора бы уже, — сказала дама в вязаном капоре.

Услышав «господа», Антон качнулся и хотел было уже что-то сказать, но Карасик молитвенно сложил ладони, и Антон смирился. Председатель, в стеганых ватных штанах, в красных высоких шнурованных ботинках и в пиджаке с шелковыми лацканами — реверами, поднялся на эстраду. Он снял шапку, пригладил волосы, зачесанные от левого уха через лысину направо.

— Сегодня мы, — произнес он необычайно отчетливо, как конференсье, — собрались, чтобы заслушать творческие опусы наших собратьев. Первой выступает со своими стихами наша подруга по лире Василиса Бурундук.

Василиса шагнула на шаткую эстраду. Доски закрепили под ее сапожницами. Она вынула изо рта сигарку, метко плюнула на нее и отбросила в сторону.

— «Беатриче, или Ведьма на кресте», — возвестила она и заломила папаху.

У нее был голос парохода общества «Русь» и замашки брандмейстера.

Антон прыснул.

— Не в склад, не в лад, поцелуй блоху в кирпич! — шепнул он на ухо Жене.

На него обернулись. Женья укоризненно посмотрел на Антона.

Следующим читал Карасик. Он полез на эстраду, споткнулся. Все увидели его детские ботики. Голос его стал низким и неверным. Антон страшно волновался за Женью. Но стихи Карасика даже понравились ему. В стихах говорилось о том, как белые офицеры разыграли в чет и нечет жизнь пленницы... А потом над убитой летал кречет. Почему кречет — это было не совсем понятно. Но рифмовалось это с «нечет» превосходно.

Антон пушечно зааплодировал. От него шарахнулись. Так как почти никто не аплодировал, то его хлопки грянули, как выстрел. Антон смутился. Карасик сел на место, ни на кого не глядя. Антон не решался сразу заговорить с ним. Женья еще тяжело дышал и был весь как будто в другом измерении. С ним нельзя было еще общаться так, запросто. Как водолаз с большой глубины не может быть сразу поднят на поверхность, а должен быть проведен через промежуточные уровни и давления, так и Карасик отходил медленно. Когда он выплыл на поверхность, на эстраде подвизался самоуверенный молодой человек с монументом. Он поднял руку, откинул волосы со лба, подтянул пальцами шею и завыл и заныл:

Нервов нарыв,
Проклятое ноющее Я.

Антон подозрительно и настороженно слушал.

— Надо ему из другого глаза очко выбить, — сказал он на ухо Жене.

И, дослушав, вдруг поднялся, наклонился вперед, навис огромным своим телом над рядами.

— Что ты хочешь делать? — спросил в ужасе Карасик.

— Могу я? — спросил Антон.

— Пожалуйста... — сказал председатель, пожимая плечами, и пояснил присутствующим: — Это наш гость, рекомендованный сегодня...

Антон уже стоял на эстраде, упираясь макушкой в сводчатый потолок подвала. Он громогласно откашлялся. Высокий, горластый, высился он над сидевшими, как большой пароход среди лодок. Он тряхнул головой. Седая прядь его вскинулась.

— Пер-Бако это львенок а не ребенок клянусь душой о боже мой удар был верен я умираю! — проревел Антон, ударил себя в грудь и спрыгнул с настила.

Последовало неловкое молчание. Кто-то нерешительно хлопнул. Карасик готов был исчезнуть сквозь пол. Хоть бы свет погас!.. Но электричество, как назло, горело сегодня отлично.

— Все? — спросил председатель.

— Все. Могу еще раз, если понравилось.

— Господа, товарищи! — закричал поэт со стеклышком. — Я не понимаю, что это за издевательство. Ведь это же стихи Ростана...

— Я и не говорю, что мои, — сказал Антон невозмутимо. — А ты вот сдул чужие, а под своей маркой продаешь! Ох ты, вобла!

Поднялся страшный шум и визг. Скамейки сдвинулись с места.

— Позвольте!.. Как!.. Что такое!

— Кто его пустил?..

— А ну, позво-о-оль! — громким, пристанским голосом сказал Антон, легонько отстраняя наседавших на него. — Раз это не его стихи. К нам в столовую один чудак приходил, голодающий. За какао стихи читал от недоедания. За сочинение какого-то центрального поэта... Из Питера. Я и фамилию знал. На «Зе»... Нам тогда объясняли, да забыл.

— Докажите! — закричал поэт, выронив из глаза стеклышко и постыдно краснея. — Предъявите факты...

— Поз-во-о-оль! — опять сказал Антон. — Не махайся ты перед глазами!

И Карасик двинулся к выходу под прикрытием его широких плеч.

Они вышли в черный морозный воздух.

— Ну, зачем тебе это? — спросил Карасик.

— А чего они воображают?

— Неудобно вышло.

— Брось, Женька! Охота была тебе с ними связываться. Выродки какие-то, тьфу! Мы с тобой, помнишь, какие книжки читали, а? А это ни красоты, ни радости.

— Много ты смыслишь! — рассердился Карасик.

— Я, конечно, в этом деле глубоко не разбираюсь, — признался Антон. — Но у меня, веришь ты, Карасик, у меня нюх, знаешь? Носом чую, что не подходящая это тебе компания. Брось ты эту петрушку, Женька, записывайся к нам... Вот где люди, Женька, а? Можешь поверить, сам даже иногда радуюсь. Честное слово! Я не сразу тебя зову. Поработай — увидишь. Свяжешься с нами, плакаты будешь у нас делать, сойдешься с ребятами... Слышь, Женька?.. — Антон, пораженный какой-то внезапной мыслью, даже остановился. — Знаешь что, возьмешься ты у нас раз в неделю занятия вести? С ребятами насчет искусства потолковать. Скажем, Леонардо да Винчи и этот... как его?.. вот вылетело... Рафаэль, что ли?

— Выдумываешь ты, Антон. Фантазия у тебя богатая. Леонардо да Винчи!.. Очень это им нужно.

— Женька, дурной! Слушать будут как проклятые! Это тебе не сиреневая вобла твоя. Люди в полном смысле! Разве тебе понять!.. Пошли в цирк, как раз к третьему отделению, к борьбе, попадем. Там сегодня бенефис Маски.

И Антон принялся рассказывать Жене о чемпионате, о борьбе и даже признался, что у него есть свои планы в этой области. Его увлекала теперь слава чемпионов, французская борьба, призы, медали, аплодисменты. Он уже знал назубок все приемы: бра-руле, «макарены»... — все это он изучил до тонкостей. Он мечтал сам под маской сделать вызов всем борцам, выступать инкогнито, переваливать всех до одного на обе лопатки, получить приз и в последний день самому раскрыться под гром аплодисментов и туш оркестра («Под маской боролся непобедимый молодой волгарь, бывший грузчик Антон Кандидов, ура!..»). Все дело было только за маской. У Антона не было мануфактуры.

Они шагали через черный, выставший и словно помертвевший город. Тьма, полная колючего снега, шастала по улицам. Черны были окна. Пурга продувала улицу из конца в конец. Сугробы переваливали с середины мосто-

вой, подбирались к окнам домов. Где-то свистели. Раскатился выстрел.

Они шли, легонько и дружно шатаясь из озорства, как два одноклассника после уроков, шагая в такт только им ведомому маршу. Его не надо было даже петь. Он звучал сам где-то очень глубоко. Рука друга, тяжелая и надежная, давила плечо Карасика. От этого делалось теплее на душе. Между идущими образовался участок уюта и родства, укрытый от ветра, тьмы, стужи. Они прошли мимо сгоревшего Гостиного двора, мимо музея, где за решеткой, уткнувшись в сугроб чугуном носом, лежал царь, свергнутый с памятника у Липок.

ГЛАВА XII

В затоне

Зима, голодная и глухая, проходила в работе, в дружбе. В холодной комнатухе, у распаленной печурки-«буржуйки», Женья разводил свою кухню: раскладывал шпатели, мыл в жестянке с керосином кисти, грунтовал. Антон любил, придя после работы, смотреть, как работает Карасик. Он с уважением прислушивался к вкусным названиям: умбра, сиенская зелень, поль-веронез, зелень перманентная, голландская сажа, берлинская лазурь, кобальт, сепия.

Карасик уже перенял всю жестикуляцию художников. Он научился соответственным образом отставлять большой палец, потом медленно прижимать его к остальным четырем, сомкнутым в кулак. Отогнутым кончиком большого пальца, упирающимся в воображаемую кисть, он округло и пластично — обязательно пластично! — вписывал что-то в воздух, толкуя о форме и цвете. Так, водя выгнутым большим пальцем в иссиня-дымном воздухе, он объяснял товарищам Антона, комсомольцам-водникам, классические формы и линии. Огромным, докрасна накалившимся прозрачным кристаллом выглядела печурка в домике-временке на затоне. Одетые во что попало, полуголодные, с помороженными руками и ознобленными лицами, слушали Карасика молодые ребята с затона.

Карасик пришел к ним в первый раз с великим страхом. Он был уверен, что его поднимут на смех, что никто

сго и слушать не станет. Глядя поверх лиц, осекаясь, начал он лекцию.

— Величайший мастер итальянского Возрождения гениальный Микеланджело Буонаротти был несчастлив в своей великой жизни, — сказал Карасик и тут же смущенно словил себя на том, что в одной фразе сказал «величайший» и «великий».

Но тут он рискнул взглянуть на лица и поразился. На него смотрело столько глаз, полных сочувствия и интереса, что следующая фраза, казалось, сама легко и уверенно шла на язык. Карасик удивился вниманию, с каким слушали рассказ о жизни далекого флорентийского мастера. Никто не перебивал Женю, только один раз на задней скамейке угрюмый и бледный от недоедания парень поднял руку, как школьник. Карасик настороженно поглядел на него.

— Давайте здесь не курить, — сказал парень и сел.

Карасик стал завсегдатаем в домике на затоне. За четверть пайка в месяц он рисовал плакаты по судоремонту. Водники дивились его быстрому искусству, задавали ему вопросы наивные, но неизменно благожелательные. Угрюмый парень, просивший на первом занятии не курить, приходил на занятия всегда самый первый и однажды принес показать Карасику тетрадку, куда он перерисовал виды с открыток.

Работа в затоне была тяжела. Приходилось отдираť примерзшие к берегу катера, производить обколку льда. Зброшенные, заржавленные буксиры валялись на берегу, как издыхающие киты. Было так холодно, что знобило при одной мысли о прикосновении к морозному металлу.

Однажды во время лекции по затону раскатился выстрел. Нервно залился гудок. В мастерских все вскочили и кинулись к дверям. Перепуганный Женя побежал за всеми.

— Сиди, сиди! — остановил его Антон. — Запомни, на чем остановился. Не беспокойся: комсомольская тревога, тебя не касается.

Антон, вероятно, хотел просто успокоить Женю. Но Карасик почувствовал себя глубоко обиженным. Опять какая-то полоса отчуждения прошла между ним и Антоном с его ребятами.

К весне в затоне все пришло в движение, как в гусят-

нике. Красили, шпаклевали, выводили новые названия: «Свобода», «Заря Революции», «Память тов. Маркина»... Ледокол «Громобой» уже вспорол Тарханку, торопя весну. Но черная вода среди белизны берегов выглядела неестественной, озябшей, как цыпленок в разбитом раньше времени яйце.

Потом наступил день, когда с коренной Волги, из-за Зеленого острова, донеслась канонада ледохода. И, грохая, двинула Волга, вертя, круша и выжимая на берег тяжелые льдины с обрывками дорог, с вешками, с конским навозом.

Началась весна. И как знак новой экономической политики, как первое доказательство нэпа, открылась на Немецкой кондитерская с настоящими, давно невиданными пирожными, сдобами, слоями.

Антон и Карасик никогда не ходили по той стороне улицы и стойко отворачивались, когда им приходилось быть поблизости от соблазнительной витрины. Иногда, в праздник, друзья устраивали роскошный ужин. Они покупали в складчину белую булку, разрезали ее пополам и медленно съедали, совершенно счастливые.

Саратов давно славился своим пристрастием не только к французской борьбе, но и к музыке. Это один из самых музыкальных городов в стране. Концертанты всего мира знают это.

Весной открылся городской парк «Липки». В уцелевших садах закипела сирень, распахнулись окна, и чуть ли не из каждого открытого окна понеслись экзерсисы и гаммы. В тенистых улицах с развороченными тротуарами стало звучно и разноголосно, как в коридоре консерватории, что на углу Никольской и Немецкой. Под сенью «Липок» тихо миловались влюбленные. Полая вода укоротила взво-зы. Пристани теперь жались к самым домам. У пристаней закричали первые пароходы. Как истые волжане, Антон и Карасик все свободное время толкались на берегу. Берег был загажен мешочниками, вонью тянуло из разрушенных пакгаузов. Но Волга оставалась Волгой, всегда новой, не знающей застоя, просторно текущей. И вода была большой, прекрасной водой.

Пароходы ходили не по расписанию и с новыми именами, но голоса у них были знакомые с детства. И друзьям было приятно узнавать старых горластых, подфрантившихся знакомцев, заимевших новые паспорта. И Антон и Женя

могли рассказать всю родословную каждого парохода. Им были известны все победы, подвиги и судьбы пароходов. С горечью узнавали они о гибели судов — взорванных, сожженных, потопленных.

ГЛАВА XIII

Тося

Волга в тот вечерний час то розовела, то подергивалась опаловой поволокой, бесконечно широкая, поглотившая берега, выливающаяся из-за горизонта и за горизонт заплывающая.

По краю откоса шли четыре захмелевших цыгана, неправдоподобно живописные. Они шли, обнявшись, к взвозу. Шаровары черного бархата были на них. Скрипели сапоги на неверных ногах. Белые рубахи были выпущены из-под кожаных жилеток. Смоляные бороды горели зеленым, бронзовым огнем, курчавые волосы над медными шеями искрились радужным блеском, прохваченные лучами низкого солнца. Жгучий цыганский глаз косил по сторонам. Воздух вокруг них был оранжевый, плотный, как на старых картинах.

— Фу ты, черт! — залюбовался Антон. — Знатно ступают, фасону сколько. Вот вольная жизнь!

— Завидуешь? — колко спросил Карасик.

— При чем тут завидуешь, полюбоваться нельзя?

Он помолчал.

— А если и завидую, так что? — спросил он. — Я в душе сам, может, шатуший. Отцов дед цыганил, с табором ходил. Симпатия там у него, что ли, завелась. Фамилию даже новую взял. Вот наша фамилия и пошла чудная такая.

Но все это — и тона, положенные на стены закатом, и Волга, и цыгане, вольно вступающие в город, — все это было так торжественно и тревожно, что друзья замолчали в странном предчувствии каких-то событий. Кто видел такие закаты на Волге, тот знает это странное ожидание, тот испытывал непонятное разочарование, когда вот солнце село и ничего не произошло... На этот раз ожидания не обманули. Приятели увидели девушку, сидевшую на ска-

мейке у края откоса. Не сговариваясь, оба нашли ее прекрасной. Да и могла разве в такой вечер появиться обыкновенная девушка!

Девушка сидела и читала. Ее косы, толстые, как пристанские канаты, лежали у нее на коленях. Время от времени она перебирала их, словно четки. Антон и Женья, беспрерывно подталкивая друг друга локтями в бок, осторожно присели на кончик скамейки. Антон подтолкнул локтем Карасика в бок и начал:

— Пер-Бако!..

Но острый локоть Карасика вонзился ему под ребро так, что он чуть не охнул.

— Мы вам не препятствуем?—вежливо спросил Антон.

— Нет.

Молчание.

— Извиняюсь, — решительно начал Антон, — это не вы случайно вчера были в «Гранд-Мишеле» на картине «Серая тень», четвертая серия?

— Нет.

— Тогда, извиняюсь, обознался. А в «Зеркале жизни» на «Человеке без имени»?

— Нет.

— А на юбилее Слонова тоже нет?..

Этими расспросами достигались сразу две цели — знакомство и сообщение о своем светском, широком образе жизни.

— Тогда извиняюсь... Удивительное, понимаешь, Женька, сходство!

— Да, есть некоторое, — сказал Карасик. — Не так уж, конечно. У той глаза разве такие?

— Нет, конечно, та и равняться не может, — поспешно заверил Антон.

Друзья переглянулись. Тактика была давно выработана. Они работали на пару, как разговорный дуэт в цирке. Один должен был задавать вопросы, а другой ловко отвечать на них. Карасик не был силен по этой части — он был нужен как подручный. Выигрышная роль всегда доставалась Антону.

— Как ты думаешь, Женья? — начал Антон, скосив глаза на девушку. — Отчего это, Женья, у меня такая натура, что я до сих пор никак не могу увлечься?

— Я думаю, Тоша, — заученно отвечал Карасик, —

что это оттого, что ты не встретился с достойным человеком.

— Да, я тоже так думаю, — продолжал Антон значительным голосом, — что не было подходящего знакомства.

И они посмотрели на девушку. Но та продолжала читать, облизывая пальцы и перелистывая желтые страницы. На коленях у девушки лежала большая папка «мювик». На ней лежала другая книжка.

Антон заглянул на обложку книги, которую девушка читала, — Сенкевич, «Камо грядеши». Ничего, подходящая, хотя, правда, религии много, но зато — Урс! Такого силача не в каждой книжке сыщешь.

— Можно посмотреть книжку? — вежливо попросил Антон.

— Можно, — отвечала девушка и протянула ему книгу, лежавшую у нее на коленях.

Антон многозначительно подтолкнул опять Карасика.

— Гвидо де Верона, — прочитал вслух Антон. — «Жизнь начинается завтра»... А сегодня нельзя?

Карасик жестоко ткнул его.

— Женька, давай ты! — шепнул Антон.

Карасик голосом «фиоловой воблы» сказал:

— Как обворожительно прекрасна в эти весенние часы Волга, каким величавым спокойствием дышит она!

Так как девушка все молчала, то Карасик спросил:

— Правда, какая ширь, Антон?

— Факт, — сказал Антон. — И глубоко тут сейчас — тридцать сажён!

Но и глубина не поразила девушку. Тогда Карасик решил действовать от себя.

— Меня, собственно, интересует чисто живописная задача, — медленно сказал Карасик и, согнув палец, как на выставке, обвел им горизонт. — Хочется разложить на цветовые множители эту гамму оттенков...

При слове гамма девушка подняла глаза на Карасика.

— Смотри, — продолжал Карасик, — вот берлинская лазурь, кобальт, ультрамарин, краплак, лакфиоль... (Ой-ой, черт! Это, кажется, цветок вовсе...)

Девушка с интересом смотрела на Волгу.

— И вохрой еще пройти, — сказал Антон, считавший, что последнее слово должно всегда остаться за ним. — Песок вон...

С низовьев, от Увека, донесся глухой пароходный баритон. Очень далеко показался пассажирский пароход. Девушка забеспокоилась. Сложив книжки, она всматривалась в даль.

— Вы не знаете случайно, какой это пароход идет? — спросила она вдруг.

Приятели вскочили. Теперь они могли себя показать! Но тут же они сели. Зачем, однако, нужен был ей пароход?

— Встречаете кого? — ревниво спросил Антон.

— Папу жду.

— А, папу! Сейчас мы вам все узнаем с ручательством! — воскликнул Антон. — Ну, давай разберемся, Жень.

— Что мы тут имеем? — сказал профессиональным тоном Жень. — Не теплоход — это ясно.

— Факт. Колеса бьют.

— А свисток, как у «Кавказ и Меркурия»...

— По кожуху — бывший «самолетский», только в белый перекрашен.

— Спереди у рубки поднято, значит, одно из двух — «Татьяна» или «Анастасия»...

— «Татьяна» в ремонте.

— Тогда ясно какой.

Консилиум кончился. Друзья подошли к девушке.

— Это «Володарский» идет, — сказал Карасик, — бывший «самолетский» «Великая княжна Анастасия Николаевна». Год постройки тысяча девятьсот шестнадцатый.

— Только, извините, не теплоход, — с сожалением сказал Антон. — Но это ничего, из «самолетов» самый лучший.

— А как же вы отсюда узнали? — удивилась девушка.

— Знаем уж, знаем, — отвечал скромно Антон.

— Вы, наверное, заранее знали.

— Кто же теперь знает заранее?.. Теперь и капитан свой пароход перепутает.

Но оба друга немножко волновались, а вдруг ошиблись — не «Володарский». Пароход подходил ближе, разворачивался. У трубы забился ватный комочек пара, и в улицы, заглушая экзерсисы, вошел долгий гудок, медленно опадающий, как взброшенный песок. Антон предложил провести девушку на пристань, куда никого не пускали,

но где Кандидов был своим человеком. Они сбежали вниз, пароход уже подчаливал. Все трое встретили папу и помогли ему вынести вещи — довольно тяжелые, так как папа был запаслив и вез из командировки картошку и соль. Но Антон легко ухватил два мешка и потащил их с пристани. Папаша сперва забеспокоился, но дочка поспешила всех перезнакомить.

Тут произошло маленькое замешательство, так как выяснилось, что дочка еще тоже не знакомилась со своими новыми друзьями и не знала их фамилий. Но все быстро уладилось. Тоша и Карасик представились, узнав, в свою очередь, что девушку зовут Тосей, а фамилия папы Густоваров и он работник финотдела, бывший податной инспектор, как выяснилось впоследствии.

Прятели геройски дотащили папашину добро до самого дома, на Приютской. При этом Карасик совершенно выбился из сил, хотя Антон отлично распределил кладь и, пристроив ляжки, главную тяжесть взвалил на себя.

Папаша стал рыться в кармане, но Тося покраснела, и папаша поспешно потряс руки Карасику и Антону. Прятели были приглашены на воскресенье. Они пришли, ели коржики с «арбузным медом», познакомились с Тосиной мамой. А Тося играла на рояле «Смерть Азы».

В каждом хорошем городе есть свой заветный маршрут, обязательный для влюбленных. В Саратове он обычно начинался встречей на Немецкой и знакомством на углу у консерватории. Первая прогулка пролегла через «Липки», вторая приводила на площадку Народного дворца. Затем следовало свидание на волжском берегу.

Тося училась в консерватории. Женя и Антон по очереди дожидались ее на углу у памятника Чернышевского. Оба, Антон и Карасик, в это время ходили в деревянных сандалиях-стукалках с сыромятными ремешками. Походка получалась звучная, как чечетка. Они встречали Тосю и, стуча на всю улицу, по очереди носили за толстые шнуры «мюзик» — черную папку с вытисненным медальоном Антона Рубинштейна, с белыми муаровыми закрывками. Деньги у приятелей водились очень редко, но все же им удавалось иногда угостить Тосю пирожными безе в кондитерской Василевича на улице Республики.

Пресловутый маршрут был уже пройден, и теперь они часто катались втроем на лодке по Волге. Антон греб.

Лодочку легко несло вбок могучее течение. И было немножко страшно чувствовать, как там, под тонкоробрым и утлым донышком, огромная литая сила плыла в полупрозрачной глубине, хватала лодку и сносила в сторону, стоило только на секунду перестать грести. Но Антон легко выгребал на самом быстрике. С лодки были видны исподние части пароходов — мокрые, красные, как жабры, толстые плиты колес, скрытые кронштейны пароходных надстроек, ржавчина и сурик ватерлиний. У самого лица проходили крупные цифры на шкалах осадки судов.

Карасику, конечно, доставалось место на руле. Тося поэтому сидела спиной к нему. Он тихо терзался, сидя позади, и правил плохо.

— Куда ты правишь? Смотреть надо! — кричал ему обидно Антон.

— Вы утопить меня хотите? — смеялась Тося, оборачиваясь.

Всегда в присутствии Антона она была насмешлива с Женей, говорила ему колкости и подчеркивала свое внимание к Антону. С Карасиком она говорила как с маленьким, и он чувствовал себя глубоко несчастным. Антон и в доме у Густоваровых имел больший успех, чем Женя. Ему наливали морковный чай в первую очередь, подавали в подстаканнике, а Карасику — в чашке. Папаша называл Кандидова Антоном Михайловичем, а к Карасику обращался официально: товарищ Карасик. Карасик страдал. Иногда вдруг, поймав себя на ревнивом чувстве к Антону, он жестоко распекал самого себя... Но странно, когда Женя оставался с Тосей вдвоем, она внезапно менялась. Внимательно слушала его рассказы, расспрашивала о живописи.

У Карасика была привычка всегда кем-нибудь увлекаться, иметь предмет восхищения, живой или вычитанный. И всякий раз, когда Женя встречался с Тосей в отсутствие Антона, он беспрерывно повествовал о своем замечательном друге, не щадя красок, расписывал Антона, его отвагу, силу, доброту.

— Все Антон и Антон... Почему вы о себе никогда ничего не рассказываете? — говорила Тося.

— О себе? — удивлялся Карасик. — А что я? У меня нет никакой биографии.

В тот вечер, запомнившийся на всю жизнь, Антон был занят, и Карасик один отправился на свидание с Тосей.

Стоял теплый летний вечер. Из «Липок» от английского цветника доносилась музыка. Женя и Тося сидели на паперти старого собора, у толстой белой колонны, исчерченной тоскующими парочками нескольких поколений. Вечер был душный и сладкий. Тося доверчиво положила голову на худое плечо Карасика.

— Тося, — прошептал Карасик, — можно вас поцеловать?

— Не надо, Женя.

— Я вас сейчас поцелую, — сказал Женя решительнее.

— Не надо лучше...

— Почему не надо?

— Так... зачем...

— Нет, я все-таки поцелую, — упрямо сказал Карасик.

Он осторожно коснулся губами ее щеки. Щека была такая нежная, такая беспомощная, что страшно было печально сделать ей больно. У Карасика перехватило горло от восторженной жалости.

— Тося, вы не рассердились? — спросил он.

— Нет.

— Ни капельки?

— Ни капельки...

И вдруг она резко повернулась к нему. Карасик почувствовал, как Тосина рука обхватила его шею, и понял, что его целуют. Но Тося сейчас же откинулась назад и так замотала головой, что концы тяжелых ее кос разлетелись в стороны.

— Я нехорошая, Женя... — зашептала она. — Я очень плохая, Женечка, я скоро замуж выйду. За Василевича.

За Василевича? Нэпач, владеец кондитерской. Человек с голыми сизыми надбровьями, хрящеватый весь, с тяжелым прикусом длинного рта.

— За пирожное? — шепотом спросил Карасик, разом отодвигаясь.

— Ну, так за пирожное...

— Но ведь ваш папа...

— Подумаешь, папа! — злобно перебила его Тося. — Спекулянт он, мой папа, вместе с Василевичем. Женечка, это очень гадко!.. — бормотала она, плача, тесно прижимаясь к Карасику. — Вы меня не будете презирать?

Поймите, ведь это только так, для устройства... А так мы будем с вами. Вы ведь будете ко мне приходить? Только вы, пожалуйста, без Антона. Чего вы нашли в нем такого, не понимаю.

— А вы сами? — поразился Карасик.

— Я? Ничуть! Это папа его просил попрiderжать. Он через него провизионку получил, провоз на пароходе... Ему Антон свою отдал...

— Придержать?! — с ужасом чуть не закричал Карасик.

— Ну, обиделся уже за друга, сентиментальности какие! Вы ужасный мальчишка все-таки, Женечка, вы поймите, у вас душа хорошая... Ну что вы на меня так устались?

— Эх, Тося, противно даже! — тихо сказал Карасик, отодвигаясь, и его всего передернуло.

...Женя шел по опустевшей улице Республики. Было тихо. Небо было ясное и светлое. Резким колючим силуэтом были вырезаны на нем готические шпили консерватории. Карасику прежде очень нравилось это здание, похожее на средневековый замок, у которого он поджидал принцессу. Сегодня фальшивая аляповатая готика раздражала Женю. Из ресторанчика, что напротив консерватории, из-за розовеющих занавесок в открытом окне доносилось: «Сшей ты мне из котика манто...» Он перешел на другую сторону, чтобы не проходить мимо вывески Василевича.

Карасик еле достучался до Антона. Антон уже спал. Он открыл дверь совершенно голый, вернулся в комнату и сел почесываясь. В комнате носился легкий запах его чистого и ладного тела.

— Ну, что такое? — сквозь зевоту спросил Антон.

Карасик, глотая комки обиды, рассказал. Он скрыл лишь, что Тося говорила об Антоне. Антон сразу очухался. Он потянул штаны со стула.

— Это допускать невозможно! — заорал он. — Она не такая! Силком ее хотят. Прошло такой петрушке время. Я им всем головы пообрываю! Айда сейчас же!

Тогда Карасик рассказал все. Антон помолчал.

— Так она и сказала?

— Так и сказала.

— Ну, а ты что?

— Что ж я? Плюнул и... вот...

Антон достал со стола коробку с махрой, бумажку, свернул и закурил.

— Ну, спасибо, Женья! — И он крепко сжал плечо Карасику. — Ночуй уж у меня. Ложись к стенке, я с краю.

И Карасик лег на узкую скрипучую койку. Антон примостился сбоку. Он лежал большой, жаркий, ровно и сильно дыша. Мерно отвешивало полновесные удары его сердце. Женья слушал жизнь этого здорового тела.

— Женька! — сказал вдруг Антон, приподнимаясь. — Слушай, Женька... только откровенно. Ты с нею целовался когда?

— Целовался.

— И со мной целовалась... А мамаша-то, мамаша... Коржики... У-у, жаба!.. — И он уткнулся головой в подушку.

ГЛАВА XIV

В разные концы

Карасик все ближе и ближе сходиллся с товарищами Антона. Бывать в затоне, толковать с затонскими ребятами — это скоро стало для него потребностью. И тут Карасик заметил странное обстоятельство. Раньше он шел в затон потому, что это казалось ему выполнением какого-то большого долга, без которого нельзя жить в такое серьезное время. Теперь он спешил туда, потому что ему было интересно там, интереснее, чем где бы то ни было. Дело тут было не только в Антоне. Женью влекли и восхищали эти грубоватые, крепко стоявшие друг за дружку, все очень разные и все-таки чем-то друг на друга похожие парни. Его уж давно в затоне считали своим. Никто не спрашивал у него пропуска. «Художник пришел!» — кричал сторож у ворот, возвещая о приходе Карасика. Но все-таки Женья чувствовал себя немножко гостем, пусть желанным и приятным, но гостем, а не хозяином. И в обращении с ним ребят тоже чувствовалось подчеркнутое гостеприимство. Это можно было бы устранить, надо было лишь записаться... Но Карасик не решался. Ему казалось, что он этим разжалует себя в рядовые, потеряет личную

свободу. Ему хотелось быть похожим на этих затонских ребят, но оставаться все-таки не таким, особым. Объяснить бы это, вероятно, и сам Женя не мог. И поэтому Антон, не раз заводивший с ним разговоры на такую тему, ничего не понимал.

Вскоре Антон получил новое назначение. Его направляли под Астрахань вести работу среди грузчиков на низовье. Дело было почетное. Жаль только было опять расставаться с другом. Но как раз в это время Карасику предложили командировку в вуз, в Москву.

— Счастливый ты уродился, Женька! — вздыхал Антон, узнав об этом.

— Ну вот... нашел кому завидовать, — говорил Карасик, стараясь скрыть прыгавшую в нем радость.

— Нет, везет, везет тебе, Евгений! И так уже сколько всего выучил, а теперь уж вовсе образованный станешь... Ну, да ни черта. Дойдет черед и до меня.

Под Астраханью Кандидов проработал несколько лет. Потом пришел год призыва. Антон мечтал о флоте, но комплект там был заполнен. Кандидова зачислили в части пограничной охраны. Ему довелось служить в отряде, охраняющем большую пограничную станцию.

Антон тянуло в родные края — на Волгу. Отбыв срок службы, он вернулся в свой городок и снова стал работать комсоргом среди грузчиков. Он стал учиться и кончил курсы бригадиров Волгогруза. По его предложению, работа на пристанях была рационализирована. Антон был хитер на практические выдумки. И ему удалось многое сделать, чтобы облегчить и упорядочить хорошо знакомый с детства тяжелый труд грузчиков. Артели стали хорошо зарабатывать.

Старые грузчики, знавшие его отца, величали теперь Тошку Кандидова Антоном-тамадой. Молодежная артель «Чайка», в которой был бригадиром-тамадой Антон Кандидов, ставила рекорд за рекордом. Она уже второй год подряд держала переходящее знамя Волгогруза. Приезжали подзаянять опыт с далеких пристаней. Пробовали переманить Антона. Но Кандидов оставался верен себе и своей «Чайке».

„Аранский номер“

Сперва Карасику в Москве пришлось туго.

Когда прошли волнения первых хлопот и улеглись восторги от московской новизны, для Жени наступили дни жестокого разочарования. Его провинциальные успехи по части живописи никого здесь не удовлетворили. Во многом ему пришлось переучиваться. Он увидел, что умение его пока не выходит за пределы любительства. Когда же его призвал к ответу голос настоящего искусства, он почувствовал себя немоцным и вскоре — сперва это было мучительным подозрением, но потом оно превратилось в жестокую уверенность — он понял, что художником ему не стать. Он поступил в университет на физико-математический факультет. Здесь он сперва учился с огромным увлечением, пораженный величием высшей математики, ее стройностью и таинственными умозрительными красотами. После расплывчатых, выписанных в воздухе большим пальцем деклараций искусства его потянуло к формулам точного знания, высеченным словно из твердых кристаллов. Но все-таки в душе он все время ощущал, что это еще не то, не настоящий путь, это лишь промежуточная станция. Иногда на самой интересной лекции, очнувшись и оглядывая сидящих вокруг него, он вдруг понимал, что забрел сюда случайно, что впереди его ждет что-то другое. И долгие часы просиживал он в большом зале библиотеки, полном тишины и премудрости, часами рылся на развалке у букинистов Китайгородской стены и выискивал редкие книжки, предаваясь величайшему из наслаждений — блужданию по книгам.

Теперь он с жадностью перечитывал как раз те страницы, которые в детстве они с Тошкой пропускали. Оказалось, что там-то и находились слова, объяснявшие жизнь, оказалось, что там-то и скрывалась вся мудрость, скромная, остающаяся в тени, не лезущая в глаза.

Он читал книги по истории. Теперь его интересовали не только баррикады и битвы, не только великолепные поступки, афоризмы и исторические тирады, но и заседания, но и съезды, но и цены на товары.

Так незаметно для себя он вырослел. Жилось ему

нелегко. Им «уплотнились» дальние родственники отца. Он жил в кабинете врача, весело посмеиваясь над собой и уверяя, что для него все входы и выходы в жизни плотно забиты докторами. От четырех до семи врач принимал, и Карасик должен был три часа гулять по улицам, если он был свободен от лекций. Поэтому он очень быстро и хорошо узнал Москву. Ему давно уже сказали, что у него «скорее графические способности, нежели живописные». Однако совсем бросить рисование ему в то время еще не пришлось — он писал плакаты для магазинов и желто-зеленых пивных: «Всегда свежие раки» — и выводил устрашающие клешни.

Вечером после лекций он возвращался в докторский кабинет, пахнувший йодоформом, и ложился спать на врачебную клеенчатую кушетку, неудобную и холодную. Что может быть лютее, чем холод операционной клеенки, проникающий сквозь простыню! Над головой Карасика висела эсмархова кружка с клистиром, огромным, как брандспойт...

В университете он мало с кем сошелся. Но один человек его внезапно заинтересовал. Это был Димочка Шнейс, «великий арап», как он сам себя отрекомендовал.

Димочка Шнейс с удовольствием слушал и о Волге, и о пароходах. Но он нашел, что Карасик ничего не умеет брать от Москвы, взялся руководить воспитанием Жени и сделать его настоящим москвичом.

«Жизнь — это сплошной арапский номер, — говаривал Димочка Шнейс. — Жизнь надо разыгрывать».

Для него не было ничего серьезного в жизни. Все он обращал в шутку, обо всем говорил, как о пустяках. Язык у Димочки был тоже свой, особенный, «арапизированный», как он выражался. Он переиначивал слова, подхватывал каждое ходячее новое выражение. «Блатовать», «красота, кто понимает», «во, и боле ничего». Речь Димочки была до отказа перегружена этой дребеденью.

Он ходил в театры принципиально лишь по контрамаркам. Не было такого места, куда бы он не мог проникнуть. Он хвастался тем, что ему знакомы все милиционеры в Москве, и на пари здоровался с каждым постовым за руку. Милиционеры удивлялись, но вежливо козыряли. Входя в трамвай, он раскланивался с кондукторшей, снимал галоши, ставил их у входа и вешал кепку на поручень.

У Димочки была очень веселая компания. Он называл ее «содружество арапов».

Он работал репортером в ведомственной газетке. Деньги у него водились, но он не вел им счета и вечно сидел в долгах, которых, кстати, никогда не отдавал. Он развлекался как мог: мистифицировал незнакомых людей по телефону, рассказывал невероятные, самим им выдуманные истории и клялся при этом, что он «очевидец и ушеслышлец» происшествий. Жил он налегке, весь как будто подбитый ветром.

— Димочка дома? — спрашивал Женья, придя к нему.

— Нет, — говорили ему, — за папиросами ушел.

— Давно?

— Дня два.

Карасик был сперва подавлен великолепием Димочкиного нахальства, обилием контрамарок во все театры, количеством анекдотов, записанных в специальной тетрадке, невозмутимой наглостью, всем блеском арапского аксессуара Димочки Шнейса. Неизвестно, каким образом и непонятно для чего Димочка оказался студентом и даже ухитрился иногда сдавать зачеты, тоже, разумеется, на арапа.

Первое время Женья с увлечением сопровождал Димочку в его похождениях. Они проникали бесплатно во все театры, знакомились с каким-нибудь захмелевшим посетителем в пивной, пили сообща, а затем уходили с черного хода, предоставляя случайному событульнику расплачиваться за троих.

Но вскоре Женья обнаружил, что Димочка Шнейс, помимо всего, грязный человек. Не стеснясь, он рассказывал вслух о таких своих похождениях, о которых другим бы даже про себя вспомнить было стыдно. И была за всем этим ухарством, бесстыдством и пошлостью страшная пустота, тоскливая и неприкаянная.

Разглядев ее, Карасик опомнился, испугался и понял, что попал в скверную компанию. С тоской вспоминал он о своей дружбе с Кандидовым. Топка как в воду канул. Конечно, можно было бы, если постараться, найти его, но Карасик был самолюбив. Он был уверен, что Антон вышел в большие люди. И Жене не хотелось предстать перед старым другом вот таким, никак еще не получившимся, ни до чего не дошедшим. Но он часто вспоминал о Кандидове.

Антон снился ему в окружении сугробов, паровозных труб. Ему сопутствовали в снах Карасика толпы и бури.

После этого Димочка казался Карасику еще мельче и пустее.

ГЛАВА XVI

Евгений Кар

В то время Карасик стал ощущать с каждым днем все растущую потребность записывать свои мысли, впечатления, особенно поражавшие его события. К стихотворениям он давно остыл. Вести дневник ему не хватало терпения. Кроме того, ему казалось нелепым писать, адресуясь к самому себе. Он должен был видеть сквозь строки написанного глаза читающего, иначе он не мог выдавить из себя ни слова. Он старался представить себе читателя. Читатель сидел в высокой, просторной тишине Ленинской библиотеки, тихо шелестел страницами и делал выписки. Иногда это был суровый и лохматый юноша в железных очках, с проступающей тенью бородки, или серьезная стриженная девушка в верблюжьем свитере, беззвучно шевелившая нежными губами. И Карасику страшно захотелось быть прочитанным и узнанным этими читателями. Ему захотелось писать, ему захотелось «глаголом жечь сердца людей». Он написал рассказ об арапах, где изобразил под вымышленными именами себя и Диму. Рассказ был написан очень пышными и густо взбитыми словами. Фразы были усеяны сравнениями. В постскриптуме автор сообщал, что рассказ этот основан на истинном происшествии. Но это не помогло. Рассказ через три недели был возвращен из журнала, куда его сдал Карасик, и на полях рукописи красным карандашом начертаны были две злоеющие буквы: «НП».

Карасик переписал рассказ заново и послал в другой журнал. И оттуда рукопись вернулась через месяц, неся на себе таинственные инициалы — «НП». Куда бы ни посылал свой злополучный рассказ Женя, всюду настигали его эти таинственные «Н» и «П». «Что это такое? — доискивался Женя. — Николай Палыч, Никита Петров...» И, получив уже сам, лично, в пятой редакции возвращенную рукопись, он осмелился спросить у секретарши:

— А кто это — НП?

— Не кто, а что. Это значит «не пойдет», — отвечала секретарша.

Карасик уничтожил рассказ, но писать не бросил. Он почувствовал, что ему интересно писать о вещах, мимо которых, не замечая их, проходят люди, в то время как мелочи эти раскрывают огромный смысл времени. Когда он говорил кому-нибудь об этом, люди сперва с удивлением смотрели на него, а потом говорили:

— А действительно!.. Вот странно, никому это в голову не приходило.

Тогда Карасик понял, что он видит многое из того, что другие не подмечают. Он стал внимательно присматриваться к окружающему и уловил множество замечательных черточек, мелочей, признаков, качеств, которыми можно было определить существо происходящего гораздо точнее, ярче и убедительнее, чем простым подробным описанием. Он стал писать, стремясь всегда по-своему увидеть предмет. Он писал о Москве, о ее улицах, старых бульварах, схватывал трамвайные разговоры, уличные шутки. Когда он писал, он всегда видел тех своих читателей из Ленинской библиотеки, скромных и вдумчивых, или ему казалось, что он пишет своему другу и, может быть, Антон где-нибудь найдет и прочтет написанное. Поэтому ему хотелось отыскать особенно теплые слова, и он вскакивал, отбрасывая в отчаянии ручку, шалея от помарок, судорожно сжимая голову, подыскивая нужное, искомое, единственно верное понятие или звучание. Ему не хотелось писать про выдуманное. Ему хотелось лишь передать по-своему, как можно убедительнее, настоящее, виденное, узнанное. Так, он написал большой очерк о Моховой улице, о книжных развалках, о студентах, бегущих на лекции, о чугунных глобусах университетской решетки, о Ломоносове, глядящем с пьедестала на новых пришельцев.

Он отнес очерк в редакцию большой газеты, где у него был знакомый журналист. С ним Карасика когда-то познакомил Дима. По тому, как пренебрежительно говорил тогда этот человек с великим арапом, Карасик понял, что он ничего общего с Димой не имеет.

Знакомый этот встретил Карасика довольно хмуро.

— Ага, — припомнил он, — вы, кажется, приятель этого... Шнейса... Где он, кстати, обретается? Вот арап!

Журналист обещал прочитать рукопись и через три дня дать ответ.

Карасик пришел в назначенный день, но журналист сказал, что он еще не успел прочесть, и просил зайти через неделю. Карасик явился через неделю, но журналист был занят, и Карасик не смог его дождаться. Он решил плюнуть на эту затею. Но через два дня Карасик получил городскую телеграмму, в которой его просили немедленно зайти в редакцию. Карасик опрометью кинулся. Он влетел в подъезд, ворвался в подъемник, едва не опрокинул лифтера. Лифт пошел невероятно медленно, слегка пощелкивая на этажах.

Карасик был полон надежд. Ему казалось, что он поднимается на воздушном шаре к облакам, но уже у четвертого этажа его охватило сомнение. На седьмом этаже он вылез.

— Молодец! — сказал, увидя его, знакомый, оказавшийся заведующим отделом. — Мы тут все читали вслух. Мнение общее. Давно вы пишете? Мы сдаем в завтрашний номер. Тут кое-что надо выправить и подсократить.

И он защелкал огромными портновскими ножницами.

— Подпись какую поставим?

— Если можно, то Евгений Кар, — сказал Карасик и почувствовал, что он готов кинуться на шею заведующему и перецеловать всех сидевших в этой прокуренной и забросанной бумагой комнате.

Утром он встал чуть свет и долго стоял у киоска, дожидаясь, когда принесут свежие газеты. Он схватил еще пахнущий типографской краской лист и развернул.

Сердце у него оборвалось. Очерка не было. Он пробежал всю страницу, ища заголовок «Перспектив юности и книги», но такого не было. И вдруг ему бросилось в глаза: «Моховая улица. — Евгений Кар». Напечатали, напечатали! Правда, название заменили и от очерка осталось меньше половины. Начинался очерк с середины и кончался фразой, которую Карасик никогда в жизни не писал. «Это заставляет со всей решительностью поставить вопрос об организации разумного досуга студентов», — с изумлением прочел он. И после первой минуты восторга он почувствовал страшную обиду и разочарование. Пропали замечательные образы и сравнения, над которыми столько трудился Карасик.

Все это осталось в зловещей редакционной корзине. Но в редакции все поздравляли Карасика. В комнату специально приходили сотрудники, чтобы взглянуть, кто это такой — Евгений Кар. Карасику сообщили, что звонили уже из университета, Наркомпроса, что досуг студентов будет организован. Из секретариата принесли первые письма студентов, отклики. Потом Женю вызвал сам редактор. Карасик заробел. Редактор, человек с полулегендарным именем, ученый, большевик, желал видеть Евгения Кара. Кар вошел в большой кабинет. Высокий человек, с прямыми плечами и военной выправкой, в сапогах и в тужурке со стоячим воротничком, голубоглазый, уса́тый, приветливо встретил Карасика, усадил его в большое кожаное кресло, а сам сел напротив, на диван.

— Это у вас очень здорово получилось, — сказал редактор. — Давно пишете? Связаны с какой-нибудь редакцией?.. Нет? У нас хотите? Тогда я скажу, чтобы вас оформили... Там заполните что надо...

И редактор позвонил.

— Очень здорово написали! И язык у вас хороший, острый. Только меньше сравнениями щеколяйте.

— От них же ничего не осталось, — не выдержал Карасик.

— Ничего, ничего, хватит, больше чем достаточно, — сказал редактор.

Так Женя Карасик превратился в Евгения Кара. Его знакомый, заведующий отделом информации, рекомендовал ему использовать для фельетона похождения арапов. Он помог Жене раскусить истинный смысл этого безобидного как будто озорства.

Женя писал фельетон и помнил своих читателей за столиком в Ленинской библиотеке. Он писал, и ему нестерпимо хотелось, чтобы эти читатели согласились с ним, чтобы они были убеждены и поверили Карасику.

Фельетон Евгения Кара «Арапы», напечатанный подвалом, прошел с шумом, вызвал поток писем и дискуссии в вузах. Карасик слышал свое имя на улицах, в трамвае.

После этого Карасику пришлось написать ряд мелких полуделовых, полухудожественных очерков. Его гоняли и по репортерским заданиям. Он не отказывался. Корреспондентский билет открывал ему все двери. Он написал очерки о советских исправительных учреждениях, ездил

в карете «скорой помощи», сидел в школе на уроках, принимал участие в перелете нового пятимоторного самолета.

Раз от разу он писал все проще и проще. Охота за диковинными образами, ошеломляющими сравнениями прискучила ему. Он понял, что в конце концов все на свете похоже на что-нибудь — находить сравнения не представляет большого труда. Мир был полон совпадений, созвучий, сходств. Стоило лишь прислушаться внимательно и настроить себя на этот лад. И вот, лежа утром на колхозном сеновале, во время своих корреспондентских странствий, Карасик, играя созвучиями, слышал, как петух распевал свой «курикулум», лягушки кричат «кэкуок», воробей чирикает «Рейкьявик», «рококо» бормочет курица и баран вспоминает «Мекку». Это были скучные, книжные, вычитанные ассоциации. Они начинали раздражать Карасика. Ему теперь казались отвратительными и безвкусными «игрища слов», в которых был таким специалистом его прежний приятель Димочка. У Жени появлялся настоящий вкус к словам. И слова стали открывать ему свой полный смысл, ничего не утаивая.

Работа газетчика, нервная и неблагодарная, сегодня требующая бешеного напряжения всех сил, а завтра, казалось, исчезающая бесследно, увлекала Карасика, хотя он проклинал бессонными ночами свою газетную судьбу, ссорился и хлопал дверьми, когда его очерки сокращались и уродовались в суматохе боевых ночей редакции, грызся с критиками на летучках, но в душе он любил газету и только здесь чувствовал себя на месте, в своей тарелке.

На летучке аплодировали его зазорным тирадам, посмеивались, но не старались особенно охладить пыл Карасика. «Невзрачен, но взрывчат», — говорили о Жене.

Однако после первых удачных лет Карасик почувствовал серьезные затруднения в работе. Он посещал заводы, рабочие клубы, подолгу беседовал с молодыми рабочими, работницами, комсомольцами, но всегда в самую душевную беседу проникал холодок интервью. Чутье Карасика подсказывало ему, что люди при нем держатся не так, как обычно. Все они начинали говорить неестественными, книжными фразами и старались выглядеть похожими па тех людей, которых они вычитали в очерках. В то же время это на самом деле были люди замечательных биографий, люди замечательного трудового примера, а Ка-

расик, бывая среди них, с болью чувствовал, что он все-таки посторонний — свой, но не совсем. Это чувство было ему знакомо еще с того времени, когда он вел кружок в саратовском затоне.

— Я человек без биографии, — жаловался он товарищам. — У меня огромная личная заинтересованность в построении социализма, но решительно никакой биографии. Все эти люди, о которых я пытаюсь писать, они родные дети страны, они росли вместе с ней, их биография — это часть истории.

— Ерундите вы, — говорил ему редактор. — Что это значит — нет биографии? Это все старомодная интеллигентщина, дорогой мой. Не биография делает человека, а человек — биографию. С биографией родятся только наследные принцы. Вы ведь не наследный принц?

— Нет, — смущенно смеялся Карасик.

— Я тоже так думаю, а то вот с такой биографией мы бы вас выкинули из редакции.

Однажды редактор вызвал к себе Карасика.

— Слушайте, Карасюк, — начал редактор, любивший шуточно переименовывать фамилии сотрудников, — как это вы на днях толковали, что ищете, мол, мужественный...

— Коллектив, — подсказал Карасик.

— Да, коллектив... Ну что же, я вам могу кое-что предложить. Вы плаваете?

— На воде держусь, — уклончиво ответил Карасик.

— Ну, держитесь, — сказал редактор. — Мы вас хотим направить спецкором в поход глиссеров. Знаете, что такое глиссер?.. Слышали? Ну так вот, послезавтра начинается большой испытательный пробег. Дело это очень интересное. А вам это будет полезно — вы какой-то нестройной все-таки...

Карасик слышал о глиссере еще на физмате. Глиссер — замечательное вездеходное судно с особым устройством плоского днища, позволяющим ему на ходу почти совершенно вылезать из воды. Глиссер — новое слово в судостроении, машина огромной скорости, не страшаясь мелководья... Люди, вероятно, на глиссере особенные.

Карасик с восторгом согласился.

Он много раз собирался начать новую жизнь: вставать рано, делать утреннюю зарядку, посещать каток, ходить на лыжах. Он назначал себе сроки, устанавливал точный

день, когда откроет новую эру в своей биографии, но как раз в этот день назначалось какое-нибудь важное заседание или ему поручались спешные задания, и все планы шли прахом. Но на этот раз сама судьба благоприятствовала: редакция направляла его на искомый путь. Решено! Завтра начинается совсем иная, настоящая жизнь — жизнь с людьми мужественными и суровыми.

Ночью, накануне старта, он ехал домой в машине. День был каторжный. Фельетон его десять раз сокращали, ночью пришли какие-то срочные материалы. Фельетон гулял с полосы на полосу. Надо было его резать с мясом... А в самую последнюю минуту пришлось неожиданно дописывать несколько строк, так как весь макет номера полетел к черту и условия верстки требовали добавочных строк. Все в редакции сбились с ног. На столах давно остыл недопитый чай. В окна уже смотрело залитое бледной голубизной рассветное небо.

Сонный Карасик ехал на машине рядом с шофером. Он любил эти поздние возвращения. В эти минуты, когда каждый сустав пел и гудел на свой манер от усталости, Карасику казалось, что и он является сейчас маленьким носителем огромной ответственности за мир и покой спящей страны. Ему было приятно, что он на дозоре, что он бодрствует вместе с постовыми милиционерами, стынувшими на перекрестках; вместе с дворниками, вышедшими уже подметать улицы; вместе с ночными сменами на заводах; вместе с шофером Гришиным, который легко держал рулевую баранку в пяти сантиметрах от локтя Карасика.

Выехали на Красную площадь. Дремали пепельные ели у стены Кремля; лицом друг к другу, неподвижно, словно сращенные с гранитом, стояли часовые у входа в Мавзолей. За зубцами Кремлевской стены горел медленным огнем флаг, подсвеченный снизу. Кричали галки над Александровским садом. Москва спала, спали миллионы наработавшихся за день людей.

А вот он, Карасик, бодрствовал. Когда они подъезжали к дому, совсем было светло. Дворники начинали поливку. Бородачи в фартуках хлестали улицу длинными водяными бичами. Первый солнечный луч ударил из-за крыш, и теперь каждый дворник держал в руке по радуге.

Старт

Карасик носил шляпу. Он носил ее с жестоким упорством и никогда не изменял ей, хотя шляпа весьма осложняла ему жизнь. Его часто принимали за иностранца. Мальчишки окружали его излишним вниманием. Куда бы ни шел Карасик, где бы он ни появлялся, все равно шепотом или вслух, в лицо ему или за спиной произносилось: «Чемберлен... американец!.. Джентльмен... Чарли Чаплин...» Эти уличные прозвища страшно допекали Карасика. Он стал так мнителен, что ему всегда чудились за спиной эти шепотом произнесенные слова. В конце концов он привык к этому и переносил насмешки с грустной стойкостью. И сейчас, направляясь к месту старта, он знал заранее, что кто-нибудь да уж непременно ляпнет Чемберлена (или Чарли Чаплина) и испортит торжественные минуты.

Глиссеры стояли у пристани водной станции. В походе участвовали две машины. Это были сильные спортивные суда. Все у них стремилось вперед, все было скошено, зализано, подобрано.

Одна из машин была изящно отделана. Вся она словно только что соскользнула с цветной обложки технического журнала. Отливал красный лак, под которым струились прожилки благородного дерева. Играли на солнце медь и хромировка. Маленькая уютная каютка была отлично скомпонована с корпусом. Карасика сразу потянуло к этой элегантной машине.

Второй глиссер был проще. У него были строгие аскетические очертания — суровые линии рывка. Тут все предназначалось исключительно для движения. Все жило за свой счет. Не было ни каюты, ни мягких сидений. Все было наружу, все обнажено в своем машинном естестве, как на паровозе. Здесь, по-видимому, не помышляли об удобствах. Видно было, что этот глиссер готовится в поход, а не на прогулку.

«Этот повоенной», — подумал Карасик.

Пахло рекой, нагретой водой. Солнце калило сверху и, отражаясь в слепящей глади, жгло снизу. Карасик в шляпе, с чемоданом в руке пробирался среди полуголых юно-

шей и девушек. На дощатых мостках не просыхали мокрые следы купальщиков.

Карасик привык видеть все это издали, с трибуны стадиона, из-за барьера. А тут он сам как-никак был участником похода, законным обитателем этого чудесного, отраженного в воде и оттого дважды прекрасного мира.

Карасик ощутил необычайный прилив сил. Он воодушевился, расправил плечи. Ноздри его воинственно раздулись, вдыхая запах воды. Облака неслись над флагштоками станции. Казалось, что сама станция уже плывет куда-то. Ветер рвал полотнище транспаранта, мотая его из стороны в сторону, как щенка, вцепившийся в подол, и транспарант хлопал, подобно парусу на реке. Все это напомнило Карасику о предстоящем путешествии. Ожидание страстей, опасностей, приключений развеселило его. Вот она начинается, настоящая жизнь!

Участники похода стояли на плоту у машин. Большинство были в синих комбинезонах с вышитыми серебряными значками на груди. Белели верхи фуражек-капитанов. Из-под лакированных козырьков глядели смуглые лица с резкими и уверенными, точно размеченными чертами. У матросов, летчиков, чекистов видел Карасик такие лица. Среди глассерщиков Карасик заметил строгую ясноглазую девушку в авиационном шлеме. Тоненькая, подвижная, она легко прыгнула в нарядную машину. Карасик еще пуще приосанился. Надо было представиться, а он внезапно заробел. Вот сейчас кто-нибудь непременно крикнет: «Чарли Чаплин, Чемберлен, американец...» Однако делать было нечего. Да и хотелось как можно скорее сблизиться с этими людьми, скорее уж считаться среди них своим. Глассерщики стояли, картинно обнявшись, и принужденно улыбались.

— Здравствуйте, — сказал Карасик.

Но те и глазом не моргнули.

— Товарищ, вы мешаете, — услышал Карасик сзади. — Будьте добры, в сторонку.

И Карасик послушно отошел в сторону.

Тут только он увидел позади себя нескольких фоторепортеров.

Они снимали группу участников.

Щелкнули затворы, и к смущенному Карасику подошел высокий человек. Лицо его показалось Карасику стран-

ным. Нос его был перебит и расплюсчен. Растекшаяся переносица закрывала углы глаз.

— От газеты, да? — спросил высокий. — Очень приятно. Командор пробега — Баграш.

— Кар... — пробормотал Карасик, краснея от пяток до макушки. (Черт его знает, зачем он взял этот каркающий псевдоним!)

— Какой Кар? Евгений? — спросил Баграш.

Он внимательно оглядел Карасика и удовлетворенно отметил про себя, что на корреспонденте нет штанов-гольф, краг, круглых очков. Все это, по мнению Баграша, было непременным признаком щелкоперов. Но редакция обещала командировать в поход Грохотова. Грохотов был парень здоровый. Поехал бы — мог согнуться, а это... Ну и послали дохлика!

— Как же, читаем, читаем, — сказал он однако. — Очень приятно. Это вы недавно насчет воробьев писали?.. Что? Это Кольцов? Возможно, возможно... Значит, вы с нами, а не Грохотов?

Он еще раз внимательно оглядел Карасика и вздохнул. Мозгляк...

— Шляпу придется оставить, — сказал он грубовато.

— А я ее в чемодан, — поспешно сказал Карасик.

— И чемодан тоже, — сказал Баграш, прикинув на руке багаж Карасика. — Для нас каждый килограмм — обуза.

— Так выходит — я шестьдесят три килограмма обузы?

— А вы как думаете? — сказал не очень любезно командор, но, решив исправить неловкость, смягчился и добавил: — Ну, вы, так сказать, полезная нагрузка. Так? Ну, вот познакомьтесь. Это наша, так сказать, центровая тройка, а в жизни — техники, механики... вообще ребята хоть куда. Вот, прошу...

Карасик сжимал одну за другой горячие шершавые ладони, стесняясь, как всегда, своих белых и мягких рук. Он старался стискивать как можно крепче. Но вдруг почувствовал в своей руке такую тонкую нежную кисть, что невольно ослабил пожатие и поднял глаза. Девушка смотрела на него ободряюще, очень славная девушка.

— Это наша конструкторша, Валежная Анастасия Петровна, — представил ее Баграш. — Наша Настя. Она



— Кар... — пробормотал Карасик, краснея от пяток до макушки.

на том, американском глассере идет. Там каютка есть... Да и спокойнее на том, — добавил вполголоса Баграш, когда они с Карасиком отошли в сторону, — безопаснее, а то ведь наша — экспериментальная машина, мало ли что... Вы, кстати, как, плаваете?

— На воде держусь... — глядя в сторону, пробормотал Карасик.

— Хорошо, если есть за что держаться, — сказал Баграш. — Ну ладно, вон там пояс лежит в носу. Вот за него и будете держаться, если перекинемся. Так?

Карасик вздохнул, посмотрел на красивую, сверкающую машину и направился к утлону, неприветливому глассеру.

— Ты не гляди, что тот с виду покрасивше, — горячо и слегка заикаясь, сказал толстый парень со смешливой веснушчатой физиономией. — Отделка у них, это верно, шикарная, зато перетяжелена машина. Поглядишь вот, папачутся на перекатах, как чай пить дать. А у нашей знаешь осадка!.. Восемь сантиметров — кругом проходимость имеет. В чайном блюдечке пройдет — дна не чиркнет! Вот только вы там напишите, что жеклеры администрации хорошие не дает, а мотор сношенный.

— Фома! — деловито позвал его хмурый механик.

— Чего? — откликнулся Фома.

— Опять?

— Чего опять?

— Опять заливаешь? — сказал хмурый.

Все засмеялись. Фома с сердцем плюнул.

— Ну, устраивайтесь, — радушно сказал Баграш. — Ехать будете вот тут... — И он весело указал на ребристую алюминиевую скамью. — Бухвостов, подложи под товарища кошму, а то, знаете, гофра... она весь зад исполосует. А подушки мы кожаные сняли — лишний вес, баловство.

— А каюты нет?

— На кой она нужна...

— А если дождь? — спросил Карасик и тут же пожалел — не надо было спрашивать.

— Если дождика бояться, — сказал угрюмый механик, — тогда, чтобы сверху не промокнуть, надо в воду по шею лезть...

У машины сгрудились провожающие. Толкались под локтями мальчишки.

Вдруг все расступились.

— Здравствуйте, здравствуйте!.. — слышалось со всех сторон.

В сопровождении дамы, занимавшей много места, и белокурой смазливой девицы подошел человек в светлой щегольской панаме и кремовом костюме, с дорогой тростью. Он приподнял шляпу, приветственно помахал ею. Седые волосы его подчеркивали румяный загар веселого лица. Глаза были живые и хитрые. Человек, видно, знал себе цену. С юношеской легкостью он прыгнул в машину.

— Арди, ты выпачкаешься весь! — воскликнула дама.

— Это технический директор наш, — шепотом пояснил Карасику Фома, толстый белобрысый парень в комбинезоне. — Профессор Токарцев, знаменитый. А это его семейство.

Профессор потрогал рулевую баранку глиссера, поднял стлань, посмотрел, нет ли воды, сел на корточки, заглянул в носовую часть, просунув туда руку, вылез с побагровевшим от натуги лицом.

— Пробные ездки были сегодня?.. — спросил он. — Ну как, не заржавеет теперь?

— Нет, теперь, как бачок переставили, скулы выправили, он так и прет на редан... Да и центровка теперь иная.

— Я говорил на канале еще. Все дело в обводах. Мидель немножко перехватили все-таки. Что?

Карасик, как непосвященный, с благоговением вслушивался во все эти реданы, скулы, обводы... Ничего, ничего, к вечеру он тоже все это будет знать.

— Надо журнал завести и чтобы точно все было. Хорошо прикинуть расход горючего, — сказал профессор.

— Журнал у нас поведет по специальности товарищ корреспондент.

— А! — сказал профессор и весело потряхнул руку Карасику.

Карасика познакомили с семейством. Профессорша очень милостиво улыбнулась журналисту, дочка подарила Карасику благосклонный взгляд и сказала, протянув руку:

— Лада. А мы о вас много слышали. Нам про вас рассказывал ваш друг Димочка Шнейс.

— О, Димочка! — сказала профессорша. — Он у нас в доме совсем как свой. Ужасный шалопай, не правда ли? Но блестящий человек.

— Да, — сказал Карасик.

— Ну, с богом, ни пуха ни пера, — сказал профессор. — Только не резаться. Прошу вас... Что? Впрочем, проси вас не проси, все равно будете гнаться.

— Экипаж по местам, машины на старт! — раздался откуда-то сверху безличный и пресный голос мегафона, голос, никому не принадлежащий, но всех касающийся, вещей, как сама судьба.

Загремел оркестр, глиссерщики попрыгали в машины. Они снимали кепки и надевали шлемы. Стартер поднял свой флаг. Вот она, торжественная минута старта.

Карасик поспешно выгребал из чемодана все самое необходимое и закидывал вещи в принесенный кем-то берестяной баульчик, напомнивший ему детский ботанический короб.

Ужасно унизительно было при всех ворошить свое белье, вытаскивать галстуки, подтяжки.

— Товарищ корреспондент, займите место.

— Есть занять место! — браво ответил Карасик... и, оступившись, свалился в воду, так как освобожденная от пут машина слегка отплыла и между ней и мостками образовался просвет, полный воды.

— Корреспондент за бортом! — закричал кто-то.

— Стоп, отставить! — приказал Баграш.

Все бросились к плоту.

Карасик побарахтался и ухватился за борт. Толстый белобрысый глиссерщик, которого звали Фомой, легко втащил его на машину. С Карасика текло и капало. Все смеялись.

— Шляпа! — закричал чей-то женский голос.

Шляпа Карасика, покачиваясь, плыла вдоль плота. Кто-то выловил ее и подал Карасику. Тот машинально надел ее, мокрую, и тотчас сдернул. Но было поздно...

— Чарли Чаплин! — закричали мальчишки сверху.

Карасик готов был разорвать себя на части. Тут он увидел Настю Валежную. Она стояла на нарядной американской машине и, вытянув подбородок, с любопытством глядела на Карасика. Карасик видел, что она кусает губы, чтобы не рассмеяться. Потом вдруг она закрыла лицо руками и присела за каюту. Она понимала, что нельзя смеяться, что сию же минуту надо сделаться серьезной, но ничего не могла поделать с собой.

— Ну пичего, па воде дёржитесь, — сердито сказал Баграш. — Идите, быстренько переоденьтесь и больше таких номеров не отрывайте.

Карасик сбежал в раздевалку, напялил на себя все чужое и, путаясь в длинных штанах, завернув рукава непомерно огромного пиджака, снова появился на мостках.

Все пошло к черту. И как это его угораздило плюхнуться? «Ах, будь я проклят, шляпа несчастная!» — ругал себя Карасик.

Все смотрели на него, улыбались и почему-то отворачивались. Только мрачный механик Бухвостов с завода Гидраэр смотрел на него ненавидящими и презрительными глазами. Нахлобучив на голову шлем с очками, Карасик в отчаянии влез на свое место.

— Ну, сели? — оглядываясь, спросил Баграш и взялся за пусковую рукоятку стартера. — От вин-та!

Командующий стартом поднял флаг:

— Стартует глиссер Гидраэра!

Стало тихо, так тихо, что Карасик слышал, как прежний мальчишка сказал сверху:

— Гарри Пиль!

— Эй, вы! — закричал вдруг сверху шикарно одетый молодчик, с нагловатым лицом, с подбритыми под бокс висками. — Вы зря большой-то чемодан не берете! Куда голы складывать будете?

Тут наступила очередь смущаться всем глиссерщикам. Все они делали вид, что не слышат насмешливого голоса, что все это вообще не к ним относится.

— Они сухую везут, думают — на воде размочат! — опять закричали сверху.

Все это было непонятно Карасику. Он не знал, что футбольная команда гидраэровцев недавно отчаянно проиграла магнетовцам, вбившим глиссерщикам три сухих, то есть совершенно неотыгранных мяча.

— Максим Осьпич, — умоляюще зашептал механик, — запусти ты скорее!

На глиссере шел традиционный разговор моторного старта:

— Выключен?

— Выключен.

— Контакт?

— Есть контакт...

Грохот, рев, рывок вперед. Мотор, вода и воздух взбеленились. Откинутая в пену и брызги, ушла пристань в мельканье рук, платков, шляп. Там остался позор Карасика, все там осталось. Начался поход. Началась новая, настоящая жизнь.

Баграш повернул рычаг:

— Полный газ!

Позади вскинулся белый смерч.

— Скорость семьдесят. Старт взят!

ГЛАВА XVIII

На редан!

— На редан вышел! — кричит сквозь оглушительный скрежет мотора Бухвостов.

На редан — значит, машина касается воды лишь в двух местах: уступом днища и кормой. Все остальное в воздухе. Баграш наклоняется над бортом, опускает руку, подводит ее под днище. Потом он показывает руку Карасику — рука сухая. Машина вышла на редан.

— На редан, на редан! — Карасик сам вышел на редан. Он поет какую-то чушь: — Как сказал Шеридан, сам я вышел на редан.

Никто не слышит. Мотор ревет. Вкусный воздух рвется в легкие.

— Видали, как прет? — орет ему в ухо Баграш. — Здорово!.. А «американец»? Красота!..

Пронесясь под гулким решетчатым сумраком Крымского моста, они прогремели по водоотводному каналу и через шлюз у островка снова вылетели на реку. После тесной канавы река показалась просторной и светлой.

Баграш газанул. Ревущий скрежет мотора оглушил Карасика. Река зеркально гладка, как студень. Карасику мнится, будто он ощущает упругое натяжение этой сверкающей плевры. Рой маленьких радуг сопровождает их. Сзади бежит хрустальный столбик взвинченной воды.

Редан высекает из воды искрящиеся выгнутые струи. Два широких водяных крыла. У борта, где сидит Карасик, солнце подсвечивает струю снизу, и хрустальное крыло становится лазоревым, как у сизоворонка.

Ленивое утро выходного дня лежит на берегу. Взволнованная собачонка со всех ног улепetyвает по песку. Чайка тяжело пытается уйти от настигающего глissера. Она висит в воздухе на неподвижных крыльях, ветер сносит ее, и она сползает, скользит по невидимому откосу.

— Хорошо! — кричит во все горло Баграш.

— Хорошо! — орет Карасик.

— А они злы на меня, как собаки!.. — кричит Баграш и подмигивает па сидящих сзади Фому и Бухвостова.

— За что?!

— Вы им не говорите!.. Это я нарочно Настю на «американца» посадил. Теперь наши не отстанут, расшибутся, но не отстанут! И гначки не будет, а то бы непременно гоняться стали. Я их как облупленных знаю.

Так они секретничают во все горло, надсаживая глотки. Но гром мотора плотно законопатил уши и заложил все щели вокруг.

— Они славные! — орет опять Баграш. — Узнаёте поближе... Ребята отличные. Культуры бы им набраться только. Не хватает иногда. Вот вы с нами свяжитесь крепче... Люди нам нужны до смерти, да и вам полезно будет! Верно?

Карасик что есть силы мотает утверждающе головой.

— Конечно, — слышит он сквозь неистовство мотора, — а то вы немножко, заметно, небоевитый какой-то...

Но тут в реве мотора происходит, какая-то заминка. Мотор дает перебои. Карасик бы ничего не заметил, но у Баграша приподнимается с одной стороны клапан шлема, как ухо у умного пса. Водитель вслушивается в путаницу ревов и тресков. Карасик смотрит на него. Водитель очень худ и мускулист. Типичный человек машинных скоростей, человек точной жизни, где части плотно пригнаны одна к другой. Лицо грубоватое, расплющенный нос уродует его. Но глаза хороши — зоркие, развеселые глаза лопмана и хорошего товарища. У него цепкие длинные руки. И по тому, как ведет он машину, как, не глядя, тянется к нужной рукоятке, видно, что человек любит свое дело и знает его до конца.

Фома, перегнувшись через сиденье, что-то кричит под самый шлем водителю. Баграш вслепую спокойно берется за рычажок. Грохот сразу резко спадает, машина делает кивок и, козырнув, как змей, зарывается носом в воду.

Глиссер подруливает к берегу. Лопасты винта два раза рубанули воздух и сразу стали неподвижными. Мотор смолк. И Карасику сперва кажется, что он оглох. Мир невероятно тих. Потом возникает звон в усталых ушах, и до слуха Карасика начинают пробиваться шумы оседлой жизни, лай собак и скрип телеги. Он разбирает уже голоса переругивающихся между собой гидраэровцев.

— Жеклеры? — спрашивает Баграш.

— Это тоже надо отметить, — говорит Бухвостов. — Масло какое дали!

Жеклеры промывают в керосине. Все снова усаживают в машину, запускают мотор — и снова грохот, скольжение, воздух, рвущий ноздри. Карасика смущает нос Баграша. Он старается не смотреть на этот изъян в физиономии командора, но глаза, как нарочно, так и косят сами куда не надо. Баграш, очевидно, заметил в конце концов это.

— Отметинной моей интересуетесь? Капот! — кричит Баграш, показывая на свой нос.

— Капут? — переспрашивает Карасик.

— Действительно, мог капут, а вышел капот... — Но тут Баграш опять насторожился: — Слышите, барахлит?

Опять надо останавливаться, снова лезть в мотор, мазаться, утирать тыльной стороной руки и сгибом локтя пот со лба — руки в масле. И каждый раз Карасик боится, что мотор вдруг возьмет да и не заведется. Они так и не пойдут дальше. В нем еще живет смутное неверие. Ему кажется, что должно что-нибудь случиться: один раз завелся, а другой раз возьмет да и нет. Его поражает спокойствие гидраэровцев, их ангельское терпение.

— Вот проклятый! — говорит он, чтобы посочувствовать.

— Мотор не виноват, — убежденно говорит Бухвостов. — Масло паршивое, а мотор — будьте покойны.

Глиссерщики относятся к неполадкам мотора как к капризам ребенка. Если все в порядке, мотор должен работать. Надо найти, в чем дело. Безропотный Фома в десятый раз сегодня лезет в мотор, копается там, отвинчивает, продувает. Карасику неловко сидеть без дела. Он предлагает помощь. В его голосе слышится такая мольба, что ему дают промыть свечу. Карасик счастлив. Чумазый, заляпанный — рукава засучены до локтя, — он утирает взмокший лоб великолепным жестом, подняв локоть.

«Машина — великий коллективизатор, — заносит он в блокнот для своего первого очерка, — она сплачивает. Прошли первый километр нашего намеченного пути, и все мы четверо уже одно целое, люди одной машины и единого движения».

Они проходят через шлюзы. Карасику доверяют багор, он неумело отпихивается от наседающих на машину осклизлых берегов. При этом приходится стоять на борту не держась, а это, конечно, дело нелегкое. Но Карасик готов снести что угодно. К вечеру Карасик знает уже решительно все. Со смаком, надо и не надо, произносит он новые, узнанные за этот день слова и беспрестанно уснащает свою речь столь приятными на слух выражениями, как редан, обводы, жеклер, топливо.

— Не топливо, а горячее, — поправляет его сердито Бухвостов.

На стоянке Карасик, между прочим, узнает, что Максим Баграш, Николай Бухвостов и Фома Русёлкин не только глассерщики, но и первоклассные футболисты, центровая тройка нападения команды Гидраэра. Карасику втолковывают, что это команда классная и только происки врагов задвигают ее в группу «Б». А по игре ей давно место в группе «А». Правда, тут недавно пришлось проиграть магнетовцам.

— Судья, скот, подыгрывал! — сказал Фома так убежденно, что нельзя было ему не поверить. — Два гола неправильные, а один так, дуриком.

— И состав не полный, — сказал Баграш.

— Вообще случайность и чистое невезение, — добавил Бухвостов.

— Первый мяч — офсайд чистейший, даже публика и то свистела.

— А так мы их, как мальчиков! — вошел в раж Фома.

— Опять? — спросил Бухвостов иронически.

— Чего опять?

— Опять заливаешь?

Карасик чувствует, что ему уже немножко неприятно: почему это гидраэровцы проиграли магнетовцам? Было бы лучше, если бы они выиграли. Он чувствует искреннюю ненависть к судье, который неправильно судил матч. О футболе говорят много и ожесточенно. Потом начинают таким же тоном, с таким же увлечением спорить о достоин-

ствах глассера Гидраэра. Оказывается, это совершенно непобедимая машина и может идти черт знает как быстро. Карасику непонятно лишь, почему в походе глассер Гидраэра все время немножко отстает от нарядного «американца».

— Странный вопрос! — говорит Бухвостов. — У них какая отделка!

— Скольжение иное, — поясняет Баграш.

— А мы водовозы! — горючится Фома.

— Это верно, — говорит Баграш, — воды с собой много тащим. Отделка не только для красоты важна. Тут вопрос скольжения.

— А по проходимости мы им сто очков дадим! — говорит Фома и сам смотрит на Бухвостова.

— Опять? — говорит Бухвостов.

Фома машет рукой.

Жеклеры, свечи — все промыто. И более частные сведения доходят до Карасика уже на полном ходу, обрывками пробиваясь сквозь дрожкий, вибрирующий скрежет. Маленький флажок Осоавиахима фамильярно и больно хлопает Карасика по макушке. Пространство впереди распахивается. Глассер несется на грани двух стихий. На ходу он весь принадлежит воздуху, лишь легонько касаясь воды. Он скользит по реке, слегка ссаживаясь налево и направо. Он бежит, как капля по раскаленной сковородке. Река извилиста — берега то раздвигаются вширь, то сдвигаются. Глассер молниеносно огибает один из поворотов, и вдруг все видят, что в нескольких метрах перед машиной неожиданный паром поднимает из воды протянутый через реку трос. Стальной жгут уже начинает рисоваться над поверхностью воды, испарывая ее. С него капает. Гидраэр полным ходом несется прямо на трос. Остановиться уже немислимо. У всех четверых в то мгновение одна и та же мысль, сверкнувшая, как занесенный топор: сейчас наскочим, разобьемся, или трос срежет всем...

— Головы!!! — кричит Баграш и порывисто, до отказа нажимает рычаг.

Взревев, глассер, совсем почти отделившись от воды, проносится над тросом. Что-то взвизгнуло под ногами, и машина уже далеко оставила за собой паром, где, сбившись у борта, кричат что-то и машут руками перепуганные люди. Баграш слегка сбавляет газ.

— Без пяти минут гроб был!.. — кричит он и снимает левой рукой шлем. Лоб у него совершенно мокрый. — Запишите: машина легко прошла над тросом, совершив прыжок в два — два с половиной метра по горизонтали.

Карасик записывает. Славная, хорошая машина, ни одно другое судно не могло бы проделать это!

Потом опять шлюз. Сруб в тине, сырой, осклизлый. Машина медленно опускается вниз, в колодезный сумрак шлюза, потом торжественно, как театральные занавесы, раскрываются ворота. Видна река. Гидраэровцы торопятся выйти на простор. Мотор включили, и глиссер мчится на берег. Кто-то сует наспех в руки Карасика багор. Карасик что есть силы отталкивает машину от свай. Теперь занесло корму с мотором. Бухвостов вырывает багор. Он пытается отстоять корму, он всаживает багор в сруб, как гарпун. Тра-рах!.. — багор в щепки. Глиссер с ходу ударяется о сваи. Резкий треск. Взлетели над головой осколки пропеллера и щепки свай. Карасик зажмурился. Ему кажется, что он, именно он виноват во всем.

В наступившей тишине Баграш спокойно говорит:

— Кончили винт.

Но оказывается, на машине есть запасной пропеллер. Он уложен вдоль днища. Утопая по колени в густой тине, глиссер выводят на открытую реку. Молча меняют винт. Карасик не решается предложить свою помощь.

— Запишите, — говорит Баграш, — на смену винта ушло двадцать восемь минут.

Уже темно. Мотор включен. Грохот, мрак и мчание. Баграш слегка сдерживает ход. Фома просит прибавить.

— Газаните, Максим Осипович, — умоляет он, — газаните!

Он зудит над самым ухом водителя, как муха.

— Убью я тебя, Фомочка, — ласково говорит Баграш. — Напоремся в темноте — убью я тебя!

Но Карасик видит, как украдкой он двигает рычажок на одно деление. Рев усиливается. Что-то светлеет впереди. Машина, задрожав на всем ходу, проносится над отмелью. Песчаная коса подсекла машину под днище. Но глиссер неуязвим. Мотор окружен грохочущим, пылающим в темноте венчиком выхлопов. Машина ввинчивается в черный массив ночи.

Так ездят на глиссере.

Первый урок

Хороша картошка с золой и дымом, копченый чай, отзывающий селедкой!.. Глиссерщики сидят у костра. На черной воде покачивается глиссер. Мотор накрыт брезентом. За день все устали, но, прежде чем разводить костер, Фома, Баграш, Бухвостов долго и бережно укрывали мотор. Сейчас, сев кружком, достают из золы горячие клубни, перекладывая их с руки на руку. Едят так быстро, что Карасику мало что достается.

— Вы не зевайте, — говорит Баграш.

Распределяют вахты. Первая — Карасика. Ужасно хочется спать. Карасик таращит слипающиеся глаза. Три глиссерщика спят как убитые. Время Карасика давно истекло. Но ему жаль будить своего подсмренного — Фому. Тот смачно посапывает, уткнувшись головой в кошму сиденья. Карасик поеживается. Ночная сырость заползает ему за воротник. Вдруг он видит, что Бухвостов сел и смотрит на него, что-то медленно соображая.

— Какой час? — спрашивает он.

— Три без четверти.

— А Фома что?

— Ничего, пускай поспит.

— Это вы бросьте! — говорит Бухвостов. — У нас это не полагается. Напишете потом с недосыпу ерунду какую-нибудь.

И он начинает трясти Фому так жестоко, что тот мигом очухивается.

Утром все купаются. Гидраэровцы с шумом бросаются в воду, плавают, кувыркаются, хлопают себя по плечам, по животу, по груди.

— А-а... хорош-шо!..

Они вылезают из воды. Тела их осыпаны радужными каплями.

— А вы что же не окунетесь? — спрашивает Баграш Карасика.

Этого Карасик боялся больше всего. Он всегда старался быть застегнутым, носил пиджак, покроя которого скрывал его неспособность. Но тут делать нечего. Он извлекает из куртки и из штанов свое тело, которое ему кажется

до неприличия белым по сравнению с шафрановыми фигурами гидразовцев. Ежась, он аккуратно макает свои невзрачные стати в воду. Вода довольно холодная. Карасик делает усилие и, бултыхнувшись, влезает поглубже.

— Вид у меня... — говорит он виновато.

— Подправиться вам следует, — говорит Баграш. В голосе его нет насмешки. — На солнце побольше, спортом занимайтесь, это все дело наживное. Кость имеется.

Между тем Фома и Бухвостов, голые, бегают по песку. Фома идет вприсядку, выворачивая босыми пятками песок. Бухвостов сделал стойку и пошел на руках. Солнце всходит с реки. День будет чудесный.

— Постучим? — говорит Фома.

— Пошли, — отвечает Бухвостов.

Откуда-то из-под сиденья вытаскивается футбольный мяч.

— Ах, сукины дети, — говорит Баграш, — захватили-таки! Давайте сюда, принимайте!.. Раз! — кричит он Карасику.

Мяч, как болид, пронесся над самым ухом. Карасик слышал легкий шорох, с которым мяч рассекал воздух, и невольно отпрянул в сторону.

— Главное, мяча не бояться, — сказал Фома.

— Мяча бояться — ничего не выйдет, — подтвердил Бухвостов, нацеливаясь с другого боку.

И Карасик с размаху сел на песок, с гудящей головой, от которой отскочил твердый, как чугунное ядро, мяч.

— Вот так, — удовлетворенно заметил Фома, — хорошо! Головой приняли.

Они воткнули два прутика, отчеркнули ворота на песке.

— Только не больше пяти минут, — предупредил Баграш. — Начали!

— Есть!

— Принял...

— Подача...

— Сильно!..

И мяч, понукаемый этими короткими возгласами, резво заходил от ноги к ноге.

— Беру!

— Перевод.

— Даю...

— Пас!

- Сад!
- Гол?
- Там!
- Сидит!..

Стиснув зубы, Карасик лягнул катящийся на него мяч.

— Хорошо! — сказал Баграш. — Первое дело — мяча не трусить.

Карасик, подбодренный, бросился грудью на мяч и получил удар под ложечку. Он сел на песок задохнувшись. Он вдруг разучился дышать, потом вспомнил, как это делается, и втянул воздух широко открытым ртом.

— Кончили, кончили! — кричал Баграш.

Но гидразеровцы разыгрались и гоняли мяч. Тогда Баграш вынул маленькую судейскую сирену и свистнул. Звук этот вмиг отрезвил глассерщиков. Фома поймал мяч, сдул с него песок. Бухвостов взялся за брезент, которым укрыли мотор.

- Выключен?
- Выключен.
- Контакт?
- Есть контакт...

Машина рванулась, толкнула воду, потом выдрала нос и начала свой скользкий бег. И пошла колесом вода с боков. Понеслись справа, слева берега.

ГЛАВА XX

„Лермонтов“

С реки идет прогретый ветерок. Волга отдает накопленное за день тепло. Зеленая звезда бросила прерывистую дорожку поперек реки. У острова горит багровый огонек бакена и шевелит в воде хвостиком отражения. Вода тихонько чмокает берег и поблескивает, как станиоль. А у того берега все черно и тихо. Только иногда продернется вдруг серебряная нить и оборвется, словно струна беззвучно лопнула.

Где-то далеко, на коренной, гулко бьет колесами о воду тяжелый буксир. По зеркальной целине плывет ноющее гудение тяги в топках и доносится глухое бмение, будто кровь стучит в ушах.

— Э-э-эй!.. На плоту-у...

— Ого-о-о?

— Ло-от поднимай...

— Ладно-оть...

Ночь тычется в лицо и ладони, теплая, шершавая, влажная, как губы жеребенка. Кандидов сидит на причальной тумбе. Он вяло тренькает на балалайке и ловко во время паузы подбрасывает в рот подсолнухи. Потник валяется вместе с рукавицами на палубе. Плывет мимо вода, огромная, нескончаемая. Антон вдыхает во всю грудь сыроватый воздух надволжья и чуть не захлебывается. До чего ж хорошо! Плакать хочется или заорать во всю глотку, чтобы спало это томительное оцепенение!

И внезапно, расправив плечи, Антон орёт:

— Ого-го-го!.. Кан-ди-до-ов Ан-то-о-он!..

«О-он!..» — далеко отзывается эхо.

Просыпается дед-водолив. Он чешет кадык, зевает, утирая рот бородой.

— Что ты народ тревожишь, оглашенный?

Кандидов смолкает. Ему неловко, что он забылся. В такие вечера он сам не свой. Опять просыпается в нем и начинает баламутить с бешеной силой жажда какой-то необыкновенной жизни, а пора бы уже уgomониться.

В комнате для пассажиров мирно похрапывают люди. Они лежат вповалку на скамьях, на полу.

Они ждут парохода, и у каждого есть свое направление в жизни, лишь бы билет достать.

Мерцают топовые и сторожевые огни на мачтах. Антон плюет в воду, полную звезд. Вода у пристани течет воронками, маленький водоворотик уносит плевок.

— Сегодня сверху какой идет? — спрашивает он водолива.

— «Пушкин» сегодня.

— «Пушкин», — повторяет Антон. — Вот знаменитый был человек! Поэт... Сколько с тех пор навигаций прошло, а фамилия все гудит! И ведь при каких условиях жил, притесняли как! А выбился все-таки как-никак. А теперь, возьмем, я — все дурак дураком.

— Тебе грех жаловаться. Тебе фарватер кругом свободный. На большой реке живем, воды хватает. Плыви, пожалуйста, куда требуется. Ты бы учиться шел. Вон Петька Косо́й старшим помощником на «Льве Толстом».

Сережка — летчик. Я вот и то из бакенщиков в водоливы произведен.

— А я все никак себя доказать не могу. Был Кандидов, и есть Кандидов. Тошка Кандидов, и всё. А кто такой Кандидов? Чего такое Кандидов? Зачем ему вообще фамилия дадена — неизвестно... Канди-до-о-ов! — орет во все горло Антон. — До того берега еле дойдет.

Он спрыгнул с причала и направился к куче арбузов. Водолив молчит: он знает — сейчас этот оглашенный загубит один арбуз. Бог с ним — раз тоска у человека, можно один арбуз и сгубить.

— Грешишь, тамада, — говорит он все-таки, — с жиру бесишься. Да тебя ж по всей Волге знают!

— Э, что там знают! — отмахивается Антон и выбирает арбуз.

С арбузом под мышкой он возвращается обратно. Забирается опять на тумбу, вынимает складной нож. Шлепает холодный шар. Щелкает пальцем. Арбуз отзывается добрым звоном. Он спел, налит соками. Антон сжимает его, поднося к уху. Слышится легкий хруст. Пристроив арбуз на колени, Антон старательно выпарапывает на гладкой корке: Антон Кандидов. Он подходит к фонарю, любуется на свою работу и, размахнувшись, швыряет арбуз в Волгу.

— Плыви, друг, на низ! Пускай знают — есть, мол, па Среднем плесе такой Антон Кандидов... существует.

— Тамада, не балуй! — говорит водолив, привыкший к чудачествам Антона. — Что ты, в конце концов, мальчи-ка строишь!

Великолепный бас профундо большого парохода... Гудок повис над рекой и заглох потом, как будто взяли аккорд на органе.

— Низовой почтовый подходит, — говорит водолив.

Антон не спрашивает, какой пароход идет снизу. Это его пароход. Сегодня проходит «Лермонтов», тот самый, на мостик которого он взбежал ночью восемнадцатого года с наганами в каждой руке. А теперь этот пароход ходит от Нижнего до Астрахани, ходит нарядный, везет веселых пассажиров. И никто из них не знает, что на маленькой пристани ждет грузчик Антон Кандидов — красный волгарь, завоеватель парохода.

Уже видны отличительные огни — изумрудно-зеленый и раскаленно-красный. Сотрясая звездные миры, пароход

дает подходящий. Гудок медленно оседает, и окрестности долго истолковывают его так и этак.

Вот уже дали свет на верхней палубе. Пароход подваливает — огромный, ослепительный, он начисто заслоняет собой ночь. Колеса работают то вперед, то назад. Борта пристани и парохода сближаются. Между бортами хлопочет, всплескивает бестолочь воды. Скрипят кранцы. И все на пристани приосанилось, преобразилось. Темнота сбежала и стоит за мостками на берегу. И водолив уже не вялый, непроспавшийся дед, а расторопный заведующий пристанью.

Старпом, блестя пуговицами, сбегает на пристань:

— Выгрузка сорок восемь мест. Есть что грузить?

У касс толпятся пассажиры. Начинается посадка. Гремя чайниками, волоча по трапу тяжелые мешки, пассажиры перебираются на пароход.

Застенчивый человек в легком подплатии провожает дочку. Девочке лет тринадцать. На ней пуховый платок, завязанный крест-накрест на груди. Девочка ушла на пароход, а отец все втолковывает ей, перегибаясь через перила:

— Так ты, Ньюша, маме твоей и передашь — хорошо, мол, устроился, слава богу, и приглашает опять, мол, к себе. Поняла?

— Поняла... — ворчливо отвечает Ньюша.

— Не забудешь?

— Да не забуду же!..

— И не пьет, скажи, в рот не берет, ни боже мой! Сегодня не в счет... Гостинец не потеряла?

— Давай, давай на погрузку, — раздается с мостка женский голос, глубокий и низкий. — Поживей там на пристани. Хочу в Вольск вовремя прийти.

На пристань сходит с парохода маленькая коренастая женщина в форменном кителе и фуражке.

— Кандидов есть?

— Есть, товарищ капитан.

Подбегает Антон.

— Здорово, тамада! А ну, давай по-кандидовски, раздва...

— По-о-озволь! — кричит Кандидов.

Скрипят мостки. Идет погрузка. Ритмически прыскает помпа на пароходе.

— А я тебе книжки сменить привезла. Успеваешь? — говорит капитан подбегающему Кандидову. — Прочитал?

— Ясное дело... По-о-о-зволь!

— Ваня, дай ему книжки! У меня там отложены, — кричит наверх энергичная водительница «Лермонтова».

Муж капитанши, учитель в пенсне, проводящий на парохоме каникулы, припосит книжки.

— Вот списочек, — кричит Антон, пробегаая с кладью на спине. — По-о-озволь!..

— Нюша, — не унимается провожающий, — ты где?.. Граждане, извиняюсь, там девочка такая едет, Нюша. Позовите ее...

Хмурая Нюша выходит на нижнюю палубу парохода.

— Нюша, ты не забудешь? Ты скажи — папа на низ работать нанялся. Насчет одежды, обуви пусть не сомневается.

Третий гудок и два коротких отрывистых, чтобы скинули чалки.

— Тих-а-й!

Шипит пар. Под кожухом пришли в движение большие многолопастные колеса.

— Тамада, поступай ко мне помощником по грузовой части! — кричит с мостка веселая капитанша. — Судно тебе известное.

Черный раскол встает между пристанью и пароходом. За колесом пошла вода. Белая пена, завиваясь кругами, закипела позади.

— Нюша, ты так, стало быть, и скажи — папа прокормит, мол, скажи.

— Да ну тебя, уже сто раз сказал! — буркнула девочка с парохода.

— Вот, — закричал в ночь провожающий, — а если она, мама твоя, значит, не согласна... тогда скажи... папа говорит... — И он заплакал.

Пароход унес в ночь свои огни и шумы. И тотчас ночь заняла свое место у пристани, вернула тишину, утихомирила воду, пролегла черными мерцающими далями.

Кандидов сбросил рукавицы и скинул потник. Он собрал книги и пошел спать.

У берега качнулась, заплюхала об воду лодка, подошли и побежали вдоль берега валы от разворачивающегося «Лермонтова».

Пока дошли до Горького, Карасик успел близко сойтись с ребятами из Гидраэра. С Баграшом и Фомой он сблизился очень быстро. Как-то на стоянке у Муромы Баграш разговорился, и Карасик узнал, что водитель глссера был когда-то одним из первых русских летчиков.

— Летали мы на этажерках тогда. Форменные этажерки, — говорил Баграш. — Летишь на такой ширмочке. Ветер треплет матерчатую перепонку на деревянных ребрышках, а между собственными ногами землю видишь. Летишь себе, машина козыряет, валится, руками за стойки хватаешься, а на земле инструктор отвернулся, руками за голову хватается и спрашивает у окружающих: «Ну, как? Гробанулся уже или падает еще?» А нос это у меня в 1919 году на Западном фронте. Совсем я еще тогда был мальчишкой. Перебило мне пулей бензинопровод. До своих я кое-как дотянул, а у земли мотор отказал. Я и вмазал в канаву. За боевую операцию — орден, а за капот — вот это украшение на всю жизнь. И после этого... стал как-то летать не совсем точно, не то что вылетался, но так как-то уверенность ушла. — Он угрюмо отвернулся. — Ну, глссер тоже дело отличное... На торпедных катерах не приходилось вам? Тоже ведь принцип глссера.

— А в воздух не тянет? — спросил Карасик, в котором любопытство журналиста пересилило деликатность.

— Смешно спрашивать! — сказал Баграш и отошел в сторону.

От Фомы Карасик узнал, что хотя Баграш замечательный знаток глссеров и все свои силы, все свое время, все свои знания отдал им, но об авиации говорить с ним не надо. Это его больное место.

— Вылетался старик и страдает.

— Какой же он старик? — удивился Карасик. — Ему и тридцати пяти еще нет, верно...

— Мало что, — сказал Фома.

С Фомой Карасику было легче всего. Когда не было рядом Бухвостова, чья хмурая насмешливость угнетала Фому, — тот был болтлив и откровенен. К Карасику он относился с уважением.

— Ваше дело тоже, наверно, трудное, — говорил он. — Нервов стоит.

Карасик привык, что всюду, куда бы он ни приезжал, люди, с которыми он знакомился, обязательно спрашивали, сколько ему платят за строчку в газете. Только здесь, на глассере, никто не спрашивал об этом. Фома интересовался, как Карасик пишет, что он выдумывает, а что правда и как одно с другим соединяется. Карасик с удовольствием объяснял, а Фома платил ему, в свою очередь, полной откровенностью. Он признался раз, что заветная его мечта — это пойти на новом, собственной системы глассере мимо деревни, где он когда-то работал на кузнице.

С Бухвостовым сговориться было труднее — он был молчалив. Карасик чувствовал, что механик относится к нему с некоторой подозрительностью. От Фомы Карасик узнал, что Бухвостов из бывших беспризорников, жил в одном детском доме с конструкторшей Настей Валежной и до сих пор томится из-за нее. А Настя держится со всеми ровно, и Бухвостов страдает и злится.

В Москве Баграш, Фома, Настя Валежная и Бухвостов жили в маленьком общежитии. Все работали и учились в заводском учебном комбинате Гидраэра. Баграш был главой маленькой коммуны. На одной из стоянок, когда глассер гидраэровцев нагнал дожидавшегося их «американца», Карасику удалось наконец поговорить толком с очень ему приглянувшейся конструкторшей Гидраэра — Настей Валежной.

Глассеры стояли рядом. Корректные, молчаливые американцы, ведущие глассер по поручению своей фирмы, скребли и чистили машину, а Настя, сделав нужные записи в бортовом журнале, прибежала к своим.

— Умираю... пить! — сказала она, обмахиваясь рукой. — Только скорее, мне некогда.

Все наперебой кинулись поить ее. Только Бухвостов стойко продолжал копошиться в моторе.

Настя заглянула в глассер. Фома пытался что-то прикрыть, но Настя уже заметила беспорядок, мусор на дне, объедки, завернутые в газету и засунутые под сиденье. Потом она внезапно подошла к Бухвостову и отвернула ворот его рубашки.

— Фу, — сказала она, — не смотреть за вами, так зарастете... как маленькие, честное слово!

— Это на американском на твоём можно в крахмальной гаврилке щеголять, — оправдывался Бухвостов. — А тут живо к черту вымажешься...

Но Настя распекла всех за грязь, беспорядок.

— Вы что думаете, футболисты? — сказала она. — Я вот тоже сперва относилась так к американской машине. Лишний шик, мол, а теперь вижу, какая у них замечательная машина, сколько у нас наша неряшливость километров в час съедает. Сколько воды тащили из-за этого!..

Она говорила, энергично потряхивая волосами, задорная и строгая. Карасик улыбкой участвовал в беседе глассерщиков. Ему очень хотелось поговорить с Настей. Настя оглянулась на него:

— Ну, товарищ Евгений Кар, как вам у нас?

К Карасику не прививался псевдоним. Все просто его называли Карасиком. Но тут как раз он предпочитал, чтобы конструкторша называла его интимно — Карасик. Обращение «Евгений Кар» огорчило его официальностью.

— Корреспондент наш — молодец! — сказал Баграш. — Он уже в футбол стучает...

— И от мяча не бегают, — заметил Бухвостов.

— И в воду больше не падает, — добавил Фома.

— А вы, видно, так меня и не признаёте? — сказала вдруг Настя, смотря на Карасика.

Карасик давно уже мучился, стараясь вспомнить, где он встречался с этой девушкой. И теперь только он вспомнил.

ГЛАВА XXII

Настя

С Настей Валежной он познакомился в воздухе на высоте девятьсот пятьдесят метров три года назад. Это был первый дальний рейс нового советского многомоторного самолета. Летели строители, инженеры, члены правительства, журналисты. Карасик был командирован спецкором. Пассажиры дремали в мягких креслах, убаюканные шумом мотора. Самолет слегка бросало. Ветер был сильный, и вскоре шатание усилилось. Горизонт то закрывал, вздымаясь, все окно, то заваливался куда-то под пол. Земля кача-

лась внизу, как качается плоскость воды в резко сдвинутой кадучке. Самолет лез, слегка покачиваясь, в воздушную гору, потом вдруг ухал носом в бездну. Ноги никак не могли достать уходящий из-под них пол. Хотелось схватиться за ручку кресла, за сиденье, за что-нибудь падежное, неподвижное. Но все летело к черту в прозрачную яму, в воздушный провал. Начиналась болтанка.

Позади Карасика в кресле страдал плотный военный. Это был почтеннейший из пассажиров. Его грудь была украшена не одним орденом Красного Знамени. Ему было душно, он расстегнул ворот и с отвращением поглядывал в окно, где пучился и опадал горизонт. Проклятая болтанка! Его, одного из славнейших героев гражданской войны, участника лихих боев, трясло сейчас, как пехотинца в седле. Ему было неловко, ему было худо. Его мучило. Глядя на него, стали страдать и другие. В это время в потолке кабины открылась дверца люка. Показались маленькие ноги в штанинах комбинезона, потом по стальной отвесной лесенке мигом спустилась проворная тоненькая девушка. Ее появление сверху было неожиданно и даже несколько обидно для пассажиров. Все считали себя гордо реющими выше всех, а тут, на поди, оказывается, над ними, выше них, была какая-то девчонка.

Пассажиры забыли, что над ними помещение для борт-механиков и мотористов. Девушка, нагнувшись, долго и внимательно глядела через окно кабины на вросшие в крылья моторы. Потом она взглянула на пассажиров и улыбнулась. Улыбка у нее была славная, необходимая, подбадривающая. Приосанились даже самые укачавшиеся пассажиры. Военный на минутку тоже подобрался было, но самолет резко осел вбок и вниз. Тошнота скрутила военного. Девушка, уверенно ступая по шаткому полу, подошла и заботливо склонилась к нему. Карасик увидел, что к ее комбинезону, рядом со значком «КИМ», приколоты крохотная тряпичная куколочка — футболист с круглой пуговкой, изображающей мяч. Военный спилился улыбнуться.

— Что, мутит вас, товарищ? — просто спросила девушка.

Она открыла шкафчик на переборке кабины и вынула оттуда несколько пергаментных пакетов.

— Пожалуйста, товарищ, — сказала она. — Вот берите. Вы не стесняйтесь... если мутит...

— Ну, ну, ладно, — пробормотал военный. — Оставьте, я уж как-нибудь обойдусь сам.

— Тут ничего такого нет. Закачало, и всё. Это со всеми может быть.

Она достала какой-то флакон, смочила полотенце и обтерла лицо военного. Тот уже не сопротивлялся. Девушка обращалась с ним просто, ласково и весело. Исчезла напряженная неловкость. И Карасику даже стало обидно, что его не берет тошнота и девушке нет причины подойти к нему.

— Вы бортмеханик?! — крикнул он, стараясь переорать мотор.

— Нет еще, куда там... — отвечала девушка. Ее высокий голос легко проходил сквозь моторный гром и рычание выхлопов. — Я мотористка-студентка на практике. Ну и к пассажирам приставлена по совместительству.

Они разговорились, раскричались. Рев мотора плотно со всех сторон окружил их, как бы укрывая от постороннего слуха. Девушка рассказала.

Ее зовут Анастасией — в общем, Настя. Она из детского дома, комсомолка. Любит воздух и быстроту. Еще в детском доме увлекалась книжками о самолетах, о моторах. Все смеялись: куда такой малявке да с моторами. Работала в авиамастерской, теперь мотористка, хочет быть авиаинженером...

Тут Настя внезапно насторожилась, прислушалась и рванулась к окну. Пассажиры побледнели. Карасик взгляделся и увидел, что большая дюралюминиевая заслонка от болтанки и ветра отодралась у наружного борта. Она билась, металась на проволоке и каждую секунду могла быть захвачена пропеллером или втянута в мотор. Это грозило разворотить мотор. Настя резко сдвинула вбок стекло окна. Мокрый ветер ворвался с огромной силой в кабину.

— Держите меня за ноги! — крикнула Настя и полезла в окно.

— Что вы хотите делать? Оставьте! — крикнул военный.

— Держите, вам говорят, некогда тут джентльменничать!

Настя нахлобучила шлем, упрятала в него волосы и далеко высунулась из окна. Пассажиры неловко и крепко держали ее. Она висела над тысячеметровой пропастью.

Воздух бил ее, воздух рвал ее. Футболистик на комбинезоне прыгал как сумасшедший. Ветер выхватил у Насти заслонку, она не давалась в руки. Но Настя, вся повиснув над бездной, дотянулась все-таки, уцепилась, поставила сорванную заслонку на место и крепко прикрутила проволокой. Пассажиры потащили Настю обратно в кабину. Она была немного бледна.

— Ну, ну! — сказал военный. — И не страшно вам так?

— Ы! — мотнула головой Настя.

Когда сели на аэродром вечером, все сошли на сырую траву. Настя полезла под самолет, чтобы осмотреть хвостовой костыль. Вдруг она пронзительно закричала и кинулась из-под машины. Карасик подбежал к ней.

— Ой, как я напугалась! — виноватым тоном сказала Настя.

— Да что такое случилось?

— Вон там в траве... лягушка как прыгнет!

— Эх вы, храбрючка! — снисходительно сказал военный. Его давно уже не тошнило.

Мгновенно Карасик вспомнил все это. Как он мог забыть?

— Ну, а как насчет лягушек? — спросил он.

— Боюсь до смерти.

В эту ночь, черную и душную, Настя спала в легкой палатке. Ее соорудили молчаливые, корректные Настины спутники. Затем, отсчитав тридцать шагов, они ушли курить. Около машины запрещалось даже вынимать спички из кармана.

Настя показала у выхода из палатки. Она была без комбинезона, в уютном домашнем халатике. Карасик почувствовал сосущее умиление.

— Ну, до утра, мальчики, спокойной ночи, — сказала Настя.

— Ах, Настасья Сергеевна, — сказал, оставив ногу и подбоченясь, Фома, — замкнутая вы натура, какие люди вокруг вас, а вы ноль внимания!

— Фома! — крикнул Бухвостов издали.

— Ну?

— Опять?..

Фома подмигнул Карасику.

Скоро все спали. Только Карасик никак не мог устроиться, ворочался с боку на бок. Потом и он затих. Лишь всхлипывала вода у песка. Вахту нес Бухвостов. Он ходил около палатки мерным шагом часового. Вдруг Карасику послышался тихий разговор.

— Настя, к тебе можно? Тебе не очень некогда?

Карасик не слышал, что ответила Настя, и ревниво насторожился.

— Господи, опять! — сказала Настя. — Да что такое? Я не понимаю, что ты хочешь?

— Ничего не хочу, я хочу только, чтобы ты ко мне по-человечески относилась, а ты со мной хуже, чем со всеми.

— Брось, Николай! Я к тебе прекрасно отношусь. Мы с тобой уже говорим на эту тему не первый раз.

— Настя!.. — умоляюще прошептал Бухвостов.

До Карасика донесся сердитый голос Насти:

— Ну, ну, Николай!.. Покойной ночи.

Карасик поспешно зажмурился, услышав у самой головы шаги Бухвостова.

Но тут раздался голос Фомы:

— Что, Коленька, вахту несешь?

— Пошел ты!.. — рассердился Бухвостов.

— Будет моя вахта — и пойду, — сказал Фома, повернулся на другой бок и вызывающе захрапел.

Настя не сразу смогла заснуть. Неожиданный приход Бухвостова рассердил ее. Она знала Бухвостова еще по детскому дому. Угрюмый, лобастый беспризорник помогал ей строить авиамодели. Мальчишки в детском доме были озорные, часто говорили всякие гадости. Коля Бухвостов однажды жестоко избил одного из них. Так Настя и Коля подружились. Потом Настя стала замечать, что Бухвостов смотрит на нее восторженными глазами. Ее сперва забавляло это мальчишеское обожание. Хотя она была моложе на год Бухвостова, но считала себя взрослее его. Настя помнила свою мать — она была сестрой милосердия в прифронтовом городе и умерла от сыпняка. Насте было тогда пять лет. Но в памяти ее сохранились трогательные гостинцы, которые приносила мать: ириски, постный сахар. Помнилась суховатая кожа щеки, о которую Настя любила тереться маленькой.

Бухвостов ничего этого не знал. Он не знал и не помнил своих родителей. Он мотался с солдатскими эшелонами. Люди менялись вокруг него. Не было ни ласки, ни привязанности. Настя была первым человеком, о котором он скучал, если не видел несколько часов, первым человеком, которому захотелось сказать что-нибудь ласковое. Но такие слова у Бухвостова не получались. Настя подозревала, что и в коммуны Гидраэра механик Бухвостов поступил из-за нее. Он был отличным работником, безупречным комсомольцем. Он дружил с Фомой и жил в одной с ним комнате общежития. Улыбчивый, добродушный Фома казался антиподом серьезного и мрачного Бухвостова. Но это не мешало дружбе. Они вместе работали, учились, вместе чертили. Часто из их комнаты доносились громкие, рассерженные голоса, что-то летело на пол, громыхали стулья. Из комнаты выскакивал распаленный Фома, зло одергивал рубашку, обводил всех осоловелыми глазами и опять скрывался за дверь. Часа через полтора оба выходили в самом лучшем расположении духа.

— Что у вас там такое? — озабоченно спрашивала Настя.

— Да чего он уверяет, что на его модели кривая завихрения...

— Опять? — говорил Бухвостов.

И Фома замолкал.

Они спорили по любому поводу: вздорили из-за погоды, галстука, из-за мяча... Фома был музыкален. Вставая по утрам, он пел.

— Опять? — кричал Бухвостов.

— Что опять?

— Опять мотив врешь. Слуха нет, а орешь.

— У меня слуха нет?

— Ясное дело, нет.

— Ну, знаешь, Коля...

— Надо так, слушай: та-ри-ра-там-та-ту...

— И врешь: совсем не там-та-ту, а тим-ти-ри... пам-пам.

Иногда выбегал вдруг озабоченный Фома.

— Баграш! — кричал он. — Плеве ведь палач рабочего класса? Да?.. Спасибо!

И он исчезал снова в свою комнатку, где они с Бухвостовым решали вместе шараду: Плеве-л...

Они были совершенно неразлучны, но при людях вечно шпыняли друг друга. И, если кто-нибудь сказал бы им, что они дружны, оба побожились бы, что ничего подобного нет, и долго отплевывались бы.

ГЛАВА XXIII

Поход продолжается

За Горьким началась родная Карасику Волга. Встречные землечерпалки, словно узнав его, поднимали, как бесконечные тосты, свои ковши. Знакомые пароходы приветствовали Карасика помолодевшими голосами и отмахивали ему на сторону белыми флажками. Здесь, на знакомой реке, Карасик чувствовал себя увереннее. И глассерщики с почтением слушали описания примет, по которым корреспондент безошибочно узнавал встречные пароходы. Нос у Карасика был опален солнцем и ветром. Вид Карасик приобрел загорелый и воинственный. На стоянках он успевал сбегать на ближайший телеграф, дать корреспонденцию в газету. Потом помогал грузить горячее. Взмокнув под палящим солнцем, он таскал, обнимая обеими руками, прижимая к животу, тяжелые бидоны и канистры с бензином. Пока шла заправка, он объяснял собравшейся толпе любопытных устройство глассера, его значение. Он рассказывал необыкновенные истории из жизни гонимых.

Голос у Карасика был такой авторитетный, вид столь бывалый и нос до того облупленный, что не верить ему было невозможно.

— Корреспондент-то наш, — говорил уморившийся Фома, — вот малый двужильный. С виду посмотреть — чихом убить можно, а гляди какой!

— Нервом берет, — объяснил Бухвостов.

Карасик слышал это и радовался.

— Душа во мне на честном слове держится, — шутил он. — Если я еще слово не сдержу, которое себе дал, так мне совсем крышка.

— Но, должно быть, тяжело вам все-таки? — спрашивал его Баграш. — Вы не стесняйтесь, скажите, если вам с публикой разговаривать трудно.

— Ничего, ничего, речь держать легче, чем слово, — отшучивался Карасик.

Километрах в двадцати от Ставрополя, в Жигулях, навстречу им, наискось, налетел грозовой шторм. Впереди грозы бежал ураган. Ветер шел по берегу, вминая леса; вмятина эта неслась навстречу глассеру. Волга помрачнела и взъерошилась. С левого берега заходила клочкастая фиолетовая туча. Глассер мчался по освещенной еще воде, и здесь ярко желтели на солнце пески, зеленели прибрежные луга, а впереди все уже было черно и тревожно. Потом навстречу машине в белом паре сплошным свинцовым массивом двинулся ливень. Машина грудью ринулась на него. Туча сразу зашла флангом, вода ударила сверху и снизу, сверкнули молнии.

Машина с наскоку брала волну, пробиваясь сквозь стену ливня, расколотую молниями. Мотор заглушал раскаты. Великолепное молчание нерасслышимой грозы окружало глассер. Ослепительные штыки молнии беззвучно вонзались в закуролесившую воду. Больно стегали по лицам плети ливня. Глассер трясло и било, как на мостовой. Гофра впивалась в тело. Все вымокли до костей. Бег машины был предельный. И она пробила.

Баграш сбавил газ и повернул к берегу. На берегу виднелся домик бакенщика. В маленькой бухточке стоял, пережидая бурю, укрываясь от непогоды, американский глассер. Бухвостов бросил якорь-кошку. Бакенщик в намокшем чапане подтащил машину к берегу. Мокрые, иссеченные, сидели они в избушке. Вода стекала с лиц, племов, одежды. Крытый брезентом, качался глассер у крутого берега.

Выжимая куртку, Баграш проговорил:

— Ну, кто скажет, что плохая машина?

Чем ближе подходили к Саратову, тем роднее и знакомее были для Карасика места. Здесь чувствовал он себя как дома, узнавал села, помогал Баграшу находить наиболее краткий путь. Недалеко от Саратова по луговому берегу можно было пройти маленькой, полузасохшей вóложкой. Когда-то в детстве Карасик ездил на лодке с Антоном. Вóложка называлась Дохлой, и она была наметена на карте-трехверстке, по которой ориентировался Баграш. Вóложка была очень мелка, но значительно сокращала путь. Шедший впереди американский глассер пошел

по коренному руслу. Баграш решил рискнуть и пройти Дохлой воложкой.

— Перетяжелены мы, — сказал Бухвостов и с неудовольствием посмотрел на Карасика.

— Да, есть немножко, — задумался Баграш.

— Постой! — сказал Фома. — Давай я сзади на акваплане пройду.

— Оставь, Фома.

— Максим Осьпич, — взмолился Фома, — позволь!

Карасик слышал, что езда на акваплане — одна из самых отчаянных и любимых забав гонщиков на глассере.

— Вот и будет машине облегчение, — сказал Фома и тотчас начал раздеваться.

Нашлась хорошо оструганная широкая доска. Бухвостов подвязал под мотором прочную веревку, Баграш сбавил число оборотов винта. Голый Фома прыгнул в воду.

— Газуй! — крикнул он.

Баграш стал прибавлять ходу. Сначала Фома волочил-ся на животе, отфыркиваясь, с головой уходя в пену, потом глассер пошел быстрее, вышел на редан. Стало выносить наверх и Фому. Машина вошла в Дохлую воложку. Впереди просвечивала сквозь тонкий слой воды песчаная отмель. Баграш оглянулся, кивнул головой и дал полный газ. Вокруг Фомы все закипело, швырками полетели клочки пены. Через плечи его хлестали рыхлые пузырьчатые струи, но он крепко держался за веревку. Подобравшись в комок, Фома сидел сперва на доске на корточках, потом подтянулся, встал на колени, побалансировал немножко и вдруг выпрямился во весь рост. Из-под ног его выхлестывалась вода. Прозрачные крылышки струй бились у лодыжек. И он неся за машиной, крылоногий, стоя на бешеной воде. Так они прошли над отмелью. Машина замедлила ход, и Фому втащили на борт. Он был возбужден и красен.

Машина давно уже вышла из воложки. Вдруг Фома схватил багор, перегнулся через борт, клюнул что-то зеленое, круглое и вытащил арбуз.

Карасик сидел на переднем сиденье рядом с водителем. Машина снова рванулась и заскользила. Карасик не видел, что происходило у него за спиной. А Фома оделся, обер веретнем арбуз, ударил о колено. Арбуз треснул сразу

в четырех местах, развалился. Он оказался переспелым. На полосатой его корке белели буквы. Фома повернул арбуз и прочел.

— Ну и дурак, что Кандидов! — сказал он и выбросил арбуз за борт.

Вскоре глассер вышел из воложки. На берегу молодые грузчицы разгружали баржу с арбузами. Высокий парень стоял на дощанике. В него летели арбузы. Он ловко принимал их сразу по два, укладывал позади себя, выпрямлялся, прыгал, пригибался. Фома и Бухвостов залюбовались им. Потом они разом перегнулись через спинку переднего сиденья и закричали Баграшу в оба уха:

— Видал хватку? Вот это да! Нам бы такого в ворота!

ГЛАВА XXIV

Артель „Чайка“

Рокот приближался. Вот уже десять минут, как он возник за песками, превратился в грозное урчание и с каждым мгновением делался все громче. Откуда он шел, нельзя было понять. Кандидов уже не раз, прикрывая глаза ладонью, поглядывал на небо. Но самолета не было видно. С неба палило. И Волга у горизонта, накаленная добела, горела жгучим и нестерпимым блеском. Дощаник ходко плыл к пристани. Его длинный, острый нос напоминал струг. В мачте дощаника была прибита доска, и на ней черной краской выведено:

«Первая ударная женская артель грузчиц «Чайка». Тамада Антон Кандидов. Погрузка — на 230 процентов. Выгрузка — 235 процентов».

Плыла большая, тяжелая, медленная вода. Горячим суховеем дуло с берега, и пески легонько звенели в ветре. На дощанике гребли девушки. Они гребли, сидя попарно на банках. Крепкие ноги их упирались в ребра днища. Они гребли, легонько привставая и дружно откидываясь назад. Кофты плотно охватывали крепкие плечи. Лица их были полузакрыты белыми платочками от загара. От передних скамеек до кормы все было завалено арбузами. Урожай в этом году на бахчах выдался небывалый. На

берегу были сложены арбузы пирамидами, бастионами, горами.

Антон стоял на борту, правил кормовиком.

Пароход идет, Анюта...
Волга, матушка река.
На ём белая каюта..
Заливает берега.

— Навались! — негромко покрикивал Антон. — Ровно! Табань, говорю, левым.

У пристани арбузы перегружались на баржи. Расставив своих грузчиц по три шеренги от дощаника, Антон взлезал на палубу баржи. Девушки, подоткнув подола, начинали разгрузку. Арбуз шел по каждой шеренге из рук в руки и затем, пущенный рукой крайней девушки, летел в Антона. В этом и заключалась его, кандидовская, нехитрая система. Она значительно ускоряла разгрузку. Антона как бы бомбардировали арбузами. Одно за другим летели в него зеленые увесистые полосатые ядра. Антон так наловчился, что никогда не ронял. Широко и устойчиво расставив ноги, он изгибался, приседал, легко взлетал вверх или почти распластывался в воздухе, устремляясь за неточно брошенным арбузом. Работу, которую в других артелях проделывали пять человек, он делал один.

Тем временем таинственный рев усиливался, приближался, рос. Казалось, он идет из Дохлой воложки. Но Кандидов знал, что рукав Волги к середине лета почти пересыхает, становится воробью по щиколотку. Лодки и то местами приходится тащить волоком. Но вдруг над кустами потянулись всполошенные утки, из воложки из-за мысика выскочило диковинное суденышко. Антон много видел на своем веку судов: пароходы, теплоходы, баржи, расшивы, буксиры, катера, нефтянки, рыбницы, «грязнухи», дощаники... Но такого судна Антону еще не приходилось видеть.

Из затона вылетела невиданная лодка, гонимая смерчем, который она сама же рождала. Маленький пеногонный вихрь следовал за судном по пятам. Лодка неслась по-над водой, опираясь на нее лишь у кормы. Она мчалась, волоча широкие распластанные крылья из пены и брызг. Судно мчалось на самый бакен. Оно штурмом взяло

отмель. Да что ему бакен, если оно через затон в августе месяце прошло!

Девушки застыли с арбузами в руках, но тамаде было не к лицу заглядываться.

— Ну, ну, девчата! Чего там не видали? Заглядывайся, да дело не бросай. Пошли, давай не задерживай!

И арбузы опять летели, матово отливая на солнце, и плепались о широкую ладонь Антона. Но шалая машина, не сбавляя ходу, разворачивалась по крутой дуге и, наклонившись боком, вся в пене, как понесший конь, мчалась прямо на пристань. Девушки взвизгнули и бросились врассыпную.

Но вдруг рев разом смолк, опали водяные столбики. Легонько, еще чихая и постреливая мотором, машина стала вдруг грузной и, зарываясь носом в воду, подошла к дощанику. В ней сидело четверо. Когтистый багор цапнул за доску. Человечек в шлеме, худой и восторженный, вскарабкался на рубчатую палубу суденышка. Он замотал головой, высвобождая подбородок из-под завязок шлема. Что-то очень знакомое было в этом человеке. У Антона на секунду даже дыхание зашлось. Человек простер руки.

— Кандидов! Тошка! — закричал он.

Антон некоторое время глядел озадаченный... Потом вдруг заорал на всю Волгу:

— Карась?! Живой, чтоб ты сдох!

И в ту же секунду Кандидов схватил Карасика под мышки и, как ребенка, стащил с машины.

— Ну, здравствуй, Тошка!

— Здорово!

— Вот, понимаешь...

— Да...

— Встреча называется, а?!

— Ах ты, Женьча! Чертила ты грешная!.. Поздоровше стал, загорел, — сказал Антон.

— Ну, куда мне...

— Ты раньше жидкий был... Я уж думал, живой ли?.. Не слышать. Ну, ты, в общем, как, ничего?

— Да так, ничего.

— Ты где сейчас?

— В Москве... Пишу, в общем, — сказал Карасик и, как всегда, засмутился, испытывая чувство гордости и неловкости.

— И печатают? — удивился Антон.

Карасик чуть не засмеялся. Он спросил Антона, читает ли тот фельетоны Евгения Кара.

— Евгений Кар?! — воскликнул Антон. — Вот так петрушка! Так, значит, я тебя все время читаю? Вот ни сном ни духом... Номер! Молодец ты, Женька, — уже не скрывая зависти, как тогда, когда провожал Карасика в Москву, сказал Антон, — молодец! Классически здорово пишешь. Я даже из газеты вырезал, как ты с шарманкой ходил. И бюрократов ты продергиваешь хлестко.

Он замолчал и поглядел в сторону.

— А я вот тамада тут у них, — сказал он.

Его окружили гидраэровцы. Они оттеснили Карасика и с веселой почтительностью обступили грузчика, разглядывая его с нескрываемым восхищением.

— Сколько сам тянешь? — спросил Бухвостов.

— Восемьдесят девять кило, — отвечал Антон.

— Хорош дядя! — воскликнул Фома.

— Здоровье позволяет, — скромно сказал Антон.

— Да, материалу на тебя отпущено с запасом! — засмеялся Баграш. — Не видал, друг, машина здесь не проходила, красная?.. Нет? Ну, значит, обошли мы «американца»! — воскликнул Баграш.

— Арбузы ты принимаешь классно, — сказал Бухвостов.

— А ну, как, как это ты? — крикнул Фома и, отбежав немного в сторону, нагнулся, поднял арбуз и запустил в Антона.

Шлеп! Арбуз словно прилип к руке тамады. Кандидов поймал его в полете и уложил в пирамиду.

— Давай, давай! — сказал он добродушно.

Теперь уже Баграш метнул арбуз чуть в сторону. Изогнувшись, Кандидов допрыгнул, и опять арбуз послушно стал в воздухе, у ладони, и мигом был водворен на место.

Пока, забыв обо всем на свете, гонщики бомбардировали Антона арбузами, оттесненного Карасика обступили грузчицы. Они застенчиво пересмеивались. Диковинная лодка, появившаяся с таким шумом, стояла теперь смирно. Девушки подвигались все ближе и ближе. Они жарко дышали в лицо смущенному Карасику. Карасик приосанился. Загорелый нос его рдеет.



Рослая красивая девушка оказалась смелее подруг. Она остороженько дотронулась рукой до горячего мотора. У нее были прищуренные, с чуть приподнятыми уголками глаза, подпертые круто выведенными щеками, такими загорелыми и глянцевыми, что они напоминали покрытую глазурью выпуклость глиняного горшочка. Платок она сняла. Волосы с чистого, почти безбрового лба были зачесаны назад, и крупный гребешок запустил зубья в тяжелый узел на затылке. У девушки был лукаво приподнятый нос, вдавленная на подбородке и крупный рот с ребячливо приоткрытыми губами. На верхней губе сидели маленькие капельки пота. Карасик невольно залюбовался доверчиво открытым лицом волжанки.

«Славная девушка», — подумал он.

— Товарищ, — спрашивала девушка, указывая на глассер, — это для чего она такая сделана?

— Это глассер, — сказал Карасик, — вездеходное судно.

— И по морю может?

— Сколько угодно! — басом ответил Карасик.



Ему было приятно внимание девушек. Он гордился тем, что девушки обращаются к нему, считают его связанным с этой великолепной машиной.

— А как же она через мель ходит?

— Это особое устройство дна...

— Прямо посуху может?

Карасик расписывал достоинства машины. Пусть просвещаются.

— А летать способная? — спросила одна из девушек.

— При чем же тут летать? — рассердился Карасик. — Это же гидроглизсер, судно, а не самолет.

— А вы кто будете, механик? — спрашивала красивая грузчица.

— Нет, не механик.

— А я знаю, вы кто...

— Ну кто?

— Вы ихний врач, — сказала грузчица.

— Я специальный корреспондент, — отрекомендовался

Карасик не без тщеславия. — Понимаете, пишу в газету статьи.

Девушки из почтения даже отодвинулись немножко.
— Вы, стало быть, как писатель? — спросила высокая.
Карасик оглянулся. Гонщики были заняты арбузами.
— Отчасти, — сказал он негромко. — Не совсем, конечно, — добавил он еще тише.

— Груша, ты покажи им свою машинку-то, службу погоды! — закричала, подталкивая подругу, маленькая бойкая девушка. — Она, знаете, какую громажду сообразила! Погоду по ней гадают. Барометр.

— Ну вас! — замахала рукой высокая.

На шее у нее зарделся пунцовый кружок, потом рядом еще, и вдруг сплошная краска залила ее всю, так что даже слезы заблестели на глазах. И Карасик увидел, что ей очень хочется показать свой барометр.

— Покажите, правда, — попросил он.

Рослая легко растолкала подруг и спрыгнула в дощаник.

— Вот, ну чего тут интересного? Ну, барометр, — сказала она, протягивая что-то Карасику.

Карасик увидел, что на руке у нее вместо часов дешевый игрушечный компас.

Карасик рассматривал странный прибор, протянутый ему грузчицей. На доске были укреплены шпенечки и выпиленный из тонкой деревянной пластины рычажок. Толстый крученный конский волос шел от рычажка. Деревянная стрелочка ходила по разлинованному от руки диску. На диске Карасик увидел деления: «Дождик», «Холодно», «Будет перемена», «Чудная погода». Сейчас стрелка указывала на дождик.

— Это я в календаре вычитала, — виновато сказала Груша.

— Ну и как, действует? — спросил Карасик.

Груша замялась:

— Действует... только когда как. Когда ветер, дождик, то верно предсказывает, а как солнышко, то, бывает, все равно дождик показывает.

— Очень интересно, — сказал Карасик и вернул барометр Груше.

— Симпатичный какой! — услышал он за своей спиной шепот.

— Чудной только...

— А я таких сроду уважаю, сурьезных,

А в Антона всё летели арбузы. Гидразровцы увлеклись. Дощаник быстро опорожнялся. Девушки могли сегодня отдыхать — гончики швыряли арбуз за арбузом. Кандидову приходилось ловчиться. Он то приседал, принимая у самой палубы тяжелый кавун, то легко возносился вверх, доставая пронесившееся над головой зеленое полосатое ядро. Легко, точно отзывалось все его тело на самый каверзный бросок. Тамада стоял молодцом. Футболисты Гидраэра сами запарились. Они смотрели на Антона как зачарованные.

— В футбол давно стучишь? — спросил Фома, отдуваясь.

— Я сроду в футбол не играл, — усмехнулся Антон.

— Откуда же у тебя техника такая? — изумился Бухвостов.

— От выгрузки. Я эту самую петрушку три года изучаю. Мы по арбузной линии знамя имеем.

— Нет, как ты хватку такую выработал?

— Обыкновенно как. Беру его, значит, с прищепом или на подхват, а спускаю на пупá — и всё.

— На пупá?.. — восхитился Фома.

— Слышь, как тебя звать?

— Антон Кандидов, тамада.

— Кандидов! — закричал Фома. — Это, значит, твои арбузы по Волге плавают? Очень приятно.

— Фома, опять? — закричал Бухвостов.

— Как же ты при таких способностях и не играешь? — удивился Баграш.

— Не приходилось.

— Чудило ты! — воскликнул Фома и покосился на Бухвостова. — Из тебя же мировой голкипер вышел бы!

— Ну, уж мировой... — протянул Антон.

— Верно, товарищ Кандидов! Я тебя в свою бригаду устрою. Так натренируем — первый сорт!

— Мы бы тебя, Антон-тамада, на весь мир прославили. У тебя реакция на мяч — тьфу, на арбуз то есть! — прямо редкая!

Антон покачал головой. Честолюбие распирало его грудную клетку чемпиона. Но все это было так неожиданно и как будто не всерьез.

— Нет, я уж тут на Волге привык. Трудно мне от реки..

— А у нас реки нет, что ли? — загорячился Фома. — Москва-река знаешь как разольется, во!

— Фома, опять? — сказал Бухвостов.

Вдруг послышался певучий гром с коренной, и из-за глинистого мыска вылетел красный глиссер. Он шел на среднем газу, ничего не подозревая. Американцы были уверены, что Гидраэр безнадежно отстал. Гонщики кинулись к машине.

— Возьмите меня с собой, — сказала Груша полушутя, полусерьезно. — Ох, мне в Москву охота! Я уже на все пароходы просилась, а меня всё не берут. Только обещаются.

— С удовольствием бы, да места нет, — сказал Баграш, поглядев на нее.

— Антон, вот тебе адрес на всякий случай, — сказал Карасик, вырывая листочек из блокнота. — Я буду ждать. Ты подумай — вместе будем!

— Контакт! — скомандовал Баграш.

— Есть контакт.

Но мотор не запускался.

«Американец» подходил. Видно было, что там, на глиссере, приподнимаются, глядят в бинокль и ничего не могут понять: каким образом очутился Гидраэр впереди? Не по воздуху же пролетел...

— Контакт!

— Есть контакт.

Винт не проворачивался.

— Ну-ка, тамада, подсоби, приложи руку! — сказал Бухвостов. — У нас самопуск заело. Только я тебе покажу как...

Антон взялся за лопасть пропеллера. Раз, два, три... Он рванул лопасть и отскочил, как показывали. Лопасть сама вырвалась у него из ладони. Винт исчез, осталась только круглая размытая тень, как фотография, снятая не в фокусе. Рябь побежала по воде. За кормой машины образовалась водяная ямка, выдутая вихрем. У Антона сорвало шпильку с головы. У девушек раздуло юбки. Глиссер погнал выщербленную воду, пошел, задрал нос и разом вынесся на середину реки. Антон стоял без шапки. Седая прядка свисала на глаза.

— Тоша, не ехай! — сказала Груша. — С кем там гулять будешь?

— Не дури, тамада! Дубовка-дыня с низов идет. Самое время...

— Никто и не собирается, — сказал Антон, — мало что... А ну, пошли давай...

И уронил первый же арбуз. Девушки опасливо глядели. Никогда еще с тамадой этого не случалось.

ГЛАВА XXV

Первый мяч

Слова гидразорвцев лишили Антона покоя. Что, если правда попробовать? Прежде Антон был вполне равнодушен к футболу. В городке этот мужественный спорт находился еще в младенческом состоянии. На пустырях играли дикие команды. Любители играли босиком: подогнув пальцы, били подошвой или подъемом ступни. А мальчишки гоняли в пыли тряпичный мяч.

Впрочем, городок имел уже две свои команды. Одну команду лесных пристаней и одну команду советско-торговых служащих, по-местному — «городских». Команды играли друг с другом с переменным успехом, но зато всегда проигрывали всем в окрестности.

Кандидов купил мяч. Знакомый шофер из райкома накачал его. Мяч стал тугим и звенящим, как арбуз. Антон засмеялся. Теперь в свободное время толстоногие девушки, по его просьбе, что есть силы били мяч.

Ловить мяч оказалось труднее, чем арбузы. Мяч был верток и быстр, почти неугладим. Он был неожиданно легким. В нем не было наливной увесистости арбуза. Мяч отскакивал, не давался в руки, прыгал. Но в то же время в нем была упругая тяжесть удара. Он несся, гудя, как снаряд. Он обжигал ладонь, сводя кожу, и, попадая в пальцы, едва не выворачивал их. Уже пойманный, мяч коварно старался отпрыгнуть и выскользнуть из рук. Но все-таки сноровка арбузника облегчала Антону тренировку. Умение тотчас отвечать внутренним движением на любой швырок в конце концов решало дело. Потренировавшись недельки три, Антон пошел предлагать свои услуги в воротах команды городских.

Местные чемпионы подняли его на смех.

— Арбузник, — говорили они, — вали в младшую команду, заворотным хавом!

«Заворотный хав» — это была самая обидная кличка для футболистов. Так называли мальчишек, которые топтались за лицевой чертой поля в надежде хоть разок коснуться мяча, когда тот перелетал через ворота.

— Ладно, — грозно произнес Антон, — ладно, я вам еще павтыкаю! А засим пока...

— «Зосим Фока»! — передразнили его городские.

Городок к тому времени как раз начал «болеть». «Болеть» на футбольном жаргоне означает увлекаться, ходить на матчи, жаждать выигрыша своей команды, болеть душой за нее. На футбольных воротах местного стадиона сетки еще не было. Хорошо, что хоть ворота поставили: стойки-столбы со штангой-перекладиной. Недавно еще сложенные в кучки шапки и штаны, замененные на время игры трусами, отмечали границы подразумеваемого гола.

К тому времени девушки из артели «Чайка» так увлеклись в футбольный талант Антона, что готовы были вызвать весь мир на единоборство с ним, но никто не принимал вызова. Девушки ходили и похвалялись своим тамадой. Местные чемпионы не выдержали. «Надо проучить», — решили они.

Антон упражнялся на городском пустыре. Однажды на пустырь явились футболисты из команды городских. Они стали задирать девушек, насмехаться, пробовали отнять у них мяч и так, незаметно, удар за ударом, слово за слово, ввязались в соревнование шуток ради. Девушки, волнуясь, стали у края поля. Тамада остался один... Тяжелые удары посыпались на Кандидова. Тут и произошло самое интересное. Тамада не дрогнул. Как ни старались городские, мяч не входил в пространство, огражденное воображаемыми стойками. Не входит, да и все тут! Это пространство как будто целиком занимал Антон. На какие уловки ни пускались городские, в какой угол они ни били, все равно там Кандидов встречал мяч и заключал его в свои крепкие объятия, как родного брата. И еще насмешничал при этом.

— Что же ты все в меня да в меня? — кричал он. — Печенку отобьешь, пожалей!..

Собравшиеся зрители потешались над городскими. Девушки повизгивали от счастья. Городские — их было

шестеро — окончательно обиделись. Они пробовали про-
рваться с мячом в самые ворота. Но Антон, выхватив из-под
ног мяч, всем своим огромным телом валился под ноги,
и нападающие кувырком, кубарем сыпались через него.
Когда пыль оседала, Кандидов с криком «По-о-зволь!» уже
далеко выбивал мяч.

Городским сперва действительно казалось, что они бьют
неточно и поэтому мяч попадает в этого проклятого арбуз-
ника. Потом они просто растерялись. Они пытались при-
даться.

— Не по правилам берет! — кричали они.

Но зрители забушевали — все было по правилам. Толь-
ко гола не было.

Оставалось одно — подловить Антона, убрать его. За
ним стали «охотиться», но первый же из неудачливых
охотников должен был покинуть поле. Кулак у тамады был
быстр на расправу. Неизвестно, чем бы это все кончилось,
но городские увидели подоспевшего вовремя инструктора
физкультуры...

Кандидову тут же предложили вступить в команду.

Всю зиму Антон занимался, ходил на курсы и готовился
в техникум, а в свободное время тренировался в клубе по
тяжелой атлетике и боксу. Весной еще снег толком не со-
шел, как Антон стал тренироваться с городскими. Вскоре
команда городских стала бить всех в округе.

ГЛАВА XXVI

„Спасение на водах...“

В тот год вода была очень высокая. Волга текла пря-
миком по полям. Она вошла в села. Ее воды подняли сады,
огороды, леса. Течение шумело, как ветер в ветвях, и ви-
лось между стволами.

С Волгой в городке привыкли обращаться запанибрата.

— Волга оmyвает наш город, — говорили местные жи-
тели приезжим. — Волга огибает нас, она протекает мимо
города...

С таким же основанием листок подорожника, приткнув-
шийся на обочине мостовой, мог бы заявить, что шоссе

проложено вокруг него... Теперь Волга предъявила свои права на все до самого горизонта. Оливковые воды разлива подступали к самому городку. Река стояла уже почти вровень с берегом. Река осаждала городок. Но уже в самом осажденном городке вскрылась страшная измена. Таившаяся под почвой подземная вода поднимала голову и шла смыкаться с внешними водами. Вода лезла вверх в колодцах, как ртуть в термометре; вода появлялась в подвалах.

На берегу спешно возвели земляные укрепления. Но вода поднималась неотвратно, как в шлюзе, и у людей, смотревших на берег, к горлу подступал холодный, мутный страх. Казалось, суше вообще пришел конец. Сейчас хляби хлынут через городок поверх домов, над крышами, все смывая и затопляя. Сама почва стала ненадежной, как при землетрясении.

К вечеру вода вошла, ворвалась в улицы. Комнату Антона заливало. Пропадали книги, которые он еще не успел перенести на пристань. Но Антон уже не мог заставить себя думать о своем добре. Он разом забыл и о славе своей, и о Москве. Как всегда в минуту опасности, он стал взрослее, он стал опять Кандидовым, красным волгарем, который с наганом вбегал на мостик неприятельского парохода. Он почувствовал прилив неукротимой энергии и отваги. Битвы, авралы, высокая вода, если говорить начистоту, — все это было ему по душе.

Антон со своей бригадой продвигался на лодке по затопленным улицам. Городок за день словно по плечи врос в землю. Через верх заборов видны были четырехугольные озера дворов. Непривычно громко пели над самой головой телефонные провода, ставшие близкими — рукой достать. Когда лодка вплывала в чьи-то ворота, надо было нагнуться, а то можно было расшибить макушку. С лодки были видны закопченные жерла печных труб на крыше. Антон зачаливал за трубы и ловил передаваемые ему самовары, подушки, младенцев. И в эти минуты он совсем забыл про Стеньку Разина, о котором думал всегда, когда плавал с арбузами на струге-дощанике по Волге.

Все было удивительно. У коновязей постоянных дворов плясали лодки. Можно было заглянуть в дырку скворечника. Стекла открытых окон стояли в воде, и вода здесь прикасалась к стеклу, как в стакане. Волга всегда была огромной, но ограниченной частью окружающего. А теперь

опа была везде. Везде была Волга, и каждая улица была ее рукавом, каждый переулок — воложкой, каждый тупичок — затоном. Все на улице жило проточным, сплавным порядком, как на плоту.

Вода подбиралась к возвышенной части города, окруженной дамбой. Там стояли городские телефонная и электрическая станции, телеграф, исполком. Вода стояла уже выше уровня огражденной местности. Необходимо было срочно повысить гребень вала. Но, перебравшись с крыш на плоты и лодки, переселившись за городом на пригорок, обыватели заявили, что им не до телефона и электричества: все равно, как тонуть — в темноте или при электрическом свете, а звонить по телефону некуда — все залито.

Созданная исполкомом особая «тройка» заседала весь день. Барометр на стене кабинета предвещал хорошую погоду, но верить ему было нельзя. Если Грушин самодельный барометр был упрямым пессимистом, то этот был неисправимым бодряком и всегда обещал благоденствие. А беда уже стучалась в окна, и так стучалась, что стекла вылетели, ветер подхватил метеосводки и в окно просунулся острый нос дощаника, подобно тому как в «Сорочинской ярмарке» появляется свиное рыло: «А что вы тут делаете, добрые люди?»

Домик, где заседала тройка, стоял на полузатопленной улице, и Антон по неосторожности въехал носом лодки в окно.

— Прибывает! — закричал Антон. — Надо народ согнать на дамбу!

— Иди сгони, погляжу! — иронически произнес один из членов «тройки».

— Есть план — придут, я отвечаю!.. — сказал Антон.

Через два часа по затопленным улицам проплыли лодки-глашатаи. На лодках рывкали оркестры Леспрома и совторгслужащих.

Жителей приглашали на долгожданный матч сборной местной команды с командой правобережного города. В городе давно уже мечтали об этой встрече. Правобережные считались сильнейшей командой в окрестностях. Сперва жители возмутились. Тут такая беда, всеобщее затопление, а они в мяч играть!.. Но Антон уже изучил душу болельщиков. Болельщик всегда остается болельщиком. От этого не излечиться, от этого не избавиться. Выразив сколько

полагается обиду, громогласно негодуя, жители вполголо-са, отвертываясь, осведомлялись между прочим:

— А от наших кто играет?

— В каком составе наши выступают? — спрашивали вскоре с чердака, с верхних, незатопленных этажей, с крыш.

Правобережная команда, получив срочный вызов, решила, что на том берегу люди, перепугавшись наводнения, сошли с ума. Но их так упрашивали по телефону... И, кроме того, успехи луговых стали за последнее время до дерзости велики, и пора было поставить их на место.

К назначенному часу на еще не затопленной площади собралось тысяча двести горожан¹. Зрители расселись по всей дамбе. Сотни лодок, шлюпок, дощаников окружили поле. Вдохновенные болельщики приплывали в корытах, в кадушках, наскоро сколоченных плотах.

Появился Антон. Его сопровождали двое мальчишек. Один из них торжественно нес левую бутсу вратаря, второй — правую. Вскоре Антон в новых бутсах, в своей неизменной грузицкой шапке и рукавицах расхаживал у дамбы, окруженной местными болельщиками. Он подошел к баку с водой и долго пил, надеживая кружку за кружкой.

— Ну, тамада, не просадишь? — спрашивали его.

— Об чем разговор! — отвечал он.

Кажется, никогда в жизни ни до того дня, ни после, в дни своей полной славы, не играл Антон с таким рвением. Он показывал чудеса. Нельзя было проиграть этот матч. Он чувствовал за спиной не только футбольные ворота — он ощутил себя вратарем города.

Но правобережные играли лучше луговых. Сразу зрителям стало казаться, что на поле правобережных больше. Всюду мелькали их зелено-черные полосатые, словно арбузные, майки. Среди них терялись и бестолково кружились красные. Ворота Кандидова подвергались ураган-

¹ Неболельщикам, может быть, покажется мало правдоподобной эта история. Пусть они в таком случае расспросят очевидцев великого паводка 1926 года. В волжских газетах можно также найти описание подобного матча в полузатопленном городке. Болельщики верны себе! «Матч состоится при всякой погоде», — значится в афише, и стихии никого не остановят...

ному обстрелу. Разгром был, казалось, неминуем. Кандидов едва успевал выбросить мяч в поле, как снова надо было принимать его. Но Антон был непробиваем. Ему порвали майку, подбили скулу. Правобережные нападали неутомимо, но потом они начали сдавать. Они выложили сразу слишком много сил и рвения. Их стало брать отчаяние. Ворота казались заколдованными. Мяч не входил в них. Случалось, что бивший был уже уверен в своем ударе с пяти шагов. Он своими глазами видел мяч уже почти в сетке. И вдруг опять на самой грани желанного очка мяч останавливался в вездесущих руках этого дьявола. И, не веря своим глазам, нападающий восклицал: «Взял?! Черт!..»

Кандидов чувствовал, что противники устали. Удары ослабели. Мячи уже не отбивали ладоней, много мячей шло мимо. Правобережные были теперь одержимы одним лишь желанием — вбить, обязательно вбить хотя бы один мяч этому длиннорукому детине. Забыв обо всякой осторожности, их команда целиком сгруппировалась у ворот Кандидова. Антон увидел это и, поймав очередной мяч, выбил его с руки ногой что было силы. Удар у Антона был вообще могучий, а тут мяч хорошо лег на ногу. Поле было маленьким, ветер дул в ту сторону. Высоко пробитый мяч описал длинную огромную дугу. Он перекрыл все поле и упал почти в самые ворота противника. Вратарь правобережных, не ожидая мяча, едва успел вытолкнуть его... Но на него набежали близко стоявшие нападающие луговых, последовал удар, и мяч вошел в ворота правобережных.

Когда пропела финальная сирена, зрители, балдея от пережитого, колотя друг друга по плечам и спинам, кинулись на поле, опережаемые девушками из «Чайки». Кандидов взлетел на воздух. Антон был тяжел, но качали его с энтузиазмом. И первым схватили его противники — правобережные. Они не могли сдержаться. Им не приходилось видеть такой игры.

Когда прокричали «Физкульт-ура!», перед разгоряченными и счастливыми зрителями появился председатель исполкома. Он влез на дамбу.

— Граждане, минутку! — сказал председатель, приготовившийся быть как можно красноречивее. — Товарищи, вот наш голкипер товарищ Кандидов защитил ворота, как

говорится, всухую, но, товарищи, каждый из нас сегодня должен стать голкипером, чтобы ворота нашего любимого города остались сухими...

Его не все поняли.

— Все присутствующие мобилизованы на укрепление дамбы! — пояснил тогда председатель. — Лопат хватит. На дамбу, шагом марш!

— По-о-озволь! — вскричал Кандидов и первый схватил заступ.

За ним двинулись победители. Потом шли правобережные. Наступая им на пятки, с лопатами в руках, звонко крича «По-о-озволь!», подпрыгивали гордые девушки из артели «Чайка». А за ними, на ходу разбирая лопаты, повалили болельщики-зрители, еще не совсем соображая, что произошло. Но марш грянул. Рассуждать уже было некогда. А кроме того, после полуторачасового сплошного кипения клапаны сердца готовы были взорваться, и каждому хотелось совершить подвиг.

Городок был спасен. Через две недели Волга сняла осаду и ушла от земляных стен города. Подсыхающие лужи остались, как павшие кони капитулировавшей армии. Городские власти не знали, как отблагодарить Кандидова. Ему преподнесли медаль «За спасение на водах». Под этими традиционными строчками местные граверы вычеканили слово «гóрода», и получилось: «За спасение на водах города». Об этом написали в местной газете. Кандидову обещали, что к осени его отпустят учиться в Москву. Но осенью опять пошла дубовка-дыня. Потом начались осенние перевозки, и уехать Антон смог только зимой.

На широких пароконных санях с дышлом, со всех сторон обсаженный девушками из артели «Чайка», Антон перебрался через замерзшую Волгу. Девушки пели. Звонкоголосая Груша запевала, остальные подхватывали:

Погоди, машина, ехать,
Погоди свисток давать,
Надо с милкою проститься,
Еще раз поцеловать...

Антон вырвал из рук возницы вожжи. И, стоял посередине прыгающего ящика саней, он свистнул в два пальца: — Э-э-эх, давай не задерживай!..

Гривастые кони легко понесли сани. Сани взлетали на ухабах, как на большой волне.

— Даешь девятый вал! — кричал Антон.

Девушки, свесив ноги в валенках за высокие борта саней, взвизгивали.

Глубоким, грудным голосом пела Груша:

И в минуту расставанья,
Отправляясь в дальний путь,
Утоли мои страданья —
Расскажи чего-нибудь.

И Антону казалось, что он переваливает через Волгу, как прежде, на большом дощанике со своими девушками...

На перроне грузицы совсем расстроились. Когда настала минута прощания, девушки откровенно всплакнули.

— Ну, буде! Буде вам, наводнение опять...

Антон моргал и отворачивался. Потом он расцеловался со всеми по очереди, просто и строго.

ГЛАВА XXVII

Никола-на-Острове

Карасик возвратился из похода загорелый, выпрямившийся. Нос перестал лупиться, и вид у Евгения Кара был отличный. Все его корреспонденции, статьи, очерки были напечатаны. Отличные волжские пейзажи крепко были спаяны в них с точным техническим описанием машины. Не удержался Карасик, как всегда, и от философии. Принцип глссера, умение использовать сопротивление воды, стремительное скольжение судна через препятствия он подкреплял историческими метафорами. Скромный поход экспериментальной машины в его очерках превратился в увлекательнейшее путешествие. Читатели, открыв газету, искали очередную корреспонденцию Евгения Кара.

Он шел по коридору редакции. Все двери открывались справа и слева, и из каждой несло иронически-торжественно: «О-о-о-о!.. А-а-а!..» Сейчас же в тесном проходе у отдела информации собрались литературные сотрудники. Карасика плотно окружили. Его расспрашивали о приклю-

чениях, об ощущениях, щупали, целы ли у него кости. Потом его вызвали к редактору.

— О, другой вид, — сказал редактор, — совсем другой вид!

— Все другое!

— Ну, нашли свой мужественный коллектив?

— Нашел и вошел...

Еще в походе Баграш и Настя договорились, что связь с Гидразром у Карасика останется теперь постоянной. Он будет работать по совместительству в заводской многотиражке. Карасик не представлял себе, как после крепкого волжского ветра, который раздирал ноздри и обтачивал скулы, он вернется в пропахшую йодоформом духоту чужого кабинета. Он с ужасом думал, что все с таким трудом накопленное им во время похода — это ощущение хорошо продуманной, свежей жизни, мужества, скорости — он растеряет в неуютной своей комнатке... И ему хотелось, чтобы поход никогда не прекращался.

— Да перебирайтесь-ка к нам на постоянное! — предлагали глассерщики.

— Верно! Переезжай вовсе — рви концы, крепи начало, — так говорил Баграш, с которым Карасик был уже на «ты». — Мы, как приедем, тебе угол подремонтируем в общежитии, а пока со мной можешь.

— Милости прошу к нашему шалашу, чай да сахар! — поддакивал Фома.

Только Бухвостов ничего не говорил.

— А как по-твоему, Коля? — допытывался у него Карасик.

— Что ж по-моему? — отвечал Бухвостов. — У нас вход свободный. И выход тоже.

Карасик очень сдружился с гидразровцами. Его самого тянуло крепко связаться с ними не только в походах, не только на бивуаках, но и в оседлой их жизни. Как всегда, он искал примеры в биографиях известных людей. Вот живет Шолохов около колхозников своих, казаков. И Евгений Кар должен жить с племенем этих дружных быстроходных людей. Их бодрый дух наполнит его сердце необходимой свободой. Он больше не будет себя ощущать пасынком. Он примет закон коммуны, заговорит басом и будет играть в футбол. И каждый день он будет видеть Настю Валежную.

— Вы хотите, чтобы я переехал? — спросил он Настю.
— Переезжайте, нам нужны люди.
— А я вам нужен?
— Если бы не нужны были, не приглашали бы.
— Нет, вам лично хочется, чтобы я переехал? — пытался Карасик.

— Это зависит не от меня.

— Нет, это зависит от вас. Хотите, Настя, я перееду из-за вас?

— Тогда вы легко сможете выехать из-за меня, — ответила Настя и строго посмотрела ему в глаза. — Послушайте, Евгений Кар, вы всегда так многословны?

— Хорошо, — сказал Карасик, — я буду односложен.

— Так переедете?

— Да.

— И не будете глупить?

— Нет, — сказал Карасик.

Через несколько дней, зайдя в секретариат редакции, Карасик спросил:

— Кто у нас личным столом занимается?.. Товарищ Маклевская, запишите мой новый адрес: завод Гидраэр, бывшая церковь Никола-на-Острове, общежитие Брокфут.

— А что это значит — Брокфут? — спросила секретарша.

— Бытовая рабочая опытная коммуна футболистов.

— Вы — и футболист? Господи, куда вам! Вот жизнь надоела!

— Да, такая надоела! — объявил Карасик и сделал стойку на стуле, но свалился на пол и ушиб плечо.

— Вы стали какой-то не такой, — заметила секретарша, — погрубели, а были такой хиленький, симпатичный.

— К черту симпатичную согбенность! — заорал Карасик и победительно вышел из комнаты.

— Ужасно он забавный и милый! — сказала машинистка.

Общежитие гидраэровцев помещалось в бывшей церкви Никола-на-Острове. Уютные комнатки были отделаны на хорах и в приделах, а большой церковный зал назывался кают-компанией и был местом общих сборищ. Поперек его висела волейбольная сетка. Между окнами стояли сто-

лы с чертежами. В бывших царских вратах было укреплено знамя гидраэровцев. Местами проглядывали незамазанные лики угодников, окруженные, как подушками, взбитым паром облаков.

Легкий, едва уловимый, но неистребимый дух ладапа витал еще в углах и смешивался с аппетитным запахом готовки. Это управительница коммуны, мать гидраэровца Яшки Крайнаха, всеобщая мама Фрума, готовила коллективную ячницу.

Вселению Карасика неожиданно стала чинить препятствия администрация Гидраэра. Карасику пришлось познакомиться с юрисконсультom Гидраэра — Валерианом Николаевичем Ласминым. Ласмин был тонкий буквоед, но крайне нежный и чувствительный человек. Он говорил, что глубоко чувствует природу, любил пофилософствовать о широте исконно русской натуры и поэтому носил смешную козлиную бородку, но усы брил, отдавая дань требованиям Европы.

Узнав о вселении Карасика, он запротестовал. Он призван охранять интересы завода. Вселение посторонних лиц в общежитие завода невозможно. Это противоречит всем законоположениям...

— Технобрех, — сказал про него Бухвостов.

— Юрисконсульт — отмирающая профессия! — заявил Ласмину Карасик. — Это вроде бакенщиков: расставляют значки, вешки на мелких местах нашей жизни.

— Но бакенщики тоже нужны, — обиделся Ласмин.

— Глиссерам бакенщики не нужны.

— Это уже загиб, — сказал уязвленный Ласмин.

— Возможно...

Карасик петушился напрасно. Со своей точки зрения Ласмин был прав. Баграшу пришлось мобилизовать общественные силы Гидраэра. Карасика записали консультантом редакции заводской многотиражки «На редан!». Кроме того, помог профессор Токарцев, друг коммуны. Он частенько приходил по вечерам к гидраэровцам, смотрел чертежи, приносил свежие английские журналы и на ходу переводил их, читая вслух последние статьи. Потом, взглянув на часы, он уходил с видимой неохотой. Гидраэровцы знали, что он старается как можно меньше бывать у себя дома.

— Хорошо тут у вас!.. — говорил Токарцев и вздыхал.

Выход в город

Столица приближалась, как приближается большая. нужная тебе статья в энциклопедии: сначала идут прилагательные от этого слова, словоответвления и образования от корня. Перелистываешь страницы, ища, допустим, слово «Англия». «Английская болезнь», «английская литература», «английская соль», «англикане», и вот, наконец, «Англия»! Но тут вас ждет сноска: «Смотрите: Великобритания».

Поезд листал поля, стремясь скорее добраться до Москвы. Уже мелькали вывески с первым слогом столицы — Моссельпром, Мосторг — на станционных магазинах у дачных остановок. Уже виднелся сквозь пригороды, угадывался за горизонтом сам коренной город, и каждая станция уже ссылалась на него.

Антон то и дело вскакивал, видя в окно вагона многоэтажные здания, пути, трубы. Но все это еще не было Москвой. Когда же он окончательно запутался, поезд неожиданно остановился у невзрачного вокзала. «Нет, шалишь, не встану», — подумал Антон, но все вокруг него вскочили, потащили чемоданы, мешки, баулы.

— Чего ждете? Москва, — сказали Антону.

Антон соскочил с подножки вагона на холодный перрон. С платформы был соскоблен снег. Антону стало зябко и неуютно. Он прошел мимо смиренного паровоза. И с благодарностью обернулся на прощание. Машина утомленно отдувалась.

На кронштейне у дверей висела большая железная вывеска.

«Выход в город», — прочел Антон и вышел в город.

Перед ним на площади шумела предвокзальная суматоха, но ничего специально столичного он не заметил. Такая же площадь могла быть и в Саратове. Площадь как площадь, с милиционером, разминающим застывшие ноги, с трамваями, которые, вереща на поворотах, сыпали голубые и фиолетовые искры. Только на трамваях здесь был не ролик, а дуга.

Был мороз. Вьюжило. Сумерки густели, как гипс. Прачка везла с реки белье, накрахмаленное стужей. Она

тащила салазки, промерзшее белье лежало на них, ломкое, припудренное, как печенье-хворост. Красные и зеленые огни светофора напомнили Антону зеленые и красные отличительные огни пароходов. Крупа стучала в жесть водосточных труб. Вьюга, шурша, сдирала со стен промерзшие афиши. Антон читал на них знаменитые имена. Прежде он видел их лишь в газетах, а теперь он оказался среди них, совсем рядом. Вот, возможно, в этом доме живет известный киноартист, а во встречном гражданине с поднятым воротником скрывается знаменитый писатель.

Огромная, ярко освещенная витрина остановила Антона. За зеркальным стеклом висели плакаты, наивные, ярко-цветистые, как в волшебном фонаре. Это была витрина одной из заграничных авиационных компаний, окно бюро путешествий. Перед Антоном сверкал за стеклом заманчивый и лучезарный мир — мечта странствующих и путешествующих, разложенная на примитивные цвета рекламы. Всеми обольщениями мира манило окно. Показная жизнь без сучка и задоринки была изображена на плакатах — жизнь гладкая, безмятежная... Плыли разноцветные пароходы, комфортабельные лайнеры, многоэтажные пакетботы. Их отвесные, как утес, борта светились аккуратно расчесанными созвездиями иллюминаторов. Дым дружно валил из высоких труб. Над дымом струились флаги иных земель. Из фиолетового тумана вставали изысканные маяки, гладкие, как свечи. Белые чайки носились вдоль завитков прибоя. Над пальмами реяли лакированные самолеты. Молодые люди в безукоризненно выглаженных брюках гуляли по желтому берегу, а девушки в белых шляпах, с легкими цветными зонтиками стояли у сверкающих длинных машин, отбывая жизнь праздную, парадную и фантастическую.

Антон долго стоял у этой витрины. Он не знал, что перед таким же окном частенько простаивал и Карасик. «Это самая соблазнительная витрина города!» — говорил про это окно Евгений Кар.

Антону захотелось скорее приобщиться к столичной жизни. Он оглядел себя в зеркале, вделанном в стену соседнего дома. На нем был апельсинового цвета тулупчик, серые чесанки, малахай. За два дня пути он успел обрасти. Нет, с таким видом не возьмешь Москвы! Не без робости зашел Антон в стеклянный тамбур большой

парикмахерской и шагнул в зал. Все сияло там. Антон вошел, огромный и многократный... Зеркала долго и с удивлением повторяли его с ног до головы.

— Раздеться позвольте!..

С него сняли тулупчик. Он сдал свой багаж, поглядел подозрительно на человека.

— Будьте преспокойны, как в аптеке... — сказал гардеробщик. — Магазины, заняться! — пропел он вдруг, подойдя к двери зала.

Антон прошел в середину зала.

— Оч-че-редь! — крикнул мастер, как будто командовал пулеметным взводом, и, взмахнув салфеткой, шаркнул ею по кожаному сиденью кресла.

Антон погрузился в кресло, такое сложное, сверкающее и большое, какое он видел только у зубных врачей, хотя сиживать ему в таком кресле не приходилось.

— Для вас? — спросил мастер. — Побрить, подровнять?

— Вот, в общем, орудуй на всю трешку, — сказал Антон, выкладывая на мрамор стола бумажку.

— Платить будете в кассу, впоследствии, смотря от операций... — с достоинством сказал мастер. — Для бр-р-ритья! — раскатистым баритоном крикнул он. — Под бокс? — спросил затем мастер, взъерошив с затылка волосы Антона.

— А под футбол можно?

Мастер повеселел. Клиент оказался шутником. Мастер взмахнул ножницами, как смычком. Ножницы завизжали над ухом Антона. Мастер поддел расческой седую челку.

— Природная или от переживаний? — осведомился мастер.

— Не тронь, природная, — сказал Кандидов, но, подумав, прибавил: — И от переживаний.

Неземные ароматы плыли в воздухе. Антона окружали граненные стеклянные флаконы, пульверизаторы, резиновые груши в сетках, блестящие коробки, щетки, «лебяжий пух» с дымящейся пудрой и, наконец, совсем неведомые приборы — аппарат с рукояткой, шнурами и медными клеммами. Зеркала, как эхо, подхватывали каждое движение.

Тут человек подвергался почтительной обработке. Парикмахер порхал и вился над клиентом, как мотылек

над кашкой; прикосновения его пальцев были нежны и почтительно-фамильярны. Он совершал над человеком таинственные процедуры, и тот вставал благоухающий и полный достоинства.

Здесь, как по мановению жезла, перед Антоном появлялись дымящиеся приборы. Мастер распечатал кисть с треском, словно колоду карт. Торжественно налив в чашечку воду, посыпав порошок, он замешал все это со сосредоточенной пренебрежительностью.

Брея Антона, он непринужденно болтал с другими мастерами. Он говорил с ними совсем иным, нормальным человеческим голосом.

Мастера непринужденно переговаривались между собой из конца в конец зала, от кресла к креслу. Клиенты, чувствуя себя вне этого разговора, неодобрительно слушали. Антону стало обидно.

— Смотри, куда бреешь, — сказал он.

— Попрошу не учить! — обиделся мастер. — Мы вас пахать не учим. Колхозник? — спросил он.

— Чемпион! — сказал Антон.

И мастер, взглянув на плечи клиента и оценив их, охотно поверил, рассудив за благо не спорить.

Мастер побрил Антона, причесал, сделал ему массаж. Зажмурившись, Антон подставил свое лицо под снопы душистых брызг из пульверизатора.

— Пудру принимаете? — спросил парикмахер.

— Можно.

И Антон погрузился в душистые облака пудры.

— Больше со мной ничего нельзя сделать? — спросил он, когда облако рассеялось.

— Желаете, можно седину убрать? Под общий тон сделать.

— Это уж оставь, — сказал Антон и получил счет на три с полтиной.

Он расправил плечи, тряхнул головой и весело зашагал по улице. Теперь он чувствовал себя совсем по-другому — бодрее, увереннее. Он шагал и смело заглядывал в глаза встречным девушкам. Те краснели и отводили взгляд. Прохожие, остановленные им, сказали, что дом, который он ищет, тут недалеко.

Вдруг он увидел, что на углу собрался народ. Выбившись из сил, скользя подковами по обледелой мостовой,

падала на колени ломовая лошадь. Она старалась стащить с места сани. Сани были тяжело нагружены. Возчик, упершись плечом сзади в тюки, махал кнутом, кричал надсадно. Лошадь, напрягаясь до дрожи, скользила, срывалась. Прохожие глядели. Антон раздвинул зевак, подошел, привычным взглядом окинул кладь.

— Тут разгружать требуется, — сказал Антон. Он поставил на землю свой багаж и начал сгружать тяжелые тюки, ящики на мостовую. Потом он схватился за оглобли саней. — А ну, давай! — сказал он возчику.

Под улюлюканье и свист лошадь без труда свезла с места облегченные сани. Полозья, застрявшие в рытвине, оказались теперь на ровном накатанном месте. Но сгруженные тюки и ящики загромоздили мостовую. Уже сердито рычали два грузовика. Названивал трамвай. Приблизился милиционер.

Антон насторожился. Сконфуженно показал он милиционеру бумажку, где был записан адрес гидраэровцев. Милиционер почему-то сразу стал приветливым.

— Дядя, вот ваши вещи, — сказал мальчишка, стороживший по своему почину багаж Антона.

А милиционер любезно пригласил Антона следовать за ним. Их сопровождали шумной толпой мальчишки. Ребята сразу почувствовали, что человек, так легко сдвинувший огромные сани, — замечательный человек. Мальчишки, решив, что Антон арестован, забегали вперед, кричали, что гражданин не виноват.

ГЛАВА XXIX

Клятва на половнике

Так в сопровождении милиционера Антон ввалился в общежитие гидраэровцев. Все были в сборе. Только что закончилось обсуждение нового проекта глссера, который разработала Настя. Раздался стук в дверь. В кают-компанию двинулись клубы пара. Когда они рассеялись, все увидели милиционера. За спиной милиционера высилась громадная фигура Антона. Антон был смущен.

— Добро пожаловать! — сказал Баграш.

— Поздравляю! — развел руками Карасик, решив, что Антон уже что-то натворил.

— О, тамада! — удивился Бухвостов.

— Милости прошу к нашему шалашу! — сказал Фома.

— Кто это? — шепнула Настя.

— Вам известен этот гражданин? — спросил милиционер, румяный и застенчивый.

— Как же, как же! — закричали все. — Он скоро всей Москве известен будет!

— А что такое? — спросил Баграш.

— Не обращайтесь внимания, — примирительно сказал Фома. — Садитесь, давайте чай пить.

— Такая, понимаешь, петрушка вышла... — смущенно забормotal Антон.

Он подробно рассказал о происшествии, виновато улыбнулся.

Милиционер, не в силах скрыть восхищения, поглядывал на него снизу вверх, и румяное его лицо теряло официальность.

— А я ведь вас признал, — сказал вдруг он Баграшу. — Я на матче вас видел, вполне приличная командочка. Вот этот товарищ, — указал он на Баграша, — в центре играет, а вы вот, — кивнул он на Фому, — полусредним стоите. Я к этому делу сам привержен. Футбол — явление отважное.

Гидраэровцы гордо улыбались.

— А это, значит, ваш будет? — спросил милиционер.

— Наш, товарищ милиционер, будущий чемпион.

— Очень приятно! — сказал милиционер. — Снежков моя фамилия. — Он строго повернулся к Антону. — Ну, принимая во внимание ваше провинциальное положение, как вы являетесь приезжий, то хочу вас предупредить за уличное нарушение...

И милиционер откозырял.

В дверях он обернулся.

— Ну и парень! — не выдержал он. — Геркуланум!..

— И шумный же ты человек! — сказал Карасик, обнимая Антона. — Не успел явиться — уже нагрешил.

Антон тормозили, с него стаскивали тулупчик.

— Молодец, приехал! — хлопнул его по плечу Баграш.

Антон вынул из заднего кармана брюк бумажник, покопался в нем и вытащил аккуратно сложенный доку-

мент. Этот документ дал ему горсовет физкультуры, отпуская в Москву.

Баграш взял документ и прочитал его вслух:

— «Дано сие вратарю сборной города Кандидову Антону Михайловичу в том, что за истекший сезон он не пропустил ни одного мяча в ворота и за проявленную инициативу, способствующую спасению города во время паводка, награжден грамотой и Почетным знаком спасения на водах...»

— Здóрово! — сказал Баграш. — Спасение на водах целого города.

— Теперь держитесь! Первенство Москвы наше! — закричал Фома.

— Опять? — иронически спросил Бухвостов.

Но Антон сдернул с себя пиджак и засучил рукава:

— Принимаю! Усохнуть мне на этом месте — ни одного мяча сроду не пропущу!

Он отбежал в конец зала и стал там, где когда-то были церковные царские врата. Мяча под рукой не было. Оглянувшись, Бухвостов схватил со стола большой глобус, снял с ножки и бросил в Антона. Ловким приемом вратаря Антон поймал над головой желто-голубой глянцеви́тый шар.

— Стой, замри! — сказал Карасик.

Антон стоял в царских вратах. Не целиком закрашенные угодники плавали за его плечами на взбитых облаках. Рослый и плечистый, он держал над головой модель планеты.

— Геркулес с глобусом! — сказал торжественно Карасик и подмигнул Антону. — Геркулес с глобусом... Вот такой стоял перед театром Шекспира.

— Комсомольцы! — вмешалась мама Фрума. — Комсомольцы, рабфаковцы, допризывники, что вы делаете? Человек с дороги, человек устал, а они его уже футболят, они его уже мучат... Не обращайтесь на них внимания — они просто сумасшедшие. Идемте, я вам дам умыться, закусите с дороги. Вы любите яичницу?

— Обожаю! — сказал Антон, послушно следуя за маленькой старушкой.

— Омлет или глазунью?

— Глазунью.

— Ах, какая досада! А я сделала омлет!

— Глубоко обожаю омлет, — сказал Антон.

Тут он увидел Настю. Настя стояла в сторонке и с радушным любопытством смотрела на него.

— Извиняюсь, — сказал Антон, — кажется, я не по-здоровался... Такая петрушка! Извините, не заметил, здравствуйте.

— Ничего, — сказала Настя. — Ничего, я маленькая, трудно сразу заметить.

— Ничего подобного, совсем наоборот даже... — забормотал Антон. — Это просто с моей стороны даже непростительно...

— Омлет стынет! — закричала мама Фрума.

До ночи обо всем договорились. Баграш устраивал Антона в свою бригаду, сперва чернорабочим. Одновременно Антон поступал на учебу в заводской комбинат. Поселили его в одной комнате с Карасиком.

— Ну, мама, — сказал Баграш, — готовьте большой силос! Будем принимать.

И, когда на столе появилась миска с «большим силосом», то есть с винегретом, и руки всех сошлись на половнике, Антон возложил поверх всех рук свою мощную длань.

— Теперь повторяй за нами, — сказал Баграш.

Старательно окая, Антон повторял:

— Сим черпаю и вкушаю, сим клянусь, равный среди равных, на водах и на зеленом поле битвы славить надежной доблестью коммунара и верной советской службой свой очаг, и дом, и веселое товарищество наше. И если нарушу я словом, делом или тайной мыслью закон дружбы и труда, то не будет мне места за этим столом изобилия и да минует меня круговая чаша!

— Ура! — рявкнули гидразеровцы и, рассаживаясь, запели свою песенку, давно уже сочиненную сообща для подобных случаев:

Сегодня старт! И смотрит с карт
Кривая даль похода.
Нас ждут и доблесть, и азарт,
И свежая погода.

Баграш, величественно орудуя половником, накладывал на тарелки винегрет. Ребята пели, раскачиваясь на стульях:

Лети, вода, греми, вода,
Налево и направо!
А ну, рваните, форварда!
Нас ждут любовь и слава.

Антон смотрел на поющих, то широко улыбаясь, то вдруг очень серьезно, не зная, как полагается держаться в таких случаях. Он был и сконфужен и польщен. Баграш дирижировал половником.

В походе мча и у мяча —
Одной полны мы страсти...
Но ждет нас финиша причал,
И там мы скажем: «Здрасте»...

В двенадцать часов все разошлись.

Фома Русёлкин и Бухвостов жили в одной комнате. Как всегда, перед сном они искали тему для спора. Сегодня эта тема легко нашлась.

— Ну и малый этот Антон... — начал Фома.

— По виду ничего еще нельзя сказать, — тотчас возразил Бухвостов.

— Нет, это сразу видно.

— Поглядим, тогда будет видно.

— В тебе чутья нет, Коля.

— Во мне чутья нет?.. Поздравляю!

Спор был на мази.

Баграш уже собирался спать и сидел без кителя. Он читал принесенную ему из библиотеки Карасиком книгу. Вдруг к нему постучалась Настя.

Баграш накинул китель. Настя вошла и села.

— Ну, что скажешь, Настюшка?

— Ничего, так просто, поболтать зашла.

Баграш внимательно посмотрел на нее. Он видел, что Насте хочется о чем-то потолковать с ним.

— Ну, а конкретно? — спросил он.

— Да так, вот насчет новой машины. Мне кажется, мы слишком высоко редан закатали.

— Слушай, Настюшка, не виляй! — сказал Баграш. — Редан тут ни при чем. Ты что, о Кандидове хочешь мне сказать?

Настя вдруг покраснела.

— Ну, ну, — сказал Баграш, подбадривая.

— Ты знаешь, Баграш, — заговорила Настя, — о нем я тоже хотела сказать. Странное какое-то впечатление. Видно, что очень наш, но какой-то необыкновенный; я, по крайней мере, таких еще не видала. Я сама не знаю...

Баграш лукаво посмотрел на Настю.

— Ну вот, я так и знала, — раздосадовалась Настя, — обязательно у вас у всех такие мысли!

— Да что тут плохого? — забасил Баграш. — Парень действительно выдающийся, по-моему. Присмотрись. Вольница немножко, так? Ну, да мы его приберем к рукам, а так, что ж, очень славный малый. Карась мне его биографию рассказывал, — прямо героика. И нос на месте, не то что у других, — добавил он усмехнувшись и потрогал свой расплюснутый нос. — Иди-ка спать, Настюшка, пора.

Карасику комната его показалась в этот вечер необыкновенно тесной. Она была готова треснуть по углам. Пристанской голос Антона, его плечи, размах его рук, высота его роста едва вмещались в ней. Полураздетый, Антон стоял у зеркала. Он поглаживал выпуклую свою грудь, мямли бицепсы:

— Здоровый я, Карасик! Ох, здоров, как бугай! Чего это у меня там на спине? Не чирый?

— Да нет там у тебя ничего, натерто немножко. Ложись. Хватит любоваться.

Карасик уже лежал. Репродуктор на столе выволакивал из шорохов и тресков далекую мечтательную мелодию. Антон лег.

— Где у тебя свет тушить?

— Там, у дверей.

Антон босыми ногами зашлепал к дверям, повернул выключатель, плюхнулся в постель. Постель затрещала. Оба закурили, хотя по уставу коммуны запрещалось курить перед сном в комнате. В темноте попыхивали папироски да слабенько светилась контрольная лампочка приемника. И друзья говорили вполголоса, как говорят ночью друзья.

— Ну как, Женюрка, жизнь движается?

— Хорошо, Тоша... А вот теперь и ты еще... Совсем здорово.

— Я вижу, ты у них авторитет тут.

— Да уж ты смотри, Антон, не подводи. У нас ведь с разбором принимают.

— Будь спокоен, со мной на мели не будешь... А народ у нас ничего, ладный. А играют как? Терпимо?.. Ничего, со мной не проиграют... — Антон сел на кровати. — Женька, а помнишь, как с Тоськой тогда?.. Вот дураки были!

— Еще бы! Раю помнишь? Как мы ей письмо из братской могилы писали...

И все теперь показалось им таким смешным, что они начали хохотать. И, чем больше они вспоминали, тем пуще их разбирал смех. Они катались по кроватям и, чтобы не будить соседей, утыкались головой в подушки. Они успокоились наконец, нахохотавшись до изнеможения.

— Уф...

— Ф-фу-у...

Некоторое время оба лежали тихо.

— А ты видел, как Настя на меня смотрела? — спросил вдруг Антон.

— Разве она смотрела?

— Факт, смотрела. Классная девушка!

— Покойной ночи, — сказал Карасик.

— У вас всех только подход к ней неправильный...

— Покойной ночи, — повторил Карасик.

— Тут надо очень тонко подходить, — продолжал Антон. — Например...

— Я говорю: покойной ночи.

— Ну, черт с тобой, спи!

Вновь наступила тишина. По потолку ходили отсветы проносящихся фар.

— Эх, я и рад, Женька, что мы с тобой опять оба-два вместе!

— Да, это здорово, действительно!

Они слушали далекие, затухающие удары башенных часов.

— Гуд найт, — сказал репродуктор. — Гуд найт эври боди, гуд найт ¹.

— Это в Лондоне, Биг-Бен бьет полночь, — сказал Карасик.

Антон молчал. Луна продралась сквозь тучи. На окне холодным голубым блеском зажегся глобус. Антон засыпал. Опять прошла перед ним ослепительная витрина путешествий. Пальмы, чайки, корабли. Ветром Атлантики,

¹ Покойной ночи всем (англ.).

Европы дуло из жерла репродуктора. Бронзовые облака поднимались над башней Эйфеля. По ней впускали бежали огненные электрические буквы: Кандидов... Kandidoff...

Карасик услышал хрип и подсвистывание. Они заглушали тихую музыку. Карасик выключил приемник. Но порхающий хрип и легкий свист продолжались. Это уже всхрапывал Антон.

Карасик сел на кровати и, нагнувшись, старался рассмотреть в белесом лунном сумраке лицо Кандидова. Вдруг Антон зашевелился, замотал головой на подушке. Карасик услышал его бормотание.

— Именем особого... полный ход, — бормотал Кандидов. — Давай не задерживай...

«Счастливец, — подумал Карасик, — какие ему сны снятся!»

Скоро все спали. Только пеутомимая мама Фрума, спустившись в кают-компанию, продолжала переставлять стулья, сметать крошки со стола. Затем она принесла рваные штаны Фомы.

— Ох, эти комсомольцы, рабфаковцы, допризывники! — ворчала она. — Так изуродовать штаны! Да приличный бы человек в такие штаны ни ногой.

Она принялась чинить и штопать продранный зад спортивных бриджей, в которых Фома тренировался в хоккеей.

— Хорошо бы натянуть на что-нибудь штаны.

Мама Фрума поискала глазами по комнате. Потом она увидела глобус, взяла его, зажала подставку между колен и натянула на пегий шар рваные штаны. Она подсела поближе к приемнику и, чтобы не будить коммунаров, выключила громкоговоритель, вставила вилку штепселя и надела на голову скобу с наушниками.

— Послушаем, что новенького, — сказала она тихо. — Интересно знать, какая завтра погода... Ну конечно, мне же везет. Стоит только начать слушать, как там говорят: «На этом мы заканчиваем нашу передачу». Что такое? Ага! «Будем вести опытную передачу изображений». Что такое? «Смотрите портрет Льва Толстого».

В ушах ее раздался ровный, гудящий треск пробной телепередачи.

— И это у них называется Лев Толстой! — Мама Фрума с досадой сорвала наушники.

„Взял!“

Антон стал жить в Гидраэре. Карасик показывал ему Москву. Он таскал его за собой по улицам, выводил на только ему одному известные пункты, откуда открывались, по его мнению, особо замечательные виды на Кремль, на город, на небо столицы. Доставал Антону билеты на лекции. Антон терпеливо слушал лекции: «Новое в химии», «Психоанализ и мораль»... Потом Карасик предложил Кандидову пойти вместе с ним на большой литературный вечер в Политехническом музее.

— Это опять фиолетовая вобла будет? — спросил Антон.

— Дурак! — сказал Карасик. — Маяковский выступает.

Антон пошел, иронически усмехаясь. Он с недоверием ждал начала, но Маяковский поразил его с первого мгновения. Великий поэт вышел на эстраду, двинул стол, разметал стулья. Он не обращал внимания ни на аплодисменты, ни на шиканье. Он легко и уверенно распоряжался на эстраде. Все на нем было добротно. Антон сидел близко и видел крепкие ботинки на больших ногах. Фигурой поэт мог бы посоперничать с Кандидовым. Когда же, обеда зал глубокими своими глазами и медленно разжав большие, сильные губы, поэт потряс зал артиллерийской мощью своего голоса, Антон замер на месте.

Маяковский читал стихи, разговаривал с аудиторией. Он громил, отшучивался, негодовал. Оппоненты пытались что-то вопить с места. Поэт глушил их своим голосом. Он прочно стоял на дощатой эстраде, мощный, красивый, легкий в движениях. Колкости летели в него со всех сторон. Он мгновенно парировал самый неожиданный выпад и топил оппонента в грохоте оваций, в хохоте и в восторгах всей аудитории. «Вот так надо стоять в воротах», — думал Антон, не сводя уже влюбленных глаз с Маяковского.

И поэт показался Антону непревзойденным голкипером, уверенно стоящим в воротах, непробиваемым, готовым с блеском и силой отбить любой удар. Когда же он узнал от Карасика, что первый журнал Маяковского назывался «Взял!», то был совсем ошеломлен. Взял!.. Ведь это же

возглас вратаря, берущего мяч. Взял! Это восторженный крик зрителей на трибунах стадиона.

В тот же вечер Антон попросил у Карасика несколько томиков Маяковского и читал их всю ночь напролет. Да, вот таким надо быть и в голу — таким несокрушимым, яростным, знаменитым и великолепным.

Зимой Антона тренировали в хоккей на катке. Весь закованный в хоккейные латы, в огромных перчатках, в широчайших наколенниках, он был похож на снегоочиститель. В розыгрыше по хоккею команда не участвовала. Антона тренировали лишь для того, чтобы отточить его реакцию на мяч. После тренировки обычно приходила Настя, надевала ботинки с коньками. Антон бережно держал ее маленькую ногу в своих лапищах, помогал укреплять коньки. Потом, взяв друг друга за руки, крест-накрест, они разгонялись легкими рывками, влево — вправо, влево — вправо. Они неслись по кругу. Лед звенел, матовое зеркало катка, казалось, начинало вертеться, как чертово колесо. Настя теряла лед под ногами. Ей казалось, что она летит по воздуху, что сейчас ее выпшвырнет за кромку, за сугроб.

— Будет! — умоляюще говорила она.

— Еще немножко...

— Хватит!

— Еще круг...

Потом Антон внезапно заворачивал — из-под ног его высекалась снежная пыль, и Настя всей силой разбега прижималась к его плечу. Он доводил ее до скамеечки.

— Ух! — говорила Настя, тяжело дыша. — Я не буду больше кататься с вами.

Но на другой день она опять приходила, и опять звенел лед, сверкали лезвия, и крепкие руки Антона не давали ей вырваться за бешено вертящийся круг.

Раз они сидели на скамейке у ледяной дорожки. Сзади стоял снежный болван с метелкой трубочиста, традиционно воткнутой в бок, с угольными глазами и замерзшей морковкой вместо носа. Они сидели спиной к снеговика и болтали. Это была обыкновенная дурашливая болтовня, которая кажется очень нужной, совершенно необходимой двоим, но всегда будет глупа и смешна третьему.

— О вас уже кругом поговаривают, Антон...



Он грохнул, отшучивался, негодовал...

— И о вас поговаривают.
— Ну, что там обо мне!..
— Гордая вы, говорят.
— Ерунда это, — сказала Настя, царапая концом конька лед. — А вы не скучаете у нас?
— Признаться, скучаю.
— О Волге?
— Нет, не о Волге. У меня тоска местная.
— Ну? Уж не влюблены ли?
— А что ж, — вздохнул Антон, — разве за это у вас в Москве милиция штрафует?
— Вы смешной и славный, — сказала Настя.
— А вы просто славная, но только мне не смешно, — сказал Антон.

Антон робел и совершенно не знал, как говорить с этой маленькой ясноглазой девушкой.

Вдруг на скамью свалилась снежная голова болвана. Настя вскрикнула и вскочила. Антон обернулся. У снеговика была теперь маленькая и печальная голова Карасика. Карасик стоял позади. Он вытащил из бока снежного туловища метлу и смешно потряс ею в воздухе.

— Вот вы где укромничаете, негодница! — сказал он с наигранным весельем, но глаза у него были скучные. — А я вас искал, искал...

Настя протянула руки Антону. Их словно ветром смело. Серебристая снежная пыль побежала за ними по зеркалу катка.

— Добрый день, товарищ Карасик! — услышал он позади себя.

Женя оглянулся и увидел юриста Ласмина.

Юрист теперь частенько заговаривал с Карасиком, стараясь загладить неприятное впечатление от первой встречи. Теперь он докучал Карасику нудными рассуждениями о культуре, коллективе, интеллигенции.

«Вот действительно технобред», — думал всегда в таких случаях Карасик.

— Да, трудно вам, — сочувственно сказал Ласмин и понимающе поглядел в сторону унесшейся пары. — Я ведь предупреждал — у вас будут тяжелые минуты. Как-никак, а вы среди них чужой.

— Но с чего вы взяли, что вы мне близки, что вам я свой? — рассердился Карасик.

— Они не простят вам интеллектуального превосходства, — продолжал вещать Ласмин, словно не слыша.

Он сел на скамью и стал надевать коньки.

— Не понимаю я вас, Евгений Григорьевич, — продолжал бубнить он. — Что это у вас — стиль, программа? Ну вот вы считаете, что спаслись от нашей скверны. Зачем же вы малых сих сманиваете на соблазны культуры? Ведь у них нет вашего иммунитета.

— Слушайте, подите вы к черту! — вышел из себя Карасик. — Что вы ко мне вечно пристааете с этими дурацкими разговорами?

— Глядите чаще в зеркало, — сказал Ласмин, — вы тогда многое поймете, но глядите мужественно. Вот склеротическая жилка в виске, вот ваша милая умная сутулость. Они вам не простят — вы им чужой.

— Слушайте, — сказал Карасик, — какие у вас основания?

— Мне много говорил о вас Димочка Шнейс.

— А-а... — сказал Карасик.

Он немножко успокоился, но ему было не по себе. Этот козлообразный иезуит наступал на большую мозоль. Не то чтобы Карасик считал себя чужим, но иногда в нем просыпалась прежняя мнительность, и ему казалось, что он не совсем свой, не совсем равный в Гидраэре. Сейчас ему было очень досадно, что юрист сумел снова испортить ему настроение своими вздорными тирадами. Он очень обрадовался, увидя приближающегося Фому.

— Фома, иди сюда, — закричал он весело, — иди сюда, друг!.. Вот мы тут с товарищем Ласминым насчет культуры толкуем. Как, по-твоему, ты у нас культурный?

Фома посмотрел на них, сляясь попят, к чему все это клонится.

— Не очень, — сказал Фома, — мне еще учиться да учиться, конца-краю нет. Но кой-чего знаю.

На нем были бриджи, искусно заштопанные мамой Фрумой. Хоккейная клюшка торчала у него из-под мышки. Фома ехидно посмотрел на юриста.

— Ну, раз вы такие культурные, — сказал Фома, — то вот быстренько, ну-ка. Вот вам два шара. — Он указал на снеговую бабу. — Формулу объема знаете? Ладно, скажу: четыре третьих пи эр в кубе. Вот вам шар. А ну, вычислите объем и приложите формулу практически.

— Дайте мне сантиметр, — сказал Ласмин, — обмеряю вам в две минуты.

— А без сантиметра не можете? — торжествующе ухмыльнулся Фома. — А я вот без сантиметра. Вот клюшка, допустим. Клюшка — значит, как раз два эр. — Он смерил поперечник шара клюшкой. — Выходит, значит, объем этого шара равняется четырем третьим пи — половина клюшки в кубе. По хоккейным правилам, клюшка имеет метр пятнадцать сантиметров. Вот и вычислить можно легче легкого. Надо практически соображать. Первый вопрос, значит, «неуд». Плохо ваше дело... А вот, погодите-ка, «Дон-Кихота» читали?

— Ну, я думаю!..

— Тогда скажите: какая у него была политическая ошибка, когда он мельницы колошматил?

— Это не политическая ошибка, — возразил Ласмин, — это противно здравому смыслу, просто сумасбродство.

— Нет, — сказал Фома, — виноват, бить надо было, только не мельницы, а мельников, чертей пузатых.

Ласмин обескураженно молчал. Карасик давился от смеха.

— Это я не сам придумал, — добродушно сказал Фома. — Где мне!.. Это я по книжке прочитал у английского писателя. Честертон... Так, Карасик, правильно?.. Да, читать надо с умением... — снисходительно добавил Фома и похлопал взбешенного Ласмина по плечу. — Что, Карась? Дал я ему пить, и чаю не попросит, — сказал довольный Фома, когда Ласмин отъехал на коньках.

Весной начались футбольные тренировки. Первое время из-за переоборудования собственного стадиона гидразорвцам пришлось тренироваться на поле своих исконных соперников — магнетовцев. Там Кандидов увидел знаменитого Цветочкина. Блеск его ударов ослеплял любителей. Они топтались у ворот, по которым бил Боб Цветочкин. Боб не бегал сам за мячом. Ему давали мяч в ноги. И он снисходительно достаивал мяч прикосновением своих ног. Но удары его были безошибочны. Мячи точно входили в верхние углы ворот, проходили у самых стоек, и вратарь «Магнето» ничего не смог с ним поделать.

Антон стоял в воротах тренировочного поля. Весь народ

толпился у ворот магнетовцев, восхищался знаменитым Цветочкиным. У ворот Антона сидели только мальчишки, охотно бегающие за вылетевшим с поля мячом.

Цветочкин уже слышал о каком-то легендарном лапотнике, которого вывезли с Волги гидраэровцы. Он отбежал к краю поля и озорства ради нацелился в Кандидова. Не ожидавший нападения с этой стороны, Антон получил сильный удар в щеку и не успел схватить мяч. Мяч отскочил в сетку. Оглушенный, облизывая разбитую губу, он смотрел на Цветочкина.

Мальчишки покатывались:

— Цветочкин бьет, так держись!

— Что, не вкусно? — спросил Боб.

— Это тебе не арбуз, — подзуживал конопатый партнер Цветочкина, неотступно следовавший за ним.

— А ну еще! — угрюмо сказал Антон.

Разыгрался поединок. Боб пробил — Антон взял. Боб ударил — Антон поймал. Бьет... взял! Бьет... взял! Потом Боб медленно и церемонно подошел к Антону и великодушно похлопал его по плечу.

— Задатки есть, ничего, — сказал чемпион. — Но где метода? Методы не чувствую. В хорошие руки вас — может, что-нибудь получится.

Он отошел и, глазами показывая конопатому на Антопа, поднял большой палец.

Когда тренировка кончилась и Антон выходил из ворот стадиона, подошла, мягко пришепечывая шинами по асфальту, длинная «породистая» машина. Навстречу из ворот вместе с Бобом Цветочкиным и конопатым магнетовцем вышла тонкая белокурая девушка с ярко окрашенным ртом. Она подошла к машине и положила руку на сверкающий лак дверцы. Длинная машина словно ластилась к ней. Антон долго старался припомнить, где он видел эту девушку, белую шляпу, нарисованный рот, лаковый глянец дорогой машины. Вдруг он вспомнил витрину путешествия. Это была девушка с плаката. Может быть, не она была нарисована там, но на десятке глянцевого листов у длинных сверкающих автомобилей стояли именно такие девушки.

— Э-э, послушайте! — крикнул Цветочкин. — Кандид Антонов, э-э, виноват, не заглянете с нами тут поблизости, перекусить?

— Так сейчас же работать, — простодушно отвечал Антон.

С завода уже доносился гудок его смены.

— Работать? — засмеялся Цветочкин. — Что мы с вами — рыжие?

— Вот черт! — восхитился конопатый.

— Кто это была? — спросил у него Антон.

— Не знаешь?.. Вашего профессора дочка.

Весна оказалась очень трудным временем. Целые дни шли испытания новой модели в аэротрубе и на гидроканале. Надо было заниматься по ночам, подгонять к зачетам. На тренировку оставались считанные часы. Баграш не хотел сразу раскрывать свои новые карты и показывать Антона в первых сезонных матчах. Баграш берег Антона, как тайно припасенный козырь. Кроме того, он боялся, что Антон, волнуясь в первом матче, может сразу испортить в Москве свою репутацию. А тренировки уже ясно показали Баграшу, что команда приобрела совершенно феноменального вратаря. Опытный футбольный капитан, Баграш строго рассчитал действия. Он хотел сразу поразить Москву.

Первые два матча играли в области, выезжая за Москву. Районные команды были самыми подходящими противниками для первых в сезоне матчей, когда игроки Гидраэра были еще не крепко стренированы, не вошли, как говорится, в форму. Антону в первой игре забили один мяч, но во втором матче он не пропустил ни одного, хотя били ему много и опасно. В результате оба этих матча выиграли гидраэровцы. Затем Баграш вызвал на матч одну из средних московских команд класса «Б». Матч был товарищеский, решили даже не расклеивать афиш. Но Баграш уговорил председателя футбольной секции столицы приехать взглянуть на замечательного вратаря. Председатель Никольский приехал. Матч этот был серьезным испытанием для Антона. Ему пришлось немало потрудиться. Но и из этой игры он вышел сухим. Никольский был озадачен его игрой. Техника Антона, его сила, смелость броска и непостижимое чутье в выборе места, куда направляется мяч, поразили Никольского.

На следующем же заседании он поставил Антона

Кандидова запасным вратарем в тренировочный матч сборных команд Москвы. На заседании многие запротестовали — никто не знал Кандидова. Но помощник Никольского, бывший с ним на матче, подтвердил, что новый вратарь гидраэровцев уже сейчас может заткнуть за пояс самых знаменитых вратарей столицы.

ГЛАВА XXXI

В голу — Кандидов

Антон почти не надеялся выйти на поле в этот раз. Имя Колоскова было ему хорошо известно. Правда, в глубине души Антон уже подозревал, что он сам может сыграть не хуже Колоскова. Глядя из люка на поле, где шла игра, Антон изнывал от досады. Эх, какой мяч пропустил!.. Ему уже становилось досадно, что его поставили запасным, что он не попал в основной состав. «Затирают молодых», — думал он. Злой, ушел он в раздевалку и лег в пальто, надетом поверх майки, на скамью.

И вдруг к нему подбежал один из заправил стадиона.

— Кто здесь Кандидов?.. Вы Кандидов? Одеты? Выходите и становитесь, замените Колоскова. Никольский сказал.

Антон ринулся к выходу, боясь, что кто-нибудь опередит его.

Бледный Колосков, хромая, шел навстречу. Он устало улыбнулся Антону:

— Перчатки у вас какие? А то возьмите у меня... австрийские.

Кандидову на минуту стало жаль выбывшего из игры чемпиона. Он почти не сомневался сейчас, что, раз встав в ворота сборной, он уже не уступит их никому. Но в эту минуту с тугим металлическим звоном кто-то железный провозгласил его собственное имя. И оно зазвенело, загремело изо всех углов — сверху и снизу. Это рупоры объявили, что Колоскова заменит Антон Кандидов. И тут имя, собственное и привычное его имя, слегка перевранное, произнесенное с силой, недоступной человеку, словно написанное гигантскими буквами до самого неба, само стало

огромным во весь нарядный распах стадиона. Оно отделилось от Антона, стало чем-то самостоятельным, живущим само по себе, впервые сделавшись достоянием многих тысяч ушей.

— По-о-озволь! — сказал Антон и, отстранив кого-то, выбежал из люка в ослепительно зеленую долину.

Он слышал колкие шутки и смешки и чувствовал, что все недоумевают. Он знал, что каждый из тридцати тысяч сидящих по склонам трибун готов освистать его, новичка без роду и племени, посмеявшегося занять почетнейшее место в воротах столицы. Это взбесило его. И всем назло он решил играть с подчеркнуто наглым спокойствием. Он очень волновался и почувствовал противную слабость в коленках, но вспомнил Маяковского, прочно стоящего на эстраде под ураганным огнем аудитории.

— Взял! — сказал он. И взял себя в руки.

Каково же было изумление зрителей, когда огромная, хорошо сложенная фигура новичка пришла в движение и начисто заслонила ворота. Большое статное тело наискось, по диагонали, неслось перед воротами, ныряло в ноги набегающей яростной гурьбы, скользило по земле, дотягивалось в самый последний момент до мяча, плюща его в чугунной хватке. Или вдруг высоко взлетало над верхней штангой — и тотчас следовал мягкий шлепок широчайшей ладони или приглушенный «тбум» мяча. Овации казались лишь звуковым продолжением, акустическим выражением этой блестяще управляемой телесной силы. Через пять минут Антона уже обожали.

— А, Кирилл Капитонович? — спрашивал молодой болельщик у дяди Кеша.

— Ничего, ничего, толково, — отвечал дядя Кеша, за пять минут до этого еще уверявший, что все это афишка. — Поглядим, поглядим, — добавил он спохватившись.

— Ну, а теперь что скажешь, дядя Кеша? — спрашивали матерого болельщика через минуту, когда Антон словил совершенно невидимый мяч.

— Ничего не скажу, брать может, — говорил дядя Кеша.

— Выкидывает-то, как из пушки, дьявол! Ну и голман!

— Это по ветру, — не сдавался дядя Кеша.

— Смотри, какой принял!

— Ну, это просто везение, дуриком взял.

Антон стал играть с подчеркнутым спокойствием. Он двигался как будто расслабленно, с этакой нарочитой вялостью. Мяч катился к его воротам в бешеных ногах нападающих, а он спокойно подтягивал трусы, рассматривал узел на шнурке, смахивал за ворота налившуюся на губах шелуху семечек... И только в самую нужную секунду все эти как будто расслабленные мышцы и взгляд, полный умышленного пренебрежения, собирались, сжимались, концентрировались в великолепно отточенном безошибочном броске.

Через пятнадцать минут стадион был прямо-таки влюблен в Кандидова. Дядя Кеша сдался.

— Взял? — спрашивал он у соседей, не веря своим глазам, когда Антон брал наверняка пробитый мяч.

— И не поморщился, — отвечали ему. — Взял и расписку выдал...

— Толково стоит голлер, — говорил уже сам дядя Кеша, — крепко стоит... Как об стену горох.

— А место как знает!..

— Что верховой, что низовой...

— Как с дерева снимает! А надо бы ему один всунуть, чтобы форс сбить, — говорил дядя Кеша. — Как его объявили-то? Кандодов?.. Откуда это его взяли?

Первая сборная, уверившись в полной непробиваемости своих ворот, перешла в нападение.

Один за другим были забиты в ворота второй сборной три мяча.

Приближался конец матча, и игра стала злой. Игрокам второй сборной казалось, что они совершенно случайно упустили верный выигрыш. Они пытались исправить результат, навестать упущенное.

С Антона слетела его напускная томность. Тут уже некогда было красоваться, приходилось работать на совесть. Ему порвали трусы, его немножко помяли в одной из жестоких схваток у ворот. Он не сдавался. Менял трусы, тер ушибленное место, и опять вставала в воротах, головой почти достигая верхней штанги, исполинская его фигура, с непостижимой точностью оказывающаяся как раз в том месте, куда был направлен удар. С удивительным чутьем он находил фокус любой комбинации — точку, в которую только и может ударить противник. Как ему хлопали! Он

слышал подбадривающие возгласы. Теперь он чувствовал: все за него.

Конец игры прошел в бешеной толчее у ворот. Не чувствуя боли от ушибов, полный злого азарта и ненависти к нападающим, он бросался под ноги, катался, выдирая, вылуцивал мяч из плотной груды тел и стискивал его в объятиях. Свисток судьи застал Антона лежащим на мяче. Он вскочил, думая, что назначают спорный или штрафной. Он тяжело дышал, обалдело поводя глазами.

Рев стоял кругом. Его фамилия повторялась со всех сторон, его имя во всех направлениях пересекало пространство над полем. Цветочкин, только что нападавший, сразу обмякнув, весело подбежал к нему. Антон еще ничего не понимал. Инстинктивно он отвел руку в сторону и заслонил собой мяч, оборонительно выставив вперед локоть.

— Свисток был, — примирительно сказал Цветочкин, — кончай базар. Классно стояли! Поздравляю! Колоскову закрыться!

Команды уже собрались в середине поля, прокричали «физкульт-ура». «Враги» шли обнявшись, хлопая друг друга по потемневшим, взмокшим спинам. Подбежали Баграш, Фома; они обнимали Антона. Протискивался Карасик. Он был возбужден, что-то говорил с восторгом, неистовствовал, размахивая руками. Но ничего не было слышно. Плотная толпа сбежавшихся зрителей сгрудилась у входа. Мальчишки лезли вперед, задирали головы и завороченными глазами смотрели в лицо Антону.

— Хорошо, хорошо, браво!.. — кричали Антону со всех сторон.

У самого его лица щелкали лейки фоторепортеров.

— По-о-зволь! — мягко говорил Антон и пробирался к раздевалке.

Внизу, около раздевалки, где было тихо и прохладно, к нему подошел Колосков. Он был уже в пиджаке, но еще в трусах.

— Ну, спасибо, молодец Кандидов! — сказал он прерывистым голосом. — Теперь мне спокойно можно в запас, есть кому стать. Только чтобы и дальше так! Ладно?

Он потряс обеими руками засунутые в перчатки кисти Антона. Потом схватил порывисто Антона выше локтей и поцеловал его в обе щеки. Все кругом молчали. Устыдив-

шись своей нежностью, Колосков вдруг сказал суровым и любовным тоном, каким говорят с учениками учителя музыки:

— Вот надо только над нижними углами немножко поработать — это еще не совсем чисто у вас идет. Поупражняйтесь. Надо будет пройти с вами. Когда у вас тренировка? Я зайду, кое-какие секреты покажу...

Отчеты о матче были напечатаны во всех газетах. Но матч был неофициальный, тренировочный, и отчеты были напечатаны петитом. Почти во всех информациях отмечалось, что победители многим обязаны блестящей игре молодого вратаря, впервые ставшего за сборную Москвы. Фамилия была почти везде перевернута — Кандодов. А одна, вечерняя, написала: Кантонов. Только в вышедшей через два дня специальной спортивной газете Антону был уделен почти целый абзац, строк на двенадцать. Отмечалась отличная реакция Кандидова.

«При этих данных, — кончался абзац, — если вратарь будет неустанно работать над собой и откажется от некоторой опасной рисовки, он может стать голкипером высокого класса».

Рядом был помещен фотоснимок: «Момент у ворот первой сборной. Вратарь Кандидов берет опасный мяч». Снимок был сделан из-за ворот, и лица Антона не было видно. Антон вырезал отчеты, принесенные из редакции Карасиком. После громового успеха на стадионе Кандидов ждал большего. Его немного обидел сдержанный тон похвал. Но его успокоили. Карасик сказал, что так полагается.

Пряча вырезки, Антон застенчиво сказал:

— Вот, Карасик, все-таки правильно жизнь у нас поставлена. Каждый свое может. Вот и мое фамилие в дело пошло.

— Антон, сколько раз! Не фамилие, а фамилия.

— Ну, пускай фамилия, — благодушно сказал Антон. — Это у Лермонтова фамилия, а мое сойдет пока что и так.

...Начался весенний календарь, лиговые игры, розыгрыш первенства. Это был календарь славы Антона. «Гидраэр» выступал в классе клубных команд. И от матча к матчу имя Кандидова становилось все известнее. Гидраэровцы в своей группе не проигрывали ни одного

матча. Но встречи часто кончались вничью: нападение гидраэровцев не всегда умело забить мяч в чужие ворота, а Антон редко пропускал в свои. И в результате: ноль — ноль. Потом Баграш несколько изменил тактику игры. За ворота можно было быть спокойным, и команда теперь смелее нападала.

На одном из матчей «Гидраэра», окончившемся очередной «сухой» ничьей, Карасик, проходя мимо будки телефонного автомата, увидел за стеклом Димочку Шнейса. Он передавал в свою редакцию отчет о матче.

— Да, да! — доносилось из будки. — Сегодня опять выиграли гидраэровцы. — Зажав ухом и плечом трубку, Димочка спешно раскладывал листочки записи. — Что? Гидраэровцы... Нет «ы»? Я говорю: «ы». Кандидов опять не пропустил ни одного мяча. Он, безусловно, лучший вратарь Москвы. Мертвая хватка. Гидраэровцы... Да нет! «БІ, ы», — говорю я вам! Давайте по буквам!.. О-о-о!

Через десять минут, спустившись в раздевалку, Карасик с изумлением увидел, что рядом с Антоном сидят Ласмин и Димочка. Антон бормотал что-то невнятное и беспомощно оглядывался. Димочка спешно записывал. Увидя Карасика, он вскочил.

— Евгению Кар — эвоэ, привет! — закричал он. — Всего хорошего, Антон Михайлович, мы еще встретимся!

Он помахал рукой и вылетел из раздевалки.

— Гони его в шею в следующий раз, — сказал Карасик Антону.

— А он про меня статью хочет написать, — объяснил Антон.

— Ты не знаешь, что это за тип!

— Очень веселый хлопец, — сказал Антон.

— Мое дело предупредить! — отрезал Карасик.

После матча со сборной Поволожья, где Антон опять отличился, предстояла традиционная встреча с Ленинградом. Матч этот был очень серьезным, и в совете футбольной секции многие ни за что не соглашались признать кандидатуру Антона. За него заступилась «Комсомольская газета». Она обругала руководителей за косность, потребовала продвижения молодых и ядовито напомнила проигрыш прошлого сезона.

Игра в Ленинграде принесла новую славу Антону. Игроки, ездившие в составе сборной, целую неделю не

устанавливали после рассказывать о подвигах Антона в воротах сборной Москвы. Даже сдержанные ленинградцы были ошеломлены. За Антоном, хотя он и пропустил в Ленинграде один гол в свалке у ворот, уже прочно установилась кличка «сухой» вратарь. Сборная Москвы ездила на юг. И там Антон подтвердил это прозвище, не пропустив ни одного мяча.

Газеты в один голос называли его лучшим вратарем страны. И вскоре, когда составлялась сборная Республики, вратарем ее был утвержден единогласно Антон Кандидов. Его уже прочили вратарем сборной команды СССР.

Это были дни полного счастья Антона. На заводе все ладилось. Часть зачетов он успел сдать, другие ему отложили, найдя причину отсрочки уважительной. С работой он справлялся; для тренировок ему было выделено специальное время. Баграш иногда журил и школил его. Изредка заглядывал Карасик. Настя хорошела и улыбалась при встрече с ним. Он никак не мог понять ее. Уже не раз он твердо решал сказать все начистоту, но каждый раз терялся, умолкал и порол чепуху.

Поговаривали о том, что скоро приедет знаменитая команда клуба «Королевских буйволов». Если бы они приехали, Кандидов мог бы держать экзамен на международный класс.

ГЛАВА XXXII

Профессор Токарцев и другие

Профессор Токарцев принадлежал к лучшим представителям старой московской профессуры. Крупнейший теоретик гидроавиации, он был известен не только в Европе, но и за океаном. Он славился знанием всей подноготной старой Москвы, широким замоскворецким хлебосольством, природной веселостью, хорошими манерами и простецкой легкостью в общении с людьми. Он знал толк в старых гравюрах и беговых лошадях и был не дурак по части вин. Но не коллекционировал первые, не рисковал на вторых и не злоупотреблял последними. Ему было около шестидесяти. Но огорчительное отложение жира портит ему лишь фигуру, а не настроение. Он брлся

каждый день, делал по утрам гимнастику по Мюллеру, и складка на его брюках была остра, как форштевень. В свободные часы он сам уверенно водил машину, которой наградило его правительство, причем на загородном шоссе дожимал стрелку спидометра до 90. Читая на другой день об автомобильных катастрофах, он холодел, клялся себе, что будет осторожен, но за рулевой баранкой забывал о страхе — «какой русский не любит быстрой езды!»

В революцию у него пропали сбережения в банке. Токарцев горевал недолго, предпочитая не вспоминать о прошлом, которому хорошо знал цену. От эмиграции он с омерзением отплевывался. В первые же годы революции его пригласили работать. Человек он был любопытный. «Это совсем особенный народ, — говорил он, присматриваясь. — Интересно все-таки, что у них получится». Размах работы был ему по душе. По его предложению утвердили строительство грандиозного гидроканала для испытания моделей. Он уже больше десятка лет носился с этой мечтой и сразу увлекся новой работой, работал не за паяк, а за совесть. С живым интересом и со страстным любопытством сближался с новыми людьми и незаметно перестал говорить «они», «у них», перейдя на «мы», «у нас».

Он близко сдружился с Баграшом и всячески покровительствовал, помогал маленькой коммуне гидраэровцев. Его занимали дерзость и упрямство, с которыми Фома Русёлкин, Яшка Крайнах бросались в гущу самой премудрости науки. Ему импонировал футбольный задор, командное братство, бешеное упрямство, стиснутые зубы, дьявольская усидчивость.

Настю он считал очень талантливым конструктором, а последний маленький спортивно-испытательный глассерчик типа «аутборт» поразил даже изобретательного Токарцева своей технической смелостью. Профессор частенько заглядывал к бывшему «Николе-на-Островке». Он называл коммуну «институтом благородных парней».

Его природное любопытство проявлялось даже в особой манере разговаривать. Почти каждую фразу он заканчивал вопросом «что?», как будто интересуясь немедленным ответом собеседника.

«Воспитанный человек не станет курить в комнате ребенка, органически не выдержит сидения в присутствии

стоящей дамы. Он физически не может ужиться спокойно с несправедливостью. Что? Будьте воспитанны, друзья!»

Дом у Токарцевых был открытый, гостеприимный. Готовили вкусно, подавали много, пили в меру. Профессорша Мария Дементьевна была многоопытной хозяйкой, умеющей занять гостя, угостить досыта и не замечать пятен на скатерти. Это была неугомонная толстуха. Она ездила в Эссентуки, призывала на помощь все силы природы: воды, горы, электричество, массаж, теряла по восемнадцать кило и в первый же месяц по прибытии в Москву прибавляла в весе двадцать.

Мария Дементьевна была очень восторженна и легко меняла предметы своего восхищения. «Обиды» 1917 года она не забыла. Но Арди, как она называла профессора, был доволен большевиками.

— Они сработались с Арди, — говаривала Мария Дементьевна.

И вскоре от нее можно было услышать, как она экзальтированно восклицала:

— Ах, наши комсомольцы — это чудо! — таким же точно тоном, каким она несколько лет назад говорила на благотворительных базарах: — Ах, наши серые незаметные солдаты — это чудо!..

Слово «глиссер» она произносила как «глиссэр». А дочку Аделаиду называла Ладой.

Лада родилась уже с готовым убеждением, что она призвана украшать собой белый свет, и была довольна тем, что существует и выполняет это высокое предназначение. Раз решив так, она уже больше не затрудняла себя никакими вопросами о целях жизни. Так подгоняла она в детстве, заглянув в конец учебника, задачку под готовое решение. Она была очень миловидна, а некоторые погрешности, допущенные природой, легко и умело восполнялись искусственно.

Карасик совершенно не выносил Лады. Ему казалось оскорбительным, что у профессора Токарцева могла быть такая дочка. Ему было обидно, когда он слышал, как Лада обращалась с изящной фамильярностью при посторонних к Ардальону Гавриловичу:

— Слушай, папеч, я заберу сегодня твою машину. Не сердись, крошка. Але, гош!.. Состоялось... — и уезжала на машине.

А профессор должен был ждать, пока подадут ему заводскую, или шел пешком.

Это был особый тип девушек, над всем хихикающих, ко всему относящихся свысока, со всеми — запанибрата. Карасик панически боялся их. С такими девушками он чувствовал себя полным дураком, терялся и действительно глупел перед этой лучистой и победной пустотой.

— Абсолютный вакуум в голове! — сокрушенно восклицал профессор.

Штатным и домашним философом Лады был, конечно, Димочка.

— Он немножко шпанистый, — говорила Карасику Лада, — он босяк-джентльмен, я это обожаю. Он типичный эпикуриал.

— Эпикурец? — спросил Карасик.

— Не придирайтесь!.. Ну вот, вы вечно придираетесь, — надулась Лада. — Учитесь мыслить независимо.

Узнав, что Карасик тренируется в футбол, она хохотала не меньше пятнадцати минут. Карасик стоял мрачный и молчал.

— Тоже мне футболист, — сказала Лада, — воображаю себе! Зачем вы из кожи вон лезете? Писали бы себе... Выше головы не прыгнете.

— Я буду играть в футбол, — упрямо сказал Карасик.

— Воображаю. Чудес на свете не бывает.

— Я не колдун, но иногда действую вопреки природе, как все энтузиасты.

— Это из передовицы вашей газеты?

— Нет, это из сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана, — сказал Карасик.

— Боже мой, и его сагитировали!.. — ужаснулась Лада.

Карасик пришел к Токарцеву, чтобы профессор просмотрел его большой очерк. В нем Евгений Кар развивал идеи двухлодочного глссера и ратовал за строительство скользящего экспресса. Конструкторская бригада Гидраэра под руководством Насти и Баграша уже составила эскизный проект, совершенно фантастической по внешности, но вполне реальной по существу машины. Это был огромный, стоместный, двухлодочный глссер, предназначенный для срочных морских поездок. В кругах глссеростроителей к

проекту отнеслись с недоверием. Правда, бригада работала под покровительством такого авторитета, как Токарцев, но все же проект казался слишком смелым, неосуществимым.

Карасик последовал за Токарцевым в его кабинет. Квартира у Токарцевых была прохладная, шторы были припущены. Но слишком много тут было картин, портьер. На этажерках, секретерах, комодах, полках стояли фарфоровые статуэтки, вазочки, стаканы, фужеры... Страшно было повернуться, чтобы не задеть чего-нибудь. Карасик вспомнил, как Фома Русёлкин, придя к нему впервые, спросил:

— Так и живете при магазине?

Но кабинет Токарцева казался комнатой из другой квартиры. Все носило здесь отпечаток деловой, рабочий. В кабинете было много света. Лекала, угольники валялись на окнах и на полу. Кругом лежали свернутые в трубку, засунутые в черные цилиндры чертежи, синька, калька. Добротный ватман был наколот на чертежные доски. Стояли баночки с тушью, флаконы всех цветов. На стенах, выкрашенных голубой эмалевой краской, висели портреты знаменитых ученых и деятелей авиации: Жуковского, Нестерова, Блерио, братьев Райт — Орвиля и Вильбура. Карасик узнал в других рамках Фармана, Кертиса, Эсно Пельтри, Сикорского, Цеппелина, Циолковского, Валье, Сигрева.

На профессоре была бархатная пижама с гусарскими шнурами, и сам он смахивал на художника в своей мастерской. Он внимательно читал статью Карасика, ставил на полях красные галочки.

— Талантливый, черт возьми, вы человек! — сказал он, закончив.

Ему вообще нравился Карасик.

— Что? Вот это: «Глиссер, ищущий опору в собственной скорости, неся в себе принцип интенсивного воздействия на среду, ближе нам и по духу, чем экстенсивное, относящееся к воде инертно, поддерживаемое древней архимедовой формулой, круглое судно». Тут, конечно, много вольности, — продолжал профессор, — но дух схвачен верно. Что?.. А вы любите скрипку? — спросил вдруг профессор. — Что?

Он вообще любил задавать неожиданные вопросы.

— Не очень, — сознался Карасик.

— Скрипку не любите? Как же так? — огорчился профессор и даже карандаш положил.

— Я очень люблю музыку, — сказал Карасик, — но у скрипки и колоратуры мне неприятна витая тонкость звукового хода. Нет объемности... Это пронзительный штрих скорее. А вот рояль, баритон — это трехмерный звук, развернутый в пространстве, густой по акустической консистенции тон. Он облегает стены, им заполнен зал до краев.

Профессор с интересом слушал его. Он подумывал, о чем бы еще спросить Карасика. Ему просто не хотелось его отпускать.

— Забавно, — сказал он. — У вас все по-своему получается. Это, вероятно, и есть сущность вашего литературного дела.

Они говорили о живописи, искали сродство между цветом и звуком. Карасик заговорил о Григе, которого любил с детства. Угловатую, лаконическую музыку северного композитора с его мелодиями, ниспадающими по уступам, как водопад, Карасик дерзостно сравнил с живописью Врубеля: «У них от перенасыщенности, от внутреннего неистовства, при внешней немногословности краски и формы выпадают кристаллами».

— Скажите, — вдруг спросил Токарцев, — а можете вы на такие вот темы говорить у вас там... ну, у наших благородных парней?

— Еще как! Может быть, не в такой форме, — сказал Карасик, — но говорим мы очень часто.

И он рассказал профессору, как говорил полуголодным, замерзшим судоремонтщикам в саратовском затоне о Леонардо да Винчи, о Микеланджело.

— Вы молодец, Евгений... Евгений...

— Григорьевич...

— Евгений Григорьевич! Молодец вы. Что? Круто сломали линию хода и пошли к этим чудесным ребятам. Вы знаете, у них есть какая-то врожденная воспитанность.

— Правда, хорошие ребята?

— Отличный молодой народ, хорошие головы, свежая кровь!

— Очень уж они жадные. Глодают все, что ни попало, — прямо кашалоты.

— Ничего, я надеюсь, они не заболеют рецидивами наших интеллигентских хворей... Сомнение, тоска, виноват

тость и так далее. Честное слово! Жаль, поздно мне, а то я бы тоже и в футбол начал играть. Что? Честное слово!

Выходя из кабинета вместе с профессором, Карасик разглядел в уютном сумраке гостиной несколько сидящих фигур. После светлого кабинета он в первое мгновение не видел лиц, потом он рассмотрел Ладу, Марию Дементьевну, Цветочкина, Ласмина, Димочку. Кто-то еще сидел в сторонке у рояля.

В гостиной сумерничали. Но вдруг малиновый закатный луч, пористый и кипящий пылинками, проник сквозь разрез в шторе и упал на голову сидящего поодаль. Карасик увидел, как ярко вспыхнула знакомая прядка.

— Видите, — заговорил тотчас Ласмин, — Антон Михайлович — подлинный избранник славы! Даже луч находится в темноте его и останавливается именно на нем.

— Браво, браво! — сказала Мария Дементьевна. — Вам, Валерьян Николаевич, надо было быть поэтом, а не юристом.

Антон увидел Карасика, встал неловко, потом снова сел.

— Здорово, Женья! — сказал он с нарочитой развязностью. — А я вот с тренировки зашел.

— Ого! — воскликнула Лада. — Вас, видно, строго держат — отчет приходится отдавать.

— Не отчет, — пожал плечами Антон, — а надо же объяснить, раз он не знает.

— Ничего не надо объяснять, все понятно... — Карасик раскланялся. — Антон, у нас к восьми кружок.

— Если вам так надо, идите, — сказала Лада. — Он сейчас.

— Иди, я сейчас, — сказал Антон.

Димочка, стоявший в сторонке, картинно развел руками, иронически поглядывая на Карасика.

— Послушайте, — грубовато сказал Боб Цветочкин, — оставьте вы его в покое. К чему ему все эти ваши кружки?

— Он мячи берет недостаточно идеологически четко! — захохотал Димочка.

— У вас, видимо, кругозор не шире ста двадцати на девяносто... — вызывающе заметил Карасик Цветочкину.

Его перебил Ласмин:

— Боб абсолютно прав. У нас не умеют еще беречь, ценить...

Он стал многословно бубнить о национальном почете, которым окружают за границей знаменитых спортсменов, привел известный пример с финским бегуном Нурми, которому при жизни поставили памятник, вспомнил, что сам президент жал руку французскому боксеру Карпантье, когда тот отправлялся защищать честь нации в Америку...

— Жаль, вы не были, Ардальон Гаврилович, на последнем матче! — воскликнул юрист. — Если бы вы видели, под какие овации и восторги играл Антон Михайлович... Как хотите, это настоящий вратарь страны, один из последних рыцарей нашей эпохи. Кто знает, может быть, в нем в последний раз воплотилась с такой исконной первобытной мощью сила русского богатырского духа.

Профессор поморщился.

— Что это — близорукость или благоглупость? — спросил Карасик у Ласмина.

— Да что вы смыслите в спорте? — сказала Лада. — Тоже мне атлет!

— Лада, Лада! — укоризненно сказал профессор.

Карасик уже собирался уходить, но понял, что ему дают бой нарочно в присутствии Антона и бой этот надо принять. Он не любил громыхать цитатами и умел обходиться без них. Но тут надо было блеснуть.

— Я слегка интересовался этим вопросом, — скромно сказал он, — кое-что почитывал. А вы это вряд ли читали, а?

— Где уж нам такие книги добывать... — протянул Ласмин.

— Нет, позвольте, я уж доскажу! — почти закричал Карасик. — Мне это надоело. Давайте уж раз навсегда, черт возьми... Вы говорите о величии зарубежных спортсменов, а вы знаете, как Лядумегу — я сам слышал от него этот рассказ — немецкий спринтер доктор Пельцер шипами пытался разорвать икру?.. А вы видели лицо Эйно Пурье, когда он у нас в беге со Знаменским сдал на предпоследнем круге?..

Карасика уже нельзя было остановить. Он обрушил на головы слушающих десятки историй о нравах профессиональных спортивных клубов. Он рассказал, сколько заплатили легендарному Алену Джемсу, ловкому инсайду лучшей английской команды «Арсенал», прозванному Блуждающим форвардом.

— А знаменитый Монти — «Буйвол Помпас», купленный вместе с другими уругвайцами Италией, выигравший первенство мира, изуродовавший шесть олимпийских игроков и зверски покалеченный англичанами на Уэмблейском стадионе!.. Или, наконец, знаменитый Бен Хорг, наемный убийца «Королевских буйволов»... А то, что вы тут говорили, это... это, я бы сказал, широковещательно, но узколобо... глубокомысленно, но мелкотравчато.

Все были слегка ошарашены. Ласмин молчал.

Чтобы смягчить остроту положения, профессор сказал:

— Я был в Испании на бое быков. Выглядит это импозантно, но омерзительно. Что?..

— А ты чего молчишь? — накинулся вдруг Карасик на Антона.

— Ну что ж после тебя скажешь?..

Карасик остановился в дверях.

Димочка подошел к нему. Он сказал Жене на ухо:

— Брось ты эту трепанацию...

— Идем, Антон! — сказал Карасик решительно.

— Ну, он еще немножко посидит! — воскликнула Лада.

— Эх, Антон! — не выдержал Карасик.

Димочка ловко подхватил его интонацию, вскочил, поднял торжественно руку и провозгласил:

— «И ты, бруто!» — воскликнул нетто, завернулся в тару и упал¹.

Лада расхохоталась.

Антон встал так резко, что чуть не опрокинул маленький столик с альбомами.

— Стой, Женья... и я с тобой.

Они дошли до дому молча.

ГЛАВА XXXIII

„Королевские буйволы“

Слухи, волновавшие болельщиков, подтвердились. Победитель Всемирного чемпионата, прославленный европейский клуб профессионалов кожаного мяча, известный

¹ Шуточная бессмыслица. Дима пародирует известную тиреду-поговорку. «И ты, Брут! — воскликнул Цезарь, завернулся в тогу и упал». Брут — убийца Юлия Цезаря, римского императора.

в футбольных кругах под именем «Королевских буйволов», решил прислать свою команду в СССР на матч со сборной Союза.

Команда ехала с особого разрешения Международной футбольной лиги. Политические соображения заставили блюстителей международных законов футбола согласиться на матч с командой, не входящей в ассоциацию. Непобедимая команда была послана, чтобы раз навсегда доказать, как отстали советские футболисты от европейского класса игры. Болельщики боялись поверить... Шутка ли сказать — «Королевские буйволы»! Это была легендарная команда. До последнего времени все гадали: приедут — не приедут, приедут — не приедут... И вот они приехали. И с ними приехал знаменитый Бен Хорг, правый инсайд, гроза футбольных полей Старого и Нового Света, великий Бен Хорг, не знающий промахов, черный Бен, бич вратарей. О нем рассказывали чудеса. Толковали, что каждая нога его застрахована в сорок тысяч долларов. Ногами Бен Хорг управлял лучше, чем руками, а головой действовал не хуже, чем ногами. И звали его поэтому Бен Свирепоголовый.

Сборная СССР энергично тренировалась. Все обсуждали, каков будет состав советской команды. Вечерняя газета объявила конкурс среди читателей: кто назовет наиболее верный и лучший состав. Было прислано около семи тысяч писем. И во всех семи тысячах на место вратаря сборной СССР прочили только одного кандидата — вратаря Республики Антона Кандидова.

Конечно, все билеты на стадион были расхвачаны за неделю до матча. Тысячи опоздавших людей бегали с несчастными, потными лицами по городу, молили, потрясали документами. Только Димочка хвастался, что он раздобыл и раздал двадцать четыре билета. «Я главный билетный всеобщий обеспетчер», — острил он.

За два часа до свистка судьи, приглашенного из Международной лиги, все в городе хлынуло к западной вставке. Тысячи людей заблаговременно устремились к конечным пунктам трамвайных маршрутов. Лада уехала на автомобиле. Машина не возвращалась со стадиона. Очевидно, попала в затор. Другие машины уже уехали. Профессору и Марии Дементьевне пришлось ехать в трамвае. Вагоны двигались спазматически, толчками. Движе-

ние поминутно спотыкалось о милицейские свистки. Железная судорога передергивала вагоны. Обгоняя, наезжая и заносясь друг перед другом, роились у перекрестков автомобили. День был до отказа набит звоном и блеском. Ясный августовский день с прекрасной артикуляцией света и тени.

Большой день! Профессор Токарцев ехал на стадион. Его супруга Мария Дементьевна ехала на стадион. Слесарь-болельщик дядя Кеша ехал туда же. Ехали члены Совнаркома и школяры. Все ехали на стадион.

— Все на футбол! — вздыхала полузадушенная кондукторша. — Никто не сходит...

Мария Дементьевна, заклиненная между двумя ражми и потными болельщиками, терпеливо сносила и духоту и толчки. О, Мария Дементьевна была истой болельщицей. Она была готова снести любые муки, лишь бы попасть на матч, лишь бы еще раз ощутить азарт созерцания, когда сердце прыгает вместе с мячом...

Болельщики были грубо любезны и разговорчивы. Казалось, что все в вагоне были старые, закадычные друзья.

От передней площадки моторного вагона до заднего буфера прицепа шли споры о составе команд. И все говорили о Кандидове. Имя Кандидова воодушевляло и мирило спорщиков.

— О, Кандидов! — говорили в вагоне. — Тошка — это класс!

— Кандидов, будьте уверены. Тошка...

— Что вы мне говорите!.. Тошка...

Человек, висящий на подножке вагона с запретной стороны, доказывал парню, едущему на колбасе, преимуществу Кандидова перед всеми другими вратарями СССР.

Как будто тут все были самыми близкими товарищами Антона.

Предел плотности внутри вагона был уже давно достигнут. Трамвай, являвший чудеса вместимости, обрастал снаружи. Люди теперь висели на подножках связками, словно вобла. Казалось, все содержимое московских улиц ринулось в одном направлении — через западное устье столицы к стадиону!

К стадиону, к стадиону! День склонялся к стадиону. Даже солнце катилось сюда.

«Закрыто на футбол» — было написано на бумажке, приклеенной к дверям кустарной часовой мастерской.

— На «Динамо» сходите?

— Схожу на «Динамо».

— На северной?

— Нет, на южной.

— Вы где встаете?

— У «Динамо».

— А впереди там?

— Да все слезают!

Доходя до парка, трамваи на ходу уже выпаливали людьми с обоих бортов. Несчастную Марию Дементьевну высадили, как высаживают дверь. У профессора был вид помятый и распаленный.

Они поспешили к входу.

Все пространство вокруг них дрожало, как при землетрясении, от топота тысяч ног, взапуски несущихся к трибуне. Издали доносился гул и рокот переполненного стадиона. Стадион завиднелся, встал, развернул перспективу сооружений. Он высился среди зеленых кущ и песчаных излучений. Линии и грани корректного железобетона вызвали к порядку. У ворот сверкали фаланги дипломатических автомобилей. Гирлянда разноцветных флажков всех стран шевелилась над радиаторами, как на елке.

Токарцевы разыскали наконец свои места на северной трибуне. Сидевшие уже там работники «Гидраэра» приветствовали своего технического директора. Профессор в изнеможении плюхнулся на скамью, снял шляпу. Не было бы ничего удивительного, если бы из шляпы, как из миски, повалил пар...

— Уф!.. Черт его знает что такое! — вздохнул профессор. — Для чего, спрашивается, я мучаюсь? Что? Кто мне из вас может объяснить? Это просто какой-то психоз. Ну, что мне от того, кто из них больше вобьет мячей. Что? Изменится от этого что-нибудь, черт побери! Завод от этого у меня станет? Хуже мы от этого будем? Что? А вот волнуюсь сегодня с утра, как молокосос...

— Представьте, я только что думал об этом! — воскликнул, перегибаясь к Токарцеву, румяный и плотный человек. Он сидел позади профессора. Желтый портфель с ремнями покоился на его толстых коленях. — Я говорю: ну, давайте посмотрим на это дело сторонними глазами...

Ну, что такое футбол? Что представляет собой этот волнующий момент забития гола? Ничего. Круглая пневматическая камера проходит между двумя стойками с перекладиной. Что из этого? А я вот сегодня с утра волнуясь, как дурак, ни одним делом толком не могу заняться. Правда, у меня, конечно, есть некоторая непосредственная заинтересованность.

— У вас?

— Ну разумеется! Цветочкин же, правый инсайд сборной, ведь он у меня на заводе работает... числится, по крайней мере...

— Что вы? — изумилась всезнающая Мария Дементьевна. — Цветочкин... Боб? Он же на этом... как его... на «Рускабеле» играл.

— Хватились! Он уже год, как у меня. Перетянули. Вы знаете, что это за игрок? О!..

— Ну, а Кандидов? — спросил уязвленный профессор. — Мой Кандидов гораздо класснее играет, чем этот ваш летун Цветочкин. И в воротах ответственнее место, чем в нападении.

— А-а, ерунда ваш Кандидов, дутая величина! Скушает сегодня, посмóтрите...

И долгобранчливо спорили директора о том, чей из игроков лучше.

Все ждали футбола, все спрашивали друг у друга:

— А Кандидов играет?

— Седой сегодня будет? — узнавали на трибунах.

— В голу кто? Седой? — волновался стадион.

Зрители сидели на разбегающихся вверх полукружиях. «Так сидели, должно быть, в театре Аристофана и на скамьях Колизея», — заносил в свой неизменный блокнот Карасик. Евгению Кару было поручено вести сегодня радиопередачу со стадиона. Микрофон уже включили, диктор объявил выступление Кара. Теперь надо было говорить. Нельзя было молчать. Маленький прожорливый ящичек, дрожащий, как игрушечный паучок на пружинках, непрерывно требовал пищи. Карасик растерял сперва все слова и никак не мог управиться со своим горлом. Потом он произнес первое слово, легкое и знакомое, «товарищи» и, узнав звук своего голоса, немножко успокоился.

— Нет, — говорил он в микрофон, оглядывая с радушным любопытством зрителей, — нет, это не разнузданная

чернь римских цирков и не экзальтированные ротозей рыцарских турниров. Это не кровожадные любители боя быков...

Готовясь к выступлению по радио, Карасик дал себе слово, что ни за что не будет углубляться в историю, цитировать и увлекаться пышными сравнениями. Но коварная журналистская привычка взяла свое, и теперь он уже не мог удержаться. Раз начав, надо было уже закончить выступление в таком духе.

— Это не тихие созерцатели битв на шахматной доске и не осатанелые игроки бегового тотализатора. Зритель наших стадионов — он пришел по билетам заводской заявки. Он по-хозяйски оглядывает свой стадион. Он бескорыстен и великодушен, шумлив, но дисциплинирован. Хотя ему чертовски хочется, чтобы наши не подкачали... Северная трибуна прохладна и сдержанна. Неисправимые болельщики предпочитают более дешевую, южную трибуну. Она напротив нас. Южная трибуна ослеплена солнцем и пристрастием. Круглая трибуна справа от нас не страдает подобной однобокостью. Часто она объединяет мнения двух других трибун и громогласно резюмирует их. Зрители ее горласты, непочтительны, но по-пролетарски справедливы. Круглая трибуна с одинаковым рвением свистит и хлопает своим и чужим.

Потом Карасик спустился в раздевалку футболистов. Там толпились все знаменитости. Чемпионы негромко приветствовали друг друга. Они жали руки со скромным, но значительным видом. Смесь почтительности и самоуважения была в их любезных поклонах. Так встречаются певцы на сборном концерте, профессора на консилиуме.

Игроки сборной СССР снаряжались к бою. Массажисты мяли, гладили, щипали, тискали их смуглые мышцы. В раздевалке стыло сдержанное волнение. Лица были серьезны. Разговаривали вполголоса. Многие лежали на скамьях, вытянувшись, экономно дыша. Лишь Кандидов в полном облачении голкипера шагал из угла в угол. Он был великолепен. Статная громада в яркой майке, в щитках, наколенниках, в лапчатых перчатках.

— Дрейфиш, Антон? — спросил Карасик.

— Порядком волнуюсь, — просто ответил Кандидов.

В это время в раздевалку вошли в сопровождении нескольких военных двое: коротенький смешливый толстяк

в шляпе и седой румяный военный со многими орденами. Игроки вскочили, окружили их.

— Вы уж, пожалуйста, того, повежлибее, — говорил, смеясь и опираясь сзади на тросточку, веселый толстяк, — чтобы без эксцессов. Лучше уж, знаете, вежливый проигрыш, чем грубый выигрыш. Но проигрывать, конечно, не следует.

— Нет, проигрывать не следует! Ни в коем случае не следует! — сказал военный и с удовольствием оглядел мускулистых ребят, сгрудившихся вокруг.

— Кто говорит, чтобы проиграть! — сказал, смеясь, толстяк. — Я говорю о вежливости, чтобы вежливо...

— Словом, вздуйте их вежливо!

Игроки засмеялись.

Как назло, Настя заболела. Она накануне провела испытание своего «аутборта», перевернулась, промокла, но не хотела уходить с пристани, пока не вытащат затонувшую машину. День вчера был холодный. Ее, вероятно, продуло. Теперь ей пришлось остаться дома. Все ушли на матч. Она очень волновалась.

— Я так боюсь за Антона! — призналась она Карасику. — Ведь Бен Хорг, говорят, нескольких вратарей изувечил. Антон, в сущности, такой незащитный.

— Антон? — сказал Карасик. — Ну прямо одуванчик...

Перед уходом ребята наладили ей приемник. И теперь она могла следить за игрой по радио. Уютно свернувшись на диване, она приготовилась слушать и вскоре узнала знакомый голос Карасика.

В назначенное время, минута в минуту, пропела сирена судьи. Стадион загремел аплодисментами, оркестр грянул неведомый марш, и «Королевские буйволы» появились на поле. Они выбежали, картинно салютуя простертыми вперед и вверх ладонями правой руки. Вид у них был экзотический и зловещий. Черные свитеры, белые вышитые бычьи черепа на груди и корона между крутыми рогами. Они выстроились перед правительственной трибуной.

И тогда только вышел он — Бен Хорг. Ражий детина, космогрудый, слегка кривоногий. Он бежал вдоль трибун. Зрители оглушительно приветствовали знаменитого футболиста. Он бежал сосредоточенно, не улыбаясь. Пиратская черная повязка закрывала его лоб. Он был похож на

мавра. Он бежал тяжело, но отсалютовал с мрачным изяществом.

Всеведущий дядя Кеша наклонился к стоявшему рядом в оцепенении милиционеру Снежкову:

— Смертельный игрок, троих убил, девять человек покалечил, прием такой имеет — головой бодает.

Милиционер ужаснулся.

Проходил церемониал международной встречи. Цветы и вымпелы. Рукоплескания и рукопожатия.

Настя слушала гимны и овации, «физкульт-привет» советской команды и «гип-гип-ура» гостей. Закрыв глаза, она старалась представить себе белые стойки ворот о провиснувшей сеткой и сосредоточенное лицо Антона.

— Команды ринулись в игру! — услышала она голос Карасика и придвинулась к громкоговорителю. — Сейчас на поле идет стремительное перемещение сил по сложным линиям. Линии нападения защиты, полузащиты собрались в комок и снова распались, — сообщало радио. — Восемьдесят тысяч на трибунах дышат в один ритм, смотрят в одну точку и мучимы одной загадкой: чьи ворота чаще посетит сегодня мяч. Ведь сейчас на поле уже вошли в силу футбольные законы. Мяч неприкосновенен для всех рук, кроме вратаря. Проникновение мяча в ворота убийственно. Это ведь и есть смысл игры, очко поражения. Но в воротах сборной СССР стоит сегодня... — голос Карасика просквозила нежность, и радио обнародовало его дружеские чувства, — в воротах стоит молодой вратарь товарищ Кандидов с завода Гидраэр. Он стоит в воротах сборной СССР впервые в жизни. Только год назад он приехал с берегов Волги, где был грузчиком. За год его узнали все на заводе. Теперь он вратарь Республики! Сегодня... Но, товарищи, внимание. Клубок игры катится к воротам СССР. Нападающие противника прорвались. Они порывисто мчат мяч. Ворота СССР в опасности. Кандидов опрометчиво выбежал на перехват...

Тут в репродуктор ворвались треск, шорох, бешеный стрекот. Настя ошарашенно схватилась за рукоятку конденсатора, вариометра. Но в ту же секунду она сообразила, что то были не атмосферные разряды, а аплодисменты. Раскаты аплодисментов заглушили передачу. Но она уже повернула ручку и сбилась теперь с точной настройки. Приемник был не в порядке. Напрасно она лихорадочно

вертела рукоятки. Она заблудилась в неразберихе надмосковского эфира.

— Порядок осенних работ по борьбе с вредителями полей, — бубнила какая-то рация.

Кто-то заливался Моцартом по соседству, а другая станция, проводя, очевидно, час мировой литературы, декламировала Вергилия.

— Кандидов снова выбил мяч из свалки у ворот, — сообщал Карасик где-то очень далеко, — но «Буйволы» обрушились рьяной атакой. Атака форвардов...

Опять он куда-то затерялся!

— Кандидов и на этот раз спас ворота СССР от мертвого мяча. Игра переведена им на неприятельскую половину поля. В неудержимом беге наши нападающие пробивались сквозь полузащиту гостей. Правый полусредний Цветочкин, получив подачу из центра, стремительно ведет мяч вперед.

— ...и меж тем, как главу, разлученную с мраморной шеей, посредине пучины, вращая, Гэбр Озагров мчал...

— Черные защитники обойдены. Они мчатся, чтобы настичь прорвавшегося...

— ...юношей напряжены надежды. И бьется от страха сердце у них, трепеща, напирают...

— Яростно нагоняя мяч, набегают советские нападающие на ворота противника.

— ...ни остановки, ни отдыха. Желтый песок закрутился облаком; мочит их пена и дых набегающих сзади. Страсть такова к похвалам. Такова о победе забота!

— Ну, пошли теперь буколики-вергилики! — сердито сказала Настя.

Голос Карасика на минуту опять затерялся среди георгинов и сорняков, обкосить которые требовал настойчивый лектор. Потом Карасик прорвался.

— Первая половина игры закончена, — дошло до Насти. — Она принесла бесстрастный результат ничьей: ноль — ноль.

Но тут в эфирную катавасию впуталась еще одна совсем уже замечательная станция. Она зашаманила. Вероятно, это была какая-то экспериментальная передача.

— Раз, два, три, четыре, пять, я «Рыба», вы «Медведь», — вещала станция. — Иван Петрович, возбуждение триста. Я кончаю, я кончаю. Витя, Витя, я «Рыба», моду-

ляция шестьдесят, возбуждение триста. Как слышите? Раз, два, три, шшел, вышел, вон пошел. Я «Рыба». Кончаю, кончаю...

И радиолюбители, слушавшие трансляцию матча, радиолюбители Кутаиси, Вологды, Тамбова, Воронежа, Вапнярки, Бологого и Ходжента... проклинали ее, эту станцию.

Мальчишки, забегая вперед, окружали Кандидова. Он шел, черный от пота и грязи. Ему аплодировали.

— Тоша, прошу, уважь! — кричал ему сверху дядя Кеша.

На круглой трибуне, как всегда, расхаивали своих и восхищались игрой гостей. Действительно, «Буйволы» играли блестяще. А у советской команды на этот раз дело что-то не ладилось. Нападение играло рваной линией. Края партизанили и заводились. Цветочкин не оправдывал надежд. Полузащита не держала места и плохо прикрывала Бена Хорга. Он все время пасся у ворот красных. Не будь Кандидова, наловили бы голов... Но вратарь Республики был поистине несокрушим. На скамье, где сидели гидраэровцы, только и говорили, что об Антоне. Мария Дементьевна тараторила без умолку. Профессор совсем допек соседа, хвалившего Цветочкина. Лишь ворчливая мама Фрума из общежития гидраэровцев не могла постичь это шумное и утомительное времяпрепровождение. Двадцать два здоровых вспотевших обормота старательно гонялись друг за дружкой, всячески пакостили друг другу, пихали, валялись, били по очереди ногами мячик, кричали и вообще что есть силы старались умориться. А один этот умник, слава богу уже пожилой человек, бегал со свистулькой и не давал убивать до смерти. Что тут было интересного, за что люди платили деньги, мама Фрума решительно не могла понять.

ГЛАВА XXXIV

Штрафной удар

Начался второй тайм. Опять заседали «Буйволы». Страшные удары сыпались на ворота СССР. Но самые сокрушительные и неотвратимые мячи бесплодно глохли

в хватких перчатках Антона. Он уже не грыз, как обычно, семечек. С него слетел весь наигранный шик. Тело его пребывало в предельной подобранности, в постоянной готовности отразить в любой точке пушечный удар мяча. Он бросался в ноги нападающих, он опрокидывал на себя набегавших и снимал у них мяч с ноги в момент почти уже совершившегося удара. Он ловил мяч в воздухе, прыгал навстречу ему, выбрасывая мяч в поле, и тотчас, спиной к воротам, пятясь, отбегал на свое место, ни на секунду не выпуская мяч из поля зрения. Он рыбкой нырял в нижний угол с прижатым к груди мячом, вытянувшись, пересекал телом ворота, вытаскивая мяч из верхнего угла. Он вылуцивал мяч из груди свалившихся на него разгоряченных тел. Он лез в самое пекло игры и длинными руками выхватывал оттуда мяч, который, казалось, уже дымился... Стадион неистовствовал:

— Кандидов, Кандидов, Тоша!.. Кандибоберов!..

Ни одна пчела не залетела бы в сетку Кандидова! Мячи жалили его, но бессильно замирали в цепких объятиях. Мяч неминуемо встречал в полете его тело. И, как всегда, начинало казаться, что он чудодейственно затягивает мячи к себе, и те, изменяя траекторию полета, сворачивают к нему. Имя Кандидова не сходило с восьмидесяти тысяч уст.

«Буйволы» нападали блистательно и неудержимо. Они играли совершенно молча. Советские футболисты по привычке перекликались. «Буйволы» напирали упрямо и безмолвно. Бен Хорг, пораженный тем, что все его удары не дали результата, стал охотиться за Кандидовым. Он прыгал на него, пытаясь ударить его черной своей головой под ложечку в тот момент, когда Антон, вытянувшись, взлетал над головами нападавших, хватая высокий мяч.

Был момент, когда Кандидов рухнул плашмя у своих ворот и несколько секунд не мог встать. Стадион замер. Настя услышала взволнованный голос Карасика, сообщавшего о падении Антона. Затем последовала тяжелая пауза. Настя схватила обеими руками репродуктор. Она услышала огромный вздох облегчения и аплодисменты.

Антон встал. Через несколько минут Бен Хорг опять коварно напал на Антона. Он применил свой знаменитый, хотя и потайной прием. Это был бросок головой вперед, на вратаря. На трибунах — смятение. Но, как мяч, как арбуз,

взял вмертвую, накрепко, голову Бена Хорга бывший тамада Аптон Кандидов, вратарь Республики. Свирепоголовый Бен беспомощно дрыгал ногами. Испуская певучую трель своей сиреной, бежал судья. На трибунах хохотали и галдели. Скандал, скандал... В руках Антона осталась черная повязка. Блеснула лысая макушка Свирепоголового Бена. Антон, вежливо поддерживая и отряхивая совершенно обалдевшего чемпиона, что-то добродушно говорил. Бежали переводчики. На трибунах веселились.

После краткой заминки судья дал «спорный». Он взял мяч в руки, «освятил» его прикосновением к земле, и тотчас здесь снова забила ключом игра. Теперь нападали красные. Они оттянулись от гола и, сплотившись, бросились в атаку. Игра пошла в сумасшедшем темпе. Мячу не давали отдыхать в ауте. Советские полузащитники бросались за ним и, почти не останавливаясь, водворяли мяч в игру. Мяч, скользя по траве зигзагами, от ноги к ноге, приближался к воротам черных.

— Даешь, даешь, Цветочкин! — кричали на трибунах.

Длинный росчерк мяча по траве, и нога Цветочкина с ходу приняла мяч. Мяч прошел далеко от стойки, мимо... Стадион засвистел. Видя, что промазал, Цветочкин в оправдание искусно захромал. Шла оживленная, но безрезультатная игра. Игроки вымотались. Судья посматривал на часы. На трибунах уже двинулись к выходам. Оставалось две минуты до конца. Черные собрали последние силы и всей командой перешли в нападение. Красные никак не ожидали этого. Красные оказались прижатыми к воротам. Удар следовал за ударом.

Став стеной у ворот, красные отбивались головой, грудью, ногами. Вдруг у самых ворот произошло ураганное замешательство. Советский защитник схватил мяч рукой. Он тотчас отнял ее, точно ожегшись, и, сморщившись, даже помахал в воздухе: малейшая провинность в пределах штрафной площадки несла за собой губительные последствия. Поздно! Судья свистнул. И мстительный единодушный вопль потряс стадион.

— Рука! — кричала южная трибуна.

— Рука! — повторяла северная.

— Пенальти! — с отчаянием резюмировала круглая.

«Буйволов» изумил этот залп беспристрастия. Ни в одной стране не доводилось им слышать такое... Ведь это

же неизбежный проигрыш для советской команды. Отыграть уже не было времени. Оставалось полторы минуты. И судья присудил пенальти — одиннадцатиметровый удар, неумолимый, как выстрел в упор. Отсчитали шаги и положили мяч перед воротами сборной СССР.

Все игроки выстроились за чертой штрафной площадки. Осталась минута с четвертью. Игра кончалась. Поле опустело, так как вся команда «Буйвол», кроме вратаря, сгрудилась у советской штрафной черты.

Вперед вышел Бен Хорг. Ему команда вручила право карающего удара. Он был специалистом по вбиванию одиннадцатиметровых. Он мог вбить пенальти любому вратарю мира, даже не глядя.

Космогрудый, он медленно вышел вперед. Обреченный Кандидов впился в него немигающими глазами. Он весь подался вперед и заоченел в напряжении мышц.

Одиннадцать метров.

Один на один...

И мяч.

Стадион окаменел. Судья приложил сирену к губам. Свисток! И Кандидов, в ту же секунду вырвавшись из ворот, поймал мяч на полпути. Стадион бешено грохнул в ладони.

Но судья свистел и мотал головой.

— Что такое?..

Судья меланхолично взял мяч из рук ошеломленного Кандидова и снова направился к штрафной точке.

— Что такое?.. В чем дело?!

Судья объяснил, что Кандидов выскочил из ворот прежде, чем Бен Хорг ударил. Мяч по футбольным законам следовало перебить. Опять стало тихо. Все покинули штрафную. Насмешливый, стоял у мяча Бен Хорг. Кандидов вернулся в ворота. Его всего трясло, как в ознобе.

Сирена! Тело Кандидова прынуло в воздухе одновременно с черной молнией удара. Прежде чем кто-нибудь мог опомниться и сообразить, что произошло, Кандидов с мячом в руках уже пронесся через строй обалдевших игроков. Послав рукой мяч далеко за черту — нельзя было его нести дальше, — он нагнал его и ногами, ногами повел, помчал по свободному полю.

— С ума сошел!.. Куда?! — кричали ему.

Один из защитников советской команды опрометью



кинулся назад к своим воротам, чтобы на всякий случай заменить в них выбежавшего Кандидова.

А того преследовали по пятам свои и чужие. Он стремглав летел к воротам противника. Рев низвергался с трибун. Все встали. Оставалось четверть минуты на больших часах стадиона. Оставалось двадцать метров. Вратарь «Буйволов» метался в воротах. Кандидов бежал, ведя в ногах мяч. Его настигали. На него прыгали. Оставалось тринадцать метров. На бегу, поддав мяч на подъем ноги, вложив всю свою ярость, все желание победы, весь разгон своего бега в удар, Антон с прыжка пробил по воротам. Вратарь распластался наперерез... Но мяч уже трепетал в упругой сетке. Он врѣзался и далеко вынес ее, как сом, с разгона заплывший в невод.

Радость в восемьдесят тысяч человеческих сил!.. Грозовым обвалом осел чудовищный дребезг аплодисментов. Хлопали даже милиционеры оцепления. Настя поцеловала репродуктор. Один — ноль, один — ноль! Вратарь Республики сам вбил мяч!

Как ванна, опорожнялся стадион. Толпы текли из всех проходов, галерей и ворот. На пустующей круглой трибуне, собравшись вокруг дяди Кеши, толковали любители. Зна-

токи ожесточенно жестикулировали. Карасик подошел к ним. За ним бежал откуда-то взявшийся Ласмин. Они увидели вытянутые вперед руки и кулаки с отставленным вверх большим пальцем.

— Это знак великодушия, — задекламировал, как всегда, Ласмин, — знак помилования побежденных. Когда-то, вы помните, этот жест на Форуме и в Колизее даровал жизнь сраженным.

Бррр! Карасика уже тошнило от цитат и исторических сравнений. Ему было противно и стыдно, что он сорвался и напихал столько красивых параллелей в свою радиопередачу. Он с радостью слушал довольный голос дяди Кеши.

— Как там ни толкуй, — говорил авторитетно дядя Кеша, — а «Буйволы», брат, тоже игрок — во!

И Карасик видел его отставленный вверх палец с зеленым от кислоты ногтем.

В тот же вечер профессор Токарцев посетил общежитие.



— Ну-с, голубчик, — говорил профессор Антону, — поздравляю! Это будет занесено в анналы мирового футбола. Что? Неслыханно! Вратарь сам забивает мяч. Ведь это ж!.. Вероятно, это пока, так сказать, самый генеральный матч в вашей жизни. Что? Не так ли?

— И так и не так, — застенчиво отвечал Антон. — Конечно, сегодня эта петрушка здорово получилась. Но, помните, я вам рассказывал? В провинции, когда эта история была, с наводнением. Надо было у Волги город отыграть. В футбол дули для поднятия духа. Каждый мяч, как свая... а сваи вбивали, как голы!.. Можете поверить? Вот это была игрушка, генеральная на всю жизнь.

— «Когда я услышал к концу дня, как имя мое в Капитолии встретили рукоплесканиями, — не выдержав, процитировал Карасик, — та ночь, что пришла вслед, все же не была счастливой ночью...»

— Дался вам сегодня этот Вергилий! — с досадой сказала Настя.

Но она ошиблась — это был не Вергилий, это был Уолт Уитмен.

ГЛАВА XXXV

Слава

Теперь имя Кандидова стало известным всей стране, о нем писали в заграничной прессе. Даже побежденные «Королевские буйволы» должны были признать, что им не приходилось видеть подобной игры вратаря.

— Это какая-то огненная завеса, — говорил капитан черных. — Мы можем уверенно сказать, что Кандидов далеко превзошел знаменитых вратарей Рикардо Замора и Планичку. Безусловно, в воротах советской команды стоит первый вратарь мира. Игрок — экстра-класс, игрок-прима! Это просто феномен, спортивная загадка. Он нарушает все установившиеся взгляды на игру голкипера. Команде, имеющей в своих воротах такого вратаря, следует совершенно пересмотреть всю тактику игры. Эта команда должна быть гораздо свободнее в нападении. Тыл у нее обеспечен.

Портрет Кандидова напечатали во всех газетах. Карасик написал специальный подвал: «Вратарь Республики». Он воспевал биографию Антона и его мастерство, но предостерегал его от излишнего увлечения легкой славой и эффектными трюками. Он ставил вопрос о пределе риска: прав ли был Антон, что решился в последнюю минуту такого ответственного матча выбежать из ворот? Лишь счастливая случайность позволила ему совершить действительно совершенно небывалый в футболе трюк. История футбола не знала подобных прецедентов. Но в случае неудачи эта смелая выходка Антона могла кончиться плачевно для команды. Ворота ведь были брошены на произвол судьбы. В общем хоре похвал эта статья, несмотря на очень сердечный, доброжелательный тон, показалась все же Антону немножко придиричливой. Ему казалось, что Карасик хочет немножко принизить его успех. Но он ничего не сказал Жене.

Его теребили бесконечные интервьюеры. Он стал знаменитым человеком. На улицах за ним увязывались вереницы мальчишек. Как-то, проходя по переулку, где ребята играли в футбол на асфальте, Антон услышал, как маленькому босоногому вратарю кричали:

— Подумаешь, какой Кандидов выискался!

Землячки Антона из осиротевшей артели «Чайка» прислали ему поздравительное письмо. Девушки помнили его и гордились им. Его приглашали в клуб актеров. Он познакомился со знаменитыми художниками, народными артистами, писателями. Известный скульптор просил Антона позировать ему для статуи. В общежитии толкались теперь часто люди в пестрых кепках. Они распоряжались улыбками Антона и снимали его с книгой у гидроканала: они готовили «День Кандидова» для киножурнала. Эти посетители мешали работать и Антону и его товарищам. Баграш в конце концов запротестовал и, к неудовольствию Антона, строго ограничил эти беспокойные визиты.

Антон узнавали на улице, на него оборачивались, главели. В передовицах больших газет писали: «Имея в своем активе таких выдающихся спортсменов мирового класса, как тов. Кандидов...»

Если в Мюзик-холле или в Оперетте появлялся теперь по ходу пьесы футболист, театральные гримеры заготавливали парики непременно с седой челкой. Антон стал полу-

тать глупые, иногда наивные, иногда нахальные письма от поклонниц. Он не привык к славе. Он чувствовал ее все время, как шум в ушах. Ему казалось теперь, что его узнают везде, даже там, где на самом деле никто на него не обращал внимания. Когда где-нибудь, в учреждении, на почте, спрашивали его фамилию, он краснел и называл себя так тихо, что его переспрашивали. Ему казалось, что так он приглушит гром и величие знаменитого своего имени... Но он ревниво следил, упоминали ли его в статье, где говорилось о лучших спортсменах страны.

— Я какой-то, черт, уж больно мировой стал! — жаловался он смущенно Карасику. — Вот, Женя, петрушка какая! Ну, мог ли я полагать, когда с арбузами возился?.. Чудно, ей-богу!

Через несколько дней в Центральном дворце физической культуры чествовали Кандидова по поводу присвоения ему звания заслуженного мастера спорта. В президиум заседания были выбраны от гидразовцев Баграш и Карасик. От Высшего совета вратаря Республики чествовал сам Никольский — гололобый, круглый и тугой, похожий на хорошо накачанный футбольный мяч. Антону преподнесли огромные букеты цветов и специально изготовленный значок-уникум «вратаря Республики». Выступал от сборной СССР Цветочкин. Потом говорил Баграш.

— Кандидов не просто чемпион мирового класса, — говорил капитан Гидраэра, — а это настоящий советский спортсмен, отличный комсомолец, великолепный образец наших людей. Это человек героической биографии. Вышло только вот так, что он сейчас стал известен, а на самом деле в жизни товарища Кандидова были вещи посерьезнее, чем матч с «Королевскими буйволами».

Пунцовый и немного недоумевающий, сидел Антон в президиуме. Плечи его господствовали над столом. Иногда он застенчиво улыбался, обводил огромный зал глазами, благодарными и слегка обалделыми от радости. Слыша набегающий грохот оваций, он вставал, нависал над столом и неуклюже садился. Ему каждый раз казалось, что он сейчас сядет мимо стула. Он уже плохо соображал, что говорят выступающие, но чувствовал, что все говорят что-то очень приятное. Рядом дружески и восхищенно блестя глаза Карасика. Иногда Антон, не глядя, протягивал руку и под столом крепко, до боли сжимал колено друга.

Из первого ряда на него смотрела Настя. Он видел ее улыбку. Это было единственное, что он вообще мог различить в бушующей пестряди зала, откуда на него шли тепло и грохот. Потом этот грохот стал совсем оглушающим. На стадионе аплодисменты уходили в небо. Звук их рассасывался в окрестностях. Здесь овации сотрясали стены, бились о потолок и, туго взбитые в один непрекращающийся гром, совсем оглушили Антона. Да, это была слава, долгожданная и несомненная. Если бы позволили, Антон перепцеловал бы сейчас всех, начиная от председателя и кончая контролером у дверей. Зал был полон прекрасных людей. Все это были друзья, товарищи. Каждому можно было крепко пожать руку. Это для них играл Антон, это за них дрался он в воротах, отбиваясь от мячей... Тут он почувствовал, что его тянут за руку и тащат куда-то. Он увидел совсем близко Никольского. Никольский что-то кричал, но лично не лья было разобрать. Овадия усилилась: «Кандидова!» — расслышал Антон. Теперь весь зал дружно, хором, хлопая, произносил: «Кандидова», «Кан-ди-до-ва», «Кан!.. ди!.. до!.. ва!..»

Кандидов взшел на трибуну. Ноги были как чужие. Надо было думать о них, чтобы как-нибудь управиться. Они не сгибались, ступали мимо ступенек. Все-таки он заставил себя взойти на трибуну. Она покачнулась и жалобно затрещала. Кандидов быстро соскочил, неприязненно посмотрел на покосившееся и ненадежное это сооружение и махнул рукой. В зале дружелюбно засмеялись. Потом стало очень тихо.

— Тут просили, чтобы я, в общем, рассказал, какой мой метод и, в частности, об игре с «Королевскими буйволами», как я стоял в сборной СССР, то я скажу, вкратце, конечно...

Он остановился. Ему показалось, что он говорит ужасно плохо, что говорить надо гораздо красивее. Но тут его вдруг взяло зло. «Не нравится — пусть не слушают», — подумал он. Но всем нравилось, все слушали.

— Мое занятие довольно-таки простое. Оно заключается, одним словом, чтобы у меня за спиной мяч не водился. Ну, до сих пор пока что я сухой, как говорится, стою. (Аплодисменты.) Не приходилось пропускать. (Бурные аплодисменты.) Некоторые болтают, что, мол, отчаянно я играю, на риск. Действительно, жалеть тут себя не прихо-

дится. Если начинаешь анатомией своей заниматься, о собственных костях думать — хуже только. Конечно, тут и данные должны быть. Рост у меня, как многие верно уже заметили, довольно-таки приличный. Сто восемьдесят восемь сантиметров без каблуков, до верхней штанги, значит, рукой подать. Так что верховые мячи беру, как горшок с полки. (Смех.) Ну, и материальная часть у меня солидная. (Смех.) Физически заготовлен основательно, впрок, так сказать. А выдержка — это еще мальчишкой в гражданскую заработал. Теперь, как я стоял с «Буйволами»? Обыкновенно. Ну, ясно, волновался порядком. Мировая команда, европейская, сколько слышал всегда. А я, что же, без году неделю стою. Ну, я специально тренировался на сильные шуты. Меня ежедневно часа по полтора в три мяча до седьмого пота гоняли. Это очень пригодилось... Теперь, как они играют? Играют хорошо. Выход на мяч, обработка мяча, дриблинг, финт, точность пасовки — это что-то особенное, ювелирная работа. И дьявольски рвут. Страшное дело, растопчут, кажется. Но грубо... Играют часто не в мяч, а в игрока. Действительно, буйволы в прямом смысле, прямо бой быков. Удары, верно, стенобитные, семечки грызть уже не приходится. Я, конечно, весь приподнятый играл. Первый раз за СССР стоял. Так воображаешь — страна ужас какая большая! А ворота всего только такие... Но для мяча вполне достаточные. А ты стоишь, и тебе эти ворота поручено держать на замке. Ну, начали играть. Наши против ветра. Они сразу в атаку. Признаться, я не струсил, но понял, что на мою долю хлопот тут будет достаточно. Посыпались сразу мячи, прямо как из мешка. «Ну, я говорю, тамада... это я сам себе... ну, Антон Михайлович, плохо твое дело. Это тебе не арбузы астраханские». Тут я гляжу — этот самый Бен Хорг, ихний знаменитый черномазый, так и начинается за мной охотиться. Я его, правда, разок через себя в сетку отправил, без мяча, понятно. Ну, он, вероятно, огорчился,

Я вижу, дело принципиально хамское. Говорю защитнику нашему, Новоселову: «Саша, дай ты ему по ногам, прямо житья мне от него нет. В конце концов ты видишь, что он, зверь, себе позволяет. Я за себя не ручаюсь, лучше уж ты...» Ну, Саша меня послушался, да сгоряча не за тем погнался. Выдал ему незаметно на мелкие расходы. Я кричу: «Саша, не этот!» А Саша махнул рукой и говорит: «Все

равно, один, говорит, черт!» А Бен Хорг поровит меня башкой под вздох подсадить. Раз он перелетел через меня, лежит, поправляется, ну, я придал ему вертикальное положение и вежливо предупредил — смотри, говорю, заработаешь... Приложу — и гуд бай, будь здоров... И для перевода на ихний язык, значит, кулаком ему это объяснил издали — вот так, мол...

Были мячи трудные. Один был хороший! От ихнего края — великолепно играет! Из любого положения смертным боем лупит. Такие навешивает, честное слово, брать приятно! Я один угловой вынул, а на меня набежали и тут немножко примяли меня прямо ногами, как травку, и руку я как-то вытянул... Боль зверская. Но встать надо, хотя и кожа у меня на ноге свезена. Кое-как поднялся, а тут опять два их гаврика нападают. Мяч уже близко. Ну, тут у меня сразу все прошло. Это лучшее лекарство! После матча, как свисток был, так сразу рукой пошевелил уже не мог. Измолотили порядком. Самому даже удивительно стало, как это я играл с такой рукой. Вот в основном и всё. Спрашивают тут, как я на футбол смотрю. Игру люблю крайне. С нею и жить живее. Вот в нашем Гидразре футбол очень помогает: и в смысле работы, и какое-то особое настроение дает. В нашей песне как поется:

Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идет.

Вот я и представил. Остальное каждому понятно. Ну, и ясно, когда не в песне, а, так сказать, в прозе, на самом деле, за тобой будет что-нибудь поважнее футбольных ворот, то чесать будем еще не так... Одним словом, я думаю, вам и так понятно... (Бурные аплодисменты.)

И Антон, беспомощно махнув рукой, сел на место.

Овация громыхала.

— Вы стали такой знаменитый, Тоша, — сказала ему в тот вечер Настя, — что к вам просто страшно подойти.

— Ну, бросьте вы, в самом деле! — смутился Антон. — Этак мы будем с вами друг друга бояться, ничего не получится.

— А разве вы меня боитесь?

— Чуток, — откровенно признался Антон.

Настя засмеялась и ласково взяла Антона под руку. Они выходили из здания клуба, где шло чествование. Они удалялись беседуя. Насте было приятно, что она идет под руку с Антоном Кандидовым, что все смотрят на них, а встречающие девушки, верно, завидуют. Вероятно, это было не совсем хорошо, но все-таки это было очень приятное чувство. Ребята, посматривая вслед удалявшейся парочке, многозначительно переглянулись.

— Настя, — крикнул Фома, — а мы как?

Антон за спиной погрозил Фоме кулаком.

— До свиданья, мальчики! — весело прокричала Настя и помахала рукой через плечо Антона.

Карасик мрачно отошел в сторону. Бухвостов подозрительно исподлобья посмотрел вслед ушедшим.

...Они шли по парку, полному вечерней голубизны и шепотов. Их влекло в укромные аллеи. Луна распестрила дорожки. Белесые лучи, пробившись сквозь листву, обнаруживали уединившиеся парочки. Потом Настя и Антон сидели у озера, у самой воды. Над ухом пели комары.

— Эх, на Волге у нас сейчас, — сказал Антон, — тихо, на тысячу верст тишина!

— Я только раз была на Волге.

— Ничего... Мы еще с вами поплаваем там. Верно?

Вот опять! Как только останется наедине с Настей, так черт знает какие глупости лезут на язык, а то, о чем хочется сказать, никак не выговоришь. Антон вспомнил, как внимательно слушают его Лада, Ласмин, Мария Дементьевна, когда он разглагольствует о чем-нибудь. Все восхищаются, какой он непосредственный, сильный.

— Ох, и здоровый же я, Настасья Сергеевна! — произнес он голосом, которым обычно говорил у Токарцевых.

Однако на Настю это мало действовало.

— Почему вы, Антон, мне все твердите, что вы такой здоровый?

— А что ж я буду говорить, что больной? — сказал Антон и обиделся.

Он буркнул это нарочно грубо. Что такое, в самом деле!.. Ничем не проймешь!

Он посмотрел сбоку на Настю. Лунная дорожка пошла по озеру. Отблески дробились, освещали Настино лицо. И Антошу был виден профиль Насти, как бы обведенный

святившимся и лучистым контуром. Настя задумчиво смотрела на воду.

Антон почувствовал огромную нежность. Ему захотелось сказать что-нибудь очень хорошее и простое Насте. Он подсел немножко теснее:

— Настя, Настасья Сергеевна, я вас все хочу спросить, все это...

И он опять замолчал.

— Ну, чего же вы молчите?

— Да вот как-то все это...

— Ну, ну, — подбадривала его Настя.

И тогда, совершенно не зная как, решительно и убито, Антон проговорил:

— Вот... на дубу три ветки, а на каждой по три яблока. Сколько всего?

— Ну, девять, — изумилась Настя.

— Э-э, разве на дубу яблоки растут? — сказал с превосходством Антон. — А еще инженер!

— Ой, смешной вы, Антон! — ласково засмеялась Настя. — Хороший вы, славный, чистый вы весь какой-то... И отчего мне с вами так хорошо?

Антон уставился на Настю, потом вдруг радостно, решительно и косолапо обнял ее.

Она стала сразу строгой и чужой. Она схватила Антона за руку. Пальцы у нее были холодные и жесткие.

Антон не разжал рук.

— Мертвая хватка... будьте покойны... — бормотал он, усмехаясь, плохо соображая, что говорит. — Так и в газетах написано: «Кандидов — мертвая хватка».

Настя сердито вырывалась:

— Кандидов, пустите сейчас же!.. Эх, вы...

Антон взглянул ей в лицо и обиженно выпустил.

Настя хотела еще что-то сказать, но вдруг беспомощно махнула рукой, резко повернулась и ушла, не попрощавшись, строгая и неумолимо обиженная.

Антон постоял секунду, потом сорвался было с места, бросился вслед:

— Вы куда?.. Настасья Сергеевна... Настя!

Он остановился и с размаху ударил себя в щеку:

— Ой, арбузник я, арбузник!..

На пруду что-то легонько бултыхнулось. И у самого берега, дразнясь, квакнула лягува.

Портрет на обложке

Через день Антон сидел в кафе с Бобом Цветочкиным, Димочкой и Ладой. Настроение у Антона было скверное. Сосредоточенно сопя, он пытался через соломинку высосать сливки из стакана кофе глянсе. Это было трудное и необычное занятие. Сливки пузырились и разлетались брызгами.

— Ну, что вы такой кисляй сегодня? — спросила Лада. — Расскажите что-нибудь из волжской жизни.

Антон молчал. Лада подседа поближе:

— Отчего вы такой грустный-грустный?

— Вовсе я не грустный-грустный-грустный, — хмуро отвернулся Антон.

— Сейчас я его живо развеселю! — воскликнул Димочка и сделал жест фокусника. — Делаю раз!.. Два!.. Алле, гоп! — И он вынул из портфеля журнал.

Закрывая от Антона, он показал что-то Ладе. Та восхищенно всплеснула руками. Димочка повернул журнал обложкой к Антону. Во всю обложку спортивного журнала большого формата был напечатан портрет Антона. Антон был великолепен. Он был изображен во всем своем голкиперском величии: в свитере, в перчатках, с мячом. Антон схватил журнал обеими руками. Так крупно его еще никогда не печатали.

— Так это я тут? Ох ты, черт, а?!

По-детски обрадованными глазами он обводил присутствующих, всматривался в журнал, отводил его в сторону, смотрел издали.

— Вот так петрушка! Ай да Антон-тамада!.. А ничего ведь парень, типичный Кандидов.

Он так фыркнул в соломинку, что пена и сливки веером брызнули на окружающих.

Потом он вдруг встал.

— Вот нашим-то сюрприз, — сказал он. Голос его потеплел.

Его не отпускали. Лада повисла у него на руке. Антон осторожно высвободился:

— Неловко, и так третий день носа на работу не кажу.

— Не умеете вы себя поставить, — сказал Цветочкин своим обычным методическим голосом. — Вот я, например.

Я прежде всего спортсмен. Ну хорошо, спортсмен с завода «Магнето». Но утомляться на производстве? Зачем мне это? Есть масса специальных приемов неработы, в конце концов. Я занят прежде всего на тренировке — раз, массаж — два, моцион — три. Отдых после матча нужен, как по-вашему? Безусловно. Четвертое — обдумать методу требуется время? У меня все время расписано... Куда же вы?

...Ребята работали у малого гидроканала. Настя нагнулась, просовывая руку в заевший механизм. Она провела пальцем по мотору, потом вытащила руку. Палец был в ржавой грязи.

— Вот вам ваш знаменитый Антон! — сказал в сердцах Бухвостов.

— Да, забурел рабочий, — огорчился Фома.

В эту минуту вошел возбужденный Антон.

Яркий галстук его развеивался на ходу, как флаг. Среди усталых, выпачканных товарищей он выглядел франтом и бездельником. Он почувствовал это. Пыл с него слетел, но по инерции он протягивал уже журнал со своим портретом на обложке:

— Вот, смотрите!

Все молчали.

— Тебя вот куда глядеть поставили, а ты? — укоризненно сказал Фома.

Бухвостов сгоряча схватил руку Антона и ткнул ее в засорившийся механизм:

— Тебя это нисколько не занимает... лишь бы о тебе шумели, и больше ничего...

Антон резко вырвал свою руку.

— Пошел к черту! — сказал он. — Не приставай! — и вышел, хлопнув дверью.

Антон вообще перестало занимать все, что происходило в общезнании. Карасик встречал его в разных местах, и всюду он был весел и общителен, — дома он напускал на себя вид томный, тоскующий. У него произошло еще несколько стычек с Бухвостовым. Даже с миролюбивым Фомой он перестал ладить.

После одной из таких размолвок с Антоном Фома и Бухвостов едва не рассорились между собой.

— Он думает, Коля, что все дело в зависти. Будто мы его карьеру заедаем, дурака!

— Это ты, может быть, завидуешь, — обиделся Бухвостов.

— Я? Вот те здравствуйте!.. Уж кто бы говорил, кажется... Я ведь тоже глаза имею...

— Ну, и что же ты видишь своими глазами?

— Это уж мое дело, что я вижу. У тебя очков не прошу.

— Ну и молчи тогда!

— И молчу.

Антон очень редко можно было теперь застать дома. И с Карасиком он перестал вести ночные дружеские разговоры, когда сквозь тьму они тянулись друг к другу на огонек папиросы. Карасик долго набирался духу, но в конце концов решил:

— Слушай, Антон, что с тобой такое?

— А что? — неохотно отозвался Антон. — Ничего особенного.

— Да какой-то ты такой стал...

— Какой?

— А ты что, сам не понимаешь?

— Бросьте вы это!..

Разговор шел в темноте, но Карасик слышал, как Кандидов сел на кровать.

— Что такое, в самом деле? Вечно улыбаться я вам должен, что ли?

— Улыбаться необязательно. Глупости ты, Антон, болтаешь... Я просто не понимаю, не то ты нарочно тоску напускаешь, не то правда что-нибудь у тебя не ладится. Но раз не хочешь отвечать, не надо.

Карасик шумно повернулся к стенке.

— Что ж, тоска растит человека — это дрожжи, человек всходит от нее.

По тому, как гладко выговорилось это у неловкого на язык Антона, Карасик понял, что Кандидов повторяет чужие слова.

— Держался бы ты подальше от этих тоскующих арапов. Боюсь я за тебя, Тошка! Ты не сердись, очень уж ты на внешний лоск падок. И в словах, и во всем. Я слышал, Антон, как ты сегодня насчет своей натуры распространялся Бухвостову, что тебя, человека большой воды, на мелководной машине не удержишь... Говорил?

— Ну, говорил.

— Потом насчет времени. Что всем нам вечно некогда,

мы, мол, уходя куда-нибудь, смотрим на часы, как на икону. Как тебе не стыдно, Антон! Ведь это же ты с чужого голоса поешь. И насчет стихии ты такой вздор порол, что мне просто страшно и совестно за тебя стало.

— Ты, пожалуйста, не бойся за меня, — бросил Антон.

— Погоди, Тоша. Я, знаешь, Блоком увлекался. Он тебе бы тоже пригодился. И вот, понимаешь, прочел у него в дневнике, как он радуется гибели «Титаника». «Жив океан!» — пишет... Такое трагическое поражение человечества, а он радуется: «Жив океан!» Не могу с тех пор им как человеком восхищаться. Но я понимаю, у него это от перегруженности культурой. Ему казалось, весь мир в железо взят, техникой раздавлен. А откуда это у тебя пошло? Я, положим, знаю... Это козлобородый тебе напевает с Димочки. Где же твой нюх прославленный?

— Ну, это уж, знаешь!.. — возмутился Антон. — Просто культурные малые. Вот меня и тянет на хороший разговор. А ты! Тебе хорошо... получил с детства все готовенькое... И ты меня, пожалуйста, не учи. У меня стаж с 1921 года. А ты кто, чтобы учить, какие твои данные? Что ты на своем горбу в жизни имел, уж если так? Давай поговорим... Ранец ты только разве с книжками таскал. Ты потник вот поноси с кладью да походную сумку... а после разговаривай.

— Да, да, верно, конечно... — забормотал упавшим голосом Карасик. — Данных, конечно, нет. Ну, извини, Тоша. Я без права, просто хотел так... Извини...

И он, натянув одеяло на голову, повернулся к стенке.

В номере журнала с портретом Антона была большая статья «Сухой» вратарь». Это накатал Димочка. Он не жалел красок и выражений. Он возносил Антона до небес. «Великий вратарь», «обаятельный исполин», «волжский богатырь» — такими выражениями пестрела статья Димочки.

— Вот как писать надо! — сказал Антон Карасику. — А ты все скупишься, Женя, как бы не перехватить нечаянно...

Кандидов все чаще стал отлучаться из дому. Он где-то птался с Цветочкиным, пропадал у Токарцевых. Не то чтобы ему очень нравилось там, но у Токарцевых все, кроме профессора, в оба уха твердили Антону, что он феномен, что он необыкновенный человек, что его седая прядка

действительно знамение, что его миссия predetermined исторически. Сперва все эти разговоры казались ему смешными и лишь приятно щекотали его честолюбие. Но постепенно, сам не замечая этого, он начал верить в свою необыкновенность. Он начал подозревать, что действительно чем-то отличается от простых людей и что дорога в жизни должна быть у него особенная. У него в голове гудело от собственной славы. А гидраэровцы никак не хотели признавать его гениальности. «Парень как парень, — говорили они, — а на поле действительно чудо природы. Вот привалил талант человеку!» И у Антона появились высокомерные нотки в голосе.

— Подумаешь, — говорил он Бухвостову, — меня вся страна знает, тысячи людей!.. А на вас вот не угодил...

Спортивный сезон кончился. Вскоре должны были начаться занятия. Ребята гнали, перекраивали макеты моделей, конструировали из отходов, из отбросов, из обрезков металла. Они воевали до хрипоты на заводских совещаниях, требуя средств для новых внеплановых опытов. Каждая копейка вырывалась с мясом, каждая заклепка — с боем...

Настя обивала пороги в Автодоре и Осоавиахиме.

— Ну как? — спрашивали ее ребята. — Продвинула сместу?

— Плечиком водила? Бровку поднимала? — интересовался Фома.

— Всё сделала.

— Ну и?..

— Утвердили и в кино пригласили.

Антон ни в чем этом теперь не принимал участия. Баграш был занят с утра до поздней ночи. Он видел, что с Антоном дело неладно, и давно собирался поговорить с ним. Но он считал, что разговор будет серьезный. На ходу, урывкой, говорить не годится. Он считал, что дело потерпит, но внезапно уехал с Токарцевым в командировку на юг. Там испытывались торпедные катера. Как всегда, с его отъездом нелады в коммуне усилились. Комнаты стояли неприбранными. Мама Фрума в первый же день пересолила яичницу. Бухвостов шумел и всем дерзил. Ребята возмущались, почему Антон относится халатно к работе. Все ходили, между собой перессорившись. Настя тоже потеряла обычную выдержку, сердилась из-за пустяков и почти не разговаривала с Антоном. Все видели, что у На-

сти с Антоном размолвка. Но никто не знал истинной причины ее. Полагали, что это из-за плохого поведения Антона, и промеж себя очень хвалили Настю за стойкость.

ГЛАВА XXXVII

Скандал в благородном семействе

Дня через три после отъезда Баграша, когда коммуна была зла и мрачна, Кандидов и Карасик получили приглашение на вечеринку к Токарцевым. Был день рождения Лады. Оба приоделись, наложили ботинки. Долго ссорились из-за галстука Антона. Карасик находил его слишком ярким. Когда они уже были в дверях, Карасика окликнула Настя.

Настя прихварывала. Она давно переутомилась, но все время держалась кое-как. А теперь совсем раскисла. Карасик сказал Антону, что нагонит его, и прошел к Насте.

В фланелевом халатике, комком съжившись в углу дивана, Настя показалась Карасику милой и трогательной. На столе стояли астры, пахнувшие осенью, разлукой, отъездом с дачи. На подоконнике в пустой стакан залетела большая осенняя муха, и стакан певуче звенел. Сумрак окутывал Настю. В комнате было уютно.

— Вы с Антоном идете сегодня, да? — спросила Настя.

— Да.

— Посидите немножко со мной... Вы не очень спешите?

— Нет, пожалуйста.

Карасик взял стул, приставил его к дивану.

— Карасик, — сказала Настя, — вы славный. У вас душа хорошая...

Карасик вздохнул так, что даже стул сочувственно скрипнул под ним.

— Да, — сказал Карасик, — девушки всегда говорят, что у меня чуждая душа, и тут же признаются, что они любят моих приятелей. Всю жизнь так...

— Ну, Карасик, милый, вы не обижайтесь! Ну, значит, мы такие дряни — любим не того, кого надо... Неладно у меня с Тошкой... Вы, наверное, сами заметили?

— Да, кое-что заметил.

— Вы знаете, что-то в пем появилось... я сама не знаю. Какая-то палипь неприятная. Что это за компания там — Дима и прочие?

Карасик махнул рукой.

— Тошка ведь чудный парень! — воскликнул он. — Закваска у него замечательная, а вот противоядие еще не выработалось.

— Правда, он ужасно славный? — обрадовалась Настя.

— А биография какая!

Они долго и озабоченно говорили об Антоне, как родители о сыне, который отбилсЯ от рук, наловил плохих отметок в школе. Настя ничего не сказала о почной сцене на озере. Она не могла бы объяснить, почему все так глупо вышло. Было что-то самонадеянное тогда в уверенных руках Антона. И все в ней возмутилось. Если бы только он понял это...

Карасик посмотрел на часы, спохватился, что давно пора идти.

— Вам обязательно надо? — спросила Настя. — Обязательно? А то посидите еще...

Идти совсем не хотелось. Но где найти нужный повод, чтобы не пойти? А если остаться просто так, она опять увидит, что Карасик неизлечим, скажет потом: вот она интеллигентская неустойчивость, чуть поманила — он уже изменил решение, про все забыл и остался. И он пошел. Уже на лестнице он стал ругать себя. Какого лешего! Куда он идет? Надо было непременно остаться. Девушка, видно, мучится. Нехорошо ее оставлять одну. И она так славно говорила об Антоне. Но теперь уже нельзя было вернуться, не было решительно никаких видимых оснований для этого. Он вышел на улицу.

Оставшись одна, Настя спустила ноги с дивана, напарила мягкие туфли, подошла к окну. Стоял пасмурный вечер. Город в легком тумане был близорук и аморфен. Ей стало очень одиноко. И вдруг слезы хлынули у нее из глаз. Крупные, тяжелые, скатывались они вниз. Она стояла, перегнувшись у окна, поникнув над синим провалом улицы, злилась на свои слезы, а они лились еще пуще.

Карасик вышел из подъезда. Вечер обдал его сыростью. Он остановился, протянул руку, посмотрел на небо. Начинало моросить. Это был законный и отличный повод. Через минуту Карасик вбегал к Насе.

— Накрапывает, — сказал он, бросая шляпу на этажерку. — Я останусь, пожалуй.

...Вечеринка у Токарцевых удалась на славу. Индейка не подгорела. Пироги были высокие. Водка отлично настоялась на апельсиновых корках. Мария Дементьевна сияла, несмотря на то что сбилась с ног в хлопотах. Героем дня должен был быть Антон. Так это было задумано. Приглашали не только на день рождения Лады, но и «на Кандидова». Мария Дементьевна любила на своих раутах блеснуть чем-нибудь из ряда вон выходящим. Знаменитый футболист, да еще бывший волжский богатырь — этим мало кто мог угостить.

Антон по неопытности явился раньше всех. Никого еще не было. Даже Лада еще не вернулась из парикмахерской. Но Мария Дементьевна встретила его очень мило. Из-под ног профессорши выползла Бибишка — маленький мохнатый крысолов. Длинная и ровная от хвоста до заросшего носа, собачонка походила на прочищалку для ламповых стекол. Бибишка с урчанием обнюхала огромные ноги гостя, но, почувствовав расположение к нему хозяйки, смирилась.

Антон и Мария Дементьевна пошли в гостиную. Они уселись на диван, и опытная Мария Дементьевна повела беседу. Она говорила о футболе.

— О, я ужасная болельщица! — говорила Мария Дементьевна.

Она вспомнила Волгу.

— О, я ужасная волжанка! — восклицала Мария Дементьевна. — Мы ездили на пароходе до Астрахани.

Бибишка время от времени портила воздух. Мария Дементьевна тотчас бросала Антону на колени спички: «Жгите скорее, жгите!» Или сама водила вокруг себя желтым огоньком.

— Ну, мы вас поэксплуатируем, — сказала Мария Дементьевна.

Антону нравилось, что она обращается с ним совсем запросто, как со своим. Он охотно откупоривал бутылки, вертел мороженое, отодвигал рояль, раздвигал стол, таскал лед из погреба.

Старая домработница Липа не могла нахвалиться им:

— Вот так помощничка бог послал! Ай да кухольный мужик! Смотрите не замарайтесь.

И чистила ему пиджак щеткой.

Вскоре пришла Лада. Она побежала одеваться и появилась в гостиной розовая и ослепительная. Потом в передней раздался звонок. Все засуетились, забегали, хватая со стульев, с подоконников оставшиеся обертки, мятую бумагу, свернутые бечевки. В одно мгновение все пришло в порядок, как на сцене после третьего звонка.

Липа побежала открывать.

— О, Олимпиада, когда же вы станете Спартакиадой! — услышал Антон голос Димочки, как всегда дразнившего Липу излюбленной своей остротой.

И в гостиную влетел «великий арап» с цуг-флейтой под мышкой, с букетом и свертками. Одной рукой он сотрясал флексатон. Бузиновые шарик бились о гибкую сталь, и инструмент издавал печальный, рыдающий свист. За Димочкой с цветами, коробками, патефонными пластинками ввалились Цветочкин, Ласмин. Пошли поздравления, приветствия. Димочка подарил новорожденной соску. Он нажал на резиновый шарик — и соска запищала. Все ужасно хохотали. Димочка опять с чем-то приставал к Липе. Липа отмахивалась.

Опять зазвонили — пришел профессор Мегалов, старый друг Марии Дементьевны. Это был жирногубый круглый человек с редкими и гладкими прядями, зачесанными сбоку наперед, словно приклеенными к лысине. Профессор состоял при высокой особе в пенсне. У дамы был снисходительный взгляд, говоривший как будто: «Да, это мой муж, а я его жена, но что из этого?» Звонки теперь следовали один за другим. Влетали нарядные девушки, входили корректные молодые люди. Поздоровавшись с Марией Дементьевной, поздравив или поцеловав Ладу, все начинали что-то искать глазами по комнате и останавливались на Антоне.

— Это он? — спрашивали шепотом Марию Дементьевну.

— Он, он!

Всех знакомили с Антоном. Мегалов остороженько протянул ему пухлую руку и вопросительно скосил глаза на Марию Дементьевну, подобно тому как, глядя большого дога, озираются на его хозяина: как, ничего, не цапнет?..

— А-а, очень, очень рад! — сказал Мегалов. — Как же, как же! Слышал о вас столько, в газетах читал...

Профессорша ничего не сказала. Все окружили Антона, расспрашивали его. Антон, польщенный, конфузясь и беспомощно оглядываясь на Цветочкина, что-то объяснял касательно футбола.

— А вы, значит, в воротах и этак ногами, ногами? — спрашивал Мегалов и лягал воздух толстой своей ножкой.

— Какой мяч, зависит. Руками, в общем, надежнее.

— Боже мой! — всплеснула руками Мария Дементьевна. — Ксенофонт Сергеевич, неужели вы не знаете правил? Голькипэр (она так произносила — «голькипэр») имеет право руками... Неужели вы никогда не были на футболе? Вы знаете, все правительство туда ездит.

— С тобой разве выберешься куда-нибудь? — басом сказала жена Мегалова, поправляя пенсне.

Но тут же она, уязвленная познаниями Токарцевой, пробормотала что-то о грубости интересов современной молодежи...

Антон разразился целой лекцией.

— А балет? — говорил он. — Тоже, в общем, ногами, тоже ножная техника, а считается искусством. А где такие сборы, как у нас? Восемьдесят тысяч зрителей! А расширьте стадион — все сто будут...

Мария Дементьевна умело вмешалась в спор:

— Закусим немножко... Прошу вас закусить.

Сперва гости сделали вид, что это приглашение их совершенно не интересует, — дескать, не в этом суть.

— Ну что же, господа... Ой, боже мой, пардон, ха-ха... граждане, прошу вас!

Все разом повалили в столовую.

Загромыхали стулья. Все рассаживались. На столе искрился цветной хрусталь. Салфетки, сложенные конвертами, стояли на тарелках, как паруса. И на диво оснащенный стол готов был, казалось, отплыть... Тамадой был выбран, конечно, Антон, ибо Димочка напомнил всем, что Кандидов был настоящим тамадой — бригадиром на Волге.

Все принялись за дело, заработали ножами и вилками. Тренькнули бокалы.

Иногда сквозь шум слышался неумолимый голос Димочки:

— А ну-ка, подвиньте ко мне этот полупаштет!..

Мегалов с тарелкой в руках, щурясь, оглядывал стол. Жирные губы его были озабоченно поджаты. В одной руке

профессор держал тарелку, в другой — вилку. Он держал тарелку, как палитру. Вид у него был вдохновенный. Он откидывался назад, искоса прицеливался, тыкал вилкой, клал нежно кусочек на тарелку, примеривался к другому блюду, соображал малость, цапал ломтик, пристраивал его на тарелке, затем выбирал грибок, словно подбирал нужный колер... Пили за новорожденную, пили за отсутствующего Ардальона Гавриловича, пили за присутствующих дам, пили просто так. Ласмин высвободил белоснежную салфетку из-под козлиной своей бороды, встал и провозгласил тост за знаменитого гостя.

Все зааплодировали и полезли чокаться с Антоном.

Мегалов растрогался, вытер рот салфеткой, облобызал Антона. И, тут же сев, спросил:

— Ну и что ж, это хорошо, в общем, оплачивается?

— Что? — не понял его Антон.

— Ну вот это... ножное искусство.

Цветочкин, Ласмин и Димочка наперебой подливали Антону. Как все очень здоровые люди, непривычные к вину, Антон очень быстро захмелел. Он уже раз опрокинул бокал на скатерть. Мария Дементьевна, конечно, не заметила, но, как только Антон отвернулся, сейчас же посыпала пролитое солью, чтобы пятна не осталось.

Антон уже рассказывал какие-то необыкновенные истории.

— Я... это что!.. Вот у нас на Волге был грузчик, так можете поверить... Один раз стоит на пристани и ухватился за корму парохода. Капитан командует: «Самый полный ход!» Что за петрушка? Не идет пароход, и все!.. Так пароход прямо с грузчиком пристань потащил...

Димочка тут же не преминул сострить:

— Э, Антон, да ты не только вратарь, ты привратник: приврать мастер.

Как всегда, в отсутствие Ардальона Гавриловича Димочка острил безудержно. Но Антон уже сидел за роялем. Он взял несколько аккордов и хорошим, легким голосом запел:

— Эх, да пониже да города Саратова протескала реченька да матушка Камышенка...

Он сидел на круглом стуле, как на причальной тумбе, и нажимал по очереди обеими ногами педали, словно на велосипеде,

Потом он вдруг перешел на другой лад. Подмигнул Марии Дементьевне и запел:

Моя милка пышна, пышна,
Запоет — далеко слышно...

— Где вы учились музыке? — спросила польщенная Мария Дементьевна.

— В первом классе, — сказал Антон.

— Как — в первом классе?

— А на пароходах, — пояснил Антон. — Там в салонах первого класса пианино всегда. Я, как, бывало, разгрузки мало, так наверх... и подбираю до третьего свистка... Раз чуть не уехал — «Сердце красавицы» подлаживал.

Он стал настоящим героем вечера. Вспомнив цирк, он стал показывать фокусы. Жонглировал пустыми бутылками. Кольцо, взятое у Марии Дементьевны, исчезло из-под чашки и нашлось, конечно, у переконфуженного Мегалова. Салфетка, завязанная в три узла, непостижимым образом оказывалась саморазвязавшейся. Водка горела в рюмке синим пламенем, и Антон опрокидывал огонь прямо в рот. Он двигался по комнате, огромный, сам немножко уже оглушенный вином и успехом, а за ним гурьбой, как крысы за гамельнским музыкантом, ходили гости и старались не упустить ни одного слова, ни одного движения, и восторгались, и ахали... Каждый хотел выпить с ним отдельно, и ему подносили и подносили. Он уже чувствовал, что ему будет плохо, отказывался, но тогда начинались обиды.

— Ай-я-яй, Антон Михайлович, со всеми пили, а с нами? Стыдно!..

— Да я не могу больше, — отнекивался Антон.

— Ну да, рассказывайте, такой богатырь! Бросьте скромничать. Что для вас эта стопочка?

Антон вдруг стал очень громко говорить. Ему казалось, что все где-то очень далеко, плохо слышат его. Почему-то он очутился с Ладой в передней. Очевидно, их снесло сюда во время танца. Лада показалась ему необычайно красивой. Он вспомнил Настю и с обиды, со зла поцеловал Ладку.

— Сумасшедший!.. — сказала она и, передохнув, прижалась лбом к его плечу.

Между тем Дима, несколько уязвленный тем, что сего-

дня он оказался на втором плане, придумал сыграть с Антоном шутку. Антону дали в руки половую щетку. Дима влез на стол. В руках у него была миска с водой.

— Сможешь удержать? — спросил он Антона.

— Об чем разговор!

Миску прижали щеткой к потолку. Щетку вручили Антону. Антон крепко держал ее. Дима спрыгнул со стола и отставил его к стенке.

— Ну, вот и стой теперь так! — воскликнул Дима при общем восторге.

И все стали уходить. А Антон остался посередине комнаты со щеткой. Это была старая испытанная шутка. Уйти невозможно — миска упадет, разобьется. Но Дима забыл, что имеет дело с лучшим вратарем страны. Антон легко выбил щетку, отскочил и поймал миску вытянутыми вперед руками. Он почти не расплескал воды.

Но тут обида подступила к горлу вместе с тошнотой. Он подошел к Диме и поставил ему миску на голову. Димочка в ужасе присел. Миска покачнулась, облила ему брюки. По паркету растекалась лужа. Бибишка подбежала, понюхала и, поджав хвост, заползла на всякий случай под диван: «Я, мол, тут ни при чем, но иди доказывай потом, когда ткнут носом да еще выдерут...»

Но Антону теперь уже на все было наплевать...

— Бей! — закричал он и стал в дверях, распахнув обе половинки.

Лада пустила в него диванной подушкой. В него полетели апельсины, в него метали коробками из-под тортов, шляпами. Он ловил без промаха. Всех обьяло какое-то беснование. Потом Антон совсем разошелся. Стал показывать свою силу, согнул ключ, поднял шкаф с книгами, закружил Марию Дементьевну и подхватил ее на руки.

— Надорветесь! — кричала Мария Дементьевна. — Надорветесь! Меня с тысяча девятьсот одиннадцатого года никто поднять не мог.

Она была действительно очень тяжела. Антон посадил ее на диван и шагнул к профессорше Мегаловой.

— Вы с ума сошли! — закричала профессорша, взлетая, руками одергивая юбку и ловя свалившееся с носа пенсне. — Ксенофонт!..

— Молодой человек! — сказал Мегалов, животом на-двигаясь на Кандидова.

— По-о-озволь! — кричал Кандидов.

— Я не позволю! — лепетал профессор.

— По-о-озволь!.. Это чья? Примай под расписку! — И Антон сдал на руки профессору его супругу, едва не уронив ее на пол.

— Ты немножко воздержись! — громко сказал ему на ухо Цветочкин. — Неудобно...

— Иди ты!..

— Антон Михайлович... — увещевал его Ласмин.

Антон так стиснул юриста, что у бедного Валерьяна Николаевича потемнело в глазах.

— И-эх, гуляй! Полный ход, грузи, давай не задерживай!.. Не подходи — зашибу!..

И Антон куролесил так, что Лада побежала звонить Карасику:

— Послушайте, Карасик, ваш этот приятель... напился тут. Утихомирьте его, ради бога!

Карасик всполошился.

— Антон там натворил что-то, — сказал он и побежал.

Токарцевы жили поблизости от завода. Через несколько минут Карасик уже входил в квартиру Токарцевых. Ему открыла домработница Липа.

— Ваш-то здоровущий, — сказала она с осуждением, — какое безобразие себе позволяет! Скандальничает.

Волнуясь и для чего-то надвинув на лоб свою верную шляпу, Карасик вошел в гостиную. Антон бушевал у рояля в ворохе диванных подушек. Одна щека у него была в кармине, галстук вылез из-под воротника.

— А, Карась! — закричал он суетясь. — А ну, подойди сюда, рыбка, выпьем.

Карасик медленно и молча шел на него. Антон качался:

— Ты чего это?.. Ну подходи, ну...

Карасик приблизился почти вплотную. Антон протянул руку, чтобы сграбастать его. Но тут произошло нечто неожиданное.

— Добрый вечер, Антон, — негромко сказал Карасик, почтительно сняв свою смешную шляпу. — Сядь! Успокойся, и пойдем.

И Карасик, встав на цыпочки, крепко взял Антона за плечи.

Антон сел. Он сделал легкое движение, и литые его плечи ушли из пальцев Карасика. Но тут ему стало дурно, он скис. Шляпа Карасика валялась на полу. Карасик взглянул на Антона, и ему стало жаль друга. Бледный, испачканный кармином, опоганенный, обвисший, сидел Антон. Карасик с бешеным отвращением оглядел гостей. Они перепуганно жались у дверей.

— Оставьте нас вдвоем! — резко сказал Карасик.

Повинуясь его голосу, все перешли в соседнюю комнату.

— Тоша, воды, может быть, тебе?

— Вот дрянная, брат, петрушка! Я, кажется, пьян? Подпоили, сволочи!.. Уведи меня отсюда... Подсоби, Женя...

ГЛАВА XXXVIII

Похмелье

Очень скверное вышло дело. Антон встал утром зеленый, запухший. Ему было досадно и совестно. И ясный до боли в надбровьях день брезгливо посматривал на него через окно. Вещи были разбросаны. Одежда валялась скомканная и небрежно брошенная, словно в панике бежала вчера с него. «Даже брюки, даже брюки убежали от тебя», — припомнилось ему детское стихотворение. Стул стоял, сердито повернувшись к нему спинкой. Подтяжки свисали до полу. Сопя, с омерзением натягивал на себя помятые штаны Антон. Карасик молча смотрел на него и ждал, что он скажет. Но Антон молчал.

— Отличился, нечего сказать! — не выдержал Карасик.

— Я, кажется, наделал делов — не расхлебать, — проговорил Антон. — Ребята ничего не знают?

— Узнают еще, — сказал Карасик.

— А нельзя ли как-нибудь?.. — замялся Антон. — А то развонят.

— А почему ты не боишься, что вчерашние твои друзья разболтают?

Антон не ответил. Он подозрительно и мутно взглянул на Женю,

— Скажешь, значит?.. Эх ты, газетчик... отдел объявлений. — Он с досадой покривился. — Ну, смотри, Женя, как знаешь... Только товарищи так не поступают. Пожалеешь после...

— Ты что это, грозишь, кажется?

— Чего там грозить, сам увидишь, — загадочно сказал Антон.

— Ну, я не мастер загадки отгадывать! — разъярился Карасик. — С этим обратись в отдел ребусов и шарад. А ведь я же, по-твоему, отдел объявлений...

Антон ушел, пнув ногой стул по дороге.

Это уже была ссора.

Коммуна, узнав о вчерашней истории, заволновалась. Настя была возмущена и растерянна. Бухвостов кричал, что Антон опозорил Гидраэр. Фома говорил, что, конечно, человеку иной раз выпить и не грешно, но всему край есть. И это срам для всей команды. Послали письменное извинение Токарцевым. Письмо отнес Карасик.

— Ничего, пустяки какие, — сказала Мария Дементьевна. — Ну выпил человек. Это Валерьян Николаевич Ласмин виноват, он его все спаивал, а я не углядела. Вы скажите ему, чтобы он не расстраивался. Пусть зайдет. Но вы какой молодец! Вот не ожидала. Он ведь такой исполин, силач, это чудо! Можете представить, он меня, как пушинку...

Настя сообщила Карасику, что дело будет обсуждаться в комитете комсомола. Антона вызвали для объяснений. В этот вечер Карасик был занят в редакции, а когда вернулся, то не застал Антона дома, а Фома, Бухвостов и Крайних говорили при Карасике иносказательно, намеками.

— Ну что, был комитет? — спросил Карасик.

— Да, там насчет перевода цеха, — уклончиво отвечал Бухвостов.

— Я насчет Антона спрашиваю.

— Что же Антон? — неохотно отвечал Бухвостов. — Поговорили с ним. Поговорили крепко... Вот будет открытое собрание, тогда узнаешь, потерпи.

Карасик впервые за все время вспылил, послал всех к черту и пошел к себе.

Плохо, плохо было в коммуне. Даже тренировка шла вяло, словно мяч был слабо накачан. А Баграш все не

приезжал. Антон приходил теперь лишь почевать. Бухвостов, стуча кулаком по столу, требовал срочно на общем собрании обсудить поведение Кандидова. Карасик просил обождать до приезда Баграша. Но возмущение ребят было очень велико. Они настояли на немедленном разрешении вопроса. Кандидов, узнав об этом, взбеленился. Хватит с него, что на комитете его клевали. А выслушивать выговор перед всей командой он не намерен.

Все собрались, а Антона не было. Гидразровцы растерянно переглядывались. Настя, зябко закутавшись в большую шаль, сидела в уголке. Поздно вечером явился Антон, и все снова собрались в общей комнате. Потупившись, стояли напористые и решительные ребята из нападения. Смятение было на подвижных лицах полузащитников. Упрямые и непреклонные, переминались на толстых своих ногах беки, защитники. Все стояли плечом к плечу, исподлобья глядя на Антона.

Это стояла команда, слитная, готовая сейчас двинуться вместе, дружно, разом. Антон почувствовал холодную неприязнь ребят. Ему стало тяжело. Скорее бы кончить все! Нехорошо все это получилось, неладно...

— Есть люди, — сказала, вставая, Настя, и все оглянулись на нее, — есть люди, которые в своем коллективе не умеют...

— Ребята, давайте обойдемся без митинга, без всей этой петрушки, — сказал Антон, как бы не видя Насти.

— Тут не митингом пахнет, а предупреждением последним! — выкрикнул Бухвостов.

— Может быть, помолчите, товарищ, пока я говорю! — холодно сказал Антон.

— За такое отношение, знаешь, можешь в два счета выкатиться... арбузом! — рассвирепел Бухвостов.

— Ага... Кто-то уже арбузами попрекает? Что ж, я не навязываюсь.

— Знатного человека — это мы уважаем, а зазнавак учить будем! — закричал Крайнах.

— Может, помолчишь минутку? — спросил его Антон.

— Действительно, Яша, дай человеку сказать, — зашептала мама Фрума, горестно стоявшая поодаль, в дверях.

— Ребята, вот что, — начал Антон, — это все разговоры мимо ворот.

И, глядя в окно, стараясь быть как можно спокойнее, он вполголоса сообщил, что переходит в команду клуба «Магнето».

Весть эта поразила ребят. Поступок Антона показался им изменой.

— Так! — сказал насмешливо Бухвостов. — Почем за кило дали?

Антон вспыхнул и сжал кулак:

— Скажи спасибо, что это тут... Я бы тебе на Волге за это слово...

— Да будь покоен, — сказал Фома. — Я бы тебя у нас в деревне тоже на задах словил...

— Антон, — Настя, бледная, глядела ему в глаза, — ты что? Шутишь это? Пугаешь нас?.. Да мы в совет...

— Ребята, давайте не злиться, — отвернувшись, проговорил Антон. — Силком не удержите, а все уже согласовано, и в Высшем совете тоже. Что, на самом деле, одна на свете советская команда вы, что ли? Есть и почище. А у вас мне... Не расту, в общем, я у вас...

Он видел, что его уже ненавидят. Команда бросала на него недобрые взгляды. Он на всякий случай отступил к стене.

Сделай он одно неосторожное движение, скажи сейчас резкое слово, и все покатилося бы в драке. Он попятился к лестнице.

— Ну и вали, вали к своему Цветочкину разлюбозному! — сказал Бухвостов.

— Пошел, пошел, не оглядывайся! — кричал Фома.

Антон поднимался в комнату Карасика за своими вещами.

Мама Фрума с подоткнутым фартуком стояла поодаль, у дверей кухни. Огромная извилистая морковь пылала в ее руке, как огненный меч.

— Я не вмешиваюсь, Антон, — сказала мама Фрума, — но люди так не поступают...

Антон скрылся в комнате.

Карасик, молчавший все время, словно очнувшись, кинулся за ним. Команда уныло молчала. Слышно было, как сопит Фома.

— Чего-то мы с ним, ребята, — сказал он, почесывая затылок, — неладно. Кажется, ерунду напорол... всю посуду перебили, накухарничали.

Голосом звонким, ставшим прозрачным от слез, Настя сказала:

— Есть люди, которые в своем коллективе не умеют чутко (она вздохнула)... к своему товарищу...

— Начинается! — сказал Бухвостов и плюнул.

— Вот так так, а куда ж мне теперь? — раздался сзади у входных дверей чей-то голос.

Все обернулись.

В дверях, с сундучком и узлом, со связкой книг, в полудетской панамке, в высоких ботинках с ушками, стояла Груша Проторова из артели «Чайка».

В комнате Карасика Антон собирал свои вещи. В старенький баульчик, с которым он приехал в Москву, летели перчатки, бутсы, майка. Антон взял в руки свитер, отпорол матерчатый значок Гидраэра. Карасик, стоя у дверей, молча и понуро следил за его движениями.

— Женья, — сказал Антон и подошел к нему, — то одно дело, а у нас с тобой другое... Надеюсь, это не касается?

— То есть?

— Ну, вот в том смысле, что с тобой мы по-прежнему.

— Нет, Антон, об этом забудь. Ты для меня кончился.

— Женья, я с тобой, как с человеком, а ты... Ты понять только не хочешь.

— Я все понял, Антон, хватит... Я-то, дурак, думал: вот, мол, пример. Это человек! Одна биография чего стоит. — Карасик чуть не плакал. — А ты!.. Куда все это девалось? Есть такие... вроде валенок: в стужу греют а как только оттепель, так сразу мокнут, ни к черту не годятся!

Антон снимал со стены свои портреты, вырезанные из журналов. Он остановился перед Женьей. Между ними было не больше полуметра.

— Значит, кончили? — тихо спросил Антон.

Карасик молчал.

— Женья, помнишь, как в Саратове тогда... когда Тоська это?.. Как мы с тобой на одной койке?..

— Помню, но постараюсь забыть...

Антон уложился, поставил вещи у дверей.

— Ты куда сейчас? — спросил у него Карасик.

— Не твоя забота.

Карасик пожал плечами. Его всего трясло.

— Смотри, Антон, сносит тебя по течению. Где пристанешь?..

Кандидов подошел к нему:

— Ну, давай, что ли, по-волжски... по-нашему выпьем расставальную...

Он достал из шкафа бутылку, две рюмки. Горлышко бутылки тренькнуло и запрыгало по краю рюмки... Но он справился и налил Карасику и себе. Оба не глядели в глаза друг другу.

— Ну, — Антон поднял рюмку, — кланяйся нашим... вашим, то есть. А Насте скажешь... Нет, ничего не надо. Все это одна петрушка... — Он вздохнул. — Скажи, Женька, одно напоследок. Можно тебя спросить?.. Ведь был ты, в общем, хлюпик. Откуда, спрашивается, у тебя это взялось, что не собьешь теперь?

— Дурак ты, Тошка! — сказал Карасик, беря рюмку. —

И за учителей своих

Заздравный кубок поднимает, —

проговорил он и выпил, не поморщившись, глядя на Антона неподмигивая, ясными и печальными глазами.

Груша сидела на сундучке. Всем было не до нее. Тошка прошел сверху с вещами. Она, обнадеевшись, радостно вскочила.

— Тебя еще тут не хватало! — процедил сквозь зубы Антон и вышел на улицу.

— Вот попала-то, батюшки, не вовремя!.. — причитала Груша.

Она не понимала, что же произошло, но видела, что у ребят стряслось горе.

Карасик даже не взглянул на нее. Бухвостов удивленно кивнул и отвернулся. И даже радушный Фома не сказал ей своего обычного «чай да сахар, милости прошу к нашему шалашу». А она ехала с такими надеждами... Правда, Антон не ответил на ее письмо, где она сообщала о предстоящем своем приезде и намерении учиться в Москве. Она сидела на сундучке одинокая и никому не нужная, чужая. Из-под двери дуло. По тугим, загорелым щекам



Антон собирав свои вещи.

поползли обидные капли. Мама Фрума спохватилась и подошла к ней. Она все выспросила, все узнала. Аккуратненькая, участливая старушка показалась Груше в эту минуту самой родной на свете.

— Ах, эти футбольщики, — говорила мама Фрума, — они расшумятся, так это не дай бог! Антон, положим, тоже хорош. Мальчики для него так старались, а от него одно огорчение... Ну, идемте уж.

Груша привезла целый мешок с арбузами. Полосатые спелые шары выкатились на стол.

— Надо угостить мальчиков! — воскликнула мама Фрума.

И через несколько минут она уже бегала по комнатам, разнося угощение, и утешала. На все случаи жизни у нее было заготовлено одно всеисцеляющее утешение.

— Как вы думаете, — спрашивала мама Фрума, — сколько жителей всего на свете?

— Да около двух миллиардов, — отвечали Фома, Бухвостов, Карасик.

Она задавала этот вопрос в каждой комнате всем по очереди.

— Так на свете, самое лучшее, минимум два миллиарда неприятностей и огорчений, — говорила мама Фрума. — Так стоит из-за каждого убиваться?

— Действительно, одна двухмиллиардная мировой скорби! — невесело смеялся Карасик.

Груша сидела в комнате Насти. На столе перед Настей лежал арбуз, светло-зеленый, матовый. Печально припав к холодной корке головой, Настя что-то выцарапывала перочинным ножичком.

— А тебя что, Антон выписал? — спросила она как можно равнодушнее.

Но Груша почувствовала ревнивое любопытство в ее голосе.

— Ой, Настенька, вы не думайте!.. — заторопилась она.

Она все рассказала, как она готовилась на Волге, зачем она приехала. Перед Грушей стояла тарелка, полная арбузных корок. Тараторя, Груша, звучно выплевывала семечки, и они сочно щелкали о тарелку.

— А Евгений Григорьевич у вас есть? — спросила вдруг застенчиво Груша.

— А кто это? — не сообразила сразу Настя.

— Ну, вот этот деликатный такой, который в газете печатается. Вы его как, Карасиком кличете?

— Ах, Карасик! — засмеялась Настя. Она поняла вдруг смущение Груши. Ей стало весело.

А в соседней комнате хмуро рассказывал Бухвостов. Вприпрыжку за ним бегал Фома.

— Вот тебе и выиграли первенство, вот тебе и выиграли первенство!..

— Уйди, говорю!

— И уйду, дождешься. Сам, один играй.

Крупная, дородная, сидела перед маленькой Настей Груша Проторова. Внезапно Настя почувствовала доверие к этой большой, сильной девушке. Она чем-то напоминала Насте Антона.

— Груша, не вернется он, — сказала Настя.

— Кто, Тощка-то? Очухается — сам придет. Я их, грузчиков, породу наизусть знаю, все такие. У, демон!

В соседней комнате Бухвостов и Фома уплетали арбуз. Они с носом по самые глаза погрузились в сладкую хрустящую мякоть. Говорили с полными ртами.

— По-твоему, перегиб? — спрашивал Бухвостов.

— По-моему, Коля, перегиб, — отвечал Фома, спешно жуя. — Он хоть и гад, конечно, но парень ничего.

— Гад, но ничего, — соглашался Бухвостов.

Человек, возвращающийся из долгого отсутствия домой в предвкушении счастливой встречи и семейных радостей, но заставший на месте своего дома головешки пожарища, поймет чувства, испытанные Баграшом. Все, казалось, полетело к черту. Едва Баграш вошел в общежитие, как наблюдательный его глаз подметил катастрофические приметы. Полы были не подметены, чертежи валялись где попало. На некоторых из них лежал слой пыли. Баграш понял, что без него произошло что-то неладное. Когда ребята вернулись с работы, он поговорил со всеми по очереди.

— Всех повышибать вас! — слышалось из комнаты Баграша. — На поле вы туда-сюда, команда, а так — сброд!

Из педагогических соображений Баграш нарочно сгущал краски.

Фома и Бухвостов вышли из его комнаты встрепанные, красные и долго еще потом вздрагивали, отдувались и, смотря друг на друга, качали головами.

Но, несмотря на баню, на полученную трепку и взгрев, оба — и Фома и Бухвостов — как будто повеселели. Потом из комнаты Баграша вылетела сконфуженная и пристыженная Настя. Она вышла, закрыла за собой двери, весело встряхнулась. Попало и маме Фруме за беспорядок.

— Что это за глаз? — удивилась мама Фрума. — Один раз зашел и все уже видит. Вот это хозяин и называется!

Дошла очередь до Карасика. Карасик был уверен, что поступил геройски, и был спокоен. Но Баграш жестоко распустил и его. Он говорил очень обидные слова. Он утверждал, что на Карасика нельзя надеяться, что он не сумел оградить Антона от дурных влияний, что в своей комнате кое-как твердость он сумел проявить, а дальше не хватило пороку.

И, в общем, выходило так, что для коллектива Женья ничего не дал, а потом и сам зачис.

— Пойми ты, Баграш, — оправдывался Карасик, — мне ведь тяжелее, чем всем. Для меня ведь Антон не просто товарищ по команде, хороший там парень и все такое. Ведь всю жизнь, понимаешь?.. Для меня образцом был, так сказать... Через него я и с новыми людьми думал сдружиться.

— Вот, спасибо, — сказал Баграш. — А мы все не считаемся? Эх, Женья, Женья!.. Много в тебе еще чепухи сидит. «Образец»!.. Любишь ты эти пышные словеса. Литературная, должно быть, привычка, так? А мне его просто, как нашего, без всякой марки, просто жалко, и хватит с меня.

Карасик побрел к двери.

— Да и мы сами... — после некоторой паузы сказал Баграш. — Мы, думаешь, сами не виноваты? Я и себя ругаю... Парень он действительно выдающийся по своей части, надо было его на особое положение. Он, правда, в сборной стипендию имеет, но с нашей стороны какая-то уравниловка была. Не учли мы некоторые моменты. Пользуется же наша команда на заводе особыми условиями, так? Освобождают время для тренировки, на дачу вывозят... А в своем коллективе такому парню не сумели создать условия. Это уж я сам недоглядел. Но все-таки, я думаю, рано или поздно его к нам потянет, закваска у

него хорошая. Вольница, правда, артельная, крючник, но все-таки наш.

Через час он созвал всех в общую комнату.

— Ну, ребятки, так как же? — сказал Баграш, оглядывая собравшихся. — У меня есть план, друзья.

— И у меня есть план! — закричал Фома.

— Мальчики, давайте мыслить, — сказала Настя. — Вернуть Антона — это значит победить его.

— Вот мы и говорим, — сказал Бухвостов, — команда ему должна на поле доказать.

— А дальше? — спросил Карасик.

— А дальше? Дальше, значит, видите, дядя, мы и без вас игрок... Не хочется ль вам на чашку чая со старыми друзьями?... Играть можешь в сборной, а работать с нами.

— Тогда тренируйте и меня! — закричал Карасик, страшно возбужденный. — Хватит с меня быть болельщиком! Тренируйте меня сейчас же, к дьяволу!

Баграш оглядывал ребят. Глаза у всех повеселели. Команда с надеждой смотрела на своего капитана. Ничего! Жить можно. Выправимся...

ГЛАВА XXXIX

Пути расходятся

Уйдя с завода, Антон первые две ночи провел у Цветочкина. Потом ему подыскали на год отличную комнату какого-то уехавшего инженера. (В «Магнето» работали очень расторопные люди.) Потом как-то он был с Ладой в концерте. Оттуда они зашли к Ладе. Мария Дементьевна уже спала. Но их встретил профессор, вернувшийся в тот вечер из заграничной командировки. Несмотря на то что час был поздноватый для визита в порядочную семью, профессор оставался и на этот раз истым джентльменом.

— Что же вы стоите?... Э... Антон... э...

— Михайлович, — подсказал Антон.

— Зови его просто Антон, — сказала Лада.

— М-да... Что? Садитесь, Антон Михайлович... Липа, дайте нам всем чайку... Так что? М-да. Прошу...

Он предложил Антону сигарету.

— Ну, а как дела со скоростным? Как ваши товарищи? Что?

— Я ведь не у них теперь... — пробормотал Антон.

— А где же? — спросил профессор.

— Да, собственно, так... В «Магнето» числюсь.

— М-да... Что? Это не по моему ведомству, — сухо сказал профессор и рванул засунутую за ворот салфетку, словно рубаху на себе разодрал. Он бросил салфетку на стол и вышел.

Лада на цыпочках подбежала к дверям спальни и стала прислушиваться.

— Ты стал ужасно узок, Арди! — услышала она голос матери. — Пора примениться к взглядам. Я не понимаю... Ну, зашел молодой человек навестить. Ты сам с ним нянчился. А он симпатичный, прямо прелесть, и, конечно, он головой выше всех этих... Вот и вырвался от них.

— Что это за профессия — футболист, я спрашиваю? — доносился басок профессора. — Мои гидраэровцы — это же отличные работники, усердные, талантливые... А это что? Дезертир!

Лада вернулась к столу.

— Ничего, ничего, пейте чай, — успокаивала она Антона, — обойдется. Я уж их знаю. И они меня тоже.

Груша поступила на вечерний рабфак. Баграш устроил ее работать на заводе подручным метеорологом на летной испытательной площадке Гидраэра. Девушка оказалась способной, Баграш не ошибся. Фома первое время позволял себе некоторые вольности в обращении с Грушей, но однажды получил такую затрепину, что охал и почесывался до вечера. После этого он стал относиться к Груше с уважением. Груша еще на Волге была отличной пловчихой. Теперь она ходила в свободные минуты в большой бассейн и мечтала выступать весной в водных соревнованиях. Она по-прежнему увлекалась метеорологией. Теперь она имела дело с настоящими серьезными барометрами, дождемерами, градусниками, флюгерами... Она краснела, когда кто-нибудь напоминал о ее смешной домашней самоделке, упорно стоявшей на «дожде».

Груша увлекалась своей работой. И поздно вечером,

когда она приходила в общежитие, ребята, чтобы сделать ей удовольствие, спрашивали:

— Ну, как сегодня?

— Резкое потепление, порывистые ветры, северные, второй четверти. В средней полосе депрессия, — без запинки отвечала Груша.

— А циклон есть? — спрашивал серьезно Баграш.

— Нет, циклона нет.

— Может быть, тогда хоть антициклон?

— Нет, нет и антициклона.

— Что ж это ты, Проторова? — говорил Баграш.

Она немножко хромала по географии. Карасику было поручено репетировать ее.

При Карасике Груша катастрофически розовела, смущалась. Все замечали это и подтрунивали над Карасиком. Карасик изнемогал от ее внимания. Она вышивала ему полотенца, украдкой гладила костюм, вырезывала все статьи Карасика. Карасик иногда даже сердился. Расхаживая по комнате, он втолковывал Груше очередной урок по географии. Груша внимательно смотрела ему в рот и искала на глобусе заданное место, копаясь пальцами в материках и океанах. «Словно в голове ищет!» — раздраженно думал Карасик.

— Я вас все хотела спросить, Евгений Григорьевич... — начинала Груша каким-то особенно значительным тоном и опускала глаза.

— Это относится к уроку? — спрашивал неумолимый Карасик.

— Нет, это не по географии.

— Тогда в другой раз, — сухо говорил Карасик.

Карасик давно уже усиленно тренировался. Это было очень нелегко, это было очень трудно. Мальчишки сбегались к полю и кричали: «Чарли Чаплин, Чемберлен!..» Сколько издевательств, сколько насмешек выносил Карасик. Тело его было в синяках. Ноги так болели, что, ложась спать, он должен был их укладывать в постель руками. Ночью мама Фрума слышала иногда странные мягкие удары об пол, доносившиеся из комнаты Карасика. Это Карасик, разостлав пальто на полу, учился делать кульбиты, кувыркался. Для футбола кульбиты были совер-

шенно не нужны, но как-то Карасик заметил, что он не умеет кувыраться, боится. И он заставлял себя делать кульбиты, всей спиной плюхаясь о жесткий пол. Лопатки его были сплошь в синяках.

— Я очень смешной, вероятно? — спрашивал иногда Карасик у Груши.

— Ну ничуть! — восклицала убежденно Груша.

— Отчего же все смеются?

— Весело — вот и смеются.

Зима прервала футбольные тренировки на поле, но Баграш должен был отметить большие успехи Карасика.

— Дело пойдет, — говорил он. — Так? За зиму надо весу немножко прибавить, вообще подразвиться чуток. А весной — держись, Кандидов, пропадай!

Даже не склонный восхищаться Бухвостов должен был признать, что Карасик теперь отлично владеет некогда утраченным им мячом. Поздней осенью Карасик сыграл несколько игр в составе младшей команды Гидраэра. На последнем матче ему даже аплодировали три раза, когда он, играя полузащитником, ловко обводил неприятельского форварда и отнимал у него мяч.

Антон ранней весной вместе с командой магнетовцев уехал в большое зарубежное турне. В это же время гидраэровцы уехали на юг пробовать на море первую опытную конструкцию двухлодочного глиссера. В этом скрывалась небольшая хитрость Баграша. В то время как на всех московских стадионах еще лежал снег, катки мокли, спортсмены переживали скуку бессезонья, гидраэровцы могли отлично тренироваться на южных стадионах. Баграш нарочно приурочил время испытаний к ранней весне.

С командой поехал специально приглашенный заводом известный тренер, выходец из Австрии, Мартин Юнг. Он был хорошо известен в зарубежных спортивных кругах. Плечистые его воспитанники подвизались на всех стадионах мира. Когда-то Мартин сам игрывал в одной из лучших европейских команд. Но ему подлейшим образом в двух местах сломали ногу в большом международном матче. Мартин Юнг хромотал. Он был опытным тренером, но вскоре у него произошли какие-то неприятные столкновения с заправилами профессиональных клубов. Он

позволил себе разоблачить кое-какие темные махинации. От его услуг отказались. Два года он ходил без работы, полуголодным. Он давно уже открыто признавал себя болельщиком Советов и с радостью принял приглашение приехать на работу в СССР. Ребятам сперва пришлось не по вкусу его придирчивые требования, утомительные упражнения, которыми он мучил на тренировках. Особенно доставалось Карасику, который взял специально отпуск в редакции и приехал с командой на юг. С Карасиком Мартин занимался отдельно, так как нашел, что способности у Жени отличные — живость, реакция, глазомер, но подготовки никакой. Он заставил Женю бегать кросс. И часто можно было видеть в окрестностях города огромного старика, бегущего легко, хотя и припадающего на левую ногу, а рядом старательно чистившего маленького Карасика.

ГЛАВА XL

Из дальних странствий

Команда «Магнето» вернулась домой, поспев к московской весне. Зима продулась вконец. Дворники давно сгребли лопатами с улиц ее снежную ставку. И сквозь прозревшие окна трамваев москвичи увидели весну. Она была прекрасна. Бледная немочь заморозков, свойственная ранним веснам, не портила ее.

У Токарцевых Антона встретили уже совсем как своего. Мария Дементьевна не могла наглядеться на новый покрой парижского костюма. Профессор расцеловался с Антоном.

— Ну как? В Версаль ездили? А на Эйфелеву взбирались? Что? Вот я как сейчас помню 1909 год...

Лада встретила Антона еще на вокзале. Она бросилась к нему, вскинула руки на его габардиновые плечи. Но Антон заметил, что она успела посмотреть, снимают ли в это время их фоторепортеры.

Команду встречали торжественно, с цветами и музыкой. Антон искал в толпе знакомые лица ребят из Гидраэра, но их не было. Он поднял тяжелый чемодан, сплошь оклеенный розовыми, желтыми, зелеными этикетками отелей. На другой его руке повисла Лада.

Поздно вечером был банкет. Антон порядочно выпил.

Он долго потом не мог уснуть. В последние недели поездки он страшно, до воя, скучал по родине. Ему хотелось к себе. Ну вот, он вернулся. Но он опять чувствовал себя в стенах чужого дома. И тоска о других, недавно еще своих, а теперь тоже чужих людях растравляла его бессонницу.

— Настя, Настя... Ребята, поймите, — шептал он, ворочаясь.

Еще в вагоне ему попалась «Правда». Там сообщалось, что молодежная бригада гидраэровцев спустила на воду и закончила испытание двухлодочного глissера. Этот глissер, сконструированный под руководством профессора Токарцева, показал на испытаниях блестящие результаты. Машина имела большое оборонное значение, указывалось в газете. Намекалось, что это только промежуточный этап в работе Гидраэра и что бригада Баграша предполагает построить сверхмощный быстроходный глissер-экспресс того же типа. Рядом была помещена фотография глissера и групповой портрет. Ухмылялся белобрысый и лукавый Фома Русёлкин. Исподлобья, взметнув брови, подтянутые изуродованной переносицей, глядел серьезный Баграш, торчали вихры Яшки Крайнаха. Хмурился честный, грубоватый Бухвостов. Сосредоточенно смотрела вперед, слегка выпятив губы, Настя. Карасик, не в силах сдержать радости, откровенно сиял. Тут же была помещена беседа с бригадиром и капитаном Баграшом.

«Мы думаем в этом году успеть еще выиграть кубок спартакиады по футболу», — говорил Баграш.

«Ну, это уж положим!» — усмехнулся про себя Антон.

Ах, хорошо бы сейчас потолковать с ребятами «за жизнь», как говорится, рассказать им, что видел на белом свете. Но теперь это было невозможно, «Слабó, слабó тебе, Антон», — твердил он сам себе. Он проснулся на другой день очень поздно. Боль разламывала голову. Антон не хотел просыпаться. Он не хотел дня. Он старался отодвинуть его начало. Он накрылся с головой. Но день настиг его и под одеялом. И начался он теперь какими-то звуками. Курлыкала вода в унитазе за стеной, в соседней квартире взыграл примус, засипел и испустил дух.

Антон еще долго валялся. Идти было некуда и не к кому. Но он решил прогуляться. Он ступил на улицу. Ему

показалось, что она ушла вниз, как пристанские сходни, на которые еще так недавно взлетал он, балансируя под многопудовой кладью.

Была весна, был час пик — час суматохи и заторов. Трезвоня, таранили трамваи заправду перекрестков. Там, над людovorотом, невидимый жонглер, ловчаясь, играл тремя светящимися шарами: красным, желтым, зеленым. Красный, желтый, зеленый. Казалось, что у автомобилей от игры светофора начинало рябить в фарах.

Час пик... В конце концов в жизни у каждого настает свой час пик — когда ты оказываешься спертым в заторе или в нерешительности стоишь на перекрестке, а так надо перейти на другую сторону! Когда отношения перепутываются, словно телефонные провода, и ты выясняешь, что соединен совсем не с тем, с кем бы хотел.

Час пик наступил и в жизни Антона Кандидова, вратаря Республики, голкипера сборной СССР. Час пик!

Внешне все обстояло как будто благополучно. Здоровье Кандидова цвело с неиссякаемой силой, если не считать некоторых неприятных ощущений в сердце, появившихся, вероятно, от перетренированности. Удача сопровождала Антона всюду. Его «сухая» репутация не была размочена ни в Париже, ни в Брюсселе, ни в Стамбуле... Он продолжал быть спортивным феноменом, загадкой для многих и любимцем всех. Почти ни один вражеский мяч не касался за эту поездку сетки сборной СССР, зорко оберегаемой вратарем Кандидовым. Самые блестящие шуты гасли в его мертвой хватке, пушечные удары глохли, мяч трепетал и смирялся.

Только один раз, в Праге, мяч оказался в сетке за его спиной, когда он не успел, споткнувшись, броситься в ноги нападающего. И это было уже сенсацией. Игрок, забивший гол Кандидову, прославил себя на весь мир этим ударом...

Но все равно Антона продолжали звать «Вечный ноль», «Зеро». Он плотно вошел в славу. Кипа газетных вырезок хранилась в крокодиловом чемодане, вывезенном из того, чужого мира. В тучных заголовках, широко расставив непривычные буквы, стояла фамилия «Кандидофф», «великий вратарь России», «чудо советских ворот», «невиданная красота и смелость броска», «точность и сила», «это какая-то огневая завеса», «большевик в голу», «вратарь,

заставляющий пересмотреть всю систему игры». Даже в белых эмигрантских газетах писали о воскрешении русского духа, воплотившегося в Кандидове. И Антон невольно вспоминал Ласмина.

Спортивные репортеры раздували мехи славы. И слава Кандидова гремела, трубила, пела, как орган, по Франции, Австрии, Чехословакии, Турции в продолжение всего турне советской футбольной команды. В сепии и умбре, анфас и в профиль глядело с хрустких страниц журналов его корректное европеизированное лицо джентльмена и атлета. Но сквозь ретушь явственно проступала добродушная физиономия Тошки Кандидова, волжского крючника и тамады. Вся его жизнь, начиная с первого шага, была взята нарасхват докучливыми интервьюерами. Она была превращена в легендарную биографию «ушкуйника фон дер Вольга», богатыря, бурлака и скифского гения футбольных ворот. Это был «гранд-рюсс», это было «колосаль».

Правда, фамилия Кандидова еще не бежала взапуски огненными буквами по ажуре Эйфелевой башни, но появилась уже зубная паста «Улыбка Антуана». Она запечатлела на этикетке добрую, белозубую усмешку Антона. Была выпущена краска для волос. На флаконе была изображена буйная голова вратаря Республики с прославленной седой прядкой.

Можно еще упомянуть о желтой пудре «Песок его ворот» или о конфетах «Семиатшки» (семечки). Так хитроумные воротилы кондитерского дела использовали пристанскую привычку Антона. Он, стоя в воротах на самых торжественных матчах, нагло лузгал подсолнухи с чисто волжским шиком. Ему устраивали овации на улицах. За ним бегали мальчишки. Люди в рабочих каскетках, с оглядкой подходя к Антону, жали ему руку и шептали: «Браво, совет!»

Но уже начали шмыгать вокруг Кандидова упитанные люди на коротких ножках и плечистые молодцы с бритыми по-боксерски висками, в баллонообразных штанах гольф. Это были любители односложных восклицаний, обладатели двусмысленных улыбок, четырехугольных подбородков, шестифутового роста и двенадцатицилиндровых лимузинов. Без пазойливости, но достаточно настойчиво они заводили разговор о падении класса мирового футбола. Они

вздыхали сокрушенно, остра насчет пустующих ворот и касс своих клубов, и скромно отводили глаза. Они углублялись в рассмотрение пепельных кончиков своих сигар. Как бы невзначай разговор касался райского житья буржуазных фаворитов спорта. Почтительно заговаривали об их баснословных окладах и различных махинациях, позволяющих футболисту-профессионалу сбить себе капиталец. Потом собеседники Антона приподнимали шляпы, каскетки и оставляли его до следующего раза.

Его познакомили в ресторане, как будто случайно, со знаменитым Рикардо Замора. До появления Кандидова Замора считался лучшим вратарем мира. В особый список заносились форварда Европы и Латинской Америки, которым удалось забить ему гол. Голенастый испанец, окруженный почитателями, с надменной благосклонностью поздоровался с Кандидовым и сказал через переводчика несколько приятных слов о последних матчах. Он говорил о спорте снисходительно и утомленно. Он собирался покинуть ворота национальной сборной Испании, уйти на покой в свою виллу. У него уже был скоплен миллиончик.

— У нас бы вы тоже могли сколотить кое-что, — сказал Замора.

Антон не совсем понял его. Но он почувствовал себя странно обиженным, как будто его подозревали в желании совершить что-то позорное. Черноглазый, узколицый Замора раздражал его. Он чувствовал за внешней благосклонностью глухую вражду. И сам он ощущал почти необъяснимую неприязнь. Как будто они не сидели за одним столом, а стояли в разных воротах на противоположных концах поля.

Однажды в Париже, это было сперва совсем забавно, к Кандидову в отель явился рослый крепыш в сутане. Глыба могучей плоти в духовном звании. Пришелец предложил своего переводчика, попросил уединения и потребовал тайны. Любопытствуя, Кандидов простодушно принял все условия. Гость качнулся в благодарном поклоне. Его темя являло удивительное сочетание тонзуры с боксерским ежиком.

— Сальве, — сказал он иронически, — доминус вобискум и тому подобное. Передайте привет коллеге.

— Это что же за петрушка такая? — спросил Кандидов у переводчика, тщедушного горбатого человечка.

— Это тренер футбольной олимпийской команды Ватикана, — скромно отвечал переводчик.

— Стойте-ка! — воскликнул пораженный Кандидов. — Ватикана!.. Это где папа римский квартирует? Вот так номер!.. А разве папаша стучает в футбол? Здорово! И приличный стадиончик в вашем монастыре?

Гость заговорил. Он говорил умиленно, с достоинством. Он поднимал глаза к небу только в тех случаях, когда подсчитывал что-то в уме. Переводчик растолковывал Кандидову, что ватиканская команда тренируется к олимпиаде. Но у нее слаб голкипер. Ватикан решил сменить своего вратаря. Это решение санкционировано святым отцом. Католицизм обязательно победит и на футбольном поле. Команда наместника Христа должна играть на нуль, всухую¹. Талант и непобедимость русского чемпиона известны. Воззрения его — также. Не все ли равно для атеиста — числиться православным или католиком? Важно хорошо брать мяч, не правда ли? Брать мяч и сто тысяч лир жалованья. Ну, а святой апостол Петр, как известно, является вратарем рая. Божественный символ! Благодать снизойдет на голову Кандидова...

Кандидов бесцеремонно веселился. Он бил себя по коленям, он топал ногами от удовольствия.

— Пустяки командочка! — хохотал он. — Одиннадцать апостолов, двенадцатый запасной. Иуда, верно?.. Не вы ли им будете?

Толмач бесстрастно продолжал.

— Нам известно, — сказал он, — что господин Кандидов покинул завод, где он работал и получал образование, покинул, чтобы всецело посвятить себя спорту, в котором он уже достиг таких блистательных вершин. Вряд ли на своей родине он получит возможность...

Переводчик не договорил и, спрыгнув с кресла, забежал за его спинку. Веселье разом сдуло с Антона. Кандидов вскочил. Он выпрямился, он развернул до отказа махину своего тела. Лицо его очугунело.

¹ Церковники за границей часто используют приверженность к футболу своих верующих. Не так давно в английском городе Кингстоне, в церкви Св. Павла, для привлечения публики алтарь был заменен футбольными воротами, а попы служили в майках и трусах.

— Ах ты, зараза! — заорал Антон. Он бешено колотил себя в грудь и топал ногами. — На бога, на папский паек меня берешь!.. Ты всерьез сторговать меня хочешь?! Да ты знаешь, кто я?! Я из-за вашего брата в прорубь лазал. Всякий меня заводом станет попрекать!.. Да я...

Ватиканский тренер тоже вскочил. Он вскочил и тотчас спокойно стал в оборонительную позицию. Переводчик благоразумно занял место за его спиной. Кандидов немного успокоился. Ему понравилось, что футбольный нунций папы не сробел.

— Черт, боевой поп!.. — пробормотал Антон, смягчившись, и обратился к переводчику. — Слышь, ты? Передай своему святому отцу, чтобы он быстренько сыпал к чертовой матери. Одним словом, как это там у вас, доннерветтер, сакраменто... Понял? И пусть скажет богу мерси, что я в международном положении довольно толково разбираюсь, а то бы я...

У него остался какой-то осадок на душе и чувство неудовлетворенности, ощущение какого-то зуда в руке. «Зря не шарaxнул я их все-таки... А то что получается? Каждый римский папа мне попреки может делать... И откуда они всё пронюхали?..» Но все, решительно все знали, что Кандидов ушел с завода-втуза Гидраэра. Нельзя было скрывать, что он бросил учебу, оставил друзей, ушел, польстившись на легкую, взбитую славу и удобное фиктивное местечко, которое обтяпали ему болельщики из нового клуба.

Все знали это. И, должно быть, поэтому седой мягковолосый полпред говорил ему на приеме в полпредстве:

— Эх, юноша! Слава неоднородна, она разнокачественна. Вот возьмем два типа славы — допустим, Горького и Шалапина. Их ранние пути сходны с вашим — тоже из галахов. А какие могучие таланты! Однако поглядите, под каким непримиримым углом разошлись теперь их дороги. Алексей Максимович взвалил самоотверженно на себя огромную славу нашей Родины. Он помогает нам, он подпирает ее своим плечом. Его слава неотделима от нашей общей славы. Ну, а у Шалапина слава стала бездомной, неприкаянной. А ведь какой человечина!.. Кандидов, послушайте, только не сердитесь. Вы читали «Мартина Идена»?.. Читали? Перечитайте еще раз. Жизнь — это не футбольное поле перейти. Так-то...

...Кандидов шагал по улицам, на него оглядывались. Он был грандиозен, в широченных штанах, в серой мягкой шляпе, в пальто, покрой которого придавал еще больше размаха его плечам чемпиона и грузчика. Он мягко ступал толстым шершавым каучуком подошв по уже нагретому асфальту.

Была весна, был час пик. Осыпáлись, крошились букеты мимоз на площади Свердлова. Скверы были еще закрыты. Оттуда пахло сырой и теплой землей. Красный и синий Большой театр отражался в прозрачных детских шарах. Пронзительно умолял уйти резиновый издыхающий чертик. Это был тот день, когда все женщины внезапно хорошеют, — один из лучших дней в году, первый настоящий апрельский день, когда, выйдя из дверей квартиры, сразу вдруг вдохнешь и почувствуешь — да, пахнет весной!

Кандидов фланировал. Делать ему было нечего. Идти некуда. Он надолго остановился у витрины наглядных учебных пособий, где были выставлены всевозможные человеческие торсы из папье-маше. В другой витрине его заинтересовали огромные часы под стеклянным колпаком. Минуты здесь отсчитывались скатывающимися по желобку металлическими шариками. Кандидов прождал, пока скатилось десять блестящих горошин.

Он зашел в парикмахерскую. Это была та самая парикмахерская, где он брился в день своего первого приезда в Москву. Тогда его еще называли колхозником. Он смешно повздорил с мастером. Антон сюда захаживал прежде частенько. Мастер с огромным уважением брил его теперь вытянутыми руками, боясь лишний раз прикоснуться. Когда Антон вошел в славу, он нарочно явился в эту же парикмахерскую, чтобы доказать, что он не солгал в первый день. И мастер тотчас узнал его по седой прядке. Сегодня он зашел, чтобы во время бритья поболтать о чудесах мира, которых он нагладелся. Он вошел, высокий, великолепный, многократный. Опять зеркала восхищенно повторяли его с ног до головы. Но знакомого мастера не было.

— А где это у вас вот тут работал курчавый такой?

— Гвоздилин? — сказал мастер у соседнего зеркала. — Он у нас не работает больше.

— Перевелся? — с огорчением спросил Антон.

— Подпимай выше, — сказал мастер. — Он в физики-математики пошел. В высшее учебное готовится.

Кандидов почему-то почувствовал себя уязвленным, словно его обошли. Он не захотел бриться и вышел. Москвичи, как водится во время паводка, паломничали к реке. Кандидова весной тянуло к большой воде, к разливу. Он был водник. Некоторые поистине утиные привычки бродили в нем. Его томила тоска по воде.

Москва-река текла за решеткой парапета. Она была серая, смиренная, как слон в зоологическом саду. И, как в зоопарке, люди пытались раздражить ее. Совали сквозь решетку прутья, палки, бросали обгрызанные яблоки и камешки.

Боялись наводнения. Вдоль набережной ворота всех домов были зашпаклеваны и замазаны дегтем.

Кандидов, не в силах отогнать зазорную ассоциацию, с провинциальным предубеждением глядел на вымазанные ворота. «У нас бы за такое дело, — подумал он и тотчас поймал себя: — А где это у нас? Нет у тебя сейчас точного адреса — этого самого «у нас»... Но через замаранные ворота вошло чудесное и гордое воспоминание о времени, когда он отлично знал, что такое «мы» и где это «у нас»...

Да, это была лучшая из игр, более важная для Антона, чем матчи в Париже, Праге или Стамбуле. Это был генеральный матч. К черту всё! Надо вернуться к истокам. Надо к своим... Пока не поздно. Недаром «Комсомольская газета» уже упоминала его имя в числе «перекупленных» игроков. А тут еще по дороге из-за границы он не стал играть в товарищеском матче сборной с командой порта, через который спортсмены вернулись на родину. Он сказался больным, но все знали, что он просто бережет себя, не хочет выступать в таком незначительном матче. А сборная без него едва не проиграла.

Вот знакомый забор, табельная будка, маленький шлюз, миниатюрный кран, спусковые устройства по откосу берега. Мальчишка бежал мимо палисадника, ведя палочкой по перекладинам, — и по палисаду бежал легкий и частый, как трещотка, перестук. Антон шел мимо. Сквозь палисадник, как в стробоскопе, ему были видны светлые перемежающиеся полосы заводского дня. Пахло краской, смолой. Люди, которых знал Кандидов в лицо и по имени, красили перевернутые вверх брюхом корпуса, конопатили

днища. Так вот и он работал в затоне на судоремонте. Так вот и он мог бы сейчас, засучив рукава, мыть, скрести, конопатить, красить и, отсчитав тридцать метров в сторону, болтать с друзьями у бочки на трехминутной перекурке. Он знал, что команда Баграша сейчас на юге. Тяжелых встреч нечего было опасаться. Его неудержимо потянуло зайти на знакомую территорию. Он вернулся и вошел в табельную будку. Пожилой табельщик, тоже ярый болельщик, взглянув на него через узкие железные очки, засмутился, вежливо приподнял картуз, но потребовал пропуск.

— Ты что, в очках, а не видишь? — рассердился Кандидов.

— Извиняюсь, товарищ Кандидов, посторонних не пускаем. Теперь строго. Если надо к кому, я позвоню, затребую.

Но Кандидов уже шагал прочь.

ГЛАВА ХLI

Кубок Спартакиады

История щекотливых взаимоотношений между двумя клубами была известна большинству из завсегдатаев стадиона. Болельщики были осведомлены также о причинах ухода Кандидова с завода. Об этом весьма ехидно упоминала в своем фельетоне о перебежчиках и «Комсомольская газета». И, когда в финал Спартакиады профсоюзов после долгой борьбы вышли как раз обе эти команды и последняя игра должна была решить, кто завоюет почетный кубок Спартакиады, все понимали, что хотя «Магнето» — одна из сильнейших команд страны, а «Гидраэр» — клубная команда, борьба предстоит не на живот, а на смерть. Сошлись две системы, два различных принципа игры, две спортивные школы.

Ясно было, что гидраэровцы, раз уж ход розыгрыша кубка сам свел их в решающей игре с магнетовцами, изо всех сил постараются доказать свою правоту, правоту своего метода. Об этом заявил в газетном интервью их капитан Баграш.

А с другой стороны, Антон разобьется в лепешку, но не пропустит в ворота и тени мяча от своих бывших дру-

зей, ставших теперь опаснейшими противниками. «Надеюсь, что и на этот раз, как и в подавляющем большинстве предыдущих игр, ворота мои опять останутся сухими», — писал он в газете. И все знали, что обещание будет сдержано.

Проигрыш гидраэровцев был неминуем. В крайнем случае можно было бы рассчитывать на ничью: ноль — ноль. Но, по олимпийским правилам, ничья исключалась. Дали бы добавочное время, а потом продолжали бы игру до результатов, до первого мяча. Многие понимали, что игра будет идти не только за кубок, но и за честь Кандидова.

Смутно подозревал это и Антон. Всегда уверенный, в этот раз он испытывал странное беспокойство. Противная неутолимая зевота мучила его, судорожно сводила скулы, хотя он отлично выспался накануне. Потом ему стало досадно и смешно — он вспомнил свои победы. Он взглянул на руки. Из каких только углов мира он не принимал мячи. Смешно... Неужели он, лучший игрок страны, первый мастер европейского экстра-класса, ступает перед пятеркой играющих в классе «Б» голубых форвардов, которых знает как свои пять пальцев.

И Антон успокоился. Но настроение у него было премерзкое. И не с кем было поговорить, потолковать, перекинуться словечком и мыслишкой, как прежде, когда он был с Карасиком. Антон был рад предстоящей встрече с ребятами, рад был увидаться с ними, хотя бы и на разных сторонах поля. Он соскучился... Сперва только надо доказать, что они неправы. Вот пасуют им, тогда говорить с ними легче будет.

За ним прислали машину. Он поехал на стадион. Внизу, под трибунами, у раздевалок, он столкнулся с Баграшом. Антон зарделся.

— Максиму Осиповичу привет! — И он протянул руку.

— Здравствуй! — не беря руки, отвечал Баграш. — Рукопожатием нам еще на поле, в центре, заниматься придется.

Антон озлился. Ага, значит, они так!.. Ладно, посмотрим, как они будут выглядеть после матча. Он размашисто повернулся и налетел на Настю. Озабоченная, разгоряченная, она печально натолкнулась на него. Он ощутил теплое и родное прикосновение.

— Настя, — загораживая ей путь, сказал Антон, — сколько зим...

— Пропусти меня, Антон.

— Мне нужно тебя на два слова, Настя.

— Нам пока не о чем с тобой разговаривать...

— Правильно! — раздался сзади уверенный актерский баритон Цветочкина. Ослабившись, он стоял у раздевалки магнетовцев. — Правильно!.. Натощак трудно говорить. Когда скупают пяток голешников, тогда...

Антон не дослушал и пошел в раздевалку. К Цветочкину подошел Чижов, веснушчатый футболист «Магнето».

— Видал? — спросил его Цветочкин, мотнув головой в сторону Антона.

— Видал.

— Чувствуешь?

— Догадываюсь.

— Они своего этого запасного сегодня поставили, журналиста, — сообщил Цветочкин. — Что это за номер, не понимаю. Ты его возьми на учет, под особое наблюдение.

— Есть. Понятно.

— Берешь? — спросил Цветочкин.

— Беру и помню, — многозначительно сказал Чижов.

Действительно, Баграш решил выставить в эту игру Карасика.

Правда, Карасик неплохо себя зарекомендовал в предыдущих играх, играя полузащитником, да тут еще, на его счастье, вывихнул ногу левый полузащитник в основном составе. А Карасик играл как раз левого хава.

Карасик вообще был неузнаваем. Он окреп, поздоровел, выпрямился. У него и походка была иная, независимая. Старый Мартин крепко его вышколил. Немало пришлось вытерпеть Карасику. И в редакции часто потешались над ним, когда он приходил хромая или со свежим синяком.

— Интересно знать, — дразнили Женю, — что произойдет прежде: опрокинетесь вы на глассере или угробитесь на поле?

Но Карасик не сдавался — не тонул и не гробился.

Все же ребята насторожились. Слишком уж легок. Одной техникой и рвением не возьмешь. Сковырнут его. Но Баграш имел свои соображения. Он поставил Карасика неспроста. Он знал, что для Антона играть против Караси-

ка было особенно трудно. Это был расчет. А для победы команды надо было учесть все. «В крайнем случае заменим», — решил Баграш.

С утра был введен особый рацион. Легкий ранний обед, отдых. Заблаговременно прибыв на стадион, гидраэровцы проходили последний массаж. Сам Мартин Юнг массирует ребят. От его крепких, умелых рук, мнувших мышцы, в тело, в каждую жилу входила крепость и уверенность.

Настя и Груша на цыпочках ходили около душевой. Настя была тревожна и сосредоточенна. Груша сердито ловила себя на том, что несколько раз мысленно прошептала: «Господи, вот бы наши выиграли, вот бы наши!.. Хотя бы один гол!..» Правда, не вслух, про себя. Но и это было недостойно управительницы погоды. Бога, конечно, не было, но, кто знает, вдруг что-нибудь вроде. А вбить мяч Кандидову надо было непременно, какими угодно средствами — земными или небесными.

Девушка постучалась в раздевалку:

— Можно?

— Погоди, мы тут все нагишом! — крикнул из-за дверей Фома.

Минут через десять все были одеты. Настя и Груша пришивали на голубые майки гидраэровцев крупные белые буквы. Команда, выйдя на поле, должна была составить слово «гидраэровцы». Как раз одиннадцать букв. Карасик, бледный от волнения, ходил по раздевалке. На груди его была буква «ы». Он был самый маленький, и ему выпала последняя в слове буква.

— Ну конечно, разве мне попадет хорошая буква, — сокрушался Карасик. — Черт его знает, конечно, «еры» должны попасть именно мне... Столько хороших букв на свете! В одной нашей команде два «р», и ни одного мне не попало. Вот везет!

Груша, стоя на коленях и штопая порвавшуюся майку Фомы, пришепetyвала, держа булавки в зубах:

— А Тошка, Тошка-то, ходит вещь шмутный, жлой да жадумчивый, как черт! Я это к нему, а он: «Пошла ты, Аграфена», — говорит.

— Ой, ты мне к шкуре пришиваешь! — заорал не своим голосом Фома.

Груша откусила зубами нитку и встала с колен.

Команда выстроилась у входа. Мартин Юнг на корточ-

ках осматривал обувь игроков. Он лезал рукой внутрь бутсов в самый носок, щупал пальцами, нет ли гвоздей, глядел, хорошо ли прилажены щитки. Старик волновался.

— Ребятишки! — сказал он, вставая. — Мартин Юнг есть спортсмен... Слово, которое выговаривает старый спортсмен Мартин Юнг, есть честное слово. И я буду повторять: «Мы побьем их, детишки, вы играете на гораздо много лучше магнетовцев! У них один Цветочкин. Его надо задерживать, блокировать. Антон — это верно, мастер прима! Но не надо себе вбивать в голову ничего такого. Надо вбивать ему мячи. Я уж давал вам тактику. Мы побьем их, детишки! Или я ничего не понимаю в футболе, и не был тренер Спарты, и не ломал ногу на матче с «Глазго-Ренджерс», и не был великий хавбек, и я не Мартин Юнг, а просто пфу, трепач. Я правильно говорю?»

— Правильно, Мартин Эдуардович, правильно!..

— Только помните, детишки, не надо долго вязаться с мячом. Это не годится. Много ходить тасовать — таш-таш-таш, а потом потерял. Опять буду повторять: наш главный принцип — техника и тактика. Не отдельный красивый трюк, а корпорация. Это понятно? И, пожалуйста, играйте с душком... как это говорится?.. да, да, с душой. Рассержайтесь вы, кашалоты, растоптайте их, сглотайте их с головой. Мы побьем их, детишки, это как пить дать. О!

Он вынул из заднего кармана плоскую фляжку, отвинтил, сконфузился: «Это мой допинг», отпил из горлышка, завинтил, положил фляжку в карман. Он хлопал тыльной стороной ладони животы, трепал ребят по шее:

— Ну, ну, что за меланхолия, трепачи! Вы не на воскресной проповеди, это футбол!..

Баграш вышел из шеренги и стал перед фронтом команды.

— Ну, хлопцы, веселее! — сказал Баграш. — Подбодришь, кашалоты! Я речей разводить не умею, но сегодня скажу вроде Наполеона. Восемьдесят тысяч человек смотрят на нас сегодня с высоты этих трибун. Играем сегодня за наше дело, за нашу дружбу, так? За кубок играем и за человека. Против Антона и за него. Так? Мяча к нему не подпускать. Покоя не давать. Мелкий пас. Короткая подача. Ложные прорывы. Цель — сбить с толку. Так? Цветочкина зажать. Держать по очереди по пять минут — Лепорсков и Загуменный... Ты, Коля, не сиди в офсайде. Всегда

ты там пасешься, а нос у тебя долговат — он у тебя за линию мяча сам заходит... Ну, сказано всё. Выиграть должны — кровь из носу! Выиграть можем! Есть?

— Есть, капитан.

— Ну, а ты, Настюша, ничего не скажешь?

— Мальчишки, вы сами знаете, — сказала Настя и покраснела.

— Ни пуха ни пера, — зашептала Груша. — Да глядите, чтобы Женечку там не зашибли. Вы все какие здоровые, а он вон какой...

— Груша, избавьте меня от ваших забот!.. — взъярился Карасик.

За дверью уже звенела трель судейской сирены.

К дверям раздевалки «Магнето» подошел Ласмин. Он возглавлял целый выводок хихикавших, любопытствующих девиц.

— На футбольном ристалище, — докладывал Ласмин, — еще не выполота романтическая травка. Сейчас я вас познакомлю с последним рыцарем эпохи...

— Посторонним сюда вход запрещен! — сердито сказал Кандидов, захлопывая дверь перед носом Ласмина.

До начала оставалось не меньше часа, но вместительные трибуны были почти уже заполнены. Оркестр сокращал ожидание. Эхо стадиона множило трубы. На бетонных призматических башнях полыхали вымпелы.

Стадион был грандиозен. Вокруг бегового шлакового кольца стелилась бетонная дорога. Это был гоночный трек. На виражах бетон был круто поднят. Поднят и выгнут. Образовалась исполинская ванна — восемьсот метров укладывалось в ее борту. Днище ванны прозеленело футбольным полем. Сочно-зеленое плато было расчерчено белыми известковыми линиями. Поле ждало битвы.

Недавно прошел легкий дождь, и теперь поле было пронзительно зелено, а небо синело во всю силу цвета. Над стадионом вились легкие самолеты. Молнии отблесков пробегали через пропеллер. Почти останавливаясь в воздухе, вознеся над стадионом вертолет-автожир. Он напоминал вентилятор, вставленный в небо. Как будто без него мало было свежести в этом синем просторе.

Маршальские треуголки распорядителей, скроенные из газет, придавали полю батальный колорит.

Зрители были терпеливы. Фанатики зрелища, они были

влюблены даже в самое ожидание. А кто не любит замечательных минут последних усаживаний, споров, пересадок, советов заблудившимся, передачи программ, наводки биноклей, далеких узнаваний, кивков и приветов! Можно не быть болельщиком и знатоком, но нельзя оставаться равнодушным, когда воротам грозит гол, и не разделять трепета сорока тысяч братских сердец, так как половина стадиона стоит горой за ту же команду наверняка! Нельзя не любить этих решительных ребят, вышедших помериться силами в атлетической игре, загорелые лица и полосатые гетры, и рокот моторов в небе, и ритм оркестра, и зелень, и флаги...

Начались соревнования. В гортани радиорупоров со звоном лопнула некая пленка, до этого как бы отделявшая день от официальной части праздника. Вывалился голос, необъятный, повсеместный, но сдавленный, словно на звук наложили железный бандаж. Объявили первый номер состязаний. Это была стометровка. На меловой черте старта четверо преклонили колени. Стартер поднял руку с револьвером. Взлетел дымок. Потом на трибунах услышали выстрел. Четверо ринулись вперед, словно это ими выпалили из пистолета. Победитель, взмыв с разбегу в воздух, порвал и далеко вынес грудью телеграфный серпантин финиша.

Тем временем на поле выкатился огромный мяч — он был выше человека — и лег в центре. Пропела сирена. С двух сторон на мяч набросились одиннадцать человек: желтые и полосато-черные. Это были химики и печатники. Это был пущбол. Надо было выкатить мяч с поля за черту противника. В мяч упирались. Его толкали руками, плечами, под него подлезали, на него карабкались, ложились сверху, с него скатывались. Мяч медленно выпирался вверх, как воздушный шар. Его награждали тумачами. Он катился на вытянутых руках игроков. Потом — всех вас давишь! — мяч садился на траву. Вокруг него опять закипала возня, сопение, а мяч был неповоротлив. Мяч казался добродушным слоном, которого донимало беспокойное двухцветное племя.

На трибунах хохотали. Очень смешно. А ну, ну, химики!..

Но вскоре все уже глядели в другую сторону. Там, где обычно в ваннах бывает отверстие для стока воды, на поле

имелся люк. И вот из этого люка на свет вылезали велосипедисты. Они несли свои машины на плечах. Педали велосипедов беспомощно барахтались в воздухе. Острые лучики спиц вставали над плечами, как штыки. В это время раздался подземный гул. Он созревал, став глухим ревом. Все насторожились. И на бетон выехали мотоциклы. Они сделали несколько неторопливых кругов, разогревая свою горячую кровь. Еще срываясь, стреляли вдруг невпопад выхлопные трубы. Водители раскачивались взад и вперед, понукая, разгоняя, махом своего тела наддавая ходу. Они разминали суставы застоявшихся машин. Но уже бил набатом стартовый колокол, и начиналась гонка. В этой гонке участвовали мотоциклисты и велосипедисты.

Это была гонка с лидерами — самая потрясающая форма современного спорта, самая выразительная и синтетическая. Закачались колени трех велосипедистов. В красном трико, похожий на Мефистофеля, вымчал вперед чемпион Союза. Каждого гонщика поджидал его лидер-мотоциклист. Лидер с ходу брал гонщика под свое покровительство. На руле мотоцикла мерцало зеркальце. Лидер видел в нем лицо подзащитного. Приноравливаясь друг к другу, они разворачивали до отказа пружинную спираль гонки. Мотоцикл гремел впереди. Он разбрасывал вихри в сторону. Он расщеплял воздух. За ним несло разреженное пространство. Спина лидера отбрасывала невидимую полупустотную тень. В бегущей расщелине бешено качал педали велосипедист. Объявленный вне законов сопротивления воздуха, он гнал с нечеловеческой быстротой... 50—60—75 километров в час!

Но тут требовался тончайший расчет: не взять непосильного темпа, не отстать от лидера, не сбиться с разуплотненной струи, надо было пройти двадцать пять километров по кругу. Чемпион — Мефистофель — не торопился. Он даже отстал от других. Он шел, вплотную прижав к лидеру, колесо в колесо. Велосипедист и мотоциклист были неразлучны. Но славу и честь гонки они делили в таких же примерно пропорциях, как певец и аккомпаниатор на концерте. На виражах эта человекомоторная пара взлетала на высоту двухэтажного дома, на самый верх бетонного борта ванны. Машины наклонялись. Они неслись плашмя, лежа в воздухе. Только центробежная сила спасала их от падения и гибели. В сорок секунд они покрыли восьмисот-

метровый круг. Мотор рвался. Красные колени работали, как поршни, с дьявольской бесперебойной машинной частотой. Через каждые сорок секунд проносились они в громе мотора и страшном урагане мышц. И человек у финишного столба, ловя этот промельк, подносил к их мгновенным взорам щиты с убывающими цифрами: 9... 8... 7... кругов оставалось промчаться. Красный гонщик развивал теперь гонку неумолимо и настойчиво, как логический ход. Он обошел одного из соперников, рано выдохшегося, и подбирался к переднему. 5... 4!.. Теперь оба соперника шли почти вровень, выкладывая уже все наличные силы. Но у красного запас был израсходован несравненно меньше. Он крикнул что-то лидеру, подмигнул ему в зеркальце. Он настиг соперника на сумасшедшем разгоне, взлетел к самому краю отвесного борта, ринулся вниз, и они стали уходить — мотоциклист и гонщик — уходить, уходить, непостижимо срастив свои машины. Однако соперник прибавил ходу. Он неотступно следовал за красным, готовый каждую секунду вырваться вперед.

Два!..

Трибуны стали вздыматься. («Садитесь! Садитесь!») Зрители вставали. («Газуй! Вперед!») Стадион вопил. («Жми! Жми!»)

Один!.. Забил колокол... Лидер соперника газанул, пытаясь увлечь своего выбившегося из сил гонщика. Но тот не дотянулся. Его снесло вбок. И тотчас воздух, сомкнувшись, ударил гонщика в грудь, взял за плечи, откинул далеко назад. И все увидели, как беспомощен и жалок тот, покинутый машиной. Красный был недосыгаем. Когда мотор устало стих, стало слышно, как приветствуют пару победителей. Они медленно проезжали вдоль трибун.

ГЛАВА XLII

Генеральный матч (первый тайм)

Но все ждали футбола. Около восьмидесяти тысяч зрителей поглотили последние пустоты на склонах бетонного котлована. Излишки расположились на треке, выплеснулись на виражи. Чудовищный людской массив объят

зеленое поле. Глохла звуки оркестра. Лишь отдельные трубы-высочки, словив акустическую удачу, иногда пронзали гул.

Сидели во всех проходах. Был занят каждый краешек земли, каждая пядь бетона. Добела накален был июльский день. Сверкала белизной на солнце вся отлогость котлована. Жарко — и почти все пришли в белом.

Но вот вышел судья, рефери. Верховный правитель игры, страж ее законов. За ним шагали четыре помощника, четыре флагамена-лайнсмена — судьи на черте. Генеральный матч Спартакиады профсоюзов судил старшина судейской коллегии Севастьян Севастьяныч Буровой. Седой бодряга! Публика приветствовала его появление. Севастьяныча уважали. Его авторитет одинаково признавался как на поле, так и на трибунах. Это был старый замоскворецкий клубмен, один из зачинателей российского футбола. Когда-то он сам («О-го-го-го!») игрывал в известной «Стрекозе», как фамильярно называли «СКЗ» — спортивный клуб Замоскворечья. Потом он планировал, администрировал, строил пролетарские стадионы, организовывал и вел заводские кружки. Он был тонким знатоком игры, но терпеть не мог выступать на всяких диспутах с глубокомысленными темами вроде: «Бегать ли судье по полю или стоять?», «Нужно ли держать свисток во рту все время?..» Матерые чемпионы вроде Цветочкина недолюбливали его. Он не давал запрофессионаливаться, зачемпиониваться. Он знал все повадки и уловки мастаков. Ни один офсайд не ускользал от него: ни подножка, ни коробочка, ни рубчик, никакой потайной номер не мог пройти в его судейство. Он не суетился, но поспеивал распутывать все узлы состязаний. Он свистел редко, скуп, но безошибочно. К черту гнал он с поля ковал и костоломов, как он называл грубых футболистов. Однако Севастьяныч не был сторонником вегетарианской игры. Известно было, что он явился защитником знаменитого параграфа 22, допускавшего некоторую резкость нападения.

В руке судьи покоился невинный решитель судеб игры — круглый кожаный мяч. Севастьяныч нес его, как державу. Потом он бросил его на середину поля. Мяч звенел от напряжения. Его распирали нагнетенный, туго спрессованный воздух. Но нежная резиновая пуповина, через которую насос напичкал мяч упругостью, была пе-

ревязана, скручена и упрятана внутрь. Жестоко зашнурована наружная кожаная сфера, сшитая из восемнадцати долек, похожих на бисквиты. Брошенный Севастьянычем мяч прыгал. Прыжки затухали. В агонии последнего взлета мяч покатился по траве. Его положили в самый центр поля. И он лежал здесь, очерченный магическим кругом, как Хома Брут в гоголевском «Вие».

Выход команд был прост и торжествен. Две стайки игроков — красные и голубые — появились из люка. Выстроившись, они выбежали на поле. Картечь аплодисментов рассыпалась по трибунам. Сто шестьдесят тысяч ладоней отбивали привет героям дня. Имя Кандидова витало над трибунами. Кандидова узнали. Бинокли нашарили его.

На вышке стадиона четыре фанфариста задрали вверх серебряные трубы. Трубачи дули, выпятив щеки. Фанфары упирались в небо, и на небе выдулась радуга.

Летчикам тоже было интересно. И самолеты вычерчивали в небе круги над полем, где в центре уже лежал на траве мяч.

Над мячом капитаны обменялись рукопожатиями.

— Ну, Антон, — сказал Баграш, — давай, чтоб по-хорошему.

— Давай по-хорошему, — сказал Антон.

Кинули жребий. Гидраэровцам выпало играть против солнца.

Антон махнул рукой своим, указывая на тeneвую сторону поля. Команды разбежались, согласно статуту начала. Игроки заняли свои места. Они стояли — одиннадцать против одиннадцати. Красные и голубые. Бутсы подминали траву лунками и шипами на подошвах. Стоял у самого мяча форвард гидраэровцев — Баграш, а по бокам его — Фома и Бухвостов. Им выпал жребий начинать. Стояли треугольником, немного поодаль, защитники — хавы. Застыли беки, бычки-защитники. В воротах в голу переминались с ноги на ногу голкиперы, вратари — ловцы опасных мячей. И стоял в воротах «Магнето» Антон Кандидов — вратарь Республики.

Команды замерли в предначальной исходной расстановке, лицом друг к другу. Они почти смыкались краями нападения. Они были прижаты друг к другу жаждой борьбы и победы. Их сводило ожидание восьмидесяти тысяч.

На южной трибуне зажглись сотни маленьких солнеч-

ных вспышек: это по вынутым из карманов часам отмечали точное время начала. Все оцепенело в тишине. Все смотрели на мяч. Восемьдесят тысяч, затаив дыхание, ждали начала схватки.

Судья взял в зубы свою маленькую сирену. Она состояла, подобно сирене Пана, из четырех трубочек, мал мала меньше. Севастьяныч, пятясь, отбежал от мяча, как от бомбы с уже вставленным запалом. Ожидание нависло над полем. И Груше с Настей казалось, что Севастьянычу стоит только свистнуть, и тишина разрядится чудовищным всепотрясающим взрывом. Легкий тройной мелодический звук сорвал с места все, что было на поле. Тотчас в стильной тишине послышался легкий «тбум» мяча. Это уже была игра.

Груша ощутила нечто вроде разочарования. Сирена пропела, и ничего такого не случилось. Просто на поле произошла разом всеобщая и легкая подвижка. Мяч перешел черту. Так это и есть игра? Но игра лишь занялась, и через минуту ею было охвачено все поле.

С первого же момента болельщикам, давно не видавшим игры гидраэровцев, стало ясно, что это не прежняя команда. Работа Юнга сказала. Под аплодисменты всего стадиона гидраэровцы повели мяч головами. Мяч, не касаясь земли, передавался с головы на голову, пока не дошел до ворот противника. И здесь Бухвостов, напружив шею, виском ткнул мяч. Но Антон спокойно взял его. Гидраэровцы продолжали ломить стеной. Стадион одобрительно загудел. Все первые минуты игры магнетовцы не могли отойти от своих ворот.

Тут надо сказать, что посетители футбольных матчей делятся на две враждебные партии: уважающих авторитеты и любителей неожиданностей. К первым относятся большей частью люди, не шибко смыслящие в игре. Соблазненные своими родственниками, они иногда появляются на трибунах. Но они хотят, чтобы деньги платили не даром, чтобы справедливость восторжествовала. Чемпионы побеждают, авторитет укрепляется. Познания их в этой области скудны: они знают три-четыре имени. Эти имена должны оправдать себя в их глазах. Иначе придется менять косякие приобретенные воззрения на этот счет, запоминать новые имена. Истые же любители, коренные болельщики, большей частью принадлежат ко второй группе. Они всегда

на стороне слабых. Они всегда жаждут поражения чемпиона. Среди них имеет своих приверженцев каждый мало-мальски шлепающий мяч игрок. Болельщики этого класса не признают авторитетов. У них есть свои неведомые любимчики.

Дядя Кеша принадлежал к этой группе, поэтому он всецело был на стороне гидраэровцев. Он неодобрительно поглядывал на игру Цветочкина. Зато гидраэровцы сегодня радовали своей игрой дядю Кешу.

— Пасовочка бисерная, — говорил дядя Кеша. — Гладью вышивают.

Мяч ни на секунду не задерживался у ноги гидраэровцев. Едва дойдя до бутсы одного игрока, он мгновенно переходил к ноге другого. К этому прибавлялся необычайный напор Фомы, Баграша и Бухвостова. Крепкая тройка неудержимо неслась к воротам Антона. Не оглядываясь назад, гидраэровцы пяткой отдавали мяч своим, и действительно там, на месте, стояла подоспевшая полузащита. Она посылала мяч свободному игроку, и атака продолжалась. Гидраэровцы обладали большой «видимостью» на поле. Это был термин Баграша, летный термин. В суматохе игры футболист видит обычно только небольшой участок поля — мяч, свои ноги и ближайшего противника. Баграш на тренировке добивался, чтобы футболист видел как можно больший район игры.

Антон сперва, как обычно, попробовал грызть подсолнухи у стойки, но сразу же бросил и вышел вперед. Положение становилось серьезным. Антону казалось, будто не один, а по крайней мере три мяча находятся в распоряжении гидраэровцев. Мяч мельтешил в глазах. Нельзя было установить, откуда грозит главная опасность. Атаковали со всех сторон, со всех точек, каждую секунду мог последовать удар. У Антона глаза разбегались. Его атаковали всей линией, и мяч далеким и точным посылом ходил от края к краю, сбивал с толку защиту и вратаря. На трибунах глазам своим не верили. Магнетовцы явно терялись. Команда стягивалась к воротам, но гидраэровцы редко били по голу. Это было непонятно. Это осудили на трибунах. Антон не мог нащупать, в чем секрет сегодняшней тактики противника. Это его бесило и тревожило. Когда можно было бить, гидраэровцы не били. Зато внезапно из совершенно невозможного как будто положения, точно пробитый

издалека, мяч грозно и вдруг навешивался в отдаленный угол ворот. Антон едва успевал дотянуться до него. Нельзя даже было уследить, кто ударил...

Начиная с первого свистка, Кандидов не имел ни одной спокойной минуты. Все время ему приходилось быть страшно напряженным, ни на секунду не распускать мышц. Вся его приобретенная тактика летела к черту. Он знал: всегда в команде есть фаворит, которому поручается право решающего удара. У них, в «Магнето», был Цветочкин, у англичан — Бестин, у турок — Вахаб, у «Буйволов» — Бен Хорг. А здесь внимание дробилось, «делилось на пять», как говорил Мартин Юнг. Но Антон все-таки был непробиваем. Дьявольское чутье спасало его. Гидраэровцы не могли долго выдерживать такого темпа. Напор стал постепенно спадать. Магнетовцы немножко освоились. Они стали проходить все чаще вперед, прорываясь иглой к воротам, где, жмурясь от солнца, прыгал Яшка Крайних, похожий на дрозда в клетке. Там, за воротами, стоял Мартин Юнг. Он подбегал к самой «ленточке», кричал, командовал, распоряжался, бранил, умолял.

Но теперь пришла очередь блеснуть Цветочкину. До сих пор он почти не играл, он стоял со своим немножко скучающим видом посередине поля и ждал, когда подвернется удобный случай. В нем был огромный запас совершенно нетронутых сил, и как только ему довелось дорваться до мяча, он развернулся во всем своем блеске и темпераменте. Его уже нельзя было прикрыть. Он мчался по самому краю поля. Игра на краю требовала огромного искусства ведения мяча, рекордного бега, безошибочной точности. Цветочкин играл на правом краю. Он бежал у самой кромки поля, теснимый гидраэровцами. Он вел мяч как бы по горной тропинке. Слева — круча, противник, отжимающий плечо, справа — обрыв игры, аут.

Цветочкин в совершенстве владел искусством гонки мяча по самому краю. Мяч двигался в его мелькающих ногах по сложным орбитам, петлял, верткий, неуловимый для противника. Но, мастерски выведя мяч из лабиринта путаных его ходов, Цветочкин ураганом прошел к воротам и, где-то в воздухе поддев мяч, ударил. На черной доске за воротами «Магнето» моментально появилась белая цифра — один.

— Началось! — говорили на трибунах. — Сейчас пойдет.

Яшка встал, убитый, утирая рукавом лицо, отводя глаза в сторону. Гидраэровцы не смотрели на него. Мартин Юнг пощупал задний карман, отлучился на минуту и вернулся с глазами вялыми и снисходительными. Опоздавший милиционер Снежков пробирался на свое место рядом с дядей Кешей.

— Сколько? — шепотом спросил запыхавшийся Снежков.

— Один на ноль, — сказал дядя Кеша.

— Кому?

— Нам.

Милиционер снял шлем, вытер платком голову.

Забитый противнику мяч немного успокоил Антона, но мало его порадовал. Играя в «Магнето», он утратил чувство команды. Ребята здесь были чужие. То ли дело, когда он стоял в «Гидраэре», на Волге, и за сборную страны. Тогда каждый успех команды, каждый удачный удар, каждый прорыв восхищал его и будоражил. А сегодня он играл за себя одного. Пока что он не показал ничего выдающегося. А вот Цветочкин отличился. Магнетовцы разыгрались. Разом постаревший Мартин Юнг суетился за воротами. Яшка Крайних прыгал теперь в них, как мартышка за вольером. У ворот опять заварилась каша. Цветочкин прорвался. Удар! Штанга... Удар — нога Карасика. Чижов перехватил. Перевод! Цветочкин ударил. Гол! Овация. Счет два — ноль.

Груша плакала. Она не замечала этого, но слезы текли по ее глянцевым щекам. Настя кусала уголок платка. Глаза у нее были пересохшие до рези. Гидраэровцы растерялись.

Цветочкина невозможно было удержать. Опять произошла свалка у ворот. Карасик упал, покрывая телом мяч.

Груша закрыла глаза руками. Услышав свисток, она открыла их. На доске висела еще цифра «два». Карасик, подхрамывая, бежал к середине поля. Первый тайм закончился.

Антон, придя в раздевалку, стащил фуфайку через голову и лег на скамью. Он был недоволен. Ни одного эффектного мяча не было. А устал он, словно три игры подряд выстоял.

В раздевалке гидраэровцев Карасик со страхом ждал разговоров. Ведь второй мяч отчасти был по его вине: срезка у ворот.

В углу, громко глотая, пил из кружки угрюмый Крайнах.

— Антон как сатана берет! — сказал, отдуваясь, Фома. — Ой, дадут нам сегодня чайку попить, Коля!

Бухвостов подошел к Карасику и Яше. Карасик съелся. Грушино сердце разрывалось от жалости.

— Эх вы, маралы, — сказал Бухвостов, — какой мяч пропустили!

— Эх, мазло! — слышались голоса команды.

Карасик молчал, но Яша не выдержал:

— Кто бы говорил, а ты с трех шагов какой смазал! Такое положение было, а ты послал мяч за молочком. Ворота для вас подвинуть надо в сторону, игрок...

Совершенно скисший Карасик подошел к Насте.

— Я действительно мазло... — проговорил он убито.

— Да, вы мазло! — сказала жестоко Настя.

— Я не буду играть! — решительно сказал Карасик.

— Нет, вы будете играть, вы молодец, я вас просто обожаю, Карасик! — Она схватила его за плечи и встряхнула: — Вы будете играть!

— Да, я буду играть.

Но Настя уже разошлась. Она накинулась на гидравровцев:

— Срам, мальчики! Это разве игра? Где у вас темп? Где напор? Вы разве футболисты? Вам плевать на честь Гидраэра! Да разве вам когда-нибудь забить Антону?.. Молодец Антон, что ушел от вас! И я еще уйду, погодите. Стыдно, позор! Все на вас смотрят, а вы?..

Она схватила за руки Фому и Крайнаха. Она тормозила их.

— Мальчики, милые, я вас всех страшно люблю! Только забейте ему, ну хоть один раз, что вам стоит...

— А ну, тихо! — сказал Баграш. — Никого сюда не пускать.

Но дверь открылась и ворвался дядя Кеша. Его не хотели пропустить. Он негодовал.

— Нельзя? — хрипел дядя Кеша, где-то уже успевший подкрепиться. — Кому, спрашивается, нельзя? Мне? Где это видано, чтоб мне нельзя? Молоды вы меня не пускать. Двадцать лет пускают... Эх, игрок! В наше время разве так играли? Сопливые вы еще со мной спорить! Я мячом

ворота сворачивал к чертям собачьим. Мы на тренировке мячи трамвайные с корнем рвали, пропади я пропадом! Дубы гнули, заборы валили, рельсы узлом вязали, из стенки кирпичи высаживали! А это разве игра? Я вот раз, помню, навесил в ходу... Гольмана к чертям сшиб, сетку насквозь, окно вдребезги, собаку насмерть...

— А кто в 1910 году англичанам шестнадцать — ноль продул? — ехидно спросил Крайнах.

— Мало ли что, а судил кто? Так и засудил. Только два чистых мяча и было... А у вас это разве игра? Яички на пасху так катают. Эх, в Уругвай бы вас. Там вот на матче у зрителей шестнадцать тысяч револьверов отобрали. А у нас народ смирный, терпит, как вы мажете. Свечки да свечки... Панихида, а не игра!

У дяди Кеши был свой метод. В душе он до смерти хотел выигрыша «Гидраэра», но считал, что для поощрения необходимо отругать ребят. Его выпроводили не очень вежливо. Потом игроки собрались вокруг Мартина Юнга.

— Детишки, — сказал он мягко, — я очень удивляюсь. Это очень весьма удивительно... Они совсем проигрывают, а вы не хотите выиграть. Вначале вы работали весьма отлично. Я уже смотрел: у Кандидова душка ушла в бутсы. Он сдрейфил. Но потом вы немножко перестали играть в футбол, а стали думать, что это загородная прогулка по свежей травке... Мяч имеет свой натуральный характер. Он не кланяется вам в ножки: «Ах, вот и я!» За ним надо бегать, надо работать, играть надо!

Он мягко журил, давал указания, сделал кое-какие перемещения в команде. Он говорил так спокойно, без бравады, что все ему поверили. Правда, случайно проиграли первую половину. Еще не все потеряно!.. Но Баграш понимал, что выиграть уже невозможно. Отыграть два мяча, вбить решающий третий вратарю, как Кандидов, — об этом нечего было и думать. Только чудо может спасти команду. Нельзя было сказать, что в такие чудеса Баграш не верил. Но он чувствовал себя очень усталым, вымотавшимся. Сказывался возраст. Это не лучшее время, когда он мог играть два матча подряд, поражая всех своей неутомимостью. Время брало свое. Играть было трудновато. Но Баграш был старый игрок и знал, что сдаваться нельзя до последней минуты. До последнего свистка надо играть на выигрыш. Карасик понимал, что кубок проигран. Но, мо-

жет быть, человеку еще удастся кое-что доказать. Один бы мяч! Хоть один, чтобы размочить Антона! Не всю же жизнь стоять ему при счете ноль. Когда-нибудь же пропустит, — почему бы именно не сегодня?!

ГЛАВА XLIII

Генеральный матч (второй тайм)

Сирена вызывала уже на поле. Раздались аплодисменты. Это встречали Цветочкина и Кандидова. Теперь Антону приходилось играть против солнца. Кандидов надеялся, что в перерыве оно уже сядет. Он просчитался — нет еще. Зубчатая тень от тысячи голов, торчавших там, наверху, медленно продвигалась к его воротам. Низкое солнце жгло и кололо глаза. Он полагал, что разбитые гидраэровцы уже не найдут в себе силы для того, чтобы нападать, как в начале игры. Но сразу, вслед за свистком, игра покатилась к его воротам и заметалась перед ним. Антону не давали опомниться. Мяч метался перед воротами. Солнце не давало осмотреться толком. Тень продвинулась, но была еще далеко.

— О, черт, как медленно поворачивается! — услышали запасные магнетовцы, сидевшие вблизи ворот Кандидова.

— Кто поворачивается?

— Да земля эта!..

Его не поняли. Ему показалось, что все сегодня против него. Если бы трибуны стадиона были немножко выше или земля повернулась чуть быстрее, солнце было бы уже загорожено.

На трибунах гудели. Там тоже поняли, что гидраэровцы не смирились, что команда вышла с намерением дорого продать кубок и боролась всерьез. Даже мяч как будто стал злее. Казалось, что он, фыркая, бросается на людей. Антон кидался в самый омут игры. Длинные руки его извлекали мяч из самого пекла, и мяч, казалось, клубился у него в руках. Игра стала резкой. Сразу попадало несколько человек.

— Ну, сейчас пойдет рвачка, — говорили на трибунах.

— Да, это уже сшибачка началась.

— Завтра дрова подешевеют, — сказал дядя Кеша, — пошла рубка, колка... Этот Цветочкин и ковала же!

— Ну, ваши, положим, тоже охулки на ногу не кладут. Им только случай дай подловить — приложат... мое почтение!

Севастьяныч, сторонясь мяча, изворачиваясь, сновал среди разгоряченных тел, как укротитель среди грушны тигров. Он не давал расходиться страстям, почтительные тирады его сирены раздражали публику. Зрители жаждали результата. Они воспринимали свисток судьи как скучное лирическое отступление в авантюрном романе. Всем казалось, что Севастьяныч придирается к Цветочкину.

— Судья подыгрывает! — закричала южная трибуна. — Судья — двенадцатый игрок! Рефери, надень очки! Грób, зола! Вали в крематорий. Касторки судьбе!..

— Замолчь, ты! — кричал дядя Кеша и вставал, оглядывая крикунов. — Ты много соображаешь, сидя тут, шпана!

Карасик играл очень старательно. Он гонялся за всеми мячами, он старался поспеть всюду, где требовалось.

— Чарли Чаплин! — кричали ему мальчишки.

Он не обращал внимания. Его терзало сложное чувство — неистребимая жажда мести Антону и тоска по дружбе с ним. Он страстно хотел победы. Кажется, никогда в жизни ничего он не хотел так... Играя в полузащите, он все время вылезал в нападение. Несколько раз ему удавалось ударить по воротам Антона.

Его обуюла маниакальная приверженность к игре. Он обожал голубые майки и люто ненавидел алые. Но Антон каждый раз из-под самого носа брал у него мяч на лету и, насмешливо, вполголоса сказав: «Пер-Бако это львенок а не ребенок», незаметно для Севастьяныча давал Карасику легкий шлепок сзади. Это было очень обидно для Карасика. Он разъярился. Он падал на траву. Майка его вылезла из трусов. Сверху на него наваливались тяжелые тела. В тоске и удушье он зубами рвал траву, выкарабкивался, вскакивал и, сатанея, гпал мяч к воротам. Только одно желание было у него — вбить, вбить, вбить!.. Во что бы то ни стало вбить этому здоровому, великолепному верзиле.

Вдруг он получил мяч от Фомы и в тот же момент увидел просвет. Впереди никого не было. Он бросился вперед за мячом. Антон ждал удара с другой стороны, от Бухво-

стова, и теперь бежал наперехват, прямо на Карасика. Карасик, на бегу примериваясь, как можно лучше ударить, хотел обойти Антона. На трибунах начали вставать.

— Сажай, сажай!..

Дальнейшее произошло в одно мгновение. Перед самым лицом Жени тело Антона закрыло горизонт, небо, трибуны. Откуда-то взялся Цветочкин. С разбегу он прыгнул на Карасика и всей тяжестью тела притиснул его к Антону, который сделал рывок навстречу. Слышно было, как столкнулись тела. Страшно, по-заячьи, вскрикнул Карасик и плашмя рухнул на траву.

Сразу все остановилось. Севастьяныч свистел.

— «Коробочка»! — раздался в тишине голос дяди Кеши.

— С поля! «Коробочка»! — закричали с трибун.

Да, это была «коробочка». Отвратительный прием — одновременный стискивающий толчок с двух сторон. Карасик неподвижно лежал на траве. Его быстро перевернули на спину. Не дышит. Баграш и Фома, схватив руки Карасика, делали ему искусственное дыхание. По полю бежал со своим чемоданом доктор. Настя и Груша, не чувствуя под собой ног, скатились с трибуны.

Антон нагнулся над распростертым Карасиком:

— Жень, что ты?

— Подлец! — сказал Фома.

— Дохлым играть нечего, — процедил Цветочкин, стоявший немного поодаль.

— Молчи, скот, убили! — шагнул к нему Бухвостов и замахнулся локтем.

— Ну-ну, ты!.. — сказал Цветочкин.

Подоспевший Севастьяныч появился между ними, как арбитр на ринге. Севастьяныч сделал обоим предупреждение.

Карасика вынесли на руках. Фома бережно поддерживал свисшую голову. Антон хотел помочь, но Бухвостов рывкнул:

— Руки прими! Без тебя справимся...

Ребята бережно вынесли Карасика с поля. Трибуны глухо шумели. Севастьяныч был в затруднении. «Коробочка» была явная, но, может быть, не совсем умышленная, может быть, случайная. На трибунах выжидающе и строго молчали. Медлить было нельзя. Оставлять безнаказанно происшествие — тоже. Севастьяныч назначил одиннадцати-

метровый удар в ворота Кандидова. Он принес мяч на штрафную линию. Раздались аплодисменты.

Пока Севастьяныч отсчитывал шаги, дядя Кеша объяснял молодым соседям приемы.

— Какие есть приемы? Разные. Подножка — раз. Подсечка — два. «Ножницы» — это вывих ноги противнику. На «мельницу» еще можно вскинуть: плечом под ложечку и бряк. Тоже ласковый трюк. Бывали еще «подсадки», «рубчик» — гарантированный перелом кости. Ну, а это они, гады, в «коробочку» подловили. Прыжок с двух сторон. Ясно вам это? Ну, это ничего, злее будут.

Карасик лежал на носилках за трибуной. Груша помогла доктору снимать с Жени майку. Жалкий и очень симпатичный, лежал Карасик. Настя склонилась над ним. Доктор успокаивал девушек, сказав, что ничего страшного нет, ребра как будто целы, произошла, вероятно, мгновенная остановка дыхания, короткий временный шок и обморок, вызванный им. Но Настя понимала — теперь Антон вконец отрезанный ломоть. Нечего было и думать о его возвращении. Как она ни держалась, тяжелые капли выкатились из-под ресниц. Одна из них упала прямо на лоб Карасику. Карасик тяжело вздохнул и открыл глаза. Груша радостно вскрикнула.

Карасик смотрел на Настю.

— Это вы на меня наплакали?

— Нет, — смущенно улыбаясь, сказала Настя. — Это, верно, дождик накрапывает.

Карасик мгновенно вскочил на носилках и потянулся к майке:

— Дождик?! Так он нам всю игру испортит!

— Да нет, нет, это был не дождик, — сказала Настя.

— Настя, вы?.. — закричал Карасик и спустил ноги с носилок. — Да я совершенно здоров, во мне сил на двадцать таймов подряд.

Он хотел сделать шаг, но вдруг ужасная боль и удушье стиснули его грудь, и он ничком упал на землю.

Угрюмые, мрачные гидраэровцы выстроились за штрафной линией. Их тянуло взглянуть, как там Карасик, но надо было играть. Пенальти бил Бухвостов. Он применил коварный прием: сделал вид, как будто целится в левый угол ворот, а в самый момент удара сменил ногу и пустил мяч к правой нижней стойке. Едва не обманувшийся,

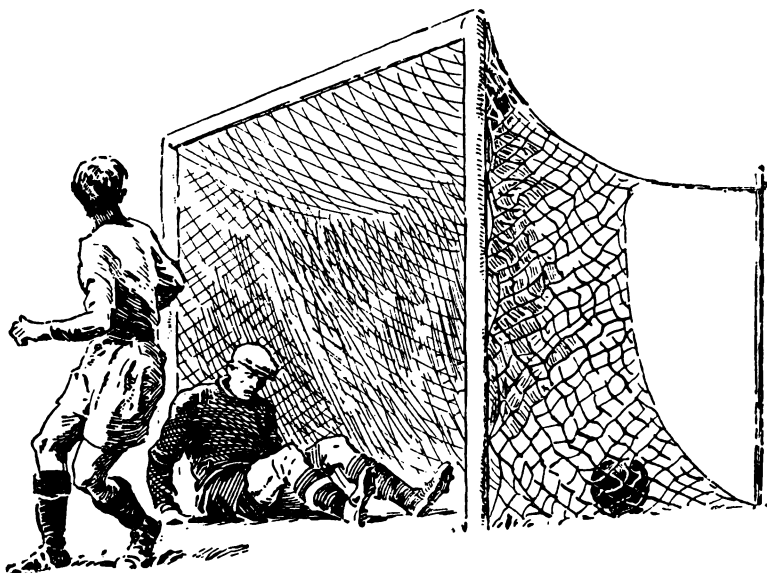
Антон бросился почти наобум, но удержал и почувствовал, как забился в ладонях сильно пущенный мяч. Времени уже оставалось немного. Гидраэровцы же никак не могли примириться с проигрышем. Баграш крепко держал и вел команду. Он видел угнетенное состояние своих ребят, но подметил усталость и смятение Антона. Опарашенный происшедшим, обозленный грубостью ребят, Антон нервничал в воротах. Это не укрылось от Баграша. Капитан заметил, что магнетовцы издали отдают мяч к своим воротам, чтобы протянуть время. Они играли уже не на результат, а на время.

— Смотри, ребята, они на оттяжку играть начинают!— говорил Баграш каждому из своих игроков по очереди. — Мы их причешем за Карасика!

И, собрав все свои силы, он повел мяч с таким напором, с такой решимостью, что Фоме, Бухвостову, а за ними и всем остальным стало совестно. Вот капитан! Насколько старше всех, а не сдает. Напрасно теперь магнетовцы пытались оттягивать игру: играли на аут, посылали мяч Антону. С новой силой вспыхнул порох игры. Линии полузащиты и нападения гидраэровцев покатались на ворота, как валы штормового прибоя. Гидраэровцы хлынули на ворота, как ливень. Антон не мог понять, откуда берутся силы у этой разгромленной команды. Но думать было некогда. Мячи, один свирепее другого, неслись на него. И Антон с ужасом почувствовал, что он сдает... Потрясение и усталость сказались.

— Играйте же! — крикнул он своим защитникам впервые в жизни.

Обычно он даже досадовал, что защитники не подпускают к нему мяча. После краткой стычки у края штрафной площадки вырвался Фома. Он бежал прямо на ворота. Защитники отстали. Никто не мог помешать ему. Положение у Фомы было отличное. Антон видел, что мяч придется ему хорошо под бег. Фома мог ударить с ходу. Антон мгновенно измерил расстояние до бегущего, и вот в тот момент, когда Фома хотел ударить, нырнул ему под ноги. Но за сотую долю секунды до этого Фома перепрыгнул через мяч, отказавшись от верного удара, и пяткой толкнул его набегавшему сзади Бухвостову. Бухвостов пробил по воротам уже невидимый Антону мяч. Это был удар прямой, как выпад шпаги. Холодея всем нутром от мысли, что опоздал,



Антон сделал нечеловеческий рывок в угол. Тело его пересекло ворота, но еще в воздухе Антон почувствовал страшную, убийственную пустоту перед пальцами. Прежде чем он осознал, что не дотянулся, потрясающий рев рухнул сверху и оглушил его, словно землетрясение произошло.

— Г-о-о-л! — ревел стадион. — Го-о-о-о-ол!!!

Антон лежал поверженный, в песке, вытянув руки, зажмурившись. Потом он медленно поднял голову, открыл глаза, сел, оглушенный, плохо соображая, как все произошло. Не хотелось глядеть на белый свет, полный рева и треска аплодисментов. Мяч, закрутив вокруг себя сетку, далеко протаскив ее по песку, лежал запутавшись.

Антон встал с усилием... Служитель стадиона спускался по лесенке, держа в руке большой белый ноль. На щите висела цифра «один». Служитель слез со стремянок и бросил ноль на землю.

О, что творилось! Какой грохот и рев стояли вокруг. Трибуны бушевали. Все ходуном ходило на них. Баграш и Фома трясли руки Бухвостову. Яшка Крайнах сделал

стойку и ходил на руках вверх ногами в своих воротах. Зрители тоже были довольны. Они видели то, что редко кто видал: «сухой» вратарь, «вечный ноль» — Антон Кандидов был размоchen. И кем?! Гидраэровцами, клубной командой класса «Б»! Дядя Кеша сорвал келку и бил ею соседа по голове.

Антон отряхнул песок с колен, выпутал мяч из сетки и с отвращением выбросил его на центр. Вдруг его охватило бешенство. Ладно, он им покажет. Он ходил в воротах от стойки к стойке, как тигр в клетке. Нет, надо совершить что-нибудь неслыханное, как тогда с «Буйволами». Игры оставалось всего шесть минут. Гидраэровцы опять нападали. Антон, выбежав за штрафную, грубо сшиб Баграша. Трибуны засвистели:

— Фью!.. Кандидов, Кандибабкин, Кандибоберов!..

Баграш поднялся и, отходя, хромя, укоризненно сказал:

— Этим не возьмешь, Антон...

Но Антон уже плохо соображал. Ему казалось, что слава, которую он все время крепко, как пойманный мяч, держал в руках, ускользала от него.

Через минуту на ворота гидраэровцев били угловой мяч, так называемый корнер. Все вдруг увидели, что Антон, как на матче с «Буйволами», оставил ворота и вместе со всеми направился к лицевой черте противника. Один из защиты «Магнето», пожав плечами, стал на его место в воротах. Спорить было бесполезно. Команда знала упрямство Антона. Цветочкин блестяще подал из угла мяч. Мяч, описав длинную дугу, опустился прямо на ворота гидраэровцев. Чижев принял удар, но Яшка отбил. Чижев носком легонько поддал мяч к воротам. Кандидов стоял впереди, у самой стойки. Он прыгнул. Седая прядка его взметнулась. Мяч от его головы влетел в ворота гидраэровцев. Антон победоносно поднял руку вверх. Раздались аплодисменты. Но хлопки были неуверенные, у аплодисментов был слишком высокий тон: хлопали только мальчишеские ладони. Руки болельщиков оставались неподвижными. Севастьяныч взял мяч и положил его перед воротами.

— Офсайд! — вопил дядя Кеша.

Аплодисменты стихли.

— Какой такой еще офсайд? Что за петрушка? Чистый

гол! — возразил Кандидов и, взяв мяч, хотел нести его на центр.

— Вы были вне игры, — объяснил Севастьяныч, беря у него из рук мяч и кладя на землю.

У мяча грозно стали гидраэровцы.

— Да пошел ты еще! — пробормотал Кандидов Край-наху и нагнулся за мячом.

Яшка не давал мяча.

— Ты что, сдурел? — спросил Кандидов и толкнул его плечом.

— Кандидов, я вас предупреждаю! — сказал Севастьяныч.

— Подыгрывать взялся?! — прошептал с бешенством Антон.

— С поля! — кратко приказал Севастьяныч.

— Ты что?

— Вон сейчас же с поля!

Тут только Антон опомнился. Фома взял у него мяч из рук и добродушно помахал рукой:

— Иди, иди, попей чайку, очухайся!

Сперва раздался свист, потом стало очень тихо. Стадион молчал. В тишине уходил Антон с поля. Игра продолжалась. Цветочкин принял на себя капитанство. В голу стал Чижов.

Гидраэровцы нападали с новым рвением. Тут всем стало видно, как опасно строить игру на одном человеке. Как только Антон покинул ворота, в команде «Магнето» начался полный развал. Напрасно Цветочкин пытался сохранить хорошую мину, подбадривал партнеров и ругал их последними словами. Уже через две минуты в осиротевшие ворота, где Чижов метался беспомощно, как холостяк, случайно оставленный на кухне, влетел от ноги Фомы новый мяч. Счет сравнялся. За две минуты до конца Баграш, красиво обведя двух защитников, тряхнул стариной, засадил великолепный шут. Это был решающий, третий гол. Теперь Чижов метался в воротах, как пассажир на тонущей палубе. Спасительный свисток Севастьяныча избавил магнетовцев от дальнейшего позора. Старые футболисты «Магнето» выбежали на центр. Они привыкли к превратностям судьбы. Несмотря на отчаяние — упустили верную победу и кубок, — они нашли в себе силы посередине поля мужественно, хотя и вразброд, прокричать «Физкульт-ура!»

«Гидраэру». Те отвечали дружными голосами, полными великодушия и восторга. И, тесно обнявшись, победители побежали к люку.

Трибуны стояли. Покрывая гул оаций, радио провозгласило: «Большой кубок Спартакиады профсоюзов выиграла команда Гидраэра».

У дверей раздевалки Мартин Юнг целовал каждого и спрашивал:

— Ну что, Мартин Юнг — трепач? Сами вы трепачи!..

Когда в молчании стадиона изгнанный из игры Антон прошел через толпу стоящих зрителей, все ему уступали дорогу. Милиционеры очищали путь. На него смотрели кто с насмешкой, кто с сочувствием. Антон шел и выдыхал воздух коротко и сильно. В нем еще все клокотало. Мышцы его не мирились с покоем. От него шел пар. Казалось, он дымитя, как человек, выскочивший из пламени и обданный холодной струей. Лицо его потемнело, скулы обтянулись, словно обуглились. Крупные капли пота затекали за ворот свитера. Он зашел в раздевалку.

Пусто...

Доносился гул стадиона сверху. Он лег ничком на скамью. Все кончено, все кончено... Развенчан, опозорен, размоchen. Сколько бед на одного! Карасик... Гол... Ах, ты!.. Хорошеньких дел он натворил. Что он там такое наболтал? И выгнали, как мальчишку, как школьника из класса. Над головой, на трибунах, затопали, закричали. Наверное, еще гол. Что скажет Цветочкин? Какими глазами посмотрит на него теперь команда? А впрочем, черт с ними. Все равно...

Как произошла эта проклятая «коробочка»? С нее все и началось. Припомнился странный взгляд, которым обменялись Чижев и Цветочкин в начале игры. Страшное подозрение... Может быть, они нарочно... «коробочку»? Он вскочил. Скорее вон отсюда. Он стал поспешно одеваться. Узнать бы, как Женька. Опять над головой все загромыхало, загудело, пошло ходуном... Косой потолок готов был провалиться.

Когда Кандидов вышел с чемоданчиком, с поля доносились свистки и аплодисменты. Он удалился в пустую уборную и простоял там все время, пока слышал голоса гидраэровцев. Дверь дергали. Кто-то возмущался: «Кто там засел так долго?» Потом все стихло. Он вышел. Стадион

истек и опустел. День выходил через северные ворота. В южные вползал вечер. Стыли скамьи амфитеатра. На огромном порожнем стадионе Антон почувствовал еще острее свое одиночество.

Над воротами снимали доски с цифрами: «три» и «два». Это был счет проигрыша.

Дружно выстроившись, выходили через ворота, все в белом, милиционеры оцепления. Тащили из буфетов в корзинах пустые бутылки из-под сидро. Все было выпито до дна.

С флагштока главной мачты медленно пополз вниз флаг Спартакиады профсоюзов. С ним, скользя голубой тенью по полированному флагштоку, спускался прохладный вечер. Все было кончено.

ГЛАВА XLIV

Вне игры

Антон проходил мимо будки телефонного автомата. Он услышал знакомый лягушечий голос:

— Проигрыш... Про-и-гр-ы-ы-ш объясняется позорным поведением небезызвестного Кандидова, чье чемпионское чванство...

Антон узнал через стекло затылок Димочки. Он яростно потряс рукой будку, едва не повалил ее. Димочка испуганно оглянулся.

— Ах, это вы?.. — пробормотал он, перетрусив, но тут же попытался снагличать: — А, поздравляю «сухого» вратаря с подмоченной репутацией, сик транзит глория мунди...¹ Ничего, Антоша! Пойдем вспрыснем окончательно.

Но Кандидов, с омерзением посмотрев на него, вдруг устремился к воротам. Там со своим портфелем шагал Токарцев.

— Ардальон Гаврилович! — закричал Антон и вдруг тихим, извиняющимся голосом спросил: — Как Карасик?

— Как же это вы, милый человек, дружка-то своего припечатали? Ай-я-яй!..

¹ «Так проходит земная слава» (латинская пословица).

— А как он, Ардальон Гаврилович? Опасно?

— Да, надлом ребра, — сердито отвечал Токарцев. — Грудная клетка слегка помята. Могло быть плачевнее, доктор говорит.

— Ардальон Гаврилович, верьте слову, не было «коробочки», — заговорил Антон, и голос его расщепился. — Я ни сном, ни духом... Сам не понимаю, как эта петрушка случилась. Я выбежал, а тут...

Он в отчаянии развел руками. Руки его бессильно опустились.

Профессор пристально поглядел на Антона:

— Вы сейчас куда?

— Да так, никуда...

— Ну, значит, нам по дороге. Я машину отпустил. Пройтись хотел. Пошли.

Дима вернулся в будку.

Снова соединился с редакцией:

— Алло, нас разъединили.

— Да, телефон пошаливает...

Антон с профессором шли по Москве.

— А верно же, они хорошо играли? — спросил Токарцев.

— Молодцы, дьяволы! — сказал искренне Антон.

Ему хотелось обо всем рассказать этому почтенному человеку.

— Вы понимаете, в чем штука-то, Ардальон Гаврилович? Как вот они забили мне...

— Ну, забили, и всё. Должны же забить когда-нибудь. На то и футбол. Голкиперу вредно философствовать, бросьте!

— Нет, иногда стоит. Да... Я бы на башку свою спорил, что Фома ударит, Русёлкин. Ведь у него положение было какое! Место отличное, лучше не надо. И мяч как раз под правую ногу вышел. Только шутовать, а он взял да в самую последнюю секунду, когда я уже рывок дал, прыг через мяч, пас назад под себя. Я сразу мяч из глаз и выпустил. А там Бухвостов с ходу — раз! — и в угол. Я уж не дотянулся... Это я не знаю. Спасовать другому... Отдать свой верный мяч! Вы знаете, что это стоит форварду? Это просто, верьте слову, ни в одной команде бы не сделали. Они всю мою систему вверх тормашками. Это вот меня и доконало.

— Но вы там тоже засветили головой очень эффектно, — желая утешить, сказал Токарцев. — Я, кстати, не совсем понял, почему не засчитали.

— Говорят, офсайд: я был вне игры. Вот Женька правду говорил — это самое трезвое правило. Вся игральная мудрость футбола в этом параграфе сидит. Примерно так: зарвался вперед игрок без мяча... С мячом-то можно: иди, пробейся, у противника отыграй. Но не вылазь вперед на даровщинку, налегке. Не жди там, если ты за линию мяча зашел. Ты уже у ворот, кажется, и противников нет, и мяч тебе сзади дают свои. Товарищам-то он в поту дался, а ты вали на всем готовеньком. Стоп! Свисток. Офсайд. Ты не можешь бить, нет у тебя права, ты вне игры... Это трудно так объяснить.

— Нет, это мудро, — сказал Токарцев, — хитро придумано.

Они шли уже по Садово-Триумфальной. Токарцев взглянул на часы и заторопился.

— Ну, мне пора, — сказал он.

— Всем вот пора, а мне и спешить некуда. Вот петрушка! Живу я, Ардальон Гаврилович, вроде в офсайте. За линию зашел. Вылез к чужим воротам. Толкусь на готовеньком. Числюсь только на работе, а ведь на деле ни шиша... Сами знаете. Да нет! — воскликнул он, заметив протестующее движение Токарцева. — Я не приbedняюсь, кипер-то я в полном смысле мировой. Таких, пожалуй, и не было до меня. Один голешник — это не в счет. Да ведь все-таки это игрушка, дела-то всерьез настоящего нет.

— Ну, если так рассуждать, мой милый, то и искусство...

— Вы меня не ловите, Ардальон Гаврилович. Вы не думайте, что я вот говорю так, ничего не понимаю. Я читал порядочно. Кипер-то классный, может быть, и у фашистов какой-нибудь выскочит. Я вот видел Планичку, немногим уж мне уступает. А вот, чтобы такое дело было, как у Баграша, у Фомы белобрысого, — это вот совсем новый, иной разговор. Это наш особенный манер. Таких еще не было. Тут игра какое дело делает. На поле они выходят как бригада, а на производстве — команда. Одно к одному. А я вот, понимаете, уж не в самой точке. Вот как-то Карасик говорил: страна не прощает человеку неоправданных надежд. Раз обманувшись, возненавидит... Завидую я ребя-

там. Можете поверить? Ну вот завидую, и все! Вот постовому и то. Он свое место держит, у него пост имеется. Вот заступил, потом его сменят, спать пойдет. Завтра встанет, сапоги начистит, блеск, выправка, держись правой стороны... А мне каждое утро просыпаться страшно. Ни к чему как-то. И людей своих около нет. Настоящего слова не услышишь. Все ахи да охи, вратарь эпохи... А верной руки никто не протянет. Все руки аплодисментами заняты. Хлопают...

Ему было очень нужно так говорить о себе. Он мог бы целую ночь разговаривать вот так. Это давно уже накопело, а теперь прорвалось.

— Ну, всего вам, Ардальон Гаврилович, — сказал он грустно.

Одинокий и бесславный, бред Антон по Москве. Милиционер Снежков стоял у знакомой витрины путешествий. Антон бесшумно подошел. Но и это окно потускнело. Бюро, очевидно, переезжало в другое помещение. Загаженные мухами, поблекли, покоробились плакаты, пожухли краски. Зигзагообразная трещина прошла по стеклу. Опрокинутый табурет валялся в витрине. На сгибах плакатов лежал толстый слой пыли. Скучно было в этом литографированном мире, и сдохшие мухи запутались в паутине у мутного стекла.

— Здорово, постовой! — сказал Антон.

— Здравствуйте, товарищ Кандидов! — встрепенулся милиционер. — Извиняюсь, не признал спервоначалу. Гуляете?

— Гуляю.

Милиционер застенчиво хмыкнул:

— Да, вот и вам вышло пропустить. А сильная игрушка была, жестокая, как вас это... как вы покинули, значит, так ваши и припухли.

Минуту оба разглядывали плакаты.

— Смотрите? — спросил Кандидов сочувственно.

— Да, я тут недавно поставлен. Вот гляжу со скуки, размышляю по ночным обстоятельствам. Много, я говорю, красоты имеется на свете. Домища какие, гляди. Вот пальмы в жаркой природе. Субтропики. Интересно нарисовано. Отправление пароходов. Пассажиры-путешественники. Большое движение всюду наблюдается... Поглядеть бы, я говорю, как там заграничная жизнь происходит.

— Я глядел, нагляделся, — сказал Антон. — Это на картинках красиво выходит, а на деле петрушка.

— Скажите пожалуйста! — сделал озабоченное лицо милиционер. — Кризис, что ли?

— В общем, что посмотреть-то, конечно, есть достаточно. Сперва прямо обалдеешь, а взглядишься — совсем другое дело. Незавидное там житье, друг.

— То-то они к нам ездят, интуристы эти. Значит, наше государство образует мировую достопримечательность.

— Меня переманить хотели, субчики, сто тысяч лир давали, сволочи! — сказал Антон и неожиданно для себя приврал. — Я их как шибанул с лестницы!

— Это правильно! — обрадовался милиционер. — Это я приветствую просто, товарищ Кандидов.

Запахавшиеся Ласмин и Димочка подбежали к Антону.

— Уф! — сказал Ласмин. — А мы вас искали. Нам мальчишки сказали, что вы тут прошли. Популярность!

Антон хмуро посмотрел на него:

— Ну, чего вам?

— Не огорчайтесь, Антон Михайлович, лучше вот поздравьте Димочку, товарищ вам по несчастью: вас — с поля, а его — из редакции! Нахалтурил во вчерашнем отчете о заседании наркомата. Можете себе представить, передавал по телефону своим побуквенным стилем фамилии выступавших... Там некто Седой говорил, Герой Труда... Ну-с, а Димочка наш сообщил: «Семен, Елена, Дмитрий, Ольга, Иван краткий». А проверить не удосужился. Так и напечатали: тов. Иван Краткий.

— Черт подери, — закричал Дима, — из-за этого Ивана Краткого я теперь Иван Сокращенный!

— Вот, — восхитился Ласмин, — учитесь переносить невзгоды!

— Товарищ милиционер, — сказал развязно Димочка. Он был навеселе. — Я имею сообщить строго конфиденциально...

— Пошли бы вы спать, гражданин хороший, — сказал милиционер.

— А я не хочу спать... — сказал Димочка. — Извозчик! — закричал он. — Сколько возьмешь на Луну и вокруг Луны, без пересадки?

— Гражданин, я вторично предупреждаю. До Луны далеко, а отделение тут рядом.

— Милицейская астрономия, — сказал Димочка.

Ласмин положил руку на высокое плечо Антона:

— Ну, что вы тут тоскуете, Антон? Проигрыш переживаете? Плюньте, милый, что за ерунда! Ну, пропустили мяч, бывает. Я понимаю, вас сбила с толку их обезличка в игре.

— Какая, черт, обезличка! — вспыхнул Антон. — Это сыгранность. Каждый свое место чувствует. Играют вместе и каждый по-своему. А наши...

— Ну, один мяч и столько покаянных мыслей! — засмеялся Ласмин. — А что было бы, если бы вам пять вбили?

— Ой, арап, вот арап! Как это вы ловко Карасика! — погрозил пальцем Димочка. — Боб нам потом изображал технику эту...

Антон схватил его за шиворот, поднял и потряс. Рубашка у Димочки треснула, галстук вылез и сбился набок.

— Идите вы все от меня знаете куда? — сказал Антон и, надвинув поглубже шляпу, пошел к трамваю.

Пора было двигать домой. Он вскочил на ходу. Народу в вагоне было немного.

В трамвае властвовал некий франт. У него были самые желтые ботинки во всем вагоне, самые длинные кончики воротничка. Твердый, как яичная скорлупа, воротничок был широк ему. Маленькое желторотое птенячье личико на тонкой шее качалось под мохнатой кепкой с клювастым козырьком.

Все на него глядели. Молодые фабзайцы завистливо шептались, не сводя глаз с его ботинок. Девушки на задней площадке украдкой поглядывали на него через стекла и фыркали в плечо друг другу. Франт ехал с равнодушным личиком. Он будто бы не замечал внимания, но то и дело посматривал на свое отражение в черных стеклах вагона и поправлял галстук. Галстук был завязан в узенькую дудочку у горла и горбом выпирал на груди. По-видимому, молодой человек считал себя личностью незаурядной. Он привык, что на него пялят глаза, и давал всем беспрепятственно насладиться созерцанием его персоны.

Антон вошел в вагон, и франт разом померк. Рост Кандидова, осанка, плечи, заграничная шляпа, касающаяся самого потолка, — все это затмило его убогий шик. Франт тотчас принялся ненавидеть Антона. Он не в силах

был отвести глаз от ботинок Антона — красно-вишневого цвета. А сколько дырочек, разводов было на них! Как толст был серый каучук подошв, настоящий приварной, а не клееный! А шляпа! И чемодан кожаный, украшенный цветными этикетками, как генерал орденами. «Должно быть, иностранец», — подумал бедный франт и подобрал под скамью свои ноги в сразу поблекших ботинках.

Антон взглянул на него, и ему стало смешно и противно. «Тоже вот прославляется, как может, — подумал Антон, — чтобы и он не как все».

В этот вечер все воспринималось с новой и горькой остротой. Так бы Антон и внимания не обратил на этого фертика.

На остановке вошло четверо слепых. Они, вероятно, ехали из гостей, нарядные, немножко выпившие. Антон уступил место.

— Спасибо, — сказал слепец. — Сокол с нашеста — ворона на место. Слепым у нас уважение, зрячим — плохое положение.

Рябой слепец, с толстым носом, исколотым оспой и похожим на наперсток, улыбался в пространство.

— Площадь Ногина! — отдельно, делая ударение на первом слоге, объявила кондукторша.

— Ишь ты, «ноги на»! — сказал веселый слепец. — Зачем мне ноги? Ты бы сказала «глаза на́»! Вот бы я кинулся!..

Слепые смеялись:

— Уж Филат скажет!

Филат, видимо, был записным остряком.

— Тут теперь хорошо, — убежденно и мечтательно сказал вдруг Филат. — Фонари кругом поставлены.

— А тебе какой толк? — сказал высокий горбоносый слепец с противоположной лавки. — Ты-то сам видишь?

— Не вижу, а знаю, — отвечал Филат. — Я вот тебя не вижу, а знаю, что ты рыжий.

Все засмеялись. Действительно, тот был рыжий.

— Мне не видно, а народу светло, — продолжал Филат. — По-твоему соображать, так и солнышку выходить незачем, раз его слепой не видит.

И опять!.. В другое время Антон просто бы подумал: «Вот бойкий слепец». А сегодня все имело особый смысл — люди, дома, слова... И сейчас Антон подумал:

насколько честнее этот слепой многих зрячих, которые, сами не в силах рассмотреть солнце, уверяли, что его нет, и мешали видеть другим. Слова слепца показались ему иносказательными, как слова пророка. Сегодня глаза у Антона подмечали скрытую связь вещей. Словно ключик повернулся в мозгах... И все стало другим боком к нему. Он сошел с трамвая на углу своей улицы. Мимо него, всхлипывая, с подбитым глазом, в рваной кепке, шел мальчишка. Антону захотелось утешить его.

Он положил свою большую руку на голову мальчика:

— Не тужи, друг, пройдет.

— Тебе дела нет, сопливый! — басом сказал мальчишка, резко увертываясь. И, отбежав в сторону, он крикнул: — Вытурили самого, и закройся!

Это развеселило Антона. Он подошел к своему подъезду. В подъезде скулил соседский щенок. Он таякнул, затряс обрубок хвоста, хотел отскочить в сторону — ноги разъехались на скользком кафеле.

— Что, брат, выгнали? — наклонился над ним Антон. — Набедокурил небось, а теперь сам просишься. У, цуцик ты!

Он поднял щенка за шиворот, сграбастав его сзади за толстую складку шкурки. У щенка смешно повисли лапы. Хвостик поджался вверх к брюшку. По пузу шныряли блохи.

— Вот возьму тебя сейчас за шкурку, — сказал Антон и внес щенка к себе наверх.

В квартире было пусто и темно. Хорошо, что он прихватил щенка, с ним не так одиноко.

Антон накрошил хлеба, налил воды в блюдечко и ткнул щенка носом.

— Фью-фью, офсайдик, офсайд, офсайд, — сказал Антон. — Ух ты, офсайдик ты мой, собачура!

Щенок жадно глотал и давился хлебом. Живот его раздулся. Потом щенок свернулся в углу и заснул, урча во сне.

Антон включил радио.

— ...таким образом в финале Спартакиады команда Гидраэра.

Антон выхватил вилку включателя из штепселя: «Нет, никуда не уйти от бесславия».

Он подошел к столу. Он вынул вырезки, почетные

значки, портреты... Нашел Настипу карточку. Положил ее на стол и долго смотрел. Надо бы пойти, да кто поверит? Проиграл, скажут, и просится теперь. Карасик бы понял, но... проклятая «коробочка»! Нет, обратно ходу нет. Некуда податься. Он взглянул на книги. Непрочитанные книги, толстая стопка газет на окне... Черт его знает, прежде работал, так занят был — и как читал, все успевал, а теперь некогда...

У него пересохло в горле. Он поставил на газ чайник. Сиреневый венчик возник и зашумел около поднесенной спички. Чайник легонько зазвенел. Антон поднял щенка, сел, положил кутенка к себе на колени. Усталость легла на затылок, пригнула голову Антона. Так он и заснул, сидя в кресле и держа щенка на коленях.

ГЛАВА XLV

На счете „десять“

Гидраэровцы были несколько смущены исходом их борьбы с Антоном. Весь стройный план их рухнул. Они были обескуражены уже в тот момент, когда Севастьяныч выгнал Антона из игры. Не этого хотели ребята, не этого добивались. После матча их все поздравляли, тормозили, обнимали. Их обступили фотографы, репортеры, интервьюеры. Требовали биографий каждого. Десять было налицо, а одиннадцатая...

— Баграш, какая у Карасика биография? — спросил Бухвостов.

— Пиши просто: малый — золото! — сказал Фома репортеру.

Антон искали и не могли найти. Вечером обе команды были на банкете. Отсутствие Антона беспокоило Баграша.

Команде вручили большой серебряный кубок с фигурой футболиста и прочими спортивными регалиями. На обратном пути домой ребята поссорились из-за того, кому нести кубок. Бухвостов требовал, чтобы дали ему.

— Я ведь забил первый мяч.

— А кто тебе спасовал? — не унимался Фома.

— Ну как маленькие! — сказала Настя.

Она была очень встревожена исчезновением Антона.

Дома их ждал Токарцев. Он рассказал о своей встрече с Антоном.

— У него скверное состояние, — сказал профессор. — Может быть, мне не следует вмешиваться, но, полагаю, сейчас самый подходящий момент. Что? Ну, а мне пора... Будьте здоровы...

Но тут забушевал Бухвостов. В нем еще не опала ярость игры.

— Нет, товарищи, — закричал Бухвостов, — я против! Такого человека... Карасика... Такого человека, который всего себя не жалел, такого товарища он себе позволил... Это он в отместку, нарочно... Если у него нахалява хватит явиться, в рожу плюну, так и знайте!.. И я просто считаю даже по отношению к Карасику неудобно...

— С каких это пор ты таким карасистым стал? — спросил Баграш, подмигивая ребятам.

— С таких вот! — буркнул Бухвостов. — Карасик тоже изменился в нашу пользу. А Кандидов? Вечная склока из-за него, бестолковщина, развал, неразбериха... И вообще я не понимаю таких людей. Это в моторе реверс нужен. А когда у человека в идеологии реверсивная взад-вперед, это, знаете... Вот вкололи ему, так он теперь и проситься будет. Ясно. Это мало радости. Сбили гонору, вышибли с поля. Он, конечно, теперь видит — податься некуда...

— «Коробочки» не было, — сказал Токарцев. — Это неумышленно, произвольно. Что? Я видел э... э... дядю Кешу, вы его знаете, он специалист. Он уверяет, что виноват Цветочкин.

— Оба хороши! — сказал Бухвостов.

— Ну что ж, — начал Баграш, — значит, тогда мы проиграли встречу. Кубок наш, а человека продули. Так? Что же, так и откажемся от него? Распишемся, ничего не подделаешь. Судьба. Так?

Команда молчала. Вдруг Настю словно прорвало.

— Как ты можешь так? — закричала она Бухвостову. — Сами довели парня, затравили... Погодите он еще покажет вам...

Она вдруг заплакала и схватилась за голову:

— Ой, что я говорю!.. Ну товарищи, ну милые, ну что же теперь делать?..

Все молчали и отворачивались смущенно.

Фома подошел к Бухвостову, больно ткнул его кулаком сзади:

— Эх ты, балдиссимус! Чуткости, душевности в тебе вот ни на столько... Настя, ты его не слушай, мы — за!

— Да, полегче, полегче! — сказал Баграш. — Человек не семечки, так, смотри, проплюешься.

— Это, Коля, ты чепушишь! — горячился Фома. — Он же нам, в общем...

Бухвостов стоял потупив голову.

— Товарищи, Настя... Что вы меня каким-то выводите типом... А ты вот чуткий такой, — обернулся он к Фоме, — понять можешь, что у меня ни отца, ни матери, никого своих. Чуткости, говоришь, нет? Мне коммуна наша первый раз в жизни, как своя семья. Я гордиться ею могу. Я за нее горло зубами перегрызу кому хочешь и на даровщину в нее никому не позволю... Ну, я просто боюсь... Боюсь, ребята... Что, я против Антона, что ли? Давайте уж начистоту. Знаю, Фома думает, что это я Настю к Антону ревную. Было, не скрою. Мало, что прежде... Ну, а сейчас это просто смешно. Что я, не понимаю?

— Кончил? — спросил Баграш, когда тот замолчал. — Эх, Коля, Коля! Ты не Настю ревнуешь, ты команду к нему ревнуешь, вот в чем дело. Забыл, что коллектив-то из людей живых составляется. А человека ты и не видишь, нехорошо.

Тут вмешалась Груша.

— Ребята, вы послушайте, — сказала она. — Я Тошку насквозь знаю. Он гордый, срывной. Сколько я с ним арбузов повыгрузила — тысячи! Такого, как он, на всем свете не сыскать. Но только вам тоже к нему с извольте-позвольте не дело идти. Сам отбилсЯ, сам пускай и приходит. Давайте я к нему схожу, вроде как сама по себе, так, мол, и так, порасспрошу, намекну...

Душный и нелепый сон снился Антону. Он шел по берегу Волги. Ноги вязли в горячем песке. И вдруг песок стал зыбким, стал затягивать его. А наверху по увалу шли четыре цыгана. Закат красил их бороды в рыжий цвет. Глаза цыган были закрыты. «Слепые!» — подумал в непонятном страхе Антон... Песок поднимался все выше

и выше, он уже сдвигал грудь. «Карасик! Женька!» — закричал Антон, но никто не пришел. Наверху на скамейке сидела Настя и смеялась. Из реки вышел рыбак с сетью. У него были засученные выше колен штаны. Вода стекала с сухоньких волосатых икр. Рыбак снял сеть. Сеть упала на голову Антона, опутала руки. Он не мог теперь отбиваться от наступающего песка и уходил все глубже и глубже. Песок душил его, звенел в ушах, скрипел на зубах, вваливаясь в рот. Антон рвался изо всех сил, мычал, стискивал зубы. Что-то живое, горячее забилося на его руках. Антон прижал к себе. Надо было открыть глаза, но веки были тяжелы, как железные жалюзи. В руках у него, скул, бился щенок. Антон со страшной натугой наконец раскрыл глаза. Щенок лежал на коленях. Его дергала судорога, слюни текли сквозь оскаленные зубы. Глаза щенка были заведены. Ток судороги пробегал по тельцу, дергал лапку. Антон услышал громкий медный стук.

— Войдите! — закричал он.

Никого. Вдруг он понял, что это стучит у него в ушах. Страшная боль ударила его изнутри по глазам. В эту минуту он ощутил какой-то кисловатый железистый запах. До него донеслось сипение. Он взглянул на плиту. Чайник ушел. Вода залила огонь. Газ натекал в комнату. Антон швырнул щенка на стол, хотел привстать, но ноги еще вязли в песке... И вдруг сладкая вялость подкатила к горлу и подсекла колени. Он откинулся на стул. Надышался. Не естать... «Ну и пусть, — подумал он вдруг. — Прощай, песик. Осклиз вышел». Лампочка тускло горела где-то очень далеко. Он видел только, словно в густом паре, накаливающие нити — серая пелена обволакивала все. Потом она стала сворачиваться в сладкую вату, которая заложила уши, кляпом забила рот, запала в глотку. Что-то мягкое тянуло в темя. Удар был теплый, душный. Он глушил сознание, все стало круто заваливаться за затылок. Его опустошало бессилие. Он опрокидывался во что-то заглатывающее, липкое, без света и дна. Вот уже нет ни рук, ни ног, он уже ничего не может, ничего не знает...

— Я кончился! — крикнул он, чтобы услышать свой голос.

Но это произнесено было словно кем-то другим. С ужасом Антон понял: сейчас он перестает быть, никогда ему не подать голоса. Он отнят, отринут от всех... Это было

самое страшное... И все, что еще жило в нем, содрогнулось, завопило, забилося в смертном неистовстве и страхе.

«Нет, нет! Он не хотел уходить от них. Настя! Карасик! Ребята! Хоть слово!.. Дышать, жить... Настя!..» Хоть руку, хоть слово, чтобы ухватиться, встать, опереться. Он свел всю волю, все остатки сил в желании встать.

— Помогите! — закричал он, но никто не ответил. — Помогите же!.. Люди вы или нет?..

Встать... встать... открыть окно... Он стал приподниматься. В голове перекатывался свинец. Пудовая пломба. И при каждом движении она била в подбровья, валилась в висок. Он уперся в стол, упал грудью. Приподнялся на локтях, потом уперся на ладони, стал обходить стол, держась, качнулся, выправился и сделал шаг к окну. Оставалось еще два шага. Надо было оставить стол. Он наконец решился, отпустил, сделал шаг. Но вдруг что-то тугое коротко и сокрушительно поразило его в темя. Он рухнул вперед, как подсеченный. Он упал, не успев даже согнуться, как боксер на ринге, не чувствуя падения. Холодная жесткая плоскость пола под прижатой к ней скулой и глазом — это было последнее, что он понял.

Он лежал, перегородив телом комнату, распростертый во весь рост. И тут над ним стали бить большие часы на стене. Тяжелый маятник взлетал и опускался, возносился и падал, отсчитывая секунды, как невозмутимая рука судьи на ринге. Первые два удара он не слышал, потом густой звон дошел до сознания. Он напомнил Антону медный тон гонга. Весной Антон, чтобы выработать реакцию и невосприимчивость к ударам, усиленно тренировался с боксерами. И теперь ему показалось, что он получил сильный удар и сбит с ног. Надо встать... Надо встать... Надо встать...

Пол качался под ним, как плот... как плот... как плот. Три!.. Вот так, поднять руку, оторвать от пола, перехватив колено. Четыре!.. О, что в голове творится! Встать. Надо встать. Пять!.. Еще, еще немножко. Шесть! А ну, еще разок, еще! Семь!.. Давай еще... Вот так. Еще давай, чуток... Теперь разогнуть. Упор на ногу. Найти равновесие. Восемь!.. Вот так... Есть, держись, держись!.. Ох, чуть не свалился. Все кругом идет...

Он прынул вперед, повалился на подоконник и обеими руками выбил нараспах окно. Свежий вечерний воздух



ворвался в его отравленные легкие. От боли, расколовшей голову с переносицы к затылку, он снова потерял сознание. Он лежал, навалился грудью на подоконник. Медленно приходя в себя, хватал ртом воздух. Его стошнило. Стало немножко легче. Москва, мерцающая огнями, как гряда раскаленных углей, простиралась внизу. Он с трудом помнил, что произошло. Ему вдруг стало стыдно до того, что он почувствовал колющий жар во всем теле. Силы понемножку входили в него.

Жизнь снова водворялась на свое место в большом его теле. Он добрался до плиты, завернул кран, потом поднес к окну щенка. Кутенок быстро оживал, шатался и слабо лизнул Антона в нос.

Минут через двадцать раздался стук в дверь. Антон быстро оправился, подобрался весь, с трудом побрел открывать.

Вошла Груша. Антон с удивлением, не веря глазам, смотрел на нее.

На Груше было лучшее платье: зеленое, с крупными белыми кружочками. «Бильярд» — называл его Карасик. Груша несла аккуратный узелок. Пухлые губы ее были чинно подобраны.

— Здравствуй, тамада, — солидно сказала Груша и протянула ладонь лодочкой.

— Здорóво, Проторова, — в тон ей отвечал Кандидов. — Присаживайся. Милости прошу.

Сам он давно сидел в кресле. Он не мог стоять. Ему опять делалось все хуже. Колени были мягкие, словно ватные. И пол, утратив свою твердость, казался зыбучим.

Груша развязала узелок. Там аккуратно был завернут

в белую линованную бумагу кусок торта. Розовый и пышный крем лежал на нем, похожий на лепные украшения, какие бывают в больших залах. В узелке были еще два яблока, половинка апельсина, три конфеты в пышных, шуршащих бумажках. Антон, глядя на приторные красоты торта, почувствовал тошноту. Он смотреть не мог на эти сладости. Его опять мучило. Отравы плыла в его крови.

— Вот, ты уж не сердчай, — сказала Груша. — Я тебе гостиничек, не побрезговай. Этим нас на банкете угощали.

«Вот верный человек, вспомнила-таки...» — Антон взволновался. Его тронуло бесхитростное внимание девушки.

— Благодарствую, — глухо сказал он. — Зачем только? Лيشнее тебе беспокойство.

— Ну, пустяки-то! Ешь, крем до чего свежий... Я уже давеча заходила, а тебя нет. Гуляешь все?

— Гуляю, — сказал Антон.

Комната начинала вертеться вокруг него. Он зажмурился. Но тогда начинала кружиться зеленая, искристая тьма в глазах.

— Это ты тут живешь? — спросила Груша, осматривая комнату. — Ничего, обстоятельно... — Она подошла к столу: — Ешь, ешь, ты вон какой плохой стал. — Потом она подседа поближе. — Тошка!.. — Она стыдливо фыркнула.

— Ну чего?

— А у Насти-то на столике портрет твой вырезанный.

— Ври!

Антон приподнялся. В голове у него зазвенело. Он снова сел, внимательно глядя в лицо Груши. Лицо ее двоилось.

— Стану я врать! — И Груша обидчиво поджала губы.

— Бреешь ты, Груша! — с опаской сказал Антон.

— Разорви меня! Честное комсомольское!

— Ой, Груша, врешь! Я тебя знаю.

Антон повеселел. Он уже видел, что Груша говорит правду.

— Ой, вот дурной, а еще вратарь! Она же по тебе знаешь как!.. Да и ребята, как ты ушел... Ой, Тошка, чего тогда было!..

Она всплеснула руками, придвинулась еще ближе. Она заговорщицки оглянулась и скороговоркой, захлебываясь, шепотом сказала:

— Ой, ты только не болтай им, ладно? Это они сами меня к тебе послали.

— А ты не врешь, Аграфена?

Он хотел привстать, но дурпота схватила его за горло и опрокинула.

— Тошка!.. Ой, мамочка, Тошенька!.. Что это по тебе чернота пошла?

Он больше уже не мог держаться. Он валился. Но, теряя сознание, Антон больше всего боялся, как бы не подумали, что он нарочно...

— Груша, ей-богу! Ну поверь... Нечаянно это... Газ нашел... Насте скажешь. А то подумают еще... Вот ведь какая петрушка, понимаешь... — бормотал он, с трудом выдыхая слова.

Груша стала трясти его за плечи. Она расстегнула ему рубашку. Подбежала к водопроводу, налила в стакан воды. Набрала в рот и, сильно дунув, прыснула в лицо Антону. Но он не шевелился. Она кинулась к двери:

— Граждане, есть тут кто?..

Молчание пустой квартиры испугало ее. Секунду растерянно она стояла, прижав руку к щеке. Потом бросилась из комнаты и скатилась бегом вниз по лестнице искать телефон.

Щенок встал на задние лапки, дотянулся до стола, принюхался. Пахло сладко и аппетитно. Щенок добрался до торта. Громко стуча обрубком хвоста о спинку стула, он принялся розовым язычком слизывать крем.

ГЛАВА XLVI

Свидание

Карасик провел ночь спокойно. Боль утихла вскоре после перевязки. Он был туго обмотан, забинтован. Марля стесняла дыхание, но от бинтов было покойно. Правда, боль утихла, но не прошла. Она была где-то недалеко, притаилась и готова была снова броситься когтями на грудь.

Его прямо со стадиона отвезли в заводскую больницу.

Долго перед глазами его стояло лицо Антона, яростное, закрывшее все небо и обрушившееся болью и мраком.

Вечером Баграш добился свидания.

Команда терпеливо ждала у дверей больницы. Баграш сообщил Карасику о победе: три — два. «Тошку размотили».

— Ну, теперь, в общем, помирать можно спокойно, — пошутил Карасик. — Неужели Тошка три мяча съел? — поразился он.

Карасик хотел знать подробности. Баграш замялся:

— С Тошкой конфуз небольшой приключился... Лежи, лежи, так, ничего особенного.

Узнав все, Карасик задумался.

— Поделом Антону, конечно, но...

Карасик в душе был очень зол на Кандидова. И все-таки ему было жаль Антона. Не так было все задумано.

— Эх, это скверно, — сказал он.

— Конечно, неважныецки. Ну, ничего, как-нибудь. Ты дыши, дыши, Карась, набирай духу. Поправляйся. Молодец ты у нас, Евгений!

Он осторожно и неуклюже потрепал Карасика по голове и на цыпочках вышел.

Звонили из газеты, из комитета. Карасик почувствовал себя героем. Вот все его любят. «Пострадал физически, получил повреждение» — как хотите, а это звучит.

За окном, затихая, погромыхивала Москва. Дружелюбно подмигивали ее огни. Нет, он не сердит на Тошку. Игра... Он устроился поудобнее. Мешали бинты. Он подложил руку под щеку, как в детстве. По стене и по потолку прошли веером полосы света. Несмотря на бинты, Жене было очень легко и уютно. Он засмеялся, счастливый, и уснул.

Ему ничего не снилось.

Ночью кого-то занесли, кто-то заходил, что-то двигали. Он слышал это сквозь тьму и сон. Но просыпаться было лень.

Он проснулся, когда стало совсем светло. Утро было необыкновенно светлое, веселое, праздничное, как в детстве, в первый день каникул весной. Он лежал лицом к стене. По стене плыли розоватые и сиреневые отсветы. Стена была словно фарфоровая.

Карасик услышал чье-то дыхание. Осторожно, чтобы не разбудить дремавшей боли, он повернулся. По улице, наверное, прошел стекольщик, и по потолку некоторое

время шатался солнечный заяц с зелено-оранжевым краем...

У противоположной стены стояла кровать. Там спал новый больной. Его внесли ночью. Больной дышал глухо и шумно. Длинные ноги его вылезали за прутья койки.

Голова больного скрывалась за больничным столиком, который стоял между постелями. Карасик стал тихо отодвигать тумбочку. Ему хотелось взглянуть на соседа.

Он увидел мягкую подушку, загорелую шею, страшно знакомую. Забыв о боли, Карасик приподнялся на секунду и успел разглядеть седой клочок на растрепавшейся голове соседа.

Но в ту же минуту Антон пошевелился. Простыня забушевала на нем, как море. Он повернулся, хрустнули кости.

Продрал глаза и уставился на Карасика. Спросонок Антон ничего не мог понять. Он пожевал губами, зажмурился.

Потом снова открыл глаза и со снисходительным недоумением не вполне проснувшегося человека взглянул на Карасика. Он поднял брови, моргнул, рот его медленно открылся и закрылся. Карасик заметил бледность и желтизну его лица, темные, словно закоптелые круги под глазами.

Антон медленно заливался краской. Он засопел. Они долго смотрели друг на друга молча.

Карасику вдруг стало весело.

— Антону Михайловичу, наше вам! — сказал он.

— Здравствуй, Женья... — пробормотал Антон.

Оба одновременно откинулись на подушки. Как дальше говорить, никто не знал. Минут пять они лежали неподвижно и безмолвно.

— Вот, опять встретились, — сказал Антон.

— Да... А ты как сюда?

— А, невезение. Можешь поверить, газ ушел...

Карасик подозрительно взглянул в лицо Кандидова. Антон опустил глаза.

— Женька, — наконец решил он, — не хватит нам в разрывушки играть, а?

— Это твой почин.

— Ну, сдаюсь, сдаюсь, ты выиграл. Достаточно с тебя?

— Эх ты, гад! — сказал Карасик укоризненно, долбя затылком в подушку. — Кого? Меня? Как жука, в коробочку взял.

— Женья, честное слово, непароком... Можешь ты поверить?..

— Все у тебя непароком: и газ и коробочка. Молчи уж, знай, змей ты коробчатый!

Это просто непроизвольно выскочило у Карасика. Он сам не мог понять, откуда пришло ему в голову такое сочетание: змей коробчатый. Само так сказало.

Но от этого восклицания, напомнившего детство, смешное соперничество, оба разом повеселели и обрадовались.

— Женья! Эх, Женька, пойми ты!..

— Ладно уж, черт с тобой! — беззлобно сказал Карасик.

Они лежали друг к другу лицом, испытывая чувство счастливой неловкости, и весело хмурились.

— Женья, — сказал вдруг Антон и плотно прикрыл глаза, — можешь, пожалуйста, ржать надо мной, что я бабой стал. Но знаешь, какой ты для меня есть друг? Самый дорогой ты, родной мне человек из всех на свете. Вот!.. — Он сердито повернулся лицом к Карасику. — Не веришь?.. Не надо.

— Тоша, — сказал Карасик, — Тошка, я же, как дурак, тебя самого люблю, черта!..

Оба не могли больше вмещать в себе всю внезапно забушевавшую нежность.

— Давай, что ль, уже окончательно почеломкаемся, — сказал, приподнимаясь, Антон и спустил ноги на пол.

— Только осторожноенько. У меня ребро... — предупредил Карасик.

Антон сконфузился.

Когда мама Фрума и Груша в дозволенный час, с цветами, кулечками, свертками, пакетиками, бутылками, робко заглянули в дверь палаты, не зная, чем кончилась затея Баграша свести Антона с Карасиком в больницу, они увидели, что Кандидов, набросив на плечи халат, сидит на постели у Карасика.

Друзья вели такой разговор:

— Э-э-э, ты, дурной михрютка, — говорил Антон, — игрок!



— Сам дурак, у-у, обалдуй здоровый! — умиленно отвечал Карасик. — Съел голешник?

Оба крайне смутились, увидя вошедших. Антон нырнул под одеяло на свою кровать.

— А-а-а, — сказала мама Фрума, — вот он, глядите на него... Блудный сын.

— Блудный сукин сын! — сказал Карасик.

— Ну как, заживает, легче?.. — озабоченно спросила Груша у Карасика и сердито повернулась к Антону. — У, травленный! Напугал меня вчера до смерти. Спасибо скажи, что жив остался и глаза твои целы. Я бы тебе их повыдирала, если бы Женечку вовсе убил, оглашенный.

— И когда вы этот пакостный футбол бросите? — говорила мама Фрума. — Что это за интерес, я не понимаю: не выиграл — так огорчение, выиграл — так что из этого?

Потом, хорошея от смущения, Груша сидела у постели Карасика. Она прибрала на столике, поправила подушки и даже отважилась разок погладить ему руку. И всегда это смешило Карасика, а теперь тронуло. Он видел нежный затылок, отягощенный тугим, увесистым узлом волос, подбородок с ямочкой. Большая, сильная, она двигалась легко. Ветерок шел от ее руки. Простая, ясная красота ее, откры-

тая и милая, взволновала сегодня Карасика. Дурак он был, что не хотел замечать ее внимания раньше.

Она вспыхнула и стала прощаться. Карасик задержал ее руку.

Она так покраснела, что даже слезы выступили у нее на глазах.

— Ах вы, Груша, — сказал Карасик, — хорошая вы!

— Женечка, Евгений Григорьевич... — лепетала она, сгорая от смущения и счастья.

Она умоляюще посмотрела на Карасика и оглянулась на Тошку.

— Ну, что барометр? — спросил Карасик.

— Падает, — объявила она таким голосом, как будто это падало ей на голову. — До «пы» дошел. Переменно. Ожидается похолодание, порывистые ветры, низкая облачность, возможны осадки.

— Груша, не верьте барометрам — будет потепление и никаких осадков, — сказал Карасик и торжественно, как королеве, поцеловал ей руку.

Она вылетела из комнаты и чуть не сплибла идущих навстречу Фому и Бухвостова.

Она промчалась мимо них ликующая, тревожная, как пожарная машина.

Ребята остолбенели и долго смотрели ей вслед.

Антон с тревогой посмотрел на дверь. Карасик знал, кого ждет Кандидов. Но ожидания пока не оправдались.

Фома и Бухвостов подчеркнуто поздоровались сперва с Карасиком.

Потом они обернулись и как ни в чем не бывало проговорили:

— А, Антон Кандидов, здорово!.. — и по очереди показали руку Антону.

— С нами, значит, опять?

— Выходит... — сказал Антон.

— Ну, значит, вместе поедem... — начал Фома.

— Фома! — сказал Бухвостов.

— Ну?

— Опять?

— Чего опять? — вызывающе спросил Фома.

— Опять треплешься! Сказано, об этом болтать пока преждевременно.

Оба заговорщика переглянулись, попрощались и ушли.

Теперь вошли Баграш и Настя. Антон побелел.

— Ну, загробный ресторан, встреча друзей, или с того света без билета? — с нарочитой веселостью заговорил Баграш, схватил стул, повернул его сиденьем к постели Карасика и широкими своими плечами загородил весь мир.

«Как?» — спросил он глазами. И Карасик дважды моргнул: все, мол, улажено.

— Так, — сказал Баграш. — Там, кстати, Антон, тебя Цветочкин с Димочкой дожидаются внизу.

— В шею! — сказал Антон нетерпеливо.

— Так? Добро!

Карасику очень хотелось посмотреть, как они там с Настей. Но за спиной Баграша ничего нельзя было увидеть.

— Ну, знаешь наши новости? — спросил Баграш.

— Нет.

— Тебе волноваться — как, ничего, можно?

— Да, можно! Что такое?

— Двухлудочный стоместный экспресс разрешили. Твоя статья подействовала, да и вообще успехи наши... Как считаешь, поднимем?

— Вопрос!.. А ты?

— Еще спрашиваешь... Но крепко придется попотеть. Так? И знаешь, по секрету: намечают мировой поход на нем. Через год, по опробовании.

— Куда, в Батум? — спросил Карасик.

— Заверни подальше: вокруг Европы. Что, здóрово? Только это пока... Понял?

— Ясно! — сказал Карасик.

За крепкой спиной Баграша что-то происходило. Карасик старался расслышать, но Баграш говорил нарочно очень громко. Все-таки Женя услышал отрывки разговора.

— Настя, ну можешь простить? — бормотал Антон. — Я сам не знаю, как это со мной. Осклиз вышел... У нас, у грузчиков, бывает. Только я не могу больше так, один, как собака, без тебя, без наших, Настя... Я же тѣбя...

— Мы вам не мешаем? — спросил Карасик с ехидной деликатностью у тех, что за спиной Баграша.

— Нисколючки, — отвечали там и поцеловались.

Карасик вздрогнул и повернул голову к стенке:

— А играть я, видно, никогда хорошо не буду.

— Ну, это не совсем обязательно, — сказал Баграш.

— Марало я, мазло...

Баграшу захотелось сказать Карасику что-нибудь большое и хорошее.

— Да, — вспомнил Баграш, — кстати, насчет тебя. Я ведь уже толковал с народом. Говорят: пусть подает.

Карасик встрепенулся. Повернул к Баграшу разом загоревшееся и серьезное свое лицо.

— Можешь через меня, — добавил Баграш. — Еще одну рекомендацию нужно. Заявление, значит, и автобиографию приложишь.

— Какая там у меня биография!.. — сказал Карасик.



В

ЭПИЛОГ

сем еще памятен рекордный поход сверхгиссера «Гидразр-10» вокруг Европы — из Балтики в Черное море. В очерках участника похода Евгения Кара (Карасика) были уже подробно описаны и слепая гонка в туманах Балтики и Северного моря, и беспрецедентный уход от настигавшего шторма в Бискайском заливе сквозь смерчи Атлантики, и тяжелая авария в Черном море... Имена Баграша, Русёлкина, Бухвостова, конструктора Валежной, метеоролога Проторовой, Кандидова, Крайнаха и Карасика долгое время не сходили со страниц наших газет.

«Бешеный понтон», «московские близнецы», «скользящие двойняшки» — так называли в зарубежных газетах сдвоенную машину гидразровцев. Формами и линиями своими она напоминала снаряд, пришедший из будущего.

Обо всем этом Карасик обещал написать книгу.

В день традиционного парада московских физкультурников на Красной площади команда гидразровцев должна была участвовать в показательном матче, которым завершался праздник.

Июльский день сжигал Москву. Но, огнеупорные, шли москвичи на площадь.

Томились в зное пепельно-синие ели у священной степы. Густые, медоподобные капли смолы падали со стен Верхних торговых рядов, сплошь завешанных хвойными ветвями. Звезды на башнях Кремля, прозрачно-раскаленные, словно выточенные из пламенеющего угля, прожигали

небо. Накалена была брусчатка площади, и странным казалось, что капли смолы, падая на камень, не шипят. На Красной площади пахло нагретым лесным полднем.

К шести часам закончился марш физкультурных колонн, но на трибунах ждали. И вот тогда от Лобного места покатился огромный зеленый вал во всю ширину площади. Спортсмены разматывали гигантскую скатку. Толстый зеленый войлок лег посередине площади, прикрыв камни.

На обоих краях этого зеленого ковра появились белые футбольные ворота с сетками. Судья выбежал на середину площади и свистнул. Оркестр грянул «Спортивный марш»:

Ну-ка, солнце, ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай!
Эй, товарищ, больше жизни!
Подпевай, не задерживай, шагай.

По Красной площади шла команда гидраэровцев. Впереди, с огромным знаменем, на лазоревом шелку которого был вышит серебряный глассер, шел исполин-вратарь. Пылал красный лак древка. Вратарь нес знамя, немножко наклонив вперед. Все узнали Кандидова. За ним шли в белом Груша и Настя. Они несли на высоко поднятых руках модель сверхглассера. Она отливала серебром в горячем воздухе.

За ними, весь тоже в белом, с большим кубком Спартакиады, шагал Карасик.

Далее следовала тройка нападения — Баграш, Бухвостов, Русёлкин. Они несли вымпелы из зеленого и малинового бархата, штандарты с пышной бахромой — трофеи выигранных мячей и гонок. Сверкало золото реек. Качались тяжелые бронзовые кисти.

Опаленные океанскими ветрами, одутые, овеванные штормами десяти морей, шли прославленные гидраэровцы.

Они выстроились перед Мавзолеем. В габронилитах его матово отражались зелень поля, лазоревые майки футболистов. А оркестры всё играли «кандидовский» марш.

Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идет.

На трибунах тысячи людей подпевали:

Чтобы тело и душа были молоды,
были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода...
Закаляйся, как сталь!

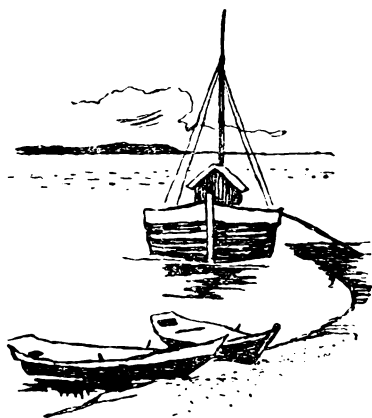
Антон стоял в воротах. За спиной, за футбольной сеткой с крупными ячейками, витой, старый, мозаичный, высился Василий Блаженный. Солнце висело над шпилями Исторического музея и било прямо в глаза. Судья поднес свисток к губам.

Но в эту минуту куранты Спасской башни стали бить время. Они проиграли вступление, потом стали отвешивать мерные удары счета. На последнем ударе судья просвистел.

Матч начался.

Москва, 1932—1937; 1959

Есть на
Вале утёс
Рассказы







2

РАЗДВОЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ

Хорошо помню тот день 1918 года, когда рано утром ко мне прибежал мой одноклассник и приятель Гришка Федоров и первым сообщил, что товарищ Ленин объявил декрет о новом календаре. Мы с этого дня стали жить по новому стилю, сразу перескочив вперед на тринадцать дней. Так как и время тогда по всей Советской России перевели на два часа вперед, то многие у нас в городке еще долго путались в днях и часах. То и дело слышалось: «Значит, я буду в два часа по новому времени, 12 числа по старому стилю...» Слыша это, Гришка приходил в негодование.

— Что это еще за «по старому стилю»? — кипятился он. — Вам что, Ленина декрет не указ? Вы все от старой печки танцевать хотите.

Я привык уважать Гришу. Он был тринадцатилетним сыном маленького сутулого парикмахера и еще при жизни отца, погибшего во время первой мировой войны, научился у него искусству театрального грима. После революции, когда началась гражданская война и пришло голодное время, Гришка ходил подрабатывать на любительские красноармейские спектакли — белил, румянил, наводил брови, расчесывал парики, наклеивал на молодые безусые лица бойцов-любителей буржуйские бороды и старорежимные бакенбарды. Но среди нас, мальчишек, Гришка был известен не только этим.

Календари — вот что прославило Гришку. Он увлекался календарями. Над столом у него висел обычный отрывной календарь. Посреди стола лежал помесячный табель-календарь. А сбоку стоял алюминиевый передвижной календарь с термометром и целлулоидовой пластинкой для записей. Календарь хотя и назывался вечным, но рассчитан был до 1922 года.

Иногда Гришка повертывал диск до предела, и в алюминиевом окошечке появлялась странная, немножко пугавшая нас тогда, словно появлявшаяся из недр будущего, цифра: 1922. Год этот казался нам недостижимо далеким. Нам становилось не по себе, словно мы заглянули в бездонно глубокий колодец...

Гришка и в разговоре любил употреблять словечки из «календарного» обихода. Остановив первоклассника, он спрашивал его: «Ну, маленок, сколько тебе летосчисления? Годов восемь будет?...» А упрекая кого-нибудь в жадности, говорил: «Ишь, какой ты високосный».

В алюминиевом календаре не было красных чисел. Но и в жизни у нас наступили тогда черные деньки: городок наш захватили белые. Гришка, чтобы заработать хоть немного на хлеб себе и матери, поступил подручным в большую парикмахерскую, принадлежащую снова хозяину, у которого когда-то служил Гришкин отец. На квартире у хозяина стоял поручик Оглоухов. Поручика знали и боялись все в городе. Он занимал какое-то важное место в секретном отделе штаба, носил пышные гусарские усы, черные баки, которые, как жирные кавычки, выползли на его щеки: из-под фуражки с белой кокардой выбивался тщательно взбитый черный чуб.

Приближался новый, 1919 год. Как и другие белые

офицеры, Оглоухов хвастался, что встретит Новый год уже в Москве. При этом он любил, больно стиснув своими ладонями Гришкины виски, поднимать его за голову!

— Ну что, уже видишь Москву? — спрашивал он Гришку, который, извиваясь всем телом, тянулся достать хоть носками пол...

В городке теперь все опять жили по старому стилю. Новый календарь был запрещен. Но Гришка на ночь тихонько переводил свой вечный календарь на тринадцать дней вперед, чтобы хоть ночь проходила по ленинскому численнику. А утром приходилось откручивать диск календаря обратно.

— А Новый год, ребята, — говорил нам Гришка, — мы все-таки встретим как полагается, как Ленин в декрете объявил. Повстречаем, как люди. Вот парикмахерскую закроют после работы, так приходите. Мы там, в зале, из фикуса елку сделаем — во!

31 декабря в полутемном зале парикмахерской мы с Гришкой и еще двумя ребятами с нашей улицы тайно встречали советский Новый год. На фикус повесили цветные бумажки, вышедшие из употребления деньги — керенки, пустые ружейные гильзы. Гришка принес свой календарь, и мы в полночь торжественно повернули на алюминиевом календаре рукоятки:

1919

Я Н В А Р Ь

1

Пусто и страшновато было в холодной мастерской. Железная печка-«буржуйка» давно остыла. Коптилка, которая была под елкой-фикусом, отражалась в зеркалах. Огни множились. Казалось, что во все стороны от нас идут длинные коридоры, полные вздрагивающих теней и шатких огоньков. И вдруг в конце одного из коридоров в глубине зеркала мы увидели фигуру поручика Кривчука, помощника и приятеля Оглоухова. Гримаса пьяного недоумения прошла по бритой физиономии офицера. Он двинулся на нас сразу из всех зеркал.

— Эт-то что еще тут за ночное сборище?.. А? В чем дело, спрашиваю? Конспирация?

Вглядываясь сквозь полутьму зала, он покосился тупо

на фikus, обвешанный всякой всячиной, на календарь, в окошечках которого уже красовалась дата нового года — того нового года, который белогвардейцы поклялись встретить в Москве и куда они, как известно, не попали ни через тринадцать дней по старому стилю, ни через тринадцать лет по новому, — никогда! Кривчук шагнул к столику, где стоял возле коптилки заветный Гришкин календарь. Он бы схватил его, но Гришка, рывком наклонившись, снизу изо всей силы ткнул головой офицера под ложечку и выхватил у него из-под самых рук численник. Кривчук вяло взмахнул руками, поскользнулся на линолеуме и грохнулся навзничь. Падая, он ударился затылком о мраморный подзеркальник и остался лежать неподвижно. Мы застыли в ужасе: убили насмерть?!

— Живой он, — тихо проговорил Гришка, склоняясь над упавшим, — это у него только так, помутилось спяну. А вот сейчас хозяин явится, увидит — будет тогда всем нам Новый год... Стой, не трусь, ребята! Ведь вы-то тут совсем неприсутственные. Я за все в ответе. Вы только помогите мне его к жильцу перетащить, к Оглоухову. Он на дежурстве. Хозяин придет, подумает, квартирант пьяный в лежку, — не сунется к нему. А когда его благородие проспится, так и забудет, откуда у него шишка на макушке...

С трудом перетаскивали мы Кривчука в комнату жильца. Долго возились, пока подняли тяжелое тело на диван, где обычно спал поручик Оглоухов. Но пьяный белогвардеец только мычал что-то невнятно. Лысина его поблескивала в полумраке, так как полная луна глядела прямо в окно комнаты.

— Эх ты, все видно, и завесить нечем! — Гришка осмотрелся и сообразил: — Погоди-ка, ребята. Мы его сейчас оборудуем.

Вмиг оказались в руках у Гришки жестяная коробочка с гримом и мешочек со всяким театральным хозяйством. Гришка порылся в нем, вытащил косматый черный парик, ловко нахлобучил на лысину офицера, под носом у него осторожно приклеил лаком пышные черные усы, выпустил чуб на лоб, навел баки. Тот только мычал да изредка отмахивался, как от мухи. И скоро мы прямо ахнули: Оглоухов, пу форменный поручик Оглоухов храпел перед нами на диване!

— Ну, а теперь живо все отсюда! Да и мне надо смазывать, — быстро проговорил Гришка и стал торопливо рыться в кожаной сумке-планшетке офицера. — А бумажки вот эти я прихвачу. Одному человеку может сгодиться. Уж он переправит кому надо... А ведь верно, чистый Оглоухов, — добавил он, еще раз полюбовавшись на свою работу и подправив ус Кривчука, — прямо полное с ним равноденствие, две капли. Пошли!

Но только мы кинулись к двери, как щелкнул ключ в парадном. И тотчас в зал мастерской вошел хозяин, вернувшийся из городского театра, где он по вечерам подрабатывал, гримируя. Хозяин заглянул в комнату жильца и проворчал:

— Опять надежурился, лежит не раздевшись. Хорош! Ну и шут с ним... Гришка, запирай дверь на ночь. А вы пошли отсюда. Чего тут по ночам околачиваетесь?

Но едва было Гришка собрался выпроводить нас, как кто-то оглушительно забарабанил снаружи. Послышалась отчаянная ругань Оглоухова. Ничего не понимавший хозяин, оттолкнув Гришку, распахнул дверь и попятился:

— Ваше высокоблагое... господин поручик... виноват, не заприметил, как вы вышли. Вижу, лежите у себя, того, значит...

— Да кто лежит? Ты что, обалдел, что ли, цирюльник проклятый, лишей стригущий!

Хозяин, бормоча извинения, пятился перед Оглоуховым, открыл спиной дверь в его комнату, впустил — и обомлел: два Оглоухова стояли перед ним в комнате, заполненной отсветами зимнего полнолуния и прыгающим огоньком коптилки. Два поручика Оглоухова, оба чубатые, пышноусые, с баками на щеках. У бедного хозяина коленки подогнулись... Он стал мелко креститься. Но не менее были огорошены и оба двойника. Оглоухов медленно отстегивал кобуру пистолета. А Кривчук с ужасом вглядывался то в Оглоухова, то в большое зеркало на стене, сосредоточенно тыча в него пальцем...

— Николай Станиславович, виноват... Почему это я гляжусь в трюмо сам, а вижу, наоборот, вас? А куда же я сам девался? Объясните, Николай Станиславович, почему я совсем не отражаюсь?.. Вот вы теперь даже два раза отражаетесь, а я ни одного раза...

Тут мы с Гришкой, пользуясь сумятицей, удрали, так

и не дождавшись, как там двойники разобрались в себе и во всем, что произошло.

А Гришка в ту же ночь вообще исчез вместе со своим вечным календарем и бумагами Кривчука. Увидели мы нашего приятеля как раз через тринадцать дней, в тот самый день, который Оглоухов, Кривчук и другие хвастуны с белыми кокардами обещали отпраздновать в Москве... Где им пришлось встретить свой старый новый год, я не знаю. Но на вечном календаре Гришки Федорова, когда он соскочил с площадки ворвавшегося в наш город краснозвездного бронепоезда, глядело в алюминиевые окошечки:

1919

Я Н В А Р Ь

14



Ж

АГИТМЕДВЕДЬ

ОСОБОГО ОТРЯДА

Как-то раз во время своих летних странствий я остановился в одном из приволжских городов. Был воскресный день. Мне надоело слоняться у пристаней, и от нечего делать я пошел в зоологический сад.

Сад был плохонький. Несколько волков бегали за проржавевшими решетками. Рядом на меня уставились пять острых лисьих морд. Были тут еще понурый бизон, несколько журавлей, дикобраз.

Но больше всего народу стояло в крайней аллее, где за частоколом и небольшим рвом сидел под открытым небом большой бурый медведь. Он был дряхл, заметно лысел, и свалившаяся на брюхе шерсть торчала клочьями, как пакля из дивана. Глаза у Мишки были тусклые, безразличные. Он снисходительно оглядывал собравшихся перед ним

людей. Мамаши осторожно держались позади, опасливо прихватив ребят за штаны и платица. Но любопытная детвора так и лезла вперед. Мишка поглядывал на нее и время от времени вставал и начинал часто кланяться. Но делал он это, по-видимому, без всякого для себя удовольствия, а просто так, из приличия, по обязанности. Стоят, дескать, чудаки, смотрят... Ладно, распотешу их немножко. Все-таки ведь деньги платили за вход. И Мишка кланялся. Накланявшись, он некоторое время внимательно разглядывал огромную когтистую лапу свою, гладил себя по уху, а потом, вдруг замерев, принимался, казалось, слушать объяснения экскурсовода.

— Бурый медведь, — говорил экскурсовод, — по-латыни «урзус арктос», распространен почти во всех частях света. В России границы его распространения лежат в пределах почти...

Медведь внимательно слушал ученую беседу, моргал, иногда словно подмигивал...

— Перед вами, — продолжал экскурсовод, — типичный крупный экземпляр среднерусского бурого медведя. Длина его от морды до хвоста — метр шестьдесят шесть сантиметров. Питается медведь...

Медведь слушал недоверчиво, иронически поглядывая то на экскурсовода, то на публику. Экскурсовод говорил безразличным голосом, заученно и скучно. Публика уже не слушала его. Пробравшись вперед, школьники кричали медведю:

— Мишка, поклонись! Мишка, поздравствуйся!..

— А он вовсе и не Мишка, а Потап Потапыч! — сказал вдруг общительный человек с ведром и метлой в одной руке и железным совком в другой.

Он слушал объяснения экскурсовода так же снисходительно, как медведь. Иногда он вздыхал, подмигивал Мишке и качал головой. Это, очевидно, был сторож — смотритель зоопарка.

— Это Потап, — сказал сторож почтительно. — Потап Потапыч Капельдудкин, знаменитейший медведь и славный герой гражданского фронта, как его по-латыни ни обзывай. К нему надо с уважением относиться, а не то что — «Мишка, Мишка»! Ты его попроси вежливо — он тебе и поклонится порядком... А ну, Потап Потапыч, сделай юным пионерам уважение, поклонись, кивни... Ну вот,

видишь? Тут взаимство должно быть. Ты ему, а он тебе... Благодарствуем, Потап Потапыч. А теперь, товарищ Капельдудкин Потап Потапыч, покажите, как вы военно-духовым оркестром музыки управляли!

Медведь встал на задние лапы и, задрав передние, стал плавно качать ими, словно дирижировал невидимым оркестром. Разошедшаяся было публика снова столпилась у рта.

— Отдохните теперь маленько, Потап Потапыч, — продолжал сторож, — а то небось запарились в шубе. Объявляем вам мертвый час.

И медведь послушно вытянулся на земле.

— Дрессированный, видать! — сказал кто-то в публике.

— Не дрессированный, а ученый, — сердито сказал сторож. — Он службу знает. Даром, что зверь, животный, а выслуга лет-то у него любому человеку на зависть. Чай, мы с ним из одного отряда.

Долго упрашивать словоохотливого сторожа не пришлось. Он немного поломался, чтобы набить цену своему рассказу, потом оглядел всех нас, сознавая свое полное превосходство над публикой, поставил на землю ведро и поведал нам необыкновенную историю медведя. Говорил он складно и живо, но за полную достоверность его рассказа я ручаться не могу.

Вот что рассказал нам сторож зоосада:

— Мы стояли тогда в селе Петровском. Отряд наш бился на Уральском фронте. Пришел приказ наутро выступить. Мы собирались улечься пораньше, чтобы выспаться перед походом, как вдруг на улице раздался шум, улюлюканье, посвист. Мы вышли из избы и увидели молодого цыгана. Борода у цыгана была черная, курчавая и лезла прямо чуть ли не из глаз. И весь он был какой-то вороной словно. Черный до синевы, косматый, рослый. Только зубы светились да глаза горели черные. На животе у цыгана висел большой турецкий барабан, за спиной, на загорбке, давя на плечи, сидела шарманка. И большой медведь — не на цепи, а на простой и не очень толстой веревке — следовал за цыганом. Кони наши перепугались, стали рваться с места и сбились у коновязи. Бойцы обступили цыгана с медведем. Все ждали: вот сейчас начнется представление... Но цыган потребовал, чтобы его провели к командиру.

Командиром у нас был товарищ Морковников. Человек серьезный и собой не очень видный. Но выправка у него была отличная, и бойцы уважали товарища Морковникова за прямоту и боевитость. Товарищ Морковников сам вышел на улицу.

— Чего тебе, друг? Что надо, товарищ цыган? — спросил наш командир.

— Примите, товарищ командир, меня в свой отряд! — ответил цыган. — От табора я давно отбился. Имею желание участвовать в Красной Армии добровольцем. Прошу меня зачислить совместно с медведем, — сказал цыган и снял шапку.

— Зачислить-то мы тебя зачислили бы, — сказал товарищ командир Морковников, — но куда мы твоего Мишку подеваем?

— Извиняюсь, — сказал цыган, — извиняюсь, товарищ командир, но это не Мишка, а Потап Потапыч, ученый медведь: он может всякую комедию ломать и продергивать в обидном состоянии, если какие есть трусы, шкурники, несознательные и прочий элемент.

И цыган стал показывать медвежью науку. Шарманка переехала к нему на пузо, цыган подставил под нее деревянную ножку-костыль, а барабан перешел за спину. Правой рукой цыган вертел ручку шарманки, и сквозь разрытое сито на передней стенке ее стали цедиться хлюпающие звуки польки-кокетки. Левой рукой цыган стучал по барабану. Каблук правой ноги он вдел в веревочную петлю и ногой приводил в движение медные тарелки на барабане.

Так цыган заиграл на манер целого оркестра. И под сильные вздохи шарманки, под уханье барабана и ляг тарелок Потап Потапыч встал на задние лапы и прошел сперва военным маршем, потом показал, как баба за водой ходит, а под конец изобразил, как белый генерал у красных «аману» — пощады просит.

— А ну-ка, Потапыч, — сказал цыган, — покажи, как несознательный боец, трус такой, в атаку ходит.

Мишка припал к земле, пополз, да боком, боком, да за избу, притулился за срубом и прикрыл голову лапами.

Тут поднялся такой хохот, что даже товарищ Морковников сказал:

— Фу ты, до чего курьезная зверюга, прямо цирк!

И бойцы стали просить командира, чтобы цыгана зачислили в отряд вместе с медведем. Но положение наше было серьезное. Наутро нам нужно было выступать. С провиантом у нас дело было туго, куда еще тут с медведем! Ведь его кормить сколько надо, а тут самим жрать нечего. И бойцы замолчали, не зная, как быть. Цыган всем очень понравился.

«Видно, хороший парень, вполне нам сродни, хотя и черный такой, — рассуждали про себя бойцы. — Бойкий, боевой, видать по всему, парень».

Тем временем цыган придумал уже новую штуку. Он заиграл вальс «Дунайские волны», а медведь его встал на задние лапы и стал управлять музыкой, как в театре.

— Ах ты, черт тебя возьми! Прямо настоящий капельмейстер-капельдудкин! — смеялись бойцы.

Я тогда был каптенармусом в цейхгаузе. По-русски говоря, каптер. Иногда и за повара. Я стал прикидывать. Как-нибудь, думаю, прокормим. И тут, спасибо, один боец придумал... Это был такой длинный, тощий парень. Плясунком он считался первым у нас. Ноги у него были как будто раскладные — и взад, и вперед, и вбок, и в круг — как угодно он ими действовал. Фамилия у него тоже была смешная — Чебурашкин, а звали мы его все для смеха «Трах-тарарашкин».

Трах-тарарашкин вышел вперед и сказал товарищу Морковникову:

— Дозвольте доложить, товарищ командир. Мы можем вполне тут по военному закону действовать. Как этот зверь, хотя и бессловесный, но имеет в себе большое поднятие духа, которое нам требуется, если боевая операция, то можем, считаю, зачислить его на всякое довольствие при музыкальной команде, по всей форме, как агитмедведя...

Как раз за день до этого у нас на станции остановился агитвагон и давал представление.

Там тоже были всякие танцы с музыкой, и ловкие актеры протаскивали белых...

— А что, — сказал товарищ Морковников, — это действительно мысль! Молодец, Чебурашкин! Егоров, зачисли и пиши: «Зачислен на довольствие один агитмедведь, в скобках: *один*»... А ты, — сказал командир цыгану, — как тебя по фамилии?..

— Шевардин.

— Так вот, друг-товарищ Шевардин, шерсти и на Капельдудкине твоём хватит, а поэтому изволь бороду свою сократить. Что ты такой Жучкой ходишь?

— Не дам бороду! — сказал цыган, и глаза так и занялись у него.

— Что тебе борода? — сказал я цыгану. — Что ты, поп, что ли? Божье подобие соблюдаешь?

Цыган подумал, постоял, посмотрел на медведя, снял шарманку и барабан, потом опять навьючил их на себя, снова снял, сложил все на землю, сорвал вдруг шапку с головы, ударил ее о землю, заплакал и сказал:

— Зови, чертова башка, цирюльника, пусть режет цыганскую мою красоту! Эй, прощай, борода!.. Только пусть ее мне на память отдадут...

Так и стал жить при нашем отряде стриженный цыган с медведем. Я раздобыл краски, мы заново отделали шарманку, замазали на ней принцессу и цветочки, намалевали красные флаги и вывели: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Только с музыкой мы ничего поделывать не могли. Так и продолжала играть цыганова шарманка польку-кокетку, вальс «Дунайские волны», «Маруся отравилась» и другую музыку старого режима. Не было боевого духа в этой шарманке. Но иногда хорошо послушать и грустную песню вечером.

Отличные песни знал цыган! А плясать он умел так задиристо, круто и ходко, что даже Чебурашкина нашего переплясал. Шевардин и Чебурашкин крепко подружились. Только на пляску они были соперниками, и ни один не хотел уступать. Когда они срывались в пляс, казалось, дым сейчас пойдет от их рубах, загорятся сейчас плясуны. Жарко плясали Шевардин и Чебурашкин: один чисто хлещет, а другой, «супорот на пупорот», еще пару поддает. Земля кругом дрожала, все ходуном ходило. У бойцов плечи дергались да пятки чесались. И Капельдудка не отставал от них. Он вставал на дыбки и начинал топтаться. И вот идет медведь по кругу вперевалку, а цыган так и чешет, так и чешет да приговаривает:

Топот, топот у Потапа,
То-то было топоту.
Вот пришел потоп Потапу,
Потонул Потап в поту...

И после такого пляса нам казалось: дай любую позицию — голыми руками возьмем! Честное красноармейское...

С питанием мы кое-как наладили. Я выдавал Капельдудке паяк, как ему определил командир; цыган тоже промышлял, доставал где-то махану, подкармливал своего Потапыча. Мы в то время были оттянуты на резерв, и особенно больших дел у нас не было. Но вскоре нас перебросили к Волге, на самые передовые позиции. И тут Капельдудка наш первый раз показал себя в деле.

Нам нужно было тогда перейти через замерзшую Волгу по льду. А на том берегу белые укрепились. День выдался морозный. Над рекой плыла студеная мгла. Мы ползли по льду, и с нами полз, рядом с Шевардиным, косматый Капельдудка. Его взяли, чтобы веселее было.

Волга в тот год стала неровно. Льдина громоздилась на льдину. Хоронясь по-за льдинами, пробирались мы к тому берегу. И тут нас заметили. Застрочили из пулеметов. Со звоном осыпались срезанные верхушки торчавших льдинок. А потом с горки в нас шарахнули из батареи... Вокруг нас крошился лед, вода дыбом вставала из полыньи. Бойцы падали в воду, течение хватало их за ноги и утаскивало под лед. Но мы все ползли, и с нами полз Капельдудка.

Капельдудка не привык к артиллерии. Как только над нами или поблизости разрывался снаряд, он разом припал ко льду, потом приподымал морду, с опаской осматривался, привставал и топал бегом вперед. А на том месте, где он только что лежал, дымилась лужица. Такая уж у них медвежья натура. Но Капельдудка не был трусом. Нет! Когда передовая цепь доползла до намеченной линии, под самую кручу, где артиллерия нас не могла достать, и товарищ Морковников вскочил и закричал: «Ура! Пошла напрямик», — сейчас же Капельдудка разом вскочил на все четыре лапы, взбодрился и пошел с нами в атаку.

Это было серьезное дело, тяжелый бой. Цыгану тогда легонько прострочило руку, а после боя мы увидели, что левое ухо Капельдудки кровоточит. Рассмотрели мы внимательно и нашли в ухе дырку. Видно, пулей стегануло.

С той поры Капельдудка наш привык к боевым действиям.

Но раз мы попали с ним в такую переделку, что только



Мы все ползли, и с нами полз Капельдудка.

чудом каким-то вылезли целыми. Наш отряд занял у деревни Понурки большое имение графа Валабуева. Отряд наш выбил оттуда противника и пошел его преследовать до леса, а я, как каптенармус, отстал немножко по хозяйственной части. Решил посмотреть, не осталось ли в имении какой провизии. Все сгодится в военное время! И со мной остались Чебурашкин да цыган Шевардин со своим Капельдудкой. Цыган тоже все для своего медведя пропитание искал. Таратайку свою мы оставили во дворе за углом.

Дом у графа Валабуева был просторный, форменный дворец, хотя и пострадал от солдатских постоев: паркетники были всюду выбиты.

Мы подымались по широкой лестнице, и вдруг наш Капельдудка сердито заурчал, вся шерсть ершом встала на нем. Он прижал уши.

Мы взглянули наверх. Там, на верхней площадке парадной лестницы, стоял набитый трухой медведь-чучело. Чучело держало в передних лапах поднос. Сюда, на поднос, бывшие графские гости клали свои визитные карточки. Положение было такое обычно: гости, так сказать, регистрировались, чтобы знать, кто такой пожаловал. И вот для этой надобности стоял на лестнице медвежий болван, чучело набитое.

— Эх, — сказал Чебурашкин Капельдудке, — как же ты, такой агитмедведь, а набитого дурака за своего признаешь?! Не видишь, что вдруг, что так, кто друг, кто враг.

И Капельдудка наш засмутился. Он отвернулся и топтал мимо чучела, как будто не замечая его. Мы прошли наверх и попали в большую приемную комнату... И здесь тоже паркет был выщерблен: верно, паркетинами топили печурку, пристроенную у окна.

Только мы огляделись — под окном раздался топот, и мы увидели, что во двор въехала пятерка конных, а за ними еще трое. У всех были белые кокарды на папах. Значит, попались!.. Верно, белый разъезд наскочил на нас. Что тут делать, куда бежать? Как говорится, слева берег, справа ерик, посредине буерак...

— Тикай, тикай, — сказал я Шевардину, — тикай скорее, цыган, бросай своего Капельдудку, спасай свою человеческую душу!

Но он стал весь синий, ударил себя обоими кулаками в грудь и говорит:

— Ни за что в жизни одного его не брошу!

Он подбежал к медведю, потащил его в угол, поднял на дыбки.

— Потап Потапыч, — сказал цыган, — замри... Цыц и замри!

И медведь встал на задние лапы в угол, а в передние цыган сунул ему поднос. И медведь стал как чучело.

Только мы с Чебурашкиным рванулись в сторону, к окну, как сразу из двух дверей в нас уперлись штыки и дула:

— Руки вверх, кидай оружие!

А какое у нас оружие? Хозяйственная часть, музыкантская команда. Все наше оружие в таратайке осталось. Только у Чебурашкина была шашка, да и где нам троем против восьмерых? Я принял тут два раза по зубам. Цыгана ткнули под сердце наганом, так что он весь скрутился, а Чебурашкина стукнули по затылку рукояткой нагана. И он ударился лицом о подоконник. Мы стояли и молчали. У меня и Чебурашкина все было в крови. Тут вошел их главный, поручик. Он вошел, посмотрел на нас и сказал с видимым удовольствием:

— А, задержали? Отлично. Сейчас я их немножко исповедаю.

Он сел за стол, снял фуражку, пригладил пробор, положил на стол наган, скинул портупею, посмотрел, куда ее деть, и бросил в угол. Он бросил портупею в угол, прямо в нашего Капельдудку. Мы все трое зажмурились. А Капельдудка стоял не шелохнувшись. Капельдудка знал свою службу. Он даже глаза закрыл. И портупея повисла на его лапе. Как чучело стоял медведь. Поручик закурил, расстегнул китель, потянулся на кресле и сказал своим:

— Двое пусть останутся здесь, остальные — марш по дому! Может быть, еще кого-нибудь обнаружим.

Потом он посмотрел на нас.

— Ну-с, — сказал он, — что скажем хорошенького, то-ва-ри-щи?..

И, резко нагнувшись вперед, он бросил за себя, через плечо, папиросу. И горящая папираса с огоньком, раздувшимся в полете, попала прямо в чувствительный нос нашего Капельдудки. И тут наш Капельдудка забыл разом

всякую службу. Он фыркнул, рывкнул и с обиды так наподдал огромной своей лапой сзади поручику, что тот рухнул с кресла на пол. Молоденький адъютант, стоявший у стенки, так и замер. Он ничего не мог понять. Как это может медвежье чучело на людей бросаться? А пока он соображал это, цыган схватил наган, что лежал на столе, выстрелил в поручика и в упор уложил второго... Третий кинулся было бежать с лестницы, но на площадке наткнулся на медвежье чучело. Он завизжал, сослепу ткнул в чучело штыком и завязил его. Застрял на манер пчелы, что всадила жало в густую медвежью шерсть. Пока он силился штык вытащить обратно, винтовка Чебурашкина подстрелила его сверху.

Теперь у нас уже было оружие. Мы стали отстреливаться. По всему дому поднялась пальба. Наши из лесу услышали шум и решили понаведаться, что за ералаш таковой. Так нас и освободили.

Настал голодный год. Мы подтянули животы потуже, но есть все же хотелось, а есть было нечего. Капельдудка наш тоже загрустил. Аппетит у зверя пошибче, чем человеческий. А у меня в цейхгаузе была одна только чечевича да сушеная вобла. Это разве питание для медведя? И вот принялся цыган с Капельдудкой промышлять. На зиму мы стали в бараках у станции Томашинской. Сюда из городов приезжали для товарообмена. Село, и без того состоятельное, пухло прямо на глазах. Провизии там было вдоволь. У станции спекулянты устраивали что-то вроде базара. Мы, что могли по закону, реквизировали, и население из бедняков поддерживало нас кто чем мог. Но район был кругом кулацкий, и действовать надо было очень осторожно. Приказ у нас был строгий, по всей дисциплине, чтобы у населения крошки не брать, ни-ни...

И тогда цыган вот что надумал... Он как будто невзначай спускал Капельдудку с веревки — оторвался, мол, — а сам бегал кругом и искал будто и спрашивал всех: «Не видали ли вы моего медведя, граждане?» А Капельдудка прямым ходом отправлялся на базар и хватал первое, что ему под лапы попадется. Каравай так каравай, нога телячья — так и ногу с превеликим удовольствием. Даже и «мерси» не говорил. Цоп! И бегом к нам. Бабы в визг, кто

куда... А наш Капельдудка — трюх, трюх — дует в штаб-квартиру со всех пяти ног: четыре своих и одна телячья.

А цыган ходил кругом и делал вид, что он сам тут ни при чем, сам он — ни боже мой...

Но однажды какая-то баба уцепилась за свою баранину и ни за что не хотела отдавать ее медведю. Тогда Капельдудка сгреб за тулуп и бабу вместе с бараниной и чуть не уволок ее. Прибежали мужики с вилами. Цыган увидал, что дело плохо. Он мигом явился, схватил за ухо Капельдудку и отнял у него баранину.

— Ах, какая неприятность, — сказал цыган, — и сколько одних огорчений мне этот негодный зверь доставляет! Пожалуйста, извините его, граждане. Вы сознательные, а он что же — зверь, как есть зверь. А баранину я уж на вашем месте ему все равно отдал бы. Она уже замурзанная, захваченная вся. Зараза может быть.

Но мужики пожаловались нашему командиру. Товарищ Морковников примчался к нам в барак, собрал нас всех и пошел патронить.

— Мародерничать? — сказал товарищ Морковников, наш командир. — Кончу я это безобразие или нет? Шевардин, — сказал командир, — ты что же глаза прячешь? Говори все как есть. Да что же это такое?.. Грабежами занимаетесь... Срам, стыд, позор, товарищи, и больше ничего! Притянуть их всех к революционному суду, медвежатников этих!

Суд был устроен в школе на селе. Это был форменный суд, как полагается. Наш трибунал особого отряда судил цыгана, а мы с Чебурашкиным были свидетелями. Народу пришло — ни вздохнуть, ни чихнуть.

За столом, крытым красным сукном, сидели командир товарищ Морковников и двое выборных — один от отряда, а другой от мирного населения. А сбоку стояла скамейка для подсудимых. И там сидел наш цыган Миша Шевардин. Он сидел, голубчик, под стражей: двое с винтовками из нашего отряда стояли по бокам.

Стали разбирать дело.

Товарищ Морковников сказал крепкую речь насчет безобразий, позора и тому подобное. Потом вызвал меня и Чебурашкина как свидетелей. Мы увидели, что дело серьезное, народ кругом нас серчает, и сказали все как есть, чистоту. Тут уж врать было поздно.

— Ну, — сказал товарищ Морковников, — а что нам скажет подсудимый?

Цыган встал и потупил голову.

— Подсудимый, ваше слово! — повторил командир.

— Бэ-э-р-р-р! — раздалось вдруг в сенях.

Народ шарахнулся во все стороны, и, мотая обрывками веревки, прямо по лавкам, раскидывая всех в разные стороны, к скамье подсудимых кинулся Капельдудка. Ах, хитрый цыган!.. Ведь, ясное дело, он Потапыча нарочно гнилой веревкой привязал.

А медведь как ни в чем не бывало сел рядом со своим хозяином у скамьи подсудимых и давай кланяться. Цыган сказал ему что-то на своем языке, и Капельдудка стал кланяться еще лучше.

Все так и покатились.

— Шевардин, призови своего соучастника к порядку, — сказал товарищ Морковников, — а то мы его выведем!

— Бэ-э-р-р-р! — заурчал опять Капельдудка и продолжал кланяться гражданам судьям.

— Матушки, прощенья просит! — заговорили бабы.

И кто имел сердце против Капельдудки, тот уже готов был простить его. Очень уж деликатный и ученый был медведь!

— Судите, граждане судьи, обоих нас вместе! — сказал цыган и припал головой к мохнатой морде Капельдудки. — Оба мы ответчики, я и Потап Потапыч, агитмедведь нашего славного особого отряда...

Но товарища Морковникова этим нельзя было пронять. На него никакой балаган не действовал. Это был серьезный командир.

— Все это очень, конечно, весело теперь, — сказал товарищ Морковников, — все сейчас смеются, а сколько на Красную Армию из-за этих двух голубчиков сказано было? Смех, смех, а революционный порядок прежде всего. Я вот что предлагаю, товарищи граждане. Оба подсудимых, видать, свою вину поняли и прощения просят. А как по-вашему, граждане? Но только я заявляю, что кормить нам зверя нечем, сами еле перебиваемся, а нам скоро опять выступать. Значит, надо зверя выпустить на волю. Зверинцев теперь нет. Следовательно, заведем куда-нибудь его подальше и оставим.

— Правильно! — закричали бабы. — Бог с ним!

— По справедливости, — сказали мужики.

Только бойцы молчали. Жаль было Капельдудку. Все в отряде привыкли к нему. Тихо стало в помещении. Слышно было только, как цыган сопит. Потом цыган встал, обнял опять Капельдудку и сказал:

— Ну что ж, Потап Потапыч, видно, опять нам по большим дорогам вместе придется ходить. А бросить я тебя в жизни не брошу...

И утром ушел цыган. Он ушел вместе с Капельдудкой. Я очень жалел их. Но многие осуждали цыгана и говорили про него сердитыми словами: дескать, непутевый человек, побродяга был и есть. Из-за медведя отряд бросил — такого и жалеть нечего. Но некоторые все-таки сочувствовали и жалели...

А через неделю шли мы с отрядом через лес... и наткнулись у опушки на цыгана. Он лежал, сердечный, при последнем дыхании. Капельдудки при нем не было. И тут Миша Шевардин признался, что не стерпел он одинокой подорожной жизни и подался к нам обратно. Он отвел Капельдудку в самую лесовую гущину и там распрощался с ним.

— Ай, шайтан! — сказал нам Миша Шевардин и застонал. — Нет, видно, плохой я цыган... Гордости во мне цыганской нет.

Узнали мы тут, что Шевардин уже шел к нам, но наравлся на белый патруль. Цыган бросился бежать, да разве от пули убежишь?..

Тут товарищ Морковников попрощался с ним за руку, наклонился, поцеловал его в губы и сказал:

— Нет... ты, цыган, ничего... Ты, цыган, наш...

Так умер наш великий плясун, цыган особого отряда Миша Шевардин. И отряд пошел дальше.

Сколько с тех пор прошло лет...

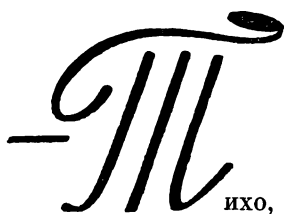
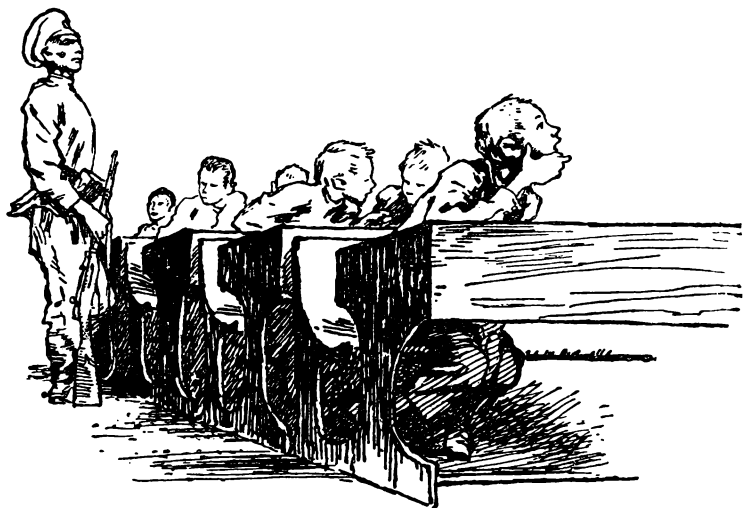
А в позапрошлом году, когда наши терчасти вышли на маневры в том районе, пулеметчики увидели вдруг, что на них напрямик идет медведь. Медведь был старый-престарый. Он еле ногами переступал. На маневрах какое же оружие? Одни трещотки. Пулеметчики стали крутить свои трещотки, а медведь и в ус не дует. Шагает прямо на них. Вдруг услышал он полковую музыку, встал посредине полянки на задние лапы и передними стал править музыкой. Тут как раз проезжал товарищ Морковников. Он ехал

верхом. Лошадь храпела, крутила задом, билась, а медведь стоял посреди полянки и качал лапами под марш. Товариш Морковников соскочил с лошади, подошел ближе, а медведь ему отдал честь. И ухо у него одно простреленное...

Вот и весь рассказ, услышанный от сторожа зоологического сада.

...Медведь вдруг встал, в потухших его глазах загорелся живейший интерес. Он стал нюхать воздух, вытянул морду, поднялся на дыбы и козырнул большой мохнатой когтистой лапой.

Я оглянулся. По аллее зоологического сада шел военный, седой и загорелый, с двумя ромбами в петличке.



ИСТОРИЯ

С ГЕОГРАФИЕЙ

ихо, тихо, ребята! — говорит Петр Никанорович и легонько стучит карандашом по краю стола. — Я ведь все слышу.

И в классе становится очень тихо.

— Нехорошо, ребята, — говорит Петр Никанорович. — Вы что же, хотите, чтоб он обманул меня? Стыдно, ребята!

Класс молчит. Молчит и тот, кому только что подсказывали.

— Так прямо бы и сказал, что не знаешь, не выучил, поленился прочитать. К следующему разу, мол, все буду знать... А то на подсказку надеяться — это уж самое последнее дело.

Петр Никанорович говорит негромко и серьезно. Если бы он закричал, затопал ногами, было бы не так обидно.

А то от этих правильных слов никуда не денешься. Петра Никаноровича очень уважают в школе: когда он рассказывает, в классе так тихо, что слышно, как деревянная указка касается карты. Он рассказывает о городах, реках и горах. Во время гражданской войны он сам брал эти города, втаскивал на эти горы пушки Красной Армии, сам, подняв винтовку над головой, по горло в воде, переходил вброд эти реки. И сейчас, когда в школе устраивается какой-нибудь праздник или большое собрание, Петр Никанорович Бокарев приходит с орденом на пиджаке. В будни он его не носит. Но все и так знают, что у Петра Никаноровича, учителя географии, орден Красного Знамени за боевые заслуги...

— Нехорошо, ребята! — продолжает Петр Никанорович. — Не только меня, себя вы обманываете этой подсказкой. Стыдно! Самое это распоследнее дело.

— Ну да! — раздается вдруг голос с задней парты. — Наверно, когда сами учились, так тоже подсказывали. И вам небось подшептывали...

— Мне? — говорит Петр Никанорович. — Ошибаешься. Никогда! Никогда не подшептывали... Я, брат, так учился, что мне... А впрочем, постойте-ка, постойте! Верно! Было раз... — Петр Никанорович смущенно зажмурился и вдруг весело тряхнул головой. — Подсказали... Но ведь это совсем другое дело было! Мне вот сейчас сорок, а тогда, следовательно, двадцать лет было. Как раз половинку прожил при старом режиме... Это в семнадцатом году вышло. Я еще на фронте был выбран в солдатский комитет, но в голове у меня тогда много было бестолковщины.

А в Питере довелось мне слышать самого Ленина. Первый раз, ребята, я тогда его увидел. Владимир Ильич говорил с балкона. Тысячи людей стояли вокруг меня, и все слушали Ленина. Но мне казалось, что Ильич говорит именно для меня, потому что говорил он так, ребята, словно я ему заранее все свои бестолковые вопросы задал, а он теперь на них ответить взялся. После его речи мне все стало понятно и ясно. Я пошел записываться в большевики. Меня приняли в партию и послали в мой родной город.

В Октябрьские дни, когда в Петрограде и в Москве уже шли бои за советскую власть, началось и у нас, в нашем тихом приволжском городке... У нас был крепкий большевистский комитет, и Совет рабочих депутатов дей-

ствовал тоже неплохо. Но из губернии послали к нам «для порядка» вооруженных юнкеров из офицерского училища на усмирение. Комитет вооружил рабочих. Но до нас дошли сведения, что юнкера пристали на пароходе ниже города по Волге и могут нас опередить, занять выгодные для боя участки. Меня послали разведать обстановку в прибрежном районе города.

Жизнь в городе шла своим порядком. Торговал базар, работали учреждения. В школах шли уроки. Как раз недалеко от берега находилось Высшее начальное училище. Когда я подошел к училищу, то вдруг заметил, что в переулке рядом с ним показались юнкера. Они оцепили район. Хотя я был переодет — знакомый телеграфист дал мне свою казенную куртку, — меня все же могли спалать. Среди юнкеров и офицеров многие знали меня как болшевика. У меня не раз бывали с ними стычки в губернии на собраниях... Юнкера шли прямо на меня. Долго думать было некогда. Я вбежал в подъезд училища. Училище стояло на высоком месте, и в боевом отношении это был очень важный для нас пункт.

В училище шли занятия. Коридор, в котором я очутился, был пуст. Из-за закрытых дверей классов доносились размеренные голоса учителей, слова диктанта, скороговорка таблицы умножения, ребячьи запинаящиеся голоса, отвечающие закон божий. Только из одного класса доносился шум и гул. Двери этого класса были открыты.

В это время у подъезда на дощатом тротуаре зазвенели шпоры, стукнули приклады, затопали тяжелые сапоги... Очевидно, юнкера подходят к школе. Что делать? Куда деться?.. В это самое время из открытых дверей класса высунулся мальчик. Лицо у него было очень знакомо мне.

— Дядя Петя! Вы чего тут делаете? — удивился мальчик.

И я узнал его: Сережа Покатов, сын одного из наших рабочих-железнодорожников. Я часто бывал у Сережиного отца: он тоже состоял в большевистском комитете.

Я быстро, в двух словах, объяснил Сереже, в чем дело.

— Идемте к нам в класс, — зашептал Сережа. — У нас пустой урок: учитель не пришел. Мы вас спрячем. Вы под партией поместитесь?

— Наверяд ли...

— Ну, тогда вы скажите, что вы новый учитель по гео-

графии. У нас теперь бывает, что учителя меняются. А на вас вон и пуговицы золотые, телеграфные. Все поверят. А я дежурный сегодня. Молитву надо читать?

— Да нет, — говорю, — как-нибудь без бога обойдемся. От греха подальше. У вас как, ребята разбираются вообще в делах-то наших?

— Ясно, разбираются! — говорит Сережа. — У нас только один буржуй есть — Семка Скудеев, лавочников сын.

— Скудеев? Так он же меня знает! Я его папашу из Совета выгнал. Мы у него один лабаз под склад заняли. Он же, чертенок, меня выдаст разом!

— Не выдаст... Он у нас и пикнуть не посмеет, — говорит Сережа. — Ничего, дядя Петя, наши не выдадут!

И вот Сережа плетел в класс и, слышу, говорит ребятам:

— А ну-ка, ребята, цыц! Давай тихо... Мигом! Ну? Вот чего. У нас сейчас новый учитель будет по географии. Только он большевик. Его юнкера могут убить. Он против буржуев. Он с самим Лениным знаком. Чур, не выдавать! Кто пикнет, тому — во! И чтоб было тихо, как при настоящей географии...

Вот я вхожу в класс вроде как учитель. Восемь лет в классе не был. Учиться мне до того пришлось лишь два года в приходской школе. Но я стараюсь держаться со всей важностью. А ребята смотрят на меня, хихикают. Однако встали, как полагается, дружно. Сережа, дежурный, подал журнал. Я взгромоздился на кафедру. Сажу как на голубятне, смотрю на всех и, что дальше делать, не знаю. Слышу, в коридоре сапоги топают, позвякивают шпоры. Сережа шепчет: «Дядя, юнкера уже зашли, говорите скорей, будто урок объясняете».

А что я мог объяснить тогда? Вижу: голубой и зеленой краской всякие извилины нарисованы. Только как в них разобраться? И вдруг двери раскрываются, входят офицер и трое юнкеров. Я чуть было по привычке во фронт не стал, но сдержался, усидел.

— Прошу прощения, — говорит офицер и отдает мне честь под козырек, — я должен оставить в классе у окон моих людей. Они вам не помешают, надеюсь? И предлагаю вам продолжать урок своим порядком. Во избежание вредных толков среди населения ни в коем случае не преры-

вать занятий. Повторяю, прошу соблюдать абсолютно нормальный ход учений. Ясно?

Откозырял и ушел. А юнкера остались стоять: один у дверей, двое у окон на улицу.

Стоят, идола, с винтовками и смотрят на меня. И лица у них не из простых: видать, не то из чиновников, не то из конторщиков. С образованием, словом. Как же тут при них урок вести, когда я ровным счетом ничего в географии не понимаю? Тут я догадался.

— Покатов Сергей! — вызвал я. — Что у нас на сегодня задано? Отвечай!

А я знал, что Сережа-то урок наверняка выучил. Отличник, круглые пятерки! На такого положиться можно.

Сережа выскочил из-за парты, подошел к моей кафедре, расшаркался и давай катать без остановки.

— Так, так, — говорю, — хорошо, Покатов! Молодец! Я тебе пять с крестом поставлю. Только не торопись.

Мне нужно время протянуть, а он частит. Вдруг Скудеев поднял руку, а сам косится на юнкеров. «Выдаст, думаю, негодный». Вижу: все к нему повернулись и под партами кулаки показывают — скажи, мол, только!

— Позвольте выйти, — говорит Скудеев.

Нет, думаю, нельзя его выпускать: тут он ребят остерегается, а там сейчас же офицеру все расскажет.

— Сиди, сиди, — говорю, — скоро конец урока, потерпи немножко!

Он посидел немножко, потом, вижу, опять тянется.

— Ну, чего тебе? Сказано: сиди, терпи!

— А я не прошусь, — говорит Скудеев, — я по уроку вопрос имею. Как вон тот горный хребет называется, что сбоку на карте нарисован?

Да... Обернулся я к карте. А карта немая, как на экзаменах. Ничего на ней не написано. Ни буковки!.. Кто его знает, какой там хребет?

И вот тут-то мне, я слышу, класс подшептывает. Ученики подсказывают учителю:

— Становой и Яблоновый... Становой хребет и Яблоновый...

— Ты про какие горы спрашиваешь, Скудеев? — говорю я спокойно. — Про эти? А-а, так бы и сказал. Это Становой хребет и Яблоновый. Тебе надо бы знать это. Вы это давно проходили. Давай-ка сюда свой дневник!

Он оробел, подал мне свой дневник, и я ему влил там такую единицу, что она из географии даже в арифметику влезла.

— За что же единицу? — говорит он. — Вы же меня не спрашивали!

— А за то, что ты таких простых вещей не выучил! — говорю я и шепотом добавляю: — Ничего, ничего, получай, гаденыш!.. — А потом как закричу: — И пошел в угол носом! На уроках ему не сидится... Становые и Яблоневые горы он не знает! Стой до звонка! И чтоб тебя слышно не было!..

Я покосился на юнкеров. Смотрю, стоят навтыжку. Вот я какой строгий учитель!

Ну, тут, на мое счастье, звонок раздался: конец урока. Уф! Я взял журнал, пошел к учительской, зашел за угол, огляделся: в коридоре юнкеров нет — и прыг через окно в сад, благо там оцепления не поставили.

Вот как я провел свой первый урок. И вот как ребята мне подсказали. Не знал тогда, что мне предстоит потом стать настоящим учителем. После гражданской войны пошел я учиться и вот теперь занимаюсь, ребята, с вами... Это что? Звонок был? Видите, когда надо подсказать учителю, что кончать урок пора, вы и не подскажите...



М

ЕСТЬ НА ВОЛГЕ УТЕС

Мало кто знал в городе, где и как потерял свой голос Леонтий Архипкин, по прозвищу Граммофон. А еще меньше было тех, кто слышал когда-нибудь и помнил этот голос. Уже сорок лет Леонтий Архипкин говорил сиплым и шероховатым шепотом, беспрестанно отхаркиваясь и странно курлыкая, словно граммофон, у которого кончилась пластинка, но сбившаяся игла еще царапает круг, мотаясь из стороны в сторону. Однако заволжские старики уверяли, что было время, когда голос Леонтия Архипкина гремел по всей Волге, на Среднем и Низовом плесе, от Нижнего до Астрахани. Не Граммофоном, а Громобоем звали тогда Архипкина — такой грозный и непомерный был у него бас.

Он пел на пароходах и пристанях, в береговых тракти-

рах и чайных старые волжские песни. Рассказывали, что голос у него был так огромен и широк, что когда забирался он ввысь, то люди невольно вставали на цыпочки, словно дотянуться до чего-то хотели, а когда уходил Громобой на самый нутряной басовый низ, то казалось, что не сам он поет, а земля под ним загудела, и слушатели приседали, клонились, словно хотели припасть ухом к береговому песку. Ходил рассказ, как однажды на «Фельдмаршале Суворове» на подходе к Саратову разладился гудок, а двухтрубный «Суворов» знаменит был как самый голосистый пароход на Волге. Случилось плыть в тот раз на «Суворова» Громобоем. Он уже спел все свои песни и, опрокинув в неутомимое горло полбутылки водки, прикорнул на корме под пожарной кошмой, на бухте каната. И будто бы капитан приказал разбудить его, позвал на мостик и стал просить:

— Будь добрым, как к Саратову подваливать станем, погуди, сделай милость! Не пристало «Суворову» молчком подходить!

И, говорят, Громобой потребовал еще полбутылки, освежился немножко и, когда входил «Суворов» через прорану к саратовским пристаням, велел для виду пустить пар через свисток, а сам, опершись обеими руками о медные поручни мостика, дал подходный... Вот какие рассказы ходили про Леонтия Архипкина.

Певал Громобой «Из-за острова на стрежень...», «Меж крутых бережков...», «Жигули», но лучше не было у него песни, чем «Есть на Волге утес...». Его заслушивались на корме палубные пассажиры, слушала с балкона «чистая» публика из первого класса. А он, кончив песню, ртом ловил сыпавшиеся сверху гривенники и, неизвестно куда девая их, щелкал языком, будто глотал, и тотчас запевал новую. Пел он и за проезд, и за водку, пел и просто так, для души, если просил народ — пристанские, водоливы, плотгоны, бакенщики, слушатели хотя и бесплатные, но дорого ценившие песню.

— Ох, зевластый ты! — говорили Громобоем. — Дивное чудо голос у тебя! Учиться бы тебе, Леонтий, так ты в самом императорском театре оперу бы пел. А то пропадешь тут ни за тюнтилюли, даром.

Купцы, слушая Громобоя за стерляжьей ухой и икоркой, не раз обещали определить Леонтия в учение.

Пароходчик Хребтюков однажды взял его с собой в Москву.

Леонтий вернулся через полгода, страшный, помятый весь и потемневший, словно утопленник, вытащенный из-под плиц парохода. Он появился на берегу запухший и молчаливый. А когда заговорил, ахнули все: сгинул голос Громобоя! Только жалкое сипение вырывалось из перекосенного рта... И прозвали тогда Леонтия очень обидно — «Граммoфон». Был Громобой, а стал Граммoфон!

Давно уже забыли в городе, откуда пошло это прозвище. Так и жил Граммoфон, безголосый, хрипатый. Он спился, оборвался, пропадал где-то и снова показывался на берегу. Летом он появлялся в городском саду, продавал мороженое. Он стоял у входа, огромный, широконогий, в просторной толстовке, запрокинув назад кудлатую голову в рыбацкой соломенной шляпе.

— А ну вот хватай, налетай! — надсадно сипел он. — Разбирай последнее, пойду, шабаш! Мороженое с Северного полюса для освежения голоса! Сам Папанин брал, спасибо сказал!

Бурыми ручищами отбивал он дробь на фанерной крышке своего короба, где были нарисованы белый медведь, грызущий ледяную гору, и северное сияние с выгнутой надписью: «Свежее сливочное».

— Граммoфон, дай за восемьдесят! — осаждали его ребята.

И когда, облизывая замлевшие губы, брали они порцию, стиснутую между двух сухих, ломких вафель, он шептал им:

— Помногу-то разом не глотай, а то горло заболит, будешь вот как я...

— Граммoфон, а ты разве от мороженого так? — спрашивали ребятишки.

— От мороженого, детки, от мороженого, да еще от крем-брюле.

К нему все давно привыкли в городе, как привыкли к старой каланче на Колхозной площади, к гудкам лесопилок, к вечернему гулянию на Расходиловке. Считали его придурковатым, чудаком. Так он и жил, никем уже особо не примечаемый, безголосый и почти безымянный, потому что не многие в городе помнили его настоящее имя...

Весной этого года в прибрежном городском саду шла

спевка хора из Заволжанского дома пионеров. Репетировали на эстраде летнего театра, похожей на совок. Остывали нагретые за день скамьи, потянуло прохладой. В аллеях и за деревьями уже темнело, на Волге тягучими голосами кричали пароходы. От ребят пахло гвоздичным маслом и обыкновенным керосином: одолела мошкара — приходилось мазаться. На одной из пустовавших скамеек сидели пролезшие сюда ребята из школьного кружка юных техников: Гора Климцов, толстогубый, пятнистый от неровного загара и купанья, и Витя Шугалов, его худенький, очкастый, насупленный и молчаливый товарищ. Они сидели и насмешничали промеж себя. Они тоже кое-что подготовили к предстоящему смотру. И не какие-нибудь там песни, пляски, детский крик, а радиоприемник особой конструкции, берущий Москву и заграничные станции. Они были убеждены, что настоящее дело только у них, а не у этих пташек певчих...

— А, «профессора» явились! — шипели на них со сцены.

— Цыц, заглохни! — грозил Климцов. — Подумаешь, какой хор имени Пятницкого! «Не тяни kota за хвост»!

— Вот что, друзья, — сказала, высовываясь из-за рояля, учительница Клавдия Петровна, — или чтоб вас не слышно было, или я вас погоню отсюда.

«Профессора» смутились: они не заметили Клавдию Петровну. Торжественно поклялись они, что будут сидеть тихо и даже дышать станут только в себя.

Репетиция продолжалась. Пели ребята хорошо, звонкие голоса их, как стая воробьев, вдруг, по одному движению Клавдии Петровны, разом взлетали и исчезали замирая. Даже «профессора» забыли о том, что пришли позлить певцов, и заслушались сами. Вдруг они почуяли за собой чье-то свистящее дыхание.

Друзья оглянулись.

— Гляди-ка: Граммофон прибыл! Нашим певунам горло мороженым прочищать.

Но Граммофон на этот раз был хотя и не совсем трезв, но очень серьезен. Осторожно, чтобы не зашуметь, он поставил на пол свой голубой короб. Он слушал потупившись, легонько мыча про себя, раскачиваясь в лад с песней. Один раз он чуть было не захлопал, но вовремя спохватился, смущенно закурлыкал и, достав бумажку и табак-полу-

крупку, стал свертывать. Как раз в эту минуту хор запел «Есть на Волге утес...». Пальцы Граммофона вдруг онемели, точно разучились скручивать сигарку, табак просыпался, но Граммофон не заметил этого. Он встал, мохнатый, большепалый, как медведь на коробе. Он поднялся, плавно качая руками: в одной была недокрученная сигарка, в другой — кисет. Ребята в хоре заметили его. Первые голоса, самые непоседливые, зафыркали и стали подталкивать соседей. Вот уже и вторые голоса — басовитые старшеклассники и густоголосые девочки-альты — все смотрели на Граммофона. И так как смотреть на него было, конечно, интересней, чем на обычную руководительницу, то ребята сперва посмеивались, а потом незаметно подчинились Граммофону, стали слушаться его движений и запели совсем не так, как требовала Клавдия Петровна.

— Что такое? В чем дело? Это опять...

Учительница повернулась к скамьям, чтобы распечь юных техников, но увидела Граммофона. Старик смутился и сел, суя в рот пустую сигарку.

— Гражданин, я вас очень прошу не мешать нам. Стыдно! Взрослый человек... Что? Не слышу.

— Он громче не может, — зашептали ребята.

— Почему не может?

— Он, когда маленький был, мороженым простудился.

— Чепуха какая!

Но тут Граммофон сам подошел к сцене. Высокая эстрада была ему по грудь.

— Извините, если попрепятствовал, — засипел он, — только песня эта очень мне известная, я лично ее очень сильно принимаю на сердце... И, если позволите, имею замечание...

— Ну, ну? — снисходительно и терпеливо сказала Клавдия Петровна.

— Вот второе колено надо не так. Песня эта волжская, старинная, хоть, говорят, слова в ней и письменного сочинения. Но музыку теперь неверно поют, не по-волжски оборот дают. Тут, где «на вершине его не растет ничего» поется, надо вот чуток голосом скинуть.

Граммофон пытался что-то пропеть, но захрипел, лицо его налилось, он беспомощно махнул рукой.

— Не имею нынче чем показать, не могу давать при-
меру... А бывало, поверите ли, товарищ руководи-

ца, — можете стариков, которые есть еще живы, спросить — никто так этот «Утес» не исполнял!

— Ну, хорошо все это, — недоверчиво глядя на него, проговорила учительница, — вы пели по-своему, а нам уж не мешайте по-нашему. Так и условимся.

— Это Граммофон! Он всегда какой-то чудной, — сказала одна из девочек.

— Да, Граммофон! — Старик выпрямился. — Так и умру Граммофоном. А вот почему, спрашивается, Граммофон? Было время — Громобоем звали. Вам хорошо, вас учат всему, вы ноты знаете, а я вот... Меня за это самое «Есть на Волге утес...» купец Хребтюков Максим Евграфович в Питер возил. Обещал в консерваторию определить. У меня голос был на всеобщее изумление. Я такую низину мог брать, что в Самаре, бывало, пою, а люди удивляются: «Неужто еще ниже возьмешь? Этак до самой Астрахани спустишься». Верьте не верьте — правда. Но только что из этого получилось? Застряли мы в Москве. Купцы, рестораны... А хозяин меня возит, хвастается мной. Вот, мол, бурлака привез, неслыханный голос имеет. Тогда только мода пошла на граммофоны. Привез меня Хребтюков куда-то, говорит: «Запишите его для машины». Подставили мне какую-то трубу, ну, пропел я в нее «Утес» да еще бурлацкую нашу «Дубинушку». Сделали нам пробную пластинку. Послушал я ее, даже сам подивился своему голосу: изнутри-то я себе его не таким слышал. Внутри-то свой голос через кость идет... Но, действительно, сила есть. А Хребтюков велел только три пластинки отлить — одну мне подарил, а две себе взял. Меня уж в то время переманивать стали другие купцы. Один с лесных пристаней был, Костырин. И тут — уж не знаю как, в отместку, что ли, — напоили меня как-то этого Костырина приказчики-молодчики, хватил я какой-то едучей кислоты вроде купороса, все горло спалил. Только и спасло меня, что на заглоте сжатие получилось и в желудок не попало, а то бы всю трубуху мне сожгло. Загремел бы я на тот свет прямым направлением. Однако задухло все у меня. Для дыхания трубку вставляли. Вот и повредили мне голос. С тех пор и живу Граммофоном, да еще без пластинки... Пропала та пластинка. Я сперва с ней по трактирам ходил, за пятак в машину играть давал. Протерли ее, заиграли всю, а потом разбилась. Жалко! Там так и написано было: «Утес Стень-

ки Разина», народная волжская песня. Исполняет бурлак-волгарь Архипкин. По заказу купца первой гильдии М. Е. Хребтюкова».

Едва он произнес это, как Горка с Витькой переглянулись в странном волнении. На ребят-хористов так подействовал рассказ Граммофона, что они даже перестали отмахиваться и только пальцами осторожно сгоняли с лица осмелевших мошек. Даже строгая Клавдия Петровна была смущена. Она недавно приехала в этот город и ничего не слыхала об истории Граммофона.

— Ну, простите, не знала, — сказала она. — Что же, милости просим, товарищ, приходите к нам на репетицию! Будет очень приятно, если вы нам поможете. Так как там поется, вы говорите? Идемте к роялю, я попробую подобрать.

Между тем мальчики мчались домой, по очереди забегая вперед и оборачиваясь лицом друг к другу.

— Витька, помнишь, а?

— Горка! Это навряд ли. Вдруг не та?..

— Можешь мне поверить, та!.. Не считай меня дурным. Мы знаем что сделаем? Когда на смотре будем нашу аппаратуру показывать, поставим ее через адаптер, все и услышат. Вот будет нашим «не тяни кота за хвост» надставочка!

— Жалко его... правда? — говорил, запыхавшись, Шугалов. — Так все думают — врет он, а не знают, что он на самом деле пел. Хуже нет, когда так смеются и не верят...

— Это ничего, что она у нас на две половинки треснула. Склеить можно. Верно, Витька?

— А ты как догадался, что это та самая?

— А я вспомнил, что там на пластинке карандашом написано было. А потом еще подумал, что пластинку-то мы в кладовке нашли, в Доме пионеров. А где наш Дом пионеров, там как раз раньше этого самого купца дом был.

Они прибежали домой к Климцовым и сейчас же полезли на подставку, которую Гора называл своей лабораторией. Там лежали всякие инструменты, батарейки, лампочки, фарфоровые ролики, кружжк. Над всеми этими сокровищами висела небольшая железная вывесочка: череп и две скрепленные молнии были нарисованы там, и надпись пе-

чатными буквами гласила: «Не трогать! Опасно для жизни». Очень неприятно сообщать об этом, но нужно рассказать, что суровую вывесочку эту Гора Климцов, пренебрегая смертельной опасностью, содрал с электрической водокачки на станции. Дома грозная надпись была повешена для устрашения младшей сестры Лидки, которая любила трогать неприкосновенные предметы юного техника.

Одну половинку расколотой пластинки друзья быстро нашли. На разорванной бумажной наклейке можно было разобрать начало знакомой полустершейся надписи. Но второй половинки нигде не было. Начали искать, и что же оказалось? Мать подложила обломок пластинки под горячий утюг на гладильной доске!

— Вижу — валяется... — оправдывалась она.

— Эх ты, мама, мама! — только и мог сказать Горка.

От горячего утюга кусок пластинки очень сильно пострадал, но делать было нечего, и друзья приложили испорченную половинку к той, которая была у них. Что за история! Половинки не сходились. Как ни поворачивал их Гора, на какие хитрости не пускался Витя, половинки не сходились, края не совпадали.

— Витька, — сказал вдруг Горка страшным голосом, — я тебе сейчас такое скажу, что ты не знаю уж чем меня назовешь... На, стукни меня как следует!

Витька поправил очки и без особой уверенности ударил Горку по спине.

— Витька, — продолжал Горка, — я, верно, ту половинку перепутал и нечаянно отдал Фильке, когда ему битые пластинки отдавал. Можешь плюнуть на меня...

Идти к Фильке в тот же вечер было уже поздно. Друзья отправились утром. Они захватили с собой тщательно завернутые в газету разрозненные половинки пластинки.

Филька Жамков, как всегда, обретался на берегу. Он вечно сдонылся там у пристаней. Это был долговязый блесый парень лет семнадцати, в лиловой футболке, с розовым, словно обваренным лицом. Нос у него всегда был красный, воспаленный, глаза блеклые, водянистые, как волдыри, а совсем белые и редкие ресницы казались надерганными из зубной щетки.

— А, физики, химики, изобретатели! — приветствовал он юных техников, — Чем сегодня торгуете, джентльмены?

Говорить правду Фильке Жамкову ни в коем случае нельзя было. Он сразу бы догадался, что пластинка очень нужна ребятам, и запросил бы несусветную цену за поски исчезнувшей половинки.

— Филька, я тебя в прошлый раз надул нечаянно, — начал Горка и незаметно толкнул локтем Витьку. — Я тебе от одной битой пластинки не ту половинку подсунил. Витька, дай сюда. Вот видишь: это «Фигаро здесь, Фигаро там», оказывается.

Филька внимательно поглядел на мальчиков, но как будто ни в чем их не заподозрил. Он велел подождать минутку, исчез куда-то и вскоре вернулся и вынул из-за пазухи вторую половинку пластинки «Есть на Волге утес...». Мальчики приложили половинки одну к другой, края плотно сошлись, трещина была едва заметна.

— Ладно, — сказал тогда Филька, — давайте уж я вам склею ее, почию. Послезавтра приходите — как новенькая будет. Это что за пластинка?

— А так, неинтересная... Старье какое-то. Просто мать ругается, что разбил ее да еще отдал, — соврал Горка.

Через день друзья явились к Фильке за пластинкой, но Филька сказал, что она еще не готова, и велел прийти через два дня. Через два дня Фильки не оказалось дома. Ребята жалели уже, что отдали ему чинить такую важную пластинку.

— Надо было нашему радисту Семену Ильичу дать, он бы сделал, — ворчал Витька.

— Ну, тогда бы все и узнали про это! Что за интерес?

Наконец удалось словить Фильку у пристани.

— А, физики, химики, джентельмены! — закричал Филька. — А пластиночка вас ждет не дождется. Вот, пожалуйста. Крепче целой. Два века проживет.

У них тряслись руки от нетерпения и никак не ставилась на место игла, когда они дома, на чердаке, запускали полученную пластинку. Но вот она завертелась, иголка пробежала по первым двум кругам диска, из патефона послышался шорох, и вдруг друзья услышали:

«Жил-был у бабушки серенький козлик, вот как, фить как...»

Мальчики слушали обомлев. Уже давно напали на козлика серые волки, уже остались от козлика ножки да

рожки, а они все слушали, не веря своим ушам, все еще надеясь, что хоть в конце будет про утес...

Потом Горка снял пластинку и осмотрел ее.

— Витька, — сказал он, — можешь назвать меня дураком! Даже балдой можешь...

— Да, кажется, это не та пластинка, — подтвердил Витька, подставив пластинку к самым очкам.

Когда они оба, разъяренные, примчались к Фильке, тот сделал изумленное лицо, потом долго ахал, моргал своими белесыми ресницами, тер свой красный нос.

— Да не может быть, ребята! Да что вы говорите! Ай-ай-ай, какая неприятность! Бывают в жизни огорченья.

— Давай сюда нашу пластинку, беляна паршивая! — наступал на него Горка.

— Да с моим удовольствием! Да мне что, жалко, что ли? На кой она мне? — егозил Филька. — Только понимаешь какая история... Тут вчера с парохода гражданин один сходил, ну, я ему предлагал старые пластинки. Он у меня кой-чего купил, ну, я ему, видно, нечаянно ту и отдал. Забыл, какая ваша. А ему понравилась. Он послушал, говорит: «Довольно интересный голос». Да и взял я с него пустяки, старая песня про «Утес». Даже не знаю, чего он, дурак, нашел в ней. Сами говорили — старье... Хотите, ребята, я вам за это новую дам — «Лунное танго»?

— Ладно, белуга разварная! — отбегая и сняв очки, с внезапной злобой закричал вдруг тихий Витька. — Только приходи к нашей школе — получишь тогда... вот как, фить как!..

Прошло три недели. Кружок юных техников давно уже закончил свой аппарат для смотра. Аппарат вышел превосходным — он принимал все европейские станции даже днем, но Горку и Витьку это уже не могло утешить. Замечательная затея была разбита вдребезги. Они ходили мрачные и даже не являлись больше на репетиции хора, чтобы подразнить певунов. Между тем Граммофон зачастил к школьникам. Он являлся раньше всех на репетиции, и если кто опаздывал на спевку, то сердился и выговаривал опоздавшему. Он приходил мучительно трезвый, и когда его в дни спевок еще утром угощали на берегу, он отказывался:

— И не-проси, не могу сегодня: репетиция у меня.

И такие интересные вещи рассказывал он ребятам

о песнях, так толково разъяснял он, где надо петь с разливом, где надо выводить на вздох, а где надо некруто, что Клавдия Петровна заново переучила песню про «Утес» — так, как советовал Граммофон.

Дней за десять до смотра Гора Климцов утром прибежал к своему приятелю.

— Витька! — закричал он. — Можешь меня уважать, Витька: я нашел «Утес»!

Оказалось, что накануне ночью Горка возился с аппаратом — принимал Москву — и вдруг услышал: «Начинаем передачу «Редкие пластинки»... Старая волжская песня «Утес Стеньки Разина» в исполнении неизвестного народного певца. Недавно была обнаружена случайно старая пластинка...»

И Горка узнал свою пластинку, которую они как-то давно, когда нашли, пускали через адаптер, пробуя аппарат. Это была пластинка Леонтия Архипкина.

Мальчики решили немедленно написать письмо в Москву. Они начали так:

«Уважаемые дикторы! Вы вели передачу «Редкие пластинки» и сказали: «Старая волжская песня «Утес», исполняет неизвестный народный певец». Но мы знаем, кто этот певец. Он Леонтий Архипкин и живет в нашем собственном городе. У него еще до революции потерялся давно голос, но мы нашли пластинку...»

Все рассказали в своем письме мальчики и просили пустить еще раз по радио пластинку вечером 18-го числа, когда будет смотр.

Письмо было отправлено, и несколько дней друзья ходили, полные самых приятных предвкушений.

Наконец пришло письмо из Москвы.

«Дорогие ребята! — говорилось в письме. — Вы ошибаетесь, полагая, что мы в своей передаче запускали вашу пластинку. Пластинку эту мы передавали несколько раз...»

— Ну что, видишь? — сказал Горка, едва не плача. — Ну, читай уж дальше...

— «Пластинка была обнаружена полгода назад на фабрике грампластинок, — читал вслух Витька. — Наклейка сильно стерлась, так как была написана простым карандашом, и мы не могли точно разобрать имя исполнителя. Сохранилось только несколько букв. Теперь благодаря вашему письму мы смогли прочесть всю надпись. Вы дали

нам очень ценное указание. Спасибо, ребята! Мы, по вашей просьбе, охотно передадим пластинку еще раз восемнадцатого, в девятнадцать часов тридцать минут».

И вот наступило 18 июня, день смотра. Мальчики не находили себе места. Они обо всем уже договорились и с руководителем радиокружка, и с Клавдией Петровной. Показ новых аппаратов радиокружка должен был начаться в театре ровно в 19 часов 30 минут.

Мальчики никому не сказали, что именно будет передавать Москва. Известно было только, что передадут одну вещь по их собственной заявке. Оба они страшно волновались. Им казалось, что обязательно случится что-нибудь: электростанция тока не даст, задержится первое отделение концерта или Граммофон напьется.

Смотр проходил в летнем театре. Стоял теплейший, светлый вечер. С широко разлившейся Волги долетал прогретый ветерок, и по высокой воде, ведя за собой длинную баржу, медленно, взяв на перевал, топал широкобокий буксир.

Публика, против обыкновения, пришла в театр точно к назначенному часу. В этот вечер зрители были так же нетерпеливы, как и исполнители. На длинных скамьях летнего театра сидели отцы в пиджаках, хранивших складки от долгого лежания в сундуках, и матери в черных кружевных палях.

Сперва выступал хор. Он имел шумный успех. Но многие были озадачены, когда Клавдия Петровна, объявляя песню про утес, вдруг сказала:

— Исполняем по старому напеву, сообщенному нам товарищем Архипкиным Леонтием Кузьмичом.

В публике зашумели насмешливо:

— Это какой Архипкин? Граммофон, что ли? Пьяница-то? От него жди толку! Этот уж сообщит!.. Ай да курлыкурлы!

Граммофон от волнения к вечеру совершенно изнемог и теперь бегал каждые пять минут «подкрепляться» куда-то по соседству. Первое отделение уже заканчивалось, и бурные родительские аплодисменты заставляли без конца выходить на сцену Клавдию Петровну и ее питомцев. Подходило время показа работы юных техников — радистов четвертой школы. Граммофон, который теперь уже считал себя тут своим человеком, а сегодня окончательно осмелел,

толкался за сценой, помогал носить аппаратуру и основательно мешал всем. Оставалось уже совсем мало времени до начала передачи из Москвы, как вдруг Граммофон, не зная, как проявить свое усердие, взялся подсобить ребятам, тащившим тяжелый выпрямитель, качнулся и выпустил аппарат из неверных рук. Аппарат ударился об угол стола, и одна из ламп разбилась. Убито глядел Граммофон на содеянное...

— Эх, если бы вы знали только, что вы наделали сами себе! — закричал Горка.

Радист Семен Ильич бросился исправлять повреждение, заменил лампу, переключил что-то. Вдруг прибежал переполошенный администратор.

— Вы себя режете... Начинайте! — кричал он, вытаскивая часы и поднося их всем по очереди. — Вы должны были начать в девятнадцать часов тридцать минут? Поздравляю!.. А сейчас уже двадцать часов тридцать пять минут!

Мальчики, побелев, схватили друг друга за руку. Семен Ильич устало посмотрел на администратора.

— Уберите этого отсюда, — сказал он тихо, — он мешает мне настроиться на Москву.

— Какая тут Москва! — кричал администратор. — Вы уже пропустили час!

— Втолкните ему кто-нибудь: у нас же время на час впереди. И ваши часы спешат минут на семь. Сейчас по московскому времени девятнадцать часов двадцать шесть минут. У меня все в порядке. Давайте звонок. Начинаем.

Было очень тихо в летнем театре, когда из-за тюлевого экранчика аппарата, стоявшего на сцене, раздалось:

— Говорит Москва. Начинаем концерт по заявкам радиослушателей. Ученики четвертой школы города Заволжанска просили нас передать старинную волжскую песню «Утес Стеньки Разина» в исполнении их земляка, народного певца Леонтия Кузьмича Архипкина...

Легкий щелчок, шорох — и могучий, благородных тонов, непостижимо низкий и раскатистый бас запел:

Есть на Волге утес; диким мохом оброс
Он с боков от подножья до края
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная...

Граммoфон сидел в первом ряду. Он медленно приходил в себя. Одернул тужурку, полез было за кисетом, но спохватился. Он растерянно оглядел всех, напружинился и вдруг расправил грудь, поднес сжатые кулаки к горлу, но наклонился и бережно опустил руки на колени. А вокруг уважительно притихшие люди слушали его, Архипкина, бывший голос, дивясь красоте звука и широкой удали и силе его.

Над крутым обрывом, над волжскими откосами, над неоглядным безмолвием реки, к темнеющим горам, к далеким заливным лугам уходила величавая и бескрайняя песня:

И поныне стоит тот утес и хранит
Все заветные думы Степана
И лишь с Волгой одной вспоминает порой
Удалое жите атамана...

Граммoфон вдруг подался вперед и, громоздкий, крижистый, стал приподниматься, медленно оборачиваясь лицом к народу. На него замахали руками:

— Тс-с!

— Это я, слышь, сам пою... — прохрипел он.

Но сосед его, сутулый лодочник с круглой мускулистой спиной, крепко взял его за руку и посадил:

— Сам поешь — сам и слушай и другим не мешай... Леонтий ты Кузьмич! — добавил он вдруг мягко.

И Граммoфон сел. Кто знает, что он думал в ту минуту! Думал, должно быть, что вот вернули ребята хоть и не ему самому, но для других его голос и славу. Возможно, что завидовал этим затихшим, но горластым, у которых вся песня впереди. Может, жалел, что не вовремя он на свет родился и не дошел до дней, когда хорошая песня стала народным добром. А может, совсем не то думал Леонтий Граммoфон. Или не так. Поди угадай, что чувствует человек, когда ему так хорошо и так жалко себя!

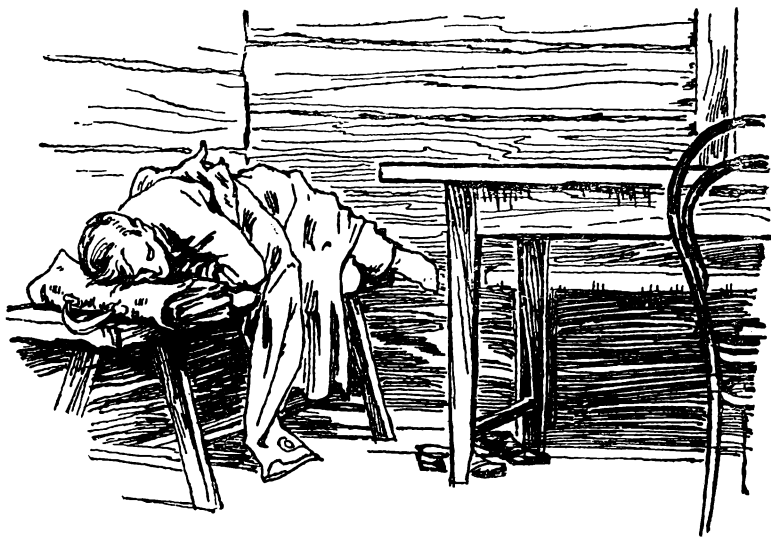
А Москва все еще передавала его песню. Подваливал к Заволжанску почтово-пассажирский теплоход «Наманган» — и на нем гремел Леонтий Архипкин. Шел с верховья скорый пароход «Спартак» — и там пассажиры слушали Архипкина. На пристанях пел он. И старый грузчик, остановившись с кладью под рупором на мостках, говорил:

— Ничего. Это поет... Правильно. По-нашему. Ровно наш Архипкин, бывало! Вот был голосище! Громобой! Поперек Волги слышать было.

И на площади Красных водников, и на Рыбном взвозе, и на Оскорьях, и на Расходиловке, и в Гнилом Затоне, и у лесопилок, и на острове Семи рыбаков — всюду пел Леонтий Архипкин по заявке учеников четвертой школы:

...Кто неправдой не жил, бедняка не давил
И свободу, как мать дорогую, любил
И во имя ее подвизался,
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет.
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

И едва замолк этот голос, как оттуда, из вечерних волжских далей, из-за песков, с теплым речным ветром снова возвратился он, густой, протяжный и чистый. Это последние заветные слова песни, спетой сорок лет назад, теперь, ничего не утаивая, повторило задумчивое волжское эхо,



Ж

ОДНА БЕСЕДА

Журналист Петр Андреевич Болотов, разъездной специальный корреспондент большой московской газеты, возвращался из далекой командировки домой. Он долгое время пробыл в глуши, вдали от больших центров, и даже газеты раздобывал урывками. Теперь он предвкушал удовольствие от встречи со столицей: настоящий кофе, горячая ванна, свежая газета, любопытные друзья, перед которыми можно будет похвастаться своими странствованиями.

Но в дороге Болотов получил встречную телеграмму из своей редакции: «Сделайте остановку станции Мураши колхоз Красный луч организуйте срочно материал Никите Величко спасшем пожара колхозный хлеб больных и детей возьмите беседу».

Болотов привык к таким пассажирам во время своей многолетней разъездной жизни.

Продрогший до костей, добрался он до колхоза «Красный луч». Тут ему сразу указали избу Никиты Величко. Видно, все знали в округе Никиту.

Но Болотов не застал хозяина дома. Никита Величко ушел на собрание в колхоз. Корреспонденту предложили подождать часок-другой. Он отогрелся, отошел и, будучи человеком неприхотливым и привыкшим ко всяким превратностям, заснул тотчас, лишь прилег на жесткую скамью.

Проснулся он поздно. В избе горело электричество. Мальчик лет десяти-одиннадцати сидел за столом. Очевидно, сынишка Никиты Величко. Гололобый, большеглазый, с нежным, как у девочки, лицом.

— Ну, что смотришь? — спросил Болотов, потягиваясь. — Кажется, вздремнул я... А?

Мальчик молчал, застенчиво улыбаясь.

Болотов был холостяком и немножко стеснялся детей. Он никогда не знал, как надо разговаривать с ребятами. Он считал, что с детьми надо обязательно шутить, непрестанно острить и задавать им глупые вопросы.

На столе лежали тетрадки и задачник. Было совершенно ясно, чем занят мальчик. Но Болотов все же спросил:

— Ты чего это тут делаешь?

— Уроки учу, — отвечал мальчик, не проявляя особой любезности.

— Уроки?.. Ну то-то, — сказал Болотов, решительно не зная, о чем ему говорить дальше.

Но мальчик сам внимательно посмотрел на корреспондента и вдруг деловито спросил:

— Вы командировочный? Да? Вы ведь из редакции? Печтаете, значит?.. Пишете?.. А печатать не можете?.. К нам многие ездют — из редакции все, — писать все могут, а печатать — никак. А вы из своей головы пишете или с виду?

— Я больше с виду, с натуры, — объяснил Болотов. — Я про твоего отца писать собираюсь. Никита Величко — отец твой?

— Ага, про него уже несколько раз в газете печатали, у него орден даже, «Знак почета».

— Ого-го! — обрадовался корреспондент. — Материал, я вижу, начинает ложиться.

Мальчик оказался очень разговорчивым и любознатель-

ным. Он без устали расспрашивал Болотова о всякой всячине. Он угостил корреспондента горячим чаем. Он рассказывал, как ездил со своим отцом-орденоносцем на областной слет колхозников в город, как их там снимали один раз на собрании, а потом — в цирке, рядом со слоном. («Вот тут папая, тут слон, а тут я сам. Слон здоровый. Который снимал, так, эх, боялся: вдруг цапнет!..»)

Время шло. Болотов разопрел от выпитого чая, а Никиты Величко все не было. Болотов начал уже тревожиться, что опоздает на поезд. Мальчик продолжал теревить его всяческими расспросами. Он был очень взволнован, узнав, что Болотов «может писать и книги».

— Дядя, а вы не классик? — спрашивал мальчик.

— Нет, — отвечал Болотов.

— Зря, — сокрушенно вздыхал мальчик. — Вот бы я потом ребятам в классе хвастал: к нам классик приезжал, чай пил... И сколько вот к нам ездют, а классика еще ни одного не было... Дядя, а вы ведь в Москве живете? Я сам себе часто в Москве снюсь. Как будто это иду и как будто это навстречу целое войско верхом едет, а впереди Буденный. Я уже всю Москву во сне перевидал. А только вас никогда сроду не видел еще... Дядя, а правда, там на Кремле такие звезды горят? По девяносто пудов каждая весит. Как это их туда тащили? Девяносто пудов!.. Чаю еще налить вам? Вы пейте. Ничего. Папая скоро придет. Пейте... А вы умеете отгадывать? Вот отгадайте, в каком ухе у меня шебуршится? — спрашивал он, наклоняя голову к левому плечу.

Болотов угадал, что в левом.

— Ну, вы очень сразу, надо думать сначала. Так — не игра. А вот сейчас не отгадаете: вот скажите, если вдруг электричество испортилось и лампы нет, как можно сделать освещение в избе? Ага, не знаете! А вот я изобрел сам. Кошек надо насажать. У них глаза в темноте светятся, как светлячки. Вот собрать кошек сто или двести, так от них сразу светло будет. Это я сам изобрел... Чаю налить еще?

— Да у меня, друг, твой чай вот уже где, — взмолился Болотов.

— А вы пояс растужите. Еще стакан войдет. Я налью?

— Мне много чаю пить доктор запретил.

— Это он, наверное, сырой не велел. А у нас чай сроду кипяченый.

— Ну, пойми, друг, не чай пить я к вам за тысячу километров приехал. Мне надо написать о твоём отце Никите Величко. Понимаешь? В газету. Газета ждёт, это важное дело. А мы тут с тобой чай распиваем. Вот ты бы пока рассказал мне, как это у вас тут получилось.

— А чего получилось?

— Ну, пожар-то был, знаешь?

— Это у Шубиных-то?

— Ну, я не знаю, где у вас там горело.

— А-а, — сказал мальчик. — Это у Шубиных горело. Рассказать?

— Расскажи.

— Ну, значит, так... А чего рассказывать?

— Ну, расскажи, — терпеливо разъяснил Болотов, — расскажи, как твой отец героически спас из огня...

— А папаня тогда вовсе в городе был. Он к валяльщику за чесанками ездил.

— Ну к какому ещё валяльщику? У меня в телеграмме ясно сказано: Никита Величко, спасший от пожара... Может быть, у вас ещё пожар был?

— Нет, пожар-то у нас один был, — усмехнулся мальчик. — А вот Никит у нас целых два. Первый номер, значит, — папаня мой. А другой номер, который пожегся было, — это и есть я, самый-рассамый Никита Величко. Мы с папаней — тезки.

Болотов тихо ахнул и откинулся на скамье к стене.

— Так это ты?.. Фу ты, история! Это, следовательно, писать-то мне про тебя надо?

— А чего про меня писать?

— Как — чего! Ах ты герой, шут тебя возьми! Ну быстренько, по порядку выкладывай.

— Ну ещё, герой! — сконфузился Никита.

— Ладно, хватит тебе крутить. — Болотов нетерпеливо похлопал ладонью по столу. — Говори толком, как было?

— Это так вышло. Невзначай. У нас ещё колхозники на работу ушли. Картошку копать. А у Шубиных дедушка Мойсеич больной, безногий, и ребят двое. Совсем малята — Ленька и Макарка. А у Шубиных как раз по-за домом амбар. А я это бежу в школу: порешенные задачки дома позабыл, воротиться пришлось... Бежу, тороплюсь это... Вдруг гляжу, чего это у Шубиных по двору туман ходит? Вроде из-под крыши натягивает. Я стал, гляжу: а оттуда

как вдруг полыхнет! Прямо на меня жаром да огнем. Сразу занялось... А в избе, слышу, криком кричат. И нет никого народу в селе. Пока сбегаешь, дозовешься, сгорят живьем. Ну, я порешенные задачи положил подальше, чтобы не спалились. А то жалко: ведь даром я их решал, что ли?.. Пиджаком голову обмотал да и нырнул в самый жар. А в избе дыма полно. Уже под-лавка горит. А Ленька с Макарькой на карачках ползают, ревут, хрипят уж и за дедушку безногого цепляются. А дедушка Шубин свалился у сений и не может дальше. Я их, малят, еле отодрал от дедушки. Макарьке даже это... наподдал. Ну, не идет раз... Вы про это не пишите. Не надо. А то еще скажут... Ну, значит, выволок я их на волю. А на воле хорошо. Главное, дышать свободно. И до того дышать охота!.. А ведь надо еще за дедушкой. Сгорит ведь! А второй раз еще боязней идти. Закрылся я пиджаком весь — и опять туда. Дымище там. Трещит все. А дедушка Шубин, как увидел меня опять, руками замахал. «Куды ты, — хрипит, — малый, спасайся вон отсюда скорее! Сдалось тебе чужого деда из огня вызволять! Сгоришь! Брось меня! Иди, Никитка, иди...» Я уже правда было бежать, да как он сказал «чужого», так стоп на месте. Я дедушке Шубину говорю: «Какой ты, говорю, чужой, раз мы тут все друг-дружкины». И стал его тащить. Он ходить сам неспособный. У него одна нога, и та задом наперед ходит. А у меня уже дух кончается. Дым потому что — не продохнуть. Искры зыркают... Боязно. А я все-таки говорю: «Ничего, дедушка, давай как-нибудь шагать на трех ногах». Ну и это... вытащил все-таки. Упал немножко на воле. Но пока из меня дым вышел, не дождался, а сразу бегом за народом! У нас в кузне работали. А пиджак прожег весь наскрозь. Ну и все. И писать неинтересно.

За свою многолетнюю работу Петр Андреевич Болотов встречался с самыми различными людьми. Он брал интервью и беседы у наркомов, профессоров, знатных стахановцев, героев воздуха, земли и моря. Но никогда у него не бывало такого удивительного и неожиданного интервью.

Забыв свою профессиональную выдержку, он вскочил, схватил Никиту за плечи.

— Ах ты, Никитка, — пробормотал он, — ах ты, мальчуган ты славный, ах ты... это самое... Ну чего ты на меня уставился?!

Потом он успокоился, посадил перед собой Никиту и стал брать у него беседу-интервью по всем правилам.

Ему хотелось отыскать в этом маленьком, скромном, большеглазом мальчонке какие-то необыкновенные черты. Как он стал героем? Как он решился на свой опасный подвиг? Что заставило его так действовать?

Корреспондент закидал Никиту десятками разнообразнейших вопросов. Что читает Никита? Чем увлекается?

О чем мечтает? Как учится?

Никита отвечал просто и толково, но ничего увлекательного, ничего сверхъестественного не мог обнаружить журналист. Сколько раз уже он видел вот таких мальчиков, которые отвечали, что учатся «пичего», и «отлично» есть, и поведение тоже довольно-таки «пичего».

— Вот недавно у отца книгу читал, — говорил Никита, — это про этого... как его? Ну вот забыл... Арх... Архимеда. Как он в ванне мылся и даже весу потерял двадцать кило... Так выскочил даже из бани. Вот до чего докупался!..

Но о пожаре из него нельзя было вытянуть больше ни слова: он отнекивался, отмалчивался.

— Ведь ты же сам мог сгореть! — воскликнул журналист.

— Ну так что ж! — удивлялся Никита. — А дедушка Шубин тоже мог свободно сгореть! Странное дело! Чай, я все-таки уже не первый год в школе. Да у нас в пятом классе «Б» каждый мальчишка бы так на моем месте. Девчонки бы даже — и те. Мы все друг-дружкины... Пиджак только жалко. Новый был, ненадеванный. Из братнина сшит. Ну, меня от колхоза новым зато премировали. Еще лучше.

Больше он ничего не мог рассказать, как ни бился Болотов.

— Это удивительное дело! — сердился корреспондент. — Всю жизнь вот так. Подвиги совершать умеют, а рассказать толком никто не может. Да если бы я на твоём месте... я бы уж расписал. Ведь материал-то какой, играет как!

Упратив в портфель свои блокноты и записи, корреспондент стал собираться в путь.

— Кто будет читать про меня в газете? — спросил вдруг Никита.

— Ну, все будут!

— Чудно...

Никита прыснул, прикрыл обеими ладонями рот, зажмурился и покрутил головой.

Болотов торопливо распрощался с мальчиком. Вдруг Никита остановил его:

— А что это у вас за значок?

— А, ерунда это. Это я немножко альпинизмом увлекался, на Эльбрус ходил.

— На самую верхушку? Вот так да!

— А ты что думаешь? — взбодрился корреспондент. — Я, брат, раньше-то... Это вот сейчас сердце стало пошаливать, гражданская война сказывается. Я, брат, под Волочаевкой был.

— Ой, вы на фронте участвовали? — так и загорелся Никита. — Ой, дядя, расскажите про войну!

— А что тут рассказывать? Тут рассказывать нечего, да и некогда рассказывать. Окружили нас около сопки, нас было человек пятнадцать, а их добрых полсотни. Ну так гранатами вручную отбились. А меня вот сюда шарахнуло. Ну, в общем, тут нечего рассказывать.

— Вот удивительное дело, — вздохнул мальчик. — Все вот так: воевать умели, да еще как здорово, а попросишь рассказать — не могут толком, все некогда. Эх, если бы я на вашем месте, так я бы уж рассказал!..



БИТВА

ПРИ БЕЗЫМЯННОМ ПАЛЬЦЕ

Э то так вышло, в общем... Мы с папой при участковой амбулатории жили. Втроем. Еще братишка Юзья. Ну, он тогда был совсем еще клоп. Пятый год ему пошел. А убираться к нам одна соседняя старушка приходила. Мамы у нас нету. А вот папа, ну отец то есть, эх и человек! У него не только орден, у него еще даже почетный наган есть с личной надписью... Мы с отцом прямо как товарищи настоящие. Он только кажется, что строгий. А как начнет с нами возиться! Всегда дурит. Даже не разберешь иногда — это он в самом деле или понарошке. Он столько играет! И, ну прямо, из всего такое может придумать, что даже не ожидаешь.

— Коля, — говорит, — прикрой дверь поплотнее, а то из-под нее пассаты дуют. А у Юзика в носу и так сталактиты и сталагмиты выросли...

Мы на столе у нас из бумаги бойцов делаем, красноар-

мейцев. Такие бои устраиваем — держись только!.. А потом он еще иногда наденет на пальцы разные колпачки, а на ногтях глаза, нос и рот нарисует. И целый театр нам представляет. У него это ловко получается, красота прямо! Буденовцы в шлемах. Или монахи там всякие, клоуны, генералы, Наполеоны. Здороваются, дерутся, кланяются, как живые. «Собственноручный театр» — это он называет...

Вот раз в позапозапрошлом году, ну, в общем, три года обратно, наш фельдшер Маврикий Петрович отпросился у папы из амбулатории на тот берег, в город. Ему все красноармейский парад хотелось посмотреть. Ну, папа, значит, на праздник Октябрьский один остался. В амбулатории все равно в тот день приема не было. Папа нам обещал новый спектакль на руках исполнить из боевой жизни. Только что он стал колпачок насаживать на безымянный палец, вдруг кто-то как постучит!.. Потом влетает человек, такой весь взъералашенный. И просит папу поехать с ним в колхоз там один в районе. У них там с одной женщиной плохо, говорит. Она сначала не к врачу обратилась, а к какой-то тетке, знахарке. Та и натворила чего-то... Дядька этот, который примчался, просит папу:

— Спасите, — говорит, — помирает совсем!

Папа говорит:

— Тут хирург должен. Я же не хирург. Надо в город, в больницу, везти.

А в больницу, оказывается, везти нельзя. В тот год Волга очень рано замерзать начала. Сало пошло, на лодке не пробьешься, а ледостава еще нет. На тот берег — нечего и думать. И наш Маврикий Петрович, значит, тоже там застрял. Такое вышло вот стечение подробностей.

Отец взял чемоданчик свой с инструментами, собрался — раз-раз — живо (он быстрый ужасно, как все доктора), поцеловался с нами и говорит:

— Спектакль откладывается на завтра. Билеты действительны.

Вернулся он уже ночью совсем. Я проснулся, слышу — он ходит чего-то, не ложится. Потом гляжу — подходит к лампе. Лицо слишком серьезное, бледный весь какой-то — видно, устал. Подошел к лампе, поднял ее со стола, освятил ею совсем близко на правую руку — и обратно лампу, на место. Потом опять походил, походил, опять к лампе — и пальцами всякие штуки делает, шевелит. И карандашом

чего-то на руке чертит. Тут и Юзька, чертенок, проснулся. Сел и говорит:

— Папа, ты чего это там тени показываешь?

— Репетирую, — отец отвечает.

Тут и я спросил:

— А как та женщина, больная?

— Случай отвратительный, — говорит. — Запустили черт знает как. Все, что мог, сделал... А ты, — говорит, — в общем, спи, морда ты полуночная. Ну, живо у меня спать! — и потушил лампу.

А утром я проснулся рано, а он уже сидит в одной рубашке. Желтый какой-то. У окна. Засучил рукав и опять что-то на руке карандашом отчеркивает. Я как подкрадусь сзади... А он вдруг рассердился:

— Ты чего за кулисы подглядываешь? Марш отсюда! — И не смотрит сам на меня. А потом лег на диван. — Голова, — говорит, — заболела.

За обедом совсем ничего есть не стал. А после обеда подозвал меня к окну и показывает руку. Смотрю — она вся химическим карандашом исчеркана. И жилы тоже синие, прямо как реки на географической карте. Даже не разберешь сразу, где он карандашом навел, а где жилы.

— Ну вот, — говорит папа, — сегодня у нас будет собственноручный театр военных действий. Дислокация такая: вот тут, видишь, полоса красная вспухла, и тут. И тут... Это наступает противник. Наши вот здесь у кисти первый заслон сделали. Но враг прорвался. Вот я отметил карандашом, на сколько он за ночь продвинулся. Теперь части противника наступают по направлению к локтю. Вот тут противник предполагает далекий рейд сделать. Видишь? Ну, а у локтя наш второй барьер. Вот если и тут его не удержишь, тогда дело, брат, скверное. Может быть, правда, еще у плеча, под мышкой, наш барьер задержит. Но это уж вряд ли... — Потом отец посмотрел на Юзьку и говорит: — Юзик, дружок, сбегай, будь друг, на кухню к Малаше, скажи, я завтракать не буду. И побудь пока там.

Юзик ушел, а я говорю:

— Папа, я это считаю просто безобразием с твоей стороны. Ты это Юзьке вкручивать можешь. А я не маленький. Что ты со мной игрушки строишь! Глупо это, я считаю, вот и все. Что у тебя с рукой вышло?

Ну тогда отец уж рассказал. Он, в общем, оказывается, когда мыл вчера руку перед операцией, уколол щеткой палец. А резиновые перчатки он дома оставил. И откладывать уже нельзя было. Вот, наверное, гной скверный попал туда, где папа накололся. Палец безымянный стал черным, опух, и началось почти заражение кровп. Уже к локтю полосы стали подбираться. А в город, в больницу, сейчас ведь никак не попадешь...

Юзьке отец ничего не велел говорить: И у нас получилось с ним вроде военной тайны... Мы отметили карандашом, где кончается полоса. Но краснота лезла все дальше. Мы через каждый час смотрели. А краснота все лезла и лезла выше.

— Помощи ждать нам неоткуда, — говорит отец, — барьер сдал. Противник форсировал локоть. Надо принимать бой.

А Юзька, вот шляпа, ничего не понимает.

— Вот у нас папа какой молодец! — говорит. — У него голова болит, а он все войну нам представляет.

Ну, к ночи папе совсем плохо сделалось. Лежал, лежал он, вдруг как вскочит.

— Обходит, обходит! — кричит.

Юзька проснулся, а отец уже пришел в себя. Сидит на кровати и говорит ему:

— Ты спи, спи, это я репетирую. — А потом мне: — Ну-ка, Николай, вставай-ка на ночную разведку.

Я посмотрел, а у него вся рука до плеча горит. И мне стало до того страшно... Ведь видно прямо, как по руке это ползет. Аж меня всего холод продрал. Я чуть реву не дал: что-то вспомнилось, как он нам этой рукой театр представлял. И такой мне папина эта рука сделалась — лучше бы уж у меня с рукой что-нибудь вышло. Честное слово.

— Да, — говорит папа, — подвел безымянный. Ну, ждать, брат, нельзя. Приказываю готовиться к боевой операции. Палец — изменник. Жалеть его нам нечего. Штаб находит необходимым уничтожить две предавших фаланги... Командование принимаю на себя. Тебя назначаю помощником. Не боишься?

— Что значит — боишься? — говорю я. — Только брось ты меня разыгрывать.

— Ничего, так легче, — говорит отец. — А в общем, ничего такого страшного — отчикнем, и все.

И мы пошли с ним в амбулаторию, папин кабинет. А Юзька, шляпа, сзади кричит в кровати:

— Ой, вы куда? Примите меня тоже в вашу войну...

Большой парень, пятый год, а ничего не понял.

— Ну, сначала произведем артиллерийскую подготовку, — говорит отец. Достает шприцы. — Так. Адреналин здесь, — говорит, — новокаин на месте... Вот, черт, не с руки! А ну, держи как следует. Что это у тебя зубы стучат?! А, понимаю. Это у тебя вроде пулемета. Так, так, стучи. Ну-с, теперь, Коля, возьми вот этот шприц. Если боишься, отвернись. В случае, сознание потеряю, тогда впрыснешь. Понял? Бери. Есть?..

И он все время так говорил командирским голосом. Даже я и не знаю: не то это он нарочно, чтобы мне легче было, не то правда, в бреду. Жар у него был. Почти сорок градусов. Но я тоже, чтобы настроение поддерживать, хоть самого меня и трусит всего, тоже говорю по-военному:

— Есть выпрыснуть, папа!..

И правда, от этого как-то легче получалось. Будто мы на войне с ним рядом. Потом он закричал:

— Санитары! Санитары! Бинты давай!..

И я ему помог перевязать. Но тут он вдруг сделался совсем белый, холодный, потный весь и стал валиться. Я зажмурился и впрыснул ему в руку, как он велел. А потом помог ему дойти обратно до дивана. Ну, и все.

...А к вечеру и фельдшер приехал. Перебрался как-то.

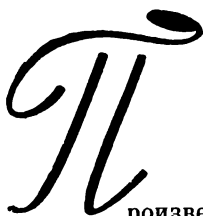
— Ох, Георгий Осипович, — говорит, — вот красота парад был! — Это он еще в передней начал. А как вошел, глянул на папу, так и встал. — Чего это вы?..

— У нас тут тоже парад не парад, а битва целая была, — папа говорит, — бой при безымянном пальце... Ну, Колька молодец. Дрейфил, правда, порядком, но все-таки не осрамил свое поколение. Это, по крайней мере, сын, я понимаю!

А я говорю:

— Да, он сам даже не пикнул... Вот это, я понимаю еще, отец!

Коментарии



Произведения Л. А. Кассиля издавались много раз и отдельными книгами, и различными сборниками, и большими однотомниками, но вот впервые издается собрание его сочинений в пяти томах, в которое входит все лучшее, созданное писателем.

В первый том вошли книги — «Кондуит и Швамбрания», «Вратарь Республики» и шесть рассказов. Открывает том автобиография — «Вслух про себя».

ВСЛУХ ПРО СЕБЯ

Перечитайте еще раз это название и подумайте, что оно значит. В самом деле, «вслух» — это громко, слышно для всех, а когда говорят: «читай про себя», это значит: «читай не вслух, не громко, а беззвучно», и получается, как будто две части этого названия противоречат друг другу... Но если пристально вслушаться в название автобиографии, то нетрудно разгадать второй, истинный смысл этого названия: автор рассказывает нам всем «вслух» про самого себя. И, оказывается, никакого противоречия нет, а есть то, что называется игрой слов.

Писатель рассказывает нам «про себя» — про свою жизнь, про свои книги, про своих читателей. Всего, конечно, он рассказать не может. Прожито им немало и написано очень много. Но мы с особым интересом будем читать «Кондуит и Швамбранию», когда узнаем, что все описанное в книге — это правда, это действительно было.

С особым интересом мы будем читать и «Вратаря Республики», узнавая в одном из героев этого романа — Евгении Карасике — множество черт самого автора.

Впервые автобиография Льва Кассиля под этим названием, «Вслух про себя», появилась в 1934 году в журнале «Интернациональная литература», выходившем на русском, английском, немецком и французском языках. Но тогда она была очень коротенькой... А с тех пор прошло больше тридцати лет... Конечно, теперь автобиография писателя стала немного длиннее. Здесь она перепечатывается из двухтомника «Советские писатели», вышедшего в Москве в 1959 г., но в нее автор добавил еще несколько страниц про своих читателей.

Стр. 7. Эсдеки и эсеры — так называли членов Российской социал-демократической рабочей партии — «социал-демократов» и членов так называемой партии «социалистов-революционеров».

Стр. 12. Братишка Ося. — Иосиф Абрамович Кассиль родился в 1908 году, окончил Саратовский университет, работал в Саратовской совпартшколе и в редакции саратовской газеты «Коммунист». В 1937 году незаконно репрессирован; посмертно реабилитирован.

Стр. 30. «...писал бы кто-нибудь другой». — О творчестве Льва Кассиля написано много статей. Написаны и книги: В. Николаев. «Лев Кассиль». М., 1955; И. А. Свирица. «Творчество Л. А. Кассиля». М., 1955.

Творчеству Л. Кассиля посвящены отдельные главы в книгах В. Смирновой «О детях и для детей». М., 1961; Э. Цюрупы «Умеешь ли ты читать». М., 1963; А. Ивича «Воспитание поколений». М., 1964.

Подробная статья о творчестве Л. А. Кассиля будет помещена в пятом томе этого собрания сочинений.

КОНДУИТ И ШВАМБРАНИЯ

У этой книги — сложная литературная судьба. Сначала была написана повесть «Кондуит». Отрывок из нее напечатал В. В. Маяковский в журнале «Новый Леф» в 1928 году. Затем вся повесть публиковалась в журнале «Пионер» за 1929 год.

Впервые отдельной книгой повесть была выпущена издательством «Молодая гвардия» в 1930 году, с рисунка-

ми А. Брея, и за четыре года была переиздана еще пять раз, с третьего издания — с рисунками Кукрыниксов. Переплет третьего издания, сделанный по эскизу автора — Л. Кассиля, надолго запомнился любителям книги. Переплет словно изображал форму гимназистов: на коленкоре серого цвета (цвет гимназической формы) на лицевой части переплета были оттиснуты две серебряные пуговицы, черный ремень и серебряная бляха на нем, а на обороте переплета был нарисован хлястик.

Отрывки из книги печатались отдельными брошюрами: «Подпись Цап-Царапыча» (1931 год), «Блуждающая школа» (1932 год).

В 1933 году в издательстве «Федерация» вышла новая книга Льва Кассиля — «Швамбрания». Повесть с картами, гербом и флагом». В конце повести стояли даты ее написания: «март 1930—июнь 1931». До выхода отдельной книги повесть «Швамбрания», так же как и «Кондуит», была напечатана в журнале «Пионер» за 1931 год.

Читая «Швамбранию», вы ощущаете, что впечатления детства у автора не потускнели. Больше того, они освещены событиями, которые потрясли весь мир и так ощутимо оказались преломленными в жизни будущего писателя. Именно в те годы, когда автор повести был гимназистом, произошла Великая Октябрьская революция.

В «Швамбрании» были те же главные герои, то же место действия, что и в «Кондуите».

Но обратите внимание на то важное обстоятельство, что, кроме двух братишек, их папы и мамы, в книге есть еще одна — главная героиня — Мечта. Мечта о лучшей, справедливой жизни, как первый шаг к борьбе за эту жизнь. И можно сказать, что писатель во всем своем творчестве остался верен мечте своего детства — он борется за лучшее будущее, он пишет для детей, стремится к тому, чтобы дети были лучше. А кто же делает эту будущую лучшую жизнь? Именно они, юные читатели, дети, которые становятся взрослыми...

Повесть «Швамбрания» издавалась несколько раз, а затем, в 1935 году, писатель решил соединить обе повести в одну книгу, — появилась книга, под названием «Кондуит и Швамбрания». Писатель много раз переделывал свою книгу — вписывал новые главы, выбрасывал некоторые страницы, казавшиеся ему менее удачными.

«Кондуит и Швамбрания» переведена почти на все языки народов СССР и на многие языки мира; она издана во Франции, Америке, Польше, Югославии, Венгрии, Румынии, ГДР, Болгарии, Чехословакии.

Дети всего мира радуются, читая эту книгу. Ведь на всех языках детям понятна мечта о лучшей жизни; на всех языках интересно узнать, как рухнул в нашей стране старый режим и как начиналось строительство нового мира.

В книге много забавных выдумок. Про Льва Кассиля можно сказать, переиначив слова поэта Пушкина: «И выдумки с ним запросто живут, — две придут сами, третью приведут». Фантазия двух героев «Кондуита и Швамбрании» была по-настоящему буйной. Но внимательный читатель увидит, как в этой фантазии отразился реальный, окружавший их мир — семейные отношения, впечатления от школы, жизни, улицы, прочитанных книг, учебников, газет. Все причудливо перемешивалось в их смехотворных «географических» названиях, в «исторических» событиях. В выдуманной стране Швамбрании мы отчетливо видим черты невыдуманной царской России.

Писатель отобрал для своих повестей самые характерные, самые красноречивые черты прошедшей жизни. И мы ясно ощущаем, что эту жизнь он не выдумал — он описал ее, изобразил такой, какой видел ее сквозь радужное стеклышко детской мечты. И действительно, ведь все описанное в книге — правда. Я сама видела в квартире писателя сохранившиеся с детских лет географические карты Швамбрании, ее герб и флаг. Я была знакома с родителями Льва Кассиля, и они в точности были такими, как в книге.

Правдивость событий, правдивость характеров, богатство разнообразных чувств, которые вызывает эта книга у читателя, добрый юмор сделали «Кондуит и Швамбранию» одной из самых любимых книг советских ребят.

Внимательный читатель получит много радости, участвуя в «игре слов», которую так часто затевает автор на страницах этой книги. В самом деле, старые выражения вроде «честь имею» и «отдает честь» приобретают новый, острый, неожиданный смысл в главе, когда городской приходит поздравить с праздником. Весело читать про «круглые очки земных полушарий», про то, как «в моем почерке буквы уже взяли за руки» и «как домики зажмурили ставни». Но особенно забавны географические названия,

придуманые автором: порт Фель, порт Ной, Пилигвиния, Кальдония, Бальвония, мыс Кегли, Кудыкины горы и тому подобные.

Стр. 35. Вандалы — древняя германская народность. В 450 году вандалы разграбили Рим. Название «вандалы» стало нарицательным для тех, кто совершает дикие и бессмысленные поступки.

Стр. 46. «Самолет» и «Кавказ и Меркурий» — названия волжских пароходных обществ.

Стр. 47. Полиглот — человек, владеющий многими языками.

Стр. 52. Ханон — составитель известного сборника упражнений для пианистов.

Стр. 61. Брамапутер — правильно: *Брамапутра* — река в Индии.

Вундеркинд — выдающийся, гениальный ребенок.

«Ундервуд» — название фирмы пишущих машинок.

Стр. 93. Ландриновские коробки — *ландрин* — дешевые конфеты-леденцы, названные по фамилии выпускавшего их фабриканта Ландрина.

Стр. 97. Варфоломеевская ночь — так называют кровавую резню, устроенную накануне дня святого Варфоломея, 24 августа 1572 года в Париже, во время которой католики избивали гугенотов — приверженцев враждебно им религиозного направления.

Стр. 98. «Саводник» и «Киселев» — фамилии авторов учебников литературы и математики старой гимназии.

Стр. 105. «Волчий билет» — исключение из гимназии с запрещением поступить в другое учебное заведение.

Стр. 119. Шпаки — так презрительно называли офицеры царской армии всех невоенных, штатских.

Стр. 122. В «День белой ромашки» проводился сбор пожертвований для борьбы с туберкулезом.

Стр. 145. Маренго — ткань серого цвета; сукно, из которого была сшита форма гимназистов.

Стр. 146. Наследник — здесь: сын царя.

Стр. 165. Протуберанец — огненный столб, выбрасываемый при извержении на поверхности солнца.

Стр. 178. Ходынка — чудовищная катастрофа, происшедшая в Москве на Ходынском поле в 1896 году на празднике, устроенном для народа в честь вступления на престол Николая II, когда в свалке погибло несколько сот человек.

Цусима — место гибели русского флота в русско-японскую войну в 1905 году.

Стр. 179. Принц и нищий, Том Сойер и Гек Финн — герои известных произведений Марка Твена; *Оливер Твист* — герой романа Ч. Диккенса; *дети капитана Гранта* — герои одноименного романа Жюль Верна; *тридцать три богатыря* действуют в «Сказке о царе Салтане» А. Пушкина; *Всадник без головы* — герой романа Майн Рида; *Дон-Кихот и Санчо Панса* — герои романа Сервантеса; *Макс и Мориц, Бобус и Бубус, Маленькие Мужчины и Маленькие Женщины, маленький лорд Фаунтлерой* — герои известных в то время детских книг.

Стр. 180. Голубая Цапля — описана в повести С. Джемисон «Леди Джен», очень популярной в то время.

«Синяя птица» — пьеса бельгийского писателя М. Метерлинка; до сих пор идет на сцене Московского Художественного театра.

Стр. 185. Роберт Баден-Пауэль — английский генерал, основатель системы скаутинг.

Стр. 186. Надо воевать до победы. «Война до победного конца» — лозунг Временного правительства, которому партия большевиков противопоставила требование мира, то есть немедленного окончания войны и установления власти рабочих и крестьян.

Стр. 196. ЧК, Чека — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией.

Стр. 203. Шапошников и Вальцев — составители задачника; *Глезер и Петцольд* — авторы учебника немецкого языка.

Стр. 217. «Суплеси», «тур-де-ганши» — приемы французской борьбы.

Стр. 222. Э — мюз, «Е» немое, — в конце многих французских слов ставится буква «е», которая не произносится.

Стр. 225. Готтентоты — африканское племя.

Стр. 247. Менониты — немецкие сектанты, переселившиеся в XVIII веке из Германии в Поволжье.

Стр. 256. Здесь пародируется эпиграмма Лермонтова:

Три грации считались в древнем мире;
Родились вы... всё три, а не четыре!

Стр. 257. «Гимназисты, а не реалисты». — Средние учебные заведения в царской России делились на «классические гимназии» и «реальные училища»; ученики последних назывались реалистами.

«Валяги Люлик, Тлувол и Синеус». — До революции в учебниках истории утверждалась ложная, опровергнутая впоследствии наукой легенда о том, что славянскую Русь будто бы «основали» пришельцы — варяги Рюрик Трувор и Синеус.

Стр. 281. «Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте! Спасибо вам скажет сердечное русский народ...» — слова из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям».

Стр. 318. Гог и Магог — древний тиран и его царство, упоминаемые в старинных сказаниях.

ВРАТАРЬ РЕСПУБЛИКИ

Все знают торжественный и веселый «Спортивный марш»:

Ну-ка, солнце, ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай!

Эй, товарищ, больше жизни!
Подпевай, не задерживай, шагай.

Этот марш был создан для кинофильма «Вратарь». Слова его написал В. И. Лебедев-Кумач, а музыку — И. О. Дунаевский. Кинофильм был поставлен по сценарию Льва Кассиля и М. Юдина одновременно с появлением в свет романа Льва Кассиля «Вратарь Республики». Сначала роман печатался в журнале «Красная новь» (в 1938 году), а в 1939 году вышел отдельной книгой в издательстве «Советский писатель». В книгу автор вставил уже несколько строк из «Спортивного марша». Одновременно писатель специально отредактировал свою книгу и для детей. Сначала она была напечатана (сокращенно) на страницах газеты «Пионерская правда», а потом вышла в Детиздате (1939 год). «Вратарь Республики» явился почти первым у нас произведением на спортивную тему. Тысячи спортсменов и болельщиков полюбили эту книгу.

Но читатель найдет в этой книге не только поэзию самого массового вида спорта в нашей стране — футбола, но и многое другое. Самое главное, пожалуй, в этом романе — тема дружбы. Недаром эпиграфом к первому изданию для взрослых писатель поставил строки известного американского поэта У. Уитмена:

Когда я услышал к концу дня, как имя мое в Капитолии встретили рукоплесканиями, та ночь, что пришла вслед, все же не была счастливой ночью.

И когда мне случалось пировать или планы мои удавались, все же не был я счастлив.

Но день, когда я встал на рассвете, освеженный, очень здоровый, и, напевая, вдохнул созревшую осень...

И вспомнил, что мой милый, мой друг, мой любимый теперь на пути ко мне, о, тогда я был счастлив.

Лев Кассиль уже давно связан со спортом, часто писал о наших спортсменах в газетах и журналах. Заслуженный мастер спорта Анатолий Акимов, много лет с честью защищавший ворота наших команд, рассказывает, что его не раз спрашивали: «А Антон Кандидов списан не с вас?» — и на этот вопрос он обычно отвечал так: «Не знаю, в какой

степени моя игра в воротах вдохновляла писателя, когда он писал свой роман, но знаю твердо, что знакомство с героем этого романа Антоном Кандидовым и вся книга в целом очень помогли мне в овладении спортивным мастерством и многими качествами, которые в дальнейшем пригодились мне во всей моей спортивной жизни.

Роман «Вратарь Республики» переведен на многие языки народов Советского Союза. В Болгарии он вышел в переводе писателя-академика Людмила Стоянова. Издавали и переиздавали этот роман и в Польше и в Румынии.

В 1959 году Лев Кассиль заново значительно отредактировал эту книгу, и она вышла в издательстве «Советский писатель» с послесловием Анатолия Акимова.

Стр. 327. Голкипер — вратарь футбольной команды. Долгое время у нас употреблялись английские спортивные термины: голкипер (вратарь), беки (защитники), хавбеки (полузащитники), форварда (нападающие).

Стр. 330. Юзские ворота — так называется широкий перекресток на одном из Московских бульваров.

Стр. 343. Пер-Бако — клянусь Вакхом. Вся эта строка взята из пьесы известного французского поэта Э. Ростана «Романтики».

Стр. 350. Гласные думы — избранные в Государственную думу.

Гласный надзор — открытый надзор полиции за лицами, которых власти считали подозрительными в политическом отношении.

Стр. 353. Галахи — презрительное название голытьбы, нищих бродяг.

Стр. 364. Белочехи — участники контрреволюционного восстания чешских военнопленных, задержавшихся в России после первой мировой войны и присоединившихся к белогвардейцам.

Стр. 367. Испанка — тяжелое эпидемическое заболевание гриппозного характера, свирепствовавшее в то время.
Инфлуэнца — грипп.

Стр. 369. Колоб или жмых — прессованные отходы, остающиеся после отжима масла из подсолнечных, конопляных семян.

Стр. 372. Кабалистика — здесь: нечто запутанное, загадочное.

Стр. 377. Умбра, сиенская зелень... — названия красок, употребляемых в живописи.

Стр. 381. Слонов Иван Артемьевич — народный артист РСФСР, много лет проработавший в Саратове и снискавший там огромную популярность.

Стр. 382. Вохра — правильно: *охра* — название краски желтого цвета.

Стр. 397. Летучка — короткое собрание работников редакции, на котором обсуждается вышедший номер и планируется следующий.

Стр. 400. Чемберлен — известный в начале XX века английский политический деятель.

Стр. 407. Гарри Пиль — популярный в то время немецкий киноактер.

Стр. 408. Р. Шеридан — английский писатель и политический деятель XVIII века.

Стр. 411. Офсайд — английский спортивный термин, означающий положение «вне игры», оказавшись в котором футболист не имеет права участвовать в борьбе.

Стр. 418. Бас профундо — самый глубокий, низкий бас.

Стр. 428. Плеве — в течение многих лет глава полицейской власти в царской России; в 1904 году убит революционером Е. Сазоновым.

Стр. 432. Банка — скамья для гребцов на лодке.

Стр. 458. Геркуланум — один из городов, погибших вместе с Помпеей во время извержения Везувия; милицио-

нер хотел сказать «Геркулес» — герой древних мифов, непобедимый силач.

Стр. 459. Геркулес с глобусом стоял перед театром на родине Шекспира, в английском городе Стратфорде.

Стр. 463. Биг-Бен — Большой Бен — название часов на башне английского парламента.

Стр. 464. Пробная телепередача — в те годы телевидение у нас проводилось лишь в опытном порядке.

Стр. 469. Иезуит — член католического ордена Иисуса (Иезуса); это слово стало нарицательным для обозначения человека, способного на любую изощренную подлость.

Стр. 475. Гольман, голлер — вратарь, на жаргоне старых болельщиков.

Стр. 482. Эпикуриал — правильно: эпикуреец — последователь философа Эпикура, провозглашавшего выше всего радости жизни и наслаждение ею.

Эрнст Теодор Амадей Гофман — известный немецкий писатель XIX века.

Стр. 485. Не шире ста двадцати на девяносто — 120×90 метров — максимальный размер футбольного поля.

Стр. 488. Правый инсайд — по старой терминологии, правый полусредний нападающий.

Стр. 491. Аристофан — драматург Древней Греции.

Стр. 495. Вергилий — древнеримский поэт.

Стр. 502. «Когда я услышал к концу дня...» — эти строки У. Уитмена были эпиграфом в первом издании «Вратаря Республики».

Испанец Рикардо Замора и чех Планичка считались лучшими футбольными вратарями мира.

Стр. 506. Шуг — прямой прицельный удар по воротам.

Дриблинг — способ ведения мяча по полю,

Финт — ложное движение, применяемое для обмана противника.

Стр. 521. Гамельнский музыкант — герой немецкой легенды, обладавший волшебным даром увлекать за собой всех слушающих его игру.

Стр. 542. Тонзура — пробритое место на макушке у служителей католической церкви.

Стр. 543. Лира — итальянская денежная единица.

Стр. 544. Нунций — полномочный представитель римского папы.

«Мартин Иден» — роман американского писателя Джека Лондона.

Стр. 546. Стробоскоп — аппарат, с помощью которого до изобретения кино демонстрировали принцип «оживающего» изображения.

Стр. 551. «Глазго-Ренджерс» — одна из популярнейших футбольных команд Шотландии.

Допинг — средство, употребляемое для кратковременного взбадривания.

Стр. 558. Пан — бог лесов в древнегреческой мифологии.

Стр. 597. Габронилит — род гранита.

РАЗДВОЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ

В царской России вели летосчисление по старому календарю, который с каждым новым веком отставал на сутки по сравнению с календарем, принятым в Западной Европе и в Америке. Так, в XVIII веке отставание было на 11 суток, в XIX веке — на 12 суток, а в XX веке — на 13 дней. Вот и получилось, что Великая Октябрьская революция, хотя и произошла 7 ноября 1917 года, называется «Октябрьская», так как по старому российскому календарю было 25 октября. Декрет о введении в Российской Респуб-

лике нового международного календаря был подписан 24 января (6 февраля) 1918 года.

Рассказ этот был впервые напечатан в газете «Пионерская правда» и затем в новой редакции выпущен отдельной книжкой издательством «Детский мир» в 1962 году.

АГИТМЕДВЕДЬ ОСОБОГО ОТРЯДА

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Пионер» в 1936 году и в 1937 году вышел отдельной книжкой в Детиздате в серии «Книга за книгой». В основу рассказа положена реальная история, которую писатель слышал от одного бывшего красноармейца. По рассказу поставлен кинофильм «Друзья из табора».

Стр. 611. Агитвагон — агитационный вагон. В годы гражданской войны в таких вагонах (а иногда и специальных агитпоездах) в части Красной Армии приезжали артисты, музыканты, лекторы.

Стр. 613. Махан — лошадиное мясо, конина.

Стр. 620. Терчасти — территориальные части, войска, собранные из населения одной местности.

Стр. 620. «Военный... с двумя ромбами в петличке». — Раньше знаки различия командиры Красной Армии носили в петличках воротника. Два ромба в петличке военного означали, что он командир дивизии (это соответствовало званию генерал-лейтенанта).

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

Впервые этот рассказ (под названием «Становой хребет») был напечатан в журнале «Мурзилка», № 11 за 1937 год. Номер этот был посвящен годовщине Великой Октябрьской революции, и редакция журнала хотела дать читателям рассказ о революции и о школе. Лев Кассиль был тогда редактором журнала и написал этот рассказ.

Затем рассказ был напечатан в сборнике Льва Кассиля, выпущенном библиотекой журнала «Огонек» в 1939

году. В 1948 году он был напечатан под новым названием — «История с географией».

В названии рассказа — тоже игра слов: обычное выражение «история с географией» здесь звучит по-новому: происшествие случилось именно с географией.

ЕСТЬ НА ВОЛГЕ УТЕС

Рассказ написан в 1940 году, тогда же напечатан в журнале «Пионер» и вышел отдельной книгой в серии «Книга за книгой» Детиздата в 1941 году. Особую известность этот рассказ получил у радиослушателей, так как он несколько раз передавался по радио. В роли Леонтия Архипкина пел народный артист СССР М. Д. Михайлов. Любопытную историю, связанную с этой передачей, рассказывает писатель в автобиографии (см. страницу 27).

Рассказ неоднократно перепечатывался в сборниках Л. А. Кассиля, издавался отдельно и вошел в трехтомник «Избранные рассказы советских писателей». М., 1961.

Слова известной песни «Есть на Волге утес...» написаны поэтом А. А. Навроцким в 1864 году.

ОДНА БЕСЕДА

В этом рассказе отразился один из случаев в журналистской работе писателя. Рассказ неоднократно передавался по радио и исполнялся на сцене в виде маленькой пьески.

БИТВА ПРИ БЕЗЫМЯННОМ ПАЛЬЦЕ

Впервые рассказ опубликован в «Литературной газете». Для настоящего издания заново переработан.

Стр. 651. Сло — слой рыхлого снега, образующийся на реке перед ее замерзанием.

Е. Таруга

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вслух про себя. Попытка автобиографии . . .	5
Кондуит и Швамбрания. Повесть. <i>Рис. Ю. Ганфа</i>	31
Книга первая. Кондуит	33
Книга вторая. Швамбрания	173
Вратарь Республики. Роман. <i>Рис. Б. Коржевского</i>	325
Есть на Волге утес. Рассказы. <i>Рис. И. Година</i> . .	599
Раздвоение календаря	601
Агитмедведь особого отряда	607
История с географией	622
«Есть на Волге утес...»	628
Одна беседа	643
Битва при Безымянном пальце	650
Комментарии. Е. Т а р а т у т а	655

ОФОРМЛЕНИЕ Г. ОРДЫНСКОГО

Для среднего и старшего
возраста

КАССИЛЬ ЛЕВ АБРАМОВИЧ
Собрание сочинений

Т о м 1

Ответственный редактор
В. М. Щ у к а р ь
Художественный редактор
Н. Г. Х о л о д о в с к а я
Технический редактор
С. К. П у ш к о в а
Корректоры
Л. М. Н и к о л а е в а
и Э. Н. С и з о в а.

Сдано в набор 13-XI 1964 г. Подписано к печати 6-IV 1965 г. Формат 84×108^{1/32} Печ. л. 21,063. Усл. печ. л. 34,54. Уч.-изд. л. 34,96+1 вкл.=35,01. Тираж 300 000(1—150 000) экз. Цена 1 р. 30 коп. Издательство „Детская литература“. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика „Детская книга“ № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати. Москва, Суцевский вал, 49. Заказ № 1411.



1р.30к.